Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

СЕБАСТИАН БРАНТ

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

•

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ

РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

•

ПИСЬМА ТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ

•

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН

ДИАЛОГИ

ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО
И ЛАТИНСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
Б. Пуришева

И
Б 87

Иллюстрации
Ю. Красного

7

Подп. изд.

НЕМЕЦКИЙ И НИДЕРЛАНДСКИЙ ГУМАНИЗМ

Культура гуманизма, возникшая еще в XIV веке в Италии, к концу XV века прочно утвердилась в Германии и Нидерландах, вошедших с 1477—1482 годов в состав Германской империи. Подобно своим итальянским предшественникам, немецкие и нидерландские гуманисты высоко ставили культурные завоевания античного мира, рисовавшегося им царством интеллектуальной и духовной свободы, решительно выступали против средневековой схоластики, против вековой рутины, против всего, что сковывало и калечило человеческую жизнь.

Новые веяния чувствовались повсюду. Заколебались древние устои феодализма. Рыцарство сходило с исторической арены. Необычайно поднялось значение городов. Развивались торговля и промышленность. Укреплялись международные экономические связи. Великим событием, оказавшим колоссальное влияние на развитие европейской культуры, явилось изобретение книгопечатания в середине XV века И. Гутенбергом из Майнца. Благодаря книгопечатанию многие выдающиеся произведения античных и ренессансных авторов стали достоянием широких читательских кругов. Знание перестало быть привилегией церкви. И в философии, и в науке, и в искусстве раздавались голоса новых людей, созидавших новую культуру, передовую свободолюбивую культуру эпохи Возрождения.

Конечно, гуманисты Германии и Нидерландов опирались на достижения ренессансной Италии. Ведь Италия была родиной гуманизма. Она дала миру таких гигантов, как Петрарка и Боккаччо. Именно здесь начали «воскрешать» античность и очищать ее от схоластических мудрствований средних веков. Здесь возникла классическая филология, столь ценимая в североевропейских странах. Вместе с тем немецко-нидерландский гуманизм отнюдь не был простым повторением гуманизма итальянского. У него была своя судьба. И по своему характеру он несколько отличался от гуманизма, расцветшего под синим небом Апеннинского полуострова.

Историческое своеобразие немецкого гуманизма определялось тем, что он развивался в стране, стоявшей на пороге событий, вскоре до основания потрясших все ветхое здание «Священной Римской империи германской нации», как в то время высокопарно называлось германское государство. В 1517 году в Германии вспыхнула Реформация, перекинувшаяся затем в Нидерланды и ряд других европейских стран. По словам Ф. Энгельса, это была первая в Европе буржуазная революция, которая «сообразно духу времени, проявилась в религиозной форме — в виде Реформации» [1]. Ее кульминационным моментом была Великая крестьянская война 1525 года. На протяжении ряда десятилетий нарастало в Германии недовольство существующими порядками. Крестьянство испытывало невыносимый гнет со стороны светских и духовных феодалов. Стремительно разорявшееся рыцарство мечтало поправить свои дела за счет обширных церковных владений. Бюргерство тяготилось чрезмерно «дорогой» церковью. На церковные богатства с вожделением поглядывали также многие князья. В стране не было сильной государственной власти. Власть императора была в значительной мере призрачной. Германия, по сути дела, распадалась на множество независимых государств, будь то «вольные города», княжества, герцогства и т. п. Крупные феодалы боролись за власть, наполняли страну вечными смутами, то и дело разжигали пламя междоусобной войны. А католическая церковь, пользуясь государственной слабостью Германии, без всякого стеснения грабила страну, стремясь выколотить из населения последний грош. Не удивительно, что самые широкие круги именно в католической церкви видели главного виновника немецкого неустройства. К тому же, ревниво оберегая свои привилегии, церковь всячески противилась любым прогрессивным нововведениям, цепко держалась за все отжившее, темное, косное.

Несомненно, в идейной подготовке Реформации немецкие гуманисты и их нидерландские друзья сыграли немаловажную роль. В отличие от гуманистов Италии, которые скорее являлись язычниками, чем христианами, и довольно индифферентно относились к вопросам вероисповедания, представители северного гуманизма тщательно вникали в творения древнехристианских авторов, штудировали Библию и обвиняли церковь в том, что она в своей мирской практике далеко отошла от первоначального, а следовательно, «истинного» христианства. Ополчаясь на монашеский обскурантизм, они хотели, чтобы религия служила человеку, а не делала его безропотным рабом мертвой церковной догмы. Но, расшатывая вековые устои католицизма, стремясь «очеловечить» религию, северные гуманисты не могли предвидеть, что Реформация обернется против них, что бюргерство, напуганное могучим размахом народного движения, отречется от

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 18, стр. 572.

гуманистического вольномыслия, а вождь бюргерской реформации Мартин Лютер даже объявит разум «блудницей дьявола».

Из сказанного, однако, не следует делать вывода, будто северные гуманисты чуждались светской культуры и вращались все время в кругу религиозных интересов. Отнюдь нет. Предпринятая ими реформа высшей школы должна была содействовать обмирщению образования. Их труды касались самых различных сторон жизни. Они охотно собирали зерна античной мудрости, а также прислушивались к мудрости народной. Ведь их забота о государственной консолидации Германии или мечты о ее нравственном и культурном возрождении в какой-то мере отражали чаяния народа об обновлении немецкой жизни. Были среди них люди непосредственно вышедшие из народной среды и продолжавшие сохранять связь с народной культурой. И хотя немецкие гуманисты предпочитали писать на языке Цицерона и Квинтилиана, этом международном языке тогдашней гуманистической словесности, их старания были направлены прежде всего на то, чтобы очистить Германию от средневекового «варварства» и вдохнуть в нее новые жизненные силы. Это была, по сути дела, патриотическая идея. На рубеже XV и XVI веков уже всем было ясно, что «Священная Римская империя» нуждается в основательной встряске. Молодой Альбрехт Дюрер запечатлел эти настроения в известном цикле гравюр на дереве «Апокалипсис» (1498). На этих гравюрах небесные силы творят суд и расправу над сильными мира сего, погрязшими в скверне. Ангелы поражают мечами порочных королей, рыцарей, епископов и прелатов.

Правда, многие писатели-гуманисты с тревогой ожидали надвигающуюся грозу и вовсе не являлись сторонниками революционных действий. Но каждому хотелось что-то сделать ради обновления отечественных порядков. Веря в конечное торжество разума и справедливости, они стремились обрушить сатирические бичи на темные стороны тогдашней жизни, разогнать мрак невежества и суеверий, выкорчевать пороки, глубоко засевшие в немецкой повседневности. Характерно, что на протяжении ряда десятилетий, как раз в то время, когда немецкий и близкий ему нидерландский гуманизм переживали период наибольшего расцвета (конец XV — первая треть XVI века), в литературе ведущую роль играли сатирические жанры. Все наиболее видные писатели Германии были сатириками. Недаром такой любовью пользовался у них язвительный Лукиан, которого Ф. Энгельс метко назвал «Вольтером классической древности». Ему подражали, его остроумные сатирические диалоги переводили на латинский язык.

Впрочем, обратившись к сатире, гуманисты могли опереться не только на традицию античную, но и на прочную национальную традицию. С давних пор бюргерская литература тяготела к сатирической насмешке, обычно соединенной с назиданием. Посмеяться любил и народ. Посмеяться

во время карнавала над чванством толстосумов, лицемерием клириков или алчностью чиновников. Шуты дерзко подсмеивались над делами больших господ. Звон шутовских бубенцов то и дело нарушал показное благолепие старого мира. В пословицах и поговорках, скоромных песенках и побасенках непрерывно звучал задорный смех простых людей, хорошо видевших неказистую изнанку этого надутого, чопорного, высокомерного мира. Еще в самом конце XIII века уроженец Франконии поэт Гуго Тримбергский в обширной поэме «Скакун» обличал пороки современного ему общества, в том числе безудержную алчность церковников, превратившихся в хищных волков, самоуправство феодалов, заливающих страну кровью, либо криводушных судей, способных удавить несчастного бедняка из-за цыпленка. Правда, в поэме Гуго Тримбергского смех еще не занимает большого места, здесь преобладает серьезный проповеднический тон, но уже в этом средневековом произведении ясно обозначились контуры жанра сатирико-дидактического «зерцала», прочно утвердившегося в бюргерской литературе последующих столетий. Поэты обличают и поучают. С высокой трибуны обозревая мир, стремясь ничего не упустить, развертывают они перед читателем обширную панораму людских недостатков. На поэтическом полотне выступают десятки фигур, олицетворяющих мирские пороки, достойные осуждения.

Вот на эту литературную традицию и опирался прежде всего выдающийся немецкий гуманист Себастиан Брант (1457 или 1458—1511), сын страсбургского трактирщика, опубликовавший в 1494 году в городе Базеле свою сатирико-дидактическую поэму «Корабль дураков», сразу же получившую широкую известность. Брант был человеком весьма образованным. Профессор канонического и римского права Базельского университета, он занимался адвокатской практикой и, будучи тесно связан с местными книгоиздателями, публиковал различные научные и литературные тексты, в том числе творения великого итальянского гуманиста Франческо Петрарки. Он хорошо знал и высоко ценил античных авторов, а Вергилия даже называл своим дорогим братом. Однако, в отличие от других немецких гуманистов, писавших по-латыни, Брант написал «Корабль дураков» на немецком языке, да притом еще на языке, далеком от книжного педантизма, очень ярком и непосредственном, подслушанном на улицах и площадях, в харчевнях и ремесленных мастерских. Уже самый этот факт ясно указывает на тесную связь Бранта с немецкой национальной традицией. Но дело не только в немецком языке, но и в том, что книга Бранта по своей структуре весьма напоминает традиционные сатирико-дидактические «зерцала». Подобно своим предшественникам, Брант развертывает панораму человеческих недостатков, обличает и вразумляет.

Вместе с тем он уже не является средневековым писателем. Его занимательная книга принадлежит эпохе Возрождения. Конечно, в ней еще много старомодного, «готического». Но ведь и у раннего Дюрера много го-

тических черт. А картины и гравюры Лукаса Кранаха (1492—1553), всецело относящиеся к XVI веку, еще более старомодны. И поэзия трудолюбивого мейстерзингера Ганса Сакса (1494—1576), лукавая и одновременно наивная, опять-таки крайне старомодна. Но таково уж было свойство немецкого бюргерского Возрождения.

От средних веков книгу Бранта отделяет резкая черта. Обычно средневековые «зерцала», как, например, анонимная поэма начала XV века «Сети дьявола», подходили к окружающему миру с теологическим критерием. Мирское неустройство объяснялось недостатком благочестия. Добродетелям противопоставлялись грехи. Дьявол по пятам следовал за человеком и улавливал грешников в адские сети. У Себастиана Бранта, отнюдь не лишенного благочестия, теологический критерий утрачивает свое былое значение. Поэт выводит мир на суд человеческого разума. И то, что не соответствует требованиям этого взыскательного судьи, объявляется неразумным, то есть дурным. Возникает новая идейная ситуация. Уже не дьявол калечит и портит мир,— его калечит и портит неразумие. Оно проявляется в большом и малом. Все на земле пошло вкривь и вкось с тех пор, как люди, забыв о разуме, стали рабами глупости. И Брант пишет свою книгу «ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого». Зная, какой удивительной силой обладает насмешка, он направо и налево раздает дурацкие колпаки, подымает на смех обычаи и нравы легиона глупцов, вовсе не подозревающих того, что они давно уже служат глупости. Поэт и на себя напяливает шутовской колпак, дабы получить право безнаказанно говорить людям правду. Он не церковный проповедник,— он умный шут, находчивый, наблюдательный и веселый.

Чтобы удобнее было обозревать многолюдную толпу дураков, Брант собирает их на обширном корабле, отправляющемся в Глупландию (Нарагонию). За этим идет поочередная характеристика различных видов «глупости». Каждому достается по заслугам. Открывает парад дураков мнимый ученый. Поэт так зол на этого прихвостня глупости, что предоставляет ему первое место на дурацком корабле. Ведь ученый должен быть главным сподвижником Разума, его герольдом, его воином. А Dominus Doctor (господин доктор) из брантовской сатиры, пренебрегая подлинной мудростью, пускает только пыль в глаза легковерным. Он — воплощение невежества, облаченного в университетские одежды. За невежеством следуют различные суеверия, распространенные на исходе XV века, а также распутство, тунеядство, пьянство, подхалимство, наушничество и многие другие пороки, порожденные глупостью. Иногда это пороки не столь тяжкие, приносящие вред только отдельным лицам («О хвастовстве», «О самовлюбленности»), а подчас это пороки зловредные, подрывающие нравственные и даже политические устои общества.

К таким кардинальным порокам современности Брант относит себялюбие, чаще всего соединенное с алчностью. Немецкий гуманист верно улавливает тенденцию, столь характерную для периода «первоначального накопления», когда повсюду распространялся дух стяжательства, разрывались патриархальные связи и властелином жизни становился господин Пфенниг. В Германии с ее феодальными пережитками и политическим партикуляризмом этот процесс вел к дальнейшему развалу государства и резкому обострению социальных антагонизмов. Брант резко осуждает властителей и судей, которые, забыв об общем благе ради своего личного благоденствия, попирают правду и закон («О дураках, облеченных властью»). Эгоизм, сопряженный с алчностью, убивает в людях гражданское чувство, делает их лицемерными, хищными, жестокими. Волками в овечьей шкуре стали служители церкви. Повсюду главенствуют «фальшь, обман, коварство», и поэту даже чудится, что «Антихрист стоит уже у дверей» («О фальши и надувательстве»).

Бюргерский дидактизм Бранта, некогда казавшийся вполне уместным и даже острым, в наше время не производит былого впечатления. Нам он подчас представляется достаточно пресным и чрезмерно прямолинейным. Зато не утратила своей привлекательности лубочная непосредственность брантовских зарисовок. Избегая гиперболизма и фантастической деформации житейских образов, Брант обычно не выходит за пределы привычной повседневной среды. Его «дураки» — это люди, с которыми без труда можно было встретиться в тогдашней Германии. В книге суетятся представители различных сословий и профессий. В них нет ничего отвлеченного. Они очень конкретны. Конкретны и жанровые сценки, появляющиеся на страницах сатиры («Шум в церкви», «О застольном невежестве»). Умело схватывая две-три характерные черты, поэт их усиливает, выдвигает на первый план. Сатира становится своего рода лубочной картинкой, все фигуры которой резко очерчены и легко обозримы.

«Корабль дураков» имел огромный успех. Сатира неоднократно переиздавалась и переводилась на иностранные языки. В латинском переводе гуманиста Я. Лохера (1497) она стала достоянием всей образованной Европы. У Бранта нашлись последователи. Его книга послужила образцом для других сатирико-дидактических произведений так называемой «литературы о дураках», распространившейся в Германии в XVI веке.

«Кораблем дураков» живо заинтересовался великий нидерландский гуманист Дезидерий Эразм Роттердамский, тесно связанный с немецкой культурой эпохи Возрождения. Развивая традиции брантовской сатиры, он в 1509 году написал свою прославленную «Похвалу Глупости». Можно с уверенностью сказать, что в начале XVI века в Европе не было мыслителя, ученого и писателя, который бы пользовался такой известностью и влиянием, как Эразм Роттердамский. Он был властителем дум не одного

поколения гуманистов. Многие передовые люди гордились тем, что являются его учениками и последователями.

Родился Дезидерий Эразм в 1466 или 1469 году в голландском городе Роттердаме. Будучи незаконнорожденным сыном бедного приходского священника, он с детских лет испытывал материальные лишения. Возможно, что материальная неустроенность явилась одной из причин, побудивших Эразма, не отличавшегося крепким здоровьем, вступить в монашеский орден. В монастыре не нужно было заботиться о хлебе насущном, к тому же молодой Эразм, уже приобщившийся к античной культуре, которой с таким энтузиазмом занимались гуманисты, видимо, надеялся, что в монастырской тиши он сможет продолжать начатые занятия. Однако, проведя около семи лет в монастыре Стейн близ Гауды, он убедился, что монашеские воззрения и нравы бесконечно далеки от передовых гуманистических идеалов. За монастырской стеной царили невежество, злоба и суеверия. Благочестие сводилось к педантичному соблюдению церковных обрядов. Никто не заботился о служении ближнему. Здесь нельзя было даже помыслить о свободе человеческого духа. А Эразм так высоко ценил эту свободу! И ближнему он хотел служить, озаряя его светом подлинного знания. Поэтому, когда в 1493 году ему представилась возможность покинуть монашескую обитель, он с радостью воспользовался этой возможностью и никогда уже в дальнейшем не смешивался с толпой монахов.

В Париже в коллегии Монтегю Эразм продолжил свое образование. С этого времени начались его странствования по Европе. Помимо Франции, он побывал в Италии, Англии, Германии, Австрии и Швейцарии. И всюду ему сопутствовала слава великого ученого. Действительно, из трудолюбивого школяра Эразм с годами превратился в одного из самых культурных людей Европы, в крупнейшего знатока греческого и латинского языков и вообще всей античной словесности. Свои произведения он писал на латинском языке, удивительно чистом, гибком и живом, бесконечно далеком от топорной «кухонной» латыни, которой пробавлялись надменные схоласты, представители обветшавшей средневековой учености. Классическая эрудиция Эразма, столь поражавшая современников, была действительно огромна. На протяжении многих лет тщательно собирал он цветы античной мудрости, чтобы сделать их достоянием образованных кругов. Так возник имевший огромный успех сборник латинских и греческих (переведенных на латинский язык) пословиц, крылатых слов и изречений — «Адагии» («Пословицы»), снабженный интересными, подчас острозлободневными комментариями. Еще в 1500 году этот сборник, включавший более восьмисот образцов, увидел свет в Париже, а затем при каждом последующем издании пополнялся все новыми и новыми текстами. В издании 1536 года их уже 4151.

Классическая древность отнюдь не была для Эразма, равно как и для других гуманистов, чем-то давно угасшим, мертвым. Гуманисты рас-

сматривали ее как вечно живой источник человеческой мудрости и красоты. Поэтому, когда Эразм призывал людей вернуться «к источникам», он вовсе не бежал от современности, но лишь хотел поднять ее до уровня великого прошлого. В древнем мире находил он более широкий и свободный взгляд на человека и природу, а также науку, еще не ставшую служанкой средневекового богословия. Средние века представлялись ему царством мрачного варварства, одним из характерных проявлений которого являлась религиозная нетерпимость. С отвращением относился Эразм к схоластическим хитросплетениям, увлекавшим человеческую мысль в дремучий лес абстракций. А он любил классическую ясность и вовсе не желал, чтобы человек отрекался от самого себя во славу призрачных «истин». Веря в естественную доброту человека, Эразм хотел видеть его «возрожденным», то есть очищенным от вековой скверны. А это означало, что в «возрождении» нуждалось также и христианство, вне которого нидерландский гуманист не мыслил себе современного человека. Призывая вернуться «к источникам», он имел в виду не только творения античных авторов, но и памятники древнехристианской мысли, во многом связанные с античной традицией, и прежде всего, разумеется, Евангелие. Он сетовал на то, что на протяжении ряда столетий первоначальный смысл христианства был извращен. Ведь даже ставший каноническим перевод на латинский язык Евангелия, сделанный святым Иеронимом в IV веке (так называемая Вульгата), изобиловал многочисленными ошибками и добавлениями, искажавшими смысл Писания. А ведь Вульгата в церковных кругах считалась непогрешимой, святой книгой. В этих условиях большое значение имело подготовленное Эразмом критическое издание греческого текста Евангелия и оригинальный латинский перевод его. Церковной рутине был нанесен сильный удар, тем более что Эразм в своих комментариях подчас смело касался таких вопросов, как пороки клира, мнимое и подлинное благочестие, кровопролитные войны и заветы Христа и т. п.

У Эразма был зоркий глаз. Великий книжник, так любивший вникать в рукописные и печатные тексты, вовсе не был книжным червем. Свои обширные сведения о мире он черпал не только из фолиантов, переплетенных в свиную кожу, но и непосредственно из самой жизни, которая шумела и плескалась вокруг него, подобно взбаламученному морю. Многое дали ему странствия по Европе и беседы с выдающимися людьми. Видя, как далеко отошел мир от нравственного идеала, Эразм не хотел остаться безучастным свидетелем человеческих заблуждений. Не раз подымал он свой голос против того, что казалось ему неразумным, тлетворным, ложным. Он подымал его как богослов, как педагог и сатирик. И голос этого тихого, влюбленного в древние манускрипты человека звучал с удивительной силой. Вся образованная Европа слушала его с почтительным вниманием. Его тонкое, напоминающее хорошо отточенный гибкий клинок остроумие поражало без промаха намеченную цель. Недаром такой беспримерный

успех имела «Похвала Глупости» (1509), которую Эразм задумал во время переезда из Италии в Англию и за одну неделю написал в гостеприимном доме своего друга, прославленного английского гуманиста Томаса Мора, автора «Утопии».

Вслед за Себастианом Брантом Эразм видел причину мирского неустройства в человеческом неразумии. Но он отверг старомодную, зародившуюся еще в средние века, форму сатирико-дидактического «зерцала», предпочтя ей шуточный панегирик, освященный авторитетом античных писателей (Вергилий, Лукиан и др.). Сама богиня Глупости по воле автора всходит на кафедру, чтобы прославить себя в пространном похвальном слове. Она обижена на смертных, которые, хотя и «чтут ее усердно» и «охотно пользуются ее благодеяниями», до сих пор не удосужились сложить в ее честь подобающего панегирика. Словоохотливая богиня без лишней скромности исправляет эту ошибку. Обозревая обширное царство неразумия, она повсюду находит своих почитателей и питомцев. Тут и мнимые ученые, и неверные жены, и астрологи, и лентяи, и льстецы, и тщеславные себялюбцы, знакомые нам уже по «Кораблю дураков».

Но Эразм гораздо смелее подымается по ступеням социальной лестницы, чем Себастиан Брант. Его сатира становится особенно резкой, когда речь заходит о господствующих сословиях. Он насмехается над высокомерными дворянами, которые «хоть и не отличаются ничем от последнего поденщика, однако кичатся благородством своего происхождения», и над теми дураками, которые готовы «приравнять этих родовитых скотов к богам» (гл. 42). Достается от него придворным вельможам, а также королям, которые, нимало не заботясь об общем благе, «ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние» (гл. 55). Вполне в духе времени усматривает Эразм в корыстолюбии источник многих современных пороков. С презрением отзывается он о купцах (гл. 48) и делает бога богатства Плутоса отцом г-жи Глупости (гл. 7).

Еще резче отзывается Эразм о священнослужителях. Пренебрегая простыми и ясными заветами Евангелия, князья католической церкви «соперничают с государями в пышности» и, вместо того чтобы самоотверженно пасти своих духовных чад, «пасут только самих себя» (гл. 57). Утопающие в роскоши римские папы ради защиты земных интересов церкви проливают христианскую кровь. «Как будто могут быть у церкви враги злее, нежели нечестивые первосвященники, которые своим молчанием о Христе позволяют забывать о нем, которые связывают его своими гнусными законами, искажают его учение своими за уши притянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью» (гл. 59). Ничуть не лучше обстоит дело с монахами, навлекшими на себя, по словам Эразма, «единодушную ненависть». В своей массе они глубоко невежественны, неопрятны, лицемерны и суеверны. Их благочестие заключается не в делах мило-

сердия, завещанных Христом, а лишь в соблюдении внешних церковных правил. Зато «своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственному мнению, уподобляются в глазах наших апостолам» (гл. 54). Не щадит Эразм и официального богословия, которое он дерзко называет «ядовитым растением». Надутые схоласты, погрязшие в теологических хитросплетениях, готовы любого человека, несогласного с их умозрениями, объявить еретиком, то есть поставить вне закона. Их крикливые проповеди — образец безвкусия и нелепости. При помощи «вздорных выдумок и диких воплей подчиняют» они «смертных своей тирании» (гл. 53, 54).

Во всем этом уже чувствовалось приближение Реформации. У Себастиана Бранта, писавшего значительно раньше, не найти таких резких выпадов против господствовавших феодально-католических кругов. Вместе с тем к насильственному ниспровержению существующих порядков Эразм не призывал. Все свои надежды, подобно Бранту, возлагал он на облагораживающую силу мудрого слова. Впрочем, окружающий мир не казался ему таким простым и понятным, как автору «Корабля дураков». Брант знал только две краски: черную и белую. Линии у него всегда отчетливые и густые. И на жизненные явления смотрел он, можно сказать, в упор. У Эразма картина мира утрачивает свою наивную лубочность. Рисунок его отличается тонкостью и одновременно сложностью. То, что у Бранта выглядит плоским и однозначным, у Эразма приобретает глубину и многозначность. Разве мудрость, чрезмерно вознесшаяся над жизнью, не превращается в глупость? Разве навыки и представления тысяч людей, на которых свысока взирают одинокие мудрецы, не коренятся подчас в самой человеческой природе? Где же здесь глупость, а где мудрость? Ведь «глупость» может оказаться мудростью, если она вырастает из потребностей жизни. И разве то, что говорит в начале книги г-жа Глупость, не содержит крупиц истины? Мечты мудрейшего Платона о совершенном общественном устройстве так и остались мечтами, ибо не имели под собой твердой жизненной почвы. Не философы творят историю. И если под «глупостью» разуметь отсутствие отвлеченной идеальной мудрости, то словоохотливая богиня права, утверждая, что «Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд» (гл. 27). Впрочем, очевидна здесь и сатирическая тенденция. Ведь то, что Эразм видел вокруг себя,— достойно было самого решительного осуждения. На каждом шагу можно было столкнуться с несправедливостью, жестокостью и обскурантизмом, то есть с вопиющими проявлениями вредоносной «глупости».

Эразм знает, что с незапамятных времен существовал разрыв между гуманистическим идеалом и реальной жизнью. Линия жизни не совпадала с линией мудрости. Ему это горько сознавать. К тому же мед жизни повсюду «отравлен желчью» (гл. 31), а «людская сутолока» так напоминает жалкую возню мух или комаров (гл. 48).

Подобные мысли придают жизнерадостной книге Эразма меланхолический оттенок. Разумеется, следует помнить, что обо всем этом говорит богиня Глупости и воззрения Эразма порой прямо противоположны ее воззрениям. Но нередко в книге Эразма ей отводится роль шута, показная глупость которого является всего лишь оборотной стороной подлинной мудрости.

Но если логика мира обычно не совпадает с логикой мудреца, то вправе ли мудрец насильно навязывать миру свою мудрость? Эразм прямо не задает этого вопроса, но вопрос этот где-то мелькает между строк его книги. Накануне реформационных потрясений он приобретал очевидную злободневность. Нет, Эразм не отрекался от борьбы, не отходил в сторону, видя, как бесчинствует зло. Его «Похвала Глупости» нанесла сильнейший удар лагерю феодально-католической реакции. В своей книге он стремился «сорвать маску» с тех, которые желали казаться не тем, чем они были на самом деле (гл. 29). Он хотел, чтобы люди как можно меньше заблуждались и чтобы доля мудрости в их жизни возросла, а неразумие начало отступать. Но он не хотел, чтобы на смену старому, средневековому фанатизму пришел новый фанатизм. Ведь, по твердому убеждению великого гуманиста, религиозный, да и любой другой фанатизм несовместим с человеческой мудростью.

Поэтому так смущен и опечален был Эразм, когда убедился, что Реформация, начавшаяся в 1517 году, не принеся человеку духовной свободы, оковала его цепями нового лютеранского догматизма, что наряду с нетерпимостью католической твердо встала нетерпимость протестантская. Эразм полагал, что религиозная рознь, раздувавшая пламя взаимной ненависти, противоречит самым основам христианского учения. И он, навлекая на себя нападки обеих враждующих сторон, продолжал оставаться таким же, каким он был,— мыслителем-гуманистом, отвергающим любые крайности и желающим, чтобы люди в своих действиях прежде всего руководствовались требованиями разума.

В этой связи большое значение придавал он воспитанию молодежи. Не раз брался он за перо, чтобы побеседовать с юным читателем. К учащейся молодежи обращены и его замечательные «Разговоры запросто», получившие самое широкое распространение. Книга эта задумана как пособие для изучающих латинский язык. По словам автора, он так подбирал темы, чтобы, «доставляя приятное чтение и совершенствуя речь, книга способствовала бы и нравственному воспитанию». Пусть юный читатель поразмыслит над склонностями и делами людскими. «Сократ свел философию с небес на землю,— писал Эразм,— я иду дальше, вводя ее в игры и непринужденные застольные беседы».

Первое авторизованное издание книги под названием «Формулы для обыденных разговоров» увидело свет в 1519 году (годом раньше книга была напечатана без ведома Эразма по записям его учеников), а затем при

каждом последующем издании, вплоть до 1533 года, она пополнялась все новыми и новыми диалогами. В окончательной редакции их 57. Свое теперешнее название книга получила в 1524 году. «Разговоры запросто», как и «Похвала Глупости», развертывают широкую картину мира. Правда, в «Разговорах» речь идет главным образом о жизни средних слоев и далеко не все диалоги содержат сатирическую тенденцию. Но о невежестве и самодовольном эгоизме клириков или суевериях разного рода Эразм не мог говорить без усмешки. Разве мало таких людей, которые стремятся заполучить богатый приход, так как им «люб покой и нравится эпикурейская жизнь» («В поисках прихода»)? А нелепая вера во всемогущество святых, которым поклоняются, как языческим идолам, стремясь заключить с ними «выгодную сделку» («Кораблекрушение»)? Посмеивается Эразм также над верой в нечистую силу («Заклинание беса, или Привидение») и шарлатанством алхимиков («Алхимия»). На всеобщее обозрение выставляет он надутое ничтожество дворян, кичащихся благородством своего происхождения («Конник без коня, или Самозванная знатность»). А ведь находятся неразумные родители, которые почитают за честь отдать свою красавицу дочь в жены порочному уроду, изъеденному французской болезнью, лишь потому, что он принадлежит к рыцарскому сословию («Неравный брак»). Но ежели недостойна разумного человека погоня за знатностью, то столь же недостойна погоня за барышом, убивающим в человеке все человеческое («Скаредный достаток»).

Но Эразм не только обличает. Он стремится утвердить своих читателей на верном жизненном пути. Так, безалаберному времяпрепровождению молодых гуляк он противопоставляет благородную жажду знания, требующую от юноши собранности и умения трудиться («Рассвет»), ставит честную жизнь выше распутства («Юноша и распутница»), не считая при этом монашеский аскетизм заслуживающим одобрения. Говоря, что «нет ничего противнее естеству, чем старая дева», молодой Памфил выступает с апологией разумного брака, служащего подлинному украшению земной жизни («Поклонник и девица»). Конечно, в супружестве не все проходит гладко. Тут многое зависит от жены, от ее такта, мудрой уступчивости и любезности («Хулительница брака, или Супружество»). Да и в каждом человеке хотелось Эразму видеть эти качества. Поэтому с таким явным сочувствием изображает он доброжелательного и уравновешенного Гликиона, который предпочитает мирить людей, нежели их ссорить, и умеет держать свои страсти в узде («Разговор стариков, или Повозка»). В период, когда религиозная рознь приобретала все более драматический характер, люди, подобные Гликиону, становились редкостью. Но именно поэтому Эразм и предоставил этому антиподу нетерпимости место в своих «Разговорах запросто». Он был уверен, что нельзя всех мерить на один аршин, что следует внимательнее и осторожнее подходить к людям и находить хорошее там, где оно есть («Нищие богачи»).

По своему характеру диалоги Эразма весьма разнообразны. В них затрагиваются самые различные вопросы, меняется место действия, мелькают разноликие фигуры. Не всегда в диалогах обнажена дидактическая тенденция. Порой они представляют собой живые жанровые сценки, напоминающие полотна нидерландских художников с характерными для них многочисленными бытовыми деталями («Хозяйственные распоряжения», «Перед школою», «Заезжие дворы»). Порой это веселые фацетии и шванки, вырастающие из популярных анекдотов («Конский барышник», «Говорливое застолье»). Забавен разговор глухих («Нескладица»). Искусно написана беседа человека с эхом («Эхо»).

Эразм всегда тяготел к разговорным жанрам. Живая, непринужденная речь звучит в «Похвале Глупости». Звучит она и в «Разговорах запросто», связанных с прочной античной традицией (Лукиан и др.). Речевые характеристики Эразма точны и выразительны. Перед читателем проходят люди, наделенные рядом индивидуальных черт. Слушая, как они говорят и о чем они говорят, мы всё себе очень ясно представляем и как бы вплотную подходим к противоречивой и многоцветной жизни тогдашней Европы.

«Разговоры запросто» неоднократно переиздавались. О них тепло отзывались гуманисты, зато богословы нападали на них с ожесточением. Католическая Сорбонна даже осудила эту книгу как еретическую, и в 1559 году она попала в список запрещенных церковью книг. Не менее неприязненно отзывались о ней протестанты. Зато многие выдающиеся писатели ряда веков, и в их числе Рабле, Сервантес и Мольер, охотно черпали из диалогов Эразма. Кстати, к диалогу Эразма «В поисках прихода» восходит знаменитый монолог о носе Сирано де Бержерака в одноименной пьесе Э. Ростана. Умер великий нидерландский гуманист в 1536 году.

Незадолго до того как увидели свет «Разговоры запросто» Эразма, появилась в Германии хлесткая анонимная сатира «Письма темных людей» (первая часть — 1515, вторая часть — 1517), направленная против врагов гуманизма — схоластов. Возникла эта сатира при обстоятельствах достаточно примечательных.

Все началось с того, что в 1507 году крещеный еврей Иоганн Пфефферкорн с горячностью неофита обрушился на своих былых единоверцев. Возводя на них одно обвинение за другим, он утверждал, что главным источником их «злодеяний» являются еврейские священные книги. Пфефферкорн предлагал их незамедлительно отобрать и все, за исключением Ветхого завета, уничтожить. Тогда евреи, уверял он, образумятся и наверно примут христианство. Поддержанный кельнскими доминиканцами, стоявшими на страже католического правоверия, и рядом влиятельных обскурантов, Пфефферкорн добился императорского указа, который давал ему право конфисковать еврейские книги и расправиться с ними по своему усмотрению. Ссылаясь на императорский указ, Пфефферкорн предложил знаменитому гуманисту Иоганну Рейхлину, (1455—1522), правоведу,

писателю и всеми признанному знатоку древнееврейского языка, принять участие в этой охоте на еврейские священные книги. Понятно, что Рейхлин решительно отказался помогать обскуранту.

Тем временем появился новый императорский указ, передававший вопрос о еврейских книгах на рассмотрение ряда авторитетных лиц. Такими лицами были сочтены богословы Кельнского, Майнцского, Эрфуртского и Гейдельбергского университетов, а также Рейхлин, кельнский инквизитор Гоогстратен и еще один клирик из числа мракобесов. Представители Эрфуртского и Гейдельбергского университетов уклонились от прямого ответа, заявив, что считают вопрос не вполне ясным. Все остальные богословы и церковнослужители дружно подали свои голоса за предложение Пфефферкорна. И только один Рейхлин мужественно выступил против этого варварского предложения, указав на огромное значение еврейских книг для истории мировой культуры и, в частности, для истории христианства.

Взбешенный Пфефферкорн опубликовал памфлет «Ручное зеркало» (1511), в котором поносил прославленного ученого как только умел, без всякого смущения называя его невеждой. Рейхлин тут же ответил обнаглевшему обскуранту гневным памфлетом «Глазное зеркало» (1511). Разгоревшаяся, таким образом, полемика вскоре приобрела широкий размах и даже вышла за пределы Германии. К хору немецких обскурантов поспешили присоединиться богословы Сорбонны, с давних пор известные своими реакционными взглядами. Травлю Рейхлина возглавили кельнские доминиканцы, руководимые профессорами Ортуином Грацием и Арнольдом Тонгрским. Инквизитор Гоогстратен обвинял его в ереси. Зато на стороне Рейхлина находились все передовые люди Европы. Эразм Роттердамский назвал кельнских доминиканцев, ополчившихся на стойкого гуманиста, орудием сатаны и паразитами («О несравненном герое Иоганне Рейхлине»). Вопрос о еврейских книгах превращался в злободневный вопрос о веротерпимости и свободе мысли. Мир средневекового фанатизма делал попытку растоптать поросли новой гуманистической культуры, основанной на уважении к человеку и его духовным исканиям. Гуманисты приняли вызов и наносили своим противникам ответные удары. «Теперь весь мир,— писал немецкий гуманист Муциан Руф,— разделился на две партии — одни за глупцов, другие за Рейхлина».

Сам Рейхлин продолжал мужественно сражаться с опасным врагом. В 1513 году увидела свет его энергичная «Защита против кельнских клеветников», а в 1514 году он издал «Письма знаменитых людей» — сборник писем, написанных в его защиту многими видными культурными и государственными деятелями того времени.

Вот в этой напряженной обстановке, в самый разгар борьбы и появились «Письма темных людей», ядовито осмеивавшие крикливую толпу «арнольдистов», заклятых врагов гуманизма, единомышленников Арноль-

да Тонгрского и Ортуина Грация. «Письма» — это талантливая мистификация, созданная немецкими гуманистами Кротом Рубеаном, Германом Бушем и Ульрихом фон Гуттеном. Они задуманы как своего рода комический противовес «Письмам знаменитых людей», опубликованным Рейхлином. Если Рейхлину писали люди известные, блиставшие умом и культурой, то Ортуину Грацию, духовному вождю гонителей Рейхлина, пишут все люди безвестные, живущие вчерашним днем, тупоголовые и поистине темные (obscuri viri — означает одновременно и «неизвестные» и «темные» люди). Их объединяет ненависть к Рейхлину и гуманизму, а также безнадежно устарелый схоластический образ мысли. Рейхлина все они считают опасным еретиком, достойным костра инквизиции (I, 34). Предать огню или вздернуть на виселицу хотелось бы им «Глазное зеркало» и прочие творения маститого ученого (II, 30).

Пугает их предпринятая гуманистами реформа университетского образования. Тем более что студенты, охотно посещающие занятия передовых преподавателей, все реже заглядывают на лекции магистра Ортуина Грация и ему подобных. Учащаяся молодежь теряет интерес к средневековым авторитетам, предпочитая им Вергилия, Плиния и других «новых авторов» (II, 46). Схоласты же, продолжающие по старинке аллегорически толковать античных поэтов (I, 28), имеют о них самое смутное представление. Не трудно себе представить, как весело смеялись гуманистически образованные читатели, когда один из корреспондентов магистра Ортуина чистосердечно признавался ему, что никогда ничего не слышал о Гомере (II, 44). А ведь идейные враги рейхлинистов претендовали на руководящую роль в духовной жизни страны, и претендовали в то время, когда культура Ренессанса повсюду одерживала одну победу за другой. Они кичились великой ученостью, но ученость их была ветхой и заплесневелой. Кичились глубокомыслием, но что это было за глубокомыслие! О нем дают представление их забавные филологические изыскания (II, 13) или спор о том, смертный ли это грех съесть в постный день яйцо с зародышем цыпленка (I, 26).

Убожеству мыслей «темных людей» вполне соответствует убожество их эпистолярной манеры. Надо иметь в виду, что гуманисты большое значение придавали хорошему латинскому языку и совершенству литературного стиля. С этого для них, собственно, и начиналась настоящая культура. К тому же эпистолярная форма была у них в почете. Выдающимся мастером письма справедливо считался Эразм Роттердамский. Его письма читались и перечитывались в гуманистических кругах. «Темные люди» пишут коряво и примитивно. Их «кухонная латынь» вперемежку с вульгарным немецким языком, безвкусные приветствия и обращения, убогие вирши, претендующие на изящество, чудовищное нагромождение цитат из Священного писания, употребляемых по любому поводу, а то и полное неумение толково излагать свои мысли (I, 15), должны свидетельствовать о

духовной нищете и крайней культурной отсталости антирейхлинистов. К тому же все эти доктора и магистры богословия, преисполненные тупого самодовольства, просто не могут понять, что наступают новые времена. Они продолжают жить представлениями уходящего средневековья. Их головы набиты различными предрассудками и суевериями. Вдобавок ко всему эти крикливые обличители светской морали гуманистов ведут самый скотский образ жизни. О своих многочисленных грешках без всякого смущения рассказывают они Ортуину Грацию, то и дело ссылками на Библию оправдывая человеческие слабости.

Конечно, изображая своих противников, гуманисты нередко сгущали краски и даже прибегали к грубому шаржу, но нарисованные ими портреты были так типичны, что поначалу ввели в заблуждение многих представителей реакционного лагеря как в Германии, так и за ее пределами. Незадачливые обскуранты даже радовались тому, что появилась книга, написанная врагами Рейхлина. Но радость их вскоре сменилась яростью. Эта ярость возросла, когда появилась вторая часть «Писем», в которой нападки на папский Рим (II, 12) и монашество (II, 63) приобрели чрезвычайно резкий характер. Ортуин Граций попытался ответить на талантливую сатиру, но его «Сетования темных людей» (1518) успеха не имели. Победа осталась за гуманистами.

Как уже отмечалось, одним из авторов «Писем темных людей» был выдающийся немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен (1488—1523), франконский рыцарь, отлично владевший не только пером, но и мечом. Происходя из старинной, но обедневшей рыцарской фамилии, Гуттен вел жизнь независимого литератора. Правда, в юности ему предстояло стать клириком. Такова была воля отца. Но Гуттен в 1505 году бежал из монастыря, не только потому, что не питал склонности к духовной карьере, но и потому, что монашеский обскурантизм вызывал у него одно только отвращение. Странствуя по Германии, он усердно штудирует античных и ренессансных авторов. Его любимыми писателями становятся Аристофан и Лукиан. Дважды побывав в Италии (в 1512—1513 и в 1515—1517 гг.), он негодует по поводу безмерной алчности папской курии и многочисленных пороков, свивших себе гнездо в католическом Риме. Особенно возмущает его та беззастенчивость, с какой римско-католическая церковь грабит Германию. Гуттен убежден, что и политическая слабость Германии, раздробленной на множество частей, и страдания народа являются прежде всего результатом коварной политики папского Рима, препятствующего оздоровлению немецкой жизни. Поэтому, когда вспыхнула Реформация, Гуттен ее восторженно приветствовал. «Во мне ты всегда найдешь приверженца — что бы ни случилось», — писал он в 1520 году Мартину Лютеру.«Вернем Германии свободу, освободим отечество, так долго терпевшее ярмо угнетения!»

Однако, призывая сбросить «ярмо угнетения», Гуттен имел в виду не только реформу церковную, к которой стремился вождь бюргерской

реформации М. Лютер. С реформацией Гуттен связывал свои надежды на политическое возрождение Германии, которое должно заключаться в укреплении императорской власти за счет власти территориальных князей и возвращении рыцарскому сословию его былого значения. Идея имперской реформы, предложенная Гуттеном, не могла увлечь широкие круги, вовсе не заинтересованные в реставрации рыцарства. Зато как сатирик, язвительный обличитель папистов, Гуттен имел шумный успех.

Сатириком он был действительно незаурядным. К. Маркс имел основание в письме к Лассалю от 19 апреля 1859 года назвать его «чертовски остроумным». К числу лучших созданий Гуттена, бесспорно, относятся латинские «Диалоги» (1520) и «Новые диалоги» (1521), позднее переведенные им самим на немецкий язык. Подобно Эразму, Гуттен питал пристрастие к разговорным жанрам. Он отлично владел метким острым словом. Правда, изящества и тонкости у него значительно меньше, чем у Эразма, зато ему присущ боевой публицистический задор и подчас в его произведениях звучит громкий голос трибуна. В диалогах «Лихорадка» Гуттен насмехается над распутной жизнью праздных попов, у которых давно уже нет «ничего общего с Христом». Он выражает уверенность, что недалек тот день, когда немцы «откажутся тащить на своей спине эти тысячи и тысячи попов — племя праздное и, в большинстве своем, никчемное, способное лишь пожинать плоды чужих трудов». В знаменитом диалоге «Вадиск, или Римская троица» папский Рим изображается вместилищем всяческих мерзостей. При этом Гуттен прибегает к любопытному приему: он разделяет все гнездящиеся в Риме пороки по триадам, как бы переводя христианскую троицу на язык житейской католической практики. Читатель узнает, что «тремя вещами торгуют в Риме: Христом, духовными должностями и женщинами», что «три вещи широко распространены в Риме: наслаждение плоти, пышность нарядов и надменность духа» и т. п. И автор призывает Германию, стонущую под ярмом папистов, «осознать свой позор и, с мечом в руке, вернуть себе старинную свободу». Лукиановским остроумием пронизан диалог «Наблюдатели», в котором надменный папский легат Каэтан, прибывший в Германию, чтобы «обобрать немцев», отлучает от церкви бога Солнца. Попутно речь идет о неурядицах, ослабляющих Германию, о том, что погоня за всем заморским, обогащая купцов, наносит ущерб старинной немецкой доблести и что только немецкое рыцарское сословие хранит древнюю славу Германии.

Диалоги «Булла, или Крушибулл» и «Разбойники» входят в состав «Новых диалогов», написанных накануне драматических событий, в которых Гуттен принял деятельное участие. Недаром в «Диалогах» он призывал немцев к вооруженной борьбе против папистов, осуждал княжеское самовластие и прославлял рыцарское сословие. В 1519 году Гуттен подружился с рыцарем Францем фон Зикингеном, который, подобно ему, мечтал об имперской реформе. В Зикингене Гуттен увидел национального

вождя, способного силой меча преобразовать немецкие порядки. В диалоге «Булла, или Крушибулл» Гуттен и Франц фон Зикинген спешат на помощь Германской Свободе, над которой привыкла издеваться папская Булла. В конце концов Булла лопается (bulla — по-латыни пузырь), и из нее вываливаются вероломство, тщеславие, алчность, разбой, лицемерие и прочие зловонные пороки. Наконец, в диалоге «Разбойники» Франц фон Зикинген защищает рыцарское сословие от обвинений в разбое, полагая, что это обвинение скорее приложимо к купцам, писцам, юристам и, конечно, прежде всего к попам. Но пред лицом испытаний, которые ждут Германию, он призывает купечество забыть о застарелой вражде, разделяющей оба сословия, и заключить союз против общего врага.

Но призывы Гуттена, обращенные к бюргерству, не были услышаны. И когда в 1522 году Ландауский союз рыцарей под предводительством Зикингена поднял восстание против князя, архиепископа трирского, мятежных рыцарей не поддержали ни горожане, ни крестьяне. Восстание было подавлено. Зикинген скончался от ран. Гуттену пришлось бежать в Швейцарию, где он вскоре и умер. Закатилась самая яркая звезда немецкой гуманистической литературы. В дальнейшем немецкий гуманизм уже не создавал произведений столь же темпераментных, острых и сильных.

Объясняется это тем, что в обстановке свирепой феодальной реакции, сразу наступившей вслед за поражением народного восстания в 1525 году, любое вольномыслие в Германии всячески преследовалось и подавлялось. К тому же бюргерство, напуганное могучим размахом народного движения, капитулировало перед княжеским деспотизмом. В злобного врага гуманизма превратилось лютеранство. Немецкий гуманизм за короткий срок потерял почву под ногами. Распалась горделивая «Республика ученых», стремившихся озарить страну светом разума. На протяжении ряда десятилетий в Германии лишь изредка появлялись одинокие фигуры благородных вольнодумцев, осмелившихся выступить против духовной рутины и несправедливых общественных порядков (С. Франк, Н. Фришлин).

Зато лучшее из того, что было создано немецкими и нидерландскими гуманистами XV и XVI веков, прочно вошло в обиход мировой культуры. Их творения не раз привлекали к себе внимание передовых кругов различных стран и эпох.

Б. ПУРИШЕВ

СЕБАСТИАН БРАНТ

ПРОТЕСТ

Когда с таким трудом, упорно,
Корабль я этот стихотворный
Своими создавал руками,
Его наполнив дураками,
То не имел, конечно, цели
Их всех купать в морской купели:
Скреб каждый собственное тело.
Но тут еще такое дело:
Мне в книгу некие болваны
(Они изрядно были пьяны)
Подсыпали своих стишков.
Но среди прочих дураков
Они, того не сознавая,
Под жарким солнцем изнывая,
На корабле уже и сами
Валялись все под парусами:
Я им заранее, на суше,
Ослиные наставил уши!

Стихи могли быть лучше тут,
Когда б не пострадал мой труд
От строк чужих. Да, не прославил
Себя отнюдь, кто мне их вставил,
Мои повыстриг, не спросив
И смысл местами исказив.
Когда стихи сдаешь в печать,
Приходится их сокращать,

И ужимаются бедняги
В зависимости от бумаги.
Особенно мне неприятно,
Обиднее тысячекратно,
Что, так трудясь и так горя,
Я столько сил потратил зря
(Хотя вины моей тут нет),
Чтоб эта книга вышла в свет
С приписанной мне дребеденью,
Что на меня ложится тенью...

Ну, с богом! В путь пускайся, судно!
Рожать глупцов довольно трудно —
Особый нужен здесь талант!
А я — дурак Себа́стиан Брант.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «КОРАБЛЮ ДУРАКОВ»

Ради пользы и благого поучения, для увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого — с исключительным тщанием, серьезностью и рачительностью составлено в Базеле
Себастианом Брантом,
доктором обоих прав.

Душеспасительные книжки
Пекут у нас теперь в излишке,
Но, несмотря на их число,
Не уменьшилось в людях зло:
Писанья эти ничему
Теперь не учат! В ночь и в тьму
Мир погружен, отвергнут богом,—
Кишат глупцы по всем дорогам.
Жить дураками им не стыдно,
Но узнанными быть обидно.

«Что делать?» — думал я. И вот
Решил создать дурацкий флот:
Галеры, шхуны, галиоты,
Баркасы, шлюпки, яхты, боты.
А так как нет таких флотилий,
Всех дураков чтоб захватили,

Собрал я также экипажи,
Фургоны, дроги, сани даже.
Глупцам нет счета в наши дни:
Как мухи суетясь, они
На корабли спешат, летят —
Быть первыми и здесь хотят.

Их всех, которые тут есть,
Представить вам имею честь:
Вот вам один — мой текст ему
Не по душе, как я пойму.
А этот не прочтет ни слова,
Но на картинке, как живого,
Заметит среди прочих рож
Себя и даже с кем он схож.

В моем зерцале дураков
Дурак узрит, кто он таков,
И, приглядясь к себе, увидит,
Что из него мудрец не выйдет.
Что не дано, то не дано!
Не тщись быть мудрым, знай одно:
Признавший сам себя глупцом
Считаться вправе мудрецом,
А кто твердит, что он мудрец,
Тот именно и есть глупец.
Глупцам, конечно, кум-приятель —
И этой книги покупатель.
Вот дураков предлинный ряд!
Найти свое здесь каждый рад:
Кто мудрости рудник алмазный,
Кто вредной глупости соблазны.
Да, книжка стоящая! В ней
Узришь всей жизни ход ясней.
Как говорится — смех и горе:
Здесь дураки всех категорий!
Мудрец найдет здесь мыслей клад,
Глупец собратьям будет рад.
А коль дурак поднимет бучу,
Колпак я сразу нахлобучу.
Сам не признается никто:
По имени зовешь — и то

Иной как будто удивлен,
Прикинется, мол, он — не он.
Но люди умные, бесспорно,
Похвалят труд мой стихотворный
И заключат вполне правдиво,
Что автор судит справедливо.
Пусть дураки на эти строчки
Зловонной брани выльют бочки,—
Будь это им совсем не сладко,
Скажу я правду для порядка.
Изрек Теренций ведь когда-то:
«За правду — ненависть нам плата».
Да, кто сует повсюду нос,
Бывает часто бит, как пес!
Стремиться надо, как известно,
Жить добродетельно и честно
И, чтобы быть всегда в чести,
Благоразумие блюсти.
Пусть мой небезупречен стих,
Но не щадил я сил своих,
Ночей не спал я напролет,
Дурацкий свой вербуя флот:
Кто нужен мне, сам не придет —
За картами и за вином
Проводит ночь и дрыхнет днем.
Обдумал я слова, манеры,
Поступки, подобрал примеры
И от усердия такого
Лишился сна, даю вам слово.

Мужчинам, женщинам пристало
Глядеть в дурацкое зерцало:
Оно в натуре, без личин
Представит женщин и мужчин.
Не меньше, чем глупцов, заметьте,
И дур встречается на свете.
Пусть прикрываются вуалью,
Я колпаки на них напялю
И потаскух не пощажу —
В костюм дурацкий наряжу!
Им любы шутовские моды —
Соблазн, беда мужской породы:

Игриво-остронос ботинок,
Едва прикрыт молочный рынок.
Упреки эти адресуя
Не дамам честным, попрошу я
Простить меня: о них ни слова
Я б не дерзнул сказать худого.
Но многим,— их числа не счесть,
И часть ничтожная лишь есть
На «Корабле глупцов»,— им молча
Хлебнуть моей придется желчи.

Итак, внимательней читай
Ты эту книгу и считай,
Что, коль не назван в ней пока,
Избавлен ты от колпака.
Кто мнит, что он не мой герой,
Примкни покуда к умным в строй
И потерпи, будь малый скромный,—
Колпак получишь преогромный!

О БЕСПОЛЕЗНЫХ КНИГАХ

Вот вам дурак библиофил:
Он много ценных книг скопил,
Хотя читать их не любил.

*

— На корабле, как посужу,
Недаром первым я сижу:
Скажите: «Ганс-дурак», и вмиг
Вам скажут: «А! Любитель книг!»
Хоть в них не смыслю ни аза,
Пускаю людям пыль в глаза.
Коль спросят: «Тема вам знакома?» —
Скажу: «Пороюсь в книгах дома».
Я взыскан тем уже судьбой,
Что вижу книги пред собой.
Царь Птолемей собрал подряд
Все книги мира, говорят.
Весьма гордился Птолемей
Сокровищницею своей,
Но в грамоту не слишком вник —
И мало почерпнул из книг.

Я книги много лет коплю,
Читать, однако, не люблю:
Мозги наукой засорять —
Здоровье попусту терять.
Усердье к лишним знаньям — вздор,
Кто жаждет их — тот фантазер!

Хоть неуч я, а все ж могу
В академическом кругу
Блеснуть словечком «item» [1]. Да,
Латынь, конечно, мне чужда.
Родной язык доступней, но
Я знаю: «vinum» есть «вино»,
«Cuculus» — олух, «sus» — свинья,
«Dominus Doctor» [2] — это я.
Но уши прячу, чтоб не счел
Меня ослом наш мукомол.

О СТЯЖАТЕЛЬСТВЕ

Дурак пред вами — скопидом.
Стяжать, стяжать любым путем —
Цель его жизни, счастье в том.

*

Дурак — добро копящий скряга,
Ему его добро не в благо.
Кому богатства он откажет,
Когда в свой час в могилу ляжет?
Но тот еще глупей стократ,
Кто промотать преступно рад
Все, что на время во владенье
Дано ему от провиденья.
А призовет господь к отчету —
Не будет снисхожденья моту.
Родне все отписав именье,
Глупец отверг души спасенье.
Боишься прыщика, глупец, —
Чесотку схватишь под конец!

Коль ты нечисто стал богат,
Ступай поджариваться в ад!
Наследник разведет руками,
И ни к чему надгробный камень
И щедрый дар на храм тому,
Кто в адскую низринут тьму.

---

[1] Так же *(лат.)*.
[2] Господин доктор *(лат.)*.

Велел господь: «Последний грош
Отдай, покуда ты живешь!»
Мудрец — не жадный раб мамоны,
Его мечта — не миллионы:
Он больше горд самопознаньем,
Чем богатейшим состояньем.

Был алчным златолюбцем Красс —
И золотом опился раз.
Но, деньги в бездну моря бросив,
Кратет был истинный философ.

Кто бренных ценностей взалкал —
Втоптал живую душу в кал!

О НОВЫХ МОДАХ

Кто вечно только модой занят —
Лишь дураков к себе приманит
И притчей во языцех станет.

*

Что было встарь недопустимо,
Теперь терпимо, даже чтимо.
Считалось ведь не без причин,
Что борода — краса мужчин.
А ныне, кроме деревенщин,
Не отличишь мужчин от женщин:
На всех помада и румяна
(Раб Моды — та же обезьяна!),
И шея вся обнажена,
В цепях и в обручах она.
О, пленник Моды, до чего ж
Он на невольника похож!
Корзиной — волосы, кудряшки —
Как на овечке иль барашке.
Кто сушит голову в окне
На солнышке, кто при огне.
А вши — они не пропадут,—
Напротив, обретут приют
В несчетных складках сокровенных
Одежд моднейших, современных!

В кафтанах легких и в тяжелых,
Широкофалдных, долгополых,
В штанах, фуфайках и жилетах,
В пантуфлях, сапогах, штиблетах
Еврейский вкус царит опять!
Да, Мода то вперед, то вспять
Толкает нас неугомонно,
Свидетельствуя, что мы склонны
Всегда бродить туда-сюда
Путем порока и стыда.
Всесильна Мода, говорят.
И вот на ней другой наряд —
Кургузый, чуть не до пупа!
Но модников толпа глупа.
Позор вам, немцы! Прихоть Моды
Противна замыслам природы:
Что сокровенным быть должно,
То Модою обнажено.
Но есть всему пределы, сроки —
Страданьем платят за пороки.
Раб Моды иль ее раба,
И вас не пощадит судьба!

ДУРАЧКИ-СТАРИЧКИ

Вот-вот я в гроб уже сойду
Иль к живодеру попаду,
Но с глупостью живу в ладу.

*

Хоть стал я дряхлым стариком,
Слыву, однако, дураком:
Столетний глупенький младенчик,
Показываю свой бубенчик
Мальчишкам несмышленым я
(Сильна над ними власть моя!),
Мое ученье — им в забаву,
А я стяжать желаю славу.
В рай с этим не войдешь, о нет!
Пример мой плох и плох совет.

Чему учен, тому учу,
Однако быть в чести хочу,
Осмелюсь даже тем похвастать,
Как посрамлен бывал я часто
И уличался в странах дальних
В делах не очень-то похвальных.
Да, воду я люблю мутить
И не перестаю чудить,
А где не справлюсь я никак,
Поможет сын мой — Ганс-дурак.
Я за него не беспокоюсь —
Меня сынок заткнет за пояс!
Он дурью жив, он ею дышит,—
Дай срок — весь мир о нем услышит.
«Вот, скажут, истинный дурак:
Отец в сравненье с ним — сопляк!
Он так еще себя проявит,
Что весь дурацкий флот прославит!»
Отцам утеха на том свете,
Когда их тут сменяют дети!

Так нынче повелось в народе,
Что старость с мудростью в разводе.
А сколь чиста у старцев совесть,
Нам скажет о Сусанне повесть
И о ее клеветниках —
Двух похотливых стариках.

Старик-дурак себя погубит,
Коль он порок и кривду любит.

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Все те, кто озорства ребят
Не замечают, словно спят, —
Бед натерпевшись, возопят.

*

Глупцов глупей, слепцов слепей
Те, кто не воспитал детей
В порядочности, в послушанье,
Не проявив забот и тщанья,

Чтоб, как без пастыря ягненок,
С пути не сбился их ребенок.
И пусть — в дурной игре повинный —
Сам папенька с невинной миной
Не говорит: «Всех создал бог,—
Исправишь ли того, кто плох?»
Неправда! Учится ребенок
У мудрого отца с пеленок.
(Кто думает не так — дурак,
Ребенку и себе он враг!)
Все на лету хватают дети,
Соблазну попадая в сети.
Гнуть деревце ты можешь смело,
Пока оно не повзрослело,
А взрослое пригнул — сломалось!
Накажешь розгой... ну, хоть малость,
И смотришь — дурь из шалуна
Безбольно выгнала она.
Лишь строгостью добьешься толка:
Сорняк пророс — нужна прополка.

Жил праведно библейский Илий,
Но сыновья его грешили,
За что, покаран богом строго,
Он претерпел страданий много —
И умер в горе безутешном,
К сынам своим приравнен грешным.
Ах, дать бы юношам сегодня
Учителей поблагородней,
Как Феникс — тот, кого Пелей
Из сонмища учителей
Избрал для сына, Ахиллеса,
Дабы не вырастить балбеса!
Обрыскал Грецию Филипп —
И к Аристотелю прилип,
Чьим был учителем Платон,
Кто сам Сократом был учен.
Да, Аристотель, знанья солнце,
Учил героя Македонца!
Но современные отцы,
Отцы—скупцы, глупцы, слепцы —
Таких учителей находят,
Что время только зря изводят,

Готовя из учеников
Невежд, повес и дураков.
И то добро, коль неуч тот
Не полный — только полу...скот!

Тут, право, нечему дивиться:
От дурака дурак родится!
Но вы расплатитесь за это,
Когда ваш сын, как муж совета,
На столь почетном сидя месте
Блюстителя морали, чести,
Не раз почувствует в смущенье
Свое дурное обученье.
И поделом отец тогда
Сгорит от позднего стыда
И сожаленья: ведь не шутка —
Признаться, что взрастил ублюдка.
Посмотришь: этот — богохул,
Другой ударился в разгул,
Тот шляется по девкам, кутит,
Нечистые делишки крутит,
Четвертый, стыд забыв и страх,
Гляди, продулся в пух и прах!
Так с недорослями иными
Бывает, пустопродувными,
Которых с детства на беду
Не учат знаньям и труду,
Отдав учителям дешевым —
Невежественным, бестолковым.
А нравственность, влеченья, знанья
Зависят лишь от воспитанья.

Происхождению — почтенье,
Но сам ты — что? Происхожденье
Тобой не приобретено.
Богатство — тоже благо, но
Что есть оно? Судьбы каприз:
Прыжки мяча то вверх, то вниз!
И в славе — сладость, но она
Так ненадежна, неверна.
Прельщает тела красота,
Минула ночь — прощай, мечта!

Здоровье — клад, но с древних пор
Хворь начеку, как ловкий вор.
И сила — драгоценный дар,
Но где она, когда ты стар?!

Все преходяще, быстротечно,
И лишь наука долговечна.
Спросил Сократа Горгий встарь:
Был счастлив ли персидский царь,
Что в мире слыл владык владыкой,
Всесильем власти превеликой?
Сократ сказал: «А был ли он
В вопросах этики силен?»
Да, ни в богатстве, ни во власти
Нет без морали людям счастья.

О ТЕХ, КТО СЕЕТ РАЗДОРЫ

Под жернов лег дурак, который
Всех вовлекать привык в раздоры:
Хлебнет он муки и позора!

*

Известно, склочник был бы рад
Весь мир вовлечь в раздор, в разлад,
Чтобы шумела сплетня злая,
Враждой неистовой пылая.
Так не поранит острый нож,
Как ранит подлой сплетни ложь,
Причем лишь после обнаружишь,
Что это сделал тот, с кем дружишь.
А клеветник с ехидным смехом —
Утешен, горд своим успехом —
Злорадствует: «Куншток был тонкий:
Все шито-крыто,— я в сторонке!»
Мерзавец убежден, конечно,
Что тайну сохранит навечно.
Вот козырь-то его каков!
Не счесть таких клеветников,
Что разожгут коварной сплетней
Пожары распри многолетней.

К преступной цели напролом
Шел так же и Авессалом;
До времени неуязвимы,
Свои повсюду есть Алкимы,
Что сеют распри меж друзьями,
В ловушки попадая сами.
Того надежда обманула,
Кто весть о гибели Саула
Принес Давиду, но на месте
Царем казнен был за известье.
Тем кончили и два злодея,
Что умертвили Иевосфея.

Кто распри вспахивает поле,
Под жернов ляжет поневоле.
Почти всегда наверняка
Мы узнаем клеветника,
Хоть он коварен и хитер:
Дымится шапка — значит, вор!
Дурак — за дверью, но смотри:
Он там, а уши тут, внутри!

О ДУРНЫХ МАНЕРАХ

Тех, у кого манеры скверны,
И тех, кто чересчур манерны,
Зачислю я в свой флот галерный.

*

По длиннополому наряду,
По чванной поступи, по взгляду,
По поворотам головы,
Едва с ним встретились бы вы,—
Пусть он торопится иль, словно
Вельможа, шествует сановно,—
Вы сразу бы решили: «Хват!
И пустоват и нагловат,
И быть подальше от него
Благоразумнее всего».
Но кто неглуп и кто воспитан,
В сужденьях и в делах испытан,

Того признает общий суд,
В пример другим превознесут.
Натура мудрая — стыдлива,
Миролюбива, не криклива,
Добра не занимать ей стать,
И с нею — божья благодать.
Благовоспитанность ценней,
Чем все богатства жизни сей.

Об истинно высоком нраве
Судить мы по манерам вправе.
Кто повседневно сам не очень
Воспитанностью озабочен,
К манерам скромным не привык,
Тот, значит, глуп и туп, как бык.

Что может быть достойней, краше,
Чем скромность, благонравье наше?
Где сын понятлив, уговорчив,
Воспитан, неподатлив порче,
Там горд и счастлив там отец:
Был милостив к нему творец.

ОБ ИСТИННОЙ ДРУЖБЕ

Коль ты невинного избил,
Несправедливо оскорбил,—
Презренье ты себе купил!

*

Кто так ведет себя с людьми,
Дурак, дубина он, пойми:
Все будут ликовать, когда
Придет и на него беда.
Кто друга обобрать намерен,
Что предан был ему и верен,
И прямодушен был весьма,—
Тот, видимо, сошел с ума.

Священна дружба навсегда нам
Царя Давида с Ионафаном;

Ахилл с Патроклом — образец
Двух чистых дружеских сердец,
И Сципион и Лелий... Но —
Друзей подобных нет давно!

Раз денег нет — и дружбы нет:
Стоит на этом нынче свет!
И к ближним что-то незаметно
Теперь любви ветхозаветной.
Во всем корысти торжество,
Кругом — свойство и кумовство:
Ведь Моисей, кто нас учил
Других любить, давно почил.
Кто себялюбью лишь послушен,
А к пользе общей равнодушен,
Тот — неразумная свинья:
Есть в общей пользе и своя!
Вы Каина везде встречали:
Раз Авель счастлив — он в печали.
Друзей, когда не станет денег,
Две дюжины продашь за пфенниг,
А если лучших соберешь,
Уступишь семерых за грош!

ОБ ОПРОМЕТЧИВЫХ ДУРАКАХ

Ездок неопытный, к тому же
Не подтянувший трок потуже,
Очутится, всем на смех, в луже.

*

С кем дружит Глупость, eo ipso [1],
Всегда вам скажет: «Что ж, ошибся!»
Коль ты верхом собрался в путь,
Проверить сбрую не забудь:
Кто, дело сделав, ждет совета,
Тому не впрок ни то, ни это,
А кто заране все обсудит,
Тот в дураках потом не будет.

[1] В силу этого *(лат.)*.

Подумал бы вперед Адам,
Не влекся бы он к тем плодам,
И яблочком коль не прельстился б,
То с райской жизнью не простился б.
Когда бы понял Ионафан
Коварный Трифонов обман,
Не верил речи лицемерной,
Даров не взял бы, то, наверно,
Вернулся б невредим и жив он,
А в дураках остался б Трифон.
На что был Юлий Цезарь гений
И словопрений и сражений,
Но, мир вкушая, гений сей
Дал как-то маху, ротозей:
Письмо не сразу прочитал,—
И Брут в него вонзил кинжал.
И Никанор в просчете был —
Дичь продал прежде, чем убил.
Не повезло: остался вдруг
И обезглавлен, и без рук,
И вырван был потом, увы,
Язык из мертвой головы!

Успешен замысел, когда
Он своевремен, господа!
А торопыг с древнейших пор
Ждут неудачи и позор.

О ВОЛОКИТСТВЕ

Пленен Венерой, у плутовки
Ты, как дергунчик, на веревке.
Терпи, дурак, ее издевки!

*

— Я, жаркозадая богиня
Венера, возвещаю ныне,
В том присягая, что прямая
Дочь Ганса-дурня и сама я.
Кумир всесветный дураков,
Я юношей и стариков
Лишь захочу — и обольщу,
И всех в болванов превращу,

Перед собой повергнув ниц:
Не знает власть моя границ!
Тех, кто читали «Одиссею»,
Прошу припомнить я Цирцею,
И Калипсо́, и хор сирен.
Таков и мой всесильный плен!
Кто мнит, что он умен, хитер,
С тем короток мой разговор:
В котел безумья погружу
И в дурачка преображу.
А кто моим рубцом отмечен,
Ничем не может быть излечен!

Мой озорной сынок — дитя,
По-детски он шалит, шутя,
Но, на его проделки глядя,
Иной сластолюбивый дядя,
Закореневший в волокитстве,
С ним соревнуется в бесстыдстве,
И, как ребенок, несмышлен,
Двух путных слов не скажет он.
Сынок мой наг — и в этом знак,
Что похоть скрыть нельзя никак!

Спокон веков из града в град,
Затем что мой сынок крылат,
Любви влекущая беда
Порхает всюду и всегда,
И нет — от сотворенья мира —
Капризней, чем она, кумира.
Лук держит мой Амур-пострел,
Полны его колчаны стрел,
Всегда на тетиве рука,
И, чуть заметит дурака,
Стреляет он,— дурак сражен,
Остатков разума лишен
И, жертвой стать мне предназначен,
Пожаром страсти весь охвачен.
О, тот огонь неугасим!
Погублена Дидона им,
Медея, тем огнем объята,
Сожгла своих детей и брата.

Всех жертв любви мы не сочли б:
От страсти Несс-кентавр погиб,
И Троя натерпелась горя;
С горы низверглась Са́фо в море;
Сирены пением влекли
К себе на гибель корабли;
И взнуздан был, и был оседлан
Мудрец один красоткой подлой;
На воздух воспарил Вергилий,
Хоть бог ему и не дал крылий.
За курс искусства страсти пылкой
Овидий поплатился ссылкой...

Кой-кто мог мудрым слыть, когда б
Он не был блудодейства раб.
Кто женский пол чрезмерно любит,
В себе живую душу губит:
Ка́к богу богово воздать,
Коль слишком дамам угождать?
Хоть знатный будь, хоть низкий люд,
Беда и срам — цена за блуд.

Глупец отъявленный, кто мнит,
Что в блуде меру сохранит:
Распутникам, как говорят,
Все нипочем, сам черт не брат...

Одно тебе, дурак, лекарство:
Колпак! Носи и благодарствуй!

БРАЖНИКИ-ГУЛЯКИ

Бродягой, нищим тот умрет,
Кто вечно кутит, пьет и жрет
И лишь с гуляк пример берет.

*

Колпак ты на того надень,
Кто день и ночь, и ночь и день
Рад брюхо поплотней набить
И полной винной бочкой быть,
Как будто жизнь он взял на откуп
С единой целью: больше в глотку б!

Он за день виноградных лоз
Погубит больше, чем мороз.
Дадим такому человечку
На корабле глупцов местечко!
С ума сведет его вино —
Под старость скажется оно:
Трясуч, дурашлив, голос пропит,—
Свой смертный час он сам торопит.
На свете нет порока гаже:
Муж просвещенный, мудрый даже,
Предавшись пьянству, до конца
Лишится славы мудреца.

Пьешь в меру — разговор иной.
Не снес вина и старец Ной,
Хотя в ту пору в мире целом
Был самым первым виноделом.
Вино и мудрых в грязь повалит
И колпаки на них напялит.
Когда израильский народ
Вливал, бывало, лишку в рот,
Он, как заведено меж пьяниц,
Шумел, плясал безбожный танец
Вкруг изваяния тельца
Языческого образца.
Недаром бог во время оно
Пить запретил сынам Аарона.
Но в наши дни какой священник
Той заповеди не изменник?!
Хлебнул и Олоферн беды,
И головы и бороды
Лишась, когда был пьян однажды.
И — жертва той же самой жажды —
Бывал и Александр пьян,
Свой унижая царский сан,
И делал то, о чем потом
Сам вспоминал с большим стыдом.
Кто весел от вина сегодня,
Заплачет завтра в преисподней.

Когда б не пьянство, то вовек
Не знал бы рабства человек!

Чревоугодье, пьянство — страсти,
Их спутники — нужда, несчастье.
Отцам и сыновьям равно
Страданьями грозит вино,
Коль ты его хлебать привык
С кем ни на есть, как воду — бык.
Ах, мало ли таких гуляк,
Кому как дом родной — кабак:
Пришли — кабатчик наготове,
Две ляжки подал им коровьи,
Миндаль, изюм и рис принес,
А чем расплатятся — вопрос!
Все стали бы мудрей вдвойне,
Будь капля мудрости в вине,
Что пьют сверх меры и сверх силы
Обжоры, пьяницы-кутилы,
Друг дружке наливая кружку
И побуждая пить друг дружку:
«Твое здоровье!.. Пей!..» — «Смотри,
До дна, до капли!..» — «На пари!..»
«Налить?» — «Налей!..» Пьют дуралеи,
Себя нисколько не жалея:
Раз — в кружку, два — и в глотку. Ловко!
Намылить бы для них веревку!
Поистине ведь нет другой
На свете глупости такой!
Прочесть мы можем у Сенеки
(Мыслитель, живший в первом веке):
«Боюсь, что трезвых мир осудит,
А уважать лишь пьяниц будет,
И чтобы знаменитым быть,
Вина придется больше пить».

Но я в виду имею тут
И тех, кто пива много пьют.
Пьет умный в меру, а болван —
Хоть бочку, хоть бродильный чан.
Однако долговечней тот,
Кто понемногу, с толком пьет.
Приятно лишь во рту вино,—
В утробе мучит нас оно,
Всю кровь пропитывает ядом,
Как василиск — смертельным взглядом.

О СЛУГАХ ДВУХ ГОСПОД

К двум господам слугой наняться —
За парой зайцев сразу гнаться:
Полезно в глупости сознаться!

*

Тот глуп, скажу без церемоний,
Кто служит богу и мамоне.
Слуга, служа двум господам,
Ни тут не справится, ни там.
Кто хочет жить с пяти ремесел,
И об одном бы думать бросил.
С одной собакой, хоть убейся,
Поймать двух зайцев не надейся;
Не то что двух — скорей всего,
Не схватишь ты ни одного.
Кто много должностей имеет —
Ни на одной не преуспеет.
И тех, кто служит там и тут,
И там и тут напрасно ждут.
Всем не услужишь никогда:
Ты станешь путать «нет» и «да»,
Из всех отбросов есть окрошку,
И разбиваться весь в лепешку,
Льстить, и пред каждым унижаться,
И ни на что не обижаться.
Нагреет руки, говорят,
Кто лишнему местечку рад,
Кто хлещет всякое вино,
Тому не вкусно ни одно.
Хвала и честь слуге тому,
Кто верно служит одному...

Осел подох — изголодался:
Хозяев многих навидался!

О БОЛТУНАХ

Язык на привязи держать —
Душе от страха не дрожать.
Честь болтовнею не стяжать.

Несносен тот глупец, который
Со всеми затевает споры,
Хоть люди и молчат кругом,
В душе смеясь над дураком
Иль скрыть негодованье силясь:
«Вновь диспутировать он вылез!»
Тем, кто не к месту рад болтать,
Им «Братство дураков» под стать.
Хоть и не спрошен был, а сам
Дурак спешит ответить вам,
Как бы самодовольно бряк:
«Любуйтесь, люди, я — дурак!»
Болтун и болтовнею сыт,
Но горек будет поздний стыд!
И документы, коль захочет,
Болтун преступно опорочит:
Болтать ему не трудно,— вот
Когда на исповедь придет,
Тут отнимается язык,
Тут он заика из заик!

Иной бы умным показался,
Когда б, на грех, не разболтался.
Забарабанил дятел в ствол —
К своим птенцам тебя привел.
Молчанье — щит от многих бед,
А болтовня всегда во вред.
Язык у человека мал,
А сколько жизней он сломал,
Свой проявляя низкий норов,—
Виновник сплетен, склок, раздоров!
Но вот чего не взять мне в толк:
И хищников — будь лев иль волк —
Всех можно укротить, и лишь
Язык людской не укротишь:
Он то лопочет, то стрекочет,
Всех, кто нам дорог, опорочит,
Предатель он и клеветник,
Наш злой, издевчивый язык!

Язык лишь тем вредить не в силе,
Кто вечным сном уснул в могиле.
Язык — хитрец и лжец исконный,
Толкует вкривь и вкось законы,
Добро он в зло преобразит,
Любую правду исказит
И из суда наверняка
С сумою пустит бедняка.

Что болтуну? Как хочет врет,
Вранье щекочет сладко рот,
И ради красного словца
Предаст и мать он и отца.
Напыщенного пустослова
Толпа превозносить готова,
А уж коль знатность налицо,
На ком потоньше сукнецо,
Наряд богатый, кольца блещут,
Тех уж никто не оклевещет!
Кафтан потертый не в чести —
С ним власти не приобрести.
Когда бы дожили до нас,
Ораторствуя и сейчас,
Два златоуста из Афин —
Сам Демосфен и с ним Эсхин,
И Цицерон,— их знаньям грош
Была б цена, и пышно ложь
В их красноречье б распускалась,
Чтоб глупость ими увлекалась.

Грех не в опаску болтунам,
А лжец — друг ненадежный нам.
Кто имя божие хулит,
Хулы своей не утаит,
Куда б ему ни удалиться:
Слова его подхватят птицы.
Расплата будет так горька:
Длинна у господа рука!

Кто бревна тешет над собой,—
Исхлестан острою щепой.
Разинутый не в меру рот
Отвратнейшую дрянь сожрет.

Дурак красно болтать желает,
Мудрец молчит и размышляет.
Дороже ценится молчанье,
Чем празднословья недержанье.

Молчанью — золото цена,
А речь бесценна, коль умна!

ДРУГИХ ОБЛИЧАЮТ — СЕБЯ ПРОЩАЮТ

Кто вас послал сухою тропкой,
А сам пошел дорогой топкой,
Не мозгом наделен, а пробкой.

*

Дурак безмозглый, кто хулит
Путь, что судьба ему сулит.
Рука к столбу пригвождена —
Указывает путь она,
Но ей самой на том пути
Вовек ни шага не пройти.
Кому сучок попал в зрачок,
Пусть раньше вытащит сучок,
А другу говорит потом:
«Соринка, мол, в глазу твоем».
Куда как жалок тот учитель,
Чужих пороков обличитель,
Кто, зараженный ими сам,
В себе не видит их! О, срам!
Поистине, как говорится:
«Врачу сначала б исцелиться!»

Давать советы все не прочь,
Не зная, как себе помочь.
Сгубило именно сие
И Жантили и Мезюэ,
Когда одну болезнь в те дни
Пытались вывести они,
Но, не достигнув этой цели,
Оставить труд о ней успели.

Постыдные дела видны
Не лучше ли со стороны,
Чем тем, кто, совершивши их,
Достигли степеней больших?

Делами заработай право
Других учить себе во славу.

О БЕРУЩИХ ВЗАЙМЫ

Знай ты, живущий на долги:
Как ни хитри и как ни лги,—
Быстры платежных дней шаги!

*

Глупцом первейшим тот слывет,
Кто вечно займами живет,
На ту присловицу плюя,
Что поместил в эпиграф я.

Заблудших душ на свете много,
Не внемлющих заветам бога.
Соблазн пороков побороть
Не хочется им, но господь
Следит за ними. Близок срок,
А кредитор небесный строг.
Свое всему есть время, цель
И свой же путь: отсель — досель.
Кто любит брать взаймы, уже
Не думает о платеже:
«Ах, поручитель похлопочет —
Заимодавец долг отсрочит!»
Но, в срок не уплатив опять,
Придется на соломе спать.

Распляшется осел, прохвост,—
И не уймешь, хоть вырви хвост!

О БЕСПОЛЕЗНОМ УЧЕНИИ

Кто плохо учится, тот, значит,
Сам же себя и околпачит —
И горько под конец заплачет.

*

Я и студентам не потатчик,
Которым без моих подачек,
А как эмблема их ученья
Колпак присвоен для ношенья.

Не видя в книгах интереса,
Рад лоботрясничать повеса.
Науку истинную в грош
Не ценит часто молодежь,
А все, что дурно, бесполезно,
То ветрогонам и любезно.
Но этот же порок — о, срам!—
Присущ иным профессорам,
Чьи знанья куцые ничтожней
Их болтовни пустопорожней.
Ну, не глупцы ли, не болваны,
Кто всякой чуши постоянно
Своих студентов бедных учат,
Да и себя напрасно мучат?

Да, юноши обыкновенно
Поныне едут в Лейпциг, в Вену,
И в Майнц, и в Эрфурт, в Базель тоже -
Гнилой трухой питаться. Боже,
И в Гейдельберге до сих пор
Все тот же изучают вздор!
А дома ждет тебя позор:
В карманах пусто — хоть бы грош!
Добро, коль службу ты найдешь,
Как парень грамотный, в печатне.
Но кой-кому в шинке приятней
Пьянчугам подавать вино,
А спился там — пошел на дно...

Таких встречали вы и сами:
Колпак на каждом с бубенцами!

ЗАВТРА, ЗАВТРА — НЕ СЕГОДНЯ...

Кто, как ворона «кра, кра, кра»,
Твердит: «До завтра, до утра»! —
Тому колпак надеть пора.

*

Глупец, кто, внемля голос божий:
«Спеши, чтоб не взыскал я строже,
Исправься, грешный путь забудь!» —
Сам не спешит на правый путь:
Мол, нынче неохота, лень,
Живу, мол, не последний день,—
Исправлюсь завтра. Кра, кра, кра!
А доживет ли до утра?

Дурак себя же мучит тяжко,
И все отсрочка, все оттяжка!
А грех и глупость — тут как тут —
С весельем рядышком идут.
Клянется часто сын заблудший:
«Уж завтра-то я стану лучше!»
Но это «завтра» никогда
Не наступает, вот беда!
Как снег растаявший, как дым,
Заветный день неуловим.
И, только одряхлев, глупец
В то «завтра» вступит наконец,
Расслаблен, немощен уже,
С тоской раскаянья в душе.

Спеши сегодня лучше стать —
Не будешь завтра так страдать.
Звучало нынче божье слово,
А прозвучит ли завтра снова?
Кто исправляться завтра любит
И все грешит, тот душу губит.

О КАРАУЛЬЩИКАХ СВОИХ ЖЕН

Кто охранять стрекоз возьмется
Иль воду наливать в колодцы,
Пусть за женой следить берется.

*

День-два хороших, сто плохих
У глупых стражей жен своих.
Коль истинно честна жена,
За нею слежка не нужна,

А коль жена блудлива, лжива,
То своего добьется живо.
Какой ни учреди надзор,
Возьми все двери на запор,
Ставь караульных у ворот,—
Она всех за нос проведет.
И в башню заточи, иная
Родит младенца, как Даная.
А Пенелопу — без надзора —
Хоть осаждали ухажеры,
Но мужу двадцать лет она,
В разлуке с ним, была верна!

Кто знает, что наверняка
Ни разу не бывал пока
Женой обманут, что жена
Заботлива, добра, нежна,
И не боится он измены,
Тот истинно супруг блаженный.

Хоть будь красавицей жена,
Но если дурой рождена,
С ней, как с глухой кобылой, мука:
Как ни причмокивай, ни нукай,—
Пошел на ней пахать,— бог мой! —
Бороздки ни одной прямой!

Жена, что служит всем примером,
К таким привержена манерам:
Глаз на мужчину не поднимет,
Словца любезного не примет,
Боясь, что льстивый хват-угодник —
Злой волк в овечьей шубе — сводник...
Париса некогда сама
Елена не сведи с ума,
Дидона не прельстись Энеем,—
Судьба была б добрей к обеим!

О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ

Где смотрит муж сквозь пальцы, там
Жену с чужим он сводит сам:
Там кошке смех и плач мышам.

*

Хоть любодействуй в наши дни,
Хоть походя кого толкни, —
Оно теперь и не грехом
Считается, а пустяком!
И в грешном Риме святость брака
Не смели осквернять, однако —
Что́ Цезаревы нам законы,
Что́ Юлиевы нам препоны?!
Дом, где хозяин Ганс-тюфяк, —
Содом: «Ты дура!» — «Сам дурак!»
«Ты начала!» — «Молчи!» —
«Отстань!»
Так день-деньской раздоры, брань,—
Летит горшок, шумовка, тяпка,
А муженек, растяпа, тряпка,
Лицо — в ладонь и норовит
Прикинуться, что крепко спит.

Стар иль во цвете лет супруг,
Все женам нынче сходит с рук,
Все переварит муж-ублюдок,—
Луженым стал мужской желудок!
Мужья, подобные Катону,
Который в Риме в годы оны
По доброй воле был рогат,
Жену свою сдав напрокат,—
Не станут плакать, в драку лезть,
Супружества спасая честь.

Коль муж, уверясь, что жена
Заведомо пред ним грешна,
Жить продолжает с нею, он,
Я полагаю, не умен:
Он сам способствует жене
И впредь блудить на стороне.
Язвят соседи: — Не иначе,
Как в доле он с женою падшей,
И, с ней деля барыш развратный,
Он любит слушать, вероятно,

Кладя доходец в кошелек,
Ее слова: «Мой муженек,
Мой Гансик, знай, что из мужчин
Мне всех желанней ты один!..»

С ума все кошки сходят, лишь
Отведают впервые мышь,
А женщины, вкусив однажды
Любви с другим, любовной жажды
Не могут утолить: чем чаще,
Тем грех прелюбодейства слаще!
Что стыд, что честь, что мужа власть?
С мужчиной новым жарче страсть!

Поэтому мужьям и нужно
Жить с женами в согласье, дружно,
Чтоб повода не подавать им
Ко внесупружеским объятьям.
С женою обращайся ровно,
Порадуй ласкою любовной,
Не ссорься с ней по пустякам,
Не доверяй клеветникам,
Но, чтоб не каяться потом,
Зови гостей пореже в дом!
Знай: чем жена твоя пригожей,
Тем осторожней будь и строже —
Ведь мир коварством, ложью жив,
И каждый скрытен и фальшив.
В дом к Менелаю не вотрись,
Прельщен Еленою, Парис,
С женой остался б царь спартанский —
И не было б войны Троянской.
Когда б, уйдя на ту войну,
И Агамемнон-царь жену
Не оставлял бы на Эгиста,
С ней бывшего в связи нечистой,
С войны вернувшись, дома он,
Конечно б, не был умерщвлен
Кандáвл-царь, глупец другой,
Супругой хвастался нагой:
Кто рай укромный ценит мало —
Его разделит с кем попало.

Спокойней в браке те живут,
Кто реже в дом гостей зовут,
Особенно льстецов, пройдох,
Способных на любой подвох.

Слыви скупее всех скупцов —
Не высидишь чужих птенцов.
Гость, что за пазухой приносит
Гадюку,— он ее подбросит!
Не медли — это враг твой злой:
Такого — из дому метлой!

ГЛУПЕЦ ОСТАНЕТСЯ ГЛУПЦОМ

Ума набраться рад бы всяк,
Но, если глуп ты, как гусак,
Умней не станешь — так иль сяк!

*

Тот, кто, внимая мудрецам,
Ума не приумножит сам, —
Дурак: все знать он хочет, но
Все ему слишком мудрено.
Глупцов легко распознавать:
Что увидали — то и хвать!
Известно испокон веков:
Новинка — слабость дураков.
Но и новинка старой станет —
И вот уже другая манит.
Куда б глупец ни ездил, он
Все так же глуп, непросвещен.
Так гусь иной через забор
Перелетит в соседний двор —
Сюда нога, туда нога,—
Спроси, что видел: «Га-га-га!»

Поехать в Павию, иль в Рим,
Иль даже в Иерусалим,
Скажу,— заслуга небольшая.
А, знания приумножая,

Чужие посещать края
Считаю делом добрым я.
Но если даже привезешь
И сотню крестиков, ты все ж
Не будешь доблестью отмечен,
Ибо тебе хвалиться нечем,
Коль столько стран ты обошел,
А глуп остался, как осел.

Не изучил бы Моисей
Египетской науки всей,
И Даниил бы не был склонен
Усвоить мудрость вавилонян,—
О них не знал бы мир земной!..
Придет на исповедь иной
Очиститься,— мол, совесть жжет,—
А сам хитрит, лукавит, лжет,
И так уйдет с душою черной.
Гляди — унес на шее жернов!

О БЕЗРАССУДНОМ ГНЕВЕ

Того, кто шпорит то и дело
Осла, горланя обалдело,
Считать ослом ты можешь смело!

*

Дурак осла или ослицу
Намерен вскачь пустить и злится,
И, трезвый будь или хмельной,
Рычит на всех, как пес цепной:
«Рр...рррр!» Он, по-собачьи злобен,
Людей встречать лишь так способен
И думает, что страшен всем:
«Прррочь! Рррастерзаю!» А меж тем
Прохожий, размышляя здраво,
Махнет рукой: «Взбесился, право!
Судьба ли нас карает злая,
Таких болванов насылая,
Забыв, что видывали многих
И раньше мы скотов двуногих?!»

Лишает гнев рассудка нас —
Не знаем, что творим подчас.
Быть должен сдержан человек.
Архит — ученый, мудрый грек,
Лишь доведет его, бывало,
Слуга до белого накала,
Кричал: «Не будь я в гневе яром,
Уж это не сошло бы даром!»
Так и Платон, так и Сократ
Собой владели, говорят.
Кто прав, становится неправ,
Терпенье в гневе потеряв.
Впадает в грех, кто был несдержан,
Кто гневу быстрому подвержен.
И благочестью гнев вредит:
Что за молитва, коль сердит?
Лишась тигрят своих, тигрица
Не так, пожалуй, разъярится,
Как вспыльчивые дураки,
Что на внезапный гнев легки!

Ум и в седле уравновешен,
Гнев на осле несется, взбешен.

САМОДОВОЛЬСТВО И САМОНАДЕЯННОСТЬ

Коль мы, упорствуя, проказим
И дерзко в гнезда птичьи лазим,
То часто шлепаемся наземь.

*

Того изранит куст колючий,
Кто мнит, что он всегда всех лучше,
Что стал во всем он знатоком
И не нуждается ни в ком.
Однако на прямом пути
Не будет знать, куда идти,
А в месте новом, незнакомом
Заблудится он рядом с домом.

В беде таким зазнайкам худо:
Нет помощи им ниоткуда!
Пожалуй, может впасть и в ересь
Глупец, в себе одном уверясь:
«Я, мол, в делах житейских дока,—
Всех благ добьюсь, взлечу высоко!»
Дурак, взобравшийся повыше,
На дерево или на крышу,
Мечтал о славе, остолоп,
Но с высоты вдруг наземь шлеп!

Для корабля страшнее бурь
Самоуверенность и дурь.
Всем, кто к советам глух, — беда:
Не преуспеют никогда!
Не верил Ною мир, и вот —
Потоп унес людей и скот!
За то, что жил беспутно очень,
Корей землею был проглочен.

Владея не умом — умишком,
Кто так самонадеян слишком,
Охотно распороть готов
Никем не шитый плащ Христов!

О НЕПОСЛУШНЫХ БОЛЬНЫХ

Больной, твердящий слово «нет!»
На каждый докторский совет,
Спешит, как видно, на тот свет.

*

Больной — глупец, когда совету
Врача не внемлет и диету
Блюсти не хочет. Плачь не плачь,
Тут не поможет лучший врач!
Кто воду пьет, а не вино,
Хоть нужно именно оно,

И прочего не соблюдает,
Притом упрямо утверждает,
Что чувствует себя бодрей,
Тот в гроб уляжется скорей.
Дабы забыть свои болезни,
Начать лечение полезней,
Как только твой недуг распознан.
А если начинают поздно,
То от лекарства меньший прок
И больший тут потребен срок.
Сказав: «Здоровым быть хочу»,
Ты язву покажи врачу,
И хоть зубами сам скрипи,
А боль от скальпеля терпи,
Промыть дай рану, и зашить,
И с перевязкой поспешить.
Не душу твою вырвать хочет —
О жизни твоей врач хлопочет!

Пусть жизнь в больном уж еле **тлеет,**
Отчаиваться врач не смеет,
И пациент, покуда дышит,
Пусть бодрый глас надежды **слышит.**
Больной, что лжет врачу,— **глупец:**
Себя же губит он, как лжец,
Что лгать на исповедь приходит
Иль адвоката за нос водит.
Лжецы глупцам всегда сродни:
Во вред себе же лгут они!
Глуп, кто врача позвал, но **сразу,**
Врачебному не вняв наказу,
Идет, поверив ложным слухам,
К невеждам — **знахаркам-старухам,**
А те травой и наговором
И прочим ворожейным вздором
Его отправят прямо в ад,
В чем сам он будет виноват.
Всему готов поверить тот,
Кто исцеленья страстно ждет,
А глупых суеверий зло
Чрезмерно ныне возросло.
Я б описал их, но облыжно
Признают книгу чернокнижной.

Больным избавиться б от хвори,—
Не ищут, где недуга корень.
И черту душеньку заложит
Иной больной — авось поможет.
А где вмешалась чертовщина,
Там уж бессильна медицина...

О СОБЛАЗНАХ ГЛУПОСТИ

Дурак упал. Над ним смеясь,
Колпак надеть поторопясь,
Ты сам упал, разиня, в грязь.

*

Что падают глупцы — не чудо,
Над этим все смеются всюду,
И «умники» язвят: «Дурак!» —
А на самих сидит колпак.
«Дурак» — излюбленное слово,
Когда дурак честит другого,
Но между ними ни на грош
Ни в чем различья не найдешь:
Споткнулся этот на дороге —
Другой ломает тут же ноги.
Хоть строгой Аталанты меч
Срубил голов немало с плеч
У Гиппомена на глазах,
Но он, чудак, презревши страх,
Судьбу испытывать решился —
И сам чуть жизни не лишился!

Слепцу корить слепца нелепо:
Ведь оба в равной мере слепы!
Бранил однажды рака рак:
«Ты что назад ползешь, дурак!»
Но сам за другом полз он вспять,
Чтобы мораль ему читать.

Пониже бы летел Икар
И Фаэтон, как на пожар,

Не стал бы в отчей колеснице
Так лихо по небу носиться,
Забыв родительский запрет,—
Не умерли б во цвете лет!..

Тот к умным должен быть причислен,
Кто в корень зрит и здравомыслен.
Воистину, мудра лисица:
Войти в пещеру побоится
(Какой бы там ни ждал обед),
Когда следов о т т у д а нет.

МАЛО ЛИ ЧТО БОЛТАЮТ

От лисьего хвоста греметь
Не будет колокола медь.
Ушам от сплетен не болеть!

*

Кто хочет с миром ладить, тот
Немало горечи испьет,
Выслушивая, как о нем
Под собственным его окном
Такое говорят, что гаже
Придумать невозможно даже.
Поэтому блаженны те,
Кто, равнодушны к суете,
Покоя мудрого взыскуя,
Отвергли маету мирскую —
И, в горы, в долы удалясь,
Мирских грехов отмыли грязь.
Но мир, однако, и таких
Не любит, не щадит он их,
О них злословя, им не веря,
Всех лишь своим аршином меря.

Кто жить по совести решит
И против чести не грешит,
Что́ ему сплетни дураков,
Что́ языки клеветников!

Когда бы в оны дни пророки
Боялись обличать пороки,
Дабы не знать хулы, клевет,—
О них давно забыл бы свет.

Нет, да и не было от века
Такого в мире человека,
Чтоб угодил во всем любому
Болвану злому и тупому.
Родился б человек такой,
Каким бы чудным был слугой:
Старался б до свету вставать
И вообще забыть кровать!

Заткнуть бы глотки болтунам —
Увы, не хватит кляпов нам!
Нельзя предусмотреть никак
Того, что сочинит дурак.
Так в мире повелось оно —
Избегнуть сплетен не дано:
Кто любит петь, кто кукарекать,
Баран-дурак привык бе-бекать.

ШУМ В ЦЕРКВИ

Пришедший в храм с собакой, с птицей,
Перед глупцами похвалиться,
Мешает остальным молиться.

*

У тех, кто ходит в церковь с псами,
Бубенчики обычно сами
На колпаках звенят, бренчат,
Чуть псы залают, заворчат.
И сокол дерзкого повесы
Так крыльями во время мессы
Захлопает, что смолкнет пенье —
И хоть кончай богослуженье.
Тут остается с ловчей птицы
Снять клобучок, и — что стыдиться! —
Теперь болтай и хохочи,
И подбашмачными стучи

Ты деревяшками, бесчинствуй
И совершай любое свинство!
С какой-нибудь Кримгильдой здесь
Перемигнись, поклон отвесь,—
Красотка улыбнется — значит,
Не сомневайся: одурачит!..

Не лучше ль было бы, однако,
Чтоб сторожила дом собака,
Покуда в церкви ты, и вор
Не мог бы в твой проникнуть двор?
Не лучше ль было бы, чтоб твой
Пугач, твой кречет боевой
Был дома, на привычном месте,
В чулане темном, на насесте?
Чтоб обувь не просила кашки,
На улице бы деревяшки
Привязывал ты к башмакам —
И грязь не липла бы к ногам.
Когда бы в церкви болтуны
Не нарушали тишины,
Не говорили б мы, что бог
Плодить глупцов поменьше б мог.
Но дураки такой народ:
Шумят и норовят вперед!
Всем нам пример — Христос: из храма
Гнал торгашей он взашей прямо,
И тех стегал веревкой даже,
Кто голубей держал в продаже.
Разгневайся он так сегодня,
Заглохли бы дома господни.
Он, от попов очистив храм,
Добрался б и к пономарям!
Священен дом церковный: тут
Господь свой основал приют.

О ДУРАКАХ, ОБЛЕЧЕННЫХ ВЛАСТЬЮ

У глупости шатер просторный —
Весь мир тут суетный и вздорный,
Мошны и силы раб покорный.

*

Глупцов кругом так много... но
Оно ведь и не мудрено:
Кто сам себя средь мудрых числит,
Тот дураком себя не мыслит,
Хоть он-то именно кругом
Слывет примерным дураком.
Но дураком назвать попробуй
Властносановную особу!
Казаться умными им нужно,
Чтобы глупцы хвалили дружно,
А не похвалят — каждый сам
Себе воскурит фимиам.
Но мудрый хвастуна узнает:
Ложь самохвальная воняет!
Кто чересчур самонадеян,
Тот глуп, посмешище людей он!
А тот, кто истинно умен,
Молвой всеобщей восхвален...

Блаженны страны, в коих славят
Князей за то, что мудро правят,
И где в совете нет мздоимства,
Где не в почете подхалимство
И нет распутства кутежей
Средь власть имеющих мужей.
Но горе странам, чей правитель
Глупец и правды не ревнитель:
С утра совет там кутит, пьет,
Не ведая других забот.
Иной бедняга, рыцарь чести,
На скромном, незавидном месте
Счастливей, чем король-дурак,
Кому беспечность — злейший враг.
Ка́к мудрецы скорбеть должны,
Когда глупцы вознесены!
Но там, где глупость не в фаворе,
Там власть и благо не в раздоре.
В чести и силе та держава,
Где правят здравый ум и право,
А где дурак стоит у власти,
Там людям горе и несчастье.

Угодник мерзок нам везде,
И тем презреннее в суде:
Он может истину продать —
За грош тебя оклеветать.
Бесспорно, лавры судей ждут,
Чей нелицеприятен суд,
Однако ж и поныне люди
Страдают от неправых судей,
Подобных тем, что молодой
Сусанне мстили клеветой.
Заржавели, лишились блеска
И папский меч, и королевский
И не секут, где надо сечь,
Чтоб беззакония пресечь.

Подвластно все на свете злату.
О Риме так сказал когда-то
Югурта-царь: «О город блудный!
Тебя купить ничуть не трудно,
Лишь был бы кто купить готов!..»
А ныне мало ль городов,
Где и советы и суды —
Бессовестные слуги мзды?
Так рушат правые порядки
Власть, кумовство, корысть и взятки!..

Бывало, мудр был государь,
Ученые, бывало, встарь
В совет старейшин избирались,
А преступления карались;
В довольстве люди жили, мирно.
Но глупость полог свой обширный
Простерла над землею всей,
В свою вербуя рать — князей,
Чтоб здравомудрость угнетать,
Любостяжанью волю дать
И чтоб неопытный совет
Гнездовьем был народных бед,
Которых множится число.
Вот глупости всесветной зло!..

И дольше б княжил князь иной,
Когда б не стал на путь дурной,

А защищал бы справедливость
И льстивость бы карал, и лживость
Советников, которых надо
Еще задабривать наградой!
Кто взял подачку — прихлебатель,
Кто принял взятку — тот предатель.

КОРАБЛЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Под скрип снастей, под всплески весел
С мастеровыми всех ремесел
Корабль от берега плывет
По вольному простору вод.
Мастеровые эти люди
Везут своих цехов орудья.
Но нет респекта в наши дни
К ремеслам. Портачи одни
И проходимцы-шарлатаны
Преуспевают, как ни странно.
Все — хоть ни два ни полтора —
Сегодня лезут в мастера:
Ремесел много — и теперь им
Житье, невеждам-подмастерьям,
И даже тем, кто и недели
Учиться делу не хотели!
Работают того лишь ради,
Чтобы соседу быть внакладе.
Чуть цену сбавил — хоть беги:
Все в городе тебе враги!
А не уступишь — большинство
Тебя поддержит для того,
Чтоб цены сохранить. А все ж
Цена дрянной работе — грош!
Но эти самые строптивцы
Сбивают цену, нерадивцы,
Плохой работой. Так у всех:
Тот назову иль этот цех,—
Свои изделья сбыть готовы
Все нынче по цене дешевой.
Но вещь плохая не нужна,
Как дешева ни будь она.

Теперь ведь каждый норовит
Придать вещам лишь внешний вид,
А для любого ремесла,
Воистину, нет хуже зла!

Я вам признаюсь кое в чем:
Немало с этим дурачьем
Я сам якшался, чтоб о них
Поведал мой правдивый стих.
Но многого я не сказал:
За два-три дня все написал,
А то, что делается спешно,
Никак не может быть успешно.

Принес один мазила раз
Свою картину на показ
К прославленному Апеллесу.
Придать себе желая весу,
Похвастал он: «С такой картиной
Я справился за день единый!»
Но Апеллес в ответ: «Да ну?
За целый день — всего одну?!
По этой судя, я считал,
Что за день ты штук шесть создал!»
Мазиле так сказал художник...

Теперь представьте, что сапожник
Стачал сапог пар двадцать в день:
Рассыпались бы, чуть надень!
Сколь было бы для всех плачевно,
Коль оружейник ежедневно
Ковал бы дюжину клинков,
Снабжая ими простаков?
От них не прок, а лишь помеха:
С плохим оружьем не до смеха!
А если плотник без смекалки
Бревно для потолочной балки
Начнет тесать — так от бревна
Щепа останется одна!
И каменщиков есть немало,
Кирпич кладущих как попало.
Есть у портных свои грешки:
Длиннее делают стежки —

Скорей заказ готов. Увы,
Недолговечны эти швы!
А те, кто при печатном деле,—
Весь заработок за неделю
Беспечно в день один пропьют!
И то сказать, не сладкий труд —
И утомительный, и грязный:
Иль с мелочью разнообразной
Возись, иль книгу набирай,
И корректируй, и сверяй,
И краску черную вари
В такой жарище, хоть умри!

Иному, впрочем, на работу
Не жаль ни времени, ни пота,
А сделал — все не так, как надо!
Но он из Обезьяноградa,
И не было такого чуда,
Чтоб мастер дельный был оттуда!

На том же судне дураков
Немало есть учеников,
С которых шкуру-то дерут,
А платят им гроши за труд.
Но эти пустят все равно
Свой заработок на вино.
О завтра думать — есть ли толк:
Все пропил — лезь, как в петлю, в долг...

...Так они едут — с цехом цех,
Но я собрал еще не всех!

О ДУРНОМ РОДИТЕЛЬСКОМ ПРИМЕРЕ

Ребенок учится тому,
Что видит у себя в дому:
Родители пример ему.

*

Кто при жене и детях груб,
Кому язык распутства люб,
Пусть помнит, что с лихвой получит
От них все то, чему их учит.

Теперь вести себя прилично
Не в моде стало, и обычно
И женский пол, себя позоря,
Стал срамословить в разговоре.
Мужья — пример для жен своих,
А дети учатся у них:
Там, где аббат не враг вина,
Вся братия пьяным-пьяна!
Что говорить,— спокон веков
Полно на свете дураков!
Не волк воспитывал овец,
Походку раку дал отец.
Когда родители умны
И добродетельно-скромны,
То благонравны и сыны.
Попался как-то Диогену
Какой-то пьяный совершенно,
Впервые встреченный юнец.
«Сынок,— сказал ему мудрец,—
Ты, вижу, весь в отца родного:
Бьюсь об заклад — он раб хмельного!»

Коль видят нас и слышат дети,
Мы за дела свои в ответе
И за слова: легко толкнуть
Детей на нехороший путь.
Держи в приличии свой дом,
Чтобы не каяться потом.

О НАСЛАЖДЕНИЯХ

Кто похоги покорный раб,
Тот нищ умом и духом слаб,—
Он плохо кончит, жертва баб!

*

Грех похоти, мужской — тем паче,
Сравнить могу я с девкой падшей,
Что, у порога сидя, в дом
Зовет прохожего: «Зайдем!» —
И ложе по цене дешевой
Со всяким разделить готова,

Суля обманчивое счастье
Поддельной, всем доступной страсти.
Дурак в ее объятья вмиг
Бросается, как дурень-бык
Под тяжкий молот скотобойный
Иль как овечка, что спокойно,
Резвясь, вдруг в петлю попадет,—
А кто-то в сердце нож воткнет.
Смотри, глупец, не будь так рад —
Ты ввергнешь душу в темный ад,
Распутной девкой соблазнясь.
Но, похоти не покорясь,
Иного причастишься счастья.

Прочь от соблазнов сладострастья,
Чтоб в грех язычества не впал,
Как древний царь Сарданапал,
Кто мнил, что радости иной
Нам не дано, кроме земной,
А смерть всему кладет конец!
Себя же обличил глупец:
За мимолетным счастьем гнался,
А сам впоследствии признался.
«Кто наслажденья слишком любит —
Навеки сам себя погубит».
Нет радости, чтоб не минулась
И горечью не отрыгнулась,
Хоть, наслаждений трубадур,
Пел по-иному Эпикур!

О ТЕХ, КТО ЖЕНИТСЯ НА ДЕНЬГАХ

Тот, кто, прельстясь деньгами, в брак
Вступить готовится,— дурак:
Дождется ссор, скандалов, драк!

*

Кто добровольно стал ослом,
Тому и мука поделом!
Женясь на старой, но богатой,
Заплачешь ты: «О, день проклятый!»

Жить будешь, как в тюрьме, во мраке,
В своем бесплодном, стыдном браке
С тем денежным своим мешком,
Который был твоим божком
И чьей начинкою приманен,
Ты одурачен, оболванен.
Столь неразумный шаг свершив,
Никто не может быть счастли́в.
Да, кто вступает в брак такой,
Забудь про счастье и покой!

Уж лучше жить в пустыне голой,
Чем этой жизнью невеселой
Со злой женой, в плену таком,
Став денег ради дураком!
Коль нет свиньи, любитель сала
Зарежет и осла, пожалуй.
И что же? Сала — черта с два,
Скотинка бедная мертва,
Хозяину же, кроме слез,
Грязь остается и навоз.

Брак современный, между прочим,
Власть Асмодееву упрочил.
Где Вооз, кто на чужестранке,
Пришелице-моавитянке,
Женился, хоть была она
Совсем бедна и незнатна,
И жил в согласье с ней, любовно?
А нам помеха — ранг сословный
И златолюбье! Потому
Нет мира и любви в дому:
Бранятся врозь, бранятся хором:
Тот uprecorum, та — vsbessorum.

О ЗАВИСТИ И ЗЛОБЕ

Царят на свете три особы,
Зовут их: Зависть, Ревность, Злоба.
Нет им погибели и гроба!

*

Глупцов рождают нам всегда
С избытком Зависть и Вражда.
Желая вас предостеречь,
О них веду сегодня речь.
В словах «твой», «мой» находим завязь
Того плода, чье имя Зависть.
Хуля мое, ты им прельщен,
Чем я, конечно, возмущен.

Чуть Зависть нас однажды ранит,
Смертельной эта рана станет.
Природа Зависти одна:
Наметит цель себе она —
И чтоб достичь ее верней,
И день и ночь стремится к ней.
Ни сна, ни отдыха ей нет,
А сердцу — боль, а сердцу — вред.
Как жалкий пес, завистник бедный
Страдает, отощавший, бледный,
И, задыхаясь в лютой злобе,
На всех он смотрит исподлобья.
Смеется Зависть нам на горе,
Когда корабль потопит в море.
Не станет пищи ей — сожрет
Сама себя, но не умрет.

У Зависти есть страшный яд —
Им отравляет брата брат:
Припомним Каина, Исава,
Себя покрывших черной славой;
Сынам Иакова, Фиесту
И многим тут нашлось бы место.
Так Зависть обуяла их,
Что в них и голос крови стих!
Ведь нет вражды неукротимей,
Чем ненависть между своими!

О ВРАЧАХ-ШАРЛАТАНАХ

Вас, кто врачует самозванно,
Пройдохи ловкие, профаны,
Вас обличаю, шарлатаны!

*

Что скажешь ты глупцу врачу,
Который, глядя на мочу
Смертельно тяжкого больного,
В растерянности бестолковой
Хватает лекарский томище
И указаний, неуч, ищет?
Пока вникает он, смекает,—
Больной и дух свой испускает!
Иные лезут в медицину,
Всего и зная лишь рицину
И то, что в книжке-травнике
И у старух на языке.

Противу правды не греша,
Скажу, что много барыша
По милости больных болванов
Течет в карманы шарлатанов.
Как в старину, так в наши дни
Любую лечат хворь они
И разбираться не привыкли,
Кто болен — юноша, старик ли,
Какого пола пациент,
Каков природный элемент:
Горяч, прохладен, сух иль влажен,—
А вид у них напыщен, важен!

Мешок травы, бочонок мази —
Вот пластырь вам для всех оказий:
Столь действенная сила в нем,
Что и нарыв, и перелом,
И язвы, и параличи —
Всё этим пластырем лечи!
Кто пользует болезни глаз
Одною мазью каждый раз,
Кто без сосуда для воды
(Невеждам в этом нет нужды!)
Клистиры ставит, очень просто
Себя прославит, как Цуоста!
Подобный врач похож при этом
На адвоката, что советом
Не выручит: не знает он,
Какой к чему приткнуть закон!

Духовнику он также пара,
Не знающему, что за кара
Вас на суде господнем ждет
За этот грех или за тот.

Беда, коль неуч неумело
Не за свое берется дело
И только мзду, обманщик, любит:
Доверишься ему — погубит!

О САМОВЛЮБЛЕННОСТИ

Я в зеркало смотреться рад:
К лицу дурацкий мне наряд.
Кто схож со мной? Осел, мой брат!

*

Дурацкую тот варит кашу,
Кто мнит себя умней и краше
Всех остальных, кому не лень,
Как одержимому, весь день
Глядеться в зеркало, себя
В зеркальном облике любя,
Но, видя рожу двойника,
Не признавать в ней дурака!
Чуть он услышит рассужденье
О красоте иль обхожденье,—
И клясться уж готов, что он
Один всем этим наделен,
Что он судьбой своей отмечен,
В делах, поступках безупречен.
Где б ни сидел, где б ни лежал,
Куда б ни шел, ни поспешал,
А зеркало всегда при нем.
Таких и в прошлом мы найдем:
Когда-то в Риме Марк Отон
Был императором. Вот он
И на охоту, даже в бой
Всегда брал зеркало с собой,
И брился дважды в день, и мыться
Любил он молоком ослицы.

Но женщин я б не упрекал,
Что жить не могут без зеркал,—
Их все-таки, бедняжек, жаль:
Год учатся носить вуаль!

Кто мнит, что он лишен изъяна,—
Схож с гейдельбергской обезьяной.
В творенье рук своих влюблен,
Свихнулся царь Пигмалион.
Нарцисс не умер бы юнцом,
Не обольстись своим лицом.
Но к зеркалам и тех влечет,
Кому глядеть в них не расчет.
Кто стал бараном глупым, тот
Советов мудрых не поймет:
Теперь по естеству он глуп,—
Чин дурака барану люб!

О ТАНЦАХ

Ка́к благо танцев не признать:
Вперед шага четыре-пять
И столько же проходишь вспять!

*

Я объявляю дураками
Всех тех, кто, дрыгая ногами,
В прыжках дурацких и круженье
Находят удовлетворенье.
Но лишь помыслю я о том,
Что танец порожден грехом,
Я в выводе суровом тверд:
Людей навел на танцы черт,
Создав для них тельца златого,
Дабы унижен был Иегова.
От танцев много есть последствий,
Весьма тлетворных в младолетстве:
Заносчивость и самохвальство,
Распутство, грубость и нахальство.
Стыдливость в танцах не в чести,—
Как тут невинность соблюсти?!

На танцах сверх обычной меры
Нас тянет в дом мадам Венеры,
Амур нас дразнит, шалопут,
И добродетели — капут!

На всем на этом свете, право,
Я не видал вредней забавы
И омерзительнее срама
В дни сельских праздников в честь храма,
Когда, забыв и стыд и страх,
Не только поп, но и монах
С толпой мирян во грех сей тяжкий
Впадает, оголяя ляжки,—
Кой-что еще назвать я смог бы!
Им танцы — лакомее смоквы!

Дай Кунцу с Кларой в пляс пуститься,
Готовы целый день поститься.
Бедняжки! Труд ножной тяжел!
Глядишь — точь-в-точь с козой козел!..
Коль их в мой флот я не зачислю,
Я, значит, в глупости не смыслю...

Ах, танцев жаждет стар и молод,
Неутолимый это голод!

НОЧНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ

Кто под любым окном охоч
Проволокитствовать всю ночь,—
Тот мерзнуть, видимо, не прочь.

*

Что там за шум, что за галдеж?
Не карнавальный ли кутеж?
То всполошила весь квартал
Орда ночных праздношатал:
Покой домашний им не лаком —
Милей на улице гулякам
Торчать под окнами красотки,
Бренчать на лютне и драть глотки,

Чтобы, с постели встав, она
Им улыбнулась из окна.
Пропет один, другой стишок,
А из окна ночной горшок
На них выплескивает прямо
И камнем потчует их дама.
Невелико веселье, впрочем,—
Трястись от холода всю ночь им,
Во флейту дуть, струну щипать,
Петь серенады и не спать
И через рынок дровяной
Стремглав нестись, как кот ночной.

Среди студенческой толпы
Тут не в диковину попы,
Тут разных возрастов миряне —
И много ссор, и много брани,
И много просто всякой дряни,
Тут рев, и блеянье, и вой
Скотов, ведомых на убой.
Глупец глупцу дает наказ,
Где должен в следующий раз
Петь за него он серенаду,
Но все держать в секрете надо.
Однако же о том секрете
Уже известно всем на свете.

А жены их ка́к бы хотели
Любви в супружеской постели,
Покуда козлики их скачут!
Еще доскачутся — заплачут!

О НИЩЕНСТВЕ

Я обличаю в этой книжке
Всех дураков и их делишки:
Спасайтесь, нищие людишки!

*

Глупцов мы и средь нищих сыщем
Числа теперь не стало нищим:
Их братия не голодна,
Богатые есть ордена!

Но как ни велики богатства,
На бедность жалуются братства
И клянчат, не жалея слез:
«Подайте, как учил Христос!»
Завет о бедных и убогих
Обогащает ныне многих.
Кричит вожак: «В дорогу, братцы!
Мешки полны! Живей собраться!»

От века продавцы реликвий
Народ обманывать привыкли.
На паперти шумит базар,
Разложен плутовской товар —
Все тут священно, драгоценно:
Из вифлеемских ясель сено,
От Валаамовой ослицы
Кусок ребра; перо хранится
Архистратига Михаила
(Не сякнет в нем святая сила);
Тут есть уздечка боевого
Коня Георгия святого;
Одна сандалья святой Клары...

Как часто человек не старый,
Не хворый, а во цвете лет,
У коего ни права нет,
Ни маломальской нет причины
Не гнуть в работе честной спину,
А так — бесстыжий тунеяд,
Кто жить, бездельничая, рад,—
Легко протягивает руку!
Он эту низкую науку
И детям преподаст своим,
Дабы им нищенствовать с ним,
А кой-кому из них сей муж
И руку вывихнет к тому ж,
И будет истязать их, мучить,
Чтоб жалостливей им канючить.
Немало жертв таких, как эти,
Ты в Страсбурге и в лазарете
Найдешь, и в доме для сирот,—
Не дремлет попрошайный сброд!

Наш город Базель, между прочим,
Их плутней служит средоточьем,
Но вникнуть в их дела попробуй,—
У них и свой язык особый!
Чтó совесть? Жизнь сытней была бы!
У каждого из них есть баба:
На улице — ах, боже мой! —
Как немощна! А что домой
Приносит с в о е м у! А тот
Нажрется и винцом запьет;
Потом приходит в кабачок,
Там попадется простачок —
Сыграет в кости с ним мошенник,
И дурачок ушел без денег!
Но так как плут везде плутует,
То часто, как цыган, кочует —
Спасается, возмездья труся.
Там стянет курицу, там гуся —
И в путь. А с ним три неразлучных
Пройдохи тертых — три подручных...

От сребролюбья спятил свет:
Все жаждут лишь монет, монет!
Герольды были в старину,
Оповещавшие страну,
Какою карою какие
Дела карались плутовские.
Герольдов уважал народ.
Теперь любой бахвал орет,
И, что-то возвещая, врет,
И палку носит, как когда-то
Нес булаву герольд-глашатай:
Такое нищенство доходней
И с виду как-то благородней.
О, ловкачи! Взглянуть на платье —
Всё рвань, заплата на заплате,
Но кубок чтоб чеканным был
И плут чтоб семь раз на день пил!..

Не всех костыльников жалей:
Тайком — пойдут без костылей!
Один падучую устроит
И этим выручку утроит;

Другой отдаст ребят в прокат
Тому, кто ими не богат,
А тот усадит их в корзины,
Нагрузит на хребет ослиный,
Как пилигрим, что, мол, на благо
К святому их везет в Сантьяго.
Костыль, клюка иль деревяшки,
Горб у бедняги иль бедняжки
Или гноящаяся рана —
Все это только для обмана!..

Могу ль всех перечислить я?
От нищих нам уж нет житья,
Их шаек все растет число.
Ведь нищенствовать тяжело
Тому, кто истинно в беде
Противостать не мог нужде.
А дармоед, само собой,
Доволен нищенской судьбой:
Сыт хлебом он всегда пшеничным,
И мясом, и вином отличным —
Его ривольским услаждай,
Эльзасского ему подай!

Так попрошайничества зло
И превратилось в ремесло.
Беспечность, лень, кутеж, картеж -
Промотанного не вернешь,—
Сума на плечи, в руку клюшка —
И промышляет побирушка.
А нет теперь, увы, запретов
На плутни нищих-пройдисветов!

Живут они, всех нас колпача,
Меня с тобой куда богаче!

О ЗЛЫХ ЖЕНАХ

От злой жены чтоб улизнуть,
Найти покой хоть где-нибудь,—
Муж пустится и в дальний путь.

*

Дабы не вызвать нареканий,
Я вас предупреждал заране:
Достойных женщин ни одним
Стихом не трону я своим,
Но осужденья заслужу,
Когда плохих не осужу.
Жена, коль не глуха к внушенью,
Не столь падка на искушенья.

Муж ласков, коль жена нежна,
И он суров, коль зла жена.
Но раз у бабы лютый норов,
Не оберешься разговоров:
Брань, верещанье, воркотня
И ночью, и в теченье дня,
Попреки, плюхи, пыль столбом
И ложь на лжи — хоть в стену лбом!
Брань не смолкает и в постели:
Супруг несчастный терпит еле,
Внимая проповеди в час,
Когда сам пастырь спит у нас.
Тянуть с женой веревку станешь —
Знай, никогда не перетянешь!

Иная с виду так скромна,
А дома — лишь она умна:
Чтоб муж молчал, не поучал.
Чтоб ничего не замечал!

Язык иной жены для мужа
Врага отъявленного хуже.
Уж если баба распалится,
Она свирепее, чем львица,
Оберегающая львят,
Когда пленить их норовят.
Мы, поразмыслив кой о чем,
К такому выводу придем:
Ловушек нет страшней на свете,
Чем тайные силки и сети,
Что женщины спокон веков
Плетут для ловли дураков.

Три вещи мир бросают в дрожь
(Четвертой — не переживешь):
Вдруг ставший барином холоп,
Обжора, пьяный остолоп
И тот, кто плоть и дух свой слабый
Связал со злобной, грубой бабой.
А где служанка в госпожах,
Там родословный ствол зачах!

Есть три других — ненасытимы
(Четвертое — неукротимо):
Жена, земля и бездна ада —
Сколь ни давай, еще им надо!
Огонь не скажет добровольно:
«Натешился! С меня довольно!»

Я трех вещей постичь не мог
(Избави от четвертой бог!):
Орла, парящего над тучей,
Змею на каменистой круче,
Кораблик дальний средь зыбей,
Мужчину — мальчика глупей.
С иной женой бывает так:
Чуть-чуть не осквернила брак
И губ еще не остудила,
А скажет: «Разве я блудила?»
Худая кровля не страшна —
Страшна сварливая жена!
Что сатана тому бедняжке,
Кто с ведьмой жил в одной упряжке?

ОБ АСТРОЛОГИИ

О звездах ныне столько чуши
Наворотили — вянут уши.
Но верят в чушь глупцы, кликуши!

*

Наобещает вам дурак
То, что свершить нельзя никак:
«Любую хворь я излечу,
Я, мол, и горы сворочу!»

Весь мир того не совершит,
Что посулить дурак спешит.

Глупцов безмозглых предсказанья
Мозг обрекают на терзанья.
Что бог судил нам в мире этом,
То по созвездьям и планетам,
Забыв, что ими правит бог,
Предречь нам тщится астролог,
Как будто мы постигнуть можем,
Что уготовил промысл божий...
...Хоть не язычник он, слепец,
Но он христианин-глупец:
Ужель в созвездьях разберешь,
Какой хорош иль нехорош
Для купли день, и для продажи,
И для строительства, и даже
Для объявления войны,
И для женитьбы, между прочим,
И для всего, о чем хлопочем?..

. . . . . .

С прискорбием гляжу теперь я,
Как расплодились суеверья:
Толкуют тот или иной
Крик птицы в тишине ночной,
И сны берутся толковать,
И прорицать, и колдовать,
Тщась от луны добиться ясной
Того, что просят днем напрасно.
Да, чернокнижья лжеученье
Теперь для многих — увлеченье!
Как простолюдье, так и знать
Все тайное хотят познать —
И обязаться чем угодно.
Но все напрасно, все бесплодно!

Они не только бег планет
Истолковать дерзают,— нет! —
По ходу звезд хотят исчислить,
О чем способна муха мыслить

И приговор судьбы грядущей:
Кому привалит куш большущий,
Кто будет счастлив, кто умрет.
Морочат чепухой народ!
От глупости весь мир оглох,
Глупец глупцам — пророк и бог!
Мне ль о печатниках смолчать?
Им что ни дай, они — в печать:
Истолкованье снов, судеб —
Все им пожива, все им хлеб.
Срам — тискать книжечки с такой
Невежественной чепухой!
Какую чушь теперь ни порют,
Никто против нее не спорит...

Когда б учений ложных зло
Бед и напастей не несло,
Не утверждали б мы так смело,
Что это — дьявольское дело.
Зловредна астрологов ложь:
Пророчат и скота падеж
По звездным измененьям неба,
Неурожай плодов и хлеба,
И гибель виноградных лоз,
И дождь, и ветер, и мороз.
Крестьянам на руку оно:
Зерно придержат и вино,—
Ведь петля голода туга —
Раскупят все втридорога!
А надо бы к сему причастных
Лжепрорицателей опасных
Судить, карать, и очень строго:
Бог не подвластен астрологу!
Но божья милость оскудела —
И процветает черта дело!

О ГЛУПЦАХ, НЕ ПРИЗНАЮЩИХ СЕБЯ ГЛУПЦАМИ

О Марсии подумать жутко:
С него содрали кожу — шутка?!
Зато при нем осталась дудка!

*

Дал бог глупцам одну натуру:
Не признаются, хоть ты шкуру
Сдери, что дураки они.
К примеру — Марсий в оны дни:
Глупец и глух и слеп — ведь он
Вполне уверен, что умен.
Глумиться можешь над болваном,
Как над паяцем балаганным,
Дурак в самодовольстве чванном
Сочтет издевку похвалой.
Но дудка — обличитель злой!

Богатый окружен друзьями —
Друзья его толкают к яме,
Пока, обобранный вконец,
Не разорится он, глупец,
И всех друзей лишится тоже.
Тут взмолится он: «Боже, боже!
Где ныне все мои друзья
И кем утешен буду я?
Задуматься бы раньше мне,
Не очутился бы на дне!»

Дурак большой, конечно, тот,
Кто промотать способен в год
То, чем безбедно мог бы жить
Всю свою жизнь и не тужить.
Но так как был он очень глуп,
То на издержки не был скуп
И задавал пиры с утра.
И вот— пойти с сумой пора!
Где прежнее великолепье?
Ходи босой, носи отрепье —
Посмешище былым друзьям!
Тут плачь не плачь —виновен сам!
Но благо тем, друзья которых
Добры, верны, с кем в разговорах
Утешишься, найдешь участье.
Мы одиноки большей частью!..

Есть и чудовищная глупость —
Непрошибаемая тупость:
Живьем сдирай с такого шкуру —
И то не разберется сдуру
Безмозглый этот остолоп,
Ушами только хлоп да хлоп!
Нередко шуточку отмочит
Иной глупец — и сам хохочет,
А кое-кто заметит так:
«Зачем старается дурак
Изобразить нам остряка?
Ведь сразу видно дурака!
Дурак он — больше ничего,
Ничтожное он существо!»

Иной бы умным стать хотел,
Да сдуру в дудку задудел,
Тем доказав для славы вящей,
Что дуралей он настоящий.
Еще один есть вид глупца,
Что вылупился из яйца
Сороки или попугая.
Тут страсть дурацкая другая:
Чтоб очень умным показаться —
Всегда ученых тем касаться.
Но видят сразу все кругом —
Судьба свела их с дураком:
Ни слова не сказал толково!
Возьмись ты дурака такого,
Как перец в ступе, день и ночь
Хоть год без устали толочь,
Не выбьешь дури из болвана:
Самообман — отец обмана!

Кой-кто терпеть согласен муки:
Пусть ему скрутят ноги, руки,
Лишь денег дали бы ему,
Чтоб тайно их копить в дому.
Пускай честят на все лады,
Плюют в лицо — в том нет беды:
Чего не стерпишь ради денег,—
Лишь бы процентик, хоть на пфенниг!
Доказано ведь не однажды:
Имеешь больше — больше жажда!

Но есть еще глупцы одни:
Нет ни детей, и ни родни,
И ни друзей, а все в трудах,
В заботах тяжких и мечтах —
Копить, копить! Спроси его —
Он сам не знает для кого!

Когда в воде сидел Тантал,
То проку в этом не видал,
И радости не испытал
Он и от яблок наливных:
Сорвать с ветвей не мог он их!

О СУТЯЖНИЧЕСТВЕ

Вам поношенье, вам позор,
Зачинщики раздоров, ссор!
Вы не затмите правде взор!

*

Да, я непримиримый враг
Неугомонных тех сутяг,
Что ссорятся всегда со всеми,
Проводят в спорах, в склоках время,
На мировую не идут
И чуть какой пустяк — так в суд.

А чтобы дело затянуть
И правосудье обмануть,
Они, в сутяжническом зуде,
Выводят из терпенья судей.
Но тщетны все увещеванья:
Под колокольный звон изгнанье
Пускай присудят, пусть ославят,
Хоть вне закона пусть объявят,—
Сутяга рад: он убежден,
Что с дышлом схож любой закон.
Да, он доволен, не пытаясь
Понять, что он и есть тот заяц,
Что, жарен в собственном соку,
Раздарен будет по куску

Как адвокатам, так и судьям
И многим прочим нужным людям,
Из коих каждый — молодчина
Ловушки ставить на дичину.

Река течет из родника,
Процесс в суде — из пустяка!
Теперь потребен стряпчий новый,
Да иноземный — недешевый,
Кто вновь закрутит все, затянет
И пуще судей оболванит.
А что при том пропьют, прожрут —
Того не стоит весь их труд!
Тем больше дров, чем дальше в лес,-
И все запутанней процесс!

Сутяг таких не обуздать —
Зады им нужно отхлестать!

О БЕСПОЛЕЗНОСТИ ОХОТЫ

Что стоит денег и заботы,
А много ль пользы от охоты,
Имей хоть славу знатока
Охотницкого языка?

*

Охотой, правду говоря,
Лишь время убивают зря.
Сказать — забава нам нужна,
Так слишком дорога она:
Всех этих гончих и борзых
Не кормят из горшков пустых.
Что станет пес вам или птица,
Никак не может окупиться
Ни редкой куропаткой вашей,
Ни тощим зайчиком в ягдташе.
А сколько стоит сил, тревог —
Скакать за дичью без дорог,
Обрыскивать долины, горы,
Овраги, степи, рощи, боры,

Сидеть в засаде, не дохнуть,
И вдруг чихнуть — и дичь спугнуть!
Распуганной в охоте дичи
Намного больше, чем добычи.
Но часто в ход идет дичинка,
Что нам стрелок приносит с рынка.
Стяжать себе желая славу,
Затеет кое-кто облаву
На кабана, медведя, льва,
Однако тот стрелок едва
Козулю робкую убьет.
А тут уж страху он хлебнет!

Добычу добрую зимой
Крестьянин принесет домой
И, живо распродав дичину,
Подставит ножку дворянину.

Отцом охоты был Нимрод,
Чей богом был отвергнут род.
Охотником заядлым став,
Слыл грубым грешником Исав,
Не то что праведный Иаков.
Но не найдешь теперь, однако,
Таких, как Губерт и Евстахий,
Что отказались, в божьем страхе,
От всех охотничьих забав,
Путь службы господу избрав,

О ХВАСТОВСТВЕ

О, рыцарь старины ушедшей!
Я сам, поверьте, сумасшедший.
Хотите шпорами гордиться?
Я надеру вам уши, рыцарь!

*

Позвольте вам глупцов представить,
Привыкших сами себя славить.
Бахвал, сколь ложь ни будь нелепа,
Мнит, что все люди верят слепо,

Когда он им бесстыдно врет,
Как стар его дворянский род.
А между тем отец его
Только и знал скорей всего,
Что колотушкой бух-бум-бом!—
Бондарным занят ремеслом;
Мог также быть из конокладов,
А может, скупщик был закладов
Иль даже ростовщик-злодей,
Пускавший по миру людей.
А отпрыски такого предка
Теперь стараются нередко
Дворянским званьем щеголять,
Чтоб надлежало представлять
Их так отныне: «Ганс фон Менц,
И сын их — кавалер Винценц!»

Тех, кто себя так превозносят,
Не любят люди, не выносят.
Любой хвастун — надутый чванством
Болван, прославленный болванством,
Как господин фон Бруннедрат,
Тот рыцарь, тот аристократ,
Кто из-под Муртена позорно
Так улепетывал проворно,
Что выше пояса, со страху,
Штаны загадил и рубаху,
Но все ж — со шлемом и щитом —
В дворяне выскочил потом:
Был щит его чеканно-клетчат,
В гербе — цаплеобразный кречет,
Гнездо с пятком яиц на шлеме,
Заносчивый петух в эмблеме,
Что, видимо, был сам готов
Своих высиживать птенцов.

Таких болванов много есть,
Которым воздается честь,
Которым выдают награды
За возглавленье ретирады,
Когда на всем бегу назад
Врагу седалищем грозят,

Хваля впоследствии свою
Отвагу в том лихом бою:
«Стрелял, колол — всех наповал!»
Но сам так далеко бахвал
Бежал от схватки, что едва ли
И пулей бы его достали!

Но Гинцу или Кунцу нужен
Дворянский герб — и чтоб к тому ж он
Был обязательно со львом
На светлом фоне золотом,
И — в верхней, в нижней половинке ль —
Корона, шлем и род: «Кревинкель».
Пергамент и печать добыл —
Ты «голубую кровь» купил!
Все нынче жаждут подтвержденья
Дворянского происхожденья.
Но только нравов благородство
Есть грамота на превосходство.
Тот благороден, на мой взгляд,
Кто честь блюдет, трудиться рад,
А кто сих доблестей лишен,
Ленив, распущен, неучен,—
Не благороден, прямо скажем,
Хоть графским сыном будь, хоть княжьим..
Так лезет в докторы иной,
Хоть и страницы ни одной
Из «Corpus juris» не прочел.
Ученой степенью осел
Его пожаловал: пергамент —
Прав его докторских фундамент!
Вот почему — не ради блажи —
Здесь доктор Цап всегда на страже:
Чуть неуч сдуру глупость ляпнет,
Цап его за уши и цапнет!
О, этот доктор Цап — мудрец,
Всем докторам он образец:
Учился дома, на чужбине,
Что знает он — не снится ныне
Всем этим новоиспеченным
Так называемым «ученым»:
Берёт и мантия — и вот
Невежда доктором слывет!

К примеру, некий Ганс Дерьмо —
На лбу ничтожества клеймо.
Края норвежцев, мол, и шведов
Он изучал, не раз изведав
Их стужу. Он и южный зной
Претерпевал в стране одной,
Из коей дальше нет дорог...
А он от дома, видит бог,
Не отходил на расстоянье,
Когда не чует обоняньe
Той колбасы чесночной духа,
Что в доме жарит мать-старуха!

Различны виды хвастовства —
Не перечислишь большинства:
Дурак вовек не может снесть,
Что он таков, каков он есть!

ОБ ИГРОКАХ

Иные сядут за картишки —
Что им беседа, что им книжки,—
Дела забыты и детишки!

*

Не редкость также дураки —
Отъявленные игроки,
Кому без их игрецкой страсти
Нет в жизни радости и сласти;
Кто жаждет день и ночь азарта,
Будь это кости или карты;
Кто рад за круглый стол засесть -
И ночь и день не спать, не есть,
Но чтоб вино не иссякало
И жарче страсти разжигало,
Так, чтобы завтра видел каждый
Последствия вчерашней жажды:
Тот желт иль груши зеленей,
Того тошнит в углу сеней,
У третьего же цвет лица
Бледнее, чем у мертвеца,

Четвертый стал, напротив, черным,
Как будто он возился с горном.
Всю ночь играют, попивают —
Зато потом весь день зевают,
Как будто мух ловить хотят!..
Иного пусть озолотят,
Чтоб высидел какой-то час
За проповедью хоть бы раз
И не храпел в рядах передних
Так, чтоб умолкнул проповедник,—
Сон побороть ему невмочь.
А вот за картами всю ночь
Сидеть он будет напролет! —
И не зевнет и не всхрапнет!

Ослепли дамы в наши дни —
Забыли, кто и что они:
Пренебрегая женской честью,
С мужчинами развязно вместе
Играют в карты до утра,
Что не приносит им добра.
За прялкой лучше бы сидели,
Чем при таком не женском деле!
Играли врозь бы оба пола,
Оно б не так глаза кололо.

Страдая честолюбья жаждой,
Задумал царь Филипп однажды,
Чтоб Александр на приз бежал
И славу бегуна стяжал.
Ответил Александр-мудрец:
«То, что ты требуешь, отец,
Исполню я, но при условье —
Бежать с сынами царской крови.
Поэтому проси меня,
Когда найдется мне ровня!»
А ныне до чего доходят?
Кто с кем компанию не водит?
И горожане и дворяне
Якшаются со всякой дрянью,
С последней швалью, с кем позор
Вступать в общенье, в разговор.
Но и попы играть садятся
С мирянами — и не стыдятся!

Вот этому прощенья нет!
Им как-никак подумать след,
Что чувства зависти и злобы
У лиц духовных — грех особый:
Чуть проиграл — и злоба вспыхнет,
А с нею зависть не утихнет.
И вообще не со вчера
Запрещена попам игра!

Кто любит сам с собой играть,
Не будет от стыда сгорать,
Встав должником из-за стола,
И не побьют его со зла.
Но, говоря об игроках,
Я должен в нескольких строках
Напомнить, что сказал Вергилий,—
Ведь игроки и в Риме были:
«Не горячись в игре, дабы
Не стал ты жертвою судьбы.
Игры непостижима власть —
Мутит рассудок эта страсть.
В ком здравый разум все же есть,
В игре да соблюдает честь!
Не меньше денег дорога
И выдержка для игрока.
Не горячись, играй спокойно,
А проиграв, держись достойно...»

Бывает часто с игроком:
Сел богачом — встал бедняком.
Кто карты взял, прельстясь наживой,
Тому не знать игры счастливой.

Игра азартная грешна:
Она не богом нам дана,—
Ее придумал сатана!

О ПОДХАЛИМСТВЕ

Придворных холить жеребцов —
Искусство низкое льстецов
И путь к успеху подлецов.

*

Эй, лизоблюды, паразиты,
Вас повезет корабль закрытый,
Вас, шаркунов придворных льстивых,
Вас, хитрых подхалимов лживых,
Обманывающих господ
И презирающих народ!
Ища местечек потеплее,
На славословья не жалея
Ни фимиама, ни елея,
Питается холуйский люд
Лизанием господских блюд.
Что подхалиму честь, когда —
Глядишь — сам вышел в господа
За то, что знал, как с ловчей птицей,
С конем дворцовым обходиться,
Умел держать по ветру нос,
Лгать и хвостом вилять, как пес!
Кто в ход пускает ложь и лесть,
Тому легко высоко взлезть,
Хоть раньше он и на порог
Хором таких ступить не мог.
Льстецов бесстыжих обожают,
Их за дворцовый стол сажают;
Они в фаворе, потому что
Двор не имеет в чести ну́жды.

Но льстец иной, чтоб отличиться,
Так поусердствует скребницей,
Что конь со ржанием сердитым
Лягнет его в живот копытом —
И лизоблюд с господским блюдом
Коль жив останется, так чудом!

Мы лесть и ложь прикончить можем,
Лишь только глупость уничтожим.
Когда бы все такими были,
Какими кажутся нам или
Казались тем, что есть на деле,—
Куда бы колпаки мы дели?

О НАУШНИЧЕСТВЕ

Тот легкомыслен безнадежно,
Кто верит каждой сплетне ложной,
А ложь мерзавцам — корм подножный.

*

Что ни нашепчешь дураку,
Все лезет в глупую башку.
Чуть лопоухого заметил,
Ты, значит, дуралея встретил.

Ужель мы не глупцами будем,
К порядочным причислив людям
Злокозненного негодяя,
Который, сзади нападая,
На безоружного обрушит
Кулак и тяжко оглоушит?
Теперь удар из-за угла
Молва в искусство возвела.
И правда: лихо ныне бьют,
Бьют — и ответить не дают,
Бьют — и глумятся подло, гнусно,
Коварно и весьма искусно!

Тут в ход пускают очень ловко
И подмалевку и тушевку,
И лживый вздор клеветников
Прельщает уши дураков.
Но жертве оговора злого
Никто не даст сказать ни слова.
Лишен защиты, будет он
Судом облыжно осужден,
А правды так и не докажет:
В мешок его впихнут — и свяжут!

Не слушал бы жену свою —
Адам остался бы в раю,
И Ева, в любопытстве праздном,
Не вверься змиевым соблазнам,

При муже и по наше время
Блаженствовала бы в Эдеме.
Кто слишком легковерен, тот
Себя до петли доведет.
Лукавым шептунам не верь:
Весь мир фальшив и лжив теперь.

О ФАЛЬШИ И НАДУВАТЕЛЬСТВЕ

Алхимия примером служит
Тому, как плутни с дурью дружат
И как плуты живут — не тужат.

*

Теперь мы на парад шутов
Пошлем поддельщиков, плутов.
Всё ныне фальшь: друзей советы,
Любовь и дружба и монеты.
Не стало братских чувств: обманом
Находят путь к чужим карманам.
Хоть сотню ближних разоришь,—
Не страшно: главное — барыш!
Что честностью нам дорожить?
Нажить, хоть душу заложить!
И тысяча пусть ляжет в гроб,
Чтоб куш ты пожирней загреб!

Исчезло чистое вино,
Теперь — бог знает что оно!
Его подделывают хитро:
Поташ берется и селитра,
Корица, сера и горчица,
Сухая кость — ребро, ключица,
Коренья, всяческое зелье —
Вот нынешнее виноделье!
Всю эту гадость в бочки льют —
Беременные жены пьют
И, раньше времени полнея,
Не обольщают нас сильнее.
Бывает, что вино такое
Ведет и к вечному покою...

Подковывают кляч, которым
Пора предстать пред живодером.
Копыта в войлок замотав
И снадобий бодрящих дав,
Стоять их приучают, словно
На долгой всенощной церковной.
Хотят на полудохлой твари
Нажить, как на гнилом товаре.
На этом держится весь мир:
Барыш — вот наших дней кумир!

Нет верной меры, вес неточен —
Фунт ссохся, локоть укорочен;
В суконных лавках так темно —
Не разобрать, что за сукно.

Покуда ты с открытым ртом
Глядишь на строящийся дом,
Мясник уже нажмет тем часом
Привычным пальцем чашу с мясом,
Любезно вновь о весе спросит —
И на прилавок мясо сбросит.

Дороги не годны ни к черту.
С деньгами плохо: слепы, стерты,
Иных и вовсе бы не стало
Без постороннего металла.
Фальшивых денег — пруд пруди:
Берешь, так в десять глаз гляди...

Ну, а духовные столпы —
Монахи, схимники, попы?
Их благочестье — фальшь, игра:
Нельзя от волка ждать добра,
Хоть шкура будь на нем овечья!.

Да, не забыть: сверну тут речь я
На архидурье плутовство —
Алхимией зовут его.
Вот этой, мол, наукой ложной
И золото в ретортах можно
Искусственным путем добыть,—
Лишь надо терпеливым быть.

О, сколь неумные лгуны —
Их трюки сразу же видны! —
Кто честно и безбедно жили,
Все достояние вложили
В дурацкие реторты, в тигли,
А проку так и не достигли.
Сказал нам Аристотель вещий:
«Неизменяема суть вещи»,
Алхимик же в ученом бреде
Выводит золото из меди,
А перец — из дерьма мышей
Готовится у торгашей.
Подкрашивают все меха,
Но обработка их плоха:
За два-три месяца ни ости,
Ни пуха в шубе нет,— хоть бросьте!
Из суслика и мускус гонят —
От вони вся округа стонет!
К селедкам свежим на подвеску
Подкинут тухленькую — трескай!
Сидят везде, как пауки,
Старьевщики-ростовщики.
Торгуя держаным товаром,
Мешают новое со старым,
И что ни день — торгаш-мошенник
В карман кладет немало денег.
Вам рухлядь всучат здесь и хлам,
И плесень с гнилью пополам.
И впрямь блажен тот человек,
Кто надувательства избег!
Отец теперь детьми обобран,
Но был и сам отцом не добрым.
Трактирщик с гостя лишку хватит,
А гость фальшивыми заплатит.
Повсюду фальшь, обман, коварство:
Уж не антихристово ль царство?

О ЗАМАЛЧИВАНИИ ПРАВДЫ

Кто правду утаил из лести
Иль даже опасаясь мести,
Дождется божьего возмездья!

*

Глупец трусливый — потому
Что некто пригрозил ему
Иль сам желая подольститься, —
Поведать истину боится,
Плюя на совесть и на честь,
Забыв, что бог на свете есть.
А бог всем тем оплот и щит,
Кто, зная правду, не молчит.

Когда б сказал во время оно
Всю истину пророк Иона,
Не знал бы он такой порухи –
Барахтаться в китовом брюхе!
Но Илия́ — пророк-герой:
За истину стоял горой,
И бог святого Илию́
Призрел и приютил в раю.
Сияньем правды осиян,
Крестил Исуса Иоанн.

Коль другу дружески сурово
Сказали вы упрека слово,
А тот не хочет слушать вас,
Не огорчайтесь: будет час —
Он сам поймет, что больше прока
От горькой истины упрека,
Чем от похвал иных льстецов —
Лжецов двуличных и глупцов,
И благодарным вам навек
Останется тот человек.

Две вещи сразу на примете,
Не сразу различима третья:
Красивый город на пригорке
И Ганс-дурак из поговорки,
Кто, стоя, сидя или лежа,
Заметен сразу нам по роже.
Но правды свет, глупцам назло,
Хоть поздно вспыхнет, но светло,
И все, кроме глупцов, конечно,
Повсюду чтут ее извечно.

А дураки — с древнейших пор
Глумленье любят и позор.

Дурацкий флот создать решив,
Корабль свой первый заложив,
Немало от людей колпачных
Намеков слышал я прозрачных:
Мол, колер нужен веселее —
Тут розовее, там белее,
И не дуби корой дубовой,
Используй липы сок медовый.
Но, неподатлив, как утес,
Я слова лжи не произнес.
Бессмертна правда лишь одна,
И колет всем глаза она.
Черни меня, порочь ее,
А правда сделает свое,
Хотя б и не увидел мир
Собрания моих сатир.

Когда за правду смело, рьяно
Я вдруг бороться перестану,
С болванами мне плыть, болвану!

КОРАБЛЬ БЕЗДЕЛЬНИКОВ

К нам, братья, к нам, народ бездельный!
Держали путь мы корабельный
В Глупландию вокруг земли,
Но вот — застряли на мели!

*

Над нами, дураками, смейтесь,
Но истребить нас не надейтесь:
Глупцами переполнен свет,
Нет стран, где нас, болванов, нет!
Из Дуроштадта в край глупландский
Пустился наш народ болванский.
В Монтефьяскон мы завернем
За добрым тамошним вином,
Чтоб веселей нам, дуракам,
Плыть к дурогонским берегам.

Но неизвестность нас тревожит:
Как и когда нам бог поможет
Прибыть в лентяйский этот край —
Глупцам обетованный рай,
Где б мы свое создать могли
Отечество от всех вдали!
Мы кружим по морю, блуждаем,
Куда нам курс держать, гадаем,
Покоя нет, гнетет тревога,
А ведь ума у нас немного!

Мы приняли к себе на борт
Большую свиту и эскорт,
Что, соблазнясь дурацким благом,
Пустились плыть под нашим флагом.
Так, дни за днями, безрассудно
Морской стихии вверив судно,
Однако жизнью дорожа,
Плывем, от ужаса дрожа,
И богу молимся, чтоб спас,
Поскольку карты, и компа́с,
И лага счет, и склянок бой
Нам не понять, само собой,
Как в небе звезд расположенья.
Плывем вслепую — ждем крушенья:
Грозят нам скалы с двух сторон
Погибелью без похорон.
Мы много сказочных созданий
Встречали на путях скитаний:
Шли мимо острова сирен,
Что завлекают пеньем в плен,
И на циклопа нарвались,
Которому хитрец Улисс —
(Такое Одиссею в Риме
Дано было второе имя)—
Глаз выколол. Но этот глаз
Вновь оживает каждый раз,
Чуть Полифем почует нюхом,
Что понесло дурацким духом.
А если разъярен циклоп,
Глаз вырастает во весь лоб.
Рот Полифема — до ушей:
Людей хватая, как мышей,

Он дурака за дураком
Заглатывает целиком.
А кто спасется чудом, тот
В плен к листригонам попадет —
И, дураками пообедав,
Оближется царь людоедов:
Болванье мясо — их питанье,
Вином им служит кровь болванья.
Вот в их утробах наш народ
Пристанище и обретет!
Все это некогда Гомер
Придумал нам, глупцам, в пример:
Не лезь, мол, в море, дуралей!
Но был Гомером Одиссей
Воспет как образец героя
За то, что при осаде Трои
Столь хитроумный дал совет.
А после, в море десять лет
Скитаясь, он из многих бед,
Умом своим руководим,
Жив выходил и невредим,
Но от опасностей себя ведь
Не мог он навсегда избавить.
Раз, в ураган попав свирепый,
Корабль его разбился в щепы,
И уцелел лишь Одиссей
В жестокой передряге сей:
До берега доплыл он голый,
Поведав случай невеселый.
Когда же наконец в свой дом
Как нищий он пришел потом,
То ум не мог помочь ему:
Никем он в собственном дому
Не узнан был, кроме собаки,
И пострадал от сына в драке.
Но речь о нас: мы счастья ищем,
В глубокий ил зарывшись днищем;
Мы слышим бури приближенье,
Мы, в луже сидя, ждем крушенья:
В лохмотья парус превращен,
Сломалась мачта... Крик и стон...
Нам нет надежды уцелеть!
Как эти волны одолеть?

То вверх тебя швырнет под тучи,
То в бездну бросит вал могучий.
Но крепко сели мы на мель —
И нам не сдвинуться отсель!

Мы Одиссею и в подметки
Не станем по уму и сметке:
Презрев опасности и страх,
В неведомых плывя морях
И к берегам безвестным чаля,
Хлебнул он бедствий и печалей,
А потерпев крушенье, наг,
На сушу выплыл как-никак —
И больше приобрел в скитанье,
Чем все былое достоянье!
А мы ведь горе-мореходы —
Мы терпим поделом невзгоды:
Иль мы на рифы сядем, или
Завязнет киль в глубоком иле,
А буря судно, как скорлупку,
Мотает, и за шлюпкой шлюпку
Срывает с палубы волна.
Смывает и людей она.
За борт снесен сам капитан!
Свирепствующий ураган
Корабль разбитый в море гонит —
И дураков немало тонет.

Глупцов погибших не вернуть.
Но целью твоих странствий будь
Лишь гавань Мудрости. Бери
Кормило в руки и, смотри,
Плыви рассчитанным путем —
И мудрым мы тебя сочтем.
Тот истинно меж нас мудрец,
Кто сам своей судьбы творец,
Кто цели жизни не изменит,
Кто мудрость высшим благом ценит.
Умен и тот, кто умным внемлет
И наставленья их приемлет.
А кто на тех и тех плюет,
Тот угодит в дурацкий флот.
К нам опоздает — не беда!

Другой корабль плывет сюда:
Там он, глупцам-собратьям брат,
Спеть «Гаудеамус» будет рад
Своим козлиным дуротоном.

А после в море разъяренном
Равно погибнуть суждено нам.

О ЗАСТОЛЬНОМ НЕВЕЖЕСТВЕ

Невеж застольных много есть,—
Избавь нас, боже, рядом сесть!
Им должен я мораль прочесть.

*

Порок и глупость изучая
И в эту книгу их включая,
Хочу еще кое-каких
Представить вам глупцов других —
Из тех, о коих разговор
Придерживал я до сих пор.
Любой из них — будь дубом-дуб,
И невоспитан будь и груб —
По простоте и слепоте
Безнравствен менее, чем те,
Которые со зла вредили
И на корабль мой угодили.
Да, этот люд не то чтоб очень,
Чтоб уж безбожно был порочен,
А просто — груб и неотесан
И за столом совсем несносен.
«Невежедурни» — так зовут их,
Мужланов этих пресловутых,
Кому поныне пред обедом
Обычай руки мыть неведом
И кто спешит к столу, спроста
Садясь не на свои места,
Так что приходится сказать:
«А ну, приятель, пересядь
Подальше-ка, туда, в конец!»

Тот, разумеется, глупец,
Кто тянется к вину и хлебу,
Не прошептав молитвы небу,
И кто из блюда первый — хвать
И — в рот, и, чавкая, — жевать,
Хотя сидит немало там
Господ значительных и дам,
В чьем обществе такой народ
Не должен вылезать вперед.
И тот ведет себя прескверно,
Кто дует столь немилосердно
На кашу, будто он губами
Решил тушить пожара пламя.

Неряхи оставляют пятна
На скатерти; кой-кто обратно
На блюдо общее положит
То, чего сам уплесть не может,
И отбивает аппетит
Застольникам,— иных мутит!
Бывает и наоборот:
Едок-лентяй — покуда в рот
Доставит ложку он, зевая,
И зев захлопнуть забывая,
Все, что держал зевака в ложке,
Опять в тарелке, в миске, в плошке.

И привередливые есть:
Что ни подай, не станут есть,
Сначала не обнюхав снеди,
Коробя этим всех соседей.
Бывает, что обжора рот
Едой набьет невпроворот —
Жует, жует, сопя и тужась,
И жвачку изо рта (вот ужас!)
Начнет выплевывать, осел,
В тарелку, на пол иль на стол!..
Увидишь — и с души воротит.
Кой-кто еще и не проглотит
Куска, а с полным ртом хлебнет —
И щеки полоскать начнет,

Так надувая их, как будто
Он весь распух в одну минуту.
И вдруг вино, что в рот влилось,
Фонтаном хлещет через нос —
И все боятся, что мужлан
В лицо плеснет вам иль в стакан.
Рот вытирать не любят,— сала
С полпальца на стекле бокала.
Пьют, громко чмокая, с особым,
Преотвратительным прихлебом.
Питье вина бывало как-то
Почти что ритуальным актом.
Теперь на ритуал плюют —
Пьют торопливо, грубо пьют.
Поднимут высоко сосуд,
Глоток побольше отсосут,
Во здравие друг дружки крякнут,
И вновь — чок-чок! — посудой звякнут,
И другу честь не воздана,
Коль ты не выпил все до дна.
Но как мой друг ни будь мне люб,
По мне, обычай этот глуп:
Что мне в твоем пустом стакане?
Я пить люблю без понуканий:
Пью для себя и в меру я.
А кто без меры пьет — свинья!

Глуп тот, кто разговор застольный
Один ведет, самодовольный,
А все должны — будь ему пусто! —
Молчать и слушать златоуста,
Что обличает только тех,
Кого как раз и нет, на грех.
А вот еще закон приличья:
За шестиногой серой дичью,
Что расплодилась в волосах,
Нельзя за трапезой в гостях
Охотиться и то и дело
Казнить ее в тарелке белой,
Купая ноготь свой в подливе,
Чтоб стала вкусом прихотливей,
Потом сморкаться, после сморка
Нос вытирая о скатерку.

Воспитанными я б не счел
И тех, которые, на стол
Поставив локти, стол качают,
Что неудобством не считают.
А то еще, избави боже,
На стол положат ноги тоже,
Как та злосчастная невеста,
Что на пол шлепнулась не к месту,
Такой издав при этом звук,
Что онемели все вокруг.
Будь непристойный звук хоть слаб,
Отрыжка выручить могла б,
Но все узнали звук тот грубый.
Какой позор! К тому же зубы
Все выбила дуреха та,
И кровь — ручьями изо рта!..

Еще повадка есть другая:
Соседу яство предлагая,
Стараются подать ему,
Что не по вкусу самому:
Сомненьями себя не мучай —
Захватывай кусок получше!
Забавно наблюдать, как блюдо
При этом вертится, покуда
Подцепит опытный едок
Поаппетитнее кусок.

Чтоб рассказать о всем о том,
Что дурно делать за столом,
А делать кое-кто привык,
Мне двух таких не хватит книг.
К примеру: оторвать иного
Нельзя от кубка кругового;
Тот лезет пальцами в солонку,
Что при воспитанности тонкой
Не принято. Но я скажу,
Что чистые персты ножу
Предпочитаю, если он
Из грязных ножен извлечен,
И час назад или немножко
Пораньше обдирал он кошку.
Стучать по скорлупе яичной

Чрезмерно громко — неприлично,
Как многое, чего, признаться,
Не собираюсь тут касаться,
Поскольку это только тени
На благородном поведенье.
Я лишь о грубости пишу
И заклеймить ее спешу.
А правил светскости примерной
Не впишешь в целый том, наверно!

ИЗВИНЕНИЕ ПОЭТА

Нетрудно глупость бичевать,
Если ни разу надевать
И самому тебе пока
Не приходилось колпака.

*

Дурак большой, конечно, тот,
Кто платит мастерам вперед:
К чему о качестве старанье,
Коль деньги получил заране?
Хоть был заказу срок назначен,
Но если он вперед оплачен,
То наперед и знай: не раз
Просрочен будет твой заказ.
Допустим, мне вперед заплатят
(Надолго все равно не хватит!),
Чтоб я не трогал дураков.
Признáюсь без обиняков:
Дадут — возьму: кормиться надо,
Но ты, дурак, не жди пощады!

Когда бы только денег ради
Я эти заполнял тетради,
То цели бы не увидал
И всех трудов не оправдал.
Однако лишь во имя божье,
Да и на благо миру тоже
Предпринял я свои труды,
А не для славы или мзды:
Был бескорыстен я вполне —
И в этом бог свидетель мне!

Я знаю, за мои писанья
Не избежать мне наказанья.
Руководясь благой мечтой
(Не знать ей клеветы худой!),
Я господу отчет представлю
И, если перед ним слукавлю,
Его заветы искажу
Иль что-то темное скажу,
Я примирюсь с любою карой
За каждый новый грех и старый.
Всех вас я об одном прошу:
Пускай все то, о чем пишу,
Добру послужит и вреда
Не порождает никогда!
Не для того трудился я,
Хоть знаю, что судьба моя —
Судьба цветка: всем пчелам — мед,
А паукам он яд дает.

Я и на это не скуплюсь —
Тут хватит всем, на всякий вкус
Того, что есть. А нет — так нет,
И требовать того не след:
Не унести ведь никому
Тех ценностей, что нет в дому!
Кто благомыслия не хочет,
Тот на меня пусть зубы точит,
Но по его речам поймут,
Что он болван и баламут.
Все то глупцы порочат злобно,
В чем разобраться неспособны.
Чужие спины б им на время —
Изведали б чужое бремя!

Читай собранье этих притч,
Кто может пользу их постичь,
А сам я разберусь и так,
Где ногу тесный жмет башмак,
Где тут ошибка, где огрех,
За что меня корить не грех:
«Врач, исцеляйся сам,— по виду
И ты из наших, не в обиду!»
Ну, что ж! Свидетельствую богу,

Что наглупил я в жизни много,
И мне тот орден уготован,
Что мною же самим основан.
Колпак прирос ко мне, друзья,
Стянуть его не в силах я.
Но я стараюсь — и скажу,
Что сил на это не щажу,—
Глупца, в каком бы ни был чине,
Распознавать в любой личине.
Надеюсь, мне господь поможет —
Мои успехи приумножит.

Сих проповедей фолиант
Кончает так Себа́стиан Брант,
Хоть эта истина стара:
Сегодня так же, как вчера,
Открыта всем стезя добра!

МУДРЕЦ

Я все сорта глупцов назвал,
Чтоб каждый их распознавал.
А чтобы вы мудрее были,
Поможет вам мой друг Вергилий.

*

Кто в наши дни столь мудрым будет,
Столь безупречным, что осудит
Себя, коль дурно поступил
Иль неблагоразумен был;
Кто сам с себя всех больше спросит —
Не потому отнюдь, что бросит
Ему упрек вельможный князь
Иль криков черни убоясь?
Такого, чтоб ни одного
Не въелось пятнышка в него,
Нет мужа мудрого. А все ж
Вот он каков, если найдешь:
Покуда день в созвездье Рака,
Пока над Овном полог мрака,
Он на одном сосредоточен,
Одной заботой озабочен:

Чтоб ни из одного угла
Какая-нибудь не легла
На совесть его в этот день
Хоть еле видимая тень
Иль неуместного иль злого
Не вымолвил он за день слова,
Путь его прям — и не свести
Соблазнами его с пути.
С пристрастием себе он сам
Чинит допросы по ночам
В бессоннице: как день был прожит?
Не замышлял ли он, быть может,
Иль не свершил недобрых дел?
Что не успел, недоглядел?
О чем подумал слишком поздно?
К чему отнесся несерьезно?
Зачем он с этим поспешил,
Так много времени и сил
На труд ненужный потеряв?
Зачем, на подступе застряв,
Полезный труд прервал, хоть мог
С успехом кончить, видит бог?
Как смел он, к своему стыду,
Чужую пропустить нужду?
И почему — то ли с боязнью,
То ли с подспудной неприязнью —
Чужое горе он встречал
И якобы не замечал?
Над чепухой полдня корпел,
А дело сделать не успел;
Там чести он не уберег,
Тут выгодою пренебрег;
Грешил устами и очами
И сладострастными мечтами;
Зачем он, бренной плоти раб,
Хотя бы в помыслах был слаб?!

Так взвешивает вновь и снова
Он дело каждое и слово:
То — хвалит, то — хулит, скорбя.
Так мудрый муж ведет себя,
Что, возвеличен и прославлен,
Вергилием в стихах представлен.

Кто так к себе при жизни строг,
Того по смерти взыщет бог.
За то, что мудр был в этой жизни,
Вкусит он благо в т о й отчизне.
Всех этого сподобь, о боже,—
Себа́стиана Бранта тоже!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К «КОРАБЛЮ ДУРАКОВ»

На этом кончается «Корабль дураков», который ради пользы, благого поучения, увещевания и поощрения мудрости, здравомыслия и добрых нравов, а также ради искоренения глупости, слепоты и дурацких предрассудков и во имя исправления рода человеческого — с исключительным тщанием, рачительностью и трудолюбием создан

СЕБАСТИАНОМ БРАНТОМ,

доктором обоих прав,
и отпечатан в Базеле на масленой неделе,
именуемой «Ярмаркой дураков»,
в лето тысяча четыреста девяносто четвертое
от рождества Христова.

ΜΩΡΙΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ,
ТО ЕСТЬ
ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эразм Роттердамский
своему милому Томасу Мору
посылает привет

В недавние дни, возвращаясь из Италии в Англию и не желая, чтобы время, проводимое в седле, расточалось в пустых разговорах, ἀμούσοις [1] и литературе, я либо размышлял о совместных ученых занятиях, либо наслаждался мысленно, вспоминая о покинутых друзьях, столь же ученых, сколь любезных моему сердцу. Между ними и ты, милый Мор, являлся мне в числе первых: вдали от тебя я не менее наслаждался воспоминаниями, нежели, бывало, вблизи — общением с тобою, которое, клянусь, слаще всего, что мне случалось отведать в жизни. И вот я решил заняться каким-нибудь делом, а поскольку обстоятельства не благоприятствовали предметам важным, то и задумал я сложить похвальное слово Глупости. «Что за Паллада внушила тебе эту мысль?» — спросишь ты. Прежде всего, навело меня на эту мысль родовое имя Мора, столь же близкое к слову «мория», сколь сам ты далек от ее существа, ибо, по общему приговору, ты от нее всех дальше. Затем, мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки такого рода, иначе говоря — ученые и не лишенные соли (ежели только не заблуждаюсь я в оценке собственного моего творения), и вообще не

[1] чуждых музам *(греч.)*. —

прочь был поглядеть на человеческую жизнь глазами Демокрита. Хотя по исключительной прозорливости ума ты чрезвычайно далек от вкусов и воззрений грубой толпы, зато благодаря необыкновенной легкости и кротости нрава можешь и любишь, снисходя до общего уровня, играть роль самого обыкновенного человека. А значит, ты не только благосклонно примешь эту мою ораторскую безделку, эту μνημόσυνον [1] о твоем товарище, но и возьмешь ее под свою защиту; отныне, тебе посвященная, она уже не моя, а твоя.

Найдутся, быть может, хулители, которые станут распространять клевету, будто легкие эти шутки не к лицу богослову и слишком язвительны для христианского смирения; быть может, даже обвинят меня в том, что я воскрешаю древнюю комедию или, по примеру Лукиана, подвергаю осмеянию всех и каждого. Но пусть те, кого возмущают легкость предмета и шутливость изложения, вспомнят, что я лишь последовал примеру многих великих писателей. Сколько веков тому назад Гомер воспел Βατραχομυομαχίαν[2], Марон — комара и чесночную закуску, Овидий — орех! Поликрат написал похвальное слово Бусириду, которое затем исправил Исократ, Главк восхвалял неправосудие, Фаворин — Ферсита и перемежающуюся лихорадку, Синесий — лысину, Лукиан — муху и блоху, Сенека сочинил шуточный ἀποθέωσιν[3] Клавдия, Плутарх — разговор Грилла с Улиссом, Лукиан и Апулей — похождения осла, и уже не помню кто — завещание поросенка по имени Грунний Корокотта, о чем упоминает святой Иероним.

Если же всего этого мало, то пусть вообразят строгие мои судьи, что мне пришла охота поиграть в бирюльки или поездить верхом на длинной хворостине. В самом деле, разрешая игры людям всякого звания, справедливо ли отказывать в них ученому, тем более если он так трактует забавные предметы, что читатель, не вовсе бестолковый, извлечет отсюда более пользы, чем из иного педантского и напыщенного рассуждения? Вот один в терпеливо составленной из разных кусков речи прославляет риторику и философию, вот другой слагает хвалы какому-нибудь государю, вот третий призывает к войне с турками. Иной предсказывает будущее, иной поднимает новые вопросы — один другого пустячнее и ничтожнее. Но ежели ничего нет нелепее, чем трактовать важные предметы на вздорный лад, то

---

[1] памятку *(греч.)*.
[2] Войну лягушек и мышей *(греч.)*.
[3] апофеоз *(греч.)*.

ничего нет забавнее, чем трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью. Конечно, пусть судят меня другие, однако коль скоро не вконец обольстила меня Φιλαυτία[1], то сдается мне, что я восхвалил Глупость не совсем глупо. Что же касается пустого упрека в излишней резкости, то отвечу, что всегда дозволено было безнаказанно насмехаться над повседневной человеческой жизнью, лишь бы эта вольность не переходила в неистовство. Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Немало также увидишь в наш век таких богомолов, которые скорее стерпят тягчайшую хулу на Христа, нежели самую безобидную шутку насчет папы или государя, в особенности πρὸς τὰ ἄλφιτα[2]. Но если кто судит жизнь человеческую, не называя имен, то почему, спрошу я, видеть здесь непременно язвительное издевательство, а не наставление, не увещание? А в противном случае сколь часто пришлось бы мне обращаться с укорами и порицаниями к самому себе! И, наконец, кто не щадит ни одного звания в роде людском, тот ясно показывает, что не против отдельных лиц, а только против пороков он ополчился. Итак, если кто теперь станет кричать, жалуясь на личную обиду, то лишь выдаст тем свой страх и нечистую совесть. Куда вольней и язвительней писал святой Иероним, не щадивший и имен порою! Я же не только избегал повсеместно имен собственных, но сверх того старался умерить всячески слог, дабы разумному читателю сразу же было понятно, что я стремлюсь скорее к смеху, нежели к злому глумлению. Я не хотел по примеру Ювенала ворошить сточную яму тайных пороков и охотнее выставлял напоказ смешное, нежели гнусное.

Того, кто не удовлетворится всем сказанным, прошу вспомнить для утешения, что весьма почтенно служить жертвою нападок Глупости, от лица которой я взял слово. Впрочем, стоит ли говорить все это такому искусному адвокату, как ты; и без того ты сумеешь отстоять наилучшим образом даже и не столь правое дело. Прощай же, мой красноречивейший Мор, и Морию твою защищай всеусердно.

Писано в деревне,
10 июня 1508 г.

---

[1] Филавтия — Себялюбие *(греч.)*.
[2] когда дело затрагивает интересы кармана *(греч.)*.

ГЛУПОСТЬ ГОВОРИТ:

ГЛАВА I

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угодно,— мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глупейших,— все же я дерзаю утверждать, что мое божественное присутствие, и только оно одно, веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство — перед вами: едва взошла я на кафедру в этом многолюдном собрании, как все лица просияли небывалым, необычайным весельем, все подались вперед и повсеместно раздался радостный, ликующий смех. При взгляде на вас кажется мне, будто я вижу богов Гомеровых, охмелевших от нектара, настоянного на непенте, а ведь только что вы сидели печальные и озабоченные, словно воротились недавно из Трофониевой пещеры. Подобно тому как утреннее солнце, показывающее земле свой прекрасный золотой лик, или как ранняя весна, веющая приятными зефирами после суровой зимы, всему сообщают новый цвет и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на меня совсем иными сделались лица. В то время как даже великие риторы лишь при помощи длинной, старательно обдуманной речи понуждают вас стряхнуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу, единым моим появлением.

ГЛАВА II

Чего ради выступаю я сегодня в несвойственном мне обличии, об этом вы узнаете, ежели будете слушать внимательно,— не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам, или так, как наш

друг Мидас слушал некогда Пана. Ибо захотелось мне появиться перед вами в роли софиста, но только не одного из тех, которые ныне вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с упорством, более чем бабьим. Нет, я хочу подражать тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами. Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону, а мне самой, иначе говоря — Глупости.

ГЛАВА III

Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется,— лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться трубачом собственной славы и αὐτὴ ἑαυτὴν αὐλῇ ?[1] Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря — ложь несусветную. Наш смиренник распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, δὶς διὰ πασῶν[2], далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, τὸν Αἰθίοπα λευκαίνει и ἐκ μυὸς ἐλέφαντα ποιεῖ[3]. Наконец, я применяю на деле народную пословицу, гласящую: «Сам выхваляйся, коли люди не хвалят». Не знаю, чему дивиться — лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия

---

[1] самой себе подыгрывать на флейте? *(греч.)*
[2] как до звезды небесной *(греч.)*.
[3] старается выбелить эфиопа и из мухи делает слона *(греч.)*.

Бусиридам, Фаларидам, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую.

ГЛАВА IV

Не хотелось бы мне, чтобы вы заподозрили меня в желании блеснуть остроумием по примеру большинства ораторов. Ведь те — дело известное,— когда читают речь, над которой бились лет тридцать, а иногда так и вовсе чужую, дают понять, будто сочинили ее между делом, шутки ради, в три дня, или просто продиктовали невзначай. Мне же всегда особенно приятно было говорить то, ὅττι κεν ἐπ' ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἔλθῃ [1]. И да не ждет никто, чтобы я по примеру тех же заурядных риторов стала предлагать вам здесь точные определения, а тем более разделения. Ибо как ограничить определениями ту, чья божественная сила простирается так широко, или разделить ту, в служении которой объединился весь мир? Да и вообще, к чему выставлять напоказ тень мою или образ, когда вот я сама стою здесь перед вами? Видите? Вот я, Глупость, щедрая подательница ἐάων [2], которую латиняне зовут Стультицией, а греки Морией.

ГЛАВА V

Да и вообще — нужны ли здесь слова? Разве само чело мое и лик, как говорится, не достаточно свидетельствуют о том, кто я такая? Если бы кто даже и решился выдать меня за Минерву или за Софию, мое лицо — правдивое зеркало души — опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я не стараюсь изобразить на лбу своем то, чего нет у меня в сердце. Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто изо всех сил старается присвоить себе личину и титул мудрости,— эти καὶ ἐν τῇ πορφύρᾳ πίθηκοι καὶ ἐν τῇ λεοντῇ ὄνοι [3]. Пусть притворствуют как угодно: торчащие ушки все равно выдадут Мидаса. Неблагодарна, клянусь Гераклом, и та порода людей, которая всего теснее связана со мною, а ме-

---

[1] что в голову взбредет *(греч.)*.

[2] всяческих благ *(греч.)*.

[3] обезьяны, рядящиеся в пурпур, и ослы, щеголяющие в львиной шкуре *(греч.)*.

жду тем при народе так стыдится моего имени, что даже попрекает им своих ближних, словно бранною кличкой. Эти μωρότατοι[1] хотят прослыть мудрецами и Фалесами, но можно ли назвать их иначе, как μωροσόφοι? [2]

ГЛАВА VI

Как видите, мне действительно захотелось подражать риторам нашего времени, которые считают себя уподобившимися богам, если им удается прослыть двуязычными, наподобие пиявок, и которые полагают верхом изящества пересыпать латинские речи греческими словечками, словно бубенцами, хотя бы это и было совсем некстати. Если же не хватает им заморской тарабарщины, они извлекают из полуистлевших грамот несколько устарелых речений, чтобы пустить пыль в глаза читателю. Кто понимает, тот тешится самодовольством, а кто не понимает, тот тем более дивится, чем менее понимает. Ибо нашей братии весьма приятно бывает восхищаться всем иноземным. А ежели среди невежественных слушателей и читателей попадутся люди самолюбивые, они смеются, рукоплещут и, на ослиный лад, τὰ ὦτα κινοῦσι[3], дабы другие не сочли их несведущими. Καὶ ταῦτα δὴ μὲν ταῦτα[4].

Теперь возвращаюсь к главному предмету моей речи.

ГЛАВА VII

Итак, мужи... каким бы эпитетом вас почтить? Ах да, конечно: мужи глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку далеко не всем известно, из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь с помощью Муз. Родителем моим был не Хаос, не Орк, не Сатурн, не Иапет и никто другой из этих обветшалых, полуистлевших богов, но Πλοῦτος[5], который, не во гнев будь сказано Гомеру, Гесиоду и даже самому Юпитеру, есть единственный и подлинный πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε[6]. По его мановению в древности, как и ныне,

---

[1] глупейшие из глупцов *(греч.)*
[2] глупомудрами *(греч.)*.
[3] помахивают ушами *(греч.)*.
[4] Да, именно так *(греч.)*.
[5] Плутос *(греч.)*.
[6] отец богов и людей *(греч.)*.

свершалось и свершается все — и священное и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, союзы, законы, искусства, игрища, ученые труды...— вот уж и дыхания не хватает,— коротко говоря, все общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого племени поэтических божеств — скажу больше: даже верховных богов — вовсе не было бы на свете, или они οἰκόσιτοι[1] самым жалким образом. На кого он прогневается, того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он благоволит, тому и дела нет до Юпитера с его громами. Τούτου πατρὸς εὔχομαι εἶναι[2]. И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую, чопорную Палладу, но от Неотеты, самой прелестной и веселой из нимф. И не в узах унылого брака, как тот хромой кузнец, родилась я, но — что не в пример сладостнее — ἐν φιλότητι μιχθείς[3], пользуясь словами нашего милого Гомера. И сам отец мой, должно вам знать, был в ту пору не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана, но ловким и бодрым, хмельным от юности, а еще больше — от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у богов.

ГЛАВА VIII

Если вы спросите о месте моего рождения,— ибо в наши дни благородство зависит прежде всего от того, где издал ты свой первый младенческий крик,— то я отвечу, что не на блуждающем Делосе, и не среди волнующегося моря, и не ἐν σπέσσι γλαφυροῖσι[4] родилась я, но на тех Счастливых островах, где ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα[5], а в житницы собирают. Там нет ни труда, ни старости, ни болезней, там на полях не увидишь асфоделей, мальв, морского луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твои ласкают молий, панацея, непента, майоран, бессмертники, лотосы, розы, фиалки и гиацинты, достойные садов Адонисовых. Рожденная среди этих услад, не с плачем вступила я в жизнь, но ласково улыбнулась матери. Право, не завидую я τῷ ὑπάτῳ Κρονίωνι[6], вскормлен-

---

[1] прозябали бы *(греч.)*.
[2] Вот каков мой отец *(греч.)*.
[3] от вожделения свободной любви *(греч.)*.
[4] под сенью пещеры *(греч.)*.
[5] не сеют, не пашут *(греч.)*.
[6] вышнему Крониду *(греч.)*.

ному козой,— ведь меня питали своими сосцами две прелестные нимфы — Метэ, рожденная Вакхом, и Апедия, дочь Пана. Обеих вы видите в толпе моих спутниц и наперсниц. А если вам угодно знать имена всех прочих, то — клянусь Гераклом! — я назову их не иначе, как по-гречески.

ГЛАВА IX

Вот эта, с горделиво поднятыми бровями,— Φιλαυτία [1]. Та, что улыбается одними глазами и плещет в ладоши, носит имя Κολακία [2]. А эта, полусонная, словно дремлющая, зовется Λήθη [3]. Эта, что сидит со сложенными руками, опершись на локти,— Μισοπονία [4]. Эта, увитая розами и опрысканная благовониями,— Ἡδονή [5]. Эта, с беспокойно блуждающим взором, называется Ἄνοια [6]. Эта, с лоснящейся кожей и раскормленным телом, носит имя Τρυφή [7]. Взгляните еще на этих двух богов, замешавшихся в девичий хоровод: одного из них зовут Κῶμον [8], а другого — Νήγρετον Ὕπνον [9]. С помощью этих верных слуг я подчиняю своей власти весь род людской, отдаю повеления самим императорам.

ГЛАВА X

Теперь вы знаете, каков мой род, каково воспитание и какова свита. Дабы не подумал никто, будто я без должного права присвоила себе звание богини, внимайте, навострив уши, какими благами одаряю я богов и людей и как широко простирается моя божественная сила.

Если не зря написал некто, что быть богом — значит помогать смертным, и ежели по заслугам допущены в верховное собрание богов те, кто ввел в употребление хлеб, вино и прочие полезные вещи, то почему бы и мне не именоваться ἄλφα[10] в алфавите богов, поскольку я щедрее всех?

---

[1] Филавтия — Себялюбие *(греч.)*.
[2] Колакия — Лесть *(греч.)*.
[3] Лета — Забвение *(греч.)*.
[4] Мисопония — Лень *(греч.)*.
[5] Гедонэ — Наслаждение *(греч.)*.
[6] Анойя — Безумие *(греч.)*.
[7] Трифэ — Чревоугодие *(греч.)*.
[8] Комос — Разгул *(греч.)*.
[9] Негретос Гипнос — Непробудный сон *(греч.)*.
[10] альфой *(греч.)*.

Прежде всего — что может быть слаще и драгоценней самой жизни? Но кому обязаны вы возникновением ее, если не мне? Ведь не копье Паллады, ὀβριμοπάτρης[1], и не ἀγида νεφεληγερέτου[2] Зевса производят и умножают род людской. Воистину, сам отец богов и владыка людей, сотрясающий Олимп единым своим мановением, откладывает порою в сторонку трезубые свои молнии и обличье титана, столь страшное небожителям. Волей-неволей напяливает он, подобно актеру, чужую личину, когда овладевает им столь привычное для него желание παιδοποιεῖν[3]. Стоики полагают, что они всего ближе к богам. Но дайте мне тройного, четверного, дайте, если угодно, тысячекратного стоика,— я докажу, что и ему придется в подобном случае отложить в сторону если не бороду, знамя мудрости, общее, впрочем, с козлами, то свою хмурую важность и свои твердокаменные догматы, придется расправить морщины на лбу и покориться сладостному безумию. Утверждаю, что ко мне, лишь ко мне одной, должен будет взывать этот мудрец, ежели только возжелает стать отцом. Впрочем, почему бы мне, по обычаю моему, не изъясниться еще откровеннее? Скажите, пожалуйста, разве голова, лицо, грудь, рука, ухо или какая другая часть тела из тех, что слывут добропорядочными, производит на свет богов и людей? Нет, умножает род человеческий совсем иная часть, до того глупая, до того смешная, что и поименовать-то ее нельзя, не вызвав общего хохота. Таков, однако, источник, более священный, нежели числа Пифагоровы, и из него все живущее получает свое начало. Скажите по совести, какой муж согласился бы надеть на себя узду брака, если бы, по обычаю мудрецов, предварительно взвесил все невыгоды супружеской жизни? Какая женщина допустила бы к себе мужа, если бы подумала и поразмыслила об опасностях и муках родов и о трудностях воспитания детей? Но если жизнью мы обязаны супружеству, а супружеством — моей служанке Ἀνοίᾳ[4], то сами вы понимаете, в какой мере являетесь моими должниками. Далее, какая женщина, единожды попробовавшая рожать, согласилась бы повторить этот опыт, если б не божественная

---

[1] дщери могучего отца *(греч.)*,
[2] тучегонителя *(греч.)*.
[3] делать детей *(греч.)*.
[4] Анойе *(греч.)*.

сила спутницы моей Λήθης?[1] Не во гнев будь сказано Лукрецию, сама Венера не посмеет отрицать, что без моей чудесной помощи все ее могущество не имело бы ни силы, ни действия. Итак, только благодаря моей хмельной и веселой игре рождаются на свет и угрюмые философы, чье место в наши дни унаследовали так называемые монахи, и порфироносные государи, и благочестивые иереи, и трижды пречистые первосвященники, а за ними и весь этот рой поэтических богов, до того многочисленный, что самый Олимп, сколь он ни обширен, едва может вместить такую толпу.

ГЛАВА XII

Но мало того что во мне вы обрели рассадник и источник всяческой жизни: все, что есть в жизни приятного,— тоже мой дар, и я берусь вам это доказать. Чем была бы земная наша жизнь, и вообще стоило ли бы называть ее жизнью, если б лишена была наслаждений? Вы рукоплещете? Я так и знала, что никто из вас не настолько мудр или, лучше сказать, не настолько глуп, нет — именно не настолько мудр, чтобы не согласиться с моим мнением. Сами стоики отнюдь не отворачиваются от наслаждений. Лицемеря и клеймя наслаждение перед грубой толпой, они просто хотят отпугнуть других, чтобы самим вольготнее было наслаждаться. Но пусть ответят они мне ради Зевса: что останется в жизни, кроме печали, скуки, томления, несносных докук и тягот, если не примешать к ней малую толику наслаждения, иначе говоря, если не сдобрить ее глупостью? Ссылаюсь на свидетельство прославленного Софокла, который воздал мне следующую красноречивую хвалу: «Ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος» [2].

Попытаемся, однако, рассмотреть этот предмет более обстоятельно.

ГЛАВА XIII

Прежде всего, кому не известно, что первые годы — самый приятный и веселый возраст в жизни человека? Детей любят, целуют, ласкают, даже враг-чужеземец готов прийти к ним на помощь. Чем объяснить это, если не тем, что мудрая природа окутала младенцев привлекательным покровом глупости, кото-

[1] Леты *(греч.)*.

[2] «Блаженна жизнь, пока живешь без дум» *(греч.)*.

рый, чаруя родителей и воспитателей, вознаграждает их за труды, а малюткам доставляет любовь и опеку, для них необходимые.

За детством следует юность. Кому она не мила, кто к ней не благоволит, кто не стремится помочь ей, кто не протягивает ей дружелюбную руку? Но в чем, спрошу я, источник очарования юности, если не во мне? Чем меньше умничает мальчик по моей милости, тем приятнее он всем и каждому. Разве я лгу, утверждая, что люди, по мере того как они становятся старше и начинают умнеть благодаря собственному опыту и воспитанию, понемногу теряют свою привлекательность, проворство, красоту и силу? Чем более удаляется от меня человек, тем меньше остается ему жить, пока не наступит наконец τὸ χαλεπὸν γῆρας[1], ненавистная не только другим, но и самой себе. Никто из смертных не вынес бы старости, если б я не сжалилась над несчастными и не поспешила бы на помощь. Подобно тому как у поэтов боги, видя, что человек готов расстаться с жизнью, стараются облегчить его участь посредством какой-нибудь метаморфозы, так и я, по мере возможности, возвращаю к детству тех, кто стоит уже на краю могилы. Недаром про дряхлеющих старцев говорят в народе, будто они παλίμπαιδας[2]. Если кто спросит, каким способом произвожу я подобное превращение, то это не тайна. Я веду старцев к истоку Леты, берущей свое начало на Счастливых островах (лишь узким ручейком струится она затем вдоль Подземного царства), и там, испив влаги забвения, они понемногу смывают с души своей все заботы и набираются новых сил. О них говорят, будто выжили они из ума и несут вздор... Тем лучше! Это и означает, что они снова стали детьми. Быть ребенком и нести вздор — разве это не одно и то же? Разве не больше других веселится в этом возрасте тот, кто поглупее? Кому не мерзок и не кажется чудовищем мальчик с умом взрослого человека? Пословица недаром гласит:

«Ненавижу я мальчишек, зрелых преждевременно».

И кто согласится водить знакомство со стариком, который, наряду с приобретенной за долгие годы опытностью, сохранил полностью силу духа и остроту ума? Лучше уж ему, право, стать дураком по моей милости. Это избавит его от тяжких забот, которые терзают мудреца. Благодаря мне он еще считается недурным собутыльником. Он не испытывает пресыщения

---

[1] тягостная старость *(греч.)*.
[2] впали во второе детство *(греч.)*.

жизнью, столь мучительного в более молодом возрасте. Когда он, по примеру старичка, выведенного Плавтом, пожелает вспомнить коротенькое словечко: «люблю», он будет несчастнейшим из людей, ежели сохранил свой ум. А между тем по моей милости он счастлив, приятен друзьям и может порою принять участие в веселой беседе. Из уст его, как у Гомерова Нестора, струится речь слаще меда, в то время как Ахилл изливает свою злобу в желчных словах. У того же Гомера старики беседуют, сидя на городской стене, и голоса их поэт сравнивает τὴν λειριόεσσαν [1]. В этом отношении старость стоит даже выше младенчества, без сомнения сладостного, но бессловесного, лишенного приятнейшей из житейских утех — мирной болтовни.

Прибавьте к этому, что старики очень любят детей, а дети легко привязываются к старикам.

«Ὡς αἰεὶ τὸν ὅμοιον ἄγει θεὸς ὡς τὸν ὅμοιον» [2]

Да и в самом деле, какая разница между стариком и ребенком, если не считать того, что первый изборожден морщинами и насчитывает больше дней от рождения? Те же белые волосы, беззубый рот, малый рост, пристрастие к молоку, косноязычие, болтливость, бестолковость, забывчивость, опрометчивость. Коротко говоря, они во всем подобны друг другу. Чем более стареют люди, тем ближе они к детям, и, наконец, словно настоящие младенцы, не испытывая отвращения к жизни, не сознавая смерти, уходят они из мира.

ГЛАВА XIV

Теперь пусть всякий, кто захочет, сравнит мои благодеяния с метаморфозами, совершавшимися по манию других богов. Не стоит вспоминать здесь, что творят они в порыве гнева,— ведь даже тех, к кому они особенно благосклонны, эти боги превращают в дерево, в птицу, в цикаду и даже в змею. Как будто лишиться образа своего не значит погибнуть! Я же, оставив человека самим собою, лишь возвращаю его к лучшей и счастливейшей поре жизни. Если бы смертные удалялись от всякого общения с мудростью и проводили всю жизнь свою в моем обществе, не было бы на свете ни одного старца, но все наслаждались бы вечной юностью. Взгляните на этих тощих угрюмцев, которые предаются либо изучению философии, либо

[1] с шелестом лилий *(греч.)*.

[2] «Сходные вещи сближать привыкли великие боги» *(греч.)*.

иным трудным и скучным занятиям. Не успев стать юношами, они уже состарились. Заботы и непрерывные упорные размышления опустошили их души, иссушили жизненные соки. А мои дурачки, напротив того,— гладенькие, беленькие, с холеной шкуркой, настоящие χοῖροι Ἀκαρνάνιοι [1], никогда не испытают они тягот старости, ежели только не заразятся ею, общаясь с умниками. Не дано человеку быть всегда и во всем счастливым. Недаром, однако, учит нас народная пословица, что одна только глупость способна удержать быстро бегущую юность и отдалить постылую старость. Правильно также говорят о брабантцах, что они чем старше, тем глупее, в отличие от прочих людей, которые умнеют с годами. А между тем нет народа, с которым приятнее было бы иметь дело и который менее чувствовал бы печальное бремя старости.

По месту жительства и по обычаям всего ближе к брабантцам мои голландцы. Почему бы, в самом деле, и не назвать их моими? Ведь они столь ревностные мои последователи, что заслужили достойное их крылатое прозвище, которого они не только не стыдятся, но коим даже хвастаются с великой охотой!

Пусть же теперь одураченные смертные отправляются к Медеям, Цирцеям, Венерам, Аврорам и отыскивают неведомый источник, который возвратит им утраченную юность — я, только я одна могу сделать это и всегда делаю. У меня хранится тот чудодейственный сок, посредством которого дочь Мемнона возвратила молодость своему деду Тифону. Я — та Венера, по чьей милости Фаон так помолодел, что в него влюбилась Сафо. Мне принадлежат колдовские травы (если они вообще существуют), мне ведомы волшебные заклинания, под моей властью пребывает тот источник, который не только возвращает вам потерянную юность, но — что еще лучше — делает ее вечной. И если все вы согласны, что ничего нет на свете лучше молодости и ненавистнее старости, то, разумеется, вам должно быть ясно, сколь многим вы обязаны мне, сохраняющей такое великое благо и преграждающей путь такому великому злу.

ГЛАВА XV

Но что говорить о смертных? Обыщите все небо, и пусть имя мое будет покрыто позором, если вы найдете хоть одного порядочного и приятного бога, который обходился бы без моего со-

[1] акарнанские свинки *(греч.)*.

действия! Почему, например, Вакх вечно юн и кудряв? Да потому, что он кутила и пьяница, проводит жизнь свою в пирах, плясках, пении и играх и никогда не связывается с Палладой. До того чужды ему всякие помыслы о славе мудреца, что он радуется, когда ему служат со смехом и шутками. Ему не в обиду пословица, которая нарекла его болваном или, точнее говоря, μορύχου μωρότερος[1]. А чучелом его прозвали за то, что, когда он сидит у ворот своего храма, земледельцы для потехи обмазывают ему лицо спелыми смоквами и виноградным соком. Каких только шуток не отпускает на его счет древняя комедия! Вот, говорят, дурацкий бог — недаром из бедра на свет вышел. И, однако, кто не предпочел бы участь этого болвана и дурня, вечно веселого, вечно юного, всюду влекущего за собою забавы и игры, жребию грозного для всех ἀγκυλομήτης[2] Юпитера, или Пана, наводящего ужас своими воплями, или осыпанного золою, грязного от кузнечной работы Вулкана, или даже Паллады с ее страшной Горгоной, с ее копьем и καὶ ἀεὶ ἐνορῶσα δρι μυὲ?[3] Почему Купидон — вечно дитя? Почему? Не потому ли, что он, неисправимый повеса, καὶ μηδὲν ὑγιὲς[4] и не помышляет? Почему златоликая Венера вечно цветет красотою? Потому только, что она мне сродни и золотистым цветом лица недаром напоминает моего родителя; по этой причине Гомер и прозвал ее Χρυσῆ Ἀφροδίτη[5]. К тому же она всегда смеется, если верить поэтам и их соперникам — ваятелям. Какое божество чтили римляне усерднее, нежели Флору, мать всех наслаждений?

Впрочем, если проследить у Гомера и других поэтов жизнь даже самых хмурых и степенных богов, то и здесь окажется, что все исполнено глупости. Не говоря уже о прочих богах, вам ведь известны проделки и любовные шашни самого громовержца Юпитера. А эта суровая Диана, которая забыла свой пол в трудах охоты, а между тем сходила с ума по Эндимиону! Пусть лучше боги, однако, послушают о своих проказах от Мома, как нередко доводилось им встарь. Но они недавно разгневались и сбросили его на землю вместе с Атой за то, что он своим благоразумием нарушал их блаженство. А теперь никто из смертных не оказывает гостеприимства изгнаннику, в особен-

---

[1] огородным чучелом *(греч.)*.
[2] тайнодумца *(греч.)*.
[3] неизменно свирепым взором? *(греч.)*
[4] ни о чем серьезном *(греч.)*.
[5] Золотой Афродитой *(греч.)*.

ности нет ему приюта во дворцах государей, где в чести моя милая Колакия, у которой с Момом столько же согласия, сколько у волков с ягненком. После изгнания Мома тем свободнее и веселее дурачатся боги, не страшась сурового цензора,— поистине ῥᾷον ἄγοντες [1], как говорит Гомер. Каких только шуток не откалывает этот деревянный затейник Приап? На какие выдумки не пускается вороватый Меркурий? Даже сам хромоногий Вулкан γελωτοποιὸν [2] на пирах у богов и своей неуклюжей поступью, остротами да прибаутками потешает сотрапезников. А там и старец Силен, любитель τὸν κόρδακα [3], пускается в пляс; рядом с ним Полифем танцует τὴν τρεττανελό [4], а нимфы — τὴν γυμνοποδίαν [5], козлоногие же сатиры представляют Ателланские фарсы. Пан какой-нибудь безвкусной и грубой песенкой вызывает всеобщий смех. Боги слушают его охотнее, нежели Муз, особливо когда упьются нектаром. Не знаю, стоит ли вообще вспоминать здесь о том, как ведут себя после пира пьяные боги? До того глупо, что, клянусь Гераклом, я сама подчас помираю со смеху. Однако не лучше ли последовать примеру молчальника Гарпократа, дабы не подслушал какой-нибудь бог-соглядатай, как ведем мы здесь речи, которые и Мому не прошли бы даром.

ГЛАВА XVI

Но уже настало для нас время по примеру Гомерову, покинув небожителей, снова спуститься на землю; а на земле мы не найдем ни веселья, ни счастья, которые не были бы моими дарами. Посмотрите, во-первых, с какой прозорливостью чадолюбивая и благосклонная к человеку природа хлопочет о том, чтобы нигде не было недостатка в приправе Глупости. Согласно определению стоиков, быть мудрым — это не что иное, как следовать велениям разума, а глупым — внушению чувств, и, дабы существование людей не было вконец унылым и печальным, Юпитер в гораздо большей мере одарил их чувством, нежели разумом: можно сказать, что первое относится ко второму, как унция к грану. Сверх того, он заточил разум в тесном закутке черепа, а все остальное тело обрек волнению страстей. Далее,

---

[1] с легким сердцем *(греч.)*.
[2] валяет дурака *(греч.)*.
[3] кордака *(греч.)*.
[4] третанеллу *(греч.)*.
[5] босоножку *(греч.)*.

он подчинил его двум жесточайшим тиранам: во-первых, гневу, засевшему, словно в крепости, в груди человека, в самом сердце, источнике нашей жизни, и, во-вторых, похоти, которая самовластно правит нижней половиной, до признака зрелости. Насколько силен разум против этих двух врагов, достаточно обнаруживает повседневная жизнь: пусть его вопит до хрипоты, провозглашая правила чести и добродетели,— бунтовщики накидывают своему царю петлю на шею и поднимают такой ужасный шум, что он, в изнеможении, сдается и на все изъявляет свое согласие.

ГЛАВА XVII

Мужчины рождены для дел правления, а потому должны были получить несколько лишних капелек разума, необходимых для поддержания мужского достоинства; по этому случаю мужчина обратился ко мне за наставлением — как, впрочем, он поступает всегда,— и я тотчас же подала ему достойный совет: сочетаться браком с женщиной, скотинкой непонятливой и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своей бестолковостью приправила и подсластила тоскливую важность мужского ума. Недаром Платон колебался, к какому разряду живых существ подобает отнести женщину — разумных или неразумных, сомнением своим желая указать, что глупость есть неотъемлемое свойство ее пола. Если женщина даже захочет прослыть умной — как она ни бейся, окажется вдвойне дурой, словно бык, которого, рассудку вопреки, ведут на ристалище, ибо всякий врожденный порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под личиною добродетели. Правильно говорит греческая пословица: обезьяна всегда остается обезьяной, если даже облечется в пурпур; так и женщина вечно будет женщиной, иначе говоря — дурой, какую бы маску она на себя ни нацепила. И все же я не считаю женщин настолько глупыми, чтобы обидеться на мои слова, ибо я сама женщина и имя мое — Глупость. Ежели поразмыслить как следует, то ведь женщины обязаны мне тем, что они несравненно счастливее мужчин. Начнем с внешней красоты, которую они справедливо ставят превыше всего на свете и с помощью которой самих тиранов подчиняют своей тирании. А с другой стороны, откуда взялась отталкивающая и дикая внешность мужчин, их волосатая кожа, их дремучая борода, весь этот облик преждевременного обветшания, откуда все это, если не от порока мудрости?! Между тем пухлые щеки, тонкий голос и нежная кожа женщин вечно подражают

юности. Далее, к чему стремятся женщины в этой жизни, как не к тому, чтобы возможно больше нравиться мужчинам? Не этой ли цели служат все их наряды, притиранья, омовенья, дорогие безделушки, мази, благовония, раскрашенные лица, подведенные глаза, искусно увеличенные округлости? Чем привлекают они к себе мужчин, как не глупостью? Чего не позволяют им мужчины во имя сладострастия?! В глупости женщины — высшее блаженство мужчины. Этому, конечно, не станет прекословить тот, кто вспомнит, какую чушь привыкли нести мужчины в любовных беседах и каких только дурачеств они не совершают, лишь бы заставить женщину уступить их вожделению. Теперь вы видите, из какого источника проистекает любовь — первое и величайшее наслаждение в жизни.

ГЛАВА XVIII

Впрочем, многие мужчины — и прежде всего старики, более пьяницы, чем женолюбы,— высшее блаженство полагают в попойках. Можно ли представить себе веселый пир, на котором отсутствуют женщины, об этом пусть судят другие, но совершенно несомненно, что без приправы Глупости нам ничто не мило. Это до такой степени справедливо, что во всех случаях, когда подлинная или притворная Глупость не потешает гостей, нарочно приглашают наемного γελωτοποιόν[1] или смешного блюдолиза, который забавными или, говоря попросту, глупыми речами гонит прочь с попойки молчание и скуку. В самом деле, стоит ли обременять чрево всякой снедью, лакомствами и сладостями, если при этом глаза, уши и дух наш не услаждаются смехом, играми и шутками? А для десертов этого рода я — незаменимая повариха. Кто установил все застольные обряды — избрание короля пира по жребию, здравицы, συμπεριφοράς[2], пение с миртовой ветвью в руках, пляски, пантомиму,— не семь ли греческих мудрецов? Нет, не ими, а мною заведено все это для блага человеческого рода. Свойство этих обычаев таково, что чем больше в них глупости, тем полезнее они смертным, ибо если жизнь печальна, она не заслуживает даже названия жизни. А жизнь непременно будет печальной, ежели не изгонять рожденную с нею вместе тоску подобного рода забавами.

---

[1] шута *(греч.)*.
[2] питье вкруговую *(греч.)*.

Но, быть может, найдутся среди вас люди, которые пренебрегают такими усладами и находят радость лишь в общении с друзьями, полагая дружбу наилучшей среди всех вещей и до того необходимой, что ни воздух, ни огонь, ни вода не могут с нею сравниться. По их мнению, лишиться дружбы — все равно что лишиться солнца. Дружба, наконец, столь глубокого достойна уважения, что сами философы, если только позволительно на них здесь ссылаться, называют ее в числе величайших благ. А ну как я докажу, что именно я являюсь и кормою и носом корабля, доставляющего вам это великое благо? И докажу это не крокодилитами, не соритами, не рогатыми силлогизмами и не какими-нибудь еще диалектическими хитросплетениями, а попросту, как говорится, ткну пальцем. Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями,— что может быть ближе к глупости? Когда влюбленный целует родимое пятнышко своей подруги, когда Бальбин восхищается бородавкой своей Агны, когда отец говорит про косоглазого сына, будто у того плутоватые глазки,— что это такое, как не чистейшей воды глупость? Да, конечно, трижды, четырежды глупость! — но она одна

соединяет друзей и дружбу хранит неизменно.

Я говорю о простых смертных, из коих ни один не рождается на свет без недостатков; у кого недостатков меньше, тот и лучше всех. Что же касается богоподобных этих философов, то в их сердце вовсе не бывает дружбы; а если и бывает, то какая-то пасмурная, лишенная всякой приятности, распространяющаяся лишь на немногих, ибо большинство людей глупы и всякий дурачится на свой лад, а сближение возможно только с себе подобными. Если между этими суровыми мужами и зародилось взаимное благоволение, то оно не бывает прочным и длительным; да это и понятно: ведь они — такие строгие, такие глазастые, на пороки друзей они зорки, «как орел или змей Эпидаврский», а собственных пороков, словно котомки у себя за плечами, не видят. Такая уж у людей натура, что никто из них не бывает свободен от тяжких пороков. Прибавьте сюда разницу в летах и занятиях, промахи, ошибки, жизненные случайности и скажите: есть ли малейшая возможность для этих Аргусов вкушать сладость дружбы в течение хотя бы одного часа, ежели не

придет к ним на помощь εὐήθεια [1], так называют ее греки, а по-нашему глупость и легкомыслие? Да что там толковать! Сам Купидон, виновник и родитель всякого сближения между людьми, разве он не слеп, и разве τὰ μὴ καλὰ καλὰ πέφανται? [2] То же бывает и с вами — каждый доволен своим: старичок боготворит свою старушку, а мальчишка — свою девчонку. Так происходит повсюду, и хоть над этим смеются, но именно смешные повадки людей делают жизнь приятной и связывают общество воедино.

ГЛАВА XX

Сказанное о дружбе еще с большим правом применимо и к браку, который есть не что иное, как союз между двумя людьми на всю жизнь. Боже бессмертный, сколько было бы повсеместно разводов или чего другого похуже, если б мужья и жены не скрашивали и не облегчали домашнюю жизнь при помощи лести, шуток, легкомыслия, заблуждения, притворства и прочих моих спутников! Да и много ли вообще заключалось бы браков, если б жених благоразумно осведомлялся, какими играми еще задолго до свадьбы забавлялась эта столь деликатная и стыдливая на вид барышня? И сколь недолговечными были бы уже заключенные браки, если б деяния жен не оставались скрытыми вследствие беспечности или бестолковости мужей! Все это — заслуга Глупости, ее одну надо благодарить, если жена по-прежнему любезна мужу, муж любезен жене, если в доме царит мир и семейные связи не разрываются. Над рогоносцем смеются и какими только не честят его именами, когда он поцелуями осушает слезы прелюбодейки. Но насколько лучше так заблуждаться, нежели терзать себя ревностью, обращая жизнь свою в трагедию!

ГЛАВА XXI

Одним словом, без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин — раба, служанка — госпожу, учитель — ученика, друг — друга, жена — мужа, квартирант — домохозяина, сожитель — сожителя, товарищ — товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались,

---

[1] простота *(греч.)*.
[2] не кажется ему безобразное прекрасным? *(греч.)*

не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости. Сказанного, по-моему, вполне достаточно, но погодите, сейчас вы услышите кое-что поважнее.

ГЛАВА XXII

Как вы думаете, может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Сговорится ли с другими тот, кто сам с собой в разладе? Какой приятности ждать от того, кто сам себе опостылел и опротивел? Никто, полагаю, не дерзнет утверждать, будто нечто подобное возможно,— разве что будет глупее самой Глупости. Попробуйте отвергнуть меня — и не только все прочие люди станут вам несносны, но и каждый из вас себе самому сделается мерзок и ненавистен. Природа во многих смыслах скорей мачеха, нежели мать: ведь наградила же она смертных, особливо тех, кто чуть-чуть поумней, печальной склонностью гнушаться своего и ценить чужое.

А из-за этого вся сладость, все обаяние жизни оскверняются и погибают. Какой толк от красоты, высшего дара бессмертных богов, если она поражена гнилью? Что пользы в юности, ежели к ней примешана закваска старческой печали? Каким образом можешь ты действовать и в своих и в чужих глазах изящно и благовидно (а благовидность — основа не одних только искусств, но и всех дел человеческих), ежели не явится тебе на помощь стоящая одесную меня Филавтия, которую я по заслугам считаю родной своею сестрой: так ловко разыгрывает она повсюду мою роль. Что может быть глупее самовлюбленности и самолюбования? Но что изящное или приятное можешь ты сделать, ежели сам себе будешь в тягость? Отними у жизни эту приправу, и ледяным холодом встречен будет оратор со своей речью, никому не угодит своими мелодиями музыкант, освистана будет игра актера, осмеян заодно с Музами поэт, впадет в ничтожество с искусством своим живописец, отощает от голода, сидя на своих лекарствах, врач. Вместо Нирея ты увидишь Ферсита, вместо Фаона — Нестора, вместо Минервы — свинью, вместо красноречивого оратора — бессловесного младенца, вместо франта — неотесанного деревенщину. Человек должен любоваться самим собой: лишь понравившись самому себе, сумеет он понравиться и другим. Наконец, высшее блаженство состоит в том, «чтобы желания твои совпадали с выпавшим тебе жребием», а в этом деле помочь может только моя Филавтия. Благодаря ей каждый бывает доволен своей внешностью, умом, происхождением,

должностью, образом жизни и отечеством до такой степени, что ирландец не согласится поменяться с итальянцем, фракиец — с афинянином, скиф — с жителем Счастливых островов. Поразительна мудрость природы, которая при таком бесконечном разнообразии сумела всех уравнять! Если она кого и обделила своими дарами, то возмещает этот изъян усиленной дозой самодовольства, впрочем, прошу прощения за глупость: самодовольство как раз и является ее наилучшим даром. Смею сказать: ни одно великое дело не обошлось без моего внушения, ни одно благородное искусство не возникло без моего содействия.

ГЛАВА XXIII

Не война ли — рассадник и источник всех достохвальных деяний? А между тем что может быть глупее, чем вступать по каким бы то ни было причинам в состязание, во время которого каждая из сторон обязательно испытывает гораздо больше неудобств, нежели приобретает выгод? О тех, которые будут убиты, не стоит — как говорили когда-то о мегарцах — и οὐδεὶς λόγος [1]. Но я спрашиваю вас: когда два войска, закованные в железо, стоят одно против другого и

«Хриплым рокотом труб оглашается воздух»,

какой толк от этих мудрецов, истомленных учением, с разжиженной, холодной кровью в жилах? Здесь потребны силачи, здоровяки, у которых побольше отваги и поменьше ума. Кому нужен такой воин, как Демосфен, который, следуя совету Архилоха, бежал, бросив щит, едва завидел врагов,—прекрасный оратор, но никуда не годный воин! Говорят, однако, что в военном деле прежде всего потребен ум. Да, для вождей, и к тому же — ум военный, а вовсе не философский. А вообще-то война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, тупыми мужланами, нерасплатившимися должниками и тому подобными подонками общества, но отнюдь не просвещенными философами.

ГЛАВА XXIV

Насколько философы непригодны для каждодневной жизни, тому пример сам Сократ, возведенный оракулом Аполлоновым в чин единственного в мире мудреца,— вот уж приговор, который мудрым никак не назовешь! Вздумалось как-то Со-

[1] распространяться *(греч.)*.

крату, уже не помню по какому случаю, выступить с публичной речью, и он вынужден был удалиться, всеми осмеянный. А ведь муж этот был до такой степени мудр, что даже отвергал звание мудреца, считая его приличным только самому богу, и учил, что умному человеку не подобает вмешиваться в государственные дела; лучше бы уж он посоветовал держаться подальше от мудрости всякому, кто хочет оставаться в числе людей. Что в самом деле, как не мудрость, привело его к осуждению и к чаше с цикутой? Ну да, ведь рассуждая об облаках и идеях, измеряя ножки блохи и умиляясь пению комара, он не успел научиться ничему, имеющему отношение к обыденной жизни. Когда наставнику угрожала смертная казнь, его ученик Платон, прославленный адвокат, запнулся на первой же фразе, смущенный шумом толпы. А что сказать о Теофрасте? Взойдя на ораторскую трибуну, он тотчас онемел, словно волка увидел. Исократ, воодушевлявший в своих писаных речах воинов накануне битвы, был так застенчив, что ни разу не решился рта раскрыть перед публикой. Марк Туллий, отец римского красноречия, когда начинал говорить, трясся самым жалким образом, задыхаясь и всхлипывая, словно мальчишка, в чем Фабий видит доказательство добросовестного и сознательного отношения оратора к своей задаче. Однако, утверждая это, не признает ли он тем самым мудрость препятствием для достодолжного ведения тяжеб? Что станется с нашими философами, когда в ход пойдет железо, раз они трепещут от страха даже в простом словесном бою? И после этого еще прославляют знаменитое изречение Платона: «Блаженны государства, в которых философы повелевают или повелители философствуют». Справься у историков — и увидишь, что ничего не бывало для государства пагубнее, нежели правители, которые баловались философией или науками. Для примера здесь достаточно будет поименовать обоих Катонов, из коих один смущал спокойствие республики дурацкими доносами, а другой, с излишней мудростью защищая свободу народа римского, способствовал ее окончательному падению. Прибавьте сюда Брутов, Кассиев, Гракхов и даже самого Цицерона, который не меньше вреда принес республике Римской, нежели Демосфен — Афинской. Уж на что Марк Антонин, который, признаюсь, был хорошим императором, и то своей философией сделался всем в тягость и возбудил всеобщую ненависть. Он был человек добрый, но, оставив престол такому наследнику, как сын его Коммод, больше причинил государству вреда, нежели принес пользы всем своим управлением. Почему-то нет удачи людям, приверженным мудрости, ни в одном из дел их, особливо же —

в детях, как будто сама предусмотрительная природа заботится о том, чтобы болезнь мудрования не распространилась слишком широко. Известно, что сын Цицерона был настоящим выродком, а мудрый Сократ имел детей, более похожих на мать, чем на отца, иными словами, как правильно заметил некто, настоящих дураков.

ГЛАВА XXV

Однако пусть они даже будут не способны к общественным занятиям, как ὄνοι πρὸς λύραν[1], это еще куда ни шло; но ведь от них и в повседневных житейских делах нет никакого проку. Допусти мудреца на пир — и он тотчас всех смутит угрюмым молчанием или неуместными расспросами. Позови его на танцы — он запляшет, словно верблюд. Возьми его с собой на какое-нибудь зрелище — он одним своим видом испортит публике всякое удовольствие; и придется мудрому Катону уйти из театра, если он не сможет хоть на время отложить в сторону свою хмурую важность. Если мудрец вмешается в разговор — всех напугает не хуже волка. Если надо что-либо купить, если предстоит заключить какую-либо сделку, если, коротко говоря, речь зайдет об одной из тех вещей, без которых невозможна наша жизнь, тупым чурбаном покажется тебе мудрец этот, а не человеком. Ни себе самому, ни отечеству, ни своим близким не может быть он ни в чем полезен, ибо неискушен в самых обыкновенных делах и слишком далек от общепринятых мнений и всеми соблюдаемых обычаев. Из такого разлада с действительной жизнью и нравами неизбежно рождается ненависть ко всему окружающему, ибо в человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и среди дураков. Ежели кто захочет один восстать против всей вселенной, я посоветую ему бежать, по примеру Тимона, в пустыню и там, в уединении, наслаждаться своей мудростью.

ГЛАВА XXVI

Но возвращаюсь к прежней своей мысли: какая сила собрала этих каменных, дубовых, диких людей в государство, если не лесть? Таков единственный смысл преданий об Амфионе и Орфее. Что утихомирило римский плебс, уже готовый разрушить

[1] ослы к игре на лире *(греч.)*.

республику? Уж не философская ли диссертация? Ничуть не бывало! Просто смешная ребяческая басня о чреве и членах человеческого тела. Не менее пользы принесла сходная басня Фемистокла о лисице и еже. Какая мудрая речь могла бы сравниться по своему действию с выдумкой Сертория, рассказавшего солдатам про вещую лань, или с опытами, которые славный спартанец проделал с двумя собаками, а тот же Серторий — с лошадиным хвостом. Не буду говорить о Миносе и Нуме, которые правили глупой толпой посредством ловко придуманных басен. Чепуха этого сорта приводит в движение исполинского, мощного зверя — народ.

ГЛАВА XXVII

А с другой стороны, было ли когда-нибудь такое государство, которое бы приняло законы Платона или наставления Сократа? Что побудило Дециев добровольно посвятить себя подземным богам, что заставило Курция броситься в расщелину, если не суетная слава — эта обольстительная сирена, строго порицаемая нашими мудрецами? Что может быть глупее, говорят они, чем пресмыкаться перед народом, домогаясь высокой должности, снискивать посулами народное благоволение, гоняться за рукоплесканиями глупцов, радоваться приветственным кликам, позволять носить себя во время триумфа, словно знамя, на потеху черни, стоять на площади в образе медной статуи? А громкие имена и почетные прозвища?! А божеские почести, воздаваемые ничтожнейшим людишкам, а торжественные обряды, которыми сопричислялись к богам гнуснейшие тираны?! Все здесь глупость на глупости, и для осмеяния всего этого понадобился бы не один Демокрит. Станет ли кто оспаривать мое мнение? Но не из этого ли источника родились подвиги могучих героев, превознесенных до небес в писаниях столь многих красноречивых мужей? Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд. Да и что такова вся жизнь человеческая, как не забава Глупости?

ГЛАВА XXVIII

Но обратимся к наукам и искусствам. Что, кроме жажды славы, могло подстрекнуть умы смертных к изобретению и увековечению в потомстве стольких, по общему мнению, превосходных наук? Воистину глупы донельзя люди, полагающие, что

какая-то никчемная, ничего не стоящая известность может вознаградить их за бдения и труды. Да, именно Глупости обязаны вы столь многими и столь важными жизненными удобствами, и — что всего слаще — вы пользуетесь плодами чужого безумия.

ГЛАВА XXIX

Теперь, когда я уже воздала похвалы могуществу моему и трудолюбию, мне остается еще похвалить себя за рассудительность. Иные скажут, что рассудительность мне столь же родственна, сколь вода огню; но я надеюсь убедить вас в обратном — слушайте только меня по-прежнему внимательно и благосклонно.

Прежде всего, если рассудительность сказывается в деловитости, то кто, спрошу я, имеет право притязать на почетное звание человека рассудительного: мудрец ли, который отчасти по излишней совестливости, отчасти по малодушию ничего не решается предпринять, или на все дерзающий дурак, не сдерживаемый ни стыдом, которого не имеет, ни опасностью, которой не сознает. Мудрец обращается к древним писаниям и выискивает в них одни только хитросплетения словес. Дурак, напротив того, постоянно вращаясь в самой гуще жизни, приобретает, по-моему, истинную рассудительность. Это ясно видел, вопреки своей слепоте, еще Гомер и потому сказал: «ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω»[1]. Поистине, два великих препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но Глупость с удивительной легкостью гонит прочь и стыд и страх. Однако лишь немногие смертные понимают, сколь выгодно и удобно никогда не стыдиться и ни перед чем не робеть.

Если же под рассудительностью разуметь способность правильно судить о вещах, то послушайте, молю вас, сколь далеки от нее те, кто всего более похваляется этой способностью. Прежде всего, не подлежит сомнению, что любая вещь имеет два лица, подобно Алкивиадовым силенам, и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а загляни внутрь — увидишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой — безобразие, под изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под ученостью — невежество, под мо-

[1] «Событие зрит и безумный» *(греч.)*.

щью — убожество, под благородством — низость, под весельем — печаль, под преуспеянием — неудача, под дружбой — вражда, под пользой — вред; коротко говоря, сорвав маску с силена, увидишь как раз обратное тому, что рисовалось с первого взгляда. Быть может, кому-нибудь это мое рассуждение покажется чересчур философским — извольте, буду говорить грубее и проще. Кого, как не короля, считать богатым и могучим? Но если не имеет он в душе своей ничего доброго, если вечно он ненасытен, то остается беднейшим из бедняков. А если к тому же в душе он привержен многим порокам,— он уже не только нищий, но и презренный раб. Подобным же образом надлежит рассуждать и обо всем прочем. Но хватит с нас и одного примера.

«К чему, однако, все это?» — быть может, спросит кто-либо из вас. Сейчас услышите, куда я клоню. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие лица, разве не расстроил бы он всего представления и разве не прогнали бы его из театра каменьями, как юродивого? Ведь все кругом мгновенно приняло бы новое обличье, так что женщина вдруг оказалась бы мужчиной, юноша — старцем, царь — жалким оборвышем, бог — ничтожным смертным. Устранить ложь — значит испортить все представление, потому что именно лицедейство и притворство приковывают к себе взоры зрителей. Но и вся жизнь человеческая есть не иное что, как некая комедия, в которой люди, нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорег не уведет их с просцениума. Хорег этот часто одному и тому же актеру поручает различные роли, так что порфироносный царь внезапно появляется перед нами в виде несчастного раба. В театре все оттенено более резко, но, в сущности, там играют совершенно так же, как в жизни. Что, ежели теперь какой-то свалившийся с неба мудрец вдруг поднимет крик, уверяя, будто тот, кого все почитают за бога и своего господина,— даже и не человек, ибо по-скотски следует лишь велениям страстей, что он — подлый раб, ибо сам добровольно служит многим и к тому же гнусным владыкам? Что, если, встретив человека, оплакивающего своего умершего отца, мудрец повелит ему радоваться, коль скоро лишь теперь покойник начал по-настоящему жить: ведь наша здешняя жизнь — лишь подобие смерти?! Что, если тот же мудрец, увидя дворянина, хвастающегося своими предками, обзовет его безродным нищим на том основании, что ему чужда сердечная доблесть, единственный источник истинного благородства? Что, если он со всеми и с каждым вздумает рассуждать подоб-

ным же образом — разве не станут все глядеть на него, как на буйнс помешанного? Как ничего нет глупее непрошеной мудрости, так ничего не может быть опрометчивее сумасбродного благоразумия. Сумасбродом называю я всякого, не желающего считаться с установленным положением вещей и применяться к обстоятельствам, не помнящего основного закона всякого пиршества: ἢ πῖνε, ἢ ἄπιθι [1], и требующего, чтобы комедия не была комедией. Напротив, истинно рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем подобает смертному, кто снисходительно разделяет недостатки толпы и вежливо заблуждается заодно с нею. Но ведь в этом и состоит глупость, скажут мне. Не стану спорить, но согласитесь и вы, что это как раз и значит играть комедию жизни.

ГЛАВА XXX

Говорить ли мне дальше, о боги бессмертные, или умолкнуть теперь же? Зачем умолкать, когда слова мои — сущая правда? Но, пожалуй, в таком деле не мешало бы пригласить на помощь Муз геликонских, к которым поэты то и дело взывают из-за всякой чепухи. Так пособите же мне малость, дщери Юпитера, дабы могла я доказать, что к высокой оной мудрости, к этой твердыне блаженства, как ее прозвали философы, не отыскать пути, ежели Глупость не согласится быть вашим вожатым. Уже признано нами, что все чувствования подлежат ведению Глупости. Тем и отличен от дурня мудрец, что руководствуется разумом, а не чувствами. Поэтому стоики тщатся отстранить от мудреца все волнения, словно какие-то недуги, забывая, что чувства и страсти не только как рачительные пестуны направляют поспешающего в гавань мудрости, но сверх того служат хлыстом и шпорами доблести, ибо они-то и побуждают человека ко всякому доброму делу. Правда, это яростно оспаривает сугубый стоик Сенека, воспрещающий мудрецу всякое душевное волнение. Но при этом он уже ничего не оставляет от человека, а δημιουργεῖ [2] некоего нового бога, какого никогда не бывало и никогда не будет; говоря яснее, он воздвигает мраморное подобие человека, застывшее и лишенное всех людских свойств. Пусть философы, ежели им это нравится, носятся со своим мудрецом, пусть никого не любят, кроме него, пусть пребывают с ним вместе в государстве Платона, или в царстве идей, или

[1] либо пей, либо — вон *(греч.)*.
[2] создает *(греч.)*.

в садах Танталовых! Кто не убежит в ужасе от такого существа, не то чудовища, не то привидения, недоступного природным чувствованиям, не знающего ни любви, ни жалости,

«Твердому камню подобного, скалам Марпесса холодным»,

от которого ничто не ускользает, который никогда не заблуждается, который, подобно зоркому Линцею, все видит насквозь, все тщательно взвешивает, все знает, который одним только собой доволен, один богат, один здоров, один царь, один свободен, коротко говоря, он один — все, но... лишь в собственных своих помышлениях; не печалится он о друге, ибо сам никому не друг, даже богам готов накинуть петлю на шею, и все, что только случается в жизни, он осмеивает и порицает, во всем усматривая безумие. Вот он каков, этот совершенный мудрец. Теперь позвольте спросить: если бы вопрос решался голосованием, какое государство согласилось бы поставить над собою подобного правителя, какое войско последует за подобным вождем, какая женщина изберет себе такого супруга, кто согласится иметь за столом такого сотрапезника, какой раб снесет иго господина, обладающего подобным нравом? Кто не предпочтет ему последнего дурака из простонародья, который равно способен и повелевать глупцами, и повиноваться им, который будет угоден себе подобным (а таких всегда большинство), ласков с женой, обходителен с друзьями, весел на пиру, приятен в сожительстве и которому не чуждо ничто человеческое?! Но мне даже противно говорить долее об этом мудреце. Обратимся лучше к другим благам, которые доставляет вам Глупость.

ГЛАВА XXXI

Ежели поглядеть на наш мир с высоты небес, как смотрит, по рассказам поэтов, Юпитер, скольких бед исполнена жизнь человеческая: жалкое и грязное рождение, мучительное воспитание, детство, сопряженное с бесчисленными обидами, юность, обремененная бесчисленными трудами, тяжкая старость, суровая неизбежность смерти, целая рать болезней, множество несчастных случайностей и житейских невзгод — повсюду мед отравлен желчью! Не стану уж вспоминать, сколько зла причиняет человек человеку! Бедность, тюрьма, позор, бесчестие, пытки, мятежи, интриги, злословие, тяжбы, обманы... Но не пытаюсь ли я, в самом деле, τὴν ἄμμον ἀναμετεῖν[1]? Негоже

[1] исчислить песок морской? *(греч.)*

рассуждать здесь о том, какими грехами навлекли на себя люди все эти бедствия или какой гневный бог осудил их рождаться для горя и скорбей. Воистину всякий, кто поразмыслит как должно, никогда не осудит милетских дев, сколь ни жалкой представляется нам их участь. Но какие люди чаще всего налагали на себя руки, пресытившись печалями жизни? Не те ли, которые ближе всего стояли к мудрости? Не говоря уже о Диогенах, Ксенократах, Катонах, Кассиях и Брутах, напомню здесь Хирона, который мог получить бессмертие, но выбрал смерть. Судите сами, что случилось бы, если б все люди были мудрецами: опять понадобился бы кусок глины, и вновь пришлось бы взяться за работу гончару Прометею. Но я, обращаясь к помощи то невежества, то бездумья, даруя забвение всех зол и надежду на лучшее будущее, щедро окропляя людей медвяной росой наслаждения, так успешно помогаю им в бедах, что никто не желает расставаться с жизнью, прежде чем не кончилась нить Парок и жизнь сама не оставила тела: чем меньше у человека причин дорожить существованием, тем крепче он за него цепляется, не подозревая даже, что такое пресыщение и тоска. Благодаря моим дарам вы увидите повсеместно старцев в летах Несторовых, у которых и образа человеческого не сохранилось,— шамкающих, слабоумных, беззубых, седых, лысых или, как рисует их Аристофан, ῥυπῶντας, κυφοὺς, ἀθλίους ῥυσοὺς, μαδῶνας, νωδοὺς καὶ ψωλους [1]; и, однако, они так наслаждаются жизнью, так νεανίζειν [2], что иной, глядишь, красит свои седины, другой прикрывает лысину накладными кудрями, третий вставляет себе зубы, быть может, выдернутые из свиной челюсти, четвертый жалостно вздыхает по какой-нибудь девчонке и в любовных глупостях готов состязаться с зеленым юнцом. Иные в гроб смотрят, настоящие старые хрычи, а туда же, берут себе молодую жену, бесприданницу, конечно, и берут ее на потребу не столько себе, сколько другим; это случается повсеместно и вызывает даже похвалы. Еще забавнее, когда дряхлая старуха, труп трупом, словно только что с того света воротилась, то и знай повторяет: «φῶς ἀγαθόν» [3], резвится, καπρᾷ [4], привлекает за немалую мзду какого-нибудь Фаона, усердно расписывает румянами лицо, не отходит от зеркала, выщипывает заросли у себя между ногами, выставляет напоказ

---

[1] неопрятных, скрюченных, жалких, сморщенных, оплешивевших, отупевших, но сластолюбивых *(греч.)*.

[2] молодятся *(греч.)*.

[3] «Светик мой» *(греч.)*.

[4] жеманится *(греч.)*.

свои увядшие, рыхлые груди, криками, визгом подстрекает уснувшее вожделение, тянет вино, как губка, вмешивается в толпу пляшущих девушек, строчит любовные цидулки. Все над ней смеются, потому что это воистину весьма глупо; но сами старушонки собою довольны, наслаждаются жизнью, упиваются медом — и все по моей милости. И я прошу всех, кто находит это смешным, поразмыслить, что лучше — наслаждаться подобным образом, при содействии Глупости, или искать, как это говорится, перекладину для петли? Что касается позора, который, по общему мнению, навлекают на человека такие дела, то для моих дурачков его словно и не существует: они либо вовсе его не сознают, либо ежели сознают, то легко с ним мирятся. Вот если камень на голову свалится — это настоящая беда, а позор, бесчестие, хула и дурная молва лишь постольку доставляют неприятности, поскольку мы их замечаем. А не замечаем — так и беды нет совсем. Что тебе до того, ежели все кругом тебя свищут, когда сам ты себе рукоплещешь? Но все это становится возможным единственно при помощи Глупости.

ГЛАВА XXXII

Однако я уже предвижу, что со мной заспорят философы. «Подчиняться Глупости,— скажут они,— заблуждаться, обманываться, коснеть в невежестве — все это и значит быть несчастным». Нет, это значит быть человеком. Не понимаю, чего ради называть таких людей несчастными, раз они так рождены, так воспитаны, так приучены и ежели таков общий удел. Нет никакого несчастья в том, чтобы во всех отношениях быть подобным другим существам своей породы, иначе придется жалеть человека потому, что он не может летать вместе с птицами, не ходит на четвереньках вместе со скотами и не носит на лбу рогов наподобие быка. Воистину тогда пришлось бы назвать несчастливцем и прекраснейшего коня — потому что он не знает грамматики и не ест пирожных, и быка — потому что он не пригоден для забав палестры. Но если нечего жалеть неискушенного в грамматике коня, то нельзя назвать несчастным и глупого человека, ибо такова уж его натура. Здесь опять ополчатся на меня хитроумные спорщики: «Для того,— говорят они,— и дано человеку, в отличие от прочих живых существ, познание наук, чтобы он образованием ума восполнял пробелы, оставленные природой». Но разве это хоть в малой мере похоже на правду? Природа, с таким бдительным тщанием создавшая мошек, травы и цветы,

задремала, изволите видеть, и дала маху, когда творила человека, так что один он нуждается в поддержке наук — тех самых наук, которые на погибель роду человеческому изобрел Тевт, этот враждебный людям гений! Отнюдь не способствуя нашему счастью, науки лишь вредят той цели, ради которой они якобы созданы, как это изящно доказывает у Платона один умный царь.

Итак, науки, вместе с другими язвами человеческой жизни, появились на свет лишь по вине тех, от кого происходят все наши напасти, а именно — по вине демонов; на то указывает самое их название — демоны, словно бы δαήμονας [1], то есть знающие. В золотом веке человеческий род, не вооруженный никакими науками, жил, следуя указаниям одной природы. Какая, в самом деле, была нужда в грамматике, когда у всех был один общий язык и искусство речи служило лишь для того, чтобы люди понимали друг друга? Какую пользу могла принести диалектика, когда не существовало несходных мнений? Есть ли место риторике там, где никто не доставляет соседу никаких хлопот? К чему знание законов при отсутствии дурных нравов, от которых — в том нет сомнения — родились хорошие законы? Далее, древние люди были слишком богобоязненны, чтобы испытывать с нечестивым любопытством тайны природы, исчислять величину, движения и влияния небесных тел, пытаться проникнуть в сокровенные причины вещей; они сочли бы кощунством желание смертного человека сделаться мудрее, нежели то предопределено его жребием. А безумная мысль исследовать то, что находится за пределами небес, никому и в голову не приходила. Но по мере того как первобытная невинность золотого века начала клониться к упадку, злые гении изобрели науки и искусства, впрочем, на первых порах весьма немногочисленные и усвоенные лишь немногими. Впоследствии суеверие халдеев и праздное легкомыслие греков присовокупили сюда множество новых орудий умственной пытки, и теперь одной грамматики за глаза хватит, чтобы обратить в сплошное мученье всю жизнь человека.

ГЛАВА XXXIII

Впрочем, и между самими науками превыше всего ценятся те, которые ближе стоят к здравому смыслу, иначе говоря, к глупости. Голодают богословы, мерзнут физики, терпят посмеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только ἰατρὸς

[1] даэмоны *(греч.)*.

γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων[1]. Но и среди врачей — кто невежественнее, нахальнее, безрассуднее остальных, тому и цена выше даже у венчанных государей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею теперь занимаются, не что иное, как искусство морочить людей,— нисколько не хуже риторики.

К врачам ближе всего законники-крючкотворы; быть может даже, их следует поставить на первое место — сама судить не решусь; во всяком случае, все философы единодушно называют их ремесло ослиным. И, однако, от решений этих ослов зависят все дела — как самые важные, так и самые незначительные. Имения законников умножаются, между тем как богослов, постигнувший глубочайшие тайны божества, жует волчцы и ведет жестокую войну с клопами и блохами. Итак, если среди ученых счастливее других те, которые состоят в наиболее близком родстве с Глупостью, то, без сомнения, величайшие счастливцы — те, кто воздерживается от всякого соприкосновения с науками и исполняет веления одной природы; ведь природа никогда не заблуждается, разве только мы сами попытаемся перешагнуть за положенные человеческой доле границы. Ненавистна природе всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не искажено ни наукой, ни искусством.

ГЛАВА XXXIV

Посмотрите, далее, на любую другую породу живых существ: всех счастливей — те, которые не знают ни учения, ни дрессировки, но живут исключительно по закону природы. Кто блаженнее пчел, кто более их достоин восхищения? А ведь они даже не обладают всеми нашими телесными чувствами. Какой зодчий может с ними сравниться? Какому философу удалось учредить столь совершенную республику? С другой стороны — вот вам лошадь: чувствами своими она вполне подобна человеку и уже давно стала его товарищем и спутником, зато и делит с ним все невзгоды. Во время состязаний она задыхается от усталости, боясь поражения, а на войне напрягает все силы для победы, пока не ударится мордой о землю, рухнув вместе с седоком. Не говорю уже о зубчатых удилах, шпорах с острыми шипами, стойлах, подобных темницам, плетях, палках, путах, тяжести всадника и вообще обо всей этой трагедии рабства, на которую она добровольно себя обрекла, потому что стремится, подражая

[1] муж-врачеватель многим другим предпочтен *(греч.)*.

могучим мужам, отмщать своему врагу любой ценой. Насколько завиднее жизнь мушек и птичек, не знающих иного руководителя и наставника, нежели природа! Лишь бы только люди не преследовали их своими западнями, ибо стоит птице попасть в клетку, как она привыкает болтать человечьим языком и теряет весь блеск своей природной красоты. Настолько творения природы выше подделок искусства! Не нахожу достаточно похвал для того петуха Пифагора, который последовательно был философом, мужчиной, женщиной, царем, простолюдином, рыбой, лошадью, лягушкой и даже, сколько помнится, губкой и решил в конце концов, что нет существа несчастнее человека, поскольку все остальные животные довольствуются теми пределами, в которые их заключила природа, и лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия.

ГЛАВА XXXV

Далее, по мнению того же петуха, между людьми идиоты стоят много выше ученых и знатных. Грилл оказался гораздо мудрее πολυμῆτις [1] Одиссея, когда предпочел лучше хрюкать в хлеву, чем подвергаться вместе со своим предводителем новым опасностям. В этом со мною, кажется, согласен и сам Гомер, отец всяческой чуши, ибо он постоянно именует смертных δειλοὺς καὶ μογέρους [2], а мудрого своего Одиссея частенько зовет δύστηνον [3], между тем как ни разу не дает этого прозвища ни Парису, ни Аяксу, ни Ахиллу. Почему бы это? Не потому ли, что хитрый выдумщик Одиссей ничего не предпринимал без совета Паллады, мудрил свыше меры и постоянно отвергал внушения природы? Итак, между смертными те всего далее от блаженства, которые стремятся к мудрости, нет! они вдвойне глупы, ибо, родившись на свет людьми, мечтают, забывая о своей доле, уподобиться бессмертным богам и по примеру титанов ведут войну против природы с помощью машин, именуемых науками. Зато как счастливы, по-видимому, те, которые всего ближе к безмозглым скотам и даже не помышляют ни о чем чересчур высоком! Попробуем пояснить это не стоическими энтимемами, но самым грубым и для всех очевидным примером. Бессмертными богами клянусь, не лучше ли всего живется той породе

---

[1] многоопытного *(греч.)*.
[2] жалкими и злополучными *(греч.)*.
[3] горемыкой *(греч.)*.

людей, которые слывут шутами, дураками, тупицами, болванами,— прекрасные, на мой вкус, прозвища! То, что я сейчас скажу, с первого взгляда может показаться нелепым и бессмысленным, и, однако, это — истинная правда. Прежде всего, подобного рода люди свободны от страха смерти — зла превеликого, клянусь Юпитером! Укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой на будущие блага не обольщаются. Говоря короче, не тяготят их тысячи забот, которыми полна наша жизнь. Не стыдятся они, не завидуют, ни о чем не хлопочут, никого не любят и не уважают. Еще один шаг в сторону скотского неразумия — и, по мнению богословов, их заблуждения даже грехом нельзя будет назвать. А теперь взвесь, глупейший мудрец, все заботы, которые денно и нощно гложут твою душу, собери воедино все невзгоды твоей жизни, и ты уразумеешь, от скольких зол спасаю я моих дураков. Добавь сюда, что они не только сами вечно радуются, резвятся, напевают, смеются, но сверх сего одним своим появлением и другим людям приносят веселье, радость, шутки и смех, словно посланы милосердными богами разгонять все печали человеческой жизни. Потому-то, хотя вообще люди относятся друг к другу отнюдь не одинаково, дурачков все любят, как близких и родных, зовут в гости, балуют, ласкают, приходят к ним на помощь в беде; им позволяют безнаказанно говорить и делать что угодно. Никто не решится причинить им обиду, даже дикие звери их не трогают ради их простоты. Поистине они посвящены богам, особливо — мне, почему и пользуются всеобщим и заслуженным уважением.

ГЛАВА XXXVI

Дураки служат потехой величайшим властителям; иные без них ни трапезовать, ни прогуливаться, ни даже единого часа прожить не могут. Своих дурачков государи любят, без всякого сомнения, больше, нежели хмурых мудрецов, которых, впрочем, тоже содержат у себя при дворе чести ради. Причина такого предпочтения столь же ясна, сколь мало удивительна: мудрецы привыкли докладывать государям обо всем печальном, и, гордые своей ученостью, они дерзают порою оскорблять нежные уши язвительной правдой. Наоборот, глупые выходки шутов, их прибаутки, хохот, балагурство монархам всего больше по нраву. Примите в расчет и то немаловажное обстоятельство, что одни дураки бывают вполне искренни и правдивы. А что

похвальнее правдивости? Я знаю, Алкивиад в диалоге Платона называет правду спутницей вина и детства, но в действительности мне причитается по заслугам эта хвала; порукою тому Еврипид, которому принадлежит следующее знаменитое изречение: «μωρὰ γὰρ μωρὸς λέγει»[1]. У дурачка что в сердце скрыто, то и на лбу написано, то и с языка срывается. А у мудрецов, как заметил тот же Еврипид, два языка, из коих один говорит правду, а другой разглагольствует сообразно времени и обстоятельствам. Разумники эти — мастера превращать черное в белое, из одних и тех же уст выпускать поочередно холод и жар, одно таить в груди, а другое изъявлять в речах. При всем видимом благополучии своем государи представляются мне несчастнейшими из смертных, потому что никто не говорит им правды и вместо друзей имеют они только льстецов. Но, скажут мне, царские уши не выносят правды; по этой причине и убегают государи от мудрецов, опасаясь, как бы не отыскался среди них человек свободный, который посмеет говорить вещи скорее правдивые, нежели приятные. Это действительно так: ненавистна истина царям. Но то и удивительно в моих дурачках, что от них не только правда, но явные даже укоры выслушиваются с приятностью: пусть обронит неосторожное слово мудрец — головой своей он заплатит за это, а в устах у глупого шута те же самые речи вызывают бурю восторга. Истине самой по себе свойственна неотразимая притягательная сила, если только не примешивается к ней ничего обидного, но лишь одним дуракам даровали боги уменье говорить правду, никого не оскорбляя. Пожалуй, по тем же причинам и женщины отдают предпочтение мужчинам этого сорта, ибо они больше других склонны к забавам и всякому вздору. А сверх того, до чего бы ни дошло у женщины с дураком, хотя бы и до самого крайнего, все легко объяснить игрою и шуткой. Поистине неистощим на выдумки этот пол, в особенности — когда надо скрыть свои шашни!

ГЛАВА XXXVII

Но возвращаюсь снова к благополучию дураков. Прожив с великой приятностью жизнь, не отравленную страхом и предчувствием смерти, они переселяются прямо в поля Елисейские, дабы забавлять там своими шутками скучающие души праведных.

---

[1] «Глупый по-глупому и говорит» *(греч.)*.

А теперь сравним жребий какого угодно мудреца с участью глупого шута. Представьте себе человека, который все детство и юность свои провел в усвоении наук, который убил лучшую часть жизни на непрестанные бдения, заботы, труды, а в прочие годы не вкушал никаких наслаждений; неизменно бережливый, бедный, печальный, хмурый, к самому себе взыскательный и суровый, для других тягостный и ненавистный, бледнолицый, тощий, хилый, подслеповатый, преждевременно состарившийся и поседевший, он до срока расстается с жизнью. Впрочем, не все ли равно, когда он умрет,— ведь он и не жил вовсе! Вот вам образ совершенного мудреца!

ГЛАВА XXXVIII

Но тут снова заквакали мне в уши οἱ ἐκ τῆς στοᾶς βάτραχοι[1]. «Нет,— говорят они,— ничего столь жалкого, как безумие, а величайшая глупость соседствует с безумием, вернее сказать, онато и есть настоящее безумие. Что значит безумствовать, если не заблуждаться во всех своих помыслах?» Но сами они заблуждаются от начала и до конца своего пути. Разобьем-ка, при помощи Муз, и этот их силлогизм.

Подобно тому как у Платона Сократ рассекает Венеру на две части и из одного Купидона делает двух, так и этим диалектикам, при всей их тонкости и хитрости, не мешает отличать безумие от безумия, если только они желают казаться в здравом уме. Отнюдь не всякое безумие губительно. Иначе не сказал бы Гораций:

«Иль сладко безумье так
Прельщает слух и зренье мне?» —

Платон не поименовал бы неистовства поэтов, пророков и влюбленных в числе наивысших жизненных благ и прорицательница не нарекла бы безумным подвиг Энея. Все дело в том, что безумие бывает двоякого рода: иногда оно посылается из подземного царства жестокими мстительницами, которые, вселяя в нашу грудь ядовитых змей, воспаляют ее то воинственным пылом, то неутолимою жаждой золота, то недозволенной и постыдной любовью, то страстью к отцеубийству, кровосмешению, святотатству и другим подобным злодействам или преследуют преступную душу, устрашая ее фуриями и грозными факелами.

[1] стоические лягушки *(греч.)*.

Но есть и другое, нимало не сходное с первым безумие, исходящее от меня и для всех отрадное. Оно постигает человека всякий раз, когда какое-либо приятное заблуждение ума освобождает душу от мучительных забот и одновременно досыта поит наслаждениями. Подобная ошибка сама по себе есть наилучший дар богов, о ней-то именно и мечтал Цицерон, когда писал к Аттику, что желает не сознавать великого множества окружающих его бедствий. А разве так уж опасно заблуждался тот аргивянин, помешательство которого выражалось лишь в том, что он целые дни просиживал в театре один-одинешенек, смеясь, рукоплеща, радуясь, как будто присутствовал при исполнении восхитительной трагедии, тогда как в действительности перед ним не было ни единого актера. Во всех остальных житейских делах он вел себя вполне разумно и дельно.

«Добрым соседом он был и хозяином гостеприимным,
Ласков с женою; умел снисходительным быть и к рабам он,
В яростный гнев не впадал, коль печать повредят у бутыли».

Но когда родственникам удалось победить болезнь лекарствами и он пришел в себя, то немедленно стал жаловаться:

«...не спасли вы меня, а убили,
Други, — сказал он, — клянусь! Ибо вы наслажденье исторгли,
Отняли силой обман, что приятнейшим был для сознанья».

И правильно: не он, а они скорее нуждались в лечении, ибо иначе не пришло бы им в голову изгонять при помощи целебных снадобий такое блаженное и приятное безумие.

Но мы до сих пор еще не установили, что следует называть безумием — обман чувств или ошибку ума. Ведь ежели человеку близорукому мул представится ослом, то это еще не помешательство; ежели кто сочтет жалкие вирши превосходнейшими стихами, то он еще не сумасшедший. Настоящим помешанным можно считать лишь того, кому изменяют не только внешние чувства, но и способность суждения, и при этом не случайно, но постоянно,— например, если кто, заслышав рев осла, каждый раз будет утверждать, что слышит упоительную музыку, или если человек, рожденный в подлом звании и нищете, возомнит себя богатым и могущественным, словно Крез, царь лидийский. Но этот род безумия, обычно соединяющийся с веселостью, весьма приятен и тому, кто им одержим, и тому, кто наблюдает

его со стороны, сам оставаясь в полном душевном здравии. Такое безумие распространено гораздо шире, нежели принято думать. Сплошь да рядом двое помешанных смеются друг над другом к обоюдному удовольствию. Нередко даже увидите, как тот, чье безумие сильнее, смеется куда громче того, в ком еще сохранился остаток здравомыслия.

ГЛАВА XXXIX

По моему глупому суждению, всех счастливее тот, кто всех безумнее, лишь бы он был подвержен тому роду помешательства, который свойствен мне и который встречается столь часто, что среди всего великого множества смертных вряд ли найдется человек, который вечно оставался бы в здравом уме и не страдал каким-нибудь видом безумия. Ежели кто, видя тыкву, принимает ее за свою жену, то его называют сумасшедшим, поскольку такие случаи редки. Но если он, имея супругу, которую делит с весьма многими, в счастливом неведении клянется, что она вернее Пенелопы, и весьма тому радуется,— его никто не назовет безумцем, ибо подобного рода мужей можно видеть повсюду.

К этому сословию принадлежат и те, кто ради охоты на красного зверя позабывает обо всем на свете; такие люди утверждают, будто испытывают несказанное блаженство, слыша вопли рогов и тявканье собак. Полагаю даже, что собачий кал пахнет для них киннамоном. А что за наслаждение свежевать зверя! Резать быков и баранов подобает простолюдину, но рассекать на части красного зверя не разрешается никому, кроме благородных. Да и те обязаны разрубать туши, обнажив голову, преклонив колена, действуя мечом, нарочито для того предназначенным, а не первым подвернувшимся под руку; все здесь предусмотрено: каждое движение, чередование отсекаемых членов и прочее, совсем как в церковном обряде. А вокруг стоит безмолвная толпа и дивится, как будто глядит на какую-то новинку, а не на привычное, тысячу раз виденное зрелище. А если кому посчастливится и отведать дичины, то ликует он так, словно приобщился к высокороднейшему дворянству. Следствием же этой усердной травли и поеданья зверей оказывается лишь то, что люди сами превращаются чуть ли не в скотов, хотя мнят себя живущими по-царски.

Всего ближе к этому роду помешанных стоят неутомимые зодчие, без конца перестраивающие круглое здание в квадратное и квадратное — в круглое; занятие это не знает ни конца,

ни предела, доколе строители наши, промотавшись в пух, не останутся без крова и пропитания. Что за беда? Зато несколько лет они пожили в полное свое удовольствие.

За ними следуют те, кто при помощи тайных, невиданных прежде наук тщатся преобразовать природу вещей и отыскивают некую пятую сущность на суше и в морской пучине. И так обольщает их сладкая надежда, что не жалеют они ни трудов, ни издержек, с удивительной изобретательностью придумывают постоянно что-нибудь новое, обманывают и морочат себя приятнейшим образом до тех пор, пока не лишатся всего и не останутся без гроша — даже горн починить не на что. Это, однако, не мешает им по-прежнему видеть радужные сны и соблазнять других людей тем же блаженством. Когда же покидает их наконец всякая надежда, то они всласть утешаются известным изречением:

«Важно уже и стремление в деле великом».

При этом они жалуются на кратковременность жизни, которой-де не хватило на осуществление исполинского замысла.

Я не совсем уверена, можно ли допустить в наше братство игроков. Но поистине глупы и смешны люди, до такой степени пристрастившиеся к игре, что, едва заслышат стук костей, сердце у них в груди так и прыгает. Беспрестанно обольщаемые надеждой на выигрыш, они натыкаются со всем кораблем своим на скалу неудачи, не менее страшную, нежели скалы Малеи. Вынырнув нагишом, они готовы бывают надуть кого угодно, но только не прежних своих победителей — оттого, разумеется, что боятся уронить свое достоинство. И старики, наполовину ослепшие, тоже играют, нацепив на нос очки. У иного хиragрой так скрючило пальцы, что он вынужден нанимать себе помощника, который мечет вместо него кости. Да, сладкая вещь игра, но слишком уж часто переходит она в неистовство, подвластное уже не мне, но фуриям.

ГЛАВА XL

Зато, без всякого сомнения, из нашего теста испечены того сорта люди, которые любят рассказы о ложных знамениях и чудесах и никак не могут досыта наслушаться басен о призраках, лемурах, ларвах, выходцах с того света и тому подобной невидали; и чем более расходятся с истиной эти небылицы, тем охотнее им верят, тем приятнее ласкают они слух. Не для одного препровождения времени рассказываются эти басни — бывает

от них и выгода, особливо священникам и площадным краснобаям. Нужно здесь помянуть и тех, кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто стоит человеку поглядеть на статую или икону Полифема-Христофора — и смерть не грозит ему в тот день; или, что, прочитав перед статуей святой Варвары некую молитву, он воротится цел и невредим с поля боя; или, что, ставя в известные дни свечки святому Эразму, он вскоре сделается богачом. Из святого Георгия люди эти создали себе нового Ипполита или Геракла, на его коня, благоговейно украшенного драгоценной попоной с кистями, они только что не молятся; стараясь заслужить его расположение, они то и дело подносят ему подарочки, а медным шлемом святого клянутся даже короли. А что сказать о тех, которые, якобы искупив свои грехи пожертвованием на церковь, безмятежно радуются и измеряют срок своего пребывания в чистилище веками, годами, месяцами, днями, часами — без малейшей ошибки, словно при помощи клепсидры или математической таблицы? Что сказать далее о тех, которые верят в волшебные амулеты и наговоры, выдуманные каким-нибудь благочестивым обманщиком для потехи или выгоды ради, и тешат себя надеждами на богатство, почести, наслаждения, избыток во всем, вечно цветущее здоровье, долгую жизнь, бодрую старость и, наконец, место в царствии небесном поближе к самому Христу? Впрочем, попасть туда они рассчитывают возможно позже: когда, мол, пресытятся всеми наслаждениями здешней жизни, тогда и променяют ее на райское блаженство. Судите сами: иной купец, воин или судья, уделив единый грошик из всего награбленного им, верит, что разом обелил скверну своей жизни; все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи, драки, убийства, обманы, козни, измены он считает выкупленными и оплаченными, словно по договору, так что при желании впору бы начать новый круг мерзостей. Можно ли быть глупее, да нет! — счастливее тех, кто, читая ежедневно семь стишков из священной Псалтири, сулит себе за то вечное блаженство? Полагают, что названные магические стишки указал святому Бернарду некий демон, весьма красноречивый, что и говорить, но вместе с тем скорее легкомысленный, чем хитрый, а потому и попавший впросак. Все это настолько глупо, что даже я готова устыдиться, и, однако, этому верят не только грубые мужики, но и наставники церкви. Вполне уместно будет сказать и о том, что каждая область заявляет притязания на своего особливого святого; каждый чествуется особыми обрядами, каждому из них приписываются особые способности: один исцеляет от зубной боли, другой

искусно помогает роженицам, третий возвращает украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот охраняет стада, и так далее в том же роде. Перечислять всех подряд было бы слишком долго. Существуют также святые, оказывающие помощь во всех случаях жизни, такова в особенности богородица-дева, которую простой народ чтит даже более, чем ее сына.

ГЛАВА XLI

Но разве просят люди у всех этих святых чего-нибудь, не имеющего отношения к глупости? Взгляните на благодарственные приношения, которыми стены иных храмов украшены вплоть до самой кровли,— увидите ли вы среди них хоть одно пожертвование за избавление от глупости, за то, что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул, но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий удрал столь же доблестно, сколь счастливо, с поля битвы, в то время как другие продолжали сражаться. Четвертый был вздернут на виселицу, но при помощи некоего святого, покровителя воров, сорвался и ныне продолжает с успехом облегчать карманы богатеев, обремененные деньгами. Пятый бежал, проломав стену тюрьмы. Шестой, к негодованию своего врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не умер, а только прочистил желудок на горе своей супруге, которая впустую потрудилась и потратилась. У восьмого опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые. На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый, застигнутый мужем на месте преступления, счастливо спасся. Но никто не благодарит за избавление от глупости. Так сладко ни о чем не думать, что от всего откажутся люди, только не от Мории. Но к чему пускаться в это море суеверий?

Если б имела я сто языков и железное горло,
То и тогда б не могла дураков породу исчислить
И описать до конца многовидные глупости формы.

Вся жизнь христиан до краев переполнена подобными безумствами, а священнослужители не только терпят их, но и поощряют, ибо знают отлично, как это увеличивает их доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас несносный некий мудрец и начинает проповедовать: «Ты не погибнешь, если станешь жить праведно, грехи твои простятся тебе, если к пожертвованной лепте ты присовокупишь ненависть к злым делам,

слезы, бдения, молитвы, посты — словом, все переменишь в твоей жизни. Святой этот станет тебе покровительствовать, если ты решишься ему подражать».

Если бы, говорю я, такой мудрец взялся неотступно бубнить свои поучения, сами можете себе представить, в какую смуту вверг бы он души людские, прежде утопавшие в блаженстве!..

К нашему братству принадлежат и те, кто еще при жизни усердно хлопочет о собственных похоронах, подробно указывает, сколько факелов, сколько праздных зевак в трауре, сколько певчих и сколько наемных плакальщиков должны сопровождать его тело, как будто он сам сможет любоваться на это зрелище или будет сконфужен, ежели труп предадут земле без надлежащей пышности. Право, эти люди хлопочут так, словно их избрали эдилами для устройства народных игрищ и угощения.

ГЛАВА XLII

Как ни тороплюсь я, не могу, однако, обойти молчанием тех, которые хоть и не отличаются ничем от последнего поденщика, однако кичатся благородством своего происхождения. Один ведет свой род от Энея, другой — от Брута, третий — от Артура. Повсюду выставляют они скульптурные и живописные изображения своих предков, исчисляют прадедов и пращуров, вспоминают старинные фамильные прозвища, а ведь сами недалеко ушли от бессловесных истуканов. Это, впрочем, не мешает им чувствовать себя как нельзя лучше — при любезном содействии Филавтии. Но еще находятся дураки, готовые приравнять этих родовитых скотов к богам!

Зачем, впрочем, говорю я о том или ином виде тщеславных и блаженных глупцов, когда Филавтия создает счастливцев повсюду и самым чудесным образом? Иной уродливее обезьяны, а самому себе кажется Нireем. Другой, проведя кое-как при помощи циркуля три кривых линии, мнит себя Эвклидом. Этот в музыке — что ὄνος πρὸς λύραν[1], и поет не лучше курицы, которую оседлал петух, а воображает себя вторым Гермогеном. А вот еще один, без всякого сомнения приятнейший род помешательства — когда господа тщеславятся дарованиями своих слуг, словно своими собственными. Таков, например, был трижды счастливый богач, описанный Сенекой: желал он рассказать

[1] осел, играющий на лире *(греч.)*.

забавную историю — к его услугам были рабы, подсказывавшие ему все, чего он сам не упомнил, и хотя сам был так хил и бессилен, что едва душа держалась, он не боялся участвовать в кулачных боях, полагаясь на силу своих многочисленных слуг.

Нужно ли поминать здесь служителей свободных искусств? Им всем так близка Филавтия, что иной скорей откажется от отеческого достояния, нежели признает себя лишенным таланта; таковы в особенности актеры, певцы, ораторы и поэты, из коих кто невежественнее других, тот и наглее в своем самомнении, громче хвастается, больше пыжится. Но на всякий товар свой купец найдется, и, мало того: чем бездарней такой человек, тем больше у него почитателей; самая низкопробная дрянь всегда приводит толпу в восхищение, ибо значительное большинство людей, как уже сказано, заражено глупостью. Невежда и сам собою доволен, и другие им восторгаются, так зачем же стремиться к истинной учености, добываемой великими трудами, приносящей с собою робость и застенчивость и, наконец, ценимой столь немногими?!

ГЛАВА XLIII

Но природа не только каждого смертного одарила личным тщеславием — она постаралась снабдить народы и даже отдельные города некоей общей Филавтией. Поэтому британцы заявляют исключительные притязания на телесную красоту, музыкальное искусство и хороший стол. Шотландцы тешатся своим благородством и родством с королями, а также тонкостью ума. Французы только себе приписывают приятную обходительность. Парижане уверены, будто они превыше всех стоят в науке богословия. Итальянцы присвоили себе первенство в изящной литературе и красноречии, а посему пребывают в таком сладостном обольщении, что из всех смертных единственно лишь себя не почитают варварами. Этой блаженной мыслью более всех проникнуты римляне, которым доселе снятся приятные сны о Древнем Риме. Венецианцы счастливы сознанием своего знатного происхождения. Греки мнят себя творцами всех наук и приписывают себе достохвальные деяния древних героев. Турки, это скопище настоящих варваров, притязают на обладание единственно истинной религией и смеются над суеверием христиан. Но куда слаще самообольщение иудеев, которые доселе упорно ждут своего Мессию и цепко держатся за Моисея. Испанцы никому не согласны уступить в том, что касается воинской славы. Немцы бахвалятся высоким ростом и знанием магии.

ГЛАВА XLIV

Полагаю, что вам и без дальнейших подробностей должно быть ясно, сколь великую отраду доставляет и отдельным смертным, и всему человечеству вообще моя Филавтия, с которой весьма схожа ее сестра — Лесть. В самом деле, Филавтия есть не что иное, как самообольщение. Льсти другому, и это будет Κολαχία. В наши дни лесть почитается чем-то постыдным, но так судят лишь те, для которых названия вещей имеют больше значения, нежели самые вещи. Они полагают, что лесть несовместима с верностью; но они заблуждаются — даже животные служат примером обратного. Кто льстивее пса? И кто его вернее? Найдется ли животное ласковее белки, и кто так легко, как она, становится другом человека? Или, быть может, для совместной жизни с людьми более пригодны суровые львы, свирепые тигры, неистовые леопарды? Есть, правда, и пагубный вид лести, при помощи которого иные коварные насмешники доводят несчастных до гибели. Но моя Κολαχία рождается от добродушия и простосердечия и более сходствует с добродетелью, нежели противные ей суровость и угрюмство, столь несносные и докучливые, по слову Горациеву. Она ободряет упадших духом, увеселяет печальных, поднимает расслабленных, будит оцепенелых, больных исцеляет, свирепых умягчает, любящих сближает, а сблизив, удерживает в единении. Она побуждает отроков к усвоению наук, веселит старцев; под видом похвал и без обиды увещевает и научает государей. В общем, благодаря ей каждый становится приятнее и милее самому себе, а ведь в этом и состоит наивысшее счастье. Поглядите, как услужливо два мула почесывают друг другу спины. Не в этом ли состоит главная задача красноречия, еще в большей степени медицины и всего более поэзии? Лесть — это мед и приправа во всяком общении между людьми.

ГЛАВА XLV

Но ведь заблуждаться — это несчастье, говорят мне; напротив, не заблуждаться — вот величайшее из несчастий! Весьма неразумны те, которые полагают, будто в самих вещах заключается людское счастье. Счастье зависит от нашего мнения о вещах, ибо в жизни человеческой все так неясно и так

сложно, что здесь ничего нельзя знать наверное, как справедливо утверждают мои академики, наименее притязательные среди философов. А если знание порой и возможно, то оно нередко отнимает радость жизни. Так уж устроена человеческая душа, что более прельщается обманами, нежели истиною. Ежели кто потребует от меня наглядных и убедительных примеров, я посоветую ему посетить храм или общественное собрание. Когда речь ведется о предметах важных, все спят, зевают и томятся. Но стоит только орущему (виновата, я хотела сказать — ораторствующему) рассказать какую-нибудь дурацкую, смешную историйку (а это случается нередко), все оживляются, подбадриваются, навостряют уши. Равным образом, чем больше поэтических выдумок вокруг святого, как, например, вокруг Георгия, Христофора или Варвары, тем усерднее ему поклоняются, не то что Петру, Павлу или даже самому Христу. Впрочем, здесь не место говорить об этом.

Итак, счастье зависит не от самих вещей, но от того мнения, которое мы о них составили. К вещам доступ труден, даже к самым легким, вроде грамматики, а мнения усваиваются легко и просто, и их одних с избытком хватает для достижения счастья. Поглядите-ка на этого обжору, уписывающего гнилую солонину; иной запаха ее не стерпел бы, а ему она представляется амброзией — так чего же недостает ему для полного блаженства? И напротив, ежели кого тошнит от осетра, то что ему за радость в этом ястве? Если супруга до крайности безобразна, но мужу своему кажется достойной соперницей Венеры, то не все ли это равно, как если бы она была воистину красавицей? Ежели кто, любуясь картиною, написанной негодным маляром, дивится ей, считая созданием Зевксида или Апеллеса, не блаженнее ли он того, кто, купив за дорогую цену творения этих мастеров, быть может, гораздо меньше будет наслаждаться их созерцанием? Знаю я одного человека, моего соименника, который подарил своей молодой жене поддельные дорогие камни, но при этом сумел уверить ее, будто они настоящие, подлинные, воистину единственные в своем роде, так что даже цены не имеют. Спрашивается: не все ли равно было этой девчонке — тешить глаза свои и душу стекляшками или хранить в ларце под замком действительно несравненное сокровище? А супруг между тем и расходов избег, и жене своей обманутой угодил не меньше, чем если бы преподнес ей богатый подарок. Что скажете вы об узниках Платоновой пещеры, дивящихся теням и подобиям вещей и довольствующихся этим зрелищем? Не счастливее ли они

того мудреца, который, выйдя из пещеры, созерцает самые вещи? Лукианов Микилл, видевший себя во сне богачом, не пожелал бы себе иного блаженства, если б дано ему было вечно грезить. Итак, либо нет никакой разницы между мудрецами и дураками, либо положение дураков не в пример выгоднее. Во-первых, их счастье, покоящееся на обмане или самообмане, достается им гораздо дешевле, а во-вторых, они могут разделить свое счастье с большинством других людей.

ГЛАВА XLVI

Далее, известно, что никакие житейские блага не будут нам приятны, ежели мы пользуемся ими одни, без товарищей. Но каждый знает и другое: если существуют на свете мудрецы, то лишь в самом малом числе. За столько веков греки насчитали их всего семь, да и то, клянусь Гераклом, ежели перетряхнуть хорошенько этих семерых, то — помереть мне на этом самом месте — не найдется среди них даже половины настоящего мудреца, а пожалуй, так и одной трети. Много похвал воздают Вакху, но особенно славят его за то, что он снимает с души всякие заботы,— впрочем, лишь на самое малое время: как проспишься с похмелья, тотчас словно на четверке подкатывают к тебе тяжелые думы. Сколь полнее и прочнее моя благостыня, ибо я вечным опьянением ублажаю и веселю душу, и притом без всяких хлопот! Сверх того, я наделяю моими дарами всех смертных без изъятия, тогда как щедроты прочих богов распределяются отнюдь не поровну. Далеко не во всех землях рождается благородное, тонкое вино, прогоняющее заботы и вливающее в сердце безграничную надежду. Редко кому достается в удел красота, милостиво ниспосланная Венерой, еще реже — красноречие, дар Меркурия. Лишь немногим удалось обогатиться при помощи Геракла. Не каждому дает власть Гомеров Юпитер. Марс сплошь да рядом отказывает в своем благоволении обоим сражающимся воинствам. Сколь многие печально обращаются вспять от треножника Аполлонова. Сын Сатурнов часто мечет молнии на землю, а Феб посылает чуму своими стрелами. Нептун больше губит людей, нежели спасает. Лишь мимоходом упомяну здесь о Вейовисах, Плутонах, Атах, Пенах, Фебрах и прочих — не богах, а палачах. Единственно я, Глупость, всех равно и с такой готовностью жалую моей благостыней.

Я не требую даров и обетов, не гневаюсь и не жду искупительных приношений, ежели в обряд вкралась какая погрешность. Я не переворачиваю вверх дном небо и землю, когда прочих богов приглашают обонять благовоние жертв, а меня забывают и я остаюсь дома. Между тем другие боги отличаются в этих делах столь великою строгостью, что лучше и безопаснее даже и не вспоминать о них, нежели служить им. Таковы же и многие люди, столь капризные и чувствительные к обидам, что лучше с ними вовсе не знаться, нежели дружить. Но, скажут мне, ведь никто не приносит жертв Глупости, никто не воздвигает ей храмов. Я уже говорила, что дивлюсь подобной неблагодарности. Впрочем, по снисходительности моей, я смотрю на это добродушно да, по правде говоря, совсем и не желаю, чтоб мне служили, как прочим богам. Чего ради стану я требовать ладана или муки, козленка или борова, когда смертные всякого рода и звания и без того правят мой обряд при полном одобрении богословов? Разве что Диане позавидовать, которую потчуют человеческой кровью? Я полагаю, что мне служат с великим благоговением, ибо всегда и всюду носят меня в своих сердцах и подражают мне в жизни. Такое почитание святых не часто встретишь и среди христиан. Как много людей возжигают свечи богородице даже среди бела дня, когда в том нет никакой нужды! Но сколь малое число их стремится подражать ей чистотою жизни, кротостью и любовью ко всему небесному. А ведь в этом-то и состоит истинное, самое отрадное для небожителей служение. Зачем мне храмы, когда весь круг земной — мой храм, прекраснее которого, по-моему, ничего быть не может. Таинства мои не останутся без причастников, доколе существуют люди. Я не так глупа, чтобы домогаться икон и статуй — они нередко вредят чистоте культа, ибо дураки и тупицы чтут иконы усерднее, чем изображенных на них святых, а тем временем мы, боги, терпим то же, что священник, которого выгоняет из прихода его же викарий. Я считаю, что мне воздвигнуто столько статуй, сколько есть на свете людей, воспроизводящих вживе мой образ, хотя бы и вопреки своей воле. Итак, нечего мне завидовать прочим богам, если иные из них в определенные дни чтутся в том или ином уголке земли, например, Феб на Родосе, Венера на Кипре, Юнона в Аргосе, Минерва в Афинах, Юпитер на Олимпе, Нептун в Таренте, Приап в Лампсаке, ибо мне весь мир усердно и непрерывно приносит несравненно лучшие жертвы.

Иному из вас, быть может, покажется, что в словах моих больше дерзости, нежели правды, но приглядимся чуть повнимательнее к жизни людской — и тотчас увидим, сколь многие у меня в долгу, как усердно чтут меня и великие и малые мира сего. Я не стану разбирать здесь одно за другим все состояния и сословия — это было бы слишком долго,— а буду говорить лишь о тех, кто поважней; об остальных вы легко и сами рассудите. В самом деле, к чему заниматься чернью, которая, без всякого сомнения, вся целиком мне подвластна? Люди простого звания сообщают глупости столь разнообразные формы, они ежедневно изобретают по этой части такие новшества, что для осмеяния их не хватило бы и тысячи Демокритов, тем более что самим Демокритам этим понадобился бы новый Демокрит.

Вы не поверите, какое развлечение, какую потеху, какое удовольствие доставляют ежедневно людишки богам! Трезвые предполуденные часы боги привыкли посвящать выслушиванию людских споров и обетов, но когда, хлебнув нектара, они теряют охоту к предметам важным, то забираются повыше на небо и оттуда глядят вниз. Нет зрелища приятнее! Боже бессмертный, что за представление эта шутовская возня глупцов! (Я и сама люблю посидеть здесь в одном ряду с богами поэзии.) Вот человек, который сохнет по какой-нибудь бабенке и тем сильнее влюбляется, чем меньше встречает взаимности. Вот другой берет себе приданое, а не жену. Один посылает на блуд собственную невесту; другой ревниво, как Аргус, следит за нею. Этот, по случаю траура, каких только глупостей не говорит и не делает! Призывает, например, наемных лицедеев, чтобы они изобразили в лицах его печаль. Тот плачет над могилою мачехи. Этот пихает себе в глотку все, что только удастся раздобыть, хотя, быть может, вскоре ему придется голодать. Этот ничего не знает приятнее сна и досуга. Есть и такие, которые вечно шумят и волнуются по поводу чужих дел, своими же пренебрегают. Иной — весь в долгах, накануне разорения, а мнит себя богатеем. Для другого нет высшего блаженства, как жить всю жизнь в нищете, лишь бы наследнику досталось побольше. Этот ради малой и неверной прибыли рыщет по морю, вверяя волнам и ветрам свою жизнь, которую нельзя купить ни за какие деньги. Другой предпочитает искать сокровищ на войне, вместо того чтобы дома наслаждаться покоем и безопасностью. Найдутся и такие, которые удобнейший путь к обогащению видят в том, чтобы подольститься к одиноким старичкам, в то время как

иные, стремясь к той же цели, обольщают богатых старушек. Какая потеха для богов-зрителей, когда и те и другие бывают одурачены теми, кого хотели надуть.

Но глупее и гаже всех купеческая порода, ибо купцы ставят себе самую гнусную цель и достигают ее наигнуснейшими средствами: вечно лгут, божатся, воруют, жульничают, надувают и при всем том мнят себя первыми людьми в мире потому только, что пальцы их украшены золотыми перстнями. Вертятся вокруг них льстивые братцы монахи, которые ими восхищаются, громко именуют их достопочтенными, в надежде получить малую толику от неправедно нажитых богатств. Зато в другом месте увидишь подчас неких пифагорейцев, которым все блага земные представляются до того общими, что они все лежащее без охраны тащат с легким сердцем, словно законное наследство получили. Немало и таких, что богаты лишь в мечтах: услаждаясь приятными снами, они бывают вполне довольны и счастливы. Иные на людях разыгрывают богачей, а дома усердно постятся. Один расточает все, что имеет, другой приумножает правдами и неправдами. Этот домогается у народа почетной должности, тот сидит весь век у себя за печкой. Многие ведут нескончаемые тяжбы, наперебой обогащая судью-волокитчика и его пособника — адвоката. Один замышляет государственный переворот, другой лелеет честолюбивые замыслы. Иной отправляется в Иерусалим, Рим или Сантьяго, где нет у него никакого дела, а дома покидает жену и ребят... В общем, ежели поглядеть с луны, по примеру Мениппа, на людскую сутолоку, то можно подумать, будто видишь стаю мух или комаров, дерущихся, воюющих, интригующих, грабящих, обманывающих, блудящих, рождающихся, падающих, умирающих. Нельзя и представить себе, сколько движения, сколько трагедий в жизни этих недолговечных тварей, ибо сплошь да рядом военная буря или чума губит и уничтожает их целыми тысячами.

ГЛАВА XLIX

Но я сама была бы всех глупее и вполне достойна того, чтобы Демокрит хохотал надо мной во все горло, если бы вздумала исчислять здесь все разновидности глупости и безумства, существующие в народе. Обращаюсь поэтому к тем, которые почитаются у смертных за мудрецов и держат, как говорится, златую ветвь в руках. Среди них первое место занимают грамматики — порода людей, несчастнее которой, злополучнее и

ненавистнее богам не было бы на свете, если б я в своем милосердии не скрашивала тягот их ремесла неким сладким безумием. Не πέντε κατάραις[1], о которых гласит греческая эпиграмма, они обречены, но целой тысяче, ибо вечно они голодны, грязны и проводят всю жизнь свою в училищах,— «в училищах» сказала я? — нет, в φροντιστηρίοις[2] или, вернее, на мельницах, в застенках для пыток; окруженные толпами мальчишек, они преждевременно стареют от непосильных трудов, глохнут от криков, чахнут от грязи и смрада и, однако, по моей милости, мнят себя первыми среди смертных. Чрезвычайно собой довольные, они устрашают робкую стаю ребятишек своим грозным видом и голосом; они полосуют бедняжек прутьями, розгами, плетьми и свирепствуют, по своему благоусмотрению, на все лады, точь-в-точь как известный кумский осел. Зато грязь представляется им чистотой, смрад — майорановым благовонием, а собственное жалкое рабство — царственной властью, так что тирании своей они не променяли бы на могущество Фаларида или Дионисия.

Но особенно счастливы они сознанием своей необычайной учености. Они пичкают мальчуганов всякою чушью, и, однако, боги великие, где тот Палемон или Донат, на которого они не глядели бы с презрением! При помощи какого-то неведомого колдовства они ухитряются внушить глупеньким матушкам и отцам-идиотам то же высокое понятие о себе, какого сами придерживаются. Присовокупите сюда удовольствие отыскать иной раз на полуистлевшем листе имя матери Анхиза или какое-нибудь полузабытое словечко, например, «меево», «жупа» или «должея», или выкопать где-нибудь обломок древнего камня с полустертою надписью. О, Юпитер, какой поднимается тогда шум, какое ликование, какие хвалы — можно подумать, что человек Африку покорил или овладел Вавилоном! Иной, читая повсюду свои холодные, вялые вирши и находя дураков, готовых восхищаться, начинает верить, будто душа самого Вергилия Марона вселилась в его грудь. Но забавнее всего наблюдать, как они на началах взаимности прославляют и восхваляют друг друга и почесывают один другому за ушами. Зато, случись им уличить в ошибке, хотя бы и самой пустячной, кого-нибудь из посторонних,— Ἡράκλεις![3] — какая тотчас разыграется трагедия, какие поднимутся споры, какая брань посыплется, какие

---

[1] Пяти проклятиям *(греч.)*.
[2] размышляльнях *(греч.)*.
[3] Геракл великий! *(греч.)*

оскорбления! Пусть возненавидят меня все грамматики, ежели я лгу. Знакома я с одним πολυτεχνότατον [1], эллинистом, латинистом, математиком, философом, медиком, καὶ ταῦτα βασιλικόν [2], человеком уже лет шестидесяти, который, позабыв все на свете, уже лет двадцать корпит и мучается над грамматикой, утешая себя надеждой дожить до того счастливого дня, когда он научится безошибочно различать все восемь частей речи, чего, как известно, не мог вполне достигнуть ни один из эллинистов и латинистов. Как будто стоит заводить войну, ежели кто примет иной раз союз за наречие! К тому же грамматик у нас не меньше, чем грамматиков, и даже больше,— ибо один мой милый Альд издал их целых пять,— и вот старик не пропускает ни одной грамматики, даже самой невежественной и нелепой, не изучив и не прозубрив ее от доски до доски. На каждого глядит он с подозрением, жалко трусит, как бы кто не похитил у него вожделенную славу, как бы не пропали усилия стольких лет понапрасну. Назовете вы это безумием или глупостью — мне все равно. Признайтесь только, что по моей милости жалчайшая из тварей наслаждается таким блаженством, что не захочет поменяться своей участью даже с персидскими царями.

ГЛАВА L

Значительно менее обязаны мне поэты, хотя по свойству своего ремесла целиком принадлежат к моей партии. Ведь поэты, как говорит пословица,— вольный народ, все дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями. И, однако, своим празднословием они не только сами надеются купить бессмертие и вживе уподобиться богам, но и другим то же сулят. Φιλαυτία καὶ Κολακία [3] водят дружбу с этим сословием более, чем с каким-либо другим, и вообще нет у меня поклонников постояннее и вернее.

Далее следуют риторы, которые хотя и блудят иногда, заигрывая с философами, но все-таки тоже принадлежат к нашей партии, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что они, среди прочего вздора, усердно и подробно описали, как должно шутить. Не напрасно автор послания Гереннию «Об искусстве речи» — кто бы он ни был — называет глупость одной из разно-

---

[1] ученейшим мужем *(греч.)*.
[2] настоящим царем всех наук *(греч.)*.
[3] Филавтия и Колакия *(греч.)*.

видностей шутки. У Квинтилиана, истинного царя всего этого сословия, также есть глава о смехе — более пространная, нежели «Илиада». Ораторы столь высоко ценят глупость, что нередко при отсутствии доводов отыгрываются на смехе. А искусство вызывать хохот смешными словами, несомненно, подлежит ведению Глупости.

Из того же теста испечены и те, кто рассчитывает стяжать бессмертную славу, выпуская в свет книги. Все они очень многим мне обязаны, в особенности же те, которые марают бумагу разной чушью, ибо, кто пишет по-ученому и ждет приговора немногих знатоков, не опасаясь даже таких судей, как Персий и Лелий, тот кажется мне достойным скорее сожаления, чем зависти. Поглядите, как мучаются такие люди: прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают друзьям, затем, лет эдак через девять, печатают, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, бедность, завистливость, воздержание, раннюю старость, преждевременную кончину, да всего и не перечислишь. И наш мудролюб мнит себя вознагражденным за все эти тяготы, ежели похвалят его два-три таких же ученых слепца. Напротив, сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям: он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум и окажется на кончике пера, хотя бы даже собственные свои сны, ничем не рискуя, кроме нескольких грошей, истраченных на бумагу, и зная заранее, что чем больше будет вздора в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, то есть всем дуракам и невеждам. Что ему за дело, ежели два-три ученых, случайно прочитавших его книгу, отнесутся к нему с презрением? Что значит голос немногих умных людей в этой огромной и шумной толпе? Но еще смышленее те, которые под видом своего издают чужое, присваивая себе славу чужих трудов, в надежде, что если и уличат их когда-нибудь в литературном воровстве, то все же в течение некоторого времени они смогут пользоваться выгодами от своей проделки. Стоит посмотреть, с каким самодовольством они выступают, когда слышат похвалы себе, когда в толпе на них указывают пальцами — οὗτός ἐστιν ὁ δεινὸς ἐκεῖνος [1], когда видят они свои книги в книжных лав-

[1] это, мол, такой-то, знаменитость *(греч.)*.

ках и читают на каждой странице свое имя, сопровождаемое двумя прозвищами, по большей части чужеземными и похожими на магические заклинания. Но, боже бессмертный, ведь это всего только имена, не более! И затем: сколь немногим станут они известны, если вспомнить о широте и необъятности мира; и уж совсем ничтожно число тех, которые отзовутся о них с похвалой, каким бы разнообразием ни отличались вкусы невежд. К тому же сами эти имена нередко выдуманы или заимствованы из старинных книг. Так, один тщеславится именем Телемаха, другой — Стелена или Лаэрта, этот — Поликрата, тот — Фразимаха. С тем же успехом иной мог бы назваться Хамелеоном или Тыквой либо обозначить свои книги по обычаю философов буквами альфа, бета и т. д. Но всего забавнее, когда глупцы начинают восхвалять глупцов, невежды — невежд, когда они взаимно прославляют друг друга в льстивых посланиях, стихах и панегириках. Один производит своего приятеля в Алкея, другой — в Каллимаха, этот превыше Цицерона, тот ученее Платона. Иные ищут себе соперников, дабы соревнованием умножить собственную славу.

Так в ожиданье народ колеблется, делятся мненья,

пока бойцы, довольные своими успехами, не разойдутся с победоносным видом, и каждый чувствует себя триумфатором. Мудрецы смеются над ними, как над величайшими глупцами. Нет спору, это воистину глупо. Но зато, по моей милости, живут эти люди в свое удовольствие и не променяют своих побед даже на Сципионовы триумфы. Впрочем, и сами ученые, которые так охотно потешаются над чужой глупостью, немало мне обязаны, чего отрицать не посмеют, если только не захотят прослыть самыми неблагодарными из смертных.

ГЛАВА LI

Между учеными юристы притязают на первое место и отличаются наивысшим самодовольством, а тем временем усердно катят Сизифов камень, единым духом цитируют сотни законов, нисколько не заботясь о том, имеют ли они хоть малейшее отношение к делу, громоздят глоссы на глоссы, толкования на толкования, дабы работа их казалась наитруднейшей из всех. Ибо, на их взгляд, чем больше труда, тем больше и славы.

К ним должно присовокупить также диалектиков и софистов — породу людей говорливую, словно медь Додонская,

каждый из них в болтовне не уступит и двум десяткам отборных кумушек. Впрочем, они были бы несравненно счастливее, если б словоохотливость не соединялась в них с чрезвычайной сварливостью: то и дело заводят они друг с другом ожесточенные споры из-за выеденного яйца и в жару словопрений по большей части упускают из виду истину. И, однако, Филавтия щедро одаряет их блаженством, и, заучив два-три силлогизма, они, не колеблясь, вступают в бой с кем угодно по любому поводу. В упрямстве своем они непобедимы, если даже противопоставить им самого Стентора.

ГЛАВА LII

За ними следуют философы, почитаемые за длинную бороду и широкий плащ, которые себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке. Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, исчисляя размеры солнца, звезд, луны и орбит, словно измерили их собственной пядью и бечевкой; они толкуют о причинах молний, ветров, затмений и прочих необъяснимых явлений и никогда ни в чем не сомневаются, как будто посвящены во все тайны природы-зиждительницы и только что воротились с совета богов. А ведь природа посмеивается свысока над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее доказательство — их нескончаемые споры друг с другом. Ничего в действительности не зная, они воображают, будто познали все и вся, а между тем даже самих себя не в силах познать и часто по близорукости или по рассеянности не замечают ям и камней у себя под ногами. Это, однако, не мешает им объявлять, что они, мол, созерцают идеи, универсалии, формы, отделенные от вещей, первичную материю, сущности, особливости и тому подобные предметы, до такой степени тонкие, что сам Линцей, как я полагаю, не смог бы их заметить. А с каким презрением взирают они на простаков, нагромождая один на другой треугольники, окружности, квадраты и другие математические фигуры, сотворяя из них некое подобие лабиринта, огражденного со всех сторон рядами букв, словно воинским строем, и пуская таким образом пыль в глаза людям несведущим. Есть среди них и такие, что предсказывают будущее по течению звезд, сулят чудеса, какие даже и магам не снились, и, на счастье свое, находят людей, которые всему этому верят.

Что до богословов, то не лучше ли обойти их молчанием, καὶ ταύτην Καμαρίναν μὴ κινεῖν[1], не прикасаться к этому ядовитому растению? Люди этой породы весьма спесивы и раздражительны — того и гляди, набросятся на меня с сотнями своих конклюзий и потребуют, чтобы я отреклась от своих слов, а в противном случае вмиг объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли стращать этими громами всякого, кто им не угоден. Хотя богословы не слишком-то охотно признают мои благодеяния, однако и они у меня в долгу, и не в малом долгу: обольщаемые Филавтией, они мнят себя небожителями, а на прочих смертных глядят с презрением и какой-то жалостью, словно на копошащийся в грязи скот. Окруженные, будто воинским строем, магистральными дефинициями, конклюзиями, корольлариями, очевидными и подразумеваемыми пропозициями, стали они нынче до того увертливые, что не изловишь их и Вулкановыми силками,— с помощью своих «расчленений» и диковинных, только что придуманных словечек они выскользнут откуда угодно и разрубят всякий узел быстрее, чем Тенедосской секирой. По своему произволу они толкуют и объясняют сокровеннейшие тайны: им известно, по какому плану создан и устроен мир, какими путями передается потомству язва первородного греха, каким способом, какой мерой и в какое время зачат был предвечный Христос в ложеснах девы, в каком смысле должно понимать пресуществление, совершающееся при евхаристии. Но это еще всем известные и избитые вопросы, а вот другие, воистину достойные, по их мнению, знаменитых и великих богословов (они немедленно оживляются, едва речь зайдет о чем-нибудь подобном): в какой именно миг совершилось божественное рождение? Является ли сыновство Христа однократным или многократным? Возможно ли предположение, будто бог-отец возненавидел сына? Может ли бог превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень? А если бы он действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедовать, творить чудеса, принять крестную муку? Что случилось бы, если бы святой Петр отслужил обедню в то время, когда тело Христово висело на кресте? Можно ли сказать, что Христос еще оставался тогда человеком? Позволено ли будет есть и пить после воскресения плоти (эти господа заранее хотят обеспечить себя от голода и жажды на том свете)?

[1] не трогать болота Камаринского *(греч.)*.

Существует бесчисленное множество еще более изощренных λεπτολεσχίαι [1] касательно понятий, отношений, форм, сущностей и особливостей, которых никто не сможет различить простым глазом, разве что Линцей, способный увидеть в полном мраке то, чего нет нигде. Прибавьте к этому так называемые γνώμας [2], до такой степени παραδόξους [3], что парадоксы стоиков могут показаться рядом с ними общедоступными, ходячими истинами. Так, например, одна из этих гном гласит, что зарезать тысячу человек — не столь тяжкое преступление, как починить бедняку башмак в воскресный день, и что лучше допустить гибель мира со всеми, как говорится, его потрохами, нежели произнести малейшую ложь. Все эти архидурацкие тонкости делаются еще глупее из-за множества направлений, существующих среди схоластиков, так что легче выбраться из лабиринта, чем из сетей реалистов, номиналистов, фомистов, альбертистов, оккамистов, скотистов и прочих (я называю здесь не все их секты, но лишь самые главные). Во всем этом столько учености и столько трудностей, что, я полагаю, самим апостолам потребовалась бы помощь некоего отнюдь не святого духа, если б им пришлось вступить в спор с новейшими нашими богословами. Павел делами засвидетельствовал свою веру, но вместе с тем дал ей недостаточно магистральное определение, сказав: «Вера есть свершение чаемого, вещей постижение невидимых». Равным образом, преуспевая в милосердии, он не сумел диалектически расчленить и точно ограничить понятие милосердия в XIII главе «Первого послания к Коринфянам». Как ни благочестиво совершали апостолы евхаристию, но если бы расспросить их по порядку, с самого начала и до конца, о пресуществлении, о том, каким образом тело Христово может одновременно находиться в различных местах, об особенностях названного тела на небесах, на кресте и в таинстве евхаристии; если, далее, спросить их о том, в какой именно момент совершается пресуществление, поскольку слова, его вызывающие, произносятся в течение некоторого промежутка времени, то, я полагаю, апостолы вряд ли ответили бы с такой точностью и остротой, с какой отвечают и предлагают свои определения скотисты. Апостолы знали мать Иисуса, но кто из них, по примеру наших богословов, философски изъяснил, каким образом оказалась она свободной от Адамова греха? Петр получил

---

[1] тонкостей *(греч.)*
[2] гномы *(греч.)*
[3] головоломные *(греч.)*.

ключи райские от того, чей выбор не мог быть недостойным, и, однако, я не уверена, уразумел бы Петр, каким образом можно держать в своих руках ключи от знания, не обладая самым знанием, или нет (сокровенных же тонкостей этого рассуждения он бы все равно не постиг). Апостолы многих окрестили и, однако, ни разу не обмолвились ни единым словом о том, какова формальная, материальная, действующая и конечная причина крещения и в чем состоит его изгладимый или неизгладимый характер. Они молились, но молились в духе, следуя единственно лишь слову евангельскому: «Бог есть дух, и поклоняться ему должно в духе и истине». Им, по-видимому, не было открыто, что образку, начертанному углем на дощечке, надлежит молиться с тем же благоговением, что самому Христу, ежели только спаситель представлен с двумя вытянутыми перстами, с неостриженными волосами и с тремя выступами на нимбе, окружающем голову. Да и кто мог бы постичь это, не просидев тридцать шесть лет над физикой и метафизикой Аристотеля и Дунса Скота? Наделяли и благодатью апостолы, но никогда не делали подобающего различия между благодатью благоданной и благодатью благодательной. Увещевали они творить добрые дела, но не замечали разницы между просто добрым делом, добрым делом действенным и добрым делом деемым. Повсюду внушали они христианскую любовь, но не отделяли любви внедренной от любви приобретенной и не объясняли, является ли любовь акциденцией или субстанцией, вещью созданной или несозданной. Ненавидели апостолы грех, но помереть мне на этом самом месте, ежели, не пройдя обучения у скотистов, могли они дать научное определение того, что есть грех. Никто не убедит меня, будто Павел, превосходивший ученостью остальных апостолов, позволил бы себе столько раз осуждать состязания, прекословия, родословия и прочие, как он выражается, λογομαχίας [1], будь он посвящен во все ухищрения диалектики. Здесь и то еще надо принять в расчет, что все диспуты того времени были очень грубы и незатейливы сравнительно с более чем хрисипповыми тонкостями наших нынешних докторов богословия. Но поскольку названные доктора — люди весьма скромные, то, встречая у апостолов в писаниях что-либо нелепое или недостаточно ученое, они не осуждают этих мест, но сообщают им пристойное толкование. Они неизменно воздают должное древности писаний и имени апостольскому. Да и вообще, клянусь Гераклом, весьма несправедливо было бы требовать от апостолов объ-

[1] словопрения *(греч.)*.

яснения таких вещей, относительно которых ни единого слова не слыхали они от своего учителя. Когда же подобные места попадаются у Златоуста, Василия или Иеронима, то богословы наши ограничиваются тем, что приписывают на полях: «В рассуждение не принимается». Если апостолы и отцы церкви умудрялись все-таки опровергать языческих философов, а также иудеев, столь упорных по природе своей, то достигали этого более чудесами и праведной жизнью, чем силлогизмами, в особенности когда вспоминаешь, что ни один из их противников не был способен уразуметь хотя бы «Кводлибетум» Скота. А нынче какой язычник, какой еретик не склонится пред столь изощренными тонкостями, ежели, впрочем, он не грубый мужлан, неспособный их понять, или не бесстыдник, готовый над ними посмеяться, или не человек ученый, готовый вступить в равный бой, подобно тому как волхв выступает против волхва, или владелец заколдованного меча бьется с врагом, тоже имеющим подобное оружие; в последнем случае состязание их уподобляется рукоделию Пенелопы, каждый вечер распускающей свою ткань и все начинающей сызнова. Нет, по моему суждению, весьма умно поступили бы христиане, если бы вместо мощных когорт, которые уже давно с переменным успехом ведут войну с турками и сарацинами, они послали в бой крикливых скотистов, упорных оккамистов, непобедимых альбертистов и всю прочую софистическую рать: мы бы узрели тогда самую изысканную в истории битву и победу, никогда доселе не виданную. И в самом деле, кто настолько холоден, чтобы не воспламениться от этих ученых тонкостей? Кто столь тупоумен, чтобы не оценить всей их остроты? Кто настолько зорок, дабы различить что-либо в этом непроглядном мраке?

Однако, чего доброго, вам покажется, будто все это я говорю просто ради шутки. Нисколько не удивилась бы подобному предположению, ибо и между самими богословами есть люди, знакомые с подлинною наукой, которых тошнит от вздорных богословских хитросплетений. Есть и такие, которые ненавидят их не менее богохульства и почитают величайшим нечестием рассуждать скверными устами о столь таинственных вещах, дарованных нам скорее для безмолвного поклонения, нежели для изъяснения, спорить о них, прибегая к диалектическим изворотам, заимствованным у язычников, и осквернять величие божественной теологии холодными, более того — гнусными словами и изречениями.

А доктора наши между тем донельзя собой довольны, сами себе рукоплещут и столь поглощены бывают своим усладитель-

ным вздором, что ни ночью, ни днем не остается им даже минуты досуга, дабы развернуть Евангелие или Павловы послания. Пустословя подобным образом в школах, мнят они, будто силлогизмами своими поддерживают готовую рухнуть вселенскую церковь, подобно тому как у поэтов Атлант держит на плечах свод небесный. А разве не приятно, по-вашему, разминать и лепить, словно воск, таинственное священное учение, ставя свои конклюзии, скрепленные авторитетом нескольких схоластиков, превыше Солоновых законов и папских декретов? Разве не отрадно мнить себя цензорами всего круга земного, требуя отречения от всякого, кто хоть на волос разойдется с их очевидными и подразумеваемыми заключениями, и вещая наподобие оракула: «Это утверждение соблазнительно. Это — непочтительно. Это — отдает ересью. Это — худо звучит». Таким образом, ни крещение, ни Евангелие, ни Павел с Петром, ни святой Иероним, ни Августин, ни даже сам Фома Ἀριστοτελικώτατος[1] не в силах сделать человека христианином, буде не удостоится он одобрения со стороны тонко мудрствующих бакалавров. Как догадаться, что не христианин — всякий утверждающий тождественность таких, например, изречений: matula putes и matula putet, ollae fervere и ollam fervere, если бы не мудрецы наши, сообщившие об этом? Кто вывел бы церковь из мрака стольких заблуждений, которых, правда, никто так бы и не заметил, не будь к ним привешены большие университетские печати? Воистину блаженны все, кто мог посвятить себя подобным занятиям, кто описывает преисподнюю с такими подробностями, словно много лет были гражданами этой республики, кто мастерит по своему усмотрению новые сферы небесные, в том числе и десятую, самую обширную и прекрасную из всех (надо, чтоб и праведным душам было где погулять, попировать, а иной раз и в мяч поиграть на просторе). От всей этой чепухи головы у богословов до того распухли, что, полагаю, и сам Юпитер не испытывал подобной тяжести в мозгах, когда, собираясь произвести на свет Палладу, прибег к помощи Вулкана. А посему не дивитесь, ежели они являются на публичные диспуты, обмотав головы бесчисленными повязками. Без этой предосторожности их черепа могли бы треснуть. Я сама подчас не в силах удержаться от смеха, глядя на этих господ, которые мнят себя истинными богословами главным образом потому, что изъясняются столь грубым и варварским языком. При этом они так сильно заикаются, что понять их может лишь другой, по-

[1] самый аристотельствующий *(греч.)*.

добный им заика, но свое невнятное бормотание почитают признаком глубокомыслия, недоступного уразумению толпы. Законы грамматики кажутся им несовместными с достоинством священной науки. Да, воистину удивительно величие богословов, которым одним позволено говорить с ошибками,— впрочем, это право они разделяют со всеми сапожниками. Они мнят себя чуть ли не богами, слыша, как их благоговейно именуют «наставник наш»: в этом прозвище им чудится нечто схожее с иудейской τετραγράμματον[1]. Они утверждают, что неприлично писать слова НАСТАВНИК НАШ строчными литерами. А ежели кто случайно скажет наоборот — «наш наставник», то тем самым нанесет тягчайшее оскорбление их богословскому величеству.

ГЛАВА LIV

К богословам по благополучию своему всего ближе так называемые благочестивые монахи-пустынножители, хотя это прозвище нисколько им не пристало: ведь большинство их далеко от всякого благочестия, и никто чаще «пустынножителей» не попадается вам навстречу во всех людных местах. Не знаю, кто был бы несчастнее монахов, если б я не приходила им на помощь столь многими способами. Они навлекли на себя такую единодушную ненависть, что даже случайная встреча с монахом почитается за худую примету, а между тем сами вполне собою довольны. Во-первых, они уверены, что высшее благочестие состоит в строжайшем воздержании от всех наук и лучше всего — вовсе не знать грамоты. Засим, читая в церквах ослиными голосами непонятные им псалмы, они пребывают в убеждении, что доставляют великую усладу святым. Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством и поднимают страшный шум у дверей, требуя милостыню; назойливо толпятся они в гостиницах, заполняют повозки и корабли — к немалому ущербу для прочих нищих. Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственному мнению, уподобляются в глазах наших апостолам. Приятно видеть, как все у них делается по уставу, с пунктуальностью чуть ли не математической, и боже упаси нарушить этот порядок. Предусмотрено раз навсегда, сколько узлов должно быть у монаха на башмаке, какого цвета пояс, какими признаками должна отличаться его одежда, из какой ткани подобает ее шить, какой ширины

[1] тетраграммой *(греч.)*.

должен быть пояс, какого покроя и размера капюшон, сколько вершков в поперечнике должна иметь тонзура и сколько часов отведено монаху на сон. Кому не ясно, сколь несправедливо такое внешнее равенство при естественном неравенстве умов и телесного сложения! И, однако, из-за этого вздора они не только мнят себя безмерно выше людей светских, но презирают и друг друга: дав обет апостольской любви, они разражаются трагическими тирадами, завидев рясу чуть темнее обыкновенного или опоясанную не так, как следует. Между ними и таких увидишь строгих богомолов, которые сверху обязательно носят грубое сукно, а исподнее шьют из полотна, другие же, напротив, сверху бывают полотняными, а внутри шерстяными. Некоторые боятся притронуться к деньгам, словно к яду, но нисколько не опасаются ни вина, ни прикосновения к женщинам.

Однако всего усерднее пекутся они о том, чтобы не быть похожими друг на друга. Не в том, чтобы возможно более уподобиться Христу, их цель, но в том, чтобы возможно сильнее отличаться от монахов других орденов. Немалую утеху находят они также и в своих прозваниях: так, одни именуют себя «вервеносцами», но и вервеносцы опять-таки разделяются на «колетов», «миноритов», «минимов» и «буллистов». Засим следуют «бенедиктинцы», «бернардинцы», «бригиттинцы», «августинцы», «вильгельмиты», «иаковиты»,— как будто не достаточно называться просто христианами. Большинство их столь высокого мнения о своих обрядах и ничтожных человеческих преданьицах, что самое небо едва считают достойной наградой за такие заслуги, никто и не помышляет о том, что Христос, презрев все это, спросит об исполнении единственной его заповеди, а именно — закона любви. Тогда один выставит напоказ свое брюхо, раздувшееся от рыбы всевозможных сортов. Другой вывалит сто мер псалмов. Третий перечислит мириады постов и укажет на свое чрево, которое столько раз едва не лопалось после разговения. Иной притащит такую кучу обрядов, что ее едва ли свезут и семь торговых кораблей. Иной станет бахвалиться тем, что шестьдесят лет подряд притрагивался к деньгам не иначе, как надев предварительно на руку двойную перчатку. Этот покажет рясу, до того грязную и засаленную, что любой матрос погнушался бы ею. Тот напомнит, что более пятидесяти пяти лет он вел жизнь губки, вечно прикованной к одному и тому же месту. Этот сошлется на свой голос, осипший от беспрерывных песнопений. Один впал в летаргию от одиночества, у другого закоснел язык от долговременного молчания. Но Христос, прервав нескончаемое их хвастовство, скажет: «Откуда эта но-

вая порода иудеев? Лишь один закон признаю я своим и как раз о нем-то ничего до сих пор не слышу. А ведь во время оно я совершенно открыто, без всяких притч или иносказаний, обещал отчее наследие в награду не за капюшоны, не за молитвы, не за воздержание от пищи, но единственно за дела милосердия. Не знаю я тех, кто слишком хорошо знает свои подвиги: кто хочет казаться святее меня, пусть займет, если угодно, небеса абраксасиев или прикажет построить новое небо тем людям, чьи глупые преданьица поставили выше моих заповедей». Как вы думаете, какие рожи скорчат монахи, услышав, что им предпочитают матросов и возчиков? Но до поры до времени они по моей милости могут тешить себя добрыми надеждами. Хоть они и отстранены от участия в делах общественных, однако никто не смеет пренебрегать ими, особливо же — нищенствующими монахами, которые знают все чужие тайны благодаря исповеди. Тайны эти они блюдут свято и разве что в пьяном виде развлекут иной раз собутыльников особенно забавными историями; впрочем, и тогда они не называют собственных имен и только по обстоятельствам дела дают возможность догадаться, о ком идет речь. Но если кто разъярит этих ос, того они на совесть отделают в публичных проповедях, причем назовут врага, хотя и обиняками, но так метко, что поймет всякий, кроме тех, кто вообще ничего не понимает. И дотоле не прервут они своего лая, пока не бросишь им в пасть лакомый кус.

Какой комедиант или площадной крикун сравнится с ними, когда они разглагольствуют с кафедры, смехотворно подражая приемам и манере древних риторов? Боже бессмертный, как они жестикулируют, как они ловко повышают голос, как пускают трели, как ломаются, какие строят гримасы, как воют на разные лады! И это искусство красноречия с великой таинственностью передается от одного братца монаха к другому. Хоть мне и не дано было узнать все его тонкости, я все же попытаюсь рассказать о нем, основываясь на догадках и предположениях. Прежде всего, по заимствованному у поэтов обычаю, взывают они к Музе. Засим, собираясь говорить о милосердии, заводят речь о Ниле, реке египетской, или, проповедуя о таинстве креста, весьма кстати поминают Бэла, дракона вавилонского. Начав беседу о посте, они перечисляют двенадцать знаков Зодиака, а рассуждая о вере, принимаются толковать о квадратуре круга. Я сама слыхала одного изрядного глупца,— прошу прощения — я хотела сказать «ученого»,— который в блестящей проповеди, посвященной толкованию таинства Святой Троицы, желая дать выгодное понятие о своей начитанности и польстить слуху бого-

словов, прибег к совершенно новому способу, а именно: завел речь сперва о буквах, потом о слогах, составляющих слова, потом о словах, образующих речь, наконец, о согласовании имен и глаголов, существительных и прилагательных. Многие слушатели дивились, и иные уже повторяли про себя стих Горация:

«К чему же ты чушь свою клонишь?»

Наконец проповедник сделал вывод, что в основных началах грамматики заключается образ и подобие Святой Троицы, и так убедительно это доказал, что никакой математик не смог бы за ним угнаться. Этот θεολογώτατος [1] потел над своей речью целых восемь месяцев и даже ослеп, словно крот, пожертвовав остротой зрения ради остроты ума. Но сам он не слишком горюет об этом, полагая, что еще дешево купил свою славу. Слыхала я также другого богослова, восьмидесятилетнего и до такой степени ученого, что его можно принять за самого Дунса Скота, воскресшего из мертвых. Изъясняя тайну имени Иисусова, он с изумительной тонкостью доказал, что в самих буквах этого имени содержится все, что только можно сказать о спасителе. Ибо имя это имеет лишь три падежные формы — явственное подобие божественной троичности. Засим: первый падеж Iesus оканчивается на s; второй, Iesu — на u, третий, Iesum — на m, и в этом неизреченная тайна, а именно: названные три буквы означают, что Иисус есть summus, medius и ultimus, то есть верхний, средний и крайний. Оставалась другая, еще более сокровенная тайна, которая разъясняется при помощи математики: ежели разделить имя «Иисус» на две равные части, то посредине останется буква «с». Эта буква у евреев называется «син», а на языке шотландцев слово «син» означает грех. Отселе явствует, что Иисус есть тот, кто принял на плечи свои грехи мира. Восхищенные столь необычайным вступлением слушатели, особливо же теологи, чуть не обратились в камень наподобие Ниобеи, а со мною от смеха едва не стряслась такая же беда, какая постигла деревянного Приапа, когда ему однажды пришлось стать свидетелем ночных таинств Канидии и Саганы. Да и не мудрено: ведь подобных ἔφοδα [2] не встретишь ни у эллина Демосфена, ни у латинянина Цицерона. Они считали никуда не годным вступление, слишком далекое от предмета речи (впрочем, должно заметить, что такого же мнения придерживаются и свинопасы — их учит тому сама природа). Но

[1] сверхбогослов *(греч.)*.
[2] зачинов *(греч.)*.

искусники наши, декламируя свою так называемую «преамбулу», верят, что тем больше в ней риторских красот, чем дальше отстоит она от содержания остальной речи, и потому стараются исторгнуть у слушателя восхищенный шепот: «Куда же он теперь загнет?»

Засим следует пересказ небольшого отрывка из Евангелия (он соответствует третьему разделу речи — изложению существа дела). Оратор толкует его наспех и как бы мимоходом, тогда как об одном этом, в сущности, и следовало бы говорить. Засим, в-четвертых, нацепив новую личину, проповедник выдвигает некую богословскую проблему, по большей части οὔτε γῆς, οὔτε οὐρανοῦ ἀπτομένην[1] (того требуют, оказывается, законы ораторского искусства). Вот здесь-то и начинается превыспреннее богословие: в ушах слушателей раздаются звучные титулы докторов величавых, докторов изощренных, докторов изощреннейших, докторов серафических, докторов святых и докторов неопровержимых. Далее следуют большие и малые силлогизмы, выводы, заключения, пустейшие посылки и прочая схоластическая дребедень, предлагаемая вниманию невежественной толпы. Наконец, разыгрывается пятый акт, требующий наивысшей ловкости и искусства. Проповедник преподносит вам какую-нибудь глупую и грубую басню, позаимствованную из «Исторического зерцала» или «Римских деяний», и толкует ее аллегорически, тропологически и анагогически. На том и заканчивается речь, еще более чудовищная, чем химера, о которой говорит Гораций в известном стихе: «Если бы женскую голову» и т. д.

Наши проповедники слыхали неведомо от кого, что начинать речь подобает возможно тише. И вот произносят они свой зачин таким голосом, что и сами себя не могут расслышать; но стоит ли вообще говорить, если никто тебя не понимает? Слыхали они также, что громкие возгласы рождают волнение в душе слушателей. Поэтому, заговорив обычным голосом, они вдруг повышают его до бешеного вопля, хотя бы и совсем некстати. Право, хочется иной раз побожиться, что такому проповеднику пошел бы впрок эллебор. Далее, слыхали они, что речь следует вести, постепенно воодушевляясь, и, произнеся несколько первых фраз более или менее пристойно, они вдруг начинают надрываться, хотя бы дело касалось самых ничтожных предметов, и до тех пор усердствуют, пока только духу хватает. Засим вытвердили они все, что древние риторы говорят о смехе, и потому сами тщатся отпускать шуточки, но какие шуточки! —

[1] не имеющую отношения ни к земле, ни к небу *(греч.)*.

ὦ φίλη Ἀφροδίτη![1] — такие изящные, такие уместные, что чудится, будто слушаешь ὄνον πρὸς τὴν λύραν[2]. Порою пытаются они и съязвить, но при этом скорее щекочут, нежели ранят, а самую неприкрытую лесть стараются выдать за прямоту и откровенность.

Вообще, послушав все эти проповеди, хочется присягнуть, что авторы их обучались своему искусству у площадных краснобаев, хотя до сих последних им все-таки далеко. Как бы то ни было, они во многих отношениях столь друг с другом схожи, что, без всякого сомнения, либо те у этих, либо эти у тех позаимствовали свою риторику. И, однако,— не без моей, разумеется, помощи,— находят они слушателей, готовых почитать их за истинных Демосфенов и Цицеронов. Особенно высоко ценят их талант торговцы и бабы; им-то по преимуществу и стараются угодить проповедники, ибо первые готовы уделить частицу неправедно нажитого всякому, кто сумеет им польстить, а вторые благоволят к духовному сословию по многим причинам, особливо же потому, что привыкли изливать на груди у монахов свои жалобы на мужей. Теперь, я полагаю, вы сами видите, сколь многим обязана мне эта порода людей, которые при помощи мелочных обрядов, вздорных выдумок и диких воплей подчиняют смертных своей тирании, а сами мнят себя новыми Павлами и Антониями.

ГЛАВА LV

Охотно покидаю я этих бесчестных лицедеев, которые, прикидываясь набожными, черной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, и с удовольствием завожу речь о королях и о знатных придворных, кои чтут меня с прямодушием и откровенностью, достойными людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на пол-унции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Право, никто не стал бы добиваться власти столь дорогою ценой, как клятвопреступление и убийство, если бы предварительно взвесил, что за бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о частных своих делах, не отступать ни на вершок от законов, каковых он и автор и исполнитель, следить постоянно за неподкупностью должност-

[1] любезная Афродита! *(греч.)*
[2] осла, поющего под звуки лиры *(греч.)*.

ных лиц и судей; вечно он у всех перед глазами, как благодетельная звезда, чистотой и непорочностью своей хранящая от гибели род человеческий, или как грозная комета, всем несущая гибель. Пороки всех остальных лиц губительны для немногих и по большей части остаются скрытыми, но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас же словно чума распространяется среди его подданных. Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямой дороги: чем больше вокруг них разнузданности, наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее должны они следить за собой, дабы не ошибиться и не погрешить в чем-либо против обязанностей своего звания. Наконец, какие козни, какая ненависть, какие опасности подстерегают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда единый истинный царь истребует у них отчета даже в малейшем проступке, истребует с тем большею строгостью, чем шире была предоставленная им власть! Если бы, повторяю, государь взвесил в уме своем все это и многое другое в том же роде,— а он бы так и сделал, обладай он здравым разумением,— то, полагаю, не было бы ему отрады ни во сне, ни в пище. Но, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, а сами живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить одни приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой монарший долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, продают не без пользы для себя должности и чины и ежедневно измышляют новые способы набивать свою казну, отнимая у граждан их достояние. Для этого, правда, требуется благовидный предлог, так чтобы даже несправедливейшее дело имело внешнее подобие справедливости. Тут, в виде приправы к делам, произносятся несколько льстивых слов с целью привлечь души подданных.

Теперь вообразите себе — а ведь это встречается и в жизни — человека невежественного в законах, чуть не прямого врага общего блага, преследующего единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учености, ненавистника истины и свободы, менее всего помышляющего о процветании государства, но все меряющего меркою собственных прибытков и вожделений. Наденьте на такого человека золотую цепь, указующую на соединение всех добродетелей, возложите ему на голову корону, усыпанную дорогими каменьями, напоминание о том, что носитель ее должен всех превосходить величием своих доблестей, вручите ему скипетр, символ

правосудия и неподкупной справедливости, наконец, облеките его в пурпур, знаменующий возвышенную любовь к отечеству. Если государь сопоставит все эти украшения с жизнью, которую он ведет, то, я уверена, он устыдится своего наряда и ему станет страшно, как бы какой-нибудь шутник не сделал предметом посмеяния этот величественный убор.

ГЛАВА LVI

А что сказать о придворных вельможах? Нет, пожалуй, ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее их, а между тем во всех делах они хотят быть первыми. В одном лишь они скромны до крайности: довольствуясь тем, что украшают себя золотом, дорогими каменьями, пурпуром и прочими внешними знаками доблести и мудрости, самую суть этих двух вещей они целиком уступают другим людям. Для счастья им с избытком хватает того, что они могут называть короля своим господином, при всяком удобном случае свидетельствовать ему свое почтение, рассыпая в изобилии пышные титулы, вроде «ваша светлость», «ваше великолепие», «ваше величество». Как ловко выучились они стирать с лица краску стыда. Оба эти искусства как нельзя более приличествуют знатному барину и придворному. Но всмотрись внимательнее, и увидишь, что перед тобой настоящие феаки, женихи Пенелопы,— эхо подскажет вам окончание этого стиха лучше, чем я. Спят они до полудня; наемный попик стоит наготове возле постели и, лишь только господин пробудится, тотчас же наспех правит службу. Засим следует завтрак, по окончании которого почти тут же подают обед. Затем кости, бирюльки, пари, скоморохи, шуты, потаскухи, забавы и потехи. В промежутках — раза два закуска с выпивкой. Затем наступает время ужина, за которым следует попойка с многократными, клянусь Юпитером, возлияниями. Таким образом без малейшей скуки проходят часы, дни, месяцы, годы, века. Даже я нередко от души развлекаюсь, глядя на этих μεγαλορρόδυτας: [1] вот юная дама, которая мнит себя равной богиням, потому что таскает за собой длиннейший шлейф, вот здоровенный детина, расталкивающий локтями соседей, чтобы все увидели его рядом с Юпитером, вот еще один, счастливый тем, что на шее у него красуется тяжелейшая цепь, выставляющая напоказ не только богатство, но и телесную силу своего владельца.

[1] долгохвостых *(греч.)*.

ГЛАВА LVII

Папы, кардиналы и епископы не только соперничают с государями в пышности, но иногда и превосходят их. Вряд ли кто помышляет о том, что белоснежное льняное одеяние означает беспорочную жизнь. Кому приходит в голову, что двурогая митра с узлом, стягивающим обе верхушки, знаменует совершеннейшее знание Ветхого и Нового завета? Кто помнит, что руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и непричастного ко всему земному совершения таинств, что посох изображает бдительную заботу о пастве, а епископский крест — победу над всеми страстями человеческими? И вот я спрашиваю: тот, кто поразмыслит над подразумеваемым значением всех этих предметов, не будет ли вынужден вести жизнь, исполненную забот и печалей? Но почти все избрали благую часть и пасут только самих себя, возлагая заботу об овцах либо на самого Христа, либо на странствующих монахов и на своих викариев. И не вспомнит никто, что самое слово «епископ» означает труд, заботу и прилежание: лишь об уловлении денег воистину пекутся они и здесь, как подобает епископам, οὐδ' ἀλαοσκοπιή[1].

ГЛАВА LVIII

А если бы кардиналы, в свою очередь, поразмыслили о том, что они унаследовали место апостолов и, стало быть, обязаны подражать их жизни? Если бы им пришло в голову, что они не хозяева духовных даров, но лишь управители, которым рано или поздно придется дать строжайший отчет во всем? Если б они хоть призадумались над значением отдельных частей своего наряда? Что означает эта белизна нижнего облачения, если не высочайшую и совершеннейшую беспорочность жизни? Что такое эта пурпуровая ряса, как не символ пламенной любви к богу? На что указует эта мантия, ниспадающая широкими складками на спину мула их высокопреосвященства и столь обширная, что ею можно было бы прикрыть даже верблюда? Не есть ли она знамение всеобъемлющего милосердия, выражающегося в поучениях, увещаниях, наставлениях, обличениях, убеждениях, в примирении воюющих, в сопротивлении неправедным государям и даже в пролитии собственной крови за христианскую паству, не говоря уже о жертвах своим достоянием? Да и подобает

[1] смотрят в оба *(греч.)*.

ли богатое достояние тем, кто пришел на смену нищим апостолам? Повторяю, если б отцы кардиналы взвесили все это, они не добивались бы высокого своего сана и покидали бы его с великой охотой либо вели жизнь, полную тяжких трудов и забот,— такую же, как некогда апостолы.

ГЛАВА LIX

А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Если бы они попробовали подражать его жизни, а именно бедности, трудам, учительству, крестной смерти, презрению к жизни, если бы задумались над значением своих титулов — «папы», иначе говоря, отца и «святейшества»,— чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места любой ценою или, однажды добившись, решился бы отстаивать его посредством меча, яда и всяческого насилия? Сколь многих выгод лишился бы папский престол, если б на него хоть раз вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость даже, а хотя бы крупица той соли, о которой говорил Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, владычества, побед, должностей, диспенсаций, сборов, индульгенций, коней, мулов, телохранителей, наслаждений? (В нескольких словах я изобразила вам целую ярмарку, целую гору, целый океан всяческих благ.) Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, покаянные вздохи и тысяча других столь же горестных тягот. Не следует также забывать об участи, которая постигла бы бесчисленных чиновников, копиистов, нотариусов, адвокатов, промоторов, секретарей, погонщиков мулов, конюших, банкиров, сводников... Прибавила бы я еще словечка два покрепче, да боюсь оскорбить ваши уши... В общем, вся эта огромная толпа, которая отягощает,— или нет, прошу прощения,— которая украшает римский престол, была бы обречена на голод. Но еще бесчеловечнее, еще ужаснее, еще нестерпимее было бы пожелание, чтобы верховные князья церкви, эти истинные светочи мира, взялись за суму и посох.

Ныне же, напротив, все труды возлагаются на Петра и Павла,— у них ведь довольно досуга,— а блеск и наслаждение папы берут себе. При моем содействии никому в целом роде людском не живется так привольно и беззаботно, как им. Они мнят, будто в совершенстве исполняют закон Христов, если, надев на себя мистический и почти театральный убор, присвоив

титулы «блаженнейшего», «преподобнейшего» и «святейшего», раздавая благословения и проклятия, разыгрывают роль верховных епископов. Смешно, старомодно и совсем не ко времени в наши дни творить чудеса. Поучать народ — трудно; толковать Священное писание — схоластично; молиться — бесполезно; лить слезы — некрасиво и женоподобно; жить в бедности — грязно; оказаться побежденным — постыдно и недостойно того, кто и королей едва допускает лобызать свои блаженные стопы; наконец, умирать — неприятно, а быть распятым — позорно. Остается одно лишь оружие да те сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел и которых никогда не жалели папы в своем милосердии, и, наконец, интердикты, временные отрешения от бенефициев, повторные отлучения, анафемы, картинки, изображающие муки грешников, и грозные молнии, при помощи которых папы единым своим мановением низвергают души смертных в самую глубину Тартара. Охотнее всего святейшие во Христе отцы и Христовы наместники поражают этими молниями тех, кто, наущаемый дьяволом, пытается умалить или расхитить достояние святого Петра. Хотя, по свидетельству Евангелия, Петр сказал: «Вот мы оставили все и последовали за тобою», однако его достоянием именуются поля, города, селения, налоги, пошлины, права владения. Ревнуя о Христе, папы огнем и мечом отстаивают «наследие Петрово», щедро проливают христианскую кровь и при этом свято веруют, что они по завету апостольскому охраняют невесту Христову — церковь, доблестно сокрушая ее врагов. Как будто могут быть у церкви враги злее, нежели нечестивые первосвященники, которые своим молчанием о Христе позволяют забывать о нем, которые связывают его своими гнусными законами, искажают его учение своими за уши притянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью. Поскольку христианская церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью возвеличилась, они по сей день продолжают действовать мечом, словно нет больше Христа, который сам защищает своих верных. И хотя война есть дело до того жестокое, что подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы с быстротою моровой язвы, до того несправедливое, что лучше всего предоставить заботу о ней отъявленным разбойникам, до того нечестивое, что ничего общего не имеет с Христом,— однако папы, забывая обо всем на свете, то и дело затевают войны.

Порой увидишь даже дряхлых старцев, одушевленных чисто юношеским пылом, которых никакие расходы не страшат и

никакие труды не утомляют, которые, ни минуты не колеблясь, перевернут вверх дном законы, религию, мир и спокойствие и все вообще дела человеческие. И находятся у них ученые льстецы, которые именуют это явное безумие святой ревностью, благочестием, мужеством, которые, пускаясь во всевозможные тонкости, доказывают, что можно, обнаживши губительный меч, пронзать железом утробу брата своего, нисколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему.

ГЛАВА LX

Я не берусь сказать наверное, с пап ли взяли пример или, напротив, сами послужили для них примером иные германские епископы, которые действуют еще проще: скинув свой святой убор, отказавшись от благословений и прочих обрядов, они живут настоящими сатрапами и почитают неприличным и даже позорным для епископа отдать богу доблестную душу где-либо в ином месте, кроме ратного поля. Что касается обычных священников, то им, конечно, не подобает уступать в святости жизни своему церковному начальству, а потому и они сражаются по-военному, мечами, копьями, каменьями и прочим оружием, отстаивая свое право на десятину. Люди весьма глазастые, они с величайшим тщанием выискивают в старинных грамотах все, чем можно напустить страху на простой народ и заставить его вносить более чем десятую часть урожая. И не приходит ни одному из них в голову, что по должности своей,— как о том написано в разных книгах,— они, в свою очередь, обязаны многое делать для паствы. Даже бритая макушка не напоминает им, что священнику надлежит быть свободным от всех мирских страстей и помышлять только о небесном. Эти милые люди полагают, будто честно правят свою должность, если бормочут кое-как свои молитвы, которых, клянусь Гераклом, не слышит и не понимает ни один бог, ибо они и сами-то не слышат и не понимают того, что слетает с их уст. И еще одно уподобляет священников мирянам: все они неусыпно следят за сбором своей жатвы и превосходно знают относящиеся сюда законы. Что касается обязанностей, то они благоразумно перелагают это бремя на чужие плечи или передают из рук в руки, словно мячик. Подобно тому как светские государи посылают для управления областями наместников, а наместники, в свою очередь, поручают это дело своим помощникам, так и духовенство, по смирению своему,

предоставляет труды благочестия простому народу. Но и простой люд спешит свалить эти труды на так называемых «церковнослужителей», как будто сам он ничего общего не имеет с церковью и обряд крещения вовсе над ним не совершался. Священники, именуемые светскими,— словно посвятили себя миру, а не Христу,— возлагают груз пастырских обязанностей на регулярное духовенство. Регулярное духовенство прибегает к содействию монахов; монахи, живущие по легкому уставу, призывают монахов устава строгого; последние обращаются к нищенствующим орденам, а нищенствующая братия уповает на картезианцев, среди которых единственно и скрывается благочестие, но так хорошо скрывается, что его почти никогда и не увидишь. Равным образом верховные первосвященники, столь усердные в собирании денежной жатвы, препоручают эти тяжкие, сверхапостольские труды епископам, епископы — приходским священникам, приходские священники — викариям, викарии — нищенствующим монахам. Последние же, в свою очередь, обращаются к услугам тех, кто умеет стричь овец. Впрочем, я не намерена разбирать здесь во всех подробностях жизнь папы и остальных духовных лиц: ведь я не сатиру сочиняю, а произношу похвальное слово. И да не подумает кто, будто я порицаю хороших государей, превознося дурных. Я лишь стремлюсь доказать в немногих словах, что ни один смертный не может жить с приятностью, не будучи посвящен в мои таинства и не пользуясь моим благоволением.

ГЛАВА LXI

Да и может ли быть иначе, если сама Рамнузия, управительница всех дел человеческих, до того согласно со мною мыслит, что вечно пылает враждой к мудрецам, а дураков, напротив, даже во сне осыпает благодеяниями? Слыхали вы про знаменитого Тимофея, прозванного Счастливым, о котором сложили пословицу: ἢ εὔδοτος κὠρτος αἱρεῖ [1]. Напротив, о мудрецах говорится, что «ἐν τετράδι γεννηθέντες» [2], ездят на Сеевом коне, а в карманах у них гремит тулузское золото. Но хватит с меня παροιμιάζεσθαι [3], не то, пожалуй, подумают, будто я украла их из сборника, составленного моим другом Эразмом. Итак, к делу!

---

[1] Счастье валит к нему и во сне *(греч.)*.
[2] родятся они на ущербе луны *(греч.)*.
[3] пословиц *(греч.)*.

Фортуна любит людей не слишком благоразумных, но зато отважных, таких, которые привыкли повторять: «Πᾶς ἐρρίφθω κύβος» [1]. А мудрость делает людей робкими, и потому на каждом шагу видишь мудрецов, живущих в бедности, в голоде, в грязи и в небрежении, повсюду встречающих лишь презрение и ненависть. К дуракам же плывут деньги, они держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают.

Если счастье состоит в том, чтобы угождать государям и блистать в нарядной толпе моих богоравных любимцев, то что может быть бесполезнее мудрости, что губительнее ее для рода человеческого? Если речь зайдет о накоплении богатств, какого прибытка дождется купец, следующий внушениям мудрости? Ведь он избегает ложных клятв, краснеет, когда его уличат во лжи, придает великое значение всем тем пустякам, которые мудрецы нагородили относительно воровства и ростовщичества. Если прельщают тебя церковные почести и доходы, то знай, что осел или буйвол скорей достигнут их, нежели мудрец. Если манит тебя сладострастие, то помни, что молодые женщины, о которых мы так много говорили сегодня, всем сердцем преданы дуракам, мудреца же боятся и избегают, словно скорпиона. Наконец, все желающие пожить хоть немного приятнее и веселее обыкновенного первым долгом спешат изгнать мудреца и готовы принять любого скота на его место. Да и вообще, к кому ты ни обратишься: к первосвященникам ли, монархам, судьям, чиновникам, друзьям или врагам, к великим или малым мира сего,— повсюду требуются наличные деньги, а поскольку мудрец презирает деньги, то все дружно от него отворачиваются.

Но если похвалам, кои мне причитаются, не может быть ни меры, ни предела, то всякая речь по необходимости должна иметь свой конец. Поэтому я кончаю и лишь предварительно укажу в нескольких словах, что многие изрядные авторы прославили меня и в писаниях своих, и на деле. Не то вы, чего доброго, решите, будто я одна только и восхищаюсь собою, словно дура какая-нибудь, а жалкие крючкотворы станут клеветать, утверждая, что мне не на кого сослаться. Итак, последую их собственному примеру, иначе говоря, буду цитировать οὐδεν πρός ἔπος[2].

---

[1] Будь что будет *(греч.)*.
[2] вкривь и вкось *(греч.)*.

ГЛАВА LXII

Начать с того, что все соглашаются с общеизвестной пословицей: «И будь без хвоста, да не кажись кургуз». Ту же самую истину преподают детям в виде стишка:

«Вовремя глупым умей притвориться—всех будешь мудрее».

Вы сами теперь понимаете, какое великое благо — глупость, если даже обманчивая тень ее и простое подражание удостоились таких похвал из уст людей ученых. Еще откровеннее высказался этот толстый и холеный поросенок из Эпикурова стада, посоветовав «с трезвой мыслью мешать глупость». Он, правда, добавляет: «на краткий срок», но эта поправка не делает ему чести.

У него же в другом месте сказано:

«Сладко мудрость забыть порой».

И далее:

«Лучше безумцем прослыть и болваном, чем умником хмурым».

Уже у Гомера Телемах, всячески восхваляемый поэтом, не раз именуется νήπιος[1], и тем же прозвищем постоянно награждают мальчиков и отроков трагики, словно желая им счастья и удачи. А что такое сама священная «Илиада», как не повествование о ссорах глупых царей и народов? Наконец, что может быть возвышеннее той хвалы, которую воздал мне Цицерон? «Весь мир полон глупцов»,— сказал он. Но кому не известно, что чем шире распространено какое-либо благо, тем оно драгоценнее?

ГЛАВА LXIII

Но, быть может, для христиан все эти язычники не указ? Обратимся в таком случае к свидетельствам Священного писания и постараемся с его помощью обосновать или, как говорят ученые, апрофондировать мои восхваления; испросим разрешения у богословов и приступим к этому трудному делу. Пожалуй, неприлично будет снова взывать к Музам Геликонским, поскольку вопрос этот для них посторонний, а так как я разыгрываю теперь богослова и продираюсь сквозь тернии теологии,

[1] неразумным дитятей *(греч.)*.

то лучше всего воззвать к душе Скота, колючей, словно еж или дикобраз, и попросить, чтобы она переселилась хоть на малое время из любезной своей Сорбонны в мою грудь, а потом пусть убирается куда угодно, хоть к свиньям. Вот если б только позволили мне нацепить другую личину и облечься в богословские одежды! Боюсь, впрочем, как бы, увидя во мне столько богословской учености, не притянули меня к суду за то, что я обчистила исподтишка сундуки «наставников наших». Но не следует удивляться тому, что, вращаясь так долго в кругу моих близких друзей—богословов, я позаимствовалась у них кое-чем, подобно тому как эта дубина Приап вытвердил и запомнил несколько греческих слов, слушая чтение своего хозяина. Петух в диалоге Лукиана от долгого общения с людьми тоже выучился говорить человечьим языком.

Но перейдем к самому делу, с помощью божией. Екклесиаст написал в главе первой: «Бесконечно число глупцов». Вещая о бесчисленности глупцов, не хотел ли сказать мудрец, что все люди вообще глупы, за ничтожными изъятиями, на которые не стоит, пожалуй, обращать внимания. Еще яснее то же утверждает Иеремия в главе десятой. «Безумствует,— говорит он,— всякий человек в своем знании». Пророк приписывает мудрость одному богу, а людям оставляет в удел глупость. Он же утверждает немного выше: «Да не хвалится мудрый мудростью своею». Почему не позволяешь ты человеку хвалиться своей мудростью, добрейший Иеремия? Потому, ответит он, что человек вовсе лишен мудрости. Но возвращаюсь к Екклесиасту. «Суета сует,— восклицает он,— все суета!» Как вы полагаете, не разумел ли он этим, что жизнь человеческая, как мы уже говорили, есть всего-навсего игра Глупости? Не являются ли эти слова блестящим подтверждением приведенного мною выше изречения Цицерона: «Весь мир полон глупцов»? Далее, в «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова» сказано: «Глупый меняется, как луна, мудрый пребывает, как солнце». Не означает ли это, что весь род человеческий глуп и лишь одного бога можно наименовать мудрым, ибо под луной должно разуметь человеческую природу, а под солнцем, источником всякого света, — единого бога? С изречением этим вполне согласуются и слова самого Христа, который запрещает называть кого бы то ни было благим, кроме бога. Итак, ежели глуп тот, кто не мудр, и ежели правы стоики, отождествляющие благость с мудростью, то отсюда с необходимостью следует, что все люди подвластны Глупости. В главе пятнадцатой «Притчей Соломоновых» говорится: «Глупость — радость для малоумного». Это означает, что без глу-

пости ничто не сладко нам в жизни. О том же читаем и в ином месте: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь». То же самое с еще большей ясностью провозгласил славный проповедник в главе седьмой: «Сердце мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья». А потому сам он не ограничился изучением мудрости, но счел за благо свести знакомство также и со мной. Ежели не верите, взгляните на те слова, которые начертаны в главе первой: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость». Обращаю, кстати, внимание ваше на то, что Глупость занимает здесь второе место после Мудрости, а второе место не в пример почетнее. Так писал Екклесиаст, да вы и сами знаете, что этого требует церковный чин: кто по должности своей всех выше, тот занимает последнее место — согласно заповеди евангельской. Нет, Глупость, вне всякого сомнения, важнее Мудрости и автор «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», кто бы он ни был, недвусмысленно о том свидетельствует в главе сорок четвертой, но, клянусь Гераклом, я приведу вам его подлинные слова лишь в том случае, если вы пособите моему εἰσαγωγῆν [1], отвечая на вопросы, как то делают в Платоновых диалогах собеседники Сократа. Что подобает скрывать: вещи редкие и драгоценные или дешевые и низкие? Что же вы молчите? Если вздумаете хитрить, то за вас ответит греческая пословица: «Τὴν ἐπὶ θύραις ὑδρίαν» [2]. А дабы не посмел никто нечестиво возражать против этого изречения, спешу напомнить, что на него ссылается сам Аристотель, этот бог всех наших докторов богословия. Кто из вас настолько глуп, чтобы оставлять на пороге золото и драгоценные камни? Клянусь Гераклом, я не верю, чтобы подобный дурак отыскался. Такие вещи вы держите во внутренних покоях, мало того — в сокровеннейших уголках окованных железом сундуков, а всякую дрянь бросаете на виду у всех. Но если драгоценные вещи надлежит прятать, а дешевые выставлять напоказ, то не явствует ли отсюда, что мудрость, которую Писание запрещает скрывать, дешевле глупости, которую оно приказывает укрывать во мраке. А вот и само свидетельство: «Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость». Священное писание приписывает глупцу простодушие, тогда как мудрец никого не почитает себе равным. Так, по крайней мере, толкую я следующее место у Екклесиаста

[1] рассуждению *(греч.)*.
[2] глиняный кувшин и у порога можно оставить *(греч.)*.

в главе десятой: «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостанет смысла, и во всяком встречном видит он глупца». Какое простодушие — ставить себя на одну доску с прочими смертными и делить с ними похвалы (ведь любой человек качества свои почитает достойными похвал)! Поэтому и не постыдился великий царь самого себя наименовать глупцом, сказав в главе тридцатой: «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей!» И Павел, апостол язычников, в «Послании к Коринфянам» с охотою принимает название глупца: «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я». Он, по-видимому, никому не хотел уступить по части глупости.

Но уже подъемлют против меня крик всякие греки, которые, словно воронье, норовят выклевать глаза новейшим богословам и только головы людям морочат своими комментариями. В их стае если не первое, то, уж конечно, второе место занимает мой милый Эразм, которого я, чести ради, поминаю здесь чаще других. «Глупая и воистину достойная Мории цитата,— вопиют греки.— Совсем иное хотел сказать апостол, а не то, что тебе почудилось. Он отнюдь не старался доказать, будто он глупее остальных; в самом деле, воскликнув: «Они Христовы служители? И я тоже»,— Павел, отлично понимая, что он не только равен прочим апостолам, но и превышает их в деле служения Евангелию, прибавляет: «Я больше». Однако, не желая вводить в соблазн тех, кому такое заявление могло показаться излишне дерзновенным, он тут же поспешил оправдаться: «В безумии, мол, говорю». Ибо безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя. Но я вовсе не намерена вступать с ними в препирательства по поводу того, что думал Павел, когда писал приведенные выше слова. Пусть их судят, как им угодно, а я пойду следом за дородными, жирными, тучными и повсюду уважаемыми богословами, вместе с которыми большинство докторов наших предпочитают, νὴ τὸν Δία [1], заблуждаться, лишь бы не делить мнения, хотя бы и правые, с этими «трехъязычными». Ибо доктора наши почитают «гречишек» нисколько не выше грачей. Особливо — один славный теолог, имя коего я благоразумно утаю, дабы не дать грачам повода лишний раз вспомнить греческую пословицу ὄνος λύρας [2]; по всем правилам богословской науки он разъяснил занимающий нас текст: «В безумии говорю: я больше». Этому месту он посвятил целую главу, добираясь в ней до крайних пределов диалектики, а по-

[1] клянусь Зевсом *(греч.)*.
[2] об осле и лире *(греч.)*.

тому вводя новые разделения и подразделения. Итак, я приведу здесь собственные его слова, одинаково замечательные как по форме, так и по содержанию: «В безумии говорю» — означает в данном случае, что ежели я кажусь вам безумным, приравнивая себя к лжеапостолам, то буду еще безумнее, поставив себя выше их». Впрочем, немного дальше наш теолог перескакивает на совсем другой предмет, видимо позабыв, о чем только что шла речь.

ГЛАВА LXIV

Но к чему цепляться так робко за один-единственный пример? Как будто богословам вообще не предоставлено право выворачивать по своему усмотрению наизнанку небо, сиречь Святое писание, словно баранью шкуру! Ведь и у самого божественного Павла встречаются слова, которые кажутся противоречивыми, но перестают быть таковыми, будучи переставлены на подобающее им место. Если верить свидетельству πενταγλώττου [1] Иеронима, Павел для подтверждения христианской веры исказил надпись на случайно замеченном им афинском жертвеннике и привел из нее только два слова: «неведомому богу», пропустив все остальное, как не соответствующее его целям, ибо надпись в целом гласила: «Богам Азии, Европы и Африки, богам неведомым и чужеземным». Я полагаю, что по его примеру и наши οἱ τῶν θεολόγων παῖδες [2] постоянно вырывают из разных мест по четыре-пять словечек, а порою, ежели встретится в том нужда, даже искажают их себе на потребу и затем на них же ссылаются, нисколько не заботясь о том, что весь предыдущий и последующий текст либо никакого отношения не имеет к разбираемому вопросу, либо даже прямо противоречит тому толкованию, которое они предлагают. И столь счастливы бывают в своем бесстыдстве наши богословы, что им сплошь да рядом могут позавидовать даже законоведы.

Да и в самом деле, как усомниться в том, что для них все возможно, если знаменитый доктор — чуть не назвала его по имени, да опять боюсь пословицы — выдавил из слов Луки некое поучение, которое так же хорошо уживается со всем духом Христовым, как вода с огнем. В час великой опасности, когда все добрые слуги собираются вокруг господ своих, дабы постоять за них всеми силами, Христос, желавший изгнать из

---

[1] пятиязычного *(греч.)*.
[2] чада богословия *(греч.)*.

души учеников всякую надежду на земную подмогу, спрашивает, нуждались ли они в чем-либо, когда ходили проповедовать по наказу учителя, хотя и не получили от него ни обуви для защиты от терний и каменьев, ни сумы с припасами, чтобы могли не опасаться голода. Когда апостолы ответили, что ни в чем не терпели нужды, он добавил: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, а также и суму, а у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, как следует понимать это место? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье совлекли с себя и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча,— не того, конечно, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напрочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно только благочестие. Но поглядите, прошу вас, как переиначил все это наш знаменитый богослов. Меч он толкует как защиту против гонений, мешок — как достаточный запас съестного, словно Христос переменил свои мысли на этот счет и, спохватившись, что не совсем βασιλικῶς [1] снарядил проповедников, взял обратно все прежние свои наставления. По-видимому, забыв, что еще совсем недавно провозглашал он блаженными тех, кого будут поносить, гнать и мучить, воспрещал противиться злу, обещал блаженство кротким, а не свирепым, ставил людям в пример воробьев и лилии, Христос теперь старается снабдить своих учеников мечами и для приобретения их даже повелел продать одежду, как будто предпочел видеть своих последователей лучше нагими, нежели безоружными. Разумея под «мечом» все, что может служить для сопротивления насилию, богослов наш понимает слова о суме как заповедь приобретать все нужное для поддержания жизни. Таким образом, этот толкователь божественных велений вооружает апостолов копьями, баллистами, пращами и бомбардами и в таком виде посылает на проповедь крестного распятия. Он даже спешит нагрузить их сундуками, баулами и котомками, дабы никогда не уходили они с постоялого двора, не пообедав. И не пришло в голову этому человеку, что меч, который надо было покупать за такую дорогую цену, Христос вскоре повелел вложить в ножны и что апостолы, сколько известно, никогда не обращались к мечам и щитам для обо-

[1] по-царски *(греч.)*.

роны от насилия язычников, а они, конечно, не преминули бы сделать это, если бы так заповедал им сам Христос.

Есть еще один богослов — прославленный ученый, коего я не назову по причине моего глубокого к нему уважения. Он из палаток, о которых упоминает пророк Аввакум в стихе «Сотряслись кожи шатров Мадиамских», делает кожу, содранную со св. Варфоломея. Недавно я сама присутствовала на одном диспуте у богословов — я у них частая гостья. Там кто-то задал вопрос: как же в конце концов обосновать при помощи Священного писания необходимость жечь еретиков огнем, а не переубеждать их при помощи словопрений? Тут поднялся один суровый старик, истый богослов, если судить по насупленным бровям, и с великим раздражением ответствовал, что так-де предписано Павлом, который сказал: «Еретика после первого и второго вразумления от праведных отврати». Так как он несколько раз повторил эти слова с нарочитым подчеркиванием, то многие стали недоумевать, что такое стряслось с этим человеком, но он тотчас же пояснил: «От врат праведных гони. Разумеет же апостол врата жизни». Кое-кто засмеялся, но немало, однако, нашлось и таких, которым подобное толкование показалось вполне богословским. Другие заспорили; тогда выступил второй богослов, грозный и страшный на вид, писатель с непререкаемым авторитетом, и поддержал товарища. «Слушайте,— сказал он,— в Писании сказано: «А злодея того должно предать смерти». Всякий же еретик есть злодей. Следственно — и т. д.». Все изумились тонкой изобретательности этого человека и примкнули к его мнению. Никому и в голову не пришло, что закон этот относится только к гадальщикам, заклинателям и волхвам, которых евреи на языке своем называют *мехашефим*, а иначе пришлось бы карать смертью за блуд и пьянство.

ГЛАВА LXV

Воистину глупо было бы приводить и далее подобные примеры, столь многочисленные, что не вместить их даже в книги Хрисипповы или Дидимовы. Я хотела лишь доказать, что ежели такие вольности дозволяются нашим божественным докторам, то тем более извинительно мне, συκίνῃ θεολόγῳ [1], допустить в цитатах кое-какие неточности. Итак, возвращаюсь к Павлу. «Ибо вы,— говорит он,— люди разумные, охотно терпите не-

[1] богослову липовому *(греч.)*.

разумных». К последним причисляет он самого себя. И далее: «Примите меня, хотя как неразумного» и «Что скажу, то скажу не в господе, а как бы в неразумии». И в ином месте: «Мы,— говорит,— безумны Христа ради». Слышали, как хвалит глупость такой неопровержимый автор? Он даже провозглашает ее вещью самонужнейшей и полезнейшей: «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым». И у Луки Иисус называет «несмысленными» двух учеников, которых повстречал на дороге. Но еще удивительнее, что святой Павел в какой-то мере приписывает глупость самому богу. «Немудрое божие,— говорит он,— премудрее человеков». Согласно толкованию Оригена, «немудрое божие» не является таковым лишь во мнении людей. То же самое утверждает он и относительно следующего стиха: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть». Впрочем, чего ради мне мучиться, подбирая столько свидетельств, если в боговдохновенных псалмах сам Христос прямо говорит отцу: «Ты знаешь безумие мое».

Отнюдь не случайно дураки столь угодны богу. Я полагаю, что это объясняется теми же причинами, по которым люди чрезмерно благоразумные бывают подозрительны и ненавистны великим государям: Цезарь страшился Брута и Кассия, но не испытывал никакого страха перед забулдыгой Антонием; Нерон ненавидел Сенеку, Дионисий — Платона. И, напротив, монархи всегда жаловали людей невежественных и тупых. Так и Христос всегда осуждал σοφούς [1], кичащихся своим благоразумием. Об этом свидетельствует Павел, совершенно ясно говоря: «Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых». И еще: «Благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих», тогда как спасти их при помощи мудрости он не мог. И сам господь недвусмысленно подтвердил это, возгласив устами пророка: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Христос восхваляет бога, скрывшего тайну спасения от мудрых и открывшего ее малым сим, иначе говоря — глупым, ибо в греческом подлиннике вместо «малых сих» стоит: νηπίοις [2], кои противополагаются σοφοῖς [3]. Подобным же образом надо толковать и то, что Христос в Евангелии повсюду обличает фарисеев, книжников и законников, но заботится и печется о невежественной толпе. Что иное означают слова: «Горе вам, книжники и фарисеи», если не «Горе вам, мудрые?». Всего

---

[1] мудрецов *(греч.)*.
[2] неразумные *(греч.)*.
[3] мудрецам *(греч.)*.

больше любил он проводить время с детьми, женщинами и рыбаками. Да и среди бессловесных животных по душе Христу были те, которые всего далее от лисьей хитрости: ему угодно было воссесть на осла, тогда как он мог, если бы пожелал, безнаказанно оседлать и львиную спину. Дух святой снизошел на него в виде голубя, а не орла или коршуна. В Священном писании часто упоминаются молодые олени и ягнята. Вспомните также, что своих верных, призванных к бессмертной жизни, Христос называет «овцами». А ведь каждому известно, что нет на земле существа глупее овцы; сошлюсь в том хотя бы на Аристотеля, который утверждает, что по причине бестолковости этого животного его именем называют людей глупых и тупоумных. И, однако, Христос провозгласил себя пастухом этого стада и даже радовался, когда его самого именовали агнцем. Указывая на него, Иоанн сказал: «Вот агнец божий». О том же многократно упоминается и в Апокалипсисе.

Не доказывает ли это, что все смертные — глупцы, в том числе — и благочестивейшие из смертных? Сам Христос, хотя в нем воплотилась мудрость отца, стал тем не менее некоторым образом глупым, дабы помочь глупости людей: усвоив человеческую природу, он и характером сделался подобен человеку. Равным образом стал он грешником, чтобы уврачевать грех, и уврачевал он его не чем иным, как юродством креста при помощи невежественных глупцов — апостолов. Последним он усердно проповедовал неразумие и предостерегал против мудрости, указуя им в виде примера на детей, лилии, горчичные зерна и маленьких птичек — то есть нечто глупое, чуждое здравого смысла, живущее по внушениям одной природы, без всяких забот и без всяких хитростей. Далее, он не велел своим ученикам обдумывать речи, которые они будут держать перед властями и правителями, не дозволял испытывать времена и сроки, очевидно, для того, чтобы они ни в чем не полагались на собственное свое суждение, но единственно на него одного уповали всею душою. В том же смысле разуметь должно и то, что бог, сотворив мир, запретил вкушать от древа познания добра и зла, словно познание — смертельный яд для блаженства. Также и Павел открыто хулит знание, как вещь пагубную и ведущую к надменности. Я полагаю, что по его примеру святой Бернард назвал гору, на которой засел Люцифер, Горою Познания. Быть может, не следует упускать здесь из виду и следующего довода: Глупость до такой степени угодна всевышнему, что ради нее одной отпускаются все прегрешения, меж тем как ни один мудрец этого не удостоен. Вот почему люди,

хотя грешат с полным пониманием того, что делают, но, умоляя о прощении, ищут покровительства Глупости и пользуются ею как отговоркой. Так, Аарон, сколько помнится, в Книге Чисел, просит у Моисея помилования, говоря: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили». Так и Саул оправдывается перед Давидом: «Безумно поступал я и очень много погрешал». Да и сам Давид взывает к господу: «Ныне молю тебя, господи, прости грех раба твоего, ибо весьма неразумно поступил я». Он был уверен, что не получит отпущения, если не сошлется на глупость свою и неведение. Но вот еще более разительное подтверждение моей мысли. Когда Христос молился на кресте за своих врагов: «Отче, прости им»,— он не нашел для них иного оправдания, кроме неразумия: «Ибо не ведают,— сказал,— что творят». Равным образом и Павел писал к Тимофею: «Помилован я богом, потому что так поступал по неведению, в неверии». Но ведь «поступал по неведению» и значит: действовал по глупости, а не по злобе душевной. Апостол «помилован» лишь потому, что прибег к покровительству Глупости. В мою пользу свидетельствует и вдохновенный псалмопевец, о чем я позабыла упомянуть в надлежащем месте: «Грехов юности моей и преступлений неведения моего не вспоминай». Заметьте, пожалуйста, что он ссылается на два смягчающих обстоятельства: на юность, чьей подругою я всегда бываю, и на невежество. Обратите также внимание на то, что он говорит о преступлениях своего неведения во множественном числе, дабы мы тем лучше могли уразуметь всю великую силу Глупости.

ГЛАВА LXVI

Не зарываясь в бесчисленные подробности, скажу кратко, что христианская вера, по-видимому, сродни некоему виду глупости и с мудростью совершенно несовместна. Ежели хотите доказательств, то вспомните прежде всего, что ребята, женщины, старики и юродивые особенно любят церковные обряды и постоянно становятся всех ближе к алтарю, покорные велениям своей природы. Во-первых, позвольте спросить: кто такие были основатели христианства? Люди удивительно простодушные, жестокие враги всякой учености. Засим, среди глупцов всякого рода наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое имение, не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают раз-

личия между друзьями и врагами, в ужасе бегут от наслаждений, предаются постам, бдениям, трудам, презирают жизнь и стремятся единственно к смерти, коротко говоря,— во всем действуют наперекор здравому смыслу, словно душа их обитает не в теле, но где-то в ином месте. Что ж это такое, если не помешательство? Удивляться ли после того, что апостолов принимали порою за пьяных и что Павел показался безумным судье Фесту! Но поскольку уж я начала рассуждать, то продолжу и докажу вам, что блаженство, которого христиане стараются достигнуть ценою стольких мучений и трудов, есть не что иное, как некая разновидность безумия. Не гневайтесь на мои слова и лучше постарайтесь уразуметь их.

Во-первых, христиане согласны с учениками Платона в том, что душа человеческая скована цепями тела, увязла в нем, словно в грязи, и именно поэтому не способна постигнуть истину и насладиться ею. Сам Платон определил философию как размышление о смерти, ибо подобно этой последней философия поднимает душу над видимыми, телесными вещами. Мы привыкли называть человека здоровым, пока душа его должным образом пользуется телесными органами; когда же, порвав свои путы, она пытается обрести свободу и словно замышляет побег из темницы, то мы называем такое состояние помешательством. Если означенные явления вызваны болезнью либо повреждением внутренних органов, никто не усомнится в том, что это безумие. И, однако, мы видим, что люди, охваченные подобным безумием, предсказывают будущее, знают чужеземные языки и науки, которых никогда прежде не изучали, и вообще представляются во многих отношениях существами как бы божественными. Все это, без сомнения, приходится объяснять тем, что душа, частично освобожденная от власти тела, проявляет свою природную силу. Здесь же, как я полагаю, таится и причина того, что умирающие, как бы вдохновленные божественным дуновением, изрекают порой поразительные вещи. Если благочестие и не вполне совпадает с вышеописанной разновидностью безумия, то все же столь близко с нею соприкасается, что большинство людей почитает набожность простым помешательством, особенно когда видит тех немногих, которые всей своей жизнью столь резко отличаются от прочих смертных. Сходным образом в известной аллегории Платона люди, сидящие скованными в пещере, созерцают только тени и подобия вещей. Один из узников выбегает наружу, видит самые вещи и, воротившись обратно в пещеру, начинает убеждать остальных, что они заблуждаются и ничего не знают, кроме теней. Мудрец скорбит об их безумии,

ибо они упорно держатся за свою ошибку, а они в свой черед издеваются над ним, как над помешанным, и изгоняют его. Вот точно так же люди, занятые одними телесными вещами, склонны думать, что ничего другого не существует. Напротив, благочестивые праведники презирают все, имеющее отношение к телу, и стремятся лишь к созерцанию невидимого мира. Первые больше всего помышляют о собирании богатств, затем — об удовлетворении своих телесных нужд и лишь в самую последнюю очередь — о своей душе, если только вообще допускают ее существование, веря лишь в то, что доступно глазу. Вторые поступают как раз наоборот: прежде всего думают о боге, субстанции простейшей и неизменнейшей, затем помышляют о своей душе, которая всего ближе к божеству, но не желают заботиться о теле, презирают деньги, словно мякину, и, едва завидев их, обращаются в бегство. Если иногда, по необходимости, им приходится заниматься житейскими делами, они едва справляются с отвращением, относясь к своей собственности так, точно она не принадлежит им вовсе. Даже в малых вещах разительно сказывается различие между людьми, живущими по уставам мира сего, и благочестивыми праведниками.

Хотя все чувственные способности зависят от тела, есть между ними такие, которые кажутся грубее других. Таковы осязание, слух, зрение, обоняние, вкус. Другие — гораздо более независимы, например, память, рассудок, воля. Праведники, со всею силою души устремляясь к тому, что не имеет ничего общего с внешним миром, становятся тупыми и бесчувственными к телесным впечатлениям. И, напротив, заурядные люди наибольшее значение придают внешним чувствам и наименьшее — внутренним. Этим объясняется, между прочим, и то, что многие святые мужи, случалось, пили вместо вина масло. Среди страстей и душевных чувствований есть также такие, которые кажутся особенно телесными, как, например, плотское вожделение, голод, сонливость, гнев, гордость, зависть. Праведники ведут с ними непримиримую войну, а толпа уверена, что без них и прожить невозможно. Кроме того, существуют страсти, так сказать, нейтральные, словно бы естественные; таковы любовь к отечеству, нежность к детям, к родителям, к друзьям. Толпа платит всему этому немалую дань, но праведники всячески стараются изгнать из своей души все названные склонности или по крайней мере сообщают им духовный характер, так что даже отца своего любят уже не как отца (ибо что он породил на свет, кроме тела? да и тем обязан не себе самому, а богу-творцу), но как славного мужа, в коем отраженно сияет образ верховного

разума, называемого ими верховным благом. Вне этого блага они не знают ничего, достойного любви и стремлений.

Этим правилом руководствуются люди благочестивые и во всех прочих житейских делах: ежели они не совсем презирают какую-либо видимую вещь, то все же ценят ее гораздо ниже того, что недоступно оку. Они различают плоть и дух даже в таинствах и в других церковных обрядах. Так, они не верят, в отличие от большинства людей, будто пост состоит только в воздержании от мяса и отказе от вечерней трапезы, но проповедуют пост духовный, заключающийся в умерщвлении страстей, подавлении гнева и гордости, дабы дух, не удручаемый бременем плоти, мог с тем большей силой устремиться к познанию небесных благ. Так же мыслят они и об евхаристии: если обрядом причастия, говорят они, и не следует пренебрегать, то все же он не столь спасителен, как это обычно полагают. Он даже может сделаться вредным, если в нем не будет духа, то есть воспоминания о тех событиях, кои изображаются при помощи чувственных знамений. Знамения же напоминают нам о смерти Иисуса Христа, и христиане обязаны подражать этой смерти, укрощая, подавляя и словно погребая свои страсти, дабы воскреснуть для новой жизни и соединиться со Христом Иисусом, соединяясь в то же время друг с другом. Такова жизнь, таковы постоянные помышления праведников. Напротив, толпа не видит в богослужении ничего, кроме обязанности становиться поближе к алтарю, прислушиваться к гудению голосов и глазеть на обряды.

Не только в указанных мной для примера случаях, но и во всех обстоятельствах жизни убегает праведник от всего, что связано с телом, и стремится к вечному, невидимому и духовному. И так как отсюда рождаются постоянные несогласия между ним и остальными людьми, он упрекает их в безумии, а они отвечают ему тем же. Я же полагаю, что название безумца больше подобает праведникам, нежели толпе.

ГЛАВА LXVII

Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обещанию, в немногих словах докажу, что награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как своего рода помешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное, когда написал, что «неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство». В самом деле, кто страстно любит другого, тот живет уже не в себе, но в любимом предмете, и, чем более он от себя удаляется, дабы

прилепиться душою к этому предмету, тем более ликует. Но когда душа словно бы покинула тело и уже не в силах управлять телесными членами, то как прикажете назвать такое состояние, если не исступлением? Это подтверждают и общераспространенные поговорки: «Он вне себя», «Он вышел из себя», «Он пришел в себя». Далее, чем совершеннее любовь, тем сильнее неистовство и тем оно блаженнее. А теперь задумаемся, какова та небесная жизнь, к которой с такими усилиями стремятся благочестивые сердца? Их дух, мощный и победоносный, должен поглотить тело. Ему тем легче будет совершить это, что тело, очищенное и ослабленное всей предыдущей жизнью, уже подготовлено к подобному превращению. А затем и самый дух этот будет поглощен бесконечно более могущественным верховным разумом, и тогда человек, оказавшись всецело вне себя, ощутит несказуемое блаженство и приобщится к верховному благу, все в себя вобравшему. Хотя блаженство это может стать совершенным лишь в миг, когда усопшие души, соединившись с прежними своими телами, получат бессмертие, однако, поскольку жизнь праведников есть лишь тень вечной жизни и непрестанное размышление о ней, им позволено бывает заранее отведать обещанной награды и ощутить ее благоухание. И одна эта малая капля из источника вечного блаженства превосходит все телесные наслаждения в их совокупности, все утехи, доступные смертным. Вот в какой мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвышается над видимым! Именно об этом вещал пророк, говоря: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим его». Такова эта частица Мории, которая не отъемлется при разлучении с жизнью, но, напротив, безмерно возрастает. *Эта малая капля трижды блаженной Глупости достается* на земле лишь немногим. Они уподобляются безумцам, говорят несвязно, не обычными человеческими словами, но издавая звуки, лишенные смысла, и строят какие-то удивительные гримасы. Они то веселы, то печальны, то льют слезы, то смеются, то вздыхают и вообще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, они говорят, что сами не знают, где были,— в теле своем или вне тела, бодрствовали или спали; они не помнят, что слышали, что видели, что говорили, что делали, все случившееся представляется им как бы в дымке тумана или сновидения. Одно они знают твердо: беспамятствуя и безумствуя, они были счастливы. Поэтому они скорбят о том, что снова образумились и ничего другого не желают, как вечно страдать подобного рода сумасшествием. Таково скудное предвкушение вечного блаженства.

Впрочем, мне уже давно пора кончать: я ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένα πηδῶ[1]. Ежели сказала я что-нибудь слишком, на ваш взгляд, дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью и вдобавок женщиной. Не забывайте также греческой пословицы «Πολλάκι τοι καὶ μωρὸς ἀνὴρ κατακαίριου εἶπεν»[2]. Не знаю, впрочем, как по-вашему: относится это к женщинам или нет? Вижу, что вы ждете от меня заключения. Но, право же, вы обнаруживаете крайнее недомыслие, если думаете, что я помню всю ту мешанину слов, которую рассыпала перед вами. Прежде говорили: «μισῶ μνάμονα συμπόταν»[3]. Я же скажу: «μισῶ μνάμονα ἀκροάτην»[4]. А посему будьте здравы, рукоплещите, живите, пейте, достославные сопричастники таинств Мории.

Конец!

---

[1] позабыла всякую меру и границу *(греч.)*.
[2] «Часто глупец в неразумии метким обмолвится словом» *(греч.)*.
[3] ненавижу памятливого сотрапезника *(греч.)*.
[4] ненавижу памятливого слушателя *(греч.)*.

...Об этом повествует одна забавная греческая басня, которую Лукиан приписывает Эзопу: в «Икароменинппе» он упоминает, что у Эзопа была притча про то, как некогда навозные жуки и верблюды поднимались на небо. Что же до содержания рассказа об орле и жуке, то вот оно примерно какое. *У орлиного рода со всем племенем навозников вражда с незапамятных времен, и война не на живот, а на смерть — ну, прямо-таки* ἄσπονδος πόλεμος [1], *как говорят греки. До такой степени ненавидят они друг друга, что сам Юпитер,* οὗ κράτος ἐστὶ μέγιστον [2] *и чье мановение приводит в трепет весь Олимп, не смог их примирить и утишить раздор,— если только можно дать веру притчам.* Да, согласия меж ними не больше, чем в наши дни между придворными богами и презренною, темной чернью. Но найдется, наверное, человек, несведущий и ἀνήκοος [3] в Эзоповых баснях, который изумится: что за дела у навозника с орлом? Какое родство, какая близость или соседство могли возникнуть между столь несхожими существами (ведь именно подобного рода узы чаще всего служат началом и истоком вражды, особенно среди государей)? Что за причина такой жестокой ненависти? Откуда, наконец, у навозного жука столько отваги, чтобы не побояться войны с орлиным народом? А с другой стороны, чем это был так оскорблен и раздосадован возвышенный дух орла, чтобы не пренебречь врагом, столь ничтожным, недостойным даже ненависти? Долгая история, долгая ненависть, долгие козни; и вообще предмет слишком велик, а потому человеческому красноречию недоступен. Но если бы Музы, которые некогда не сочли за

[1] непримиримая война *(греч.)*.
[2] чья сила необорима *(греч.)*.
[3] ненаслышанный *(греч.)*.

труд нашептать Гомеру «Βατραχομυομαχίαν»[1], удостоили помощью и меня, покинувши ненадолго Геликон, я попытался бы в меру своих сил изобразить самую суть дела. Ведь не может быть на свете таких трудностей, чтобы люди не дерзали их одолеть, если путь указывают Музы! Однако прежде чем приступить к рассказу в собственном смысле слова, я, по возможности коротко, очерчу нравы, внешность и природные задатки обоих воителей,— тогда и самый рассказ будет понятнее.

Итак, во-первых, вот что бросается в глаза и вызывает изумление: древние римляне, люди, вообще-то говоря, мудрые, заявляя преимущественно против остальных народов притязания на символ этой птицы, считая, что он роднит их с богами, одержав под его водительством столько побед и справив столько триумфов, платят своему благодетелю черной неблагодарностью, наносят ему нестерпимое оскорбление. Действительно, пернатое самое мужественное и силы необоримой они лишают мужского достоинства и чуть ли не в Тиресия какого-то обращают, называя его «аквила» — именем женского рода! Сами они после этого не мужчины! Зато по-гречески орел бесспорно мужского рода, и это, по-моему, намного более подобает тому, кого вышний Юпитер, отец и государь богов и людей, пожаловал царскою властью над перелетными птицами, сведав его верность на русом Ганимеде; тому, кто один, когда все боги разбегаются, подносит гневному Юпитеру трезубые стрелы, нисколько не испугавшись пословицы: «Πόρρω Διός τε καὶ κεραυνοῦ»[2]. И не без веских оснований, на мой взгляд, среди столь многих птичьих племен и бесчисленных колен именно орла единодушно решили объявить самодержцем не только φρήτραι[3] птиц, но сенат и народ стихотворцев. Что до птичьего постановления, то большинство склонялось к мысли вручить верховное владычество павлину: его краса, блеск, величие, гордость, поистине царские, казалось, прямо-таки требовали царства. Так бы и проголосовали, когда бы не иные птицы, умудренные долгим житейским опытом, вроде воронов и ворон: если во главе птичьего государства поставить павлина, рассудили они, выйдет то же, что уже много лет можно наблюдать на примере некоторых самодержцев, а именно, что царем он будет только по званию, на словах, власть же царскую все равно возьмет орел, хотя бы народ его и не выбирал.

---

[1] «Войну лягушек и мышей» *(греч.)*.
[2] «Подальше от Зевса и от [его] перуна» *(греч.)*.
[3] Фратрии, колена *(греч.)*.

Кроме того, я полагаю, поэты, мужи на диво мудрые, разглядели, что никакой другой образ не способен вернее передать характер и житейские правила царей. (Я говорю о большинстве, не обо всех: в любом роде вещей всегда было и будет доброе меньшинство, и новый век рождаст новых людей.) Итак, если дозволите, сравним в немногих словах орлов с государями.

Во-первых, ежели само наименование в какой-то мере знаменательно (в чем я нимало не сомневаюсь), греки весьма удачно называют орла ἀετός — от ἀΐσσω, то есть примерно: «увлечен порывом» или «несусь напролом». Некоторые птицы от природы покойны и ласковы, другие дики, но искусством наставника приручаются и привыкают к людям. Лишь орел ни к какому учению не способен, и любые старания приручить его тщетны. Так неудержим природный порыв, который его уносит, что на всякое свое хотение требует немедленного дозволения. Не угодно ли поглядеть на птенца с истинно орлиною душою? Его, «стража при молнии», картинно описал Гораций:

«Когда-то младость и племенной задор
Его толкнули вон из гнезда скорей,
А ветр весенний, дождь прогнавши,
Робкого первым учил полетам.
Потом пыл жизни бросил врагом его
К стадам овечьим; скоро к жестокому
В борьбе дракону он помчался
В жажде добычи и ярой битвы».

Намек этот особенно хорошо понимают те земли, которые на себе испытали, скольких несчастий стоит подобного рода неукротимый пыл юных государей. Философам свойственно сдерживать свои страсти и во всем следовать голосу рассудка, но, как гласит сатира,

нет ничего своевольней, чем ухо тирана.

У него всегда наготове одно:

«Так я хочу и велю! Рассудок уступит хотенью!»

Далее, хотя писатели различают шесть разновидностей орлов, у всех шестерых одинаково клюв круто загнут и когти такие же кривые, так что даже по наружности можно догадаться, какая перед тобою птица — плотоядная, враждебная покою и миру, рожденная для битв, грабежей и разбоев. И, точно мало быть плотоядным, есть орлы, которые зовутся «костедробительными»!..

Но тут, любезный читатель, ты решительно останавливаешь меня и безмолвно вопрошаешь: какое отношение имеет этот образ к государю, чья подлинная слава — в милосердии, в том, что он способен причинить зло чуть ли не каждому, но не хочет вредить никому, что он один чужд язвительной беспощадности и всего себя издерживает ради выгод своего народа; недаром же мудрый Филоксен на вопрос, что в мире самое полезное, отвечал: «Царь». Он имел в виду, что свойство истинного государя — никого не обижать и всем помогать (насколько достанет сил), быть скорее «всеблагим», нежели «всемогущим». Впрочем, и нельзя стать всемогущим иначе, как будучи всеблагим, то есть оказывая благодеяния всем и каждому.

Скажу напрямик: я хвалю образец, весьма искусно нарисованный философами, и, пожалуй, готов признать, что подобные государи будут править в Платоновом государстве. Но в летописях едва ли сыщется хоть один властитель, которого ты решился бы сопоставить с этим изображением. А если кто припомнит и оценит государей из новейших времен, он не встретит, боюсь, никого, кроме тех, что заслуживают самой позорной брани, какую у Гомера Ахилл бросает Агамемнону:

«Δημοβόρος βασιλεύς...»[1]

А Гесиод называет царей δωροφάγους[2], хотя правильнее было бы назвать их παμφάγους[3]. И хотя Аристотель отличает царя от тирана по примете самоочевиднейшей: один заботится лишь о собственной выгоде, другой о благе народа,— все же иным людям царское звание, которое древним римским властителям (и каким властителям!) казалось непомерным и рождающим зависть, а потому безусловно нежелательным, иным людям, повторяю я, и царское звание не в радость, если не прицепить к нему длинный хвост блистательного лганья, чтобы именовались «Божественными» те, кому и человеческое-то имя не впору, «Непобедимыми» те, кто ни разу не одержал победы в бою, «Высокими» те, кто ниже всех, «Тишайшими» те, кто сотрясает землю военными бурями и безумными мятежами, «Светлейшими» те, кто погружен во мрак глубочайшего невежества, «Христианнейшими» те, у кого нет ничего общего со Христом. Ежели у этих божественных, прославленных, победоносных остается досуг от игры в кости, от пьянства, от охоты, от блуда,

[1] «Царь — пожиратель народа...» *(греч.)*.
[2] дароядцами *(греч.)*.
[3] всеядными *(греч.)*.

то весь целиком его посвящают царственным думам. При этом забота лишь одна: все законы и постановления, войны и мирные договоры, суды и советы, священное и мирское направлено к тому, чтобы все имущество всех граждан угодило в государеву казну, иными словами — в бездонную бочку. Так на орлиный лад они упитывают себя и своих птенцов, ощипывая невинных птичек.

Пусть-ка теперь толковый физиогномист вглядится повнимательнее в облик орла — в алчные и бесстыжие глаза, грозный зев, злобный взор, хмурый лоб, в горбатый нос наконец, который Киру, царю персидскому, представлялся драгоценным украшением государя,— разве не узнает он некоего царственного подобия, полного величия и великолепия? А самая окраска, скорбная, ужасная, зловещая, отливающая нечистою темнотою траура?! Ведь грязноватый, темный оттенок мы так и зовем «орлиным». А голос — неприятный, страшный, вселяющий ужас и в то же время гнусавый клекот! Нет такого существа, которое не испугалось бы, заслышав орлиный клекот... Символ этот узнает любой, кто испытал опасность сам или хотя бы видел, как опасны угрозы государя, даже произнесенные шутливым тоном, и как все трепещет, когда зазвучит такой примерно орлиный глас:

«Εἰ δέ κε μή δωώσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἑλώμαι,
Ἢ τεὸν ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας ἢ Ὀδυσσῆος
Ἄξω ἑλών· ὁ δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι»[1].

Или же такой, не менее βασιλική:[2]

«Μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰς'ἐν Ὀλύμπω
Ἄσσων ἰόντ', ὅτε κέν τοι ἀέπτους χεῖρας ἐφείω»[3].

Заслышав этот клекот, повторяю я, дрожит чернь, съеживается сенат, рабствует знать, повинуются судьи, молчат богословы, поддакивают правоведы, отступают законы, отступают обычаи и порядки; перед ним все бессильно — и вышние веления, и благочестие, и справедливость, и человечность. И хотя столько есть птиц красноречивых, столько певчих, хотя так разнообразны голоса и напевы, способные растрогать даже ка-

[1] «Если ж откажут, предстану я сам и из кущи исторгну
Или твою, иль Аяксову мзду, или мзду Одиссея;
Сам я исторгну, и горе тому, пред кого я предстану!» *(греч.)*
[2] царственный *(греч.)*.
[3] «Или тебе не помогут ни все божества на Олимпе,
Если, восстав, наложу на тебя необорные руки» *(греч.)*.

мень, надо всеми, однако же, берет верх этот противный и вовсе немузыкальный, скрипучий крик орла.

Существует среди орлов одна разновидность, которую очень хвалил Аристотель, потому, вероятно, что подобные черты желал видеть в своем птенце — в Александре. Эта порода почти так же, как прочие, хищна и прожорлива, но не так нагла и криклива и, во всяком случае, более человечна, потому что воспитывает свое потомство, а прочие поступают так же, как нечестивые родители, которые подкидывают своих детей, тогда как даже тигры не отказываются от своих тигрят! По этой причине их называют γνήσιον, то есть как бы настоящей, чистокровною породой. Видал их и Гомер,— несмотря на слепоту,— потому что именует μελάνωτα и ἀηρήτορες — «черноспинными» и «ловчими»; оба эпитета как нельзя лучше подходят к таким государям, как Нерон, Калигула и слишком многие иные. Но насколько же некоторые среди них, клянусь Юпитером, еще более γνήσιοι и, я бы сказал, орлинее самих орлов! Это те, кто скипетром и изображениями предков приближены к богам, но не гнушаются лестью людишкам ничтожного происхождения и, я бы даже сказал, исполняют роль прихлебателей — была бы только надежда на щедрую поживу.

Писатели сообщают, что орлы долговечны. Но, достигнув глубокой старости, они жаждут только крови, которою и поддерживают свое ненавистное всем существование: верхняя половина клюва вырастает настолько, что клевать мясо орел более не может. Отсюда известная каждому пословица «Ἀετοῦ γῆρας» [1]— насчет стариков, чрезмерно преданных хмельному питию. Вообще-то весь род птиц с кривыми когтями, если верить Аристотелю, либо не пьет вовсе, либо до крайности редко, а если когда и пьет, то одну лишь воду, и только орел жаждет крови. Выходит, что, загибая ему клюв, природа — далеко не всегда мачеха! — позаботилась об остальных существах и положила какой-то предел ненасытной прожорливости орла. Попечение природы обнаруживает себя еще и в том, что она не позволяет орлу снести более трех яиц, ни вывести более двух птенцов. А если верить стиху Мусея, на которого ссылается Аристотель,—

«Рождает трех, выводит двух, но жив один».

В течение всего времени, что орлы сидят на яйцах, а длится это около тридцати дней, промыслом природы им отказано в пище, и когти на этот срок повертываются в противоположную

[1] «Орлиная старость» *(греч.)*.

сторону; а иначе все звери лишились бы своих детенышей. Итак, пока орел высиживает птенцов, от голода у него седеют перья. Отсюда ненависть к собственному потомству. (Впрочем, что до римских орлов, это скорее в области желаемого, нежели наблюдаемого: они вообще не ведают ни предела, ни меры, расхищая добро простолюдинов.) Страсть к стяжанию с годами все возрастает, и всего усерднее свирепствует орел, когда в гнезде запищат птенцы. В эту пору народ терзают все новые и новые повинности. Наконец, орлу природа противопоставила несметное множество врагов, о которых мы вскоре будем говорить. Заботливость природы не удивит того, кто поверит Плинию, который приводит доказательство ненасытной алчности орла,— доказательство совершенно сверхъестественное, которому я, пожалуй, не дал бы веры даже в том случае, если бы прочел у Демокрита, а между тем его повторяет Плутарх,— автор в высшей степени надежный,— как общепризнанное и бесспорное. А именно: даже перья орла пожирают перья других птиц, если их перемешать, так что те постепенно истаивают и исчезают. Такова сила врожденной хищности. А я полагаю, что то же самое произойдет, если смешать кости тиранов с костями людей из народа, и что кровь их способна смешаться не более, чем кровь эгифа и флора.

Теперь взгляни, насколько все это отвечает приметам иных государей. (Пожалуйста, читатель, не забывай, что, как уже было сказано однажды, не о добрых и праведных идет у нас речь.) Одна пара орлов нуждается для своих опустошительных набегов в большом просторе и не терпит другого разбойника в близком соседстве, а потому определяет рубежи и границы. Но разве есть такое владение, которое не было бы тесным для наших орлов? А какое стремление раздвигать свое царство до бесконечности! Какие распри с соседними орлами либо коршунами о пределах царства, то есть грабежа! Но вот в чем, пожалуй, заметно различие: эта птица, такая хищная и жадная, рядом с гнездом, однако же, не разбойничает — для того, разумеется, чтобы возмездие за обиды не пало однажды на ее голову,— но большею частью тащит добычу издалека, а тираны и закадычных приятелей не щадят, и к родным и домочадцам протягивают алчные когти. Более того: опасность тем вернее, чем ближе ты к тирану, словно бы к Юпитеру и его перуну.

Врожденную и унаследованную от родителей ненасытность в грабежах значительно умножает воспитание. Орел, как слышно, едва оперившихся птенцов выбрасывает из гнезда, чтобы они сразу же, от молодых когтей (почти по пословице!) приучались

жить грабежом и полагаться на собственные когти. Но у некоторых государей, боже бессмертный! какое множество дополнительных побуждений к хищности, помимо растленного воспитания! Какая свора льстецов, сколько продажных чиновников, сколько бесчестных советников, сколько безмозглых друзей, сколько ничтожных собутыльников, которые и бескорыстно радуются общественным тяготам. К этому прибавь чванство, наслаждения, изысканную роскошь, которые никакой добычею не насытишь. Прибавь глупость и невежество, упрямее которых, если они соединены с удачливостью, нет ничего на свете. Эта зараза способна испортить и самые счастливые натуры, так что же, по-твоему, будет, если она вползает в жадный и гнусный ум? Это все равно что плеснуть в печку масла!

Но недостаточно βασιλικῶς[1] был бы снаряжен орел, если бы не было у него для разбоя иных орудий, кроме кривых когтей и кривого клюва, если бы не присоединялись к ним очи, зорче Линцеевых, способные глядеть, не щурясь, на полдневное солнце; говорят, что такое испытание устраивает он своему потомству, проверяя, законное ли оно. Поэтому орлы высматривают и выбирают добычу из самой дальней дали. Впрочем, у царя птиц только два глаза, один клюв, когтей всего десяток, утроба тоже одна. А у наших орлов, увы! сколько ушей-слухачей, сколько глаз-соглядатаев, сколько когтей-чиновников, сколько клювов-начальников, сколько утроб-адвокатов да судей, утроб положительно бездонных и ненасытных! Им всего мало, от них ничто не укроется и не спасется, даже содержимое самых заветных сундуков и шкатулок. Однако вред был бы, пожалуй, намного меньше, если бы к оружию и телесной мощи не присоединялся коварный ум, иными словами — если бы железо, и само по себе губительное, не увлажнялось ядом. Ступая по земле, орел втягивает когти, чтобы их не притупить и во всей остроте сберечь для разбоя; эта черта у него общая со львом. И нападает он не без разбора, но лишь тогда, когда уверен, что враг слабее. И на добычу падает не камнем, не вдруг, как прочие иные, но опускается потихоньку, чтобы не раздавить с маху свою жертву. И даже на зайца, которого ловит всего чаще, не налетит, пока тот не выйдет на ровное место. И лютует не во всякое время, чтобы самому не быть застигнутым в минуту усталости, но охотится от завтрака до полудня, в остальные же часы — до тех пор, пока рынки не заполнятся толпою,— сидит праздно. Далее: добычу он не пожирает на месте убийства, чтобы

[1] по-царски *(греч.)*.

какое-нибудь внезапное нападение не захватило его врасплох, но, отдохнувши и проверив свои силы, уносит ее в гнездо, словно в замок.

Каким образом берет он оленя, уступая ему в размерах, будет сказано немного дальше. Ибо если уж обращаться к свидетельствам его хитроумия, то первым делом надо припомнить, как, поднявши ввысь черепаху, он высматривает годное местечко и бросает ее на камень, чтобы разбить панцирь и добраться до мяса. (Правда, в случае с Эсхилом орлиной верности глаза он не обнаружил — когда лысую голову поэта принял за белый камень и, выпустив из когтей черепаху, зашиб беднягу насмерть; уже это одно дает всем поэтам законное основание ненавидеть орла.) Теперь он так расправляется с черепахою постоянно и точно по праву, но в первый раз заманил ее хитростью, пообещав, будто с его помощью она выучится летать. Внушив ей такую надежду, он взмыл в небо и метнул черепаху на скалу, чтобы — по обычаю всех тиранов — чужое горе обратить в свое удовольствие. Но если поразмыслить, как разнообразны приемы, как многочисленны хитрости, обманы и уловки, при помощи которых государи обирают простой народ,— все эти прибыльные законы, пени, лживые звания, притворные войны, доносы, узы свойства — как бы не пришлось отказать орлу в царском имени.

Остается вкратце перечислить главных врагов этого высокородного разбойника. Ведь истинную правду гласит пословица: «Орел не ловит мух», и еще: «Орел не замечает древоточцев». Если добыча кажется недостойной царских когтей, орлы просто не замечают ее, разве что кто из них в родстве с Веспасианом, который считал благоуханной любую прибыль. Да, бывают и орлы-выродки, которые живут рыбною ловлей, или даже такие, которым не стыдно подбирать падаль. Но все, что духом повыше,— словно тираны, уступающие кое-что пиратам и грабителям, от которых (как объявил Александру Македонскому знаменитый пират) отличаются лишь тем, что владеют бóльшим флотом, верховодят бóльшими шайками и своим грабительством терзают бóльшую часть земного круга,— мелкую добычу оставляют коршунам да ястребам, а сами воюют с четвероногими, не без опасности, разумеется, но и не без надежды на победу, как и подобает отважному полководцу. Главным образом, как я уже сказал, орел охотится на зайца, откуда и прозвище одной из орлиных пород — «зайчатники»; так же точно мы называем полководцев: одного «Африканским», другого «Нумантинским». Хоть враг этот и робок и невоинствен, зато съедобен, так что если славы от такой победы и немного, зато пользы

немало. Но бывает иногда, что в разгар охоты на зайца охотник вдруг обращается в добычу, сраженный пернатою стрелкой и оправдывая пословицу: «Τοῖς ἰδίοις πτεροῖς ἐναποθνήσκω»[1].

Отваживается он и на схватку с оленем,— совершенно, впрочем, безнадежную, если бы не лисье лукавство: недостаток силы он восполняет хитростью. Перед боем он как следует вываляется в пыли, а затем, усевшись врагу на рога, хлещет оленя крыльями по морде и засыпает ему глаза пылью, покуда тот не ослепнет и не ринется вниз головой на утесы. Еще жарче и намного опаснее битва с драконом, которая, к тому же, происходит в воздухе. Дракон коварно выслеживает орлиные яйца. Орел, в свою очередь, где ни завидит врага, разит мгновенно.

Непримиримая его вражда с лисицею не удивит никого из тех, кому известно, какой царский прием оказала ему некогда лисица. Сперва они подружились — водой не разлить, а после, сидя на яйцах, орел оголодал и утащил детенышей соседки к себе в гнездо. Лисица вернулась домой, поглядела на следы жалкой и мучительной кончины своих лисенят и — единственное, что было в ее власти! — призвала в свидетели богов и среди них первым Юпитера-Фίλιον[2], отмстителя за поруганную дружбу. И, по-видимому, кто-то из богов внял ее молитвам. Несколькими днями спустя случилось так, что орел похитил мясо с жертвенника и вместе с мясом, сам того не ведая, принес в гнездо уголек. Когда же орел снова отлучился, ветер понемногу раздул пламя, и гнездо загорелось. Птенцы в ужасе выпрыгнули, хотя еще и не оперившиеся. Лисица их подобрала, отнесла в нору и сожрала. С той поры нет ни малейшего согласия между орлами и лисами, к немалому, надобно заметить, ущербу для лисьего племени. А впрочем — и поделом, пожалуй: ведь зайцы в свое время просили у них συμμαχίαν[3] против орла, а они отказали, как сообщают «Летописи четвероногих», из коих Гомер позаимствовал Βατραχομυομαχίαν.

И с коршуном у орла жестокий раздор — как с товарищем по ремеслу и соперником по прожорству; однако ж орел и более жесток, и более благороден, потому что питается только тем, что сам и убьет, и никогда по лености не сядет на падаль. Поползня он ненавидит по заслугам: чего только поползень не выделывает, стараясь разбить орлиные яйца. Сражается он и с цаплями: эта птица, надеясь на силу своих когтей, отваживается

---

[1] «От собственных перьев погибаю» *(греч.)*.
[2] Покровителя дружбы *(греч.)*.
[3] военного союза *(греч.)*.

нападать на орла и бьется до того горячо, что погибает в стычке. Не удивительно и то, что он не ладит с лебедем, птицею поэтов; удивительно другое — что существо столь воинственное нередко терпит поражение от лебедя. Поэтическое племя уже привыкло к монаршей немилости: у самодержцев совесть нечиста, а поэты своевольны и говорливы и нередко предпочитают отправиться вместе с Филоксеном в каменоломни, нежели промолчать. Если их что огорчило, свою горечь они изобразят чернилами на бумаге — и тайны царей разглашены во всеуслышание, даже перед потомством.

Нет у него мира и с журавлями, потому, на мой взгляд, что журавли — неизменные приверженцы демократии, которая самодержцам ненавистна как смерть. Но журавли сильнее орлов: когда, покидая Киликию, они готовятся пролететь над горами Тавра, где полным-полно орлов, то берут в клюв большие камни и, таким образом лишив себя голоса, ночью, в молчании благополучно минуют опасное место.

А вот вражда с птицею по имени трохил совсем особая. Она возникла, как сообщает прославленный любитель прогулок, единственно по той причине, что трохила тоже называют «царем» и βουληφόρος[1], главным образом — у римлян. Орел преследует его непримиримою ненавистью, словно бы он и в самом деле заявлял притязания на царство. Впрочем, трохил не из тех врагов, которых следовало бы опасаться орлу: он бессилен и робок, но не лишен ума и хитрости и потому прячется в кустарнике и в пещерах, так что другим птицам, хотя бы и более сильным, поймать его непросто. Когда-то давным-давно он состязался с орлом в быстроте и выиграл не столько благодаря силе, сколько лукавству.

Наконец, истребительную войну ведет он с кибиндом, такую ожесточенную, что часто, сцепившись, попадают в плен оба. Кибинд — это ночной ястреб. И тираны ни к кому не питают большей ненависти, как к тем, кто решительно расходится во мнениях с толпою и чересчур зорко видит в потемках. Но было бы отчаянною глупостью с моей стороны продолжать список всех его врагов, потому что он воюет со всеми подряд! И в иных сословиях живых существ одни воюют с другими, но у каждого есть и друзья. Много врагов у лисицы, но ворон ей приятель, и с его помощью она обороняется от птицы эсалона, разрывающей в клочья ее лисенят. Ладит лисица и со змеями, хотя кроликов любит совершенно так же, как они. Крокодил

[1] советником *(греч.)*.

враждует с ихневмоном, зато с трохилом в такой дружбе, что эта птичка беспрепятственно и безнаказанно разгуливает в самой пасти чудовища. И только у орла ни с единым положительно живым существом нет ни дружбы, ни близости, ни добрососедства, ни товарищества, ни мира, ни перемирия. Он враг всем, и все ему враги. Да, потому что не может не быть всеобщим врагом тот, кто живет и кормится всеобщей бедою. И, сознавая это, не на равнине вьет он себе гнездо, а среди отвесных скал или, иной раз, на макушке дерева, но только самого высокого, и, наверное, твердит про себя слова, любезные каждому тирану: «Пусть ненавидят, лишь бы боялись!»

Далее: у египтян священное существо — аист, и кто его убьет, рискует собственной головою, у римлян священны гуси, никто из британцев не причинит зла коршуну, иудеи щадят свиней, древние не охотились на дельфинов, и обижать их было запрещено, и даже если они причинят ущерб рыбакам, их наказывали всего несколькими ударами, точно малых детей; но против орлов повсюду в мире тот же закон, что против волков и тиранов,— кто умертвит общего врага, заслуживает награды. Итак, орел никого не любит и не любим никем, в точности как дурные государи, которые властвуют лишь себе на пользу и к великому урону для государства.

Обыкновенным же чувствам подобные великие сатрапы чужды до такой степени, что иногда и собственных детей любят лишь корысти ради, а еще чаще относятся к ним с подозрением и ненавистью. Столь свирепый зверь, как лев, отблагодарил своего благодетеля и в обмен за избавление от боли в лапе даровал избавление от смерти; этой истории верят почти все. Дракон, услыхав знакомый голос, примчался и спас своего кормильца; эта история внушает доверие очень многим. Аспид ежедневно приползал к одному и тому же столу, и, когда узнал, что один из его детенышей ужалил насмерть хозяйского сына, он убил собственного детеныша в отмщение за попранное гостеприимство и больше в тот дом со стыда не возвращался; эту историю рассказал Филарх, и многим она внушает доверие, Деметрий Физик счел необходимым ее записать, а Плиний упомянуть. Пантера услужливо указывала дорогу человеку, который вытащил из западни ее детенышей, пока не вывела его из чащобы на большую дорогу. Аристофан Грамматик влюбился в девушку Стефанополиду, и соперником его был слон; это сообщает Плутарх, как нечто общеизвестное, как пример, кочующий из одной ораторской речи в другую. У него же находим рассказ о драконе, без памяти любившем девушку Этолиду. Любовь дельфинов к лю-

дям— служба, которую они сослужили Ариону, или вынесенному на берег Гесиоду, или некоей девице с Лесбоса, спасенной вместе с возлюбленным, или мальчику, разъезжавшему взад-вперед по волнам,— не вызывает сомнений. Но в страсть орла к юной девушке не поверят даже те, кто всему верит. Его ненависть к людям предопределена судьбою; это можно понять хотя бы из того, что к Прометею, φιλανθρωποτάτῳ [1] среди богов, палачом на Кавказе был приставлен орел.

Но при всех этих пороках есть и черты, заслуживающие похвалы. Орлы величайшие хищники, но они не пьяницы и не похотливцы. Действительно, орел похитил Ганимеда, но для Юпитера, не для себя. А между нашими орлами нетрудно найти таких, которые похищают для себя, и не одного только Ганимеда, но и девиц, и мужних жен, и это еще непереносимее, чем грабежи, хотя и грабежи переносить совершенно невозможно.

Итак, разновидностям птиц нет числа, и одни, как, например, павлины, вызывают восторг богатством оперения и красок, другие, как, например, лебеди, замечательны снежною белизною, третьи, как, например, вороны, напротив, сверкают черным блеском, четвертые, как, например, страусы, всех превосходят размерами, пятые, как, например, фениксы, прославились сказочными чудесами, шестые, как, например, голубки, знамениты плодовитостью, седьмые, как, например, куропатки и фазаны, украшают столы важных господ, восьмые, как, например, попугаи, веселят нас своею болтливостью, девятые, как, например, соловьи, восхищают пением, десятые, как, например, петухи, отличаются особой отвагою, одиннадцатые, как, например, воробьи, рождаются людям на забаву; и тем не менее среди всех только орла сочли мудрецы пригодным для того, чтобы изобразить подобие государя, орла — не красивого, не певчего, не съедобного, но плотоядного, хищника, грабителя, разбойника, воинственного, одинокого, ненавистного всем, всеобщее наказание, способного причинить бездну вреда и, однако же, еще более зложелательного, чем зловредного.

Да и льву власть над царством четвероногих вручена не по иной какой причине, кроме лишь той, что нет зверя свирепее и гнуснее. Собаки годны на многое,но прежде всего на то, чтобы караулить имущество. Волы крестьянствуют. Кони и слоны воюют. Мулы и ослы перевозят тяжести. Обезьяна — прихлебатель. Дракон полезен хотя бы по той причине, что доказал пользу укропа для остроты зрения. А лев — тиран, и только,

[1] самому человеколюбивому *(греч.)*.

враг и пожиратель всех, огражденный от опасностей лишь силою и страхом, поистине царственное животное, так же как орел. По-видимому, это понятно людям, которые украшают благородные гербы львами с оскаленною, настежь распахнутою пастью и когтистыми, протянувшимися к добыче лапами. И, повидимому, зорче глядел Пирр, который радовался, что его называют «Орлом», чем Антиох, гордившийся прозвищем «Ястреб». Нет ничего удивительного в том, что лев царит над четвероногими, если среди поэтических богов самым подходящим для царского правления был признан Юпитер — нечестивый оскопитель и убийца родного отца, кровосмеситель, вступивший в брак с родною сестрой, прославивший себя столькими блудными связями, прелюбодеяниями, похищениями девиц и после всего этого еще устрашающий вселенную *κυανέοις ὀφρύσι καὶ φλοέντι κεραυνῷ* [1]. А государство пчел, где лишь царю отказано в жале, многие восхваляют, но подражать пчелам никто не хочет, так же, впрочем, как и Платонову государству.

Но возвращаюсь к орлу. За вышепоименованные столь царственные дарования, за столь выдающиеся заслуги перед всяким на Земле дыханием сенат и народ стихотворцев, во-первых, единогласно постановил величать орла «Царь надо всеми» и даже θεῖος, то есть «Божественный». Во-вторых, отвел ему вполне почетное место между светилами и отличил несколькими звездочками. И в-третьих, назначил на завидную у небожителей должность — подавать разгневанному Юпитеру оружие, которым тот сотрясает вселенную. А чтобы он мог исполнять свою должность без опасений, ему, единственному из живых существ, было определено не страшиться молнии, быть неуязвимым для молнии и смотреть на молнию тем же немигающим взором, каким глядит он на солнце. К этому мудрейшие и древнейшие римляне прибавили, чтобы среди знамен их легионов главенство принадлежало орлу, чтобы он для самих знамен был как бы знаменосцем, поднявшись даже над Волчицею, кормилицей римского племени, над Минотавром и кабаном, не самыми лютыми хищниками, поднявшись, наконец, и над конем. Знамена с изображениями этих четырех животных некогда следовали за орлом. Вскоре, однако, спутники наскучили ему, и он запретил им покидать лагерь и стал выходить на поле битвы один. Только орла, повторяю я, сочли римляне достойным украшать собою скипетры, знамена, печати, дома, одеяния, утварь, прислугу самодержавного властелина мира, хотя, если память мне не изме-

[1] иссиня-черными бровями и полыханием молнии *(греч.)*.

няет, Римская держава была основана гаданием по полету коршунов, а не орлов. А коллегия птицегадателей объявила о такой примете: на чью кровлю сядет орел или на чью голову уронит войлочную шапку, тому боги сулят верховную власть.

Вот тебе один из вождей. Перехожу теперь к навознику. Это животное (а впрочем, и не животное, пожалуй, потому что некоторых чувств ему недостает) из самого низшего разряда насекомых; греки называют его постыдным именем κάνθαρος, латиняне — «скарабей», наружность у него мерзкая, запах еще более мерзкий, но всего мерзее — жужжание; крылья прикрыты панцирем. Скажу более: весь скарабей — не что иное, как сплошной панцирь. Родится он в навозе, то есть в дерьме, в нем и живет, и пребывает, и услаждается, и развлекается. Главная его забота — скатывать шарики, как можно большего размера, с виду — словно бы благовонные лепешки, да только не из благовоний, а из навоза, всего лучше козьего: для него козье дерьмо — что майоран. Лепит он их, напрягаясь изо всей силы и пятясь, потому что задние лапки, которые у него длиннее передних, вскидывает поверх катышка, а голову опускает к земле. И если случится, что скарабеи толкают свой груз по склону какого-нибудь пригорка, и то и дело упускают шарики, и всё снова и снова сбегают за ними вниз, можно представить себе, будто видишь Сизифа, катящего свой камень. Они не знают ни усталости, ни отдыха и трудятся с неизменным усердием, пока не доберутся до норки. В таких катышках родились они сами, в них же выводят и потомство, укрывая детенышей, еще слабых и нежных, от зимней стужи.

Я не сомневаюсь, что навозный жук известен всякому, потому что попадается повсюду, кроме разве тех мест, где нет ни крупицы навоза. Но разные виды навозников между собою не схожи. Есть такие, у которых панцирь отсвечивает темною зеленью. Большинство пугает взор мерзкою чернотою. Попадаются очень крупные, вооруженные длинными рогами; концы рогов раздвоены и образуют клешни, которые в нужный миг захлопываются и кусают врага. Бывают и рыжие, тоже весьма крупные; они роют норки в сухой земле. Есть такие, что проносятся мимо с грозным жужжанием и ужасным шумом, так что любого несведущего могут испугать не на шутку. Существуют и другие наружные различия. Но у всех одно общее свойство: из навоза выходят они на свет, навозом питаются, в навозе их жизнь и радость.

Я уже предвижу, что какой-нибудь слишком горячий поклонник римских полководцев будет оплакивать участь орла:

столь царственной птице выпало иметь дело с противником столь презренным, столь худородным, что потерпеть от него поражение — величайший позор, а победа над ним не прибавляет славы ни на волос, меж тем как для врага более чем достаточной славою окажется сама борьба с орлом, даже если она завершится разгромом и бегством. Аякс у поэтов стыдится такого бессильного соперника, как Улисс, а орла заставляют биться с навозным жуком! Другой еще более изумится тому, откуда у этого ничтожнейшего насекомого столько дерзости и отваги, что он не побоялся затеять войну с самой воинственной из птиц. И далее: откуда у него средства, силы, припасы, союзники, чтобы столько лет вести военные действия?

Но ежели раскрыть силена, ежели разглядеть эту жалкую тварь поближе и как бы в ее дому, мы заметим в ней столько завидных дарований, что, все тщательно взвесивши, быть может, и себя самих пожелаем увидеть скорее навозником, чем орлом. Только пусть никто не перебивает меня и не спешит с возражениями, пока не выслушает до конца.

Прежде всего, уже в том преимущество навозного жука перед орлом, что он ежегодно сбрасывает с себя старость и молодеет. И это такое преимущество, что, по-моему, не один римский первосвященник, хоть ему и открыт прямой путь на небеса, поскольку ключ от небес в его руках, предпочел бы, когда настанет тягостная старость, полагающая предел всем удовольствиям, сбросить σῦφαρ[1] вместе с навозником, нежели менять тройную корону на семерную. Далее: в таком крохотном тельце какая крепость духа! какая героическая сила ума! какое упорство и целеустремленность! По сравнению со скарабеем Гомерова муха — ничто! Именно отсюда, если не ошибаюсь, прозвище «буйвол», которое носят некоторые из навозных жуков. А с буйволами и львы не вступают в драку с легким сердцем, что же тогда сказать об орлах?

И разум у навозника незаурядный, если не считать безосновательной старинную и повсюду известную греческую пословицу: καυθάρου σοφώτερος[2], которая, по-видимому, приписывает жуку редкостную, несравненную мудрость. И язвительные замечания насчет того, что, дескать, живет он не слишком опрятно и дом у него гнусный, меня нимало не смутят. Надо только освободиться от пошлого предрассудка, который тяготеет над нашими суждениями,— и окажется, что навозного жука не

[1] выползок, линовище *(греч.)*.
[2] мудрее навозного жука *(греч.)*.

за что презирать; кстати, это относится и к его наружности. Действительно, если верно учат философы, что та форма, которая зовется шаровидною, не только прекраснейшая, но и во всех отношениях наилучшая, и ни одна иная так не мила Демиургу, создавшему по ее образцу небо, бесспорно самую прекрасную из вещей нашего мира,— почему бы не считаться красивым навозному жуку, который к этой форме гораздо ближе, чем орел? И затем, если конь красив в своем роде, а собака в своем, как можно отказывать в подобной же красе навознику? Разве что обо всякой внешности будем судить применительно к собственной наружности? Но тогда все, несходное с человеческим образом, немедленно будет объявлено безобразным. Цвет навозника, я полагаю, никто порочить не станет: ведь он сообщает ценность некоторым самоцветам. Далее: если навозник употребляет себе на пользу кишечные выделения животных, так слава его разуму, а ничего преступного в этом нет! Как будто не то же самое делают врачи, которые не только обмазывают больных кишечными извержениями многих животных, а в равной мере и человека, но даже растворяют кал в целебном питье. И алхимикам, мужам поистине божественным, нисколько не стыдно пользоваться дерьмом для извлечения знаменитой «пятой сущности». Не стыдно и землепашцам, самому почтенному в прошлом роду людей, утучнять поля навозом. А есть племена, которым для украшения стен дома изнутри вместо гипса служит навоз. Тем же навозом, измельченным и высушенным на солнце, поддерживают огонь, будто дровами. Киприоты кормят своих быков человеческим калом, и не только кормят, но и лечат.

Но, возразят мне, этакий смрад ласкает ему обоняние! Глупо было бы, однако ж, требовать от навозного жука человеческого носа! Ведь это чисто человеческое качество — испытывать отвращение к запаху своего кала. Никому иному из живых существ оно не свойственно. Стало быть, скарабей не грязнее нас, а удачливее. Впрочем, и в людях дурное чувство вызывает не столько самый предмет, сколько общепринятое о нем мнение. Действительно, древним этот предмет казался совсем не таким гнусным, как нам, раз они называли его благоприятнейшим словом — «летáмен», то есть «радость». И богу Сатурну они не постеснялись дать прозвище «Навозного», бесспорно почетное, если верить Макробию. А Плиний сообщает, что Стеркут-Удермитель, сын Фавна, получил от того же предмета не только имя, но и бессмертие в Италии. В Греции тот же предмет доставил великую славу двум царям — Авгию и Геркулесу. Никогда не изгладится память о царственном старце, которого (как замечает

Цицерон в «Катоне») Гомер представил потомству собственноручно удобряющим почву тем самым добром, какое радует и скарабея. Если римского императора нисколько не оскорбляла вонь отхожего места, сочетавшаяся с прибытками, почему навозника может отпугнуть от столь завидных выгод столь ничтожное неудобство, которое, впрочем, и неудобством-то признать нельзя? И наконец, мы видим, что навозник и в дерьме чист, панцирь всегда сияет, а орел и в воздухе издает зловоние,— так кто же, спрашивается, из них опрятнее? Я даже считаю, что само имя κάνθαρος произведено от «καθαρός»;[1] можно, впрочем, выводить его и от слова «кентавр». А главное, не следует думать, будто скарабей грязен и скареден от природы и всякая роскошь ему противна: ведь он без памяти любит розы, неудержимо к ним тянется и рвется, если верить Плинию.

Если же кто сочтет эти дарования незначащими и заурядными, то, во всяком случае, любой признает и блистательным и великим, что с незапамятных времен скарабей числится среди священных изображений и упоминается в таинственных прорицаниях как самый верный символ выдающегося воителя. Как сообщает Плутарх в заметках «Об Изиде и Озирисе», образом царя в египетских иероглифических рисунках было око со скипетром, что обозначало, конечно, бдительность в соединении с правым и справедливым правлением, ибо в те времена, я полагаю, цари были еще именно таковы и мало чем походили на орлов. В Фивах, говорит он далее, находились некие изображения, лишенные рук: они представляли собою судей, которым надлежит быть как можно дальше от всякого соблазна взятки. А одно из них было, к тому же, и безглазым: оно обозначало главного судью, потому что ему надлежит быть свободным от всех решительно страстей и взирать только на дела, а не на лица. И вот среди священных изображений — а не среди куч на скотном дворе! — можно было видеть и скарабея, вырезанного на печати. На что же намекали нам мудрейшие богословы удивительным этим символом? На вещь поистине редкостную — на выдающегося и непобедимого военачальника. И это тоже сообщение Плутарха, а не моя выдумка,— по образцу невежественных богословов, частых сочинителей аллегорий.

Но человек простодушный и недостаточно сведущий спросит, вероятно: а что общего между военачальником и навозным жуком? Сходство громадное! Во-первых, погляди, как скарабей сияет оружием, как он весь, от макушки до пят, тщательно при-

[1] чистый *(греч.)*.

крыт панцирем и латами! Даже Маворс у Гомера вооружен не лучше, хотя поэт снабдил его самым полным доспехом. Прибавь боевой натиск, грозное жужжание, боевую песнь. Что тягостнее для слуха, чем звук трубы? Что ἀμουσότερον[1], чем грохот тимпанов? Голоса трубы, который ныне так радует слух царей, некогда не переносили бусириты, потому что он напоминал им рев осла, а ослы для этого народа были гнусною тварью. Прибавь терпение и трудолюбие в перекатывании тяжестей, несокрушимую твердость духа, презрение к жизни. Кроме того, говорят, что у скарабеев нет самок, одни только самцы. Что, скажите на милость, может более приличествовать доблестному полководцу? И еще одна подробность (ее сообщает тот же Плутарх) будет здесь очень уместна,— что в этих милых катышках, о которых говорилось выше, скарабеи и производят свое потомство на свет, и выкармливают его, и воспитывают, и выращивают. Мне эту загадку истолковать было бы не просто; легче объяснят ее императорские солдаты, которые знают, что такое ἐν ἀσπιδὶ ξενίζεσθαι, χαμευνείν[2], которые не раз во время осад терпели, нагие, жестокую стужу и еще более жестокий голод, которые горькое существование продлевали даже не корешками трав, но всякою гадостью и дрянью, которые по нескольку месяцев не сходили с кораблей. Если поразмыслить, как грязна эта жизнь, навозник будет чист и опрятен, если задуматься, как она несчастна, можно позавидовать и скарабею. Но не спешите со своим пренебрежением: таковы обстоятельства и участь самых прославленных императоров. Заодно я хотел бы выразить крайнее изумление: почему это наши пиргополиники предпочитают видеть на своих гербах,— в коих, как они уверены, заключена вся знатность без остатка,— леопардов, львов, псов, драконов, волков или иных животных, подсказанных ли случаем или выбранных по определенной причине, меж тем как подлинный их символ — навозный жук? Символ, не только в высшей мере сообразный, но и одобренный и освященный самою древностью, единственной родительницею знатности.

Упорнейшее презрение к навознику должно быть поколеблено у того, кто припомнит, как маги и лекари пытаются врачевать худшие недуги человека с помощью этого насекомого. Рога луканского жука (есть такая порода) не только носят в кошельке, но и на шею вешают, а иногда и в золото оправляют — против всех детских болезней. Да, среди чудодейственных це-

[1] грубее *(греч.)*.
[2] гостить на щите, спать на земле *(греч.)*.

лебных средств (я бы даже сказал «баснословных», если бы не авторитет Плиния) навозник имеет равную с орлом силу. Ведь ὁ δεινὸς ἐχεῖνος[1] скарабей, вырезанный в изумруде,— не из всякого дерева, по пословице, можно ваять Меркурия, так и не всякий самоцвет скарабей считает достойным своего лика,— изображенный, повторяю я, в изумруде, самом ясном и красивом из самоцветов, и повешенный на шею (но только непременно на шнурке из шерсти павиана или, на крайний случай, из ласточкина пуха), он служит верным средством против любой отравы, не менее верным, чем трава моли, которую некогда дал Улиссу Меркурий. Но не только в этом его сила: прекрасно действует он и тогда, если нужно обратиться с просьбою к государю. Стало быть, особенно важно надеть перстень со скарабеем, если ты решился просить у государя какую-нибудь доходную должность, архидиаконскую, к примеру, или архиерейскую. И тяжесть в голове он разгоняет — немалую, клянусь Юпитером, напасть, особенно для пьяниц. Так вот, что касается этих замечательных лекарств, мудрые маги не делают никакого различия между орлом и навозником. Но вправе ли кто глядеть свысока на самого скарабея, если даже каменное его изваяние обладает такою силою? Раз уже речь зашла о самоцветах, я прибавлю, что ежели орлу лестно слышать название камня «аэтит», то и здесь не уступит ему навозник, которому обязана своим именем кантариада. Она воспроизводит все обличие жука с такою дивною точностью, что можно подумать, будто видишь не изображение, но живого скарабея, заключенного в прозрачный камень.

И, наконец,— если это относится к делу,— родившийся из дерьма навозник прославлен не меньшим числом пословиц, нежели царь птиц. Если же кто из приверженцев орла возразит, что некогда у фиванцев (заметим, кстати, людей простых и грубых) ему воздавали божеские почести и что скарабею с ним не равняться, я особенно спорить не стану, а только напомню, что эти почести орел разделяет с крокодилами и павианами, даже с луком и бурчанием в животе, ибо египтяне поклонялись всякому подобному уродству. Но если пустое имя божества все же имеет какой-то вес, были свои верные и у скарабея.

Обоих вождей мы, худо ли, хорошо ли, описали. Теперь пора поведать причины столь ужасной войны.

Некогда на горе Этне орел преследовал зайца и уже парил над добычею, нацеливши когти, как вдруг заяц, и вообще-то робкий, а теперь полумертвый от страха, кинулся к ближайшей

[1] дивный этот *(греч.)*.

норе навозника, словно бы к убежищу. Ведь в отчаянном положении, в крайних опасностях ищут и чают защиты где угодно. А тот навозник был, говоря словами Гомера, ἠΰς τε, μέγας τε [1]. Рассказывают, что на той горе племя навозников необыкновенно рослое, отчего как раз и вошел в пословицу ὁ Αἰτναῖος κάνθαρος [2],— разумеется, за громадные размеры. Итак, прибежав к норе, заяц бросился навознику в ноги, обнял его колени и принялся умолять и заклинать, чтобы пенаты дома сего оборонили просителя от беспощадного врага. Уже и то немало польстило жуку, что есть, оказывается, существо, которое желает быть обязанным своею жизнью ему, навознику, и полагает возможным получить от него такое благодеяние. И еще: все люди обычно проходят мимо его норки с проклятьями и зажимая нос, а это существо сочло целесообразным явиться сюда в поисках спасения, словно бы к священному алтарю или к изваянию императора. Тотчас же взлетает навозник навстречу орлу и такою речью пытается утишить его ярость:

«Чем больше твоя мощь, тем более приличествует тебе щадить невинных. Не надо осквернять мой очаг пролитием невинной крови, дабы и твое гнездо никогда не изведало подобного несчастья. Благородному, царственному духу свойственно прощать даже недостойных. Мне, ничем не заслужившему твоей ненависти, да послужит на пользу уважение к жилищу, коего целость и неприкосновенность безусловно дозволяют законы, желает справедливость, одобряет обычай. Да послужит на пользу если не влиятельность заступника, то хотя бы его усердие.

Если навозный наш род презираешь и наше оружье,
Ведай, что боги тебе не забудут ни правды, ни кривды.
Если ж тебя нисколько не смущает оскорбление крова,

которое некогда узнаешь и ты, в свою очередь, почти хотя бы всемогущего Юпитера, которого ты единым поступком оскорбишь трижды. Этот заяц мой гость — ты оскорбишь Ξένιον [3], он молит о защите, и я молю тебя за него — ты разгневаешь Ἱκετήσιον [4]. Наконец, друг заступается за друга — ты оскорбишь Φίλιον [5]. Ты сам знаешь, что такое неотвратимый гнев

---

[1] огромен и славен *(греч.)*.
[2] навозник с Этны *(греч.)*.
[3] [Зевса] — Хранителя гостеприимства *(греч.)*.
[4] [Зевса] — Заступника просителей *(греч.)*.
[5] [Зевса] — Покровителя дружбы *(греч.)*.

Юпитера и как строго карает раздраженный Громовержец,— ведь ты подаешь ему оружие, когда он в неистовстве. Не все разрешает он своим домочадцам, не всегда уступает чувствам».

Многое еще намеревался высказать жук, но орел, небрежно махнув крылом, сбил его наземь. Зайца, попусту разливавшегося в мольбах, он безжалостно умертвил и растерзал на глазах у навозника и, растерзав, понес в безжалостное гнездо. Нисколечко не подействовали на него ни просьбы, ни угрозы жука, которых он, однако же, не отвергнул бы, если бы благоразумием был богат настолько ж, насколько силой и дерзостью; или если бы пришло ему на память, как в давние времена лев был избавлен от смертельной опасности мышью, и то, что едва могли даровать боги, случайно подарила тирану всех четвероногих ничтожная и презренная мышь; или если бы он подумал о муравье, который, в отплату за благодеяние, подарил жизнь голубке, искусав птицелову пятку. Нет существа настолько жалкого и низко поставленного, чтобы оно не было в состоянии при случае оказать помощь другу или навредить врагу, даже самому могущественному. Но в ту пору ничто подобное орлу в голову не пришло; он целиком был занят своею добычею.

Эта обида засела в груди у благородного скарабея глубже, чем можно было предполагать. Она не давала покоя возвышенному и титаническому духу; отсюда стыд, что в деле столь справедливом его влияние не возымело должного действия; отсюда жалость, что кроткое, ни в чем не повинное существо растерзано столь свирепо; отсюда негодование, что орел так грубо и так безнаказанно отмахнулся от него, имеющего, как ему представлялось, законное право на уважение. (Ведь никому собственное влияние не кажется чересчур легковесным.) К этому присоединялась мысль, что в будущем весь род навозников навсегда лишится всякого уважения, если однажды орлу сойдет невозбранно его наглость. Вот когда, еще не располагая возможностью отомстить, обнаружил навозный жук нечто царственное, а именно то, что сказал об Агамемноне и прочих царях Калхас:

«Εἴ περ γάρ τε χόλον γε καὶ αὐτῆμαρ καταπέφει,
Ἀλλά τε καὶ μετόπισθεν ἔχει κότον ὄφρα τελέσσει,
Ἐν στήθεσσιν ἑοῖσι» [1].

---

[1] «Вспыхнувший гнев он на первую пору хотя и смиряет,
Но сокрытую злобу, доколе ее не исполнит,
В сердце хранит» *(греч.)*.

Коротко говоря, он копил в сердце все уловки и хитрости, не обычную замышляя кару, но лелея в помыслах побоище и прямо-таки παvολεθρίαv [1]. Но искушать Марса нападением на самого орла, противника на редкость воинственного, он считал небезопасным; не потому только, что был слабее, но и потому, что Марс, бог глупый и вздорный, такой же слепец, как Плутос или Купидон, чаще всего благосклонен к неправому делу. Но даже если бы силы были равны, даже если бы защитники правого дела сражались успешнее, жук видел, что может уязвить орла больше и сытнее напитать свою ненависть местью, если живого и невредимого замучит насмерть долгою пыткой, уничтожив его потомство. Нет для родителей страдания тяжелее, чем страдание их детей. Иные не замечают самых жестоких требований собственного тела, но муки детей вынести не в состоянии. Жуку доводилось видеть, как с поразительным презрением к жизни бросаются в огонь ослы, спеша на выручку к ослятам; доводилось видеть примеры подобных порывов у многих животных. Он полагал, что и орел не чужд этому общему чувству. Вдобавок, рассуждал он, для всего навозного рода безопаснее, если такой упорный враг будет свален, как говорится, под самый корень. Наверное, он слыхал известную пословицу:

«Νήπιος, ὃς πατέρα κτείνας παίδας καταλείπει» [2]

Наконец, его щекотала смутная, но соблазнительная надежда, что, если все сойдет благополучно, то, сокрушив орла, он сядет на царство сам.

И поскольку скорбь прибавляет не только храбрости, но и разума, скарабей прилежно разведывает, в каком месте укрыл неприятель свою надежду на потомство. Выследив это, он обращается к Вулкану, с которым был в добрых отношениях,— по сходству цвета,— и просит выковать ему доспех, который и летать бы не мешал, и защищал бы от не очень сильных ударов. И вот Вулкан вооружает навозника с головы до пят оружием, которое тот носит и до сей поры; а прежде он был безоружен, наподобие мухи.

Гнездо орла находилось оттуда далеко, на высокой обрывистой вершине, громадное, надежно сплетенное из хвороста и соломы. Прилетел ли или приполз к нему мой замечательный навозник, точно неизвестно, но что прибыл, и прибыл без промедления, это точно. Некоторые утверждают, будто в тот миг,

---

[1] поголовное истребление *(греч.)*.

[2] «Лишь неразумный, отца истребивши, щадит ребятишек» *(греч.)*.

когда орел ударил его крылом, жук вцепился в какое-то перо, и орел, не подозревая ничего дурного, сам принес его в гнездо. И вот туда, куда даже люди (а нет на свете животных более коварных или более изобретательных на всяческие пакости!) не могли добраться, проник навозный жук. Он прячется в засаде среди соломы и, выждав удобный миг, выталкивает орлиные яйца из гнезда, одно за другим, до последнего. Яйца раскололись, несчастные птенцы, еще бесформенные, вывалились на камни, лишившись жизни прежде, чем успели ощутить ее вкус.

Но и этой столь суровою местью не насытилась досада скарабея. Существует самоцвет, из числа самых благородных, который греки называют «аэтитом» — по имени орла; он напоминает яйцо; мужской камень отличен от женского, в котором виднеется зародыш, весьма схожий с птенцом. Он на диво способствует разрешению от бремени, отчего и поныне его подносят роженицам, чтобы ускорить роды. Пару таких камней, мужской и женский, орел всегда кладет у себя в гнезде: иначе ему не снести яиц и, уж заведомо, не высидеть птенцов. И это сокровище навозник тоже вышвырнул из гнезда, чтобы и на будущее отнять у орла способность к рождению детей. Камни упали на острые скалы и разбились вдребезги.

Впрочем, и этого еще недостаточно разъяренному скарабею. Только тогда признает он горе врага тяжким, когда насладится его скорбью и жалобами. И вот он снова зарывается глубоко в солому.

Прилетает орел — и видит небывалое бедствие, видит свою плоть, растерзанную в клочья, видит неоценимую утрату благородных самоцветов, и жалуется, и клекчет, и кричит, и визжит, и рыдает, и зовет в свидетели богов, и орлиными своими очами, которым скорбь придала еще более остроты, высматривает вокруг могучего врага. Кто угодно мог прийти ему на ум, кроме того презренного навозника! И страшные угрозы, страшные заклятья шлет он виновнику своей горчайшей беды. Понимаешь ли ты, читатель, какое наслаждение испытывала в этот час душа навозника?

Что было делать бедному орлу? Снова пришлось отправляться на Острова Блаженных,— ибо лишь там добывают аэтит,— искать другую пару самоцветов. Гнездо он переносит в иное место, намного более высокое и уединенное; снова кладет яйца. Но и сюда совершенно таким же образом пробирается неведомый враг: все разоряет, прежнюю трагедию повторяет от начала и до конца. И снова переселяется орел — в еще более

надежный замок; обзаводится другими аэтитами, кладет другие яйца. И снова навозник тут как тут.

Нет ни меры, ни конца этому бегству и этой погоне, пока царь пернатых, изнуренный столькими несчастьями, не решает, как говорится, бросить священный якорь и, отчаявшись в собственных силах, искать защиты у царя богов. Приступает он к Юпитеру, излагает трагедию своих бедствий, рассказывает про неприятеля, такого могущественного и — что всего тяжелее — неведомого, так что даже возможность отомстить отнята у страдальца. Но дело идет не только о его гибели, прибавляет орел, дело касается и самого Юпитера: если враг не уймется — погибнет придворная должность, дарованная Юпитером, придется менять оруженосца, а ведь это что-нибудь да значит — привычные и знакомые слуги, хотя бы даже в случае с новым виночерпием замена и оказалась весьма приятной. Юпитер был тронут горестным положением своего прислужника, тем более что недавнее похищение Ганимеда было еще свежо в памяти. Он велит орлу положить яйца ему за пазуху: если уже и там они не сохранятся, то, стало быть, не сохранятся нигде. Орел сносит яйца и последнюю свою надежду слагает за пазухою у верховного бога, заклиная его теми блаженнейшими яйцами, что снесла ему Леда, добросовестно исполнить долг хранителя.

Но чего только не исполнит упорная боль души? Боюсь, как бы дальнейшее не показалось кому-нибудь совершенно невероятным. К самой твердыне верховного Юпитера подлетает непобедимый скарабей,— быть может, не без помощи какого-то благосклонного божества,— и роняет ему за пазуху навозный катышек, нарочито для этого припасенный. Юпитер к грязи непривычен: ведь обитает он в самой чистой части мира и безмерным расстоянием отделен от земной пакости. Почуяв мерзейшую вонь, он старается вытряхнуть навоз из-за пазухи и ненароком выбрасывает орлиные яйца, которые, упав с такой высоты, конечно, погибли еще прежде, чем коснулись земли. Только так наконец и узнали многократного убийцу, и именно это добавило последнюю каплю к радости скарабея: он был счастлив, что его узнали. Напротив, для орла, который услышал обо всем от самого Юпитера, новым и очень тягостным огорчением оказался столь презренный виновник его бедствий, ибо немалым утешением служит и то, если верх над тобою взял великий противник.

Тут, словно бы сызнова, началась между ними ужасная война. Орел повсюду, где только ни заметит навозное племя, губит его, истребляет, сокрушает, расточает. В свою очередь, и навозник напрягает все силы, чтобы извести орла. Разбои, за-

сады, убийства без остановки, без передышки; и казалось, что покой настанет лишь тогда, когда оба народа будут уничтожены поголовно,— после Кадмейской, как мы бы выразились, победы. Одолеть жук не мог, а уступить не умел.

Наконец Юпитер, видя, какое опасное складывается положение, решает вмешаться и пытается частным образом примирить враждующих. Но чем больше пытается, тем сильнее взаимная ненависть, жарче гнев, ожесточеннее битвы. Нет сомнения, что в сердце бог сочувствовал орлу, но в то же время его смущало, что если кому бы то ни было сойдет безнаказанным пренебрежение к Ἱκετήσιον, Φίλιον или Ξένιον, это будет до крайности вредным примером на будущее. А потому он поступил так, как всегда поступал в чрезвычайных обстоятельствах,— созвал богов на совет. После краткого вступления он изложил суть дела, а затем глашатай Меркурий объявил об открытии прений. Собравшиеся высказывались один за другим. Симпатии разделились. Боги попроще и пониже поддерживали навозника, а из высших божеств за него всей душою была Юнона, настроенная к орлу неприязненно из-за Ганимеда. В конце концов приняли такое постановление (Меркурий громко его огласил, а Вулкан запечатлел на меди):

«Навознику и орлу вести вечную войну по собственному усмотрению;

Какой бы ущерб каждая из сторон ни понесла, исков по этому случаю не вчинять, все относя на счет войны;

Все, приобретенное грабежом, остается во владении приобретателя по праву войны;

Лишь одно не угодно богам — истребление любого из народов.

Посему в продолжение тридцати дней, когда орел высиживает яйца, враждующим воздерживаться от боев и соблюдать перемирие;

В продолжение этого времени навознику воспрещается появляться в общественных местах, дабы к голоду и трудам высиживания не присоединялось у орла чувство досады, связанное с войною».

И еще от себя Юпитер определил (хотя некоторые и возражали):

«Справедливо на необъятных просторах Земли выделить хоть малый уголок, который служил бы прибежищем моему прислужнику и где он был бы в безопасности от набегов скара-

бея. Никаких новшеств при этом я не ввожу. Есть места, которые неведомы волкам; есть места, недоступные ядам и отравам; есть места, где не живут кроты. Вот и я отмерю несколько югеров во Фракии близ Олинфа, и если туда каким-либо образом, волей или неволею, нарочно или ненароком, ступит лапкою скарабей, да будет он предан смерти. И выйти, однажды вступивши, да не будет ему дозволено, но да терзается он мукою, покуда не испустит дух. Имя этому месту нарекается Канфаролефр, дабы само название предупреждало навозника, что он погиб, ежели, вопреки нашему постановлению, дерзнет туда вторгнуться. А дабы никто не счел бесчеловечным, что Олинф закрыт для навозника, орел отныне изгнан с Родоса».

Так он сказал и кивнул — и Олимп всколебался великий,

и все собрание богов задрожало. И до нынешнего дня сохраняет силу это постановление, и сохранит навсегда. Война не на живот, а на смерть между навозником и орлом продолжается, но в те дни, когда орел высиживает птенцов, сынов скарабеевых не увидишь нигде. Место, отведенное Юпитером, они обходят с величайшим тщанием, а если принесешь туда навозника, он тут же издохнет. Свидетельствует об этом,— если кто станет искать свидетеля,— Плиний в XXVII главе Книги одиннадцатой; и еще один автор, более почтенный,— Плутарх, в заметках «О безмятежности духа».

Но я прекрасно знаю, любезный читатель, что ты уже давно недоумеваешь и спрашиваешь себя: «Что это с ним? По какому случаю намолол он столько вздора? И даже не из мухи делает слона, как говорится, а из навозника — гиганта! Как видно, мало ему хлопот со всеми этими тысячами пословиц,— не успокоится, покуда не заморит нас, вдобавок, нестерпимо многословными баснями!» Сейчас я все объясню. Поскольку у каждого свое мнение, есть люди, которые мои объяснения к пословицам считают скудными и постными. На их вкус, только одно замечательно — если растянешь книгу до бесконечности. Вот им-то мне и хотелось показать, что я краток умышленно, но что недостатка в средствах для раскрашивания и расцвечивания у меня нет, да только цель у меня другая — помочь читателю, а не похвастаться изобилием в речах.

Но пора наконец вернуться к пословицам.

Эту басню поминает комедиограф Аристофан ἐν Εἰρήνῃ[1], и вот в каких выражениях:

[1] В «Мире» *(греч.)*.

«Ἐν τοῖσι Αἰσώπου λόγοις ἐξευρέθη
Μόνος πετεινῶν εἰς θεοὺς ἀφιγμένος.
Ἄπιστον εἶπας μῦθον, ὦ πάτερ πάτερ,
Ὅπως κάκιστον ζῶον ἦλθεν εἰς θεούς.
Ἦλθεν κατ' ἔχθραν αἰετοῦ πάλαι ποτέ,
Ὃ ἐκκυλίνδων κἀντιτιμωρούμενος».

То есть:

«(Т р и г е й)

Не знаешь? В баснях у Эзопа сказано,
Что из крылатых жук один небес достиг.

(Д е в о ч к а)

Отец, отец, невероятно все-таки,
Чтобы богов достигла тварь вонючая.

(Т р и г е й)

С орлом враждуя, жук когда-то в небо взмыл
И там разворошил гнездо орлиное,
Ответной кары ожидая от орла».

Притча внушает, что нельзя презирать врага, даже самого ничтожного. И правда, есть людишки совсем ничтожные, но злобные, такие же черные, как навозники, и такие же гнусные и докучливые, и такие же презренные; пользы от них никому из смертных не может быть ни малейшей, а упорной своею злокозненностью они часто умудряются причинять неприятности даже и высоким особам. Они запугивают чернотою, оглушают жужжанием, дурманят смрадом, кружат неотступно подле, строят козни, так что намного лучше враждовать с большими людьми, чем раздразнить этих скарабеев, которых и побеждать-то неловко, и отогнать невозможно, и борьба с которыми непременно тебя же опоганит и замарает.

В ПОИСКАХ ПРИХОДА

Памфаг. Коклит

Памфаг. Либо в глазах у меня туман, либо я вижу Коклита, старого своего собутыльника.

Коклит. Нет, глаза тебя не обманывают: перед тобою закадычный твой друг. Никто уж и не чаял, что ты вернешься,— ведь столько лет тебя не было, и ни одна живая душа не знала, в каких ты краях. Откуда ж теперь? Скажи, сделай милость.

Памфаг. От антиподов.

Коклит. Скорее, по-моему, с Островов Блаженных.

Памфаг. Как приятно, что ты узнал друга. А я боялся, как бы мое возвращение не было похоже на возвращение Улисса.

Коклит. А что с ним случилось, с этим Улиссом?

Памфаг. Жена и та его не узнала. Только собака, совсем уже старая, признала хозяина и вильнула хвостом.

Коклит. Сколько лет он пробыл в отсутствии?

Памфаг. Двадцать.

Коклит. А ты еще больше, и все-таки твое лицо сразу мне показалось знакомым. Но кто же это рассказывает про Улисса?

Памфаг. Гомер.

Коклит. А-а, как про него говорят, отец всяческих вымыслов! А может, супруга тем временем приискала себе

другого быка и потому как раз и не узнала своего Улисса?

Памфаг. Наоборот — чище ее на свете не было и нет! Просто Паллада прибавила Улиссу возраста, чтобы его не признали.

Коклит. Но в конце-то концов признали?

Памфаг. Да, по бугорку на пальце ноги. Его заметила нянька, ветхая старуха, когда мыла гостю ноги.

Коклит. Подумать только, настоящая ламия. А ты дивишься, что я узнал тебя по твоему приметному носу!

Памфаг. Я своим носом вполне доволен.

Коклит. Еще бы тебе быть недовольным таким орудием, годным на любую потребу!

Памфаг. На какую ж именно?

Коклит. Во-первых, гасить свечи, словно бы рогом.

Памфаг. Дальше.

Коклит. Потом, если надо вычерпать влагу из глубокой впадины, он будет тебе наместо хобота.

Памфаг. Вот те раз!

Коклит. Если будут заняты руки, обопрешься на него, как на посох.

Памфаг. И это всё?

Коклит. Нет. Раздуешь им жаровню, если не случится под рукою мехов.

Памфаг. Отлично рассказываешь. Еще что?

Коклит. Если солнце помешает писать, он послужит тебе зонтом.

Памфаг. Ха-ха-ха! Ты уж все выложил?

Коклит. В морском бою послужит багром.

Памфаг. А в сухопутном?

Коклит. Щитом.

Памфаг. А еще?

Коклит. Придет нужда расколоть дерево — он будет клином.

Памфаг. Дельно.

Коклит. Ты станешь герольдом — он трубою, ты горнистом — он горном, ты землекопом — он заступом, ты жнецом — он серпом, ты мореходом — он якорем. На кухне он будет вилкою, за рыбною ловлею — крючком.

Памфаг. Однако мне повезло! Я и не знал, что ношу с собою такую снасть, годную на все случаи жизни.

Коклит. Какой же все-таки уголок земли тебя приютил?

Памфаг. Рим.

Коклит. У всех на глазах — и никто не знал, что ты жив! Как это могло случиться?

Памфаг. Именно у всех на глазах и пропадают порядочные люди, так что часто средь бела дня на битком набитой площади никого не увидишь.

Коклит. Стало быть, ты возвращаешься к нам, нагруженный приходами?

Памфаг. Охотился-то я с усердием, но Делия была не слишком милостива. А все оттого, что там большею частью рыбку ловят, как говорится, золотым крючком.

Коклит. Глупо.

Памфаг. И тем не менее кое у кого получалось прекрасно. Но, конечно, не у всех.

Коклит. Разве не явные глупцы те, кто золото променивает на свинец?

Памфаг. Ты не понимаешь, что в освященном свинце таятся золотые жилы.

Коклит. Так что же, ты вернулся к нам прежним Памфагом-Прожорою?

Памфаг. Нет.

Коклит. Кем же?

Памфаг. Волком с разинутою понапрасну пастью.

Коклит. Лучше бы вернуться ослом, изнемогающим под грузом приходов. Но почему приход ты предпочитаешь жене?

Памфаг. Потому что мне люб покой, нравится эпикурейская жизнь.

Коклит. На мой взгляд, слаще живет тот, у кого под боком молодая и милая женка, и он обнимается с нею, когда захочет.

Памфаг. Только прибавь: иной раз — и когда не захочет. А я люблю удовольствие беспрерывное. Кто взял жену, счастлив один месяц; кому достался богатый приход, наслаждается и радуется всю жизнь.

Коклит. Но одиночество печально! Даже Адаму в раю было бы не сладко, если б господь не соединил его с Евою.

Памфаг. Был бы приход побогаче, а Ева всегда найдется.

Коклит. Но тебе ведомо, что удовольствие не в удовольствие, если оно сопряжено с дурною славою и нечистой совестью.

Памфаг. Ты прав, и потому я намерен разгонять печаль одиночества, беседуя с книгами.

Коклит. Да, приятнее этих друзей нет. Но вернешься ли ты к своей рыбной ловле?

Памфаг. Вернусь, если удастся раздобыть новую наживку.

Коклит. Золотую или серебряную?

Памфаг. Хоть какую из двух.

Коклит. Не сомневайся — отец даст тебе все, что нужно.

Памфаг. Он страшный скряга! Да и не поверит он в другой раз, когда узнает, что я не сберег его денег.

Коклит. Таков уж закон игры.

Памфаг. Но он в эту игру не играет.

Коклит. Если он не даст, я укажу тебе, откуда можно взять столько денег, сколько сам пожелаешь.

Памфаг. Какая радость! Указывай скорее, у меня уже сердце прыгает.

Коклит. Пожалуйста, когда угодно.

Памфаг. Ты нашел клад?

Коклит. Если бы нашел, то для себя, не для тебя.

Памфаг. Наскрести бы сотню дукатов — и надежда оживет.

Коклит. Да я тебе показываю, откуда можешь позаимствовать хоть сотню тысяч!

Памфаг. Что же ты меня не осчастливишь? Не томи меня дольше! Говори, откуда!

Коклит. Из Будеева «Асса». Там найдешь неисчислимые мириады, хочешь в золотой монете, хочешь в серебряной.

Памфаг. Поди-ка ты со своими шутками сам знаешь куда! А из той сокровищницы я уплачу тебе свой долг.

Коклит. Конечно, но ровно столько, сколько я тебе сперва из нее же и отсчитаю.

Памфаг. Теперь я вижу, что ты просто зубоскал.

Коклит. Что ж, у кого нос, а у кого и зубы.

Памфаг. Шутить в важном деле — это зубоскальство, и ничего больше. Тут впору скрежетать зубами, а не скалиться. Будь ты на моем месте, ты б не шутил. А ты из меня делаешь посмешище.

Коклит. Да я и не думаю насмехаться! Я говорил от души и спроста.

П а м ф а г. Спроста! Врешь — и не покраснеешь, и глазом не моргнешь. Но мне бы не мешкать, а отправляться домой— узнать, как там и что.

К о к л и т. Застанешь очень много нового.

П а м ф а г. Это понятно. Главное — чтобы ничего огорчительного!

К о к л и т. Желать никому не возбраняется, да только ни у кого еще не сбывалось такое желание.

П а м ф а г. Вот еще какую пользу принесет каждому из нас путешествие: после приятнее будет дома.

К о к л и т. Не уверен. Я вижу, как люди ездят в Рим и по семь раз. Эта чесотка, если уж нападет, так зудит и зудит — без конца.

ХОЗЯЙСКИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Рабин. Сир

I

Р а б и н. Эй, ты, висельник, я уже охрип от крика, а ты все не просыпаешься! Мне кажется, тебе впору состязаться с тою тварью, что зовется соней. Или быстрее вставай, или я дубиною выбью из тебя сон! Когда ж ты наконец проспишь вчерашний хмель? Неужто не стыдно тебе, сонливец, храпеть среди бела дня? У добрых слуг заведено подняться до зари да позаботиться, чтобы хозяин чуть глаза открыл — а уж все готово! Насилу расстается с нагретым гнездом, кукушка! Пока чешет голову, пока потягивается, пока зевает — целый час пройдет.

С и р. Да едва рассвело.

Р а б и н. Ну разумеется! По-твоему, так еще глубокая ночь!

С и р. Что велишь делать?

Р а б и н. Разожги жаровню. Отряхни шапку и плащ. Оботри башмаки и туфли. Штаны выверни наизнанку и сперва вычисти щеткой изнутри, потом снаружи. Освежи воздух каким-нибудь курением. Засвети лампу. Перемени мне рубаху, грязную выстирай и высуши над огнем, да смотри дымом не закопти.

С и р. Ладно.

Р а б и н. Да двигайся ты поживее! Другой на твоем месте все бы уже сделал.

С и р. Двигаюсь.

Р а б и н. Вижу, что двигаешься. А вперед нисколько не подвигаешься. По-черепашьи.

С и р. «Не могу одновременно дуть и втягивать в себя!»

Р а б и н. Он еще пословицами изъясняется, кровопийца! Вынеси горшок. Прибери постель, раздвинь занавеси. Подмети прихожую, подмети пол в спальне. Принеси воды умыть руки. Что ты копаешься, осел? Год тебе надобен, чтоб свечу зажечь!

С и р. Едва нашел уголек.

Р а б и н. Так, стало быть, вчера запрятал.

С и р. И меха у меня нет.

Р а б и н. Как он спорит, бездельник! А легкие тебе на что даны?

С и р. Какой властный у меня хозяин! Столько наприказывал, что и десятку слуг разом не справиться.

Р а б и н. Что ты там говоришь, медлитель?

С и р. Ничего. Все в порядке.

Р а б и н. Мне разве послышалось, как ты что-то бормочешь?

С и р. Это я молюсь.

Р а б и н. «Отче наш», поди, коверкаешь. Или «Молитву господню» уродуешь. А про власть что ворчал?

С и р. Молюсь, чтобы господь даровал тебе императорскую власть.

Р а б и н. А я — чтобы он из болвана сделал тебя человеком. Проводи меня в церковь. Потом бегом домой. Все расставь по местам. Дом пусть так и сияет чистотою! Горшок чтобы блестел! Всякую неопрятность — с глаз долой: меня может навестить кто-нибудь из придворных. Если замечу какое упущение, будешь избит, как пес!

С и р. Да уж я хорошо знаю твою доброту.

Р а б и н. А коли знаешь, так берегись.

С и р. Но ты еще ни словом не обмолвился насчет завтрака.

Р а б и н. Вот что у него на уме, у висельника! Нынче утром я дома не ем. В десятом часу прибежишь ко мне и отведешь туда, где я буду завтракать.

С и р. Тебя там накормят, а у меня здесь вовсе нет еды.

Р а б и н. Нет еды — зато есть аппетит.

С и р. Аппетитом еще никто сыт не бывал.

Р а б и н. А вот хлеб!

С и р. Да, но какой? Черный, с отрубями!

Р а б и н. Подумайте, что за неженка! Ты бы сено должен жевать — вот пища, которой ты заслуживаешь. Или тебя, осла этакого, пирогами прикажешь потчевать? Коли один хлеб в глотку не идет, прибавь порея или, ежели угодно, луку.

II

Р а б и н. Ступай на рынок.

С и р. В такую даль?

Р а б и н. До рынка три шага, но для тебя, ленивца, это две мили. Погоди, я вылечу тебя от лени! Поручений даю много — считай по пальцам, чтобы лучше запомнить. Первым делом завернешь к портному и возьмешь от него сборчатый камзол, если платье уже готово. Потом поищешь Корнелия, гонца. Он большею частью пьянствует в «Олене». Спросишь, нет ли писем для меня и когда он собирается в дорогу. Потом зайдешь к булочнику и от моего имени попросишь не беспокоиться, что я не прислал денег к назначенному сроку,— в ближайшее время будет уплачено.

С и р. Когда? В греческие календы?

Р а б и н. Насмехаешься, обжора? Нет, еще до мартовских календ! На возвратном пути свернешь влево и узнаешь у книгопродавца, нет ли новых книжек из Германии. Выясни, какие именно и по какой цене. После этого попросишь Гокления пожаловать к моему столу — иначе, дескать, хозяин будет обедать в одиночестве.

С и р. Еще и гостей зовешь? Да у тебя в доме мышь и ту нечем накормить!

Р а б и н. Вот ты и зайди к мяснику, когда исполнишь остальное, и купи нам баранью лопатку. И отменно ее зажаришь. Все слышал?

С и р. Больше, чем хотелось бы.

Р а б и н. Да смотри ничего не забудь.

С и р. Хорошо, если половину упомню.

Р а б и н. Ты еще здесь, медлитель? Другой бы на твоем месте уже вернулся!

С и р. Кто может справиться один с такою уймою дел? Я проводи, я и встреть. Я ему и за метельщика, и за горшконоса, и за скорохода, и за штопальщика, и за виночерпия, и за книгоношу, и за счетовода, и за мальчика на побегушках, и даже за цепного пса! А теперь надо стать еще и поваром — иначе он скажет, что у меня слишком много досуга.

ПЕРЕД ШКОЛОЮ

I

Сильвий. Иоганн

Сильвий. Почему ты бежишь сломя голову, Иоганн?

Иоганн. Шкуру свою спасаю, как говорится.

Сильвий. При чем здесь шкура?

Иоганн. А при том, что если я не поспею вовремя,— пока еще не прочли список,— с меня не одну, а семь шкур спустят.

Сильвий. Ну, тогда тебе не о чем тревожиться. Пятый час едва миновал. Взгляни на часы: стрелки еще не коснулись отметки между пятым и шестым.

Иоганн. Не очень-то я верю часам — врут они постоянно.

Сильвий. Хорошо, поверь мне: я слышал голос колокола.

Иоганн. И что же он говорил?

Сильвий. Пробил пять.

Иоганн. Но есть и еще причина для страха. Надо прочитать на память вчерашний урок, очень длинный, а я едва ли сумею.

Сильвий. Эта опасность не твоя, а общая. Я тоже помню урок неважно.

Иоганн. А ведь ты знаешь, какой свирепый у нас учитель. Он бы каждую провинность карал смертью. Так отхлещет, словно бы зады наши обтянуты бычьею кожей.

Сильвий. Но его не будет в школе.

Иоганн. А кого он оставил вместо себя?

Сильвий. Корнелия.

Иоганн. Этого косоглазого? Бедные наши ягодицы! Он до того драчлив, что и самого Орбилия посрамит.

Сильвий. Да, правда, и я часто молюсь, чтоб у него рука отнялась.

Иоганн. Это нехорошо — проклинать учителя. Скорее самим надо остерегаться, чтобы не попасть в лапы к тирану.

Сильвий. Давай почитаем друг другу. Один будет говорить, другой — следить по книге.

Иоганн. Прекрасная мысль!

Сильвий. Успокойся, соберись с духом. Страх отшибает память.

Иоганн. Я бы легко стряхнул с себя робость, да ведь опасность какая! В этакой крайности кто сохранит присутствие духа?

Сильвий. Конечно. Но все же рискуем мы не головою, а как раз противоположною частью.

II

Корнелий. Андрей

Корнелий. Водить пером ты умеешь, но у тебя бумага протекает: влажновата она, вот чернила и расплываются.

Андрей. Пожалуйста, очини мне это перо.

Корнелий. Ножа перочинного нет.

Андрей. Вот, возьми.

Корнелий. Да он совсем иступился.

Андрей. На тебе точильный камушек.

Корнелий. Как ты любишь писать — чтоб острие потверже было или помягче?

Андрей. Примеряй по своей руке.

Корнелий. Мне нравится помягче.

Андрей. Пожалуйста, напиши мне все буквы по порядку.

Корнелий. Греческие или латинские?

Андрей. Сперва попробую списать латинские.

Корнелий. Ладно. Давай бумагу.

Андрей. Бери.

Корнелий. Но у меня чернила слишком жидкие, оттого что воду часто подливал.

Андрей. А у меня листок совсем высох.

Корнелий. Ну, так высморкайся на него, а если хочешь — пописай.

Андрей. Нет, нет, я сейчас у кого-нибудь попрошу.

Корнелий. Лучше иметь дома свое, чем просить об одолжении.

Андрей. Что такое школьник без пера и чернил?

Корнелий. То же, что воин без меча и щита.

Андрей. Эх, были бы у меня пальцы такие же проворные!.. А то я не поспеваю за учителем, когда он диктует.

К о р н е л и й. Главное — это чтобы писать хорошо, а уж потом — чтобы скоро. Если достаточно хорошо,— значит, и достаточно быстро.

А н д р е й. Отлично сказано. Только песенку эту — насчет «хорошо» и «скоро» — ты спой учителю за диктовкою.

ПОКЛОННИК И ДЕВИЦА

Памфил. Мария

П а м ф и л. Здравствуй, жестокая, здравствуй, железная, здравствуй, адамантовая!

М а р и я. Здравствуй и ты, Памфил,— столько раз, сколько сам пожелаешь, и под каким угодно именем. А вот мое имя ты, кажется, позабыл. Меня зовут Марией.

П а м ф и л. А надо бы зваться Марсией.

М а р и я. Это еще почему, скажите на милость! Что общего у меня с Марсом?

П а м ф и л. А то, что и Марсу убийство в забаву, и тебе тоже. Только ты еще бессердечнее: губишь всех подряд, даже людей, которые тебя любят.

М а р и я. Вот тебе и раз! Да где они, эти груды трупов? Где кровь убитых?

П а м ф и л. Один бездыханный труп и сейчас перед тобою: взгляни-ка на меня.

М а р и я. Что я слышу? Мертвый разговаривает и ходит? О, если бы страшнее тебя привидений мне не суждено было встретить на моем веку!

П а м ф и л. Ты еще шутишь, а между тем отнимаешь у несчастного жизнь, и куда более жестоко, чем если бы пронзила его копьем. Увы, я весь истерзан долгою пыткой.

М а р и я. Эй, призрак, отвечай, сколько беременных выкинули от страха, повстречавшись с тобою?

П а м ф и л. Разве бледность моя не свидетельствует, что я мертвее загробной тени?

М а р и я. Но твоя бледность цвета левкоя. Ты такой же бледный, как поспевшая вишня или виноград, налившийся багровым соком.

П а м ф и л. Как бесстыдно насмехаешься ты над несчастным!

М а р и я. Если мне не хочешь верить, поглядись в зеркало.

П а м ф и л. Не надо мне другого зеркала: то, в которое я смотрюсь,— по-моему, самое ясное, яснее не сыщешь.

М а р и я. О чем ты толкуешь?

П а м ф и л. О твоих глазах.

М а р и я. Остер, как всегда! Но как ты докажешь, что ты мертвец? Разве тени едят?

П а м ф и л. Едят, да только вкуса не чувствуют. Вот и я так же точно.

М а р и я. Чем же они питаются?

П а м ф и л. Мальвою, пореем да волчьими бобами.

М а р и я. Но ведь ты и от каплунов, и от куропаток не отказываешься?

П а м ф и л. Да, но радости моему нёбу они доставляют не больше, чем если бы я жевал мальву или свеклу без перца, вина и уксуса.

М а р и я. И за всем тем такой толстячок? Ах ты, бедняга! А разве мертвые разговаривают?

П а м ф и л. Так, как я,— чуть слышным голосом.

М а р и я. Но когда ты недавно поносил своего соперника, слышно было совсем недурно. Но скажи, пожалуйста, разве тени разгуливают взад-вперед, одеваются, спят?

П а м ф и л. И даже не в одиночестве, а друг с дружкой, только на особый лад.

М а р и я. Ну и болтун!

П а м ф и л. А если я Ахилловыми доводами докажу и то, что я мертвец, и то, что ты убийца?

М а р и я. Избави боже! А впрочем — приступай к своему софизму.

П а м ф и л. Во-первых, я надеюсь, ты уступишь мне в том, что смерть — это не что иное, как отделение души от тела.

М а р и я. Уступаю, получай.

П а м ф и л. Но так, чтобы подаренного обратно не требовать!

М а р и я. Конечно, нет.

П а м ф и л. Далее. Ты не станешь отрицать, что если кто отнимет у другого душу, он убийца.

М а р и я. Согласна.

П а м ф и л. Согласись еще и с тем, что сказано у самых почтенных авторов и подкреплено суждением стольких веков,— что душа человеческая не там, где она животворит, а там, где любит.

М а р и я. Это объясни попроще: я не совсем тебя понимаю.

П а м ф и л. И тем, стало быть, я несчастнее: ты и здесь мыслишь и чувствуешь иначе, чем я.

М а р и я. А ты заставь, чтобы одинаково.

П а м ф и л. Сперва заставь чувствовать адамант.

М а р и я. Я же все-таки девушка, а не камень!

П а м ф и л. Верно, но тверже адаманта.

М а р и я. Однако продолжай.

П а м ф и л. Кто захвачен божественным наитием, те не слышат, не видят, не чуют, не ощущают боли — хоть режь их на куски.

М а р и я. Да, это мне известно.

П а м ф и л. А как по-твоему,— отчего?

М а р и я. Скажи ты, философ.

П а м ф и л. Оттого, конечно, что дух покинул тело и воспарил в небеса, к тому, кого он пламенно любит.

М а р и я. И что же дальше?

П а м ф и л. Что дальше, жестокая? Из этого как раз и вытекает, что я мертвец, а ты убийца.

М а р и я. И где твоя душа?

П а м ф и л. С тою, кого любит.

М а р и я. А кто отнял у тебя душу? Что вздыхаешь? Говори смело — скажешь безнаказанно.

П а м ф и л. Одна безжалостная, беспощадная девица, которую, однако ж, ненавидеть я не могу даже мертвый.

М а р и я. Какая мягкая натура! Но почему ты, в свою очередь, не отнимешь душу у нее, отплачивая, как говорится, тою же монетой?

П а м ф и л. Ах, если б можно было устроить такой обмен, чтобы ее душа переселилась в мою грудь, как моя, вся целиком, живет в ее теле,— не было бы меня счастливее!

М а р и я. А можно ль и мне выступить в роли софиста?

П а м ф и л. Софистки,— хочешь ты сказать.

М а р и я. Допустимо ли, что одно и то же тело одушевлено и бездыханно?

П а м ф и л. Нет, в одно и то же время недопустимо.

М а р и я. Когда души нет, тогда тело мертво?

П а м ф и л. Мертво.

М а р и я. И никоим иным образом, кроме как собственным присутствием, душа не животворит?

П а м ф и л. Пусть будет так.

М а р и я. Как же тогда получается, что душа, находясь там, где любит, животворит, однако ж, тело, которое покинула?

П а м ф и л. Да ты заправский софист, но меня в такие сети не изловить. Душа, которая каким-то образом управляет телом любящего, душою зовется неточно: на самом деле это лишь жалкие остатки души,— все равно как запах розы остается на пальцах, когда цветка уже нет.

М а р и я. Да, поймать лисицу силками не просто, как я погляжу. Но вот тебе еще вопрос: тот, кто убивает, действует?

П а м ф и л. Еще бы!

М а р и я. А тот, кого убивают, испытывает действие?

П а м ф и л. Конечно.

М а р и я. В таком случае, как же это: любящий действует, любимая испытывает действие, но ты утверждаешь, будто убивает та, кого любят, хотя скорее любящий убивает себя сам?

П а м ф и л. Ничего подобного: любящий испытывает действие, а та, кого любят, действует.

М а р и я. Так тебе никогда не выиграть перед ареопагом грамматиков.

П а м ф и л. Не беда — выиграю перед амфиктионами диалектики.

М а р и я. Не сочти за труд ответить еще на один вопрос: добровольно ты любишь или против своей воли?

П а м ф и л. Добровольно.

М а р и я. Ну, а коли есть свобода любить и не любить, по-видимому, тот, кто любит,— самоубийца; и девицу он винит вопреки справедливости.

П а м ф и л. Да не потому убивает девица, что она любима, а потому, что не любит взаимно! Ведь всякий, кто может спасти, но не спасает,— убийца.

М а р и я. А если любовь юноши непозволительна — если он любит чужую жену? или деву-весталку? Полюбит ли любимая взаимно, чтобы спасти любящего?

П а м ф и л. Но в нашем случае любовь юноши дозволена, чиста, честна и благородна, и все-таки его убивают! А ежели убийство — обвинение недостаточно тяжкое, я вчиню тебе другой иск — в колдовстве.

М а р и я. Боже упаси! Новую Цирцею хочешь из меня сделать?

П а м ф и л. Нет, ты свирепее. Уж лучше быть медведем или свиньею, мне кажется, нежели тем, во что обратился я, то есть мертвецом.

М а р и я. Каким же это колдовством гублю я людей?

П а м ф и л. Сглазом.

М а р и я. Значит, на будущее мне отводить в сторону зловредные глаза?

П а м ф и л. Что ты, наоборот! Только на меня и смотри!

М а р и я. Если глаз у меня дурной, почему тогда не чахнут и прочие, на кого я гляжу? Нет, наверно, колдовство не в моих глазах, а в твоих.

П а м ф и л. Мало тебе отнять у Памфила душу — надо еще и поизмываться над ним?

М а р и я. Какой, однако, милый и забавный мертвец! А когда похороны?

П а м ф и л. Скорее, чем ты ожидаешь, если ты же не придешь на помощь.

М а р и я. Полно, разве это в моих силах?

П а м ф и л. В твоих силах даже мертвого вернуть к жизни, и к тому же — почти без труда.

М а р и я. Да, если кто вложит мне в руки панацею.

П а м ф и л. Никаких снадобий не нужно — ты только ответь на любовь! Что может быть легче и, вместе с тем, справедливее? И никак иначе от обвинения в убийстве ты не очистишься.

М а р и я. Какой суд будет слушать мое дело? Ареопаг?

П а м ф и л. Нет, судьею тебе будет Венера.

М а р и я. Говорят, она снисходительна.

П а м ф и л. Напротив, нет божества страшней и неумолимее во гневе.

М а р и я. Она что, вооружена молнией?

П а м ф и л. Нет.

М а р и я. Трезубцем?

П а м ф и л. Нет.

М а р и я. Копьем?

П а м ф и л. Нет. Но она владычица моря...

М а р и я. А я по морю не плаваю.

П а м ф и л. ...и есть у нее сынишка...

М а р и я. Малютка — чего ж его бояться?

П а м ф и л. ...мстительный и упорный.

М а р и я. Что он мне сделает?

П а м ф и л. Что сделает? Боги всевышние да избавят тебя от его мести! Не хочу вещать и накликивать беду той, кому желаю только добра.

М а р и я. И все-таки скажи, не скрывай! Я нисколько не суеверна.

П а м ф и л. Ладно, скажу. Ежели ты отвергнешь этого жениха, не совсем, как мне представляется, недостойного

взаимной любви, то, пожалуй, малютка, по приказу матери, метнет в тебя дротик, отравленный самым ужасным ядом, и ты без памяти влюбишься в какое-нибудь ничтожество, и вдобавок безнадежно.

М а р и я. Что за мерзкая казнь! Чем любить урода, позабывши обо всем на свете, да еще и безответно,— право, я бы охотнее умерла!

П а м ф и л. А ведь недавно как раз такая беда стряслась с одною девицею в поучение всем прочим.

М а р и я. Где это случилось?

П а м ф и л. В Орлеане.

М а р и я. Сколько лет назад?

П а м ф и л. Сколько лет? Еще и десяти месяцев не прошло!

М а р и я. А как звали девушку? Что примолк? Не помнишь?

П а м ф и л. Нет, я знаю ее так же, как тебя.

М а р и я. Почему ж тогда имя не называешь?

П а м ф и л. Огорчать тебя неохота. Если б она звалась как-нибудь по-другому! Но у нее твое имя.

М а р и я. Кто был ее отец?

П а м ф и л. Он жив и теперь, известный правовед, очень богатый.

М а р и я. А имя?

П а м ф и л. Маврикий.

М а р и я. А фамилия?

П а м ф и л. Аглаиус.

М а р и я. А мать жива?

П а м ф и л. Недавно скончалась.

М а р и я. От какой болезни?

П а м ф и л. От какой болезни, спрашиваешь? От огорчения. Да и отец, хотя человек на редкость крепкий, едва не умер.

М а р и я. А имя матери тоже не тайна?

П а м ф и л. Разумеется! Кто не знал Софронию! Но что означает этот допрос? Или ты думаешь, я тебе притчу сочиняю?

М а р и я. Мне ли тебя подозревать в обмане? Такие подозрения скорее навлекает на себя наш пол. Рассказывай, однако ж, что приключилось с девицею.

П а м ф и л. Девица была, как я уж говорил, хорошего рода, весьма состоятельная, прекрасной наружности. Чего ж еще? Хоть за князя отдавай! И жених сватался ей под пару.

М а р и я. Как его звали?

П а м ф и л. Увы! Грустное предзнаменование — он был тоже Памфилом. И как он ни бился, чего только ни пробовал — она оставалась непреклонна. Юноша зачах с тоски. А не так много спустя она начала сохнуть по какому-то человеку или, вернее сказать, по обезьяне.

М а р и я. Что ты говоришь!

П а м ф и л. Да, да! И так отчаянно, что и не описать!

М а р и я. Такая красавица — по такому уроду?

П а м ф и л. Макушка редькою, волосы жидкие, и притом встрепанные, всклоченные, все в перхоти, в гнидах; бóльшая половина черепа оголена плешью; косоглазый, курносый, рот до ушей, зубы гнилые, подбородок шелудивый, язык заплетается; меж лопаток горб, брюхо торчком, ноги кривые.

М а р и я. Прямо Ферсит какой-то!

П а м ф и л. И об одном ухе вдобавок.

М а р и я. Другого, видно, лишился на войне.

П а м ф и л. Ничего похожего — в мирное время.

М а р и я. Кто ж это посмел отсечь ему ухо?

П а м ф и л. Палач Дионисий.

М а р и я. Но, быть может, изобилие в доме заставляло не видеть безобразия хозяина?

П а м ф и л. Что ты! Он все промотал и увяз в долгах. С таким-то вот супругом коротает свой век женщина, наделенная столькими достоинствами, да еще и бита бывает частенько.

М а р и я. Это ужасно!

П а м ф и л. Но это правда. И похоже, что сама Немезида мстит за того юношу, отвергнутого и оскорбленного.

М а р и я. Я бы скорее согласилась погибнуть от удара молнии, чем терпеть этакого мужа!

П а м ф и л. Так не гневи Немезиду — ответь любящему на любовь.

М а р и я. Если этого довольно — отвечу.

П а м ф и л. Но я хотел бы, чтоб эта любовь была и твоею собственной, а значит, постоянною и надежной: я ищу жену, а не подружку.

М а р и я. Я знаю. Но надо как следует поразмыслить в таком деле, которое, раз начавши, уже не расстроишь.

П а м ф и л. Что до меня, то я размышлял больше чем достаточно.

М а р и я. И все ж смотри, не обманывает ли тебя любовь. Она советчица не из лучших: люди говорят, она слепа.

П а м ф и л. Нет, она зряча, если родится из трезвого суждения. Не потому видишься ты мне такою, что я тебя люблю, но потому и люблю тебя, что увидел, какова ты есть.

М а р и я. Да хорошо ли разглядел? Обуешь сапог — тогда только и почувствуешь, где он жмет.

П а м ф и л. Приходится бросать жребий. Впрочем, по многим приметам я заключаю, что все будет хорошо.

М а р и я. Так ты еще и авгур?

П а м ф и л. Да, авгур.

М а р и я. Что же ты приметил? Сова, что ли, пролетела?

П а м ф и л. Сова летает для глупцов.

М а р и я. Или чета голубей появилась по правую руку?

П а м ф и л. Совсем не то. Но уже много лет, как мне знакомы твои родители, люди достойнейшие, и это первая из птиц, сулящих удачу,— доброе происхождение. Далее, не секрет для меня, в каких правилах и на каких примерах ты у них воспитана. А доброе воспитание еще поважней благородства. Вот тебе и другая примета. Вдобавок, мои родители — люди, смею надеяться, не вовсе скверные, — уже давно связаны теснейшей дружбою с твоими; оттого мы и знаем друг друга, как говорится, от молодых ногтей. У нас с тобою годы примерно одинаковые, а у родителей наших — состояние, достоинство, знатность. Но что в дружбе особенно важно — твой нрав, мне думается, хорошо подходит к моему. Ведь сами по себе вещи могут быть и очень хороши, но одна с другою не в лад. Насколько же мой характер согласен с твоим, это уже мне неведомо. Такие-то птицы сулят мне, что союз меж нами будет счастливым, прочным и радостным, лишь бы только ты, светик мой, не спела нам зловещую песню.

М а р и я. А какой песни ты от меня ждешь?

П а м ф и л. Я запою: «Я твой»,— а ты отвечай: «Я твоя».

М а р и я. Песенка-то короткая, да припев долгий.

П а м ф и л. Какая разница, долгий ли, короткий ли,— был бы радостный!

М а р и я. Не хотелось бы мне, чтоб ты совершил поступок, в котором после будешь раскаиваться.

П а м ф и л. Полно, не накликай беду.

М а р и я. Быть может, ты увидишь меня иною, когда болезнь или старость изменят мой облик.

П а м ф и л. Но ведь и мое тело, дорогая, не всегда останется одинаково молодым и крепким. А я любуюсь не только этим жилищем, каким бы ни было оно прекрасным и цветущим,— много милее мне и дороже хозяин.

М а р и я. Какой хозяин?

П а м ф и л. Твоя душа, чья прелесть с годами будет все краше да краше.

М а р и я. Право, ты зорче самого Линцея, если различаешь душу под столькими покровами.

П а м ф и л. Душу различаю душою. А вдобавок мы вновь — и не единожды — помолодеем в общих наших детях.

М а р и я. Но тем временем уйдет без возврата невинность!

П а м ф и л. Не спорю. Но скажи мне, если бы был у тебя красивый сад, хотела бы ты, чтобы там никогда не родилось ничего, кроме цветов? Или предпочла бы, после того как цветы отцветут, увидеть деревья под грузом спелых плодов?

М а р и я. До чего же речист!

П а м ф и л. Тогда ответь хотя бы на такой вопрос: какое зрелище милее для взора — лоза, стелющаяся по земле и загнивающая или же обвившаяся вокруг тычины или какого-нибудь вяза и отяготившая дерево пурпурными гроздьями?

М а р и я. Ответь и ты мне, в свою очередь: какое зрелище приятнее — роза, сияющая молочною белизною на своем кусте или сорванная и мало-помалу вянущая в человеческих пальцах?

П а м ф и л. Я полагаю более счастливой ту розу, что вянет в руке, лаская и глаза наши, и ноздри, чем ту, что старится на кусте: ведь и на кусте ей все равно увядать. Так же точно счастливее то вино, которое выпьют, прежде чем оно прокиснет. Впрочем, не сразу после замужества увядает цвет девичьей красы; наоборот, я видел многих, которые в девичестве были и бледны и вялы, будто сохли чахоткою, и только тогда по-настоящему расцвели, когда сочетались с супругом.

М а р и я. И, однако ж, девичество все одобряют, восхваляют...

П а м ф и л. Да, юная девица прекрасна, но нет ничего противнее естеству, чем старая дева! Не утрать твоя родительница своего цветка — не любоваться бы нам теперь и на этот цветик. Вот и мы, я надеюсь, если наш брак не будет бесплоден, вместо одной девицы произведем на свет многих.

М а р и я. Но говорят, что всего угоднее богу чистота.

П а м ф и л. Потому-то и хочу я жениться на чистой девушке, чтобы жить с нею чисто. Это будет союз скорее душ, нежели тел. Мы станем рожать для государства и для Христа. Намного ль будет разниться такое супружество от девства? А со временем, быть может, мы заживем так, как жили некогда

Иосиф с Марией. Но до тех пор надо приучать себя к девству: совершенства достигают не сразу.

М а р и я. Что я слышу? Чтобы научиться девству, надо его потерять?

П а м ф и л. Конечно! Точно так же, как, постепенно испивая все меньше вина, мы приучаем себя к трезвости. Кто, по твоему мнению, более воздержан — тот, кто окружен наслаждениями, но отказывается от них, или кто далек от наслаждений, соблазняющих к невоздержности?

М а р и я. Тот, я считаю, сильнее в воздержании, кого изобилие соблазнов не может испортить.

П а м ф и л. А кому верней должна принадлежать слава чистоты — тому, кто оскопит себя, или кто, цел и невредим, все же не знается с Венерою?

М а р и я. Я бы славу чистоты присудила второму, а первого назвала бы безумцем.

П а м ф и л. Но разве те, что отрекаются от брака, связанные обетом, разве они не оскопляют себя?

М а р и я. Пожалуй, что да, в известной мере.

П а м ф и л. И не спать с мужчиной — никакая не доблесть.

М а р и я. Как это?

П а м ф и л. А вот послушай. Если б не спать с мужчиною было само по себе доблестью, спать было бы пороком. Но получается, что порок — не спать, а спать — доблесть.

М а р и я. Когда же так получается?

П а м ф и л. А всякий раз, как супруг настаивает на супружеском своем праве, в особенности если он ищет объятий из любви к будущему потомству.

М а р и я. А если это одна похоть? Отказывать все равно не дозволено?

П а м ф и л. Дозволено вразумлять или, точнее, ласково просить, чтобы он отступился; но упорно отказывать в ответ на упорные домогательства не дозволено. Впрочем, в таком деле жалобу мужа на непослушание жены услышишь не часто.

М а р и я. Но свобода так сладка!..

П а м ф и л. Напротив: девство — такое тягостное бремя! Я буду тебе царем, ты мне царицею, мы станем править семьею по общему усмотрению. Разве это рабство, как по-твоему?

М а р и я. Брак многие зовут уздою...

П а м ф и л. Вот им бы и надеть узду, тем, кто зовет его так! Скажи мне, пожалуйста, твоя душа не связана ли с телом?

М а р и я. По-видимому, да.

Памфил. Так же точно, как птица с клеткою. И, однако, спроси у нее: желает она быть свободной? И она ответит: «Нет» — нисколько не сомневаюсь. А почему? Потому, что связь эта добровольная.

Мария. Достатки у нас обоих невелики.

Памфил. Тем лучше! Ты будешь умножать их дома бережливостью, которую не без причины именуют доходом, и немалым, а я, за стенами дома,— трудолюбием.

Мария. Бесчисленные заботы приносят с собою дети.

Памфил. Но и бесчисленные радости тоже, и нередко с большою лихвой возвращают родителям свой долг.

Мария. А если детей не будет? Ведь это ужасно!

Памфил. А теперь разве ты не бездетна? И какой толк заранее накликать беду, ежели исхода все равно никак не предскажешь? Что бы ты предпочла — вообще не рождаться или родиться, чтобы после умереть?

Мария. Родиться и умереть.

Памфил. Подобным же образом та бездетность горше, которая и не имела и не будет иметь потомства. И те, что жили на свете, счастливее тех, что не родились и никогда не родятся.

Мария. Кто ж это такие, которых нет и не будет?

Памфил. Если человек не согласен терпеливо переносить превратности судьбы, которым одинаково подвержены мы все, простолюдины и цари, без разбора, ему лучше уйти из жизни. Но и за всем тем, что бы ни приключилось, тебе достанется лишь половина: бóльшую часть я приму на свои плечи. Так что, если случится радость, она будет двойною, а если беда — наш союз вдвое ослабит горечь. Для меня же, коли призовет судьба, будет отрадою и смерть на твоих руках.

Мария. Что совершается в согласии с общими законами природы, с тем люди мирятся довольно легко. Но я вижу, как иным родителям больше горя доставляет испорченность детей, чем их кончина.

Памфил. Чтобы не случилось ничего подобного, зависит главным образом от нас.

Мария. Не понимаю!

Памфил. Ведь обыкновенно от добрых добрые и родятся,— я имею в виду природные качества,— и голубка коршунов не выведет. Значит, приложим все усилия, чтобы самим быть добрыми. Затем постараемся, чтобы дети еще с молоком матери впитали возвышенные правила и взгляды. Чрезвычайно важно, чем нальешь впервые новый сосуд. Позаботимся, наконец, чтобы они всегда видели пример для подражания дома.

М а р и я. Трудная задача.

П а м ф и л. И не удивительно — раз она прекрасна (по той же самой причине и ты — орешек не из легких). Но тем упорнее будем стремиться ее решить.

М а р и я. Материал тебе достанется податливый — ты только лепи как следует.

П а м ф и л. А пока вымолви словечко.

М а р и я. Нет ничего проще, да только слово что птица: упустишь — не воротишь. Прими совет более полезный для нас обоих: переговори сперва со своими родителями и с моими, чтобы все происходило с общего их согласия.

П а м ф и л. Ты велишь мне хлопотать и упрашивать, хотя можешь решить дело одним словечком.

М а р и я. Едва ли: я не в своей власти. В старину без согласия старших ни один брак не заключался. Впрочем, как бы там ни было, я считаю, что наш брак будет счастливее, если совершится по воле родителей. И потом, вам, мужчинам, так и полагается — хлопотать, это нам хлопоты не к лицу: похищение и насилие всегда девству в отраду, хотя мы часто так и горим любовью.

П а м ф и л. Хлопотать я готов без устали, лишь бы твой выбор меня не обманул.

М а р и я. Не обманет — будь покоен, мой Памфил.

П а м ф и л. Ты со мною слишком строга.

М а р и я. Но сначала обдумай и взвесь как следует собственный выбор. И страсть к совету не допускай — только разум. Что постановит страсть, то непродолжительно, мимолетно; что определит разум, в том век не раскаешься.

П а м ф и л. Да ты отменно философствуешь! Выходит, надо тебя слушаться.

М а р и я. Послушайся — не пожалеешь. Впрочем, постой-ка, сомнение берет меня и омрачает душу.

П а м ф и л. Долой сомнения!

М а р и я. Ты хочешь, чтобы я вышла за мертвеца?

П а м ф и л. Ничего похожего! Я оживу!

М а р и я. Вот ты и развеял мое сомнение. А теперь прощай, Памфил, и будь здоров.

П а м ф и л. Это уж твоя забота.

М а р и я. Желаю тебе доброй и приятной ночи. Ну, что вздыхаешь?

П а м ф и л. Приятной ночи, говоришь? Ах, если б ты одарила меня тем, чего пожелала!..

М а р и я. Не торопись, твоя жатва еще не поспела.

Памфил. Так ничем на прощание и не обрадуешь?

Мария. Возьми этот благовонный шарик, он порадует тебе сердце.

Памфил. Прибавь хоть поцелуй.

Мария. Нет, я хочу отдать тебе свою невинность целой и нетронутой.

Памфил. Да что в ней убудет от поцелуя?

Мария. Тебе угодно, стало быть, чтобы я и другим поклонникам дарила поцелуи?

Памфил. Ни в коем случае! Все мое храни для меня.

Мария. Для тебя и храню. Но есть и еще причина, почему сейчас целовать тебя не отваживаюсь.

Памфил. Что за причина?

Мария. Ты говоришь, что твоя душа почти вся переселилась в мое тело; в тебе осталась лишь крохотная частица. Я и боюсь, как бы этот остаток не ускользнул вместе с поцелуем в мою грудь, а ты не умер бы вполне и окончательно. Потому вот тебе моя рука — знак взаимной любви — и прощай. Веди дело старательно, а я буду молиться Христу, чтобы все происходящее он соизволил обратить на счастье нам и на благо.

МЕМΨΙΓΑΜΟΣ[1], ИЛИ СУПРУЖЕСТВО

Евлалия. Ксантиппа

Евлалия. Здравствуй, здравствуй, Ксантиппа! Как я по тебе соскучилась!

Ксантиппа. Здравствуй и ты, дорогая моя Евлалия. Как ты похорошела!

Евлалия. Славно же ты меня встречаешь — колкостью, насмешкою.

Ксантиппа. Нет, правда, так мне кажется.

Евлалия. Может, новое платье мне к лицу?

Ксантиппа. Ну, конечно! Давно не видала ничего краше! Сукно не иначе как английское.

Евлалия. Шерсть английская, а красили в Венеции.

Ксантиппа. Тоньше виссона! И цвет удивительно приятный — настоящий пурпур! От кого такой прекрасный подарок?

---

[1] Хулительница брака *(греч.)*.

Евлалия. От кого ж еще принимать подарки замужней женщине, как не от собственного супруга?

Ксантиппа. Счастливица ты! Вот это муж так муж! А мне бы лучше быть за пнем дубовым, чем за моим Николаем!

Евлалия. Что ты говоришь? Так скоро — и уже нет согласия между вами?

Ксантиппа. И никогда не будет согласия с эдаким ослом! Видишь — я вся в лохмотьях, а ему хоть бы что! Клянусь, мне часто на люди выйти стыдно, когда я вижу, как одеты другие женщины, у которых мужья намного беднее моего.

Евлалия. Замужнюю женщину украшает не платье и не уборы, как учит святой апостол Петр (и как слыхала я недавно за проповедью), но чистота и скромность нравов, то есть украшения духовные. Шлюхи прихорашиваются ради многих глаз. Мы достаточно хороши, если нравимся одному лишь супругу.

Ксантиппа. Однако ж добрый этот супруг, с женою отчаянный скупец, усердно проматывает приданое, которого взял за мною немало.

Евлалия. А на что?

Ксантиппа. На что вздумает — пьянствует, распутничает, играет в кости.

Евлалия. Ужасно!

Ксантиппа. Да, но так оно и есть. Я все жду его, жду, а он возвращается далеко за полночь, пьяный, а потом храпит до утра, а нередко и всю постель облюет, а бывает — и того хуже.

Евлалия. Тс-с! Ведь ты себя порочишь, когда порочишь мужа!

Ксантиппа. Клянусь жизнью, я охотнее спала бы со свиньей, чем с таким мужем!

Евлалия. И ты, наверно, встречаешь его бранью?

Ксантиппа. Он того и стоит. Пусть помнит, что я не немая.

Евлалия. А что он в ответ?

Ксантиппа. Сперва отругивался очень свирепо — думал, что запугает меня своими бешеными криками.

Евлалия. А до побоев никогда не доходило?

Ксантиппа. Как-то раз оба до того распалились, что еще чуть-чуть — и подрались бы.

Евлалия. Что я слышу?!

Ксантиппа. Он размахивал дубинкой, неистово орал и грозился.

Евлалия. И ты не испугалась?

Ксантиппа. Наоборот! Я схватила табурет, и если б он хоть пальцем меня тронул, я б ему показала, что и я не безрукая!

Евлалия. Вот невиданный щит! Тебе не хватало только прялки наместо копья.

Ксантиппа. Он бы у меня понял, с кем дело имеет — с амазонкою!

Евлалия. Ах, милая Ксантиппа! Не так бы надо...

Ксантиппа. А как? Ежели он не желает признавать меня за жену, не стану и я признавать его за мужа!

Евлалия. Но Павел учит, что жены должны покоряться своим мужьям с полным смирением. И Петр ставит нам в пример Сарру, которая супруга своего, Авраама, называла «господином».

Ксантиппа. Слыхала. Но тот же Павел учит, чтобы мужья любили своих жен, как Христос возлюбил свою невесту — Церковь. Пусть он помнит свои обязанности — я не забуду про свои.

Евлалия. Но когда уж зашло так далеко, что кому-то из двух необходимо уступить,— справедливо, чтобы жена уступила мужу.

Ксантиппа. Если только вправе называться мужем тот, кто обращается со мною, как со служанкой.

Евлалия. Но скажи, милая Ксантиппа, после того случая он перестал грозиться побоями?

Ксантиппа. Перестал и несколько образумился, а не то получил бы как следует.

Евлалия. А ты ссориться с ним не перестала?

Ксантиппа. И не перестану.

Евлалия. Ну, а что же он теперь?

Ксантиппа. Что он? Когда спит, сонливец несчастный, когда хохочет без умолку, а когда схватит лютню о трех струнах и бренчит без конца, заглушая мои крики.

Евлалия. А тебя это раздражает?

Ксантиппа. До того, что и сказать невозможно. Иной раз едва удерживаюсь, чтоб не пустить руки в ход.

Евлалия. Милая Ксантиппа, разрешишь быть с тобою вполне откровенной?

Ксантиппа. Разрешаю.

Евлалия. И пусть откровенность будет взаимной. Этого требует наша дружба, завязавшаяся чуть ли не в колыбели.

К с а н т и п п а. Истинная правда! Никогда ни одна подруга не была мне дороже, чем ты.

Е в л а л и я. Каков бы ни был твой супруг, подумай о том, что переменить на другого уже невозможно. В давние времена крайним средством против неисцелимых раздоров служил развод. Ныне это средство отнято и отменено. До последнего дня жизни ему быть твоим мужем, а тебе — его женою.

К с а н т и п п а. Будь он трижды проклят, тот, кто отнял у нас право разводиться!

Е в л а л и я. Господь с тобой! Ведь это Христос так порешил!

К с а н т и п п а. Что-то не верится.

Е в л а л и я. Уверяю тебя! И теперь не остается ничего иного, как искать согласия, приспосабливаясь друг к другу.

К с а н т и п п а. Да разве я могу его переделать?

Е в л а л и я. Каков супруг, во многом зависит от супруги.

К с а н т и п п а. А ты со своим легко ужилась?

Е в л а л и я. Теперь все спокойно.

К с а н т и п п а. Значит, поначалу не все шло гладко?

Е в л а л и я. Бурь никогда не бывало. Но, как обычно у людей, случалось, набегали тучки, которые, пожалуй, и разразились бы бурею, да только бурю можно предупредить — уступчивостью и снисходительностью. У каждого свой нрав и свой взгляд, а если говорить начистоту, то и свои недостатки. И чем кричать «ненавижу», нам следует их узнавать — и вообще, а в браке особенно.

К с а н т и п п а. Это ты правильно советуешь.

Е в л а л и я. А между тем нередко взаимное доброжелательство меж супругами рвется еще до того, как они маломальски узнают друг дружку. Этого надо остерегаться всего больше. Вражде стоит только вспыхнуть, и дружба восстанавливается с большим трудом, а после жестоких перебранок — и подавно. Если что скрепляешь клеем, а после сразу встряхнешь, то склеенные части легко разваливаются, но если клей успеет засохнуть и они пристынут одна к другой, нет ничего прочнее. Поэтому поначалу необходимо употребить все средства, чтобы доброжелательство между супругами утвердилось и окрепло. Крепнет оно, в первую очередь, покорностью и уступчивостью. Если ж симпатия приобретена одною внешнею привлекательностью, она почти всегда скоро иссякает.

К с а н т и п п а. Нет, ты мне, пожалуйста, расскажи, каким способом приспособила ты супруга к своему нраву.

Евлалия. Расскажу, но на том условии, чтобы ты последовала моему примеру.

Ксантиппа. Если смогу.

Евлалия. Это будет очень просто, если ты захочешь: ведь еще не поздно. Он еще молод, ты и вовсе девчонка, а после вашей свадьбы, по-моему, и года не прошло.

Ксантиппа. Да, верно.

Евлалия. Итак, я расскажу. Но ты — никому ни слова.

Ксантиппа. Ни слова!

Евлалия. Главная моя забота была в том, чтобы всегда доставлять мужу радость и ничем его не огорчить. Я наблюдала за его пристрастиями и образом мыслей, наблюдала и за случайными обстоятельствами — что его успокаивает, что раздражает, — совсем как те, кто приручает слонов, львов и прочих диких зверей, которых силою ни к чему не принудишь.

Ксантиппа. Как раз такой зверь у меня дома.

Евлалия. Если ходишь за слоном, не надевай белое платье, если за быком — красное: ведь эти цвета приводят их в бешенство, кто этого не знает?! Точно так же и тигры: звуки бубна вызывают у них такую ярость, что они готовы растерзать самих себя. Кто ухаживает за лошадьми, ласково их окликает, щелкает языком, похлопывает, поглаживает и вообще по-всякому сдерживает необузданную горячность. Насколько ж важнее для нас, жен, всегда держать наготове подобные приемы! Ведь хочешь не хочешь, а каждой из нас до конца жизни делить с мужем кров и постель!

Ксантиппа. Продолжай.

Евлалия. Я приняла это в расчет и приноравливалась к нему, как могла, стараясь не подать ни малейшего повода к неудовольствию.

Ксантиппа. И как же ты сумела?

Евлалия. Во-первых, неусыпными хлопотами по хозяйству,— в этой провинции власть жены никто не оспаривает,— не только стараясь чего-либо не упустить, но все устраивая в согласии с его вкусом, все до последних мелочей.

Ксантиппа. Каких мелочей?

Евлалия. Ну, например, если муж особенно любит какую-нибудь еду, так или этак приготовленную, или чтобы постель была постлана как-нибудь особенно...

Ксантиппа. Но как приноровиться к тому, кто домой не является, а если является, то пьяный?

Евлалия. Погоди, дойдем и до этого. Если муж бывал очень грустен, а повода заговорить ненароком не находилось, я никогда не смеялась и не дурачилась, как иные женщины в подобных случаях, но и сама принимала вид озабоченный и печальный. Как хорошее зеркало всегда отражает облик того, кто в него смотрится, так пусть жена согласует свои чувства с чувствами мужа, чтобы не радоваться, когда он мрачен, не веселиться, когда раздражен. Если ж раздражение вырывалось наружу, я смягчала гнев супруга ласковой речью или покорным молчанием, дожидаясь, пока он остынет и будет можно либо прогнать досаду вовсе, либо умерить ее разумными доводами. То же самое — если он возвращался домой пьяный: я говорила ему всякие приятные вещи и умильными словами заманивала в постель.

Ксантиппа. Несчастная все-таки участь у жен, которые так угождают гневным, хмельным, своевольным мужьям!

Евлалия. Да, но ведь угождение-то взаимное! И мужья вынуждены смиряться со многим в нашем характере. А выпадают минуты, когда супруге можно и наставить супруга в важном деле, но именно что в важном: в дела второстепенные лучше совсем не вмешиваться.

Ксантиппа. Что ж это за минуты такие?

Евлалия. Когда он ничем не занят, не раздражен, не обеспокоен, не пьян, тогда с глазу на глаз, без свидетелей, ласково подай ему совет или, вернее, попроси, чтобы он старательнее исполнял свой долг, или не забывал о добром своем имени, или о здоровье. А самое наставление не забудь приправить смехом, шуткою. Иногда я заранее беру с него слово, что он не рассердится на глупую женщину, но мне, мол, кажется, что надо поступить так-то и так-то и что это послужит к его чести или ему на благо. Едва лишь посоветую, что хотела, тут же обрываю разговор и сворачиваю на другое, более приятное. Ведь это общий наш порок, милая Ксантиппа, что как заладим про одно, так уж и остановиться не можем.

Ксантиппа. Пожалуй.

Евлалия. Я всегда старалась не бранить мужа при людях, не выносить жалоб за порог. Любое недоразумение легче улаживается между двоими. А если складывается так, что и терпеть нет силы, и супружеские увещания не помогают нисколько, учтивее будет, если жена пожалуется родителям и родичам мужа, а не своим: это и не так обидно, и свидетельствует, что она ожесточена не против мужа, но против его

заблуждения и упорства. Да и тогда лишнего болтать не надо, чтобы муж мог признать и оценить обходительность супруги.

К с а н т и п п а. Нужно быть философом в юбке, чтобы соблюдать все эти правила.

Е в л а л и я. Но таким поведением мы и мужа побуждаем ко взаимной обходительности.

К с а н т и п п а. Есть мужья, которых никакой обходительностью не исправить.

Е в л а л и я. Не думаю. Но пусть даже так! Прежде всего, рассуди, что мужа приходится терпеть, каков бы он ни был. И уж лучше терпеть какого ни есть, либо хоть сколько-нибудь помягчевшего благодаря нашей обходительности, чем такого, который день ото дня все свирепее. Что, если я укажу тебе на мужей, которые сходным образом исправляли жен? Насколько больше приличествует этот образ действий нам, женам!

К с а н т и п п а. Значит, ты приведешь пример, во всем обратный моему супругу!

Е в л а л и я. Я близко знакома с одним человеком, знатным, образованным и на редкость порядочным. Он взял за себя девушку семнадцати лет, воспитанную в деревне, в отцовском доме: знатные люди любят жить в деревне — ради охоты на зверей и птиц. Он нарочно выбрал жену молодую и неученую, чтобы тем легче вылепить ее по собственному образцу, и вот принялся обучать ее наукам и музыке, требовал, чтобы она повторяла то, что услышит за проповедью, наставлял и еще во многом, что могло бы оказаться на пользу впоследствии. Все это было внове молодой женщине, которая дома не знала ничего, кроме досуга, и ничего не слыхала, кроме шуток и болтовни слуг. Учение быстро ей наскучило, покориться она не хотела, и, так как муж от задуманного не отступался, жена плакала без умолку, а нередко и кидалась наземь и билась затылком об пол, словно желая покончить с собой. В конце концов муж, скрывая досаду, предложил жене поехать вместе в деревню, к ее отцу, чтобы как-то отвлечься и развлечься. Тут она повиновалась охотно. Когда прибыли на место, муж оставил жену с ее матерью и сестрами, а сам отправился с тестем на охоту. Улучив момент, когда рядом никого не было, он рассказал тестю, что надеялся приобрести веселую подругу жизни, она же все плачет, не осушая глаз, мучит себя и ко всем уговорам глуха. «Помоги мне исцелить ее» — так он закончил. Тесть возразил, что всю власть над дочерью передал ему, и если она не слушается слов, пусть он употребит свое право и поучит ее плеткой. А зять в ответ: «Я свое право знаю,

но чем мне прибегать к такому крайнему средству, лучше бы вылечил ее ты — своим умением или влиянием». Тесть обещал. День или два спустя, выбрав время и место, он закрывается вдвоем с дочерью, грозно хмурит брови и начинает ей припоминать, как она нехороша собою, каким скверным отличается характером и как часто он опасался, что вообще не сможет выдать ее замуж. «Но с великими трудами,— продолжал он,— я нашел тебе мужа, за которого любая красавица вышла бы с охотой. А ты не только не ценишь того, что я для тебя сделал, не только не понимаешь, что у тебя такой муж, которому ты и в служанки не годилась бы, если бы не редкая его снисходительность, но еще и бунтуешь против него!» Что много говорить! Отец, казалось, до того распалился собственною речью, что едва не прибил дочку. Поистине ловок и хитроумен тот, кто умеет без маски разыграть любую комедию! Тут в молодой женщине заговорили и страх, и нечистая совесть, она бросилась отцу в ноги, умоляла забыть прошлое, клялась, что вперед ни в чем не нарушит своего долга. Отец простил ее, пообещав быть самым любящим из отцов, если и она исполнит то, что обещает.

К с а н т и п п а. Ну? А потом?

Е в л а л и я. А потом она вернулась к себе в комнату и застала мужа одного. Припала она к его коленям и говорит: «До сей поры я не знала ни тебя, ни себя самоё. Вперед увидишь, что я стала другая — только забудь о том, что было прежде!» Эти ее слова муж встретил поцелуем и сказал, что на все согласен, лишь бы только она не изменила своему намерению.

К с а н т и п п а. И что? Не изменила?

Е в л а л и я. Вплоть до самой смерти не было такого непривлекательного дела, за которое она не взялась бы с радостью и с охотою, если того хотел муж. Вот какая родилась меж ними любовь и вот как она окрепла. Спустя несколько лет жена часто повторяла, что, дескать, это была безмерная для нее удача — выйти за такого мужа. «Случись по-иному,— твердила она,— и быть бы мне самой жалкой и самой пропащей на свете женщиной!»

К с а н т и п п а. Эдакие мужья попадаются не чаще, чем белые вороны.

Е в л а л и я. Если тебе не надоело слушать, я расскажу другую историю, которая происходила недавно, и не где-нибудь, а в этом самом городе,— про мужа, исправленного мягкостью жены.

К с а н т и п п а. Дел у меня никаких, а беседовать с тобою — одно удовольствие.

Е в л а л и я. Есть один человек, не из последних у нас в городе. Как это в обычае у знати, он часто и помногу охотился. Где-то в деревне повстречал он девушку, дочку совсем нищей бабенки, и без памяти в нее влюбился, хотя был уже в летах. С той поры он частенько не ночевал дома. Предлогом всегда служила охота. Его супруга, женщина редкой добропорядочности, подозревала невесть что и наконец выследила проделки мужа. Явившись в эту деревенскую хижину, она разузнала все до последнего — и где спит муж, и из чего пьет, и как там накрывают и подают на стол; впрочем, утвари в доме не было никакой — одна бедность. Супруга отправилась обратно и вскоре вернулась, привезя с собою удобную кровать с постелью и серебряную посуду. Дала она и денег и просила, чтобы на будущее время, если он приедет еще, его принимали пообходительнее; при этом она скрыла, кто она такая, и выдавала себя за его сестру. Спустя несколько дней тайком приезжает муж. Он видит новую, богатую утварь и дивится — откуда эта неожиданная роскошь. Ему объясняют, что все доставила сюда почтенная женщина, его родственница, с наказом, чтобы вперед его потчевали и принимали более пристойно. Он тут же заподозрил, что здесь побывала жена. Возвратившись домой, он прямо спрашивает ее об этом; она не отрицает. Тогда он спрашивает, с какою же целью отправила она туда посуду и остальное. «Но ведь ты привычен к удобствам,— отвечала жена.— Я видела, что там все слишком грубо, и, раз уж ты так заблагорассудил, считала своим долгом, чтобы с тобою обходились потоньше».

К с а н т и п п а. Какая доброта! Нет, я бы не постель ему постелила, а крапиву и терновник!

Е в л а л и я. Ты дослушай до конца. Тут только понял он всю честность и кротость своей супруги и с тех пор навсегда потерял вкус к тайным ласкам, но забавлялся дома, со своею женою... Тебе, конечно, знаком голландец Гильберт.

К с а н т и п п а. Да, знаком.

Е в л а л и я. Он, как тебе известно, в расцвете лет, а жену взял пожилую, чуть ли не старую.

К с а н т и п п а. Приданое он взял, пожалуй, а не жену.

Е в л а л и я. Верно. К супруге он испытывал отвращение, а любил одну бабенку и постоянно с нею забавлялся. Редко когда он завтракал или обедал дома. Что бы ты стала делать в таком случае?

К с а н т и п п а. Я что сделала бы? Любовнице этой я бы вцепилась в волосы, а мужа, когда он пошел бы к ней на свидание, облила мочой — пусть благоухает за пирушкою!

Е в л а л и я. И насколько разумнее поступила жена Гильберта! Она позвала бабенку к себе домой и радушно ее принимала. Так она приохотила к дому и мужа, и без всякого колдовского зелья. А если он, случалось, обедал с тою в ином месте, жена посылала туда какое-нибудь изысканное кушанье с пожеланием хорошо повеселиться.

К с а н т и п п а. По-моему, приятнее умереть, чем служить сводницею собственному мужу!

Е в л а л и я. Но ты вдумайся в самую суть. Неужели это не лучше — и намного! — чем окончательно отдалить от себя мужа бешеным гневом и провести всю жизнь в брани и ссорах?

К с а н т и п п а. Вероятно, ты права. Но я бы так не смогла.

Е в л а л и я. Еще один пример — и довольно. Наш сосед, человек хороший и честный, но чересчур вспыльчивый, однажды прибил свою супругу, женщину, достойную всяческих похвал. Она закрылась в дальней комнате и плакала навзрыд, стараясь перемолоть и переварить обиду. Несколько времени спустя туда же случайно вошел муж и, застав жену в слезах, спросил: «Ты что это здесь рыдаешь, словно девчонка?» А она рассудительно в ответ: «А разве не лучше мне выплакать горе здесь, чем вопить на улице, как это в заводе у других женщин?» Муж был растроган и сломлен этими истинно супружескими словами и поклялся жене, что никогда больше не поднимет на нее руку; и правда, не поднимал.

К с а н т и п п а. Того же и я добилась от своего, только совсем по-другому.

Е в л а л и я. Зато теперь между вами беспрерывная война.

К с а н т и п п а. Ну, так что мне делать? Укажи.

Е в л а л и я. Во-первых, надо сносить молча все мужнины обиды и кротостью, лаской, всевозможными одолжениями постепенно утишить его ожесточение. Либо ты победишь окончательно, либо, по крайней мере, тебе станет с ним намного легче, чем теперь.

К с а н т и п п а. Его не укротить никакими одолжениями — он чересчур свиреп.

Е в л а л и я. Не говори так! Нет зверя настолько дикого, чтобы он не отзывался на ласку. Не отчаивайся, сделай пробу, и можешь обвинять меня во всех грехах, если через несколько

месяцев не убедишься, что я дала тебе благой совет. Есть даже такие недостатки, на которые надо вовсе закрыть глаза... А прежде всего остерегайся затевать ссоры в спальне или в постели; там все должно быть приятно, красиво и весело. В самом деле, если уж это место, свято предназначенное для прекращения всякой вражды и неприязни, оскверняется спором и досадою,— значит, исчезло последнее средство восстановить доброжелательство и согласие. Есть женщины настолько мерзкого нрава, что уж и под мужем лежат — а все не перестают ворчать да жаловаться, отнимая сладость у того наслаждения, которое гонит из души супруга любую горечь, и портя то снадобье, которым можно было исцелить все обиды.

К с а н т и п п а. Со мной это бывает нередко.

Е в л а л и я. Жене постоянно следует остерегаться, как бы чем-нибудь не досадить мужу, но всего больше усилий она должна приложить к тому, чтобы, сходясь с мужем в постели, быть самою лаской, самим очарованием.

К с а н т и п п а. Так то с мужем! А я сплю с чудовищем.

Е в л а л и я. Не надо говорить о нем скверно — ведь мужья скверны во многом по нашей вине. Вернемся, однако ж, к делу. Люди, начитанные в древних притчах поэтов, рассказывают, что у Венеры (ее изображают богинею брака) был пояс, сделанный искусником Вулканом, и в него вотканы все любовные зелья. Этот пояс она надевала всякий раз, как готовилась лечь с мужем.

К с а н т и п п а. Да ведь это притча.

Е в л а л и я. Конечно. Но послушай, какой в ней урок.

К с а н т и п п а. Какой?

Е в л а л и я. Супруга, учит нас она, должна всеми стараниями доставлять мужу радость на супружеском ложе, чтобы мужнина любовь разогревалась и освежалась, а всякая досада и пресыщение бежали бы прочь.

К с а н т и п п а. Но откуда к нам этот пояс?

Е в л а л и я. Не нужно ни приворотов, ни заклинаний. Нет заклинания вернее, чем скромность в соединении с любезностью.

К с а н т и п п а. Я такому мужу угождать не могу!

Е в л а л и я. Но это от тебя зависит, чтобы он перестал быть «таким». Если бы волшебством Цирцеи ты могла превратить своего мужа в свинью или в медведя, ты бы превратила?

К с а н т и п п а. Не знаю.

Е в л а л и я. Не знаешь? Ты что же, предпочитала бы иметь мужем свинью, а не человека?

К с а н т и п п а. Нет, разумеется, человека.

Е в л а л и я. Ну, а если бы волшебством Цирцеи ты могла из пьяницы сделать трезвенника, из мота и кутилы — доброго хозяина, из размазни — проворного и внимательного, неужели б не сделала?

К с а н т и п п а. Конечно, сделала бы. Да только откуда ко мне это волшебство?

Е в л а л и я. А оно в тебе самой — надо только пустить его в ход. Хочешь ты или не хочешь, он твой муж. Чем лучше ты его сделаешь, тем лучше позаботишься о самой себе. Ты глаз не сводишь с его недостатков, и это раздувает в тебе ненависть; ты ухватила его за ту рукоять, за которую держаться невозможно. А ты лучше гляди на то, что в нем хорошего, возьмись за другую рукоять, за которую легко и удобно держаться. До свадьбы было время раздумывать, какие у него изъяны: не только глазами следовало выбирать мужа, но и ушами. А теперь время не винить, но лечить.

К с а н т и п п а. Какая это женщина и в какие такие времена находила себе мужа ушами?

Е в л а л и я. Глазами ищет та, кто смотрит только на красивую наружность, ушами — кто старательно замечает, что говорит об ее избраннике молва.

К с а н т и п п а. Славно ты внушаешь, но поздно.

Е в л а л и я. Однако ж постараться исправить мужа — совсем не поздно. Этому много поможет, если ты родишь ему ребенка.

К с а н т и п п а. Уже родила.

Е в л а л и я. Когда?

К с а н т и п п а. Да уж изрядно.

Е в л а л и я. Сколько месяцев прошло?

К с а н т и п п а. Без малого семь.

Е в л а л и я. Что я слышу?! Ты повторяешь шутку насчет трехмесячного потомства?

К с а н т и п п а. И не думаю.

Е в л а л и я. Но иначе быть не может! Сочти время со дня свадьбы.

К с а н т и п п а. А у меня был с ним разговор еще до свадьбы.

Е в л а л и я. Разве от разговоров рождаются дети?

К с а н т и п п а. Он случайно застал меня одну, принялся со мною заигрывать, щекотать бока и под мышками. А я не выношу щекотки — захохотала, упала навзничь на постель, он навалился сверху и ну меня целовать! Что он там

еще делал, я толком не знаю, но немного спустя начал пухнуть живот.

Евлалия. Поди-ка посмотри свысока на этакого супруга. Если он играючи зачинает детишек, что ж будет, когда он возьмется за дело не на шутку?

Ксантиппа. Боюсь, что я опять беременна.

Евлалия. Прекрасно: тучному полю — добрый пахарь!

Ксантиппа. Да, тут он ретивее, чем хотелось бы.

Евлалия. Ну, эту твою жалобу немногие жены поддержат... Однако вы уже были помолвлены?

Ксантиппа. Были.

Евлалия. Тогда грех невелик. А кто родился? Мальчик?

Ксантиппа. Мальчик.

Евлалия. Он вас и примирит, если ты хоть сколько-нибудь пожелаешь приноровиться. Что говорят о твоем муже другие — приятели, деловые знакомцы?

Ксантиппа. Их послушать, так он самый покладистый из людей, обходительный, щедрый, дружелюбный.

Евлалия. И это тоже внушает надежду, что он будет таким, каким хочется нам.

Ксантиппа. Только со мною он не таков.

Евлалия. Сперва ты покажи ему себя в том виде, как я тебе сказала, и можешь после звать меня не Евлалией, а Псевдолалией-Пустобрешкой, если он и с тобою не станет таким же, как с прочими. Прими в соображение и то, что он еще очень молод,— наверное, лет двадцати четырех, не более,— еще не понял, что это значит — быть отцом семейства. О разводе тебе уже и думать нечего.

Ксантиппа. А я часто думала.

Евлалия. Если придут еще когда-нибудь тебе в голову такие раздумья, ты прежде всего вспомни, что женщина, расставшаяся с мужем, не стоит ровно ничего! Высшая честь и слава замужней женщины в том, чтобы быть покорной своему супругу. Так заведено самою природой. Так пожелал господь бог,— чтобы женщина во всем зависела от мужчины. Ты только размысли, как обстоит дело: он тебе муж, другого не будет. Затем вспомни про малыша — общее ваше дитя. Как ты с ним распорядишься? Возьмешь с собою — лишишь супруга законной собственности. Оставишь ему — отнимешь у себя самой самое дорогое достояние. И потом скажи мне: есть у тебя недоброжелатели?

К с а н т и п п а. Есть: мачеха, и еще свекровь, во всем похожая на мачеху.

Е в л а л и я. Так ли уж сильно они тебя ненавидят?

К с а н т и п п а. В гробу рады бы меня увидеть!

Е в л а л и я. И про них тоже вспомни. Чем ты сможешь обрадовать их сильнее, как если они узнают, что ты отторгнута от супруга, что ты вдова, нет, намного хуже вдовы! Ведь вдовам позволительно выйти замуж в другой раз.

К с а н т и п п а. Твой совет мне по душе, но долгие труды так противны!..

Е в л а л и я. Но подумай, сколько трудов ты положила на этого попугая, прежде чем выучила его выговаривать несколько слов на человеческом языке!

К с а н т и п п а. Немало, конечно.

Е в л а л и я. И тебе лень потрудиться ради супруга, чтобы после, до конца дней жить с ним душа в душу? Сколько хлопот стоит выездить норовистую лошадь! А нам лень похлопотать, чтобы смягчить нрав мужа?

К с а н т и п п а. Что же мне делать?

Е в л а л и я. Я уже тебе сказала. Следи, чтобы дома все блестело, чтобы ничто не тяготило хозяина, не гнало его прочь, за порог. Будь с ним ласкова, предупредительна, всегда помни об уважении, которым жена обязана мужу. Долой унылость, но долой и развязность; не будь мямлею, но и озорницею не будь. Ты знаешь вкус мужа: что ему нравится всего больше, то и стряпай. И с теми, кого он любит, будь ласкова и приветлива. Почаще зови их к обеду, к ужину, и за столом пусть царит радость и довольство. И, наконец, если он, подвыпив и развеселившись, примется бренчать на своей лютне, ты подпевай. Так ты приучишь мужа сидеть дома, а заодно и расходы его уменьшишь. Он скажет себе: «Какой я безумец, что живу с продажною девкой, не щадя ни денег, ни своего доброго имени, меж тем как дома жена, которая и не в пример милее, и преданнее, и принимает моих гостей гораздо пристойнее и изысканнее!»

К с а н т и п п а. Ты думаешь, что-нибудь получится, если я попробую?

Е в л а л и я. Погляди на меня. Твердо тебе обещаю. А тем временем я потолкую и с твоим мужем — напомню и ему об его обязанностях.

К с а н т и п п а. Очень хорошо! Только смотри, чтобы он ничего не заподозрил: он тогда небо с землею смешает!

Евлалия. Не бойся. Я так хитро поведу разговор, что он сам мне выложит, какие между вами нелады. А после этого я приступлю к нему по-своему — ласково да вкрадчиво и, надеюсь, верну тебе помягчевшим. Про тебя ж при случае солгу — с какою, дескать, любовью ты о нем говоришь.

Ксантиппа. Помогай нам Христос!

Евлалия. Христос поможет — лишь бы ты сама себе не вредила.

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Антоний. Адольф

Антоний. Какой ужас! Это и значит «плавать по морю»? Не дай боже, чтобы мне когда-нибудь пришла на ум такая затея!

Адольф. Все, что я успел тебе рассказать,— это пустяк, забава против того, что ты услышишь дальше.

Антоний. Я и так наслушался ужасов более чем довольно! Ты вспоминаешь, а у меня волосы дыбом встают, будто я сам в опасности.

Адольф. А мне — так даже приятны эти муки, оставшиеся позади... В ту же ночь произошло событие, которое сильно поколебало надежды хозяина на спасение.

Антоний. И что же именно?

Адольф. Ночь была не совсем черная, и на вершине мачты, в «вороньем гнезде»,— так это, по-моему, у них зовется,— стоял кто-то из матросов; он озирался кругом, высматривая землю. Вдруг подле него появился огненный шар. Для моряков нет знамения печальнее, чем ежели огонь одиночный; а когда их пара — это добрый знак. В древности верили, будто это Кастор и Поллукс.

Антоний. Что им до моряков? Ведь один был конником, а другой кулачным бойцом.

Адольф. Так заблагорассудили поэты. Хозяин, который сидел у руля, крикнул: «Эй, товарищ (моряки друг к дружке иначе не обращаются), видишь, какой у тебя сосед?» — «Вижу,— отвечает тот,— и молю бога, чтобы он послал нам удачу». Скоро огненный клубок соскользнул по снастям вниз и подкатился к хозяину.

Антоний. Он, поди, обмер со страху?

Адольф. Моряки привычны к чудесам. Тут шар помедлил, потом обежал вдоль борта весь корабль, потом посреди палубы рассыпался и исчез. К полудню непогода стала крепчать. Ты когда-нибудь видел Альпы?

Антоний. Видел.

Адольф. Ну, так те горы — жалкие бугорки против морских волн. Всякий раз, как мы взбирались на гребень, казалось, можно бы луны коснуться рукою, а как съезжаем вниз — так словно бы земля разверзлась и мы несемся прямо в Тартар!

Антоний. Ох, эти безумцы, которые доверяются морю!

Адольф. Моряки пытались бороться с бурею, но безуспешно, и в конце концов хозяин, весь бледный, приблизился к нам.

Антоний. Эта бледность — предвестник большого несчастья.

Адольф. «Друзья,— сказал он,— я больше не господин своему судну. Победил ветер. Теперь возложим всю надежду на бога, и пусть каждый готовится к самому худшему».

Антоний. Поистине скифская проповедь.

Адольф. «Первым делом, однако же,— продолжал он,— нужно разгрузить судно. У нужды рука тяжелая. Лучше потерять добро и спасти жизнь, чем погибнуть вместе с добром». Истина живо убеждает: мигом полетели за борт бочки и тюки с дорогими товарами.

Антоний. Почти как в пословице: бросать добро на ветер.

Адольф. Да. С тою лишь разницей, что мы бросали в море. Был среди нас один итальянец; он исполнял должность посла при короле Шотландии. Этот человек вез с собою сундук, полный серебряной посуды, перстней, сукна и шелковой одежды.

Антоний. И он отказывался вступать в сделку с морем?

Адольф. Вот именно. Он желал либо утонуть вместе со своими любимыми сокровищами, либо уцелеть вместе с ними.

Антоний. И что же хозяин судна?

Адольф. «Будь ты один,— объявил он,— так и погибай себе на здоровье вместе со своим имуществом. Но несправедливо, чтобы ради твоего сундука мы все рисковали жизнью. Не согласен — пойдешь на дно вместе с сундуком».

Антоний. Речь истинно корабельная!

А д о л ь ф. Коротко говоря, итальянец последовал общему примеру, проклиная всех богов подряд, за то что доверил свою жизнь столь варварской стихии.

А н т о н и й. Узнаю голос итальянца!

А д о л ь ф. Немного спустя ветер, нисколько не тронутый нашими дарами, оборвал канаты и в клочья изодрал паруса.

А н т о н и й. Ох, беда!

А д о л ь ф. Тут снова подходит к нам хозяин.

А н т о н и й. Опять с проповедью?

А д о л ь ф. Нет, с приветствием. «Друзья,— сказал он,— время велит, чтобы каждый поручил себя богу и приготовился к смерти». Какие-то люди, недурно знакомые с мореходным делом, спросили, сколько часов, по его мнению, можем мы еще продержаться, и он отвечал, что обещать не может ничего, а уж более трех часов ни при каких условиях не обещает.

А н т о н и й. Эта проповедь еще суровее первой.

А д о л ь ф. Закончив разговор с нами, он приказывает рубить все канаты, а мачту спилить у самого гнезда, в которое она вставлена, и вместе с реями сбросить в воду.

А н т о н и й. Зачем?

А д о л ь ф. Затем, что с разодранными парусами или вовсе без парусов она была для судна только обузою; единственной надеждою оставался руль.

А н т о н и й. А что тем временем люди на борту?

А д о л ь ф. Жалостное открылось бы тебе зрелище. Моряки пели «Царицу небесную» и умоляли Приснодеву о помощи, называя ее Звездою над морем, Владычицею небес, Госпожою мира, Вратами спасения и многими иными льстивыми именами, которых Святое писание нигде к Богородице не прилагает.

А н т о н и й. Но что общего у Богородицы Приснодевы с морем? Она, я думаю, никогда и на корабль-то не всходила!

А д о л ь ф. В древности о моряках заботилась Венера: верили, будто она родилась из моря. А когда ее заботам настал конец, Девственная матерь заняла место матери, но не девы.

А н т о н и й. Ты еще шутишь!

А д о л ь ф. Некоторые, распростершись на палубе, молились морю, лили на волны масло, ублажали стихию лестью, будто разгневанного государя.

А н т о н и й. Что же они говорили?

А д о л ь ф. Что говорили? «Море милосерднейшее! море прекраснейшее! утихни! пощади!» Много подобных слов выкрикивали они глухому морю.

Антоний. Смехотворное суеверие! А остальные что?

Адольф. Иные только блевали без передышки, а большинство произносили разные обеты. Был на борту один англичанин, который сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской, если выйдет на берег живым. Одни давали щедрые обещания древу Креста, что хранится в таком-то месте, другие — что в таком-то. То же самое — и Марии Деве, что правит в различных местах: многие считают обет недействительным, если не указано место.

Антоний. Смешно! Как будто святые обитают не в небесах!

Адольф. Были такие, что обещали вступить в картезианский орден. Кто-то клялся отправиться к святому Иакову, что в Компостелле, босиком, с непокрытою головой, в одной кольчуге на голом теле, да еще и питаться по дороге одним подаянием.

Антоний. Неужели никто не вспомнил о святом Христофоре?

Адольф. Христофору — тому, что стоит в Париже, в главном храме, не статуя, а настоящая гора,— кто-то громким голосом (наверное, чтобы святой не прослушал) обещал восковую свечу вышиной с эту самую статую. Когда он, напрягаясь что было сил, прокричал свое обещание во второй и в третий раз, кто-то из знакомцев, по случайности оказавшийся рядом, тронул его за локоть и промолвил: «Опомнись! Что ты делаешь? Даже если ты пустишь с торгов все имущество, тебе не расплатиться!» Тогда тот, уже много тише (на сей раз — чтобы до ушей святого не дошло): «Замолчи, дурак! Неужели ты поверил, что это я от чистого сердца? Дай только выбраться на сушу — он у меня и сального огарка не увидит!» Я слушал и не мог удержаться от смеха.

Антоний. Ах, болван! Наверно, голландец?

Адольф. Нет, зеландец.

Антоний. Удивительно, что никому не пришел на память апостол Павел, который сам плавал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим. «Ведая беды и сам», он, конечно, умеет «приходить на помощь несчастным».

Адольф. К Павлу не взывал никто.

Антоний. А молились?

Адольф. Наперебой! Один тянет «Царицу небесную», другой «Верую». А некоторые бубнили какие-то особенные молитвы, похожие на заклинания.

Антоний. Как горе постоянно обращает нас к благочестию! Покуда все ладно, мы и не вспоминаем ни о боге, ни о ком из святых... Ну, а ты что? Тоже давал обеты?

Адольф. Нет, никому.

Антоний. Почему?

Адольф. Я не заключаю сделок со святыми. И правда, что такое эти обеты, как не соглашение на твердых условиях: «дам, если сделаешь» или «сделаю, если сделаешь»? «Дам восковую свечу, если выплыву». «Отправлюсь в Рим, если ты меня спасешь».

Антоний. Но ты просил какого-нибудь святого о защите?

Адольф. Тоже нет.

Антоний. Но отчего же?

Адольф. Небо слишком просторно. Если б я поручил себя кому из святых, скажем, святому Петру,— он, пожалуй, первый услышит, потому что стоит у ворот, — не успел бы он дойти до бога и объяснить ему, в чем моя просьба, как я бы уж и погиб.

Антоний. Ну, хорошо, что ты все-таки делал?

Адольф. Я обратился прямо к Отцу, со словами: «Отче наш, иже еси на небесех». Ни один святой не услышит скорее и не дарует охотнее.

Антоний. А нечистая совесть тебя не останавливала? Ты не боялся взывать к Отцу, которого столько раз оскорблял своими прегрешениями?

Адольф. По правде говоря, мне было очень страшно и очень совестно. Но я ободрился и воспрянул духом, сказав себе так: «Нет отца, настолько гневного, чтобы, видя, как сын тонет в бурном потоке или в озере, не схватил его за волосы и не вытащил на берег». Спокойнее всех, впрочем, вела себя какая-то женщина, кормившая ребенка грудью.

Антоний. И что она?

Адольф. Она одна не вопила, не рыдала, не обещала; она только молилась про себя, прижавши к груди младенца. Судно часто било о камни, и хозяин, опасаясь, как бы оно вдруг не развалилось, распорядился опоясать канатами нос и корму.

Антоний. Жалкая защита.

Адольф. Тут поднимается старик священник, лет примерно шестидесяти; звали его Адам. Он сбрасывает с себя платье, сбрасывает даже башмаки и чулки и, оставшись в одной сорочке, велит, чтобы и мы все последовали его примеру и гото-

вились плыть. И, стоя посреди судна, принимается проповедовать нам из Жерсона — пять истин о пользе исповеди,— и убеждает всех и каждого не отчаиваться в спасении, но и смерти не страшиться. Был тут и монах-доминиканец; они вдвоем исповедали всех, кто желал.

Антоний. А ты исповедался?

Адольф. Я, видя, что все полно смятения, исповедался про себя богу, проклял перед ним свои прегрешения и молил о милосердии.

Антоний. И куда думал попасть в случае гибели?

Адольф. Быть судьею над самим собой я отказался и судить предоставил богу. Но все-таки в душе надеялся на лучшее. Пока это происходит, возвращается к нам хозяин, весь в слезах. «Приготовьтесь! — говорит он.— Еще четверть часа — и судно нам больше не защита». В днище было уже несколько пробоин, в трюм хлынула вода. Немного спустя — новое сообщение: хозяин разглядел вдали колокольню и призывал, чтобы мы молили о помощи святого покровителя этого храма, кто бы он ни был. Все падают ниц и молятся неведомому святому.

Антоний. Если бы вы обратились к нему по имени, может, он бы и услышал.

Адольф. Имени никто не знал. Тем временем хозяин, сколько возможно, держит курс на ту же колокольню. Судно уже разбито, уже глотает воду во многих местах сразу и, наверно, уже рассыпалось бы, если б не канаты, которые его опоясали.

Антоний. Грозное положение.

Адольф. Мы подошли к суше так близко, что нас заметили. Тамошние обитатели толпами высыпали на берег, к самой полосе прибоя, и, размахивая шапками и куртками, вздетыми на длинные шесты, приглашали нас к себе. Они простирали руки к небу и потрясали ими, показывая, что оплакивают нашу участь.

Антоний. Я с нетерпением жду, чем это кончится!

Адольф. Море захватило уже весь корабль, и теперь что на палубе, что за бортом — опасность была одинаковая.

Антоний. Осталась, как говорится, последняя надежда.

Адольф. Скажи лучше: последний час настал. Моряки вычерпывают воду из лодки и спускают ее за борт. В нее хотят попасть все, но моряки, среди страшного замешательства, кричат, что лодка такого множества людей не вместит и чтобы каждый хватал любую деревяшку, какая попадется, и плыл.

Времени на размышления нет. Кто хватает весло, кто багор, кто бочонок, кто лохань, кто доску, и каждый, полагаясь на собственные силы, бросается в волны.

Антоний. А что происходит с тою женщиной, которая одна не вопила?

Адольф. Она самая первая добралась до берега.

Антоний. Как же она сумела?

Адольф. Мы посадили ее на изогнутую доску, привязали покрепче, чтобы не свалилась, и дали в руки дощечку, вместо весла, а потом, пожелав ей удачи, бережно опустили на воду и оттолкнули багром подальше от корабля и от опасности. Левой рукой она держала младенца, правою гребла.

Антоний. Какое мужество в женщине!

Адольф. Под рукою не было уже ничего пригодного, и тогда кто-то сорвал с цоколя деревянное изображение Богородицы, прогнившее, источенное мышами, обнял его и пустился вплавь.

Антоний. Лодка добралась благополучно?

Адольф. Наоборот — утонула первою. А в ней было тридцать человек.

Антоний. Что за беда приключилась?

Адольф. Лодка не успела даже отчалить, как была опрокинута качкою судна.

Антоний. Ох, горе! Ну, а потом?

Адольф. Помогая другим, я чуть было сам не погиб.

Антоний. Каким образом?

Адольф. Ничего плавучего не осталось на мою долю.

Антоний. Вам бы туда пробковой коры.

Адольф. Да, в тех обстоятельствах я предпочел бы грошовую пробку золотому подсвечнику... Я озирался в растерянности и вдруг вспомнил про нижнюю часть мачты, ту, что осталась в гнезде. Вытащить ее один я не мог и кликнул кого-то на помощь. Вдвоем мы вцепились в этот обрубок и поплыли. Я держался за правый край, он за левый. Вдруг на плечи нам взбирается тот священник, что читал проповедь посреди палубы; а был он человек дородный и громадного роста. Мы в ужасе восклицаем: «Кто там третий? Он утопит и себя и нас!» А тот спокойно возражает: «Не бойтесь, места на всех хватит. Бог нам поможет».

Антоний. Почему он так долго не покидал судна?

Адольф. Он должен был сесть в лодку, так же как доминиканец (все уступили это право им), но, хотя они уже исповедались один другому, что-то, по-видимому, упустили

и принялись снова исповедоваться, стоя у борта; возлагают они друг другу руки на голову, а лодка тем временем переворачивается. Это рассказал мне Адам.

Антоний. А что произошло с доминиканцем?

Адольф. Он, как рассказывал тот же Адам, воззвал к помощи святых, потом разделся догола и — в воду.

Антоний. Кого из святых он призывал?

Адольф. Доминика, Фому, Винцентия и какого-то Петра, но в первую очередь поручал себя Катерине Сиенской.

Антоний. Христос ему на память не пришел?

Адольф. Так рассказывал священник.

Антоний. Он бы вернее выплыл, если бы хоть капюшон на себе оставил; а без капюшона — как могла его признать Катерина Сиенская? Но рассказывай дальше о себе.

Адольф. Мы все еще кружились подле судна, которое кружили на месте волны, и ударом руля раздробило бедро тому, кто держался за левый край. Разумеется, он пошел ко дну. Священник, пожелав ему вечного покоя, занял его место и крикнул мне, чтобы я не падал духом, не разжимал рук и шибче двигал ногами. Мы уже вдоволь нахлебались соленой воды. Нептун не только устроил нам соленую ванну, но и соленого питья поднес. Против этого, однако, священник предложил хорошее средство.

Антоний. Какое?

Адольф. Всякий раз, как набегала волна, он подставлял затылок, а рот закрывал.

Антоний. Бодрый, я вижу, старик!

Адольф. Мы плыли уже некоторое время и заметно продвинулись вперед, когда священник, на диво рослый и длинноногий, воскликнул: «Мужайся! Я достаю дно!» Я не смел верить такому счастью. «Мы слишком далеко от берега,— отвечал я,— чтобы на это надеяться».— «Нет, говорит, я чувствую под ногами землю».— «Может, это ящик какой-нибудь, который сюда забросили волны?» — «Нет, говорит, пальцы явно скребут по дну». Мы поплыли еще немного, и он снова нащупал дно. «Ты, говорит, как хочешь, ты сам за себя в ответе, а я доверюсь твердой земле». И, выждав, когда волна отхлынет, он побежал что было духу и сил. Когда же надвинулся новый вал, он обхватил обеими руками колени и, не давши воде смыть себя и унести, скрылся под нею — так ныряют утки. Волна снова отхлынула — он вскочил и снова побежал. Видя, что его затея удалась, я последовал его примеру. На песке стояли люди, сцепившись друг с другом по-

средством длинных жердей и таким образом выдерживая натиск валов, люди всё крепкие, привычные к морю; самый последний протягивал жердь подплывавшему, и как только тот схватится за нее, все отступали к берегу, вытаскивая жертву крушения на сушу. Благодаря этой помощи несколько человек были спасены.

Антоний. Сколько именно?

Адольф. Семеро. Но из них двое умерли, когда их поднесли к огню.

Антоний. А сколько вас было на корабле?

Адольф. Пятьдесят восемь.

Антоний. Ох, какое свирепое море! Хоть бы удовольствовалось десятиной, как священники! Из такого множества вернуть так мало!

Адольф. Тут мы на себе испытали редкостную доброту тамошнего народа: нас всем снабдили — и теплым кровом, и пищею, и одеждой, и деньгами на дорогу, и вдобавок невероятно быстро.

Антоний. А что за народ?

Адольф. Голландцы.

Антоний. Нет народа добрее, а ведь они окружены дикими племенами. Больше, я думаю, испытывать Нептуна не станешь?

Адольф. Нет, разве что бог отнимет у меня рассудок.

Антоний. И я предпочитаю слушать такие истории, чем в них участвовать.

ЗАЕЗЖИЕ ДВОРЫ

Бертульф. Гильом

Бертульф. Почему большинство путников задерживается в Лионе на два-три дня? Я, раз уже пустился в дорогу, не успокоюсь, пока не доберусь до цели.

Гильом. А я — так, наоборот, дивлюсь, как можно расстаться с этим городом.

Бертульф. Да почему ж, в конце концов?

Гильом. Потому что оттуда Одиссею своих спутников не увести бы — там настоящие сирены! В собственном доме никто не найдет такого обхождения, как там — в гостинице.

Бертульф. Я слушаю тебя.

Гильом. У стола всегда, бывало, сидит женщина, развлекающая гостей шутками и забавными рассказами. А женщины там на диво пригожие. Первою является хозяйка с приветствием и с пожеланием, чтобы все были веселы и не бранили угощение, которое им предлагают. Следом приходит дочка, красивая и до того жизнерадостная, что и самого Катона развеселила бы, пожалуй. Разговаривают они с нами не так, как с незнакомыми постояльцами, но словно бы с давними и близкими знакомцами.

Бертульф. Узнаю прославленную французскую учтивость.

Гильом. Но все время оставаться за столом они не могли — надо было и по дому распорядиться, и других гостей встретить и приветствовать,— а потому с нами безотлучно была молоденькая, но весьма острая на язык девица. Она одна легко отражала все наши удары, поддерживая разговор, пока не вернется хозяйская дочка. (Мать была уже в летах.)

Бертульф. Ну, а стол-то был каков? Разговорами ведь не наешься!

Гильом. Роскошный, да и только! Я все удивлялся, как они могут так принимать постояльцев за такую дешевую плату. После еды снова забавляют гостя беседою, чтобы он не скучал. Мне казалось, что я дома, а не на чужбине.

Бертульф. А спальни?

Гильом. В спальне тоже всегда застаешь девушку — улыбчивую, шаловливую, игрунью; она спрашивает, нет ли у тебя грязного платья, и все грязное стирает и отдает чистым. Скажу больше: там не увидишь никого, кроме женщин и девушек, разве что в конюшне мужчины. Впрочем, и в конюшню нередко врывались девушки: они обнимали отъезжающих, прощались с ними до того нежно, точно с братьями или близкими родичами.

Бертульф. Французам, может быть, и к лицу такие нравы, но мне больше по душе мужественная суровость германских обычаев.

Гильом. Мне никогда не случалось повидать Германию. Пожалуйста, не сочти за труд, расскажи, как там принимают постояльца.

Бертульф. Я припомню только то, что видел своими глазами; в иных местах, может, все и по-иному. Итак, подъезжаешь ты к постоялому двору — тебя никто не приветствует: иначе, как бы не подумали, будто гостя обхаживают, а это, по мнению немцев, дело позорное, презренное, недостойное

германской строгости. Кричишь, кричишь — наконец кто-то высовывает голову в окошечко общей залы (чуть не до самого летнего солнцеворота постояльцы бóльшую часть времени проводят в таких залах с печами), точь-в-точь как черепаха, выглядывающая из-под своего панциря. Надо спросить, можно ль остановиться. Если не откажет,— значит, согласен пустить. Спрашиваешь, где конюшня,— молча машет рукою. С лошадью управляйся сам, как умеешь,— никто пальцем не шевельнет, чтобы тебе пособить. Если гостиница из числа известных, в конюшню провожает слуга и даже показывает стойло для коня, самое, впрочем, неудобное. Места получше берегут впрок, для знатных гостей. Чуть вымолвишь словечко поперек — тут же услышишь в ответ: «Не нравится? Ищи себе другую гостиницу». Сено в городах дают неохотно и очень скупо, а платишь почти столько же, сколько за овес. Когда поставишь лошадь и задашь ей корма, идешь в залу как есть — весь грязный, в сапогах, с дорожными пожитками.

Гильом. У французов гостя отводят в комнату, где можно раздеться, высушить одежду у очага, согреться, даже вздремнуть часок-другой, если надумаешь.

Бертульф. Тут — ничего похожего. В зале разуваешь сапоги, обуваешь туфли, меняешь, если хочешь, сорочку, развешиваешь у печки промокшее под дождем платье и сам придвигаешься поближе к огню, чтобы обсушиться. Есть и вода — умыть руки, если кто пожелает,— но обычно такая чистая, что после приходится просить еще воды, чтобы смыть первое умывание.

Гильом. Слава мужам, не избалованным никакими удовольствиями!

Бертульф. Ты прибыл в четвертом часу после полудня, ужинать, однако ж, будешь не раньше девятого, а не то и десятого часа.

Гильом. Почему?

Бертульф. Хозяева ничего не готовят, пока не убедятся, что больше ждать некого: им надо всех обслужить разом.

Гильом. Чтобы отделаться побыстрее и подешевле.

Бертульф. Угадал. И нередко в одну залу набивается человек восемьдесят или девяносто — пешие, конные, торговцы, матросы, возчики, крестьяне, женщины, дети, здоровые, больные...

Гильом. Настоящая общежительная обитель!

Бертульф. Кто расчесывает волосы, кто утирает пот, кто очищает от грязи башмаки или сапоги, кто рыгает чесноком.

Коротко говоря — такое ж смешение языков и лиц, как в старину на Вавилонской башне. Но стоит им заметить чужеземца, одетого почище и побогаче, они так и впиваются в него глазами и глядят, не отрываясь, словно на невиданного заморского зверя; даже и потом, усевшись за ужин, не перестают смотреть, выворачивая шеи и забывая про еду.

Гильом. В Риме, Париже и Венеции никто ничему не изумляется.

Бертульф. Просить что бы то ни было строго-настрого запрещено. Когда уже изрядно стемнеет и больше ждать, по-видимому, некого, входит старый слуга с седой бородою и мрачным лицом, коротко остриженный и неопрятно одетый.

Гильом. Таких бы стариков — римским кардиналам в виночерпии.

Бертульф. Он молча озирает залу, пересчитывает гостей, и, чем их больше, тем жарче разводит огонь в печи, хотя бы жара стояла и на дворе. Это у них главный признак хорошего обхождения — если все истекают потом. Ты не привык к духоте и чуть-чуть приоткрываешь окно, но тут же слышишь: «Затвори!» Если возразишь: «Не могу терпеть»,— услышишь в ответ: «Стало быть, ищи другую гостиницу».

Гильом. На мой взгляд, нет ничего опаснее, как всем вместе — да еще такому множеству! — дышать одной духотою, и тут же принимать пищу, и оставаться долгие часы. Я уж не говорю о чесночной отрыжке, о смрадных ветрах, о гнилом дыхании, но есть люди, страдающие тайными болезнями, и нет ни одной болезни, которая не была бы заразительна. В самом деле, очень многие болеют испанской чесоткой (или французской, как зовут ее еще, потому что она общее достояние всех народов). От них, я думаю, опасность едва ли меньше, чем от прокаженных. Посуди сам, что будет, если начнется повальный мор.

Бертульф. Немцы — храбрецы, они смеются над опасностью и презирают ее.

Гильом. Но их храбрость грозит бедою многим.

Бертульф. Что поделаешь! Так уж у них заведено, а человеку твердому и постоянному несвойственно отступать от заведенного обычая.

Гильом. Но вот для брабантцев, лет двадцать пять назад, не было ничего привычнее общественных бань, а теперь они вывелись повсюду: эта новая чесотка выучила нас не ходить по баням.

Бертульф. Ладно, слушай дальше. Снова является бородатый Ганимед и застилает скатертями столы — сколько находит достаточным по числу гостей. Но, боже бессмертный, скатерти отнюдь не милетские, скорее скажешь, что это сорванная с реи парусина. Потом он разводит гостей по столам, за каждый стол — не менее восьми. Кто знаком с германским обычаем, тут же садится, кому где нравится. Нет никакого различия меж богатым и бедным, меж хозяином и слугою.

Гильом. Вот оно, пресловутое древнее равенство, ныне уничтоженное тиранией. Так, я думаю, жил Христос со своими учениками.

Бертульф. Когда все рассядутся, снова приходит мрачный Ганимед и снова пересчитывает своих подопечных. Он исчезает и, вскоре возвратившись, ставит перед каждым деревянную тарелку, кладет ложку, сработанную из того же серебра, что тарелка, ставит стеклянный стакан, а еще чуть спустя раздает хлеб, который все потихоньку и уминают на досуге, дожидаясь, пока поспеют кушанья. Ведь иной раз так и целый час просидишь.

Гильом. И никто из постояльцев тем временем не торопит, не требует?

Бертульф. Ни один из тех, кто знает тамошние нравы. Наконец приносят вино, но, боже благий, что это за вино! Его бы только софистам пить — такое оно тонкое и едкое. Если кто из гостей попросит — хотя бы и за особую плату — другого вина, сперва сделают вид, будто не слышат, но скроят такую физиономию, словно сейчас прихлопнут надоеду. Если ж ты повторишь свою просьбу, тебе ответят: «У меня стояли и графы и маркизы, и никто никогда не жаловался на мое вино. А ежели не нравится, поищи себе другую гостиницу!» Только знатных господ из своего племени и считают они за людей, и повсюду выставляют напоказ их гербы... Итак, лающему желудку бросили кость. После величавою чередой вносят блюда. Первое — обычно куски хлеба, пропитанные мясным наваром, а если день постный — то овощным. Потом — суп, потом — разогретое мясо или соленая рыба, снова похлебка, снова что-нибудь из твердой пищи, и наконец, когда голод уже основательно укрощен, предлагают жаркое или вареную рыбу. Отказаться невозможно, но тут уже подают в обрез и быстро убирают. Все застолье, стало быть, устраивается по образцу театрального представления, где к игре артистов примешаны хоры; вот и здесь — чередуют жидкие кушанья с густыми, но так, чтобы последнее действие было наилучшим.

Г и л ь о м. Это правило соблюдает и хороший поэт.

Б е р т у л ь ф. Не дай бог, если кто вдруг скажет: «Убери это блюдо — все равно никто уже не ест». Надо сидеть смирно, пока не истечет срок, который хозяин, по-моему, отмеряет клепсидрою. Но вот опять выходит тот бородач или сам хозяин, одетый почти так же, как его слуги, и спрашивает, нет ли у нас каких желаний. Вслед за тем приносят еще вина, получше. В Германии любят пьяниц, и кто выпил всех больше, платит ровно столько же, сколько тот, кто едва пригубил.

Г и л ь о м. Удивительный обычай.

Б е р т у л ь ф. Иной столько в себя вольет, что плата за ужин и половины не покроет. Но прежде чем покончить с застольем, я хотел бы, чтобы ты себе представил, какой страшный поднимается шум и неразбериха, когда все разогреются вином. Одно скажу: оглохнуть можно! В этот момент нередко появляются шуты; нет более гнусной породы людей, но ты не поверишь, какое удовольствие для немцев их мерзкие проделки. Они так поют, галдят, орут, пляшут, топают, что, кажется, вот-вот обрушится потолок и сосед не слышит соседа. Но все уверены, что в этом и состоит радость жизни. И так волей-неволей сидишь до глубокой ночи.

Г и л ь о м. Ну, будет уж про застолье. Слишком оно затянулось, даже мне надоело.

Б е р т у л ь ф. Да, да, кончаю. Наконец убирают сыр, который только тогда им по вкусу, если совсем прогнил и кишит червями, и опять выходит тот бородач с подносом, на котором мелом начерчено несколько кругов и полукругов; поднос ставит на стол, молча и сурово, точно Харон какой-нибудь. Кому знакомы эти знаки, кладут деньги, один за другим, пока поднос не наполнится. Заметив, кто расплатился, бородач молча подсчитывает выручку. Если нет недостачи, кивает головой.

Г и л ь о м. А если больше, чем нужно?

Б е р т у л ь ф. По-видимому, возвращает. Так иногда и случается.

Г и л ь о м. И никто не возражает, что, дескать, расчет несправедливый?

Б е р т у л ь ф. Никто, если он в здравом уме. Потому что тут же услышит в ответ: «Ты еще что за птица? Платишь не больше, чем другие».

Г и л ь о м. Какой грубый народ!

Б е р т у л ь ф. Если кто, уставши с дороги, хочет сразу после еды лечь в постель, ему велят ждать, пока все не отправятся на покой.

Гильом. Мне кажется, будто я вижу Платоново государство.

Бертульф. После каждому показывают его гнездо в спальне, но уж это именно что спальня: кроме кроватей, нет ничего — нечем воспользоваться и украсть нечего.

Гильом. Чисто в спальнях?

Бертульф. Так же чисто, как за столом. Простыни, верно, месяцев по шесть не стирают.

Гильом. А лошади тем временем как?

Бертульф. С ними обходятся так же бесцеремонно, как с их хозяевами.

Гильом. И везде обхождение одинаковое?

Бертульф. Где повежливее, где погрубее, чем я рассказываю, но в общем такое.

Гильом. Хочешь, я тебе расскажу, как принимают постояльцев в той части Италии, что зовется Ломбардией, как в Испании, в Англии, в Уэльсе? Англичане придерживаются нравов отчасти французских, отчасти германских: они ведь смесь из этих двух народов. А валлийцы утверждают, будто они αὐτόχθονες[1] Англии.

Бертульф. Пожалуйста, расскажи. Мне никогда не случалось там побывать.

Гильом. Сейчас недосуг. Хозяин судна велел, чтобы я вернулся к трем часам, если не хочу отстать и остаться, а мои вещи уже на борту. В другой раз будет случай — наговоримся всласть.

ЮНОША И РАСПУТНИЦА

Лукреция. Софроний

Лукреция. Вот славно! Миленький мой Софроний! Наконец-то ты вернулся! Кажется, целый век с тобою не видались! Я едва признала тебя с первого взгляда.

Софроний. Почему, Лукреция?

Лукреция. Потому что уезжал ты безбородый, а возвратился с бородкою. Что с тобой, мое сердечко? Ты какой-то мрачный, не такой, как бывало.

Софроний. Я хочу поговорить с тобою наедине и по душам.

---

[1] коренные жители (*греч.*).

Лукреция. Полно, разве мы не одни, сладкая моя палочка?

Софроний. Давай выберем место поукромнее.

Лукреция. Хорошо, пойдем в дальнюю комнату, если хочешь.

Софроний. Нет, там недостаточно укромно, по-моему.

Лукреция. Откуда вдруг такая застенчивость? Есть у меня покойчик,— я держу там свои наряды,— до того темный, что я едва разгляжу тебя, а ты — меня.

Софроний. Посмотри, нет ли где щелки.

Лукреция. Ни одной.

Софроний. Нет никого поблизости, кто бы мог подслушать?

Лукреция. Даже муха нас не услышит, светик мой. Что же ты медлишь?

Софроний. А от божиих очей мы здесь укроемся?

Лукреция. Никоим образом! Бог все видит.

Софроний. А от ангельских?

Лукреция. От их очей нельзя спрятаться.

Софроний. Как же так получается? Пред очами божиими и в присутствии святых ангелов человек без стыда творит то, что стыдится творить на глазах у людей!

Лукреция. Это что за новости? Ты пришел ко мне проповедь читать? Сперва покройся францисканским капюшоном, взойди на кафедру — тогда и послушаем тебя, бородатенький ты наш.

Софроний. Что ж, и это не счел бы за труд, если бы смог заставить тебя расстаться с твоим образом жизни, не только самым позорным, но и самым несчастным.

Лукреция. Отчего, мой дорогой? Надо как-то сыскивать себе пропитание, и каждого кормит свое искусство. Такое у нас занятие, в нем наш доход.

Софроний. Пожалуйста, Лукреция, хотя бы немного стряхни с души этот хмель и вместе со мною вдумайся в суть дела.

Лукреция. Оставь-ка ты свою проповедь до другого раза, а пока будем жить да радоваться, мой Софроний.

Софроний. Хорошо. Какое бы оно ни было, твое дело, а ты занимаешься им ради прибыли.

Лукреция. Метко сказано.

Софроний. Ну, так убытков ты не понесешь: я заплачу тебе вчетверо, только выслушай меня.

Лукреция. Говори.

Софроний. Прежде всего, ответь мне на такой вопрос: есть женщины, которые тебя ненавидят?

Лукреция. Еще бы! И не одна.

Софроний. И которых ты, в свою очередь, не выносишь.

Лукреция. Как они того и заслуживают!

Софроний. Если б ты могла чем-нибудь им угодить, угодила бы?

Лукреция. Скорее бы ядом их употчевала!

Софроний. Вот ты и рассуди, можешь ли угодить им больше, чем теперь, когда они видят, какую бесчестную и злосчастную жизнь ты ведешь. И можешь ли причинить больше горя тем, кто хочет тебе добра.

Лукреция. Так уж мне выпало на долю.

Софроний. То, что для людей, которых карают ссылкою на далекие острова, на край света, бывает обычно самым мучительным в их наказании, это ты приняла на себя добровольно.

Лукреция. О чем ты говоришь?

Софроний. Разве ты, по собственной воле, не отреклась от всех, кто был тебе дорог,— от отца, матери, братьев, сестер, теток, словом, от всех, с кем тебя связала природа? Они тебя стыдятся, а ты не смеешь показаться им на глаза!

Лукреция. Нет, я просто переменила дорогих и близких, и очень счастливо переменила: было немного, стало очень много, и один из них ты, которого я всегда считала за брата.

Софроний. Брось свои шутки, подумай всерьез, как все у тебя сложилось. Поверь мне, Лукреция: иметь так много друзей — значит, не иметь ни одного. Для тех, кто к тебе ходит, ты не подруга, а подстилка. Посмотри, несчастная, в какую яму ты сама себя столкнула! Христос возлюбил тебя так, что искупил своею кровью и пожелал сделать соучастницею в небесном наследстве, а ты делаешь себя сточною канавой, к которой приходит кто угодно — грязные, гнусные, обсыпанные струпьями, и свою грязь и мерзость сбрасывают в тебя! Если ты еще не заразилась той проказой, которую зовут испанскою чесоткой, все равно тебе ее не миновать. И тогда — нет тебя злополучнее, будь даже все прочее к твоим услугам: богатство, доброе имя... Ты станешь живым трупом! Тебе тяжко было угождать матери — теперь ты в рабынях у подлейшей сводни. Тебе скучно было слушать внушения отца — здесь ты нередко терпишь побои от пьяных и безумных развратников. Лень было трудиться дома, чтобы заработать на пропи-

тание,— здесь какой адский шум приходится переносить, сколько бессонных ночей?

Лукреция. Откуда к нам этот новый проповедник?

Софроний. И вот еще над чем поразмысли. Цвет красоты, который привлекает к тебе любовников, быстро увянет. Что ты тогда будешь делать, несчастная? Любой куче дерьма цена будет выше, чем тебе. Из шлюхи ты станешь сводней. Впрочем, не всем достается такая почесть. А если б и досталась — что может быть преступнее или ближе к злобе диавольской?

Лукреция. Почти все, что ты говоришь, истинная правда, мой Софроний. Но откуда вдруг в тебе эта святость? Ведь среди пустозвонов ты всегда был самый пустой и вздорный. Никто не приходил сюда чаще твоего или в срок более неурочный... Говорят, ты побывал в Риме.

Софроний. Верно.

Лукреция. Но ведь оттуда люди возвращаются хуже, чем уезжают, а ты — наоборот! Каким образом?

Софроний. Сейчас объясню. Я отправился в Рим не с теми намерениями, что остальные. Почти все для того как раз и едут в Рим, чтобы вернуться хуже прежнего; случаев и возможностей для этого в Риме больше чем довольно. Я же пустился в путь с одним достойным человеком и по его совету взял с собою не бутылку, а Новый завет в переводе Эразма.

Лукреция. Эразма? Говорят, он всем еретикам еретик!

Софроний. Разве и здесь уже известно его имя?

Лукреция. Что ты! Только об нем и речи!

Софроний. А ты его видела когда-нибудь?

Лукреция. Никогда. Но хотелось бы взглянуть на того, о ком слышу столько дурного.

Софроний. Вероятно — от дурных.

Лукреция. Наоборот, от очень почтенных.

Софроний. От кого же?

Лукреция. Нельзя открыть.

Софроний. Почему?

Лукреция. Потому что если ты проболтаешься, а до них это дойдет,— прощай немалая доля моих прибытков.

Софроний. Не бойся: я буду нем, как камень.

Лукреция. Придвинь-ка ухо.

Софроний. Глупенькая, к чему это, раз мы одни? Разве, чтобы бог не услышал... Боже бессмертный, да ты, как я посмотрю, благочестивая шлюха, коли помогаешь милостынькой нищим.

Лукреция. От этих нищих мне больше выгоды, чем от вас, богачей.

Софроний. Да, они грабят добрых матерей семейства, чтобы тратиться на шлюх.

Лукреция. Но ты продолжай насчет книги.

Софроний. Да, конечно. В этой книге Павел, который не умеет лгать, внушает мне, что ни блудницам, ни блудникам царства небесного не наследовать. Прочитав слова Павла, я начал рассуждать так: немногого ожидаю я для себя из отцовского наследия, и все же скорее расстался бы со всеми блудницами на свете, только бы отец не лишил меня наследства. Насколько ж больше надо остерегаться, чтобы меня не лишил наследства Отец небесный! Вдобавок, против отца, который от тебя отрекается или лишает тебя наследства, какою-то защитою служат человеческие законы; против бога, отказывающего в наследстве, защиты нет. И я строго-настрого запретил себе иметь дело с блудницами.

Лукреция. Только сможешь ли удержаться...

Софроний. Едва ли не половина воздержности — в искреннем желании быть воздержным. И, наконец, остается в запасе крайнее средство — женитьба. В Риме я обрушил на священника, которому исповедовался, целые авгиевы конюшни. Он пространно и разумно призывал к чистоте души и тела, к чтению священных книг, к частой молитве, к трезвости и умеренности, епитимьи, однако же, не назначил никакой, кроме того, чтобы преклонить колени перед главным алтарем и прочесть «Помилуй мя, боже»; и еще, если хватит денег,— дать первому попавшемуся нищему один флорин. Я удивился: за столько блудных грехов такая ничтожная кара,— но он отвечал очень метко: «Сын мой, если ты поистине раскаиваешься и готов переменить свою жизнь, наказание нисколько меня не занимает, а если будешь упорствовать, сама похоть взыщет с тебя так круто, как ни один священник. Взгляни на меня: глаза гноятся, руки-ноги дрожат, спина скрючена; а в прошлом я был в точности такой блудник, как ты». И я опомнился и образумился.

Лукреция. Стало быть, я потеряла своего Софрония.

Софроний. Наоборот — нашла! До сих пор он погибал, не был другом ни себе, ни тебе. Теперь он поистине тебя любит и жаждет твоего спасения.

Лукреция. Какой же совет ты мне подашь, мой Софроний?

Софроний. Прежде всего — бросить эту жизнь! Ты еще молода, все, что пристало к тебе грязного, смоется. Либо выходи замуж (приданое мы тебе соберем), либо поступай в какую-нибудь обитель, принимающую согрешивших, либо поселись в доме у какой-нибудь уважаемой матери семейства и поручи себя ее попечению и надзору. Я помогу тебе в любой час, когда скажешь.

Лукреция. Пожалуйста, мой Софроний, выбирай ты, а я подчинюсь.

Софроний. Но пока тебе нужно уйти отсюда.

Лукреция. Как? Немедленно?

Софроний. Разве не лучше сегодня, чем завтра, если отлагательство грозит ущербом, а промедление — опасностью?

Лукреция. Но куда я денусь?

Софроний. Собери все свои наряды, и передашь их мне нынче вечером. Мой слуга тайком отнесет вещи к верной и надежной женщине, а несколько спустя я уведу тебя — как бы на прогулку. Ты спрячешься у той женщины и будешь жить на мой счет, покуда я что-нибудь для тебя не придумаю. Долго ждать не придется.

Лукреция. Хорошо, мой Софроний, я целиком полагаюсь на тебя.

Софроний. И никогда об этом не пожалеешь.

ГЕРОНТОЛОГІА, ИЛИ ОХНМА[1]

Евсевий. Пампир. Полигам. Гликион
[Возчики: Хуго и Хендрик]

Евсевий. Это еще что за птички? Если ни душа, ни глаза меня не обманывают,— значит, это старинные мои собутыльники — Пампир, Полигам и Гликион. Ну да, они самые, сидят друг подле дружки!

Пампир. Эй, что уставился стеклянными глазами, колдун,— смотри не сглазь! Ну, подойди поближе, Евсевий!

Полигам. Здравствуй, ненаглядный мой Евсевий!

Гликион. Прими наилучшие пожелания, достойнейший!

Евсевий. Здравствуйте и вы, все разом, потому что всех вас люблю одинаково! Какой бог нас соединил или какой

[1] Разговор стариков, или Повозка *(греч.)*.

случай, еще более благосклонный, чем бог? Ведь мы не встречались ни все вместе, ни по отдельности, по-моему, уже добрых сорок лет. Сам Меркурий своим кадуцеем не мог бы свести нас удачнее! Что вы здесь делаете?

Пампир. Сидим.

Евсевий. Вижу. Но зачем?

Полигам. Дожидаемся повозки, чтобы ехать в Антверпен.

Евсевий. На ярмарку?

Полигам. Конечно. Но скорее поглазеть, чем по делам. Впрочем, есть у каждого и свое дело.

Евсевий. И я туда же. Но что вам помехою, почему не едете?

Полигам. С возчиками никак не сговоримся.

Евсевий. Да, у этих людей нрав нелегкий. А хотите, проведем их?

Полигам. Конечно, если возможно.

Евсевий. Прикинемся, будто сейчас все уйдем пешком.

Полигам. Скорее они поверят, что раки полетят, чем нам, старикам, будто мы пустимся пешие в такой долгий путь.

Гликион. Хотите послушать верное предложение?

Полигам. Еще бы!

Гликион. Сейчас они пьют, и чем дольше будут пить, тем больше риска, что где-нибудь по дороге вывалят нас в грязь.

Полигам. Если желаешь нанять трезвого возчика, надо прийти чуть свет.

Гликион. Чтобы поскорее добраться до Антверпена, сговорим-ка для нас четверых целую повозку. Расход, я думаю, не такой уже страшный. А что потеряем в деньгах, выгадаем в удобствах: будем сидеть свободнее и за общею беседою очень приятно скоротаем время.

Полигам. Гликион правильно советует; добрый попутчик сокращает путь. Да и разговор пойдет откровеннее, почти по греческой пословице, с одною лишь разницей: говорить будем не с воза, а на возу.

Гликион. Уговорился, садитесь. Ах, какая радость, какое удовольствие — после такой долгой разлуки снова довелось свидеться со старыми и самыми близкими когда-то приятелями!

Евсевий. И мне чудится, будто я снова помолодел.

П о л и г а м. Сколько лет прошло, как мы вместе жили в Париже?

Е в с е в и й. Если я не сбился со счета, не меньше сорока двух.

П а м п и р. Тогда мы все выглядели ровесниками.

Е в с е в и й. Да мы примерно и были в одних годах, а если и была разница, то самая незначительная.

П а м п и р. А теперь какое различие! Гликион совсем не состарился, зато Полигама можно принять за его дедушку!

Е в с е в и й. Да, так оно и есть. В чем же дело?

П а м п и р. В чем дело? Либо один остановил колесницу и стоял на месте, либо другой вырвался далеко вперед.

Е в с е в и й. Ну нет,— как бы люди ни медлили, годы бегут без остановки.

П о л и г а м. Скажи по совести, Гликион, сколько лет у тебя за плечами?

Г л и к и о н. Больше, чем дукатов в кошельке.

П о л и г а м. Сколько все-таки?

Г л и к и о н. Шестьдесят шесть.

Е в с е в и й. Поистине Τυφωνοῦ γῆρας[1], как говорится!

П о л и г а м. Но какими же средствами ты задержал старость? Ни седины нет, ни морщин, глаза блестят, все зубы целы, лицо свежее, тело как налитое!

Г л и к и о н. Я открою свои средства, но при одном условии — чтобы и ты открыл свои, которыми пришпорил старость.

П о л и г а м. Хорошо, согласен. Итак, из Парижа ты куда направился?

Г л и к и о н. Прямо на родину. С год побездельничал, а после задумался, какой образ жизни для себя избрать. От этого выбора, я уверен, зависит очень многое. И вот я приглядывался, что приносит людям удачу, а что нет.

П о л и г а м. Сколько в тебе разума оказалось — прямо удивительно! Ведь в Париже не было никого ветренее тебя.

Г л и к и о н. Тогда возраст позволял. И вдобавок, мой дорогой, не без чужой помощи принялся я дома за дела.

П о л и г а м. То-то я подивился.

Г л и к и о н. Прежде чем к чему бы то ни было приступить, я советовался с одним из наших горожан, человеком

---

[1] Тифонова старость *(греч.)*.

пожилым и многоопытным, безупречно честным, по единодушному свидетельству всего города, а по моему мнению — и на редкость счастливым.

П о л и г а м. Умница!

Г л и к и о н. По его совету я женился.

П о л и г а м. Взял с хорошим приданым?

Г л и к и о н. Нет, не очень богатую и в точности по пословице — τὴν κατ' ἐμαυτόν:[1] я тоже был небогат. Все вышло как раз так, как мне хотелось.

П о л и г а м. Сколько лет тебе было?

Г л и к и о н. Около двадцати двух.

П о л и г а м. Счастливец!

Г л и к и о н. Не думай, однако ж, будто я целиком в долгу у счастливого случая.

П о л и г а м. То есть как?

Г л и к и о н. Сейчас объясню. Другие, кого полюбят, ту и выберут, а я сперва выбрал по здравому размышлению, а потом уж полюбил, да и женился не ради удовольствия, а ради потомства. Жили мы с нею душа в душу, но прожили лет восемь, не больше.

П о л и г а м. И ты остался бобылем?

Г л и к и о н. Какой там — с четверкою ребятишек: двое сыновей и две дочери.

П о л и г а м. Исполняешь ли какую-нибудь должность или в общих делах не участвуешь?

Г л и к и о н. Общественная должность у меня есть. Могла быть и поважнее, но я выбрал такую, чтобы придавала мне весу лишь настолько, насколько необходимо, зато и хлопот бы доставляла как можно меньше. Таким образом, никто не может меня упрекнуть, что я живу только для себя; а случается, что и помощь могу оказать друзьям. Этим я довольствуюсь и ничего большего никогда не искал. А должность свою всегда исправлял так, чтобы прибавить ей весу и значения. На мой взгляд, это куда пристойнее, чем придавать себе весу за счет высокой должности.

Е в с е в и й. Совершенно справедливо!

Г л и к и о н. Так я и состарился среди своих земляков, окруженный общею любовью.

Е в с е в и й. Это до крайности трудно, если только не попусту сказано: «У кого нет врагов, у того и друга быть не может». И еще: «Зависть — всегдашняя спутница удачи».

---

[1] себе ровню *(греч.)*.

Г л и к и о н. Зависть обычно сопутствует крупной удаче, умеренность всегда в безопасности. И потом, я постоянно заботился, чтобы моя выгода не была следствием чужой невыгоды. Я всегда ценил то, что греки называют ἀπραξίαν[1]. Никогда не вмешивался ни в какие хлопоты, но особенно сторонился таких, которые нельзя было принять на себя без обиды для многих. И если нужно помочь другу, я помогаю так, чтобы никто по этой причине не сделался моим недругом. А если возникнет вражда, я либо утишаю ее извинениями, либо гашу услугами, либо делаю вид, что ничего не замечаю, и жду, пока она сама захиреет. От спора всегда уклоняюсь: если случается спор, предпочитаю жертвовать имуществом, но не дружбою. И вообще играю роль некоего Митиона-Миролюбца: никого не браню, всем улыбаюсь, всех ласково приветствую, ничьим намерениям не противоречу, ничьих правил или поступков не осуждаю, ни перед кем не чванюсь, согласен, что каждому всего краше свое. Что хочу сохранить в молчании, того не доверяю никому. В чужие тайны проникнуть не стараюсь, а если что узнаю случайно, никогда не выболтаю. Об отсутствующих либо молчу, либо говорю дружелюбно и вежливо: бóльшая часть раздоров между людьми рождается от невоздержности на язык. Чужих ссор не возбуждаю и не раздуваю, но, если только открывается случай, мирю врагов или хотя бы смягчаю их вражду. Такими приемами я до сих пор избегал ненависти сограждан и поддерживал их благоволение.

П а м п и р. А без жены не тяжко?

Г л и к и о н. За всю жизнь не было у меня потери горше, чем смерть супруги. Я бы так хотел, чтобы мы состарились вместе и вместе радовались, глядя на наших детей. Но раз вышние боги определили по-иному, я решил, что так оно лучше для нас обоих; незачем, рассудил я, терзать себя пустою печалью, тем более что усопшей от этого пользы никакой.

П о л и г а м. И никогда не приступало желание попытать счастья еще раз, тем более что первый брак был такой счастливый?

Г л и к и о н. Приступало, но ради детей я женился и не женился тоже ради них.

П о л и г а м. Но ведь это жалости достойно — лежать в постели одному все ночи подряд!

Г л и к и о н. При желании ничто не трудно. А потом, сочти, сколько выгод в одиночестве. Есть люди, которые во

[1] досуг *(греч.)*.

всем отыскивают одни неудобства, таков, по-видимому, был и Кратет, которому приписывается эпиграмма, исчисляющая житейские бедствия; не мудрено, что этим людям по сердцу его слова: «Самое лучшее — не родиться вовсе». Мне ближе и милее Метродор, выискивающий повсюду, что есть хорошего: так жизнь слаще. Вот и я тоже так настроил душу, чтобы ничего слишком не домогаться, ни к чему не питать слишком горячей неприязни. Тогда если что случается доброго, я не зазнаюсь и не чванюсь, а если что ускользнет из рук, не очень страдаю.

П а м п и р. Да ты истинный философ, почище самого Фалеса, ежели на это способен!

Г л и к и о н. Если душа омрачится неприятным чувством, а это в жизни смертных бывает очень нередко, я решительно гоню его прочь, будь то гнев или незаслуженная обида.

П о л и г а м. Но есть такие обиды, которые и самого кроткого приведут в негодование; частый тому пример — грубость слуг.

Г л и к и о н. Я ничему не позволяю засесть в душе надолго. Если можно исправить дело, исправляю, а если нет, говорю себе: «Что мне за польза хмуриться и злиться — ведь от этого к лучшему ничего не переменится». Иначе говоря, я позволяю разуму быстро добиться от меня того признания, которого спустя немного все равно добьется время. Право, нет такого огорчения, которому я позволил бы лечь со мною в постель.

Е в с е в и й. Ничего удивительного, что ты не стареешь, храня такое расположение духа.

Г л и к и о н. И еще призна́юсь (чтобы не утаить от друзей ничего): я всегда особенно остерегался любого бесчестного поступка, который мог бы опозорить меня или моих детей. Нет ничего беспокойнее нечистой совести. Если чувствую за собой какую-нибудь вину, не лягу спать, пока не примирюсь с богом. Источник подлинной безмятежности, или, если выразиться по-гречески, εὐθυμίας — это согласие с богом. Тем, кто ведет такую жизнь, и люди бессильны повредить всерьез.

Е в с е в и й. А страх смерти никогда не мучит?

Г л и к и о н. Не в большей степени, чем заботит день рождения. Я знаю, что смерти не миновать. Страх перед нею может, пожалуй, отнять несколько дней жизни, но прибавить, во всяком случае, ничего не может. Пусть уж об этом тревожатся боги; а я тревожусь лишь об одном — чтобы жить достойно и приятно. Ибо лишь тогда жизнь приятна, когда она достойна.

П а м п и р. Но я бы состарился от скуки, если бы провел столько лет в одном городе безвыездно, доведись мне жить хотя бы и в Риме!

Г л и к и о н. Конечно, перемена мест — немалое удовольствие, однако же дальние путешествия не только прибавляют знаний, но и чреваты бесчисленными опасностями. Мне представляется более надежным объезжать мир по карте, и думается, что из сочинений историков я узнал и увидел даже и побольше, чем если б, следуя примеру Улисса, целых двадцать лет носился по всем морям и землям. Есть у меня именьице, не дальше чем в двух милях от города. Там время от времени из горожанина я становлюсь мужиком и, отдохнувши, возвращаюсь в город незнакомцем, чужеземцем — принимаю приветствия и отвечаю на них так, словно приплыл домой с недавно открытых островов.

Е в с е в и й. А лекарствами здоровье не укрепляешь?

Г л и к и о н. С врачами знакомство не вожу. Никогда не отворял себе кровь, не глотал пилюль, не пил отваров. Если вдруг почувствую слабость, гоню ее прочь умеренностью в пище или деревенским воздухом.

Е в с е в и й. А ученые занятия совсем забросил?

Г л и к и о н. Нет, ведь это первая услада в жизни. Но я именно что услаждаю, а не изнуряю себя занятиями. Впрочем, для удовольствия ли я занимаюсь или для житейской пользы, главное — что не напоказ. После еды либо сам читаю, либо слушаю чтеца и никогда не провожу за книгами больше часа; потом поднимаюсь, беру лютню и, медленно прогуливаясь по комнате, напеваю или повторяю про себя то, что прочел, а если рядом случится гость, пересказываю ему; потом возвращаюсь к книге.

Е в с е в и й. Скажи мне по чести, неужели ты не ощущаешь ни одной из тягот старости, которым, как говорится, числа нет?

Г л и к и о н. Сон стал похуже, память не такая цепкая, если нарочно не напрягать. Ну, вот я и сдержал слово — открыл вам все магические средства, которыми поддерживаю свою молодость. Теперь пусть Полигам так же откровенно поведает, откуда к нему такая ранняя старость.

П о л и г а м. От верных друзей ничего не скрою.

Е в с е в и й. К тому же дальше наших ушей твой рассказ не уйдет.

П о л и г а м. Как мало отвращения к Эпикуру испытывали мы в Париже, вы знаете сами.

Евсевий. Да, помним, конечно. Но мы полагали, что эти замашки ты оставил в Париже вместе с юностью.

Полигам. Из многих девчонок, которых я там любил, одну я увез с собою домой. Она была беременна.

Евсевий. И привез в отцовский дом?

Полигам. Прямехонько! Но солгал, будто это супруга кого-то из моих друзей и он вскоре за нею приедет.

Евсевий. И отец поверил?

Полигам. Четырех дней не прошло, как он уже все пронюхал. Пошли жестокие ссоры. Но и тем временем я не переставал таскаться по пирушкам, играть в кости и вообще не потерял вкуса к низменным забавам. Что много говорить? Отец бранился, не умолкая, кричал, что не желает кормить этаких курочек-француженок в своем доме, и все угрожал родительским проклятием,— тогда я ушел в изгнание: вместе с курочкою переселился петушок в другой город. А она мне родила нескольких цыплят.

Пампир. А деньги откуда брались?

Полигам. Кое-что потихоньку давала мать, а кроме того, долгов наделал уйму.

Евсевий. И еще находились такие дураки, чтобы ссужать тебе в долг?

Полигам. Есть люди, которые никому не ссужают с большей охотою.

Пампир. И что же в конце концов?

Полигам. В конце концов, когда отец уже не на шутку готов был меня проклясть, вмешались друзья и примирили воюющих на тех условиях, чтобы я взял в жены девушку из нашего города, а с француженкою развелся.

Евсевий. А она была тебе женой?

Полигам. Уговаривались мы с нею на будущее, но в одну постель легли не откладывая.

Евсевий. Как же удалось с нею развестись?

Полигам. После я узнал, что у моей француженки есть муж-француз, от которого она сбежала.

Евсевий. Значит, теперь ты женат?

Полигам. Женат. В восьмой раз.

Евсевий. В восьмой? Да, вещее дали тебе имя, Полигам — Многоженец. Верно, все жены умирали бездетными?

Полигам. Наоборот, не было ни одной, чтобы не оставила щенят в моем дому.

Евсевий. По мне — так лучше восемь несушек, чтобы клали яйца в моем дому. И не надоела тебе полигамия?

П о л и г а м. До того надоела, что умри нынче эта восьмая, я б послезавтра взял девятую. Нет, мне только одно досадно,— что нельзя иметь по две или по три жены разом, а у петуха вон сколько кур под началом — и пожалуйста.

Е в с е в и й. Теперь я не удивляюсь, петух, что ты такой тощий и такой старый. Ничто так не подгоняет старость, как разнузданное пьянство, неумеренность в любовных удовольствиях и ненасытная похоть. Кто же, однако, кормит твою семью?

П о л и г а м. После смерти родителей осталось скромное состояние, и сам работаю не покладая рук.

Е в с е в и й. С науками, стало быть, распрощался бесповоротно?

П о л и г а м. Да, как говорится, с коня пересел на осла, семь свободных искусств променял на одно ремесло.

Е в с е в и й. Бедный, столько раз ты вдовел, столько раз носил траур!

П о л и г а м. Никогда я не вдовел дольше десяти дней, и всегда новая супруга освобождала меня от старого траура. Вот вам, честно и откровенно, итог моей жизни. Теперь хорошо бы, если бы и Пампир рассказал нам свою историю. Ему преклонный возраст, как видно, не в обузу, а ведь, если не ошибаюсь, он на два или три года старше моего.

П а м п и р. Конечно, расскажу, раз нечем заполнить досуг, кроме как этаким вздором.

Е в с е в и й. Что ты! Нам будет приятно тебя послушать.

П а м п и р. Едва я вернулся домой, тут же старик-отец принялся требовать, чтобы я приискал себе какое-нибудь доходное занятие, и после долгих обсуждений я выбрал торговлю.

П о л и г а м. Странно, что такой образ жизни привлек тебя больше всякого другого.

П а м п и р. От природы я был жаден до новых впечатлений, хотел увидеть чужие земли и города, узнать чужие языки и нравы, а наилучшие возможности для этого давала, как мне казалось, торговля. К тому ж из обилия новых сведений рождается опытность, благоразумие.

П о л и г а м. Но горестное благоразумие: ведь за него большею частью надо платить слишком дорого.

П а м п и р. Не спорю. Итак, отец отсчитал мне изрядную сумму, чтобы, с изволения Геркулеса и с милостивой поддержкою Меркурия, я приступил к делу. Одновременно стали мне сватать невесту с громадным приданым и такую красавицу, что она и бесприданницею могла бы выйти за кого угодно.

Е в с е в и й. И успешно ты торговал?

Пампир. Так успешно, что не довез до дому ни барыша, ни отцовской ссуды.

Евсевий. В кораблекрушение, верно, попал.

Пампир. Да, в кораблекрушение. Наскочили на утес, губительнее всякой Малеи.

Евсевий. В каком море этот утес и как он зовется?

Пампир. Море назвать тебе не могу, а утес, печально прославленный гибелью многих и многих, зовется по-латыни «Кости». Как вы именуете его по-гречески, не знаю.

Евсевий. Ах ты глупец!

Пампир. Но еще глупее мой родитель, который доверил столько денег мальчишке.

Гликион. Что же ты сделал потом?

Пампир. Делать уже было нечего, и я стал подумывать, не удавиться ли мне.

Гликион. Неужели отец был совершенно неумолим? Ведь деньги можно и снова нажить, а первая провинность всегда и повсюду прощается.

Пампир. Ты, вероятно, прав, но тем временем я, несчастный, лишился невесты. Родители девушки, как узнали, с чего я начал, тут же расторгли помолвку. Я был влюблен без памяти.

Гликион. Жаль мне тебя. И что ты решил?

Пампир. Что остается решать, когда все пропало? Отец меня проклял, деньги погибли, отовсюду я только и слышал: «Кутила! Мот! Расточитель!» Коротко говоря, я всерьез раздумывал, удавиться мне или уйти в монастырь.

Евсевий. Жестокое решение. Но я вижу, что ты выбрал смерть помягче.

Пампир. Наоборот, я выбрал то, что мне казалось тогда самым жестоким: до такой степени я себя ненавидел.

Гликион. А ведь очень многие уходят в монастырь, чтобы жить сладко и беззаботно.

Пампир. Наскреб я денег на дорогу и тайно бежал подальше от отечества.

Гликион. Куда именно?

Пампир. В Ирландию. Там я сделался каноником, из числа тех, что снаружи льняные, внутри шерстяные.

Гликион. Значит, там и зимовал, спрятавшись от холода в шерсти?

Пампир. Нет, побыл с ними два месяца и уплыл в Шотландию.

Гликион. Что тебе у них не понравилось?

Пампир. Только одно: устав, на мой взгляд, был слишком мягок — не по заслугам тому, кому надо бы удавиться, и не один раз.

Евсевий. Что ты назначил себе в Шотландии?

Пампир. Из льняного обернулся кожаным — у картезианцев.

Евсевий. Эти люди полностью умерли для мира.

Пампир. Да, так мне представлялось, когда я слышал их песнопения.

Гликион. Как? Они и после смерти поют? Сколько месяцев ты провел у этих шотландцев?

Пампир. Без малого шесть.

Гликион. Каково постоянство!

Евсевий. Что тебе там пришлось не по нраву?

Пампир. Их жизнь показалась мне слишком вялой и медлительной. Вдобавок, я повстречал многих, пошатнувшихся в уме,— от одиночества, я полагаю. А я и сам не слишком-то был тверд в уме и опасался, как бы совсем не спятить.

Полигам. И куда ты улетел?

Пампир. Во Францию. Там я нашел монахов, черных с головы до пят,— из ордена святого Бенедикта. Цветом платья они свидетельствовали, что погружены в траур в этом мире. Среди них были и такие, что вместо верхнего платья надевали рубаху из козьей шерсти, редкую, вроде сети.

Гликион. Тяжкое истязание плоти!

Пампир. У них я оставался одиннадцать месяцев.

Евсевий. А что помешало остаться навсегда?

Пампир. Я нашел у них больше пустых церемоний, чем истинного благочестия. Кроме того, я слыхал, что есть другие, которые живут намного более свято; их вернул к строгим правилам Бернард, темное платье они переменили на белое. Там я провел десять месяцев.

Евсевий. И что не понравилось?

Пампир. Ничего в особенности; они оказались добрыми товарищами. Но не давала покоя греческая пословица: «Δεῖ τὰς χελώνας ἢ φαγεῖν, ἢ μὴ φαγεῖν»[1]. И я решил либо вообще не быть монахом, либо стать образцовым монахом. Знал я, что существуют некие бригиттинцы, люди словно с небес спустившиеся, к ним я и направился.

Евсевий. И сколько месяцев пробыл?

Пампир. Два дня, да и то неполных.

---

[1] «Черепашье мясо либо ешь досыта, либо не ешь вовсе» *(греч.)*.

Г л и к и о н. Так полюбился тебе их образ жизни?

П а м п и р. Они принимают только тех, кто сразу связывает себя обетом. А я еще не настолько лишился рассудка, чтобы покорно надеть узду, которую после никогда уже не сбросишь. И всякий раз, как я слышал пение монахинь, сердце терзала память о потерянной невесте.

Г л и к и о н. А потом что?

П а м п и р. Душа алкала чистоты и нигде не могла насытиться. Странствуя, набрел я как-то на крестоносную братию. Знамение креста очень меня привлекало, но пестрота затрудняла выбор: на одних был белый крест, на других зеленый, на третьих разноцветный; у одних простой, у других двойной, у иных даже четверной и всевозможных иных очертаний. Чтобы ничего не пропустить, я перепробовал почти все. Но на деле убедился, что носить крест на плаще или на рубахе — это одно, а в сердце — совсем-совсем другое. Наконец, истомившись в поисках, я рассудил так: чтобы ухватить всю святость разом, подамся-ка я в Святую землю и вернусь домой, сгибаясь под грузом святости.

П о л и г а м. И отправился в Святую землю?

П а м п и р. Конечно!

П о л и г а м. А деньги на дорогу откуда?

П а м п и р. Удивительно, что тебе только сейчас пришло в голову спросить про деньги, а не гораздо раньше. Но ведь ты знаешь пословицу: «Τὸ τέχνιον πᾶσα γῆ τρέφει» [1].

Г л и к и о н. Что же это за искусство или ремесло, которое ты с собою носил?

П а м п и р. Хиромантия.

Г л и к и о н. Где ты ее изучил?

П а м п и р. Что тебе за разница!

Г л и к и о н. А кто был твоим наставником?

П а м п и р. Тот, кто всему научит,— пустой желудок. Я открывал прошедшее, будущее и настоящее.

Г л и к и о н. И действительно знал?

П а м п и р. Ничего подобного! Но угадывал смело и, вдобавок, ничем не рискуя, потому что плату брал вперед.

П о л и г а м. И этакое смехотворное ремесло могло тебя прокормить?

П а м п и р. Могло, и даже не одного, а с двумя слугами. Так много повсюду дураков и дур. Но на пути в Иерусалим я пристроился к свите одного богатого вельможи; ему было

[1] «Искусство повсюду прокормит» *(греч.)*.

уже семьдесят лет, и он вбил себе в голову, что не сможет умереть спокойно, если не посетит наперед Иерусалим.

Евсевий. А дома оставил жену?

Пампир. И шестерых детей.

Евсевий. Ох, нечестивое благочестие! Но ты и вправду возвратился святым?

Пампир. Сказать тебе правду? Еще хуже, чем уехал.

Евсевий. Стало быть, сколько я понимаю, любовь к святости улетучилась?

Пампир. Наоборот, разгорелась еще жарче. Я вернулся в Италию и поступил в военную службу.

Евсевий. Вот как ты охотился за благочестием — на войне? Но что может быть преступнее войны?

Пампир. Тогда шла святая борьба.

Евсевий. С турками, наверно?

Пампир. Нет, еще более святая, как нам внушали.

Евсевий. Какая же?

Пампир. Юлий Второй бился с французами. Кроме того, военная служба соблазняла меня возможностью многое узнать.

Евсевий. Многое, но дурное.

Пампир. Это я понял впоследствии. И вдобавок — военная жизнь суровее монастырской.

Евсевий. Ну, а затем что?

Пампир. Я уже начинал колебаться: то ли снова вернуться к торговле, то ли продолжать погоню за неуловимою святостью. И вдруг я подумал: а нельзя ли их соединить?

Евсевий. Как? Чтобы быть и купцом и монахом одновременно?

Пампир. Вот именно. Нет ничего благочестивее нищенствующих орденов и, вместе с тем, ничего более сходного с торговою братией. Они скитаются по всем морям и землям, многое видят и слышат, вхожи во все дома — и к простолюдинам, и к знати, и к царям.

Евсевий. Да, но они не торгуют.

Пампир. Нередко еще и поудачливее нашего.

Евсевий. И какой орден ты выбрал?

Пампир. Все перебрал.

Евсевий. И ни один не понравился?

Пампир. Наоборот, все очень понравились, да только нельзя было сразу пуститься в торговлю. Я нисколько не сомневался, что очень долго придется драть глотку в хоре, прежде чем мне доверят настоящее дело. Тогда я стал думать,

как бы поймать на крючок должность аббата. Но, во-первых, Делия благосклонна не ко всем, а во-вторых, такая ловля часто затягивается надолго. И вот, растратив таким образом восемь лет, я вдруг получаю весть о смерти отца и еду домой. По совету матери я женился и опять принялся за торговлю.

Г л и к и о н. Объясни мне, пожалуйста: ты столько раз менял платье и словно бы превращался в новое, иное, чем раньше, существо,— как же тебе удалось сохранить собственное лицо?

П а м п и р. В точности так же, как актерам, которые за одно представление нередко меняют по нескольку масок.

Е в с е в и й. Нет такого образа жизни, которого бы ты не испытал,— так скажи честно, какой из них, по-твоему, всего лучше?

П а м п и р. Не всякому годится всё подряд. Что до меня, то нынешняя моя жизнь для меня самая лучшая.

Е в с е в и й. Но торговля сопряжена со многими неудобствами.

П а м п и р. Это так. Но ведь ни один образ жизни не свободен от неудобств. Я стараюсь украсить ту Спарту, которая выпала мне на долю... Теперь остался Евсевий. Он, конечно, не сочтет за труд показать друзьям какую-нибудь сцену из своей жизни.

Е в с е в и й. Хотя бы и всю комедию, ежели угодно. Действий в ней не много.

Г л и к и о н. Нам будет очень приятно.

Е в с е в и й. Возвратившись к себе в город, я год раздумывал, какой образ жизни хотелось бы мне избрать, и вместе с тем изучал себя самого — к какой жизни я склонен или пригоден. Тем временем предложили мне бенефиций (так это у них зовется), и довольно доходный; я его принял.

Г л и к и о н. Эта жизнь у большинства людей пользуется недоброй славой.

Е в с е в и й. А по-моему, если судить здраво, она вполне привлекательна и даже завидна. Как вы полагаете — разве это не удача, и к тому же большая, если, точно с небес, на тебя сыплется столько благ и преимуществ — высокое положение, красивый и хорошо устроенный дом, изрядный годовой доход, почетный круг друзей, наконец, храм, в котором ты всегда волен молиться и служить богу?

П а м п и р. Мне в священниках отвратительны роскошь и постыдная привязанность к сожительницам. И еще то, что почти все они — враги наук.

Евсевий. Я не на то смотрю, как поступают другие, а на то, как должно поступать мне. И присоединяюсь к лучшим, раз уже не могу исправить худших.

Полигам. Так ты и прожил все эти годы?

Евсевий. Да, не считая четырех лет, которые провел в Падуе.

Полигам. Зачем?

Евсевий. Полтора года посвятил занятиям медициной, остальное время — богословию.

Полигам. Это еще к чему?

Евсевий. Чтобы лучше управлять собственной душою и телом, а иногда и друзьям приносить помощь. Я ведь и проповедую иногда в меру своего ума. Вот как я живу, очень тихо и спокойно, довольствуясь единственным бенефицием, ничего сверх этого не ищу, а если бы и предложили, то отказался бы.

Пампир. Если бы узнать, что поделывают остальные наши товарищи, с которыми мы были дружны в ту пору!

Евсевий. О некоторых я кое-что мог бы рассказать. Но смотри-ка, мы уже подъезжаем к городу! Знаете что? Остановимся-ка все в одной гостинице и там, на досуге, поговорим всласть обо всех старых приятелях.

Возчик Хуго. Эй, ты, кривой, где только такую пакость подобрал наместо поклажи?

Возчик Хендрик. Нет, ты сперва скажи, куда везешь этот бардак, пропойца несчастный!

Хуго. Надо было этих остылых старикашек вывалить где-нибудь в крапиву, чтобы разгорячились.

Хендрик. Нет, уж ты сперва позаботься опрокинуть свою ораву в какую-нибудь топь поглубже — пусть остынут, а то слишком уж горячие.

Хуго. Этого у меня в заводе нет, чтобы опрокидывать кладь.

Хендрик. Нет? А почему ж я видел недавно, как ты вышвырнул шестерых картезианцев прямо в трясину, так что падали белыми, а поднялись черными? А ты еще хохотал, будто подвиг какой совершил.

Хуго. И поделом: они всё храпели и чуть было не раздавили мою повозку — такие, право, тяжелые.

Хендрик. А мои старики чудо как облегчают повозку — всю дорогу болтали без умолку. Никогда лучше не встречал!

Х у г о. Но ведь ты обыкновенно этаких седоков не жалуешь.

Х е н д р и к. Да, но это хорошие старикашки.

Х у г о. С чего ты взял?

Х е н д р и к. А с того, что они три раза подносили мне пива, да какого забористого!

Х у г о. Ха-ха-ха! Ну, тогда так — *тебе* они хороши.

ΠΤΩΧΟΠΛΟΥΣΙΟΙ[1]

Конрад. Бернардин. Пастырь. Хозяин. Хозяйка

К о н р а д. Но пастырю приличествует гостеприимство!

П а с т ы р ь. Я овчий пастырь и волков не люблю.

К о н р а д. Но к распутным волчихам, уж верно, относишься помягче. За что, однако, такая неприязнь к нам? Даже в ночлеге нам отказываешь!

П а с т ы р ь. Изволь, скажу: если вы углядите в моем доме курочку или птенчиков, завтра ж за проповедью выставите меня прихожанам на посмеяние. Вот всегдашняя ваша благодарность за гостеприимство.

К о н р а д. Не все мы одинаковы.

П а с т ы р ь. Будьте себе хоть самые распрекрасные — я бы, пожалуй, и святому Петру не доверился, если бы он явился ко мне в таком наряде.

К о н р а д. Ну, коли так, укажи, по крайней мере, где еще можно пристать на ночь.

П а с т ы р ь. В селе есть заезжий двор.

К о н р а д. Под каким знаком?

П а с т ы р ь. На вывеске увидите собаку, уткнувшую нос в горшок; дело происходит на кухне. И еще: у счетной доски сидит волк.

К о н р а д. Знак недобрый.

П а с т ы р ь. Приятного вам отдохновения.

Б е р н а р д и н. Что за пастырь такой? Хоть голодом помри — ему все равно!

К о н р а д. Да, если он и овец своих пасет не лучше, не очень-то они, должно быть, тучные.

---

[1] Нищие богачи *(греч.)*.

Бернардин. В дурных обстоятельствах необходимо доброе решение. Что нам делать?

Конрад. Надо отбросить робость.

Бернардин. Верно! Коли нужда придавила — стыд не на пользу.

Конрад. Даже во вред. Помогай нам святой Франциск!

Бернардин. В добрый час!

Конрад. Не будем ждать ответа у дверей, но вломимся прямо в залу и уж не уйдем, даже если станут гнать.

Бернардин. Ужасная все-таки наглость!

Конрад. Но лучше так, чем всю ночь трястись под открытым небом и закоченеть насмерть! Спрячь пока стыд в суму — завтра достанешь, если понадобится.

Бернардин. Конечно, раз иного выхода нет.

Хозяин. Кого я вижу — неведомых каких-то животных!

Конрад. Мы рабы божии, сыны святого Франциска, достойнейший муж.

Хозяин. Доволен ли бог такими рабами, не знаю, но у меня в доме пусть бывают пореже.

Конрад. Почему?

Хозяин. Потому что в жранье и питье вы любого за пояс заткнете, а как работать — так у вас ни рук нет, ни ног. Эй, сыночки святого Франциска, вы ведь всегда твердите, что он был девственник, откуда ж у него столько детей?

Конрад. Мы по духу сыновья, не по плоти.

Хозяин. Неудачливый, значит, он родитель, потому что самое скверное в вас — это дух. А телом вы даже чересчур здоровы, больше, чем хотелось бы нам, у кого на попечении дочери и молодые жены.

Конрад. Ты, видимо, подозреваешь, что мы из тех, которые изменили правилам нашего прародителя? Нет, мы — наблюдающие устав.

Хозяин. Вот и я буду наблюдать, как бы вы чего не напакостили. Терпеть не могу вашу породу, ненавижу!

Конрад. За что, объясни, сделай милость!

Хозяин. За то, что зубы у вас всегда наготове, а деньги — никогда. Такой гость мне противнее любого прочего.

Конрад. Но ведь мы трудимся вам на благо.

Хозяин. Хотите, любезные, покажу вам, как вы трудитесь?

К о н р а д. Покажи.

Х о з я и н. Взгляните на картинку слева, самую ближнюю к вам: видите? — лисица произносит проповедь, но за спиной у нее из капюшона вытянул шею гусь. А тут волк отпускает исповедавшемуся грехи, но под рясой спрятана часть овечьей туши, и подол оттопырился. А вот обезьяна во францисканском наряде сидит у постели больного; одной рукой она подносит ему крест, другую запустила ему в кошелек.

К о н р а д. Мы не станем спорить, что под нашим одеянием скрываются иногда и волки, и лисы, и обезьяны. Мы даже признаём, что часто оно покрывает свиней, собак, лошадей, львов и василисков. Но то же платье покрывает и многих достойных людей. Платье никого не делает лучше, но и хуже никого не делает. Стало быть, несправедливо оценивать человека по одежде. А в противном случае, тебе надо бы проклинать свое платье, которое носишь не только ты, но и многие воры, убийцы, отравители и прелюбодеи.

Х о з я и н. Насчет платья вам уступлю, если заплатите.

К о н р а д. Мы будем молить за тебя бога.

Х о з я и н. А я — за вас: услуга за услугу.

К о н р а д. Но не со всех подряд должно взимать плату.

Х о з я и н. Почему притрагиваться к деньгам — это для вас грех?

К о н р а д. Потому что это против нашего обета.

Х о з я и н. А против моего обета — пускать постояльцев даром.

К о н р а д. Но нам устав запрещает прикасаться к деньгам.

Х о з я и н. А мой устав предписывает как раз обратное.

К о н р а д. Где твой устав?

Х о з я и н. Вот. Читай стихи:

«Гость, услышь наставленье: утробе снискав насыщенье,
Не поспешай уходить, но поспеши уплатить».

К о н р а д. Мы не доставим тебе расхода.

Х о з я и н. Но кто не доставляет расхода, те и дохода не приносят.

К о н р а д. Бог щедро тебе воздаст, если ты окажешь нам услугу.

Х о з я и н. Вашими речами семью не прокормишь.

К о н р а д. Мы забьемся в уголок и никому не будем помехою.

Х о з я и н. Таких, как вы, мой дом не переносит.

К о н р а д. Значит, ты нас выгоняешь, быть может, и волкам на съедение?

Х о з я и н. Волк волчатины не ест, так же как пес — псины.

К о н р а д. Даже с турками так обойтись и то было бы жестоко. Какие бы мы там ни были, а все-таки мы люди!

Х о з я и н. Зря стараетесь — глухому поете.

К о н р а д. Ты будешь нежиться голый возле печки, а нас выставишь ночью на мороз, чтобы мы погибли от холода, даже если волки не тронут!

Х о з я и н. Так жил Адам в раю.

К о н р а д. Жил, но невинным!

Х о з я и н. И я ни в чем не повинен.

К о н р а д *(в сторону)*. Пожалуй, только — без первого слога. *(Хозяину.)* Но если ты сейчас выгонишь нас из своего рая, смотри, как бы бог не закрыл тебе дорогу в свой.

Х о з я и н. Вздор!

Х о з я й к а. Муженек, ты столько грешишь — сделай хоть одно доброе дело! Позволь им остаться у нас на эту ночь, они добрые люди, вот увидишь — тебе после воздастся за них щедрым прибытком.

Х о з я и н. Вот еще заступница! Наверно, заранее столковались. «Добрые люди» — не очень-то приятно выслушивать такое свидетельство от жены! Может, и ты была добра, и даже чересчур?

Х о з я й к а. Полно тебе! Ты лучше припомни, сколько ты играешь в кости, пьянствуешь, бранишься, дерешься! Хоть этою милостыней искупи грехи, не гони тех, кого будешь призывать на смертном одре. Шутов да скоморохов пускаешь все время, а этих выставишь за порог?

Х о з я и н. Откуда эта проповедница на мою голову? Поди прочь да займись своей стряпнею!

Х о з я й к а. Это-то будет исполнено!

Б е р н а р д и н. Он присмирел. Надевает рубаху. Надеюсь, все обойдется.

К о н р а д. Слуги накрывают на стол. Хорошо, что гостей нет, иначе пришлось бы нам убираться.

Б е р н а р д и н. Удачно получилось, что мы захватили с собою из соседнего городка бутылочку винца и жареную баранью ляжку: хозяин нам бы и клочка сена не уделил, пожалуй.

К о н р а д. Слуги сели за стол. Сядем и мы, но только с краешка, чтоб никому не мешать.

Х о з я и н. Не иначе, как по вашей милости, нет у меня сегодня за столом никого, кроме домочадцев да вас, никудышных.

К о н р а д. Если это случается не часто, отнеси на наш счет.

Х о з я и н. Чаще, чем хотелось бы.

К о н р а д. Не тужи: Христос жив и не покинет своих.

Х о з я и н. Я слыхал, вы называете себя евангельскою братией, но Евангелие не велит брать с собою в дорогу суму или хлебы. А у вас, я вижу, наместо сумы рукава, и несете вы не только хлеб, но и вино и самое лучшее мясо.

К о н р а д. Покушай с нами, если охота.

Х о з я и н. Мое вино против этого — уксус.

К о н р а д. И мясо возьми — нам одним слишком много.

Х о з я и н. Завидная у вас нищета и для меня удачная! Моя супруга ничего сегодня не готовила, кроме капусты и тухлой солонины.

К о н р а д. Соединим, если хочешь, наши припасы? Нам-то — лишь бы голод утолить, а чем — все равно.

Х о з я и н. Отчего ж тогда у вас с собою не капуста и не прокисшее вино?

К о н р а д. Оттого, что именно это навязали нам на дорогу хозяева, у которых мы нынче завтракали.

Х о з я и н. Задаром завтракали?

К о н р а д. Конечно! И нас еще благодарили, и гостинцами вот этими нагрузили на прощание.

Х о з я и н. Откуда вы идете?

К о н р а д. Из Базеля.

Х о з я и н. Ба! Так издалека?

К о н р а д. Да.

Х о з я и н. Что ж вы за люди такие — странствуете с места на место без лошади, без кошелька, без слуг, без оружия, без хлеба?

К о н р а д. Перед тобою след евангельской жизни, хотя и очень далекий.

Х о з я и н. А мне это кажется жизнью бродяги, который рыщет повсюду в поисках поживы.

К о н р а д. Такими бродягами были апостолы, таким был и господь наш Иисус.

Х о з я и н. Знаешь ты искусство хиромантии?

К о н р а д. Нет, совсем не знаю.

Х о з я и н. Откуда ж на пропитание получаешь?

К о н р а д. От того, кто обещал.

Х о з я и н. Это кто такой?

К о н р а д. Тот, кто сказал: «Не заботьтесь: это все приложится вам».

Х о з я и н. Да, он обещал, но тем, кто взыскует царства божия.

К о н р а д. Это мы и делаем в меру своих сил.

Х о з я и н. Апостолы творили чудеса, исцеляли больных; не мудрено, что им повсюду было чем пропитаться. А вы ничего подобного не можете.

К о н р а д. Могли бы и мы, если бы были схожи с апостолами и если б наше время требовало чудес. Но чудеса были дарованы лишь на краткий срок — неверующим; ныне нужды нет ни в чем, кроме благочестия. И нередко лучше болеть, чем быть здоровым, лучше смерть, нежели жизнь.

Х о з я и н. Что же все-таки вы делаете?

К о н р а д. Что можем, каждый по своему дарованию: утешаем, ободряем, увещаем, изобличаем; иногда, если представится случай, проповедуем — когда узнаём, что пастырь безгласен. Если оказать помощь нельзя, стараемся, чтобы никого не задеть своим поведением и речами.

Х о з я и н. Хорошо бы, если бы ты завтра сказал проповедь нам: у нас завтра праздник.

К о н р а д. Чей праздник?

Х о з я и н. Святого Антония.

К о н р а д. То был достойный муж. Но почему у вас праздник?

Х о з я и н. Сейчас объясню. В нашем селе много свинопасов, оттого что рядом дубрава и желудей — пропасть. А всякому известно, что попечение о свиньях поручено Антонию. Вот его и чтут, чтобы он не разозлился, если останется в небрежении.

К о н р а д. Если бы его чтили, как подобает!

Х о з я и н. А как подобает?

К о н р а д. Всех чище чтит святых тот, кто подражает им.

Х о з я и н. Завтра все село загремит пирушками, плясками, играми, ссорами, драками.

К о н р а д. Так в давнее время чтили своего Вакха язычники. Удивительно, если святой Антоний, видя такое поклонение, не гневается на людей, которые глупее скотины. Какой у вас пастырь? Безгласный и скверный?

Х о з я и н. Каков он для других, я не знаю, а для меня — лучше не надо: он пьет целыми днями, и никто не водит сюда так много выпивох и таких крепких да неутомимых — к не-

малой моей выгоде, конечно. Мне даже странно, почему сейчас его нет.

К о н р а д. Мы нашли его не слишком обходительным.

Х о з я и н. Как? Значит, вы у него были?

К о н р а д. Мы искали у него пристанища, но он и на порог нас не пустил, точно волков, и велел идти к тебе.

Х о з я и н. Ха-ха! Теперь все ясно! Потому он и не пришел, что не захотел встретиться здесь с вами.

К о н р а д. Так он безгласный?

Х о з я и н. Безгласный? Нет никого голосистее в трактирной зале, и в церкви ревет, ровно бык; но проповедей я от него никогда не слыхивал. Да к чему тут много говорить? Вы, как я вижу, на себе испытали, какой он безгласный.

К о н р а д. А в Священном писании начитан?

Х о з я и н. Говорит, что до тонкостей. Но все эти познания приобрел, как видно, за тайною исповедью, так что другим открывать не дозволено. Скажу коротко: каков приход, таков и поп, и крышка — в точности по кастрюле.

К о н р а д. Может быть, он и на кафедру не даст мне взойти.

Х о з я и н. Даст, это я беру на себя. Но на том только условии, чтобы в него камней не бросать, как у вас в обыкновении.

К о н р а д. Дурное обыкновение. Если мне что не нравится, я усовещаю пастыря тайно. Все прочее — дело епископа.

Х о з я и н. Птицы вроде тебя к нам залетают редко. Я вижу, что вы и вправду добрые люди. Но к чему у вас платье такое, ни на что не похожее? Ведь и судят-то об вас дурно в большинстве потому, что вы так одеваетесь.

К о н р а д. Как это получается?

Х о з я и н. Точно не скажу, но у многих людей такое мнение.

К о н р а д. А многие по этой же самой причине — что мы так одеваемся — считают, будто мы святые. И те и другие заблуждаются, но заблуждение вторых, которые, глядя на платье, думают об нас хорошо,— добрее и человечнее.

Х о з я и н. Пусть так, и все же к чему вообще столько отличий в одежде?

К о н р а д. А как тебе представляется?

Х о з я и н. По-моему, они вообще ни к чему, кроме как в торжественных процессиях или на войне. В процессиях несут изображения разных лиц — святых, иудеев, язычников, и мы их узнаем по различному платью. А на войне это нужно

для того, чтобы каждое войско следовало за своим знаменем и не случалось замешательства в рядах.

К о н р а д. Прекрасно рассуждаешь, но и наша одежда — тоже военная. Кто следует за этим полководцем, кто — за тем, но все мы сражаемся под началом одного императора — Христа. Впрочем, в одежде следует различать три качества.

Х о з я и н. Какие?

К о н р а д. Насколько она отвечает необходимости, привычке и приличиям. Для чего мы принимаем пищу?

Х о з я и н. Чтоб не умереть с голоду.

К о н р а д. Так иногда необходимо одеваться, чтобы не умереть от холода.

Х о з я и н. Согласен.

К о н р а д. Но в этом отношении наше платье лучше твоего: оно прикрывает и голову, и шею, и плечи — те места, которые застуживать всего опаснее. Кто ездит верхом, тому подходит короткое платье, кто больше сидит, тому — долгое, летом — тонкое, зимою — плотное. В Риме есть люди, которые в течение дня меняют платье трижды: утром надевают подбитое мехом, около полудня — обыкновенное, под вечер — опять иное, потеплее. Но перемена не у всякого найдется, поэтому и придумано наше платье, одинаково годное на очень многие случаи.

Х о з я и н. Как так?

К о н р а д. Например, если дует северный ветер или печет солнце, мы покрываемся капюшоном, стало жарко — опускаем капюшон на спину, надо отдохнуть — опускаем подол, надо идти — подбираем или даже затыкаем за пояс.

Х о з я и н. Не дурно соображал тот, кто это придумал.

К о н р а д. А для счастья и благополучия особенно важно, чтобы человек привык довольствоваться малым: если уже мы начнем потакать своим страстям или гоняться за удовольствиями — конца этому не будет. Но невозможно найти другую одежду, которая бы одна доставляла столько удобств.

Х о з я и н. Не спорю.

К о н р а д. Теперь поговорим о приличиях. Ответь мне по совести: если бы ты надел платье своей жены, разве не сказали бы все, что ты нарушаешь приличие?

Х о з я и н. Сказали бы, что я рехнулся.

К о н р а д. А что бы сказал ты, если б она надела твое платье?

Х о з я и н. Худого, может, и ничего не сказал бы, зато бока намял бы ей нехудо.

Конрад. А между тем ведь совсем не важно, какое платье носить.

Хозяин. Нет, коли так взглянуть — очень важно!

Конрад. И не удивительно: даже у язычников законы карают и мужчину и женщину, если они наденут платье, принадлежащее другому полу.

Хозяин. И поделом!

Конрад. Ну, а если б старец восьмидесяти лет от роду надел платье пятнадцатилетнего мальчишки или, наоборот, мальчишка — платье старика, разве не скажут все, что по ним плачет палка? Или если старуха нарядится, как молоденькая, или наоборот?

Хозяин. Еще бы не сказать!

Конрад. А если мирянин надел бы облачение священника или священник оделся, как мирянин?

Хозяин. Оба поступили бы непристойно.

Конрад. Если б обыкновенный человек украсил себя знаками отличия государя или обыкновенный священник — убором епископа, они поступили бы непристойно?

Хозяин. Разумеется!

Конрад. Что, если бы мирный гражданин разоделся по-военному — в перья и прочие Фрасоновы глупости?

Хозяин. Его бы осмеяли.

Конрад. Что, если бы английский солдат носил на платье белый крест, швейцарский — красный, а французский — черный?

Хозяин. Это была бы наглость.

Конрад. Почему же ты так дивишься нашему убору?

Хозяин. Какое различие между обыкновенным человеком и государем, между мужчиной и женщиной, я понимаю; но чем различается монах от немонаха — никак не пойму!

Конрад. В чем различие между бедняком и богачом?

Хозяин. В имуществе.

Конрад. И, однако ж, было бы непристойно, если б бедняк оделся наподобие богача.

Хозяин. Конечно. Особенно ежели принять в рассуждение, как нынче разряжены почти все богачи.

Конрад. А в чем — между дураком и умным?

Хозяин. Ну, здесь различие побольше!

Конрад. А шуты одеваются ли иначе, нежели мудрецы?

Хозяин. Не знаю, что подобало бы вам, но только ваш наряд недалек от шутовского — не хватает лишь ослиных ушей да бубенчиков.

К о н р а д. Да, этого и правда недостает, потому что мы и правда шуты мира сего, если живем так, как исповедуем.

Х о з я и н. Кто вы и как живете, я не знаю, но знаю твердо, что многие шуты в колпаках с бубенчиками и ослиными ушами мудрее тех, кто носит шляпы, подбитые мехом, мантии и прочие украшения мудрости. И если кто исповедует мудрость платьем, а не делом, он, по-моему, самый дремучий глупец. Видал я одного шута-расшута, который носил платье до пят и мантию Учителя и Наставника, да и внушительностью лица мог сойти за важного богослова. Он диспутировал перед кем угодно, и не без наружного достоинства, а для знатных господ был такою же забавой, как любой иной шут, хотя своею разновидностью глупости побивал всех прочих.

К о н р а д. Чего же ты требуешь? Чтобы государь, который смеется над шутом, поменялся с ним платьем?

Х о з я и н. Быть может, этого именно и потребовало бы приличие, если б людям заблагорассудилось изобразить наглядно все, что скрыто у них в душе.

К о н р а д. Ты стоишь на своем, а я все-таки считаю, что не без причины назначена шутам особая одежда.

Х о з я и н. И какая этому причина?

К о н р а д. Чтобы их не обидели ненароком, если они что скажут или сделают не так — спроста, конечно, сдуру.

Х о з я и н. Я, однако, не замечаю, чтобы их обижали; наоборот, они пользуются полной свободою, так что глупость нередко вырастает в прямое безумие. И мне непонятно, почему бодливого быка, который убьет человека, или пса, или свинью, которые загрызут ребенка, мы наказываем смертью, а шута, который совершит худшее преступление, милуем, оправдывая глупостью... Впрочем, я жду ответа, почему вы одеваетесь не так, как все прочие. Ведь ежели любого повода довольно, то пекарю надо бы одеваться иначе, чем рыбаку, сапожнику иначе, чем портному, аптекарю — чем виноторговцу, возчику — чем матросу. А вы, коли вы духовные,— почему одеты не так, как прочее духовенство? А коли миряне — почему от нас отличаетесь?

К о н р а д. В старину мы, монахи, были не чем иным, как более чистою половиною мирян. И различие между монахом и мирянином было такое же, как нынче между дельным, домовитым хозяином, который кормит семью трудами собственных рук, и бандитом, который сам хвастается, что живет грабежом. Позже папа римский наградил нас почетными преимуществами, тогда и наша одежда приобрела особое достоинство,

которого ныне не имеет ни мирское платье, ни одеяние священников. И какая бы она ни была, наша одежда, а ее не стыдятся ни кардиналы, ни даже папы.

Хозяин. Но откуда все-таки это представление о приличии?

Конрад. Иногда из самой природы, иногда из наших обычаев и мнений. Если бы кто оделся в бычью шкуру, так, чтобы над головою торчали рога, а позади волочился хвост, разве все не сочли бы это нелепицею?

Хозяин. Да, это смехотворно.

Конрад. А если б у кого было такое платье, что лицо и руки закрывало бы, а срам выставляло напоказ?

Хозяин. Это еще нелепее, и намного.

Конрад. Вот почему даже языческие писатели порицают тех, кто носил одежду из прозрачной ткани, которая не только мужчинам, но и женщинам не прилична. В самом деле, скромнее уж ходить нагишом, каким мы застали тебя здесь подле печи, чем одеваться в прозрачное платье.

Хозяин. А я полагаю, что в одежде все зависит от нашей привычки и убеждений.

Конрад. Как это?

Хозяин. Недавно у меня останавливались люди, которые говорили, что объездили разные вновь открытые земли. На старых картах эти земли и не обозначены. И вот они рассказывали, что побывали на одном острове с очень мягким климатом, где прикрывать наготу считается за величайший позор.

Конрад. Наверно, они там живут, как дикие звери.

Хозяин. Ничего подобного — ведут жизнь самую что ни на есть человеческую (так говорили мои постояльцы). Они подчиняются царю; вместе с ним рано поутру отправляются на работу, но трудятся не больше часа в день.

Конрад. Какую же они исполняют работу?

Хозяин. Дергают какой-то корень, который у них заменяет хлеб (он и вкуснее и здоровее нашего хлеба). Закончив эту работу, возвращаются к своим делам: кому что по душе, каждый тем и занят. Детей воспитывают в нерушимой чистоте, дурных поступков гнушаются и не оставляют без наказания, но ничего не карают строже, чем прелюбодеяние.

Конрад. А какою карой?

Хозяин. Женщину прощают, по слабости ее пола, а мужчина, уличенный в блуде, должен до конца жизни появляться на людях не иначе, как обернувши срамной уд платком.

Конрад. Да, тяжкое наказание!

Х о з я и н. Но привычкою им внушено, что тяжелее и быть не может.

К о н р а д. Когда подумаешь о том, какова сила убеждения, невольно соглашаешься с тобою. Если бы мы желали вконец опорочить вора или убийцу, разве недостаточно было бы обрезать ему сорочку выше ягодиц, непоказанное место укутать волчьим мехом, чтобы оно бесстыдно торчало и выпирало, на ноги обуть разноцветные башмаки, платье на боках и от локтя до кисти издырявить наподобие сети, плечи и грудь оголить вовсе, бороду где обрить, где не касаться бритвою, где взлохматить, волосы остричь, на голову нахлобучить шапку, всю изрезанную и с громадным пучком перьев,— и в таком виде вывести на люди? Разве это опозорило бы негодяя не больше, чем шутовской колпак с длинными ушами и бубенчиками? А между тем военные щеголяют в таком уборе по доброму своему желанию и очень собою довольны. И еще находятся люди, которым это кажется красивым, хотя ничего безумнее и быть не может!

Х о з я и н. Мало того: нет недостатка в почтенных горожанах, которые подражают воякам, как только могут.

К о н р а д. А ведь если б кто надумал подражать наряду индейцев, которые одеваются в перья, даже малые дети решили бы, что он спятил. Как по-твоему?

Х о з я и н. Нечего и сомневаться.

К о н р а д. А ведь в этом безумия куда меньше! Итак, ежели бесспорно, что нет такой нелепости, которой привычка не сообщала бы чего-то привлекательного, то, с другой стороны, нельзя отрицать, что платью бывает свойственно некое приличие, которое всегда остается приличием в глазах людей здравых и рассудительных, или же, напротив, неприличие, которое должно казаться неприличием всякому разумному человеку. Кто удержится от смеха, видя, как женщина с трудом тянет за собою длинный край платья, измеряя благородство происхождения протяженностью этого хвоста? И, однако, иные кардиналы не стыдятся ей подражать, только место платья занимает кардинальский паллий. Но привычка — жестокий тиран: то, что однажды усвоено, изменить никто не волен.

Х о з я и н. О привычке — будет. Скажи лучше, как, по-твоему, правильнее — чтоб монахи не отличались одеждою от остальных людей или чтобы отличались?

К о н р а д. Мое мнение такое, что и честнее, и более по-христиански ни о ком не судить по платью, если только оно пристойно и прилично.

Х о з я и н. Почему бы вам тогда не разделаться с вашими капюшонами?

К о н р а д. Почему апостолы не сразу принялись есть всякую пищу без разбора?

Х о з я и н. Не знаю. Скажи сам.

К о н р а д. Неодолимость привычки мешала. То, что проникло глубоко в души, прочно укоренилось благодаря долгому применению и словно бы вошло в самое природу человека, не может быть вдруг отменено без большой опасности для общего спокойствия; это надо устранять постепенно, как испанец выдергивал волоски из конского хвоста.

Х о з я и н. Я бы слова не сказал, если бы у всех монахов наряд был одинаковый. Но кто смолчит, видя такую пестроту?

К о н р а д. Это зло породил обычай, который чего только с собою не приносит! Бенедикт не придумывал новой одежды — он со своими учениками одевался так же, как тогдашние простые миряне. И Франциск ничего нового не изобрел: это платье принадлежало беднякам и крестьянам. Но потомки, кое-что прибавив, обратили разумное установление в предрассудок. Разве мы и теперь не видим, как иные старухи упорно цепляются за наряды своего века, которые отличны от нынешних нарядов сильнее, чем мое платье от твоего?

Х о з я и н. Да, видим.

К о н р а д. Стало быть, глядя на мою одежду, ты глядишь на остатки минувшего века.

Х о з я и н. И никакой иной святости в ней, стало быть, нет?

К о н р а д. Совершенно никакой.

Х о з я и н. А кой-кто хвастается, что этот убор вам указан свыше, святою Девой Марией.

К о н р а д. Вздор, пустое.

Х о з я и н. Есть больные, которые убеждены, что им не поправиться, если на них не наденут доминиканскую рясу. А другие в гроб не желают ложиться иначе, чем в наряде францисканца.

К о н р а д. Кто внушает такие мнения — либо корыстные обманщики, либо дураки, а кто усвоил их — те суеверы. Бог и под францисканским платьем различит проходимца не хуже, чем в военном доспехе.

Х о з я и н. Но в птичьем царстве не столько разных оперений, сколько у вас разных уборов!

К о н р а д. Разве это не прекрасно — подражать природе? А еще прекраснее — ее превзойти.

Х о з я и н. Желаю вам превзойти природу и разнообразием клювов тоже.

К о н р а д. Если ты выслушаешь меня спокойно, я попробую защитить и несходство одежд. По-иному одевается испанец, по-иному итальянец, по-иному француз, по-иному немец, по-иному грек, по-иному турок, по-иному сарацин. С этим ты согласен?

Х о з я и н. Вполне.

К о н р а д. Да и в одном краю какое разнообразие одежд, даже среди людей одного пола, возраста и сословия! Иной наряд у венецианца, иной у флорентинца, иной у римлянина — а ведь всё в пределах той же Италии!

Х о з я и н. Ты прав.

К о н р а д. Отсюда ж несходство и у нас. Доминик перенял покрой платья у честных земледельцев той части Испании, где жил он; Бенедикт — у крестьян той части Италии, где жил он; Франциск — у земледельцев другой части страны; прочие — точно так же.

Х о з я и н. Выходит, как я посмотрю, вы нисколько не святее нас, ежели только не живете более свято.

К о н р а д. Наоборот — хуже вас, потому что, живя нечестиво, тяжелее вашего вредим простым душам.

Х о з я и н. Значит, и для нас не все потеряно, хоть нет у нас ни святого покровителя, ни особого платья, ни устава, ни обетов?

К о н р а д. Есть, добрый человек, есть! — только исполняй получше! Спроси у крестного отца с матерью, какой обет ты давал, принимая крещение, в какое платье облекся? К чему тебе человеческие уставы, когда ты исповедал устав евангельский? К чему покровитель из людей, когда покровитель твой — Иисус Христос? А когда ты женился, разве ты ничего не обещал? Подумай, в каком ты долгу перед супругою, перед детьми, перед семьею,— и ты поймешь, что на тебе лежит бремя более тяжкое, чем если бы ты дал обет хранить верность уставу святого Франциска.

Х о з я и н. А ты веришь, что хоть один трактирщик взойдет на небеса?

К о н р а д. Отчего же нет?

Х о з я и н. Но в моем доме и случается и говорится много такого, что с Евангелием никак не согласно.

К о н р а д. Что именно?

Хозяин. Кто пьет до одури, кто сквернословит, одни ссорятся, другие бранятся; коротко сказать — чистого едва ли что найдется.

Конрад. Этому надо препятствовать, насколько можешь, а если не можешь — хотя бы самому не сеять и не растить зла ради прибыли.

Хозяин. Иногда я бываю не совсем честен — мошенничаю с вином.

Конрад. Как это?

Хозяин. Примечу, что гости не в меру разгорячились, — вот и лью щедрой рукою воду.

Конрад. Этот грех легче, чем если бы ты продавал вино, отравленное вредными снадобьями.

Хозяин. Скажи мне честно, сколько дней вы уже в пути?

Конрад. Почти месяц.

Хозяин. Кто же об вас заботится?

Конрад. Разве мало заботы у тех, у кого есть жена, дети, отец с матерью, родичи?

Хозяин. Достаточно.

Конрад. Между тем у тебя лишь одна жена, у нас — сто, у тебя лишь один дом, у нас — сто, у тебя лишь несколько детей, у нас — без счета, у тебя лишь несколько родичей, у нас — без конца.

Хозяин. Как так?

Конрад. Родство по духу шире, нежели по плоти. И как нам пообещал Христос, так оно и сбывается.

Хозяин. Какой замечательный гость у меня оказался! Провалиться мне на этом месте, ежели беседовать с тобою не лучше, чем бражничать с моим пастырем! Пожалуйста, скажи завтра что-нибудь нашим прихожанам. А если еще случится идти этой дорогою, знай, что здесь тебе всегда готов приют.

Конрад. А что, если другие пойдут?

Хозяин. Милости просим — лишь бы схожи были с тобою.

Конрад. Будут лучше, я надеюсь.

Хозяин. Но среди такого множества худых как мне различить добрых?

Конрад. Я скажу в двух словах, но только на ухо.

Хозяин. Скажи.

Конрад *(шепчет)*.

Хозяин. Запомню и исполню.

ЗАКЛИНАНИЕ БЕСА, ИЛИ ПРИВИДЕНИЕ

Томас. Ансельм

Томас. Что за радость у тебя случилась, отчего ты смеешься с таким удовольствием, будто сокровище нашел?

Ансельм. Ты почти угадал.

Томас. И ты не поделишься с другом, что бы там именно ни случилось?

Ансельм. Наоборот, уже давно ищу, кому бы я мог излить свою радость.

Томас. Так изливай!

Ансельм. Я услыхал прелестную историю, которую счел бы вымыслом из комедии, если бы и место, и действующие лица, и все прочее не было мне знакомо так же близко, как ты.

Томас. Ну-ну! Не томи — рассказывай!

Ансельм. Ты знаешь Пола, зятя Фавна?

Томас. Конечно.

Ансельм. Он и сочинил и сыграл эту комедию.

Томас. Охотно верю: он может сыграть любую комедию, даже без маски.

Ансельм. Твоя правда. И, наверно, знаешь его поместье неподалеку от Лондона?

Томас. Еще бы! Не однажды пили там и угощались.

Ансельм. Стало быть, ты помнишь и дорогу, обсаженную по обеим сторонам деревьями, на равном друг от друга расстоянии?

Томас. Слева от дома, примерно в двух выстрелах из арбалета.

Ансельм. Точно. Вдоль дороги тянется сухая канава, густо заросшая шиповником и ежевикой, через нее переброшен мостик, а за мостиком — открытое поле.

Томас. Помню.

Ансельм. Между тамошними крестьянами уже довольно давно ходила молва, будто подле этого мостика видели привидение и слышали жалостные стоны и вопли; толковали, что это не иначе, как грешная душа, терзаемая жестокими муками.

Томас. Кто ж распускал эти слухи?

Ансельм. Кто, как не Пол! Он загодя готовил пролог для своей комедии.

Томас. Что ему в голову взбрело — зачем он это придумал?

Ансельм. Не знаю, такой уж нрав у этого человека: любит с помощью подобных проделок потешаться над людской глупостью. Расскажу тебе, что он устроил недавно. Мы вместе ехали в Ричмонд; было нас несколько попутчиков, и среди них люди вполне рассудительные. Погода стояла на диво ясная, на небе — ни облачка. Вдруг Пол задирает голову кверху, размашисто крестится и говорит самому себе, словно бы в изумлении и замешательстве: «Боже бессмертный! Что я вижу!» Те, кто скакал рядом, спрашивают, что такое он увидал, а он снова осеняет себя крестным знамением и снова: «Боже милосердный, отврати от нас злое знамение!» Спутники настаивают, сгорая от любопытства, и тогда он, вперив в небо очи и указывая пальцем, восклицает: «Неужели вы не видите громадного дракона с огненными рогами, хвост завился кольцом?!» Все отвечали, что не видят, он велел глядеть пристальнее и еще раз указал место на небе, и наконец, кто-то один, не желая прослыть слепцом, подтвердил: да, дескать, вижу и я. Его примеру последовал другой, третий — каждому было стыдно не видеть того, что так и бросается в глаза. Не прошло и трех дней, как всю Англию облетел слух о чуде. А сколько еще прибавила к этой басне народная молва! Не встретилось недостатка и в толкователях, которые важно рассуждали, что бы могло означать такое знамение. А сочинитель комедии получал немалое наслаждение от всеобщей глупости.

Томас. Узнаю его нрав. Но вернись к привидению.

Ансельм. Случилось очень кстати, что к Полу завернул некий Фавн, священник, и из числа тех, которым мало прозываться латинским словом «уставные», но непременно надо прибавить то же прозвание по-гречески. У него был приход где-то по соседству, и он считал себя изрядным знатоком во всяческих делах, особенно же в священных.

Томас. Понимаю: актер сыскался!

Ансельм. За обедом говорили насчет слухов о привидении. Когда Пол почуял, что Фавн не только о них знает, но и верит им, он принялся уговаривать ученого и благочестивого мужа, дабы тот поспешил на помощь жалкой, но тяжко страдающей душе. «А если ты в чем сомневаешься,— прибавил он,— исследуй сам: погуляй в десятом часу возле мостика — и услышишь вопли. Да, и возьми кого-либо с собою: вдвоем уже никак не ошибетесь».

Томас. И что же?

Ансельм. После обеда Пол, по своему обыкновению, отправился на охоту. Фавн, прогуливаясь в сумерках, когда

разглядеть что бы то ни было отчетливо уже никто не мог, услыхал наконец жалобные стоны, которые с поразительным мастерством издавал Пол, спрятавшийся в терновнике: он кричал в пустой глиняный горшок, и голос, отраженный пустотою, звучал особенно мрачно.

Томас. Комедия, как я посмотрю, почище Менандровой «Фазмы» [1].

Ансельм. Погоди, то ли ты еще скажешь, когда узнаешь все до конца! Фавн вернулся домой, сгорая от нетерпения поведать о том, чему был свидетелем; Пол его опередил: он возвратился другою, кратчайшею дорогою. Тут Фавн рассказывает Полу, что произошло, да еще и от себя обильно присочиняет — чтобы было поудивительнее.

Томас. И Пол сумел удержаться от смеха?

Ансельм. Кто? Пол? Он своему лицу полный хозяин. Подвоха никто бы не почуял. В конце концов Фавн, уступая неотступным просьбам Пола, берется изгнать беса. Всю ночь он проводит без сна, раздумывая, как приняться за дело самым безопасным образом: он отчаянно боялся за собственную душу. Итак, сперва припомнил он наиболее испытанные и проверенные заклинания, к ним присовокупил несколько новых — внутренностями святой Девы Марии, костями святой Веренфриды. Потом выбрали место в поле, рядом с кустарником, где слышался голос, очертили широкий круг, внутри него начертили частые кресты и иные знаки, и всё — в сопровождении торжественных возгласов. Приготовили громадную чашу со святой водою. Фавн облачился в так называемую священную столу, навесив на нее начало Евангелия от Иоанна. В шкатулке у него была восковая облатка — из тех, что ежегодно освящает папа римский: «Агнец божий» — так зовут их в просторечье. Этим оружием защищались от злых демонов в старину, когда еще не появился грозный для них францисканский капюшон. Все было запасено на тот случай, чтобы дух, если он окажется духом тьмы, не напал на заклинателя. И тем не менее Фавн не отваживался вступить в круг один: было решено призвать на помощь второго священника. Тогда Пол, опасаясь, как бы помощник не оказался слишком проницателен и тайна комедии не обнаружилась, присоединяет к Фавну настоятеля соседней церкви, открыв ему предварительно свой замысел. Этого требовал ход представления, а новый актер был совсем не прочь принять участие в игре. На другой день около десятого часа, исполнив

[1] Фазма (φάσμα) — призрак *(греч.)*.

с надлежащею торжественностью все, что требовалось исполнить наперед, Фавн с цомощником входят в круг. Фавн приступает к заклинанию. Тем временем Пол, под покровом темноты, пробирается в ближайшее поместье и приводит оттуда еще одно действующее лицо: без многих актеров обойтись было нельзя.

Томас. И что они делают?

Ансельм. Садятся на вороных коней и везут с собою светильник, прикрывши пламя. Подскакав почти вплотную, они сорвали покров, рассчитывая, что огонь напугает Фавна и выгонит его из круга.

Томас. Сколько трудов ради обмана!

Ансельм. Такой уж он человек, этот Пол. Впрочем, дело едва не приняло оборот весьма плачевный для самих шутников.

Томас. Как так?

Ансельм. Внезапно сверкнувшее пламя до смерти перепугало лошадей, они понесли и чуть было не сбросили своих седоков.

Вот тебе первое действие комедии.

Когда все вернулись, Пол, словно ни о чем не зная, спрашивает, как все происходило. Тут Фавн рассказывает, что видел двух гнуснейших бесов на черных огнедышащих конях с огненными очами; они пытались переступить заветную черту, но слова молитвы отогнали их и отправили к нечистому! Это прибавило духу Фавну, и назавтра, после новых и самых тщательных приготовлений, он снова идет в круг. Долго произносил он заклинания, вызывая духа, пока, наконец, вдали не показались Пол с товарищем на вороных конях, грозно рыча и завывая,— словно бы готовясь ворваться в круг.

Томас. Огня на сей раз не было вовсе?

Ансельм. Не было: ведь выдумка с огнем не удалась. Но послушай, что они придумали взамен. Они тянули за собой длинный, но легкий канат, и когда ринулись прочь, точно бы в ужасе перед заклинаниями Фавна, оба священника вместе с сосудом, полным святой воды, повалились наземь.

Томас. Вот, значит, какую награду получил за свою игру второй священник?

Ансельм. Да, но он соглашался и на это, лишь бы не бросать начатого. Когда же все вернулись, Фавн объявляет Полу, какой опасности он подвергался и как храбро сокрушил обоих бесов своими молитвами. Теперь он был совершенно уверен, что ни один демон, даже самый наглый и самый зловредный, в круг вломиться не может.

Т о м а с. Что ж, этот Фавн — круглый дурак?

А н с е л ь м. Это все еще пустяки — слушай дальше! К этому месту комедии очень кстати подоспел зять Пола, муж его старшей дочери, человек молодой и, как ты знаешь, на диво веселого нрава.

Т о м а с. Знаю. Навряд ли подобные забавы ему не по душе.

А н с е л ь м. Не по душе? Ради того, чтобы полюбоваться такой комедией или самому в ней сыграть, он бросит любое дело! Тесть рассказывает ему обо всем и поручает роль грешной души. Тот охотно обряжается — обертывается простынью (как у нас принято обертывать трупы), кладет в черепок тлеющий уголь, который сквозь простыню может представиться пылающим огнем. К ночи все были на своих местах. Зазвучали дикие стоны. Фавн принялся читать все заклинания подряд. Наконец вдали, среди терновника, появилась душа; она горестно вздыхала и время от времени приоткрывала «пламя». Меж тем как Фавн заклинал душу поведать, кто она такая, из кустарника вдруг выскакивает Пол в обличии демона и притворным голосом рычит: «Нет у тебя права на эту душу! Она моя!» — и раз, другой, третий подлетает к кругу, как бы вот-вот набросится на заклинателя, но тут же, как бы остановленный могуществом заклинаний и силою святой воды, которою Фавн щедро его кропил, отступает. Наконец демон-педагог сгинул; между Фавном и душою завязывается разговор. На упорные расспросы священника душа отвечает, что она принадлежала христианину; на вопрос, как ее зовут, ответила: «Фавн».— «И меня так же зовут»,— изумился заклинатель. То, что они тезки, задело его за живое, теперь он непременно желал, чтобы Фавн Фавна избавил от муки. Священник все спрашивал да спрашивал, и, боясь, как бы затянувшаяся беседа не выдала обмана, душа объявила, что дольше разговаривать ей нельзя, что время торопит и она должна удалиться, куда прикажут бесы, но обещала прийти снова на другой день, как только будет возможно. Опять все сходятся в доме Пола, хорега этой комедии. Заклинатель пересказывает происходившее, а кое-что добавляет и от себя, твердо, впрочем, уверенный, что так именно все и было: до такой степени увлекся он своим делом. И не удивительно: ведь выяснилось, что это христианская душа и что демон немилосердно терзает ее зверскими пытками. Но в следующий раз случилась забавная история.

Т о м а с. Какая?

А н с е л ь м. Когда Фавн вызывал душу, Пол, игравший беса, подскочил так близко, точно сейчас перепрыгнет черту; Фавн отражал его натиск заклинаниями и не жалел святой воды, но бес кричал, что ему все это нипочем. «Ты спал с девчонкою! — кричал бес.— Теперь ты в моей власти!» Это было сказано в шутку и наобум, но оказалось, по-видимому, правдой: заклинатель тут же умолк, отступил на середину круга и что-то зашептал в ухо второму священнику. Увидя это, отступает и Пол,— чтобы не услыхать чего-либо неподобающего.

Т о м а с. Какого, однако, робкого и благочестивого беса он играл!

А н с е л ь м. Верно. А иначе представление можно было бы упрекнуть в том, что оно не считается с приличиями... Тем не менее до него донесся голос священника, который назначал Фавну епитимью.

Т о м а с. И что же была за епитимья?

А н с е л ь м. Велел трижды прочесть молитву господню. Из этого Пол заключил, что минувшей ночью Фавн согрешил трижды.

Т о м а с. Так этот «уставной» блюдет свой устав?

А н с е л ь м. Что же — они люди, и проступок человеческий.

Т о м а с. Пожалуйста, продолжай.

А н с е л ь м. Фавн возвращается к черте смелее прежнего и сам зовет беса на битву. А тот, растеряв свою дерзость, убегает с такими словами: «Ты меня обманул. Если б я знал заранее, никогда бы тебе не напомнил». Многие убеждены, что, если в чем исповедуешься священнику, грех этот мигом исчезает у беса из памяти и попрекнуть тебя им он уж не может.

Т о м а с. Да, история очень смешная.

А н с е л ь м. Пора, однако, заканчивать комедию. Беседы с душою продолжались несколько дней и вот к чему привели. На вопрос священника, можно ли каким-нибудь способом положить предел ее муке, она отвечала, что можно — если деньги, нажитые ею обманом и оставшиеся в целости, вернуть прежним владельцам. Тогда Фавн: «А что, если достойные люди употребят их на дела благочестия?» — «Поможет и это»,— ответило привидение. Заклинатель возвеселился и принялся узнавать, велики ли деньги. Душа назвала громадную сумму, что было радостной вестью для Фавна. Назвала и место, где зарыто сокровище, очень отдаленное место. Указала, на что именно употребить деньги.

Томас. На что?

Ансельм. Она пожелала, чтобы трое паломников отправились в путь: один чтобы посетил жилище Петра, другой — приветствовал Иакова Компостелльского, третий — облобызал гребень Иисуса в Трире. Затем — чтобы в нескольких монастырях по многу раз отчитали псалтирь и служили обедни. А если что останется,— чтобы Фавн распорядился по своему усмотрению. Фавн уже ни о чем, кроме этого сокровища, не думал, уже проглотил его в своих мечтах.

Томас. Это общая слабость, хотя особенно дурная слава тут за духовным сословием.

Ансельм. Когда денежные дела были оговорены вплоть до мельчайших подробностей, заклинатель, по внушению Пола, стал расспрашивать душу о сокровенных искусствах — об алхимии и магии. И на это душа ответила, насколько было возможно, и пообещала рассказать подробнее, едва лишь хлопотами и трудами Фавна избавится от бесовской опеки. Это, если ты не возражаешь, пусть будет у нас третьим действием комедии. В четвертом Фавн начинает повсюду трубить о чуде, только об этом и твердит в любом разговоре, за любым столом, монастырям сулит баснословные вклады, о скромности и смирении забыл совершенно. Он находит указанное место и приметы, но вырыть клад не смеет, потому что душа предупредила его, что это чревато грозной опасностью — если тронуть сокровища, не отслужив сперва назначенных ею обедеп. Уже многие проницательные люди чуяли обман, ибо не было такого места, где бы он не раструбил о своей глупости. Его друзья, и в первую очередь его аббат, втихомолку напоминали ему, что он всегда считался человеком рассудительным — пусть же не выставляет себя на глаза целому свету примером обратного свойства! Но никакие речи не могли его разуверить в том, что все случившееся — истинная правда. Это до такой степени заполонило его душу, что ни о чем, кроме привидений и злых гениев, он уже и не говорил и даже во сне ничего иного не видел. Состояние духа отразилось и в лице, которое было таким бледным, исхудавшим и унылым, что Фавн и сам больше походил на загробную тень, чем на живого человека. Он был на волосок от настоящего безумия, но тут применили сильное и скорое средство.

Томас. И это будет последнее действие комедии.

Ансельм. Да, его-то я и хочу изложить. Пол с зятем придумали такую хитрость. Они сочинили письмо и написали его диковинными буквами, да еще не на обычной бумаге, а на

той, которую золотых дел мастера подкладывают под листовое золото,— красновато-желтой. Вот содержание письма:

«Фавн, в прошлом пленник, а ныне свободный, шлет вечный привет Фавну, своему достойнейшему освободителю! Отныне, мой Фавн, тебе более незачем изнурять себя заботою обо мне. Бог призрел на благочестивую решимость твоей души и ее заслугами избавил меня от страданий. Ныне я блаженствую меж ангелами. Тебя ожидает место подле Августина, Августин же — в ближайшем соседстве с апостольским сонмом. Когда ты явишься к нам, я поблагодарю тебя лично. А пока живи счастливо. Писано на седьмом небе в сентябрьские иды года одна тысяча четыреста девяносто восьмого и припечатано моим перстнем».

Письмо тайком положили на алтарь, у которого должен был служить Фавн. После службы кто-то, нарочито подученный, указал ему на это послание, словно бы обнаруженное случайно. Теперь Фавн носится с ним повсюду и показывает как святыню; и ни во что не верит он крепче, как в то, что письмо принесено ангелом с небес.

Томас. Это значит не избавить человека от безумия, но лишь переменить род безумия.

Ансельм. Конечно. Новое безумие приятнее прежнего — вот и вся разница.

Томас. Я и раньше не очень прислушивался к ходячим россказням о привидениях, а вперед и вовсе не стану обращать на них внимания. Многое из того, что записано и выдается за истину людьми легковерными и схожими с Фавном, многое из этого, я подозреваю, было подстроено примерно так же.

Ансельм. А я — так прямо уверен, что бóльшая часть.

АЛХИМИЯ

Филекой. Лал

Филекой. Что это случилось с Лалом? Он все улыбается, едва удерживается от хохота, и все крестится. Сейчас спрошу самого. Здравствуй, мой дорогой Лал! Мне кажется, ты очень доволен сегодня.

Лал. Да, и буду еще довольнее, если поделюсь своим удовольствием с тобою.

Филекой. Что же, говори скорее.

Лал. Ты знаешь Бальбина?

Ф и л е к о й. Такой образованный старик и жизнь ведет примерную?

Л а л. Совершенно правильно. Но нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей. Вот и у него среди многих замечательных достоинств есть один изъян: он уже давно помешан на том искусстве, которое называют алхимией.

Ф и л е к о й. Это не изъян, а тяжелый недуг.

Л а л. Как бы там ни было, а его уже много раз одурачивали алхимики, и все ж недавно он снова попался на удочку, и удивительным образом.

Ф и л е к о й. Каким же?

Л а л. Подходит к нему какой-то священник, почтительно его приветствует и начинает так: «Ученейший Бальбин, ты, верно, удивишься, что тебе докучает незнакомец, и в особенности если этому незнакомцу известно, что ты постоянно погружен в самые возвышенные занятия». Бальбин кивнул: такой у него обычай, потому что он вообще до крайности скуп на слова.

Ф и л е к о й. Это признак ума.

Л а л. Но другой был еще умнее и продолжал так: «Впрочем, ты простишь мне мою дерзость, когда узнаешь, почему я к тебе обратился».— «Говори,— отвечал Бальбин,— только коротко, если можешь».— «Скажу в самых немногих словах, как только сумею. Ведомо тебе, ученейший муж, что судьбы смертных неодинаковы, и я затрудняюсь, к кому себя приписать,— к счастливым или к несчастным. Когда взираю на свою судьбу с одной стороны, мне кажется, что я отменно счастлив, когда с другой — что нет меня несчастнее». Бальбин напомнил ему, чтобы он изъяснялся короче, а он: «Сейчас кончаю, ученейший Бальбин. Это будет совсем просто: ведь я говорю с человеком, которому это дело знакомо, как никому в целом свете!»

Ф и л е к о й. Ритора ты мне описываешь, а не алхимика.

Л а л. Сейчас услышишь алхимика: «Еще мальчишкою я сподобился счастья изучать самое драгоценное среди искусств и наук, мозг всей философии — алхимию». При слове «алхимия» Бальбин оживился, шевельнулся, но тут же невнятным мычанием велел рассказчику продолжать. «Но увы,— продолжал он,— я вступил не на тот путь, на который следовало вступить». Бальбин спросил, о каких путях он говорит, и священник отвечал: «Ты, Бальбин, человек всесторонне ученейший, ты ничего не упустил и не пропустил и, конечно, знаешь, что в искусстве алхимии нам открываются два пути: один

зовут «удлиновением», другой — «укратчением». Мне по какой-то недоброй случайности довелось встретиться с «удлиновением». Бальбин осведомился, какое между путями различие. «Не такой уж я наглец,— возразил священник, — чтобы объяснять это Бальбину, которому все это знакомо, как никому в целом свете! Итак, я обращаюсь к тебе с мольбой: сжалься надо мною и удостой наставить на счастливейший путь укратчения. Чем более опытен ты в этом искусстве, тем легче можешь сообщить свой опыт мне. Не скрывай столь драгоценный дар божий от брата, угасающего во скорбях! Иисус Христос да осыплет тебя новыми, еще более щедрыми дарами!»

Этим заклинаниям не видно конца, и Бальбин вынужден признаться, что понятия не имеет ни об удлиновении, ни об укратчении; затем он просит священника растолковать смысл обоих слов. А тот в ответ: «Хоть я и не сомневаюсь, что ты знаешь лучше моего, однако раз ты велишь, я повинуюсь. Кто посвятил всю жизнь божественному этому искусству, изменяет обличие вещей двумя способами: один короче, но сопряжен с большими опасностями, другой дольше, но зато безопаснее. Я считаю себя несчастным оттого, что до сей поры бьюсь на пути, который мне не по душе; и до сей поры я не смог найти никого, кто согласился бы указать мне другой путь, который мне люб до безумия. Наконец бог внушил мне мысль обратиться к тебе, мужу столько ж благочестивому, сколько ученому. Ученость позволит тебе без труда наделить меня тем, о чем я прошу, а благочестие побудит прийти на помощь брату, чье спасение в твоих руках».

Не буду затягивать рассказа. Подобными речами хитрец отвел от себя всякое подозрение в обмане и внушил Бальбину уверенность, что другой путь отлично ему известен. Бальбин уже давно порывался его остановить и наконец не выдержал: «Бог с ним, с укратчением,— я о нем и не слыхивал-то никогда. Скажи мне по совести: удлиновением ты хорошо владеешь?» — «Ха! Как собственной пятернею! Долгота только не нравится».— «Какого срока оно требует?» — спрашивает Бальбин. «Чересчур большого — почти целого года. Но дело верное, вернее не бывает».— «О сроке не тревожься, пусть и два года уйдут, лишь бы ты твердо полагался на свое искусство». Одним словом, уговорились тайно открыть работу в доме Бальбина, на том условии, что священник берет на себя труд, а Бальбин издержки, прибыль же разделят поровну; впрочем, непритязательный мошенник добровольно уступал весь будущий доход Бальбину. Оба клянутся молчать, как при посвящении в

таинства. Тут же отсчитываются деньги на покупку глиняной и стеклянной посуды, углей и всего прочего, что потребно для оборудования мастерской, и наш алхимик с удовольствием проматывает эти денежки на продажных девок, на выпивку, за игрою в кости.

Филекой. Но это и значит изменять обличие вещей!

Лал. Бальбин, однако, требовал приступить к делу. «Разве ты не помнишь пословицу, — возражал ему алхимик,— насчет того, что доброе начало — половина успеха? Очень важно, чтобы хорошо заготовить материал». Наконец он принялся складывать печь. Тут снова открылась нужда в золоте — чтобы приманить будущее золото. Как рыба не ловится без наживки, так и золото алхимикам не дается, если не примешать заранее частицу золота.

Тем временем Бальбин с головою ушел в расчеты: если унция принесет пятнадцать унций, прикидывал он, сколько ж прибытка ждать от двух тысяч унций? (Такую сумму решил он израсходовать.) Когда алхимик промотал и эти деньги, и уже месяца два, как притворялся, будто усердно хлопочет над мехами и углем, Бальбин спрашивает, подвигается ли работа. Сперва тот отмалчивается, но Бальбин стоял на своем, и наконец слышит в ответ: «Ко всему прекрасному приступы и подходы трудны». Мошенник ссылался на оплошность, допущенную при покупке углей: он, дескать, купил дубовые, а надо было еловые или ореховые.

На ветер было брошено уже сто золотых, и тем не менее Бальбин снова пускается на риск. Снова отсчитываются денежки; куплены новые угли. Берутся за дело с еще большим рвением, чем вначале: так и на войне — после неудачи солдаты понравляют положение удвоенным мужеством. Несколько месяцев в мастерской все кипело и клокотало, и Бальбин ожидал золотой жатвы, но в колбах не было и намека на золото: всё, как и прежде, прогулял алхимик. Отыскивается новое оправдание: колбы были не такие, как надо. Ведь не из всякого дерева можно резать Меркурия — так и золото не из всякой колбы вынешь. И чем больше были затраты, тем больше не хотелось отступаться.

Филекой. Это в обычае и у игроков. Как будто не лучше потерять часть, нежели все.

Лал. Ты прав. Алхимик клялся и божился, что никогда не случалось у него такого просчета, но теперь ошибка обнаружена, вперед все будет ладно и гладко, а все убытки он возместит с лихвою.

Переменили колбы; мастерская обновилась во второй раз. Алхимик утверждал, что дело пойдет удачнее, если отправить в дар Богородице, которую, как ты знаешь, чтут в Паралиях, несколько золотых: ведь алхимия — священное искусство, и для успеха необходима благосклонность небес. Бальбину этот совет очень понравился: он человек богобоязненный и ни единого дня не пропустит, без того чтобы не побывать в храме за службою. Алхимик отправляется в благочестивое странствие, но, разумеется,— не далее соседнего городка, где и оставляет приношение святой Деве в кабаке. Вернувшись, он объявил, что полон самых лучших надежд и что все их замыслы непременно сбудутся, ибо святая Дева с явною, как ему показалось, благосклонностью приняла их дары.

Опять протекло немало времени в упорных трудах, и опять золота ни крупицы. Бальбин требует объяснений, алхимик заверяет, что еще никогда в жизни не случалось с ним ничего похожего (а ведь он столько раз испытывал свое искусство!) и в чем тут причина — ума не приложит! Долго оба думали и гадали, и вдруг Бальбину приходит мысль: а не пропустил ли алхимик в который-нибудь из дней обедни или главных молитв? Если это так — никакой удачи и быть не может. Тут обманщик восклицает: «Ты попал в самую точку! О, я злосчастный! Я согрешил по забывчивости, и не раз, а дважды, а еще, совсем недавно, после затянувшегося обеда, поторопился встать и забыл принести благодарность святой Деве». А Бальбин ему: «Не удивительно, почему наше дело нам не удается!» Вместо двух пропущенных обеден алхимик вызывается отстоять дюжину, вместо одной «Богородицы» — отчитать десяток.

Скоро у мота-алхимика опять вышли все деньги, зато не вышли поводы к вымогательству. Вот что он придумал. Прибегает домой, чуть дыша, и жалобным голосом шепчет: «Я погиб, Бальбин, окончательно погиб. Считай, что меня уже нет в живых». Бальбин остолбенел, потом спрашивает, что за беда стряслась. «При дворе,— отвечает алхимик,— пронюхали, что мы с тобою делаем; не иначе как быть мне в тюрьме, и очень скоро». Услышав это, Бальбин так и побелел от страха. Ты ведь знаешь, что у нас занятия алхимией без дозволения государя караются смертью. А тот продолжает: «Не смерти я боюсь — хоть бы довелось умереть! — боюсь иного, пострашнее».— «Чего же?» — говорит Бальбин. «Упрячут меня в башню и до конца дней заставят трудиться на тех, ради кого и пальцем шевельнуть неохота. Любая смерть слаще такой жизни!»

Дело исследовали со всех сторон. Бальбин, искушенный в риторике, прикидывал и так и этак, нельзя ли избежать опасности. «Не можешь ли, спрашивает, отрицать вину в целом?» — «Никоим образом! Слух разнесся широко, у королевских советников есть доказательства, которых не опровергнешь. Даже защищаться невозможно — закон слишком ясен». Многое они перебрали и ни в чем не находили надежного укрытия; наконец алхимик, которому деньги были нужны немедленно, промолвил: «Мы, Бальбин, все строим дальние планы, а обстоятельства требуют средства, которое подействовало бы сразу. Я думаю, что за мною вот-вот явятся». Бальбину, однако ж, ничего в голову не приходило. «Вот и мне ничего не приходит,— подтвердил другой,— и я не вижу ничего иного, кроме как мужественно принять свою гибель, разве что мы обратимся к самому последнему средству; оно не столько честно, сколько полезно, но ведь стрекало пощады не знает. Для тебя не тайна, как эти придворные жадны до денег. Тем легче их подкупить и заткнуть им глотку. Как ни тягостно давать этим висельникам, которые тут же все пустят на ветер, но в нынешнем положении ничего лучшего я не нахожу». Бальбин решил точно так же и отсчитал тридцать золотых на покупку молчания.

Филекой. На редкость щедрый этот Бальбин, как тебя послушать.

Лал. Нет, в честном деле скорее выбьешь у него зуб, чем монету. Однако ж об алхимике своем он позаботился, хотя тому никто и ничем не угрожал — кроме возлюбленной, которая требовала подарков.

Филекой. Какая поразительная близорукость!

Лал. Только тут и обнаруживается его близорукость, в остальном он зорче самых зорких. Опять расходы, складывают новую печь, помолившись наперед Богородице о подмоге и заступлении. Уже целый год миновал, а мошенник, ссылаясь то на одно, то на другое, ничего не делает и только сорит деньгами. Между тем произошел забавный случай.

Филекой. Что же именно?

Лал. Алхимик находился в тайной связи с женою какого-то придворного; супруг заподозрил неладное и стал за ним следить. И вот мужу доносят, что священник у него в спальне; тот совершенно неожиданно возвращается домой и стучит в дверь.

Филекой. И как собирался он поступить?

Л а л. Как поступить? Да уж ничего приятного прелюбодея не ожидало: либо с жизнью расстался бы, либо с яйцами. Супруг яростно грозился, что взломает двери, если жена не отворит, за дверями — страшное смятение, лихорадочно соображают, что делать. Но есть лишь единственный выход — тот, который предлагают обстоятельства. Алхимик сбрасывает с себя платье, протискивается сквозь узкое окно, прыгает — не без опасности, не без ушибов! — и спасается бегством. Ты знаешь, что молва о таких событиях разлетается мгновенно. Дошла она и до Бальбина. Но наш искусник уже был к этому готов.

Ф и л е к о й. Тут-то он и попался.

Л а л. Как бы не так — выскользнул удачнее, чем из той спальни. Послушай, какова хитрость. Бальбин ни слова ему не сказал, но хмурым выражением лица достаточно показывал, что осведомлен о слухах, которые стали общим достоянием. А тот знал, что Бальбин человек благочестивый, а кое в чем, пожалуй, и суеверный; такие люди легко прощают раскаявшемуся любой проступок, хотя бы и самый тяжелый. И вот он умышленно заводит разговор об их деле, жалуется, что нет того успеха, к которому он привык и которого желал бы; в чем причина, прибавляет он, одному богу известно. Бальбин, который, по-видимому, твердо решил молчать, тут вспыхнул (он и вообще-то вспыльчив). «Нет,— заметил он,— вполне понятно, что́ нам мешает: мешают грехи. Наше дело лишь тогда будет успешно, если его вершить в чистоте и чистыми руками!» В ответ на это обманщик упал на колени и, состроив плаксивую физиономию, плаксивым голосом воскликнул: «Истинную правду вымолвил ты, Бальбин. Верно: грехи мешают! Но мои грехи, не твои! Не постыжусь исповедаться в моей скверне перед тобою, словно перед самым святым священником! Слабость плоти меня одолела, Сатана завлек в свои сети! О, я несчастный! Из служителя святыни стал прелюбодеем! И все же не пропал понапрасну дар, который мы сделали святой Деве. Я погиб бы наверняка, если бы не ее помощь. Супруг уже выламывал двери, окно было слишком тесно для меня. В этой неминуемой опасности пришла мне на память святейшая Богородица. Я преклонил колени и взмолился: «Если дар был тебе угоден, оборони!» И тут же (время не ждало!) снова устремляюсь к окну и нахожу, что оно достаточно просторно и открывает дорогу к бегству».

Ф и л е к о й. И Бальбин поверил?

Л а л. Поверил. Мало того — простил, и внушал со страхом божиим, что ни в коем случае нельзя явить себя неблаго-

дарным пред блаженнейшею Девою! И снова отсчитываются денежки мошеннику, который заверяет, что вперед никогда и ничем не осквернит священного дела.

Филекой. Ну, а конец-то этому какой?

Лал. История очень длинная, но я завершу в нескольких словах. Долго морочил он Бальбина подобными проделками и немало денег у него выманил, когда появился человек, знавший этого негодяя с детства. Он легко сообразил, что его знакомец и здесь занят тем же, чем занимался везде, и, тайно встретившись с Бальбином, объяснил ему, какого искусника пригрел он в своем дому. Он советовал Бальбину поскорее отделаться от алхимика, если только Бальбин не предпочитает, чтобы тот скрылся сам, очистив предварительно ящики и шкатулки.

Филекой. И что тогда Бальбин? Уж, верно, постарался усадить негодяя в тюрьму?

Лал. В тюрьму? Ничего похожего — дал денег на дорогу и заклинал всем святым не болтать о том, что произошло. И, на мой взгляд, поступил мудро: лучше уж так, чем чтобы имя твое трепали на пирушках и на площадях, а после еще бояться, как бы не отобрали в казну твое имущество. Ведь обманщик никакой опасности не подвергался: искусством алхимии он владел столько же, сколько любой осел, и в подобных обстоятельствах на обман смотрят сквозь пальцы; а если бы Бальбин обвинил его в краже, сан спас бы мерзавца от веревки; кормить же такого приятеля за свой счет в тюрьме едва ли кто захочет.

Филекой. Я бы пожалел Бальбина, да ведь он сам находил удовольствие в том, что его водили за нос.

Лал. Ну, мне надо торопиться ко двору. В другой раз расскажу тебе про еще больших глупцов.

Филекой. Если будет время, послушаю охотно и отплачу рассказом за рассказ.

КОНСКИЙ БАРЫШНИК

Авл. Федр

Авл. Боже бессмертный, ὡς σεμνοπρεπεῖ[1] наш Федр, то и дело возводит очи к небу. Подойду к нему. Что нового, Федр?

Федр. Отчего ты так спрашиваешь, Авл?

[1] как важно глядит *(греч.)*.

А в л. Оттого, что из Федра, мне кажется, ты обратился в Катона,— столько строгости у тебя в лице.

Ф е д р. Не удивительно, друг: я только что исповедался в грехах.

А в л. А, ну тогда я уже не удивляюсь. Но скажи по чести, ты во всем исповедался, ничего не утаил?

Ф е д р. Во всем, что припомнил, кроме одного.

А в л. Почему ж умолчал об этом одном?

Ф е д р. Потому что до сих пор раскаяться не могу.

А в л. Приятный, надо думать, был грех.

Ф е д р. Я не уверен, грех ли это. Впрочем, послушай сам, если ты не занят.

А в л. Послушаю с удовольствием.

Ф е д р. Ты знаешь, какие обманщики те, кто торгует лошадьми или отдает их внаем.

А в л. Слишком хорошо знаю: не однажды они меня надували.

Ф е д р. Недавно случилось мне отправляться в дорогу, довольно дальнюю, и главное — по спешному делу. Иду я к одному из таких торговцев, пожалуй, самому честному среди людей этой породы, а отчасти даже и приятелю. Рассказываю, что дело у меня важное, что лошадь нужна самая крепкая и быстрая, и прошу, чтобы теперь, как никогда, он доказал мне свою дружбу и порядочность. Тот обещает обойтись со мною, как с родным братом.

А в л. Наверно, он и брата готов надуть.

Ф е д р. Приводит он меня в конюшню и велит выбирать коня, которого захочу. Один приглянулся больше всех других. Торговец хвалит мой выбор, клянется, что лошадь добрая, много раз испытанная, и что он берег ее для близкого друга, а чужим отдавать не хотел. Договариваемся о цене; тут же расплачиваюсь; сажусь в седло. Поначалу конь мой скачет на диво резво; я даже решил, что он мало объезжен — до того гладок он был и хорош с виду. Но часа полтора спустя чувствую, что он совсем без сил, даже шпоры не помогают. Я слыхал про обманщиков, которые держат на продажу таких коней — с виду отменных, но без всякой выносливости. «Да, попался,— говорю я себе.— Ну, погоди, мошенник, вернусь — отплачу по заслугам!»

Ф е д р. И что же ты стал делать, конник без коня?

А в л. То единственное, что подсказывали обстоятельства: завернул в ближайшее село. Тайно поставил коня у одного

знакомца, нанял другую лощадь и выехал туда, куда направлялся. Приезжаю назад, возвращаю наемную лошадь, снова получаю моего притворщика, прекрасно отдохнувшего и такого же гладкого, как прежде. Сажусь верхом — и к барышнику. «Подержи, говорю, пока у себя в конюшне несколько дней; после я заберу». Тот расспрашивает, хорошо ли он меня вез. Я клянусь всем святым, что никогда в жизни не было подо мною коня лучше этого: он не бежит, а летит, за весь долгий путь ни разу не почувствовал усталости и нисколько не отощал, несмотря на нелегкие свои труды. Хозяин поверил, примолк и задумался: лошадь оказалась иною, чем он полагал. И вот, не давая мне уйти, он спрашивает, не продается ли лошадь. Сперва я отвечал, что нет; если опять случится ехать, другую такую сыскать будет не просто; впрочем, говорю, нет у меня ничего столь дорогого, чтобы не продать за хорошую цену,— даже если бы кто пожелал купить меня самого.

А в л. Да, недурно ты разыграл критянина с этим критянином!

Ф е д р. Короче — ни за что меня не отпускает, покамест не назначу цену. Я назначаю много выше той, за которую купил. Распрощавшись, сразу нахожу человека, который соглашается сыграть в этой комедии со мною вместе, и все как следует ему объясняю. Он входит в дом, зовет хозяина и говорит, что ему нужен очень хороший и очень выносливый конь. Хозяин показывает многих коней и самых скверных расхваливает всего больше; только про того, которого недавно продал мне, ни одного доброго слова не вымолвил, поверив моей лжи. Но посетитель тотчас осведомился, можно ли и того купить (я описал ему наружность коня и место, где он стоял). Хозяин сперва промолчал и продолжал притворно выхвалять других лошадей. Но тот, с одобрением отозвавшись и о прочих, упорно толковал все об одном коне, и хозяин признал про себя: «Да, тут я решительно просчитался! Даже иноземец сразу высмотрел его среди всех остальных». Покупатель настаивал, и наконец хозяин сказал: «Он продается, но цена, наверно, тебя отпугнет».— «Нет цены слишком высокой, если вещь того стоит». Хозяин потребовал много больше, чем назначил я; он и тут хотел сорвать барыш. Все же сговорились — покупатель дает задаток, и немалый — золотой дукат,— чтобы не заронить подозрений, что покупка мнимая, потом велит засыпать коню корма и обещает вскоре за ним вернуться; перепадает кое-что и конюху.

Я, как узнал, что сделка заключена и расторгнута быть не может, снова обуваю сапоги со шпорами и бегу к хозяину; кличу его, не успев отдышаться. Выходит. Спрашивает, что мне угодно. «Сейчас же, говорю, седлай моего коня. Надо немедля отправляться по чрезвычайно важному делу».— «Но ведь ты, говорит, только что просил подержать его здесь несколько дней».— «Верно, говорю, но неожиданно появилось дело, и не какое-нибудь, а королевское поручение,— отлагательств не терпит». Тут хозяин: «Выбирай любого, а своего не получишь». Спрашиваю, почему. «Потому что он продан». А я, словно бы в крайнем волнении: «Что ты?! Боже избави! Теперь, перед такою дорогою, я бы не продал его, даже если бы вчетверо больше предлагали». Начинаю браниться, кричу, что я погиб. Наконец разгорячился и он. «Что толку препираться? — говорит.— Ты назначил цену на своего коня — я его продал. Отсчитаю тебе твои деньги — и прощай! Есть еще в нашем городе законы! Не можешь ты требовать у меня коня!» Долго я кричал, чтобы он представил мне либо моего коня, либо покупателя, и, наконец, в гневе, он отсчитывает всё сполна. Покупал я за пятнадцать дукатов, оценил в двадцать шесть. Он оценил в тридцать два и расчел про себя, что лучше взять эту прибыль, чем возвратить лошадь. Я насилу успокаиваюсь,— даже после того, как получаю деньги,— и ухожу раздосадованный и огорченный. Он просит меня не сердиться, обещает загладить эту неприятность в других делах.

Итак, обманщик обманут. У него в стойле лошадь, которая вообще ничего не стоит, а он дожидается, когда придет тот, кто дал задаток, и уплатит всю цену. Но никто не приходит и никогда не придет.

А в л. И он не пробовал на тебя жаловаться?

Ф е д р. И наглости не хватает, да и права нет ни малейшего. Приходил раз и другой, сетовал на бесчестного покупателя. Но я сам жалуюсь на него повсюду, говорю, что поделом ему, раз он своею поспешностью отнял у меня такого коня. И до того хорошо все подстроено, что не могу я склонить свою душу к покаянию.

А в л. Я бы считал, что мне должны поставить статую, если бы учинил что-нибудь подобное. И, уж конечно, не раскаивался бы.

Ф е д р. Не знаю, от чистого ли сердца твои слова, но мое сердце они успокаивают, внушая еще большую охоту к таким проделкам.

ГОВОРЛИВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Полимиф. Геласин. Евтрапел. Астэй. Филитл. Филогел. Евглотт. Лерохар. Адолесх. [*Левúн*]

П о л и м и ф. Как не подобает хорошо устроенному государству жить без законов и без государя, так и застолью негоже быть ἄναρχον καὶ ἄνομον [1].

Г е л а с и н. Прекрасно! От имени всего народа изъявляю согласие!

П о л и м и ф. Эй, слуга, принеси-ка нам кости. Их голосованием определится, к кому благосклонен Юпитер. Тому и за столом царить. Замечательно! Юпитер благосклонен к Евтрапелу. На этот раз случай не был слеп. Удачнее выбора и быть не могло, даже если бы собирали голоса по трибам, запрашивая каждого из граждан в отдельности. Есть одна пословица, не очень, правда, латинская, но не без смысла: что ни граф, то свой нрав. Она и к царю приложима. Νομοθέτει γοῦν, ὦ βασιλεῦ [2].

Е в т р а п е л. В добрый для сего застолия час! Во-первых, повелеваю: всякий да расскажет забавную историю; кто промолчит, с того пени одна драхма; означенную пеню употребить на вино. В числе надлежащих полагать и такие истории, кои будут сочинены на месте, коль скоро соблюдены τὸ πιθανὸν καὶ τὸ πρέπον [3]. Ежели не промолчит никто, тогда цену вина да уплатят двое: один — кто расскажет самую веселую историю, другой — кто самую скучную. Хозяин дома от расходов на вино да будет свободен, все прочие расходы да примет на себя. Ежели при исполнении вышеозначенного случатся разногласия, судьею и посредником да будет Геласин. Ежели вы одобряете, да имеет указанное силу закона. Кто не желает подчиняться, пусть уходит, сохраняя, однако ж, полное право прийти к завтрашней выпивке.

Г е л а с и н. Закон, предложенный царем, одобряем и утверждаем. Но с кого начнется круг рассказов?

Е в т р а п е л. С кого же еще, как не с хозяина?

---

[1] безначальным и беззаконным *(греч.)*.

[2] Здесь: огласи нам твои законы, царь *(греч.)*.

[3] правдоподобие и приличие *(греч.)*.

А с т э й. Можно ли, царь, сказать три слова?

Е в т р а п е л. А что, разве у нас застолье несвоевременное и неприсутственное?

А с т э й. Законоведы утверждают, что, если закон несправедлив, он не должен иметь силы.

Е в т р а п е л. Согласен.

А с т э й. А твой закон приравнивает лучшую историю к худшей.

Е в т р а п е л. Если мы ищем развлечения, не меньшей похвалы заслуживает тот, кто сказал хуже всех, нежели тот, кто всех лучше,— потому что и позабавит нас не меньше. Так и среди певцов развлечение доставят только те, кто поет либо на редкость хорошо, либо из рук вон плохо. Разве не чаще люди смеются, услыхав кукушку, чем соловья? В этих случаях без похвал остается середина.

А с т э й. Но почему наказывать тех, кто удостоится похвалы?

Е в т р а п е л. Чтобы чрезмерная удача не навлекла на них гнева Немезиды, если они удостоятся и похвалы и льготы разом.

А с т э й. Клянусь Бромием, сам Минос никогда не предлагал закона справедливее!

Ф и л и т л. А насчет того, как пить, никакого закона не предложишь?

Е в т р а п е л. Все уже взвешено и рассмотрено: я последую примеру Агесилая, царя лакедемонян.

Ф и л и т л. Как же он поступил?

Е в т р а п е л. Однажды, когда решением костей он был избран в симпосиархи [1] и архитриклин [2] спросил его, сколько вина прикажет наливать каждому из гостей, он ответил: «Если запасено щедро, лей каждому, сколько потребует, а если скупо, в обрез, всем раздели поровну».

Ф и л и т л. А что он имел в виду, этот лаконец?

Е в т р а п е л. Чтобы застолье не было пьяным, но и чтоб унылым тоже не было.

Ф и л и т л. Как так?

Е в т р а п е л. Есть люди, которые любят выпить обильно, есть — которые умеренно, а находятся и такие, что вовсе не пьют (таков, по рассказам, был Ромул). Если наливать только тому, кто требует, никто не пьет по принуждению, а вместе с тем вполне довольны и главные выпивалы. И все за столом

---

[1] глава (распорядитель) пира *(греч.)*.

[2] Здесь: старший слуга за столом *(греч.)*.

веселы. А если запас вина невелик и его делят на равные доли,— тем, кто пьет мало, будет довольно, а кто собирался хлебнуть побольше, тот легко примиряется с воздержностью, оттого что всем досталось поровну и ворчать никто не вправе. Этим примером, если вы не против, я и воспользуюсь. Мы желаем, чтобы наше застолье было говорливое и озорное, но не хмельное.

Филитл. Но что же тогда пил Ромул?

Евтрапел. То же, что собаки.

Филитл. Но это недостойно царя!

Евтрапел. Ничуть не более, чем дышать одним воздухом с собаками. Разница лишь в одном: царь не пьет ту же воду, что собака, а воздух, который выдохнул царь, вдыхает собака, и наоборот — который выдохнула собака, вдыхает царь. Громче была бы слава великого Александра, если бы он пил наравне с собаками. Для того, кто постоянно печется о многих тысячах, нет ничего хуже пьянства. А что Ромул был трезвенник, показывает остроумная его апофтегма [1]. Кто-то, видя, что он не пьет за столом, заметил: «Дешевое было бы вино, если бы все пили, как ты».— «Напротив,— возразил Ромул,— оно было бы очень дорогое, если бы все пили так, как пью я, потому что я пью столько, сколько мне хочется».

Геласин. Жаль, что нет с нами нашего друга Иоганна Ботцхейма, констанцского каноника. Он точно какой-то новый Ромул: сам не пьет, но за столом обходителен и весел.

Полимиф. Ну, что ж, если вы способны разом — не скажу, дуть и втягивать в себя (это, если верить Плавту, трудно),— но кушать и слушать, что никакого труда не составляет, я, в добрый час, первым вступлю в должность рассказчика. Если история будет не слишком изящная, помните, что она голландская. Я думаю, некоторые из вас слыхали имя Макка.

Геласин. Да, он умер не так давно.

Полимиф. Приехал он в город Лейден, не был никому известен и хотел сыграть какую-нибудь шутку, чтобы о нем заговорили (это был всегдашний его обычай). И вот входит он в обувную лавку, здоровается. Хозяин, желая сбыть свой товар, спрашивает, не угодно ли ему чего. Макк окидывает взглядом развешанные повсюду краги, сапожник спрашивает, не угодно ли. Макк кивает, сапожник отыскивает пару ему по ноге, приносит проворно и, как водится, сам обувает покупателя. Глядя на ловко схваченные крагами ноги Макка, он говорит: «Как хорошо подошли бы к ним башмаки на двойной

[1] Изречение *(греч.)*.

подошве! Не угодно ли?» Макк снова кивнул. Подыскали и башмаки, примерили. Макк хвалил краги, хвалил башмаки, а сапожник ему поддакивал, радуясь про себя: коли товар так понравился покупателю,— значит, есть надежда взять настоящую цену! Уже завязывалась какая-то взаимная приязнь, и тут Макк спрашивает: «Скажи мне начистоту, случалось с тобою когда-нибудь, чтобы ты обул покупателя в краги и башмаки — снарядил его для бега, вот как сейчас снарядил меня,— а он бы удрал, не расплатившись?» — «Никогда»,— отвечает хозяин. «А если бы все-таки случилось, что бы ты стал делать?»— «Побежал бы вдогонку»,— отвечает хозяин. А Макк ему: «Ты это всерьез или в шутку?» — «Какие тут шутки!» — отвечает хозяин. «Сейчас проверим,— говорит Макк.— Я побегу вперед, ты — следом. Награда победителю — башмаки». И с этими словами припустился во весь дух. Сапожник тут же за ним, кричит: «Держи вора!» На этот крик изо всех домов высыпали горожане, но Макк уже придумал, как их остановить, чтобы они его не схватили. Весело и безмятежно улыбаясь, он предупреждал: «Не мешайте нам. Мы бежим наперегонки за кружку пива»,— и все почувствовали себя зрителями на состязании и решили, что крики сапожника — это просто хитрость, чтобы опередить противника. В конце концов сапожник признал себя побежденным и, обливаясь потом, задыхаясь, повернул обратно. А Макк унес домой награду.

Геласин. От сапожника твой Макк улизнул, а от вора — нет.

Полимиф. Почему это?

Геласин. Потому что вор бежал вместе с ним.

Полимиф. Вероятно, у него не было денег при себе: после-то он расплатился.

Геласин. Но иск хозяин ему вчинил?

Полимиф. Да, несколько позднее. Но к этому времени Макк был уже известен кое-кому из властей.

Геласин. И как он оправдывался?

Полимиф. Как оправдывался? В таком легком деле? Ты еще спрашиваешь! Да ответчику пришлось туже, чем истцу!

Геласин. Как это?

Полимиф. Макк обвинял его в клевете и грозил законом Ремия, который гласит: кто вчиняет иск, вины же доказать не может, тот подлежит наказанию, которое понес бы ответчик, если бы оказался изобличен. Он утверждал, что не прикасался к чужому имуществу вопреки воле хозяина, но что хозяин сам его об этом просил. О цене же вообще не было речи: он вызвал

сапожника состязаться в беге, тот принял его условия и не вправе ни на что жаловаться, потерпев поражение.

Г е л а с и н. Это очень похоже на тяжбу о тени осла. И что ж в конце концов?

П о л и м и ф. Когда все насмеялись всласть, один из судей пригласил Макка к обеду, и тот отсчитал сапожнику его деньги. Такой же случай произошел в Девентере, когда я был мальчишкою. Стояла пора, когда царствуют рыбники, а мясники пропадают от безделия. У окна торговки фруктами (или, если угодно по-гречески, опораполиды), женщины весьма грузной и дородной, какой-то человек разглядывал выставленный на продажу товар. Торговка, конечно, спросила, чего ему угодно, и, видя, что он глядит на смоквы, сказала: «Смоквы замечательные! Угодно?» Тот кивнул, хозяйка спрашивает, сколько фунтов: «Угодно пять фунтов?» Тот опять кивнул, и хозяйка высыпала смоквы ему в полу. И пока она кладет на место чашки весов, тот удаляется, не бегом, а вполне спокойно. Хозяйка выходит получить деньги, видит, что покупатель ушел, и поднимает крик ему вдогонку. Он, однако ж, продолжает шагать своей дорогою, словно это не имеет к нему никакого отношения, и лишь когда на крики хозяйки сбегается много народу, останавливается. Суд вершат тут же, в кольце зрителей: покупатель утверждает, что ничего не покупал,— он лишь принял то, что было ему предложено; если торговка желает судиться по-настоящему, он не против. И все хохочут.

Г е л а с и н. Теперь я расскажу историю. Она мало чем отлична от твоей и, пожалуй, нисколько ее не хуже, разве что сочинитель и виновник не такой знаменитый, как твой Макк. Всех, кто собирается на торгу, Пифагор делил на три разряда: одни вышли, чтобы продать, другие — чтобы купить (и оба эти разряда, говорил он, обременены заботой и потому несчастливы), наконец, третьи явились на рынок с единственною целью — посмотреть, что привезли и что делается; только они счастливы, потому что свободны от тревог и радуются даром, безвозмездно. Философ в нашем мире, продолжал он, ведет себя так же, как те люди на торгу. Однако нынешние рынки хорошо знают посетителей еще одного разряда, которые и не покупают, и не продают, и не глядят безмятежно по сторонам, но зорко высматривают, что плохо лежит. Среди них попадаются такие удивительные искусники, словно они родились под покровительством Меркурия.

Наш хозяин рассказал историю с послесловием, а я — со вступлением. Итак, послушайте, что произошло недавно

в Антверпене. Один священник получил деньги, небольшие, но в серебряной монете. Проведал об этом какой-то обманщик. Подходит он к священнику (а у того в поясе туго набитый кошелек), приветливо здоровается и говорит, что ему поручили купить для настоятеля их приходской церкви новую ризу, которую надевают за богослужением поверх прочего облачения, и просит помощи: «Пойдем, говорит, вместе к торговцу и выберем ризу по тебе: мне чудится, ты и ростом и толщиною в точности такой же, как наш священник». Услуга казалась невелика, и тот с легкостью согласился. Являются они в какую-то лавку, выносят им ризу, священник примеряет, торговец клянется, что как раз впору. Обманщик долго оглядывал священника то спереди, то сзади и ризу похвалил, но сказал, что спереди она короче, чем надо. Тут торговец, боясь, как бы дело не расстроилось, принимается уверять, что риза тут ни при чем, что виною всему пояс, который как раз спереди выпирает. Что долго объяснять? Священник снимает пояс; ризу снова оглядывают со всех сторон, и тут обманщик, когда священник повертывается к нему спиною, хватает кошель — и давай бог ноги. Священник бросается за ним, как был, в ризе, за священником — торговец. Священник кричит: «Держи вора!» Торговец кричит: «Держи священника!» Мошенник кричит: «Держи вора-священника!» — и все кругом верят, что так оно и есть, глядя, как тот летит по улице в облачении. И пока они старались задержать друг друга, обманщик улизнул.

Евтрапел. Повесить бы этакого искусника, да не просто, а как-нибудь похитрее!

Геласин. Если он уже не висит.

Евтрапел. И хорошо бы, чтоб висел не один, а вместе с теми, кто мирволит этим выродкам на горе и погибель государству.

Геласин. Да и мирволят-то не даром: цепь спущена на землю, но первое звено — в деснице Юпитера.

Евтрапел. Вернемся к нашим рассказам.

Астэй. Пришла твоя очередь, если только дозволено ставить царя в общий черед.

Евтрапел. Меня не надо ставить, я встану добровольно; иначе я был бы тираном, а не царем,— когда бы отказывал в подчинении законам, которые сам издаю.

Астэй. Но говорят, что государь выше законов.

Евтрапел. И не без основания — если под «государем» понимать верховного властителя, из тех, что когда-то звались «цезарями», и если, далее, «быть выше законов»

означает: неопустительно и по собственному почину исполнять то, что другие делают главным образом по принуждению. Что для души тело, то для государства добрый государь. Впрочем, «добрый» — излишнее уточнение, ибо скверный государь — вообще не государь. Точно так же, как нечистый дух, вторгшийся в человеческое тело, не есть душа. Однако ж — к рассказу! Царю, я думаю, и рассказ подобает царский.

Людовик, одиннадцатый среди французских королей, носивших это имя, междоусобными распрями был изгнан из отечества и жил в Бургундии. Охотничьи забавы свели его с неким Кононом, человеком грубым, но искренним и бесхитростным; монархи находят удовольствие в общении с людьми такого рода. Людовик много раз останавливался у него после охоты, и так как высоким государям нередко доставляет радость простота, очень любил поесть у него репы. Вскоре Людовик возвратился во Францию, а потом и вступил на престол. Жена уговаривала Конона, чтобы он напомнил королю о прежнем гостеприимстве. «Послушайся меня,— твердила жена,—выбери несколько репок, самых крупных, да отнеси ему в подарок». Конон упирался, говорил, что незачем терять попусту время,— государи, дескать, таких услуг не помнят,— и все-таки жена поставила на своем. Конон выбирает несколько реп покрупнее и снаряжается в путь. Но дорогою, не выдержав соблазна, он слопал все сам, кроме одной, на редкость громадной репы.

Конон проник в залу, которою должен был проходить король, и Людовик тотчас его узнал и окликнул. Конон с великою радостью поднес свой подарок; король с еще большею радостью принял и передал кому-то из приближенных с наказом положить среди самых дорогих ему вещей, а Конона пригласил позавтракать. После завтрака король поблагодарил гостя и, узнав, что Конон хочет без промедлений вернуться к себе в деревню, велел отсчитать ему за репу тысячу золотых.

Молва об этом, как и следовало ожидать, облетела весь двор, и кто-то из придворных подарил Людовику красивого коня. Король сразу сообразил, что причиною этому его щедрость с Кононом и что на уме у дарителя только нажива. С еще большей, чем прежде, радостью в лице принимает он подарок и, созвавши первых вельмож, совещается с ними, чем отплатить за такого прекрасного и дорогого коня. Придворный уже предвкушает обильное воздаяние, рассуждая сам с собою: «Если он так вознаградил мужика за репу, насколько ж богаче вознаградит придворного за коня!» Словно речь шла о важном деле, король выслушивал совет за советом, и корыстолюбец

долго ласкал себя напрасной надеждою. Вдруг король восклицает: «Уже знаю, чем его отдарить!» — и шепчет на ухо одному из самых знатных своих приближенных, чтобы тот принес вещь, которую найдет в спальне, в таком-то месте, да не забыл бы наперед как следует обернуть ее в шелк. Приносят репу, и король собственными руками подает ее,— старательно завернутую,— придворному, промолвив: «По-моему, недурная награда за коня эта драгоценность, стоившая мне тысячу золотых». Придворный удалился и, когда снял обертку, нашел вместо клада не угли, как в поговорке, а репу, да к тому ж вялую. Так ловец был изловлен в свои же силки и выставлен всем на посмешище.

А с т э й. Царь, если дозволишь и простолюдину говорить о царских деяниях, я расскажу о том же Людовике. Этот случай вспомнился мне, когда я слушал твой рассказ: ведь как петля идет за петлею, так одна история тянет за собой другую. Один слуга, приметив, что по королевскому платью ползет вошь, преклонил колено и поднял руку — в знак того, что желает исполнить какую-то службу. Людовик приблизился к нему, он снял вошь и потихоньку ее бросил. Король спросил, в чем дело, слуга застыдился ответить. Король, однако ж, настаивал, и он признался. «Добрый знак! — обрадовался король.— Он свидетельствует, что я человек, потому что эти насекомые опасны только людям, и главным образом — в молодости!» — и приказал за верную службу выдать слуге сорок золотых. Довольно много спустя другой слуга, видевший, какой удачею обернулась столь низменная услуга, но не понимавший, какое громадное существует различие меж искренним поступком и искусным подражанием, придвинулся к королю, повторяя то же движение, и, когда Людовик обернулся, сделал вид, будто снял что-то с его одежды и бросил. Снова король спрашивал, что это, снова настаивал, и слуга, упираясь и замечательно ловко изображая стыд, ответил наконец, что это была блоха. Но Людовик разгадал обман. «Ты что же это,— крикнул он,— собаку из меня делаешь?!» И распорядился тотчас увести слугу и, вместо сорока золотых, которых тот ожидал, отсчитать ему сорок плетей.

Ф и л и т л. Да, шутить с государями небезопасно, как я слышу. Львы иногда спокойно даются гладить, но все ж они львы, стоит им пожелать — и конец забавам. Вот и царская благосклонность так же.

К твоей истории я прибавлю еще одну, сходную с нею, чтобы не расставаться с Людовиком, которому нравилось

обманывать жадных воронов. Получил он откуда-то в дар десять тысяч золотых. (А каждый раз, как заведутся у государя новые деньги, все придворные настороже, чтобы урвать частицу добычи, и для Людовика это не было тайною.) Деньги высыпали на стол, чтобы сильнее раздразнить надежды стоявших подле, и Людовик обратился к ним с такою речью: «Ну, что скажете — я ли не богатый король? Куда девать такую гору денег? Они дареные, стало быть, и нам надо кому-нибудь их подарить. Где ж друзья, у которых я в долгу за верную службу? Скорее сюда, пока сокровище не утекло!» Откликнулись очень многие, и все рассчитывали хоть чем-нибудь, да поживиться. Заметив одного, который смотрел особенно жадно — так и пожирал деньги глазами,— Людовик обратился к нему: «Что ты расскажешь, друг?» Тот напоминает, что долгое время ходил за королевскими соколами, с величайшим усердием и не без обременительных расходов. Тут всякий рассказывает про свое, всякий до небес превозносит свою службу; не обходится и без вымыслов. Король всех выслушивал благосклонно и каждого благодарил. Он нарочно затягивал совещание, чтобы подольше помучить всех надеждою и страхом.

Среди прочих присутствовал канцлер (король и его велел пригласить); он был умнее прочих и потому не расхваливал своих заслуг, но исполнял роль зрителя. Наконец король обратился к нему: «А что скажет мой канцлер? Он один ничего не просит и не объявляет о своих заслугах».— «Я,— отвечал канцлер,— получил от королевской щедрости более, чем по заслугам, и главная моя забота — отплатить королю за его милости. Просить еще мне и в голову не приходит». А король ему: «Значит, тебе, одному из всех, деньги не нужны?» — «Да,— говорит канцлер,— твои милости уже избавили меня от всякой нужды». Тогда король, обернувшись к остальным: «Я и вправду самый щедрый из королей, коли у меня такой богатый канцлер!» Все обрадовались: раз канцлер ни на что не притязает, значит, уж верно, Людовик разделит деньги меж ними! Вдосталь натешившись, король велел канцлеру забрать все деньги себе. А потом, обратившись ко всем прочим, немало приунывшим, сказал: «Вам придется подождать другого случая».

Филогел. Быть может, вы сочтете скучным то, что я расскажу, только, пожалуйста, не думайте, будто это умышленно, будто я исподтишка ищу для себя льготы.

Приходит к тому же Людовику человек, говорит, что в его краях случайно освободилась должность и просит, чтобы эту должность дали ему. Король выслушал просьбу и ответил

решительно: «Ничего не выйдет». Проситель коротко поблагодарил и удалился. Король, видя по его лицу, что это человек неглупый, и подозревая, что он не понял ответа, велел его вернуть. Тот возвращается. Король спрашивает: «Ты понял, что я тебе сказал?» — «Понял».— «Что именно ты понял?» — «Что я ничего не добьюсь».— «Почему же ты меня благодарил?» — «Потому что у меня и своих дел довольно, а, стало быть, надежда моя опасна и гнался я за нею к большой для себя невыгоде. Ты сразу отказал мне в благодеянии, но это прямое для меня благодеяние: что бы я ни потерял, льстя себя несбыточными мечтами, теперь я это заведомо выгадал». По этим словам король убедился, что перед ним человек отнюдь не ленивый, и, задав еще несколько вопросов, объявил: «Ты получишь то, о чем просишь, чтобы мог благодарить меня дважды». И тут же, обернувшись к своим чиновникам, прибавил: «Выправить ему грамоту без промедлений, чтобы он не терял здесь времени попусту».

Евглотт. Есть и у меня что рассказать о Людовике, но мне хочется вспомнить нашего Максимилиана. Он и сам денег никогда не копил и не берег, и на чужое мотовство смотрел сквозь пальцы, был бы только мот хорошего происхождения. Одному из таких людей он хотел как-то помочь и поручил ему взыскать с некоего города сто тысяч флоринов. Какой был к этому взысканию предлог, я не знаю, но, что бы ни удалось выжать распорядительному посланцу, все могло считаться прямою прибылью. Посланец выжал пятьдесят тысяч, императору отдал тридцать. Радуясь нежданному прибытку, Максимилиан отпустил своего посланца, ничего больше не спрашивая. Но казначеи и советники пронюхали, что денег государю предъявлено меньше, чем было получено, и докучали Максимилиану просьбами вызвать того человека. Его вызвали; он тут же прибыл. Император обращается к нему: «Говорят, что ты взыскал пятьдесят тысяч». Тот подтверждает. «А внес в казну только тридцать». Снова подтверждает. «Надо представить отчет». Обещает исполнить и удаляется. Но ничего исполнено не было, и, по настоянию чиновников, его опять призвали ко двору. «Ты получил повеление представить отчет»,— сказал император. «Помню. Этим как раз и занят». Максимилиан решил, что он еще не закончил свои подсчеты, и отпустил его. Так он увиливал и уклонялся, а чиновники упорно стояли на своем, кричали в запальчивости, что он открыто насмехается над императором и что это непереносимо! Они убеждали императора снова вызвать его и потребовать

отчета тут же, на месте, в их присутствии. Максимилиан согласился. Тот является на зов без малейшей задержки. «Разве ты не обещал нам отчета?» — спрашивает император. «Обещал».— «Что ж, пора. Вот сидят те, кто его примут. Медлить дольше нельзя». Чиновники приготовили свои книжки для записей. На это находчивый юноша ответил так: «Отчитываться я не отказываюсь, непобедимый император, но никогда подобных отчетов не делал и мало что в них смыслю. Те же, кто здесь сидит, знают про это все до тонкостей, и если я хоть раз увижу, как они управляются с отчетами, то легко последую их примеру. Пожалуйста, прикажи им показать образец, и они убедятся, что я ученик толковый». Максимилиан понял смысл его речи, не уловленный теми, против кого она была направлена, и промолвил с улыбкою: «Ты говоришь верно, и просьба твоя справедливая». И он отпустил юношу, который намекал на то, что чиновники отчитываются перед императором ничуть не иначе, чем он, и что немалая толика денег застревает у них меж пальцами.

Л е р о х а р. Самое время нашим рассказам пересесть, как говорится, с лошадей на ослов: от королей перейдем к лувенскому священнику Антонию, который был любимцем Филиппа Доброго. Ему приписывают много веселых слов и забавных проделок, но большею частью — грязных: свои шутки он обыкновенно приправлял особою мазью, которая не очень красиво именуется, а пахнет и того хуже. Я выберу одну почище.

Повстречал он на улице нескольких приятелей,— из тех, что зовут «славными ребятами»,— и пригласил их к себе. Вернулся домой, смотрит — а в кухне даже огонь не горит, и в кошельке ни монетки; впрочем, для него это было обычное дело. Как тут поступить? Он молча удаляется. Входит в кухню ростовщика,— с которым знался оттого, что часто брал у него взаймы,— дожидается, пока отлучится служанка, и снимает с огня медную кастрюлю с мясом, уже успевшим свариться; прячет кастрюлю под одеждою, уносит домой и передает своей кухарке с наказом немедленно переложить мясо и перелить навар в глиняный горшок, а кастрюлю ростовщика вычистить до блеска. Когда это было исполнено, Антоний послал к ростовщику слугу — взять под залог кастрюли две драхмы и получить собственноручную расписку в том, что такая кастрюля ему послана. Ростовщик, не узнавая своей кастрюли,— так хорошо она была вычищена и так ярко блестела,— принял залог, дал расписку и отсчитал деньги; на эти деньги слуга купил вина. Теперь можно было и за стол садиться.

Между тем стали собирать на стол и у ростовщика и хватились кастрюли. Хозяин давай браниться с кухаркою, та ни в чем не признается и твердит одно: никто, кроме Антония, нынче в кухне не появлялся. Возводить такое подозрение на священника казалось ужасною дерзостью, и все-таки отправились к Антонию, чтобы выведать, не там ли кастрюля. Кастрюли, однако ж, не было и в помине. В конце концов ростовщик, не на шутку рассвирепев, потребовал у Антония вернуть похищенное: ведь он один заглядывал в кухню как раз тогда, когда случилась пропажа! Антоний признает, что брал в долг какую-то кастрюлю, но он отослал ее назад, туда, где взял. Ростовщик с кухаркою отрицают это наотрез, спор разгорается все жарче, и наконец Антоний, пригласив нескольких свидетелей, объявляет: «Судите сами, как опасно в наше время вести дела, если не позаботишься о расписке. Ростовщик вчинил бы мне иск в краже, не будь у меня его руки!» И с этими словами достает расписку. Тут только и разгадали обман. Историю эту, надрываясь от смеха, рассказывали по всей округе — как ростовщик принял в залог собственную кастрюлю. Людям очень нравятся такого рода обманы, когда они в ущерб тем, кого все ненавидят, особенно — тем, кто сам привык надувать других.

А д о л е с х. Назвав Антония, ты открыл перед нами целое море всевозможных рассказов. Перескажу только один, и то очень короткий; я слышал его совсем недавно. Собрались за столом несколько «славных ребят», для которых нет в жизни ничего дороже смеха. Был среди них Антоний и еще один знаменитый шутник, как бы соперник Антония. Когда соберутся философы, они предлагают друг другу хитрые вопросы касательно природы вещей; так и тут — немедленно возник вопрос, какая часть человеческого тела самая почтенная. Один высказал предположение, что глаза, второй — что сердце, третий — что мозг, одним словом, каждый говорил иное и приводил свои доводы. Когда спросили Антония, он ответил, что, по его разумению, самая почтенная часть нашего тела — это рот, и объяснил, по какой причине (по какой именно — не знаю). Тут его соперник, чтобы ни в чем не согласиться с Антонием, возразил: «А по-моему, самая почтенная часть та, на которой мы сидим». Все сочли это мнение нелепым, но он прибавил: «В народе говорят: кто садится первым, тому и почета всего больше. А почетное это право принадлежит названной мною части». Все рукоплескали его суждению и смеялись до упаду. Да и сам он был очень собою доволен: Антоний, по-видимому, потерпел поражение в этой стычке. Но Антоний

схитрил: первенство рту он отдал лишь для того, чтобы соперник его славы назвал противоположную часть тела; а что так оно и случится, он знал заведомо. Несколько дней спустя оба снова были приглашены к одному столу. Войдя в дом, Антоний увидел своего соперника, который беседовал с другими гостями в ожидании обеда; Антоний повернулся и с шумом пустил ветры прямо ему в лицо. Тот воскликнул с возмущением: «Поди прочь, шут! Где ты выучился такому безобразию?» А Антоний в ответ: «Как? Ты еще и сердишься? Ведь если бы я поздоровался ртом, ты бы тоже поздоровался. А я приветствую тебя тою частью тела, которая, по твоим же словам, всех почтеннее,— и ты бранишь меня шутом!» Так он вернул себе потерянную было славу.

Теперь мы все высказались. Дело за судьею.

Г е л а с и н. Сейчас вынесу решение. Но сперва каждый пусть осушит свой бокал. Я покажу пример. Что это? Нечаянный гость! Как волк в басне!

П о л и м и ф. Левин Панагаф! Нет, это не волк. Это птица, которая сулит удачу.

Л е в и н. Что здесь происходит меж такими веселыми собутыльниками?

П о л и м и ф. Что ж еще, как не состязание в острословии и забавных разговорах?

Л е в и н. Стало быть, я как раз вовремя, чтобы его завершить. Приглашаю вас всех на завтра к себе — откушать богословский завтрак.

Г е л а с и н. Скифское застолье ты нам обещаешь.

Л е в и н. Αὐτὸ δείξει[1]. Если оно не окажется приятнее вашего говорливого застолья и вы сами этого не признаете, я готов платить штраф. Нет ничего забавнее, как всерьез разбирать и исследовать пустяки.

Э Х О

Юноша. Эхо

Ю н о ш а. Хочу с тобою кой о чем посоветоваться, если можно.

Э х о. Можно.

Ю н о ш а. Тебе это не будет накладно.

[1] Само дело покажет *(греч.)*. Здесь: погодите, сами увидите.

Э х о. Ладно.

Ю н о ш а. Но можешь ли и будущее открыть мне, Эхо?

Э х о. Ἔχω [1].

Ю н о ш а. Так ты и по-гречески знаешь? Вот это да!

Э х о. Да.

Ю н о ш а. Скажи, занятья Муз тебе не противны?

Э х о. Дивны!

Ю н о ш а. И тех писателей, что ведут к знанию словесности, изучать надо?

Э х о. Надо.

Ю н о ш а. Что же ты думаешь о людях, которые поносят эти занятья?

Э х о. Гнать их!

Ю н о ш а. Но если бы почитатели Муз пеклись еще и о благочестье?

Э х о. Если б!

Ю н о ш а. А так бесстыдство немногих на всех кладет скверну.

Э х о. Верно.

Ю н о ш а. За грехи людей и про науку идет дурная слава.

Э х о. Право...

Ю н о ш а. И толпа верит клевете оной.

Э х о. Ὄνῳ! [2]

Ю н о ш а. Чем заняты те, кто тратит годы на софистические хитросплетенья?

Э х о. Пеньем.

Ю н о ш а. Поют, как птички небесные, без смысла и толка?

Э х о. Колко!

Ю н о ш а. А мне какою идти в жизни дорогой?

Э х о. Строгой.

Ю н о ш а. Не жениться ли, благослови боже?

Э х о. Позже.

Ю н о ш а. А что, если жена попадется и нескромная и бесплодная — шутка ль?

Э х о. Жутко!

Ю н о ш а. Но с такою женой жизнь горше смерти!

Э х о. Стерпишь.

Ю н о ш а. Может быть, браку предпочесть тонзуру?

---

[1] Произносится: «эхо». Здесь: могу *(греч.)*.

[2] Произносится «оной». Ослы *(греч.)*.

Э х о. Сдуру!

Ю н о ш а. Чем утешаться тому, кто уже взвалил бремя монашества себе на плечи?

Э х о. Нечем.

Ю н о ш а. Но это беда, коли человек холост!

Э х о. Ὅλως [1].

Ю н о ш а. В наши времена каковы по большей части монахи?

Э х о. Ахи! Ахи!

Ю н о ш а. Чем тогда объясняешь, что многие с благоговением склоняются перед монахом?

Э х о. Страхом.

Ю н о ш а. Чего ищет тот, кто домогается прихода?

Э х о. Дохода.

Ю н о ш а. А кроме денег, у священника доход какой?

Э х о. Покой.

Ю н о ш а. Что выпадает епископам на долю?

Э х о. Воля.

Ю н о ш а. А что могло бы напомнить им, какое множество трудов принимает епископ на себя разом?

Э х о. Разум.

Ю н о ш а. Значит, если исполнять свои обязанности, как должно, то и священство прекрасно?

Э х о. Ясно.

Ю н о ш а. Что приобретается при монаршем дворе вскоре?

Э х о. Горе.

Ю н о ш а. Но немало придворных сулят себе богатые прибытки.

Э х о. Прытки.

Ю н о ш а. Но люди глядят на них с восхищением, когда они вышагивают с головы до ног в шелке.

Э х о. Волки.

Ю н о ш а. Изнутри, значит, глиняные, хоть и золотые снаружи?

Э х о. Хуже.

Ю н о ш а. В твоих глазах и военные, поди, не выше?

Э х о. Мыши.

Ю н о ш а. А что скажешь об астрологах, которые предвещают грядущее, утверждая, будто им ведомы все небесные знаки?

---

[1] Произносится: «холос». Здесь: бесспорно *(греч.)*.

Э х о. Враки.

Ю н о ш а. Грамматики трудятся упорно.

Э х о. Вздорно.

Ю н о ш а. Что пожелаешь законоведам?

Э х о. Беды.

Ю н о ш а. Кем я стану, если займусь ремеслом?

Э х о. Ослом.

Ю н о ш а. Выходит, что все труды худы, каждый в своем роде?

Э х о. Вроде.

Ю н о ш а. А если останусь верен Музам, буду я счастлив в прочем?

Э х о. Очень.

Ю н о ш а. Но что наставит меня в благочестии, драгоценнейшем среди качеств нашей природы?

Э х о. Годы.

Ю н о ш а. А я уже десять лет гну спину над Цицероном!

Э х о. Ὄνε [1].

Ю н о ш а. Что ты все бранишь меня ослом?

Э х о. Поделом.

Ю н о ш а. Ты, наверное, имеешь в виду, что скверно налегать на одного Цицерона, забросив остальных писателей как будто нарочно?

Э х о. Точно!

Ю н о ш а. Чего же заслуживает человек, который ради Цицерона забыл обо всем на свете?

Э х о. Плети.

Ю н о ш а. Если бы я отошел подальше, ты было бы поречистее, правда?

Э х о. Правда.

Ю н о ш а. Не по душе мне твои двусложные ответы.

Э х о. Где там!

Ю н о ш а. Начал я первый, зато последнее слово твое.

Э х о. Мое.

Ю н о ш а. Так ты полагаешь, мне хватит разума, чтобы не наделать себе в жизни вреда?

Э х о. Да! Да!

Ю н о ш а. Хочешь, чтобы я ушел — не скрывай.

Э х о. Ступай!!

---

[1] Осел *(греч.)*.

АГАМОΣ ГАМОΣ[1], ИЛИ НЕРАВНЫЙ БРАК

Петроний. Габриэль

Петроний. Откуда это наш Габриэль такой мрачный? Не из пещеры ли Трофония?

Габриэль. Нет. Со свадьбы.

Петроний. Никогда не видывал лица, которое было бы так непохоже на свадебное! Кто побывает на свадьбе, после целых шесть дней выглядит приятнее и веселее обычного, а старики — так даже молодеют лет на десять! Что же это за свадьба такая? Наверное — Смерти с Марсом?

Габриэль. Нет, родовитого юноши с девушкою шестнадцати лет, безупречной внешности, нрава и состояния. Коротко говоря — хоть и самому Юпитеру под пару!

Петроний. Как? Такая юная девушка — такому старикашке?

Габриэль. Цари не старятся.

Петроний. Откуда ж в этом случае твоя печаль? Может, завидуешь жениху, который перехватил у тебя желанную добычу?

Габриэль. О, нисколько!

Петроний. Или случилось что-либо вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов?

Габриэль. Нет, ничего похожего.

Петроний. Или влаги Вакха недостало?

Габриэль. Наоборот, еще осталось.

Петроний. Флейтистов не было?

Габриэль. И скрипачи, и арфисты, и флейтисты, и волынщики — все были.

Петроний. Ну, так что же? Гименей не явился?

Габриэль. Хоть и усердно его призывали, а попусту.

Петроний. И Хариты не пришли?

Габриэль. Нет. Ни дружка-Юнона, ни золотая Венера, ни Юпитер Брачный — никто!

Петроний. Зловещая, как тебя послушаешь, была свадьба и ἄθεος [2], а лучше сказать — ἄγαμος γάμος.

Габриэль. Ты бы и больше этого сказал, если бы видел все своими глазами.

Петроний. Значит, и не плясали на свадьбе?

---

[1] Брак — не брак *(греч.)*.

[2] безбожная *(греч.)*.

Габриэль. Какое там! Хромали, а не плясали!

Петроний. И ни один благосклонный бог не оживлял застолья?

Габриэль. Никого из бессмертных не было, кроме одной богини, которая по-гречески зовется Псора.

Петроний. Ты описываешь мне чесоточную свадьбу.

Габриэль. Если б только чесоточную... Изъязвленную и гнойную!

Петроний. Но что такое, Габриэль? Упоминание насчет чесотки даже слезы у тебя вызвало!

Габриэль. Само дело, Петроний, такое, что даже из камня выжало бы слезы.

Петроний. Пожалуй, если бы камень видел. Но, прошу тебя, расскажи, что приключилось. Не скрывай, не томи меня дольше.

Габриэль. Ты знаешь Лампридия Евбула?

Петроний. Лучше и богаче нет человека в нашем городе.

Габриэль. А его дочь Ифигению?

Петроний. Украшение нашего века.

Габриэль. Верно. А знаешь, за кого она вышла?

Петроний. Если скажешь, буду знать.

Габриэль. За Простофилия Блина.

Петроний. За этого Фрасона, который убивает всех подряд — в хвастливых своих баснях, разумеется?

Габриэль. За него самого.

Петроний. Но ведь он уже давно известен в нашем городе преимущественно двумя достоинствами — враньем и паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна.

Габриэль. Гордая парша и грозная; если дойдет до схватки, она не уступит ни проказе, ни слоновой болезни, ни лишаю, ни стригущему лишаю, ни волчанке.

Петроний. Так утверждает племя врачей.

Габриэль. Что же теперь, Петроний? Опишу девушку. Ты, правда, и сам ее себе представляешь, но убор придал столько прелести природной ее красоте! Милый мой Петроний, ты бы сказал, что перед тобою богиня! Ей было к лицу все! Но вот появляется распрекрасный жених — безносый, одну ногу волочит (но совсем не так ловко, как швейцарцы), руки в струпьях, дыхание зловонное, глаза мутные, на голове повязка, гной сочится и из ноздрей, и из ушей. У других пальцы в перстнях, у него даже на бедрах кольца.

Петроний. Что за беда стряслась с родителями, которые отдали такую дочь такому выродку?

Габриэль. Не знаю. Но многим кажется, что они рехнулись.

Петроний. Может быть, он очень богат.

Габриэль. Очень. Но одними долгами.

Петроний. Если бы девушка отравила ядом обоих дедов и обеих бабок, можно ль было придумать ей наказание тяжелее?

Габриэль. Если бы помочилась на прах родителей, достаточной карою было бы дать хоть один поцелуй такому чудовищу.

Петроний. Согласен.

Габриэль. Честное слово, мне это представляется более жестоким, чем если бы ее нагою бросили медведям, или львам, или крокодилам: либо дикие звери пощадили бы замечательную красу, либо смерть мигом прекратила бы все муки.

Петроний. Ты совершенно прав. Мне этот поступок представляется достойным Мезентия, который, как говорит Марон,

«...мертвых тела с живыми связывал, руки
Вместе с руками, уста — с устами...»

Но и Мезентий, если не ошибаюсь, не был так свиреп, чтобы привязать к трупу такую прелестную девушку. Да и лучше быть привязанным к любому трупу, чем к такому гнусному, как этот. Ведь самое его дыхание — яд, его речи — чума, его прикосновение — смерть.

Габриэль. Ты только подумай, Петроний, сколько наслаждения будет в этих ласках, этих объятиях, этих ночных играх и забавах!

Петроний. Я часто слышал, как богословы рассуждают о неравном браке. Этот брак с полным правом можно назвать неравным,— все равно что драгоценный камень оправили бы в свинец. Но что меня изумляет, так это отвага юной девицы. Обыкновенно девушки чуть не в обморок падают, завидев призрак или выходца с того света, а она отважится обнять ночью этакий труп?

Габриэль. Ей оправданием служит воля родителей, бесстыдство друзей, простодушие нежного возраста. Я же не могу надивиться безумию отца с матерью. Кто пожелает выдать дочь, хотя бы и самой несчастливой наружности, за прокаженного?

Петроний. Никто, по-моему, если он сохраняет хоть крупицу здравого смысла. У меня если б дочь была и кривая, и хромая, и уродливая, как гомеровский Ферсит, да еще бесприданница вдобавок, я бы и тогда отказался от подобного зятя.

Габриэль. Но эта язва и мерзее и опаснее всякой проказы! Она и расползается быстрее, и нападает все вновь и вновь, и часто убивает; а проказа иной раз не препятствует человеку дожить и до глубокой старости.

Петроний. Может быть, родители не знали о болезни жениха?

Габриэль. Знали прекрасно.

Петроний. Если они так ненавидели свою дочь, зашили б ее лучше в мешок и бросили в Шельду!

Габриэль. Конечно, это было бы меньшим безумием.

Петроний. Может, он каким-нибудь дарованием их пленил? Отличается в каком-нибудь искусстве?

Габриэль. Во многих: неутомимый игрок, непобедимый пьяница, наглый развратник, величайший мастер лгать и молоть вздор, грабитель не из ленивых, мот замечательный, гуляка отчаянный. К чему много слов? Школа учит лишь семи благородным искусствам, у него наготове более десятка неблагородных.

Петроний. Но должно же быть хоть что-то, чем он приобрел расположение родителей!

Габриэль. Ничего, кроме хвастливого имени рыцаря-конника.

Петроний. Какой там конник, когда он из-за своей парши едва ли и в седло-то способен сесть! Хотя, наверно, у него владенья изрядные?

Габриэль. Были кой-какие, но после всех сумасбродных выходок не осталось ничего, кроме одной башни, откуда он обычно выезжает в разбойничьи набеги, да и та в таком прекрасном виде, что ты и свиней не стал бы держать. Однако ж на языке у него постоянно лишь замки, да лены, да прочие звонкие слова; и герб свой поприколачивал где только возможно.

Петроний. Что у него в гербе?

Габриэль. Три золотых слона на пурпурном поле.

Петроний. Выходит, что слону — слоновая болезнь. Но кровожадный, надо полагать, человек.

Габриэль. Не так до крови жадный, как до вина. Красное вино прямо обожает.

Петроний. Значит, хобот ему нужен для питья.

Габриэль. Очень нужен.

Петроний. Ну, что ж, герб свидетельствует, что его хозяин — большой дурень, бездельник и винохлеб. Пурпур — цвет не крови, но вина, а золотой слон обозначает: «Сколько бы золота у меня ни появилось, все пропью!»

Габриэль. Так оно и есть.

Петроний. Принесет ли он хоть что-нибудь своей невесте, этот Фрасон, хоть какую-нибудь выгоду?

Габриэль. Выгоду? Самую обильную...

Петроний. Мот — обильную выгоду?

Габриэль. Дай мне договорить. Самую обильную и самую худшую паршу.

Петроний. Провалиться мне на этом месте, если бы я охотнее не выдал свою дочь за коня, чем за такого конника!

Габриэль. А я — так хотя бы и за монаха! Потому что не за человека вышла она замуж, но за труп человека. Если бы ты видел это зрелище, скажи, смог бы ты удержаться от слез?

Петроний. Каким образом, когда я и теперь-то едва не плачу? Неужели родители были настолько глухи к естественному чувству любви, чтобы единственную дочь, девушку такой красоты, такого дарования, такого нрава, отдать в рабство такому чудовищу ради поддельного герба?!

Габриэль. И такой поступок, свирепей и нечестивей которого и представить себе нельзя, для важных господ не более чем забава, хотя те, кто рожден править государством, должны обладать здоровьем самым крепким. Состояние тела воздействует и на силу духа; а эта болезнь пожирает мозг человека до конца. Вот и получается, что во главе государства становятся люди, недужные и духом и телом.

Петроний. Не только сильным умом и цветущим здоровьем должны обладать люди, стоящие у кормила правления,— они должны и внешне отличаться благообразием. Хотя главное достоинство государей — это мудрость и бескорыстие, далеко не безразлично, какова внешность того, кто повелевает другими. Если он жесток, телесное безобразие много способствует ненависти, если добр и честен,

«Доблесть милее вдвойне, заключенная в теле прекрасном».

Габриэль. Верно.

Петроний. Разве не оплакивают несчастья тех женщин, чьи супруги после свадьбы заболевают проказою или падучей?

Габриэль. И с полным основанием.

Петроний. Что ж это за сумасшествие — самим отдать дочь более чем прокаженному!

Габриэль. Более чем сумасшествие. Если вельможа желает вырастить щенков, спрашивается, подпустит ли он к суке хороших кровей паршивого и безродного пса?

Петроний. Напротив, примет все меры, чтобы и кобеля подобрать как можно благороднее,— иначе родятся ублюдки.

Габриэль. А если бы начальник пожелал увеличить конницу, неужели подпустил бы к отличной кобыле больного и выродившегося жеребца?

Петроний. Больного он не потерпел бы и в общей конюшне — чтобы болезнь не перекинулась на других лошадей.

Габриэль. И в то же время они не считают важным, кого подпустить к дочери и от кого родятся дети, которым предстоит не только унаследовать все их состояние, но и управлять государством?

Петроний. Даже мужик не всякого быка допустит к корове, не всякого жеребца случит с кобылою, не всякого хряка со свиньею: ведь иной бык предназначен для плуга, жеребец для телеги, а хряк для кухни.

Габриэль. Взгляни, как превратны человеческие суждения! Если какой-нибудь плебей насильно поцелует патрицианскую девушку, считают, что это обида, за которую должно мстить войною.

Петроний. Беспощадной войною.

Габриэль. И сами, добровольно, все зная, все понимая, отдают самое дорогое, что у них есть, презренному выродку! Это преступление и частное, против собственной семьи, и общественное, против сограждан и всего государства.

Петроний. Если жених, в остальном здоровый, чуть прихрамывает, как трудно ему найти невесту! И только этот порок не в счет при помолвке.

Габриэль. Если кто отдал дочку в услужение францисканцу — какое возмущение, сколько слез о худо пристроенной девице! Но у нее здоровый и крепкий муж, хоть и под рясою, а та весь свой век проводит с полуживым трупом. Если девушка выходит за священника, шутят, что она окунулась в елей; но та узна́ет мази куда похуже елея.

Петроний. Враги так не поступают с пленницами, пираты — с девушками, которых находят на борту захваченного судна, а родители поступают так с единственною дочерью, и власти не назначат над ними опеки!

Г а б р и э л ь. Как поможет помешанному врач, когда он сам помешан?

П е т р о н и й. И удивительно, что государи, чья обязанность — заботиться о подданных хотя бы телесно, то есть прежде всего — об их здоровье, здесь никаких средств не изобретают. Страшная зараза овладела большою частью мира, а они преспокойно храпят, будто это их не касается.

Г а б р и э л ь. О государях, Петроний, надо говорить с благоговением. Но придвинь-ка ухо, я шепну тебе три слова.

П е т р о н и й. Какое несчастье! Хоть бы ты оказался лживым пророком!

Г а б р и э л ь. Сколько, по-твоему, разных болезней от отравленного тысячею разных способов вина?

П е т р о н и й. Бесчисленное множество, если верить врачам.

Г а б р и э л ь. А городские власти что же — дремлют?

П е т р о н и й. Нет, они глядят во все глаза, но только — когда взимают налоги.

Г а б р и э л ь. Та, что сознательно выходит за больного, может быть, и заслуживает своего несчастья, которое сама на себя навлекла; и будь я государем, я бы удалял из города обоих супругов. Но если женщина вышла за больного этою чумой, который, однако же, притворялся здоровым, я, вручи мне кто-нибудь папскую власть, расторгнул бы этот брак, хотя бы и тысяча договоров его скрепляла.

П е т р о н и й. На каком основании? Брак, заключенный по всем правилам, человеком расторгнут быть не может.

Г а б р и э л ь. Какие же тут, по-твоему, правила, если брак заключен обманом? Брачный договор не имеет силы, когда девушка введена в заблуждение и выходит за раба, считая его свободным. В этом случае она выходит за раба самой скверной богини — Псоры, и тем печальнее это рабство, что Псора никого на волю не отпускает и, значит, горечь рабства не может быть смягчена ни малейшей надеждою на освобождение.

П е т р о н и й. Да, ты нашел основание.

Г а б р и э л ь. Вдобавок, брак возможен только между живыми. А тут жених — мертвый.

П е т р о н и й. Вот и еще основание найдено. Но, я полагаю, ты разрешишь паршивым выходить за — паршивых по старинной пословице: «ὅμοιον πρὸς ὅμοιον»[1].

[1] «Подобное — к подобному» *(греч.)*.

Г а б р и э л ь. Если бы мне было дозволено делать все, что на пользу государству, я разрешал бы им сочетаться браком, но чету сжигал бы.

П е т р о н и й. Тогда ты был бы уже не государем, но Фаларидом.

Г а б р и э л ь. Разве Фаларид представляется тебе врачом, который отсекает несколько пальцев или прижигает один из членов, чтобы не погибло все тело? Мне это представляется не жестокостью, но милосердием. Если бы так поступали, когда зло только зарождалось! Тогда, ценою смерти немногих, можно было охранить здоровье целого города. Подобный пример мы встречаем во французской истории.

П е т р о н и й. Но меньшею жестокостью было бы их оскопить и изгнать.

Г а б р и э л ь. А с женщинами что бы ты стал делать?

П е т р о н и й. Навесил бы замок.

Г а б р и э л ь. Так мы достигнем лишь того, что дурные воро́ны не будут класть дурных яиц; и я соглашусь с тобою, что это менее жестоко, если и ты признаешь, что более опасно. Ведь похоть испытывают и скопцы, а болезнь распространяется не одним только способом, но ползет дальше и через поцелуй, и через разговор, и через прикосновение, и через распитую вместе бутылку. А с этою болезнью сопряжено какое-то роковое зложелательство и злорадство, так что всякий, кто ею страдает, рад заразить как можно больше людей, даже без всякой для себя корысти. Они могут бежать из своего изгнания, могут обмануть, пользуясь ночною тьмой или неведэнием; от мертвых же никакой опасности нет.

П е т р о н и й. Да, согласен, это надежнее; но отвечает ли это христианской кротости, я не уверен.

Г а б р и э л ь. Скажи мне, от кого больше опасности — от обыкновенных воров или от них?

П е т р о н и й. Нельзя не признать, что деньги намного дешевле здоровья.

Г а б р и э л ь. И, однако, воров мы, христиане, вздергиваем на виселицу, и это зовется не жестокостью, но справедливостью. А если ты печешься о благе государства, так это твой долг.

П е т р о н и й. Но виселицей карают за нанесенный ущерб.

Г а б р и э л ь. А эти, стало быть, доставляют выгоду! Но допустим даже, что многие заразились безо всякой своей вины, хотя ты мало найдешь больных, которым бы эту язву

не принесло распутство. Законоведы учат, что иной раз справедливо предать смерти и невинных, если это очень существенно для государства. Так вот и греки, разрушив Трою, убили Астианакта, сына Гектора, чтобы через него не возобновилась война. И не считается нечестивым, когда после убийства тирана умерщвляют и его детей, ни в чем не повинных. Мы, христиане, непрерывно воюем, а ведь нам известно, что самая большая доля военных бедствий падает на тех, кто никак этого не заслужил. То же бывает и при так называемых репрессалиях: подлинный виновник в безопасности, а грабят торговца, который не только что ни к чему не причастен, но даже и не слыхал о случившемся. Если мы пользуемся такими средствами в делах не столь важных, как, по-твоему, надлежит действовать в обстоятельствах самых суровых и грозных?

Петроний. Перед истиной я отступаю.

Габриэль. И еще вот о чем поразмысли. У итальянцев, едва вспыхнут первые искры чумы,— все двери на запор, и кто прислуживает больному, не имеет права показаться на людях. Иные называют это бесчеловечностью, но в этом высшая человечность: благодаря такой бдительности после немногих похорон недуг затухает. Разве это не человечность — уберечь от опасности столько тысяч жизней? Некоторые корят итальянцев негостеприимством за то, что при слухах о чуме гостю вечерней порою двери не отворяют и он вынужден ночевать под открытым небом. Нет, это благочестие, если, ценою неудобства немногих людей, зорко хранят величайшее благо всего государства. Иные очень гордятся своею храбростью и любезностью, когда навещают больного чумой, даже не имея к нему никакого дела; но, вернувшись домой, они заражают жену, детей и всех домочадцев. Так есть ли храбрость глупее и любезность нелюбезнее — ради того, чтобы приветствовать чужого, рисковать жизнью самых близких! А ведь эта парша гораздо опаснее чумы, которая редко поражает близких больного, а стариков почти и вовсе не трогает; тех же, кого затронет, либо скоро избавляет от мук, либо возвращает к жизни и здоровью еще более чистыми, чем до болезни. Парша — не что иное, как вечная смерть или, сказать вернее, погребение: человека обмазывают мазями и увертывают бинтами, в точности как мертвое тело.

Петроний. Истинная правда. Против этого столь пагубного недуга должно было принять хотя бы те же меры, какие принимаются против проказы. А если и этого чересчур

много, пусть никто не дается брить бороду и не ходит к цирюльнику.

Габриэль. А если бы оба не раскрывали рта?

Петроний. Зараза выходит через ноздри.

Габриэль. Ну, этой беде можно помочь.

Петроний. Каким образом?

Габриэль. Надевать маску, как у алхимиков: глаза будут прикрыты стеклянными оконцами, а дышать — через рог, который под мышкою протянется к спине.

Петроний. Хорошо бы, если только можно не бояться прикосновения пальцев, простыни, гребня и ножниц.

Габриэль. Стало быть, всего лучше — отпустить бороду до колен.

Петроний. Видимо, так. И затем надо издать указ, чтобы никто не совмещал в одном лице цирюльника и хирурга.

Габриэль. Ты обрекаешь цирюльников на голод.

Петроний. Пусть сократят расходы, а плату за бритье немного повысят.

Габриэль. Дельно.

Петроний. Далее, нужен закон, чтобы каждый пил из своего стакана.

Габриэль. Англия едва ли примет такой закон.

Петроний. И чтобы двоим в одной постели не спать, за исключением лишь супругов.

Габриэль. Верно.

Петроний. Кроме того, чтобы постояльцу в гостинице не стлали простыню, на которой уже кто-то лежал.

Габриэль. А как быть с немцами, которые стирают белье едва ли не в год два раза?

Петроний. Пусть зададут работу своим прачкам. Наконец, следует отменить приветственный поцелуй, хотя обычай этот старинный.

Габриэль. Даже в храмах божиих?

Петроний. Пусть каждый касается оскулария рукой.

Габриэль. Что скажешь о беседах?

Петроний. Надо избегать гомеровского ἄγχι σχὼν κεφαλήν[1]. А кто слушает, пусть крепко сжимает губы.

Габриэль. Столько законов, что и на двенадцати таблицах не уместятся!

Петроний. Но что бы ты все-таки посоветовал несчастной девушке?

---

[1] близко главу приклонив *(греч.)*.

Г а б р и э л ь. Что бы я ей посоветовал? Чтобы она была несчастна по своей воле — так легче переносить несчастье. И чтобы супружескому поцелую подставляла не губы, а руку, а в супружескую постель ложилась вооруженной.

П е т р о н и й. Куда ты отсюда направляешься?

Г а б р и э л ь. Прямо к своему столу.

П е т р о н и й. Зачем?

Г а б р и э л ь. Напишу эпитафию — вместо эпиталамы, которой от меня ждут.

ΑΠΡΟΣΔΙΟΝΥΣΑ[1], ИЛИ НЕСКЛАДИЦА

Анний. Левкий

А н н и й. Я слышал, ты был на свадьбе Панкратия с Альбиной.

Л е в к и й. Никогда еще не бывало у меня такого неудачного плавания, как в этот раз.

А н н и й. Что ты говоришь? Так много собралось народу?

Л е в к и й. И никогда еще жизнь моя не стоила дешевле.

А н н и й. Смотри, что делает богатство! Ко мне на свадьбу пришло всего несколько человек, да и то всё люди мелкие.

Л е в к и й. Едва мы вышли в море, налетел страшный вихрь.

А н н и й. Прямо собрание богов какое-то! Столько, говоришь, князей, столько благородных дам?

Л е в к и й. Борей разодрал и сорвал парус.

А н н и й. Невесту я знаю. Красивее и вообразить невозможно!

Л е в к и й. Потом волною сбило кормовое весло.

А н н и й. Это общее мнение. Говорят, что и жених красотою почти ей не уступает.

Л е в к и й. Представляешь себе, что мы в этот миг испытали?

А н н и й. Да, теперь редко кому достается в жены девица.

Л е в к и й. Пришлось нам взяться за весла.

---

[1] Не имеющее отношение к делу; букв.: не связанное с празднеством в честь Диониса *(греч.)*.

Аннний. Такое приданое — даже не верится!

Левкий. И сразу новая беда.

Аннний. Почему девочку, чуть не ребенка, отдали за такого дикаря?

Левкий. Появляется пиратский корабль.

Аннний. Конечно, так оно и есть: испорченность многим заменяет недостающие годы.

Левкий. Тут начинается у нас двойная борьба — одна с морем, другая с разбойниками.

Аннний. Столько ему подарков? А нищим никто и травинки не подаст!

Левкий. Как? Чтобы мы отступили? Наоборот, отчаяние придавало нам мужества.

Аннний. Боюсь, как бы брак не оказался бесплодным, если все это правда.

Левкий. Нет, мы зацепили их за борт крючьями.

Аннний. Неслыханное дело! До свадьбы — а уже беременна?

Левкий. Если бы ты видел эту схватку, ты бы сам сказал, что я — не баба!

Аннний. Как я слышу, этот брак не только совершился, но и завершился.

Левкий. Мы перескочили на пиратское судно.

Аннний. Но удивительно, что тебя, чужого человека, позвали, а меня обошли, хотя отец невесты со мною — в третьей степени родства.

Левкий. И пиратов побросали в море.

Аннний. Это ты правильно сказал: у несчастливого нет родственников.

Левкий. Всю добычу поделили между собой.

Аннний. Потребую у нее объяснений при первой же встрече.

Левкий. Тут внезапно все улеглось, и настала полная тишь.

Аннний. У них богатство, а у меня гордость. Не нуждаюсь я в ее расположении!

Левкий. И вот вместо одного судна привели в гавань два.

Аннний. Кто ее кормит, тот пускай и сердится.

Левкий. Куда иду, спрашиваешь? В церковь, принести в дар святому Николаю обрывок паруса.

Аннний. Сегодня я занят: сам жду гостей. А в другой раз — охотно.

ΙΠΠΕΥΣ ΑΝΙΠΠΟΣ[1], ИЛИ САМОЗВАННАЯ ЗНАТНОСТЬ

Гарпал. Несторий

Гарпал. Не поможешь ли мне советом? Ты увидишь, что я умею помнить добро и быть благодарным.

Несторий. Хорошо, я дам тебе надежный совет, чтобы ты стал тем, кем хочешь быть.

Гарпал. Но родиться знатным — не в нашей власти.

Несторий. Если ты не знатен, постарайся добрыми делами достигнуть того, чтобы знатность началась с тебя.

Гарпал. Это слишком долго.

Несторий. Тогда ее задешево продаст тебе император.

Гарпал. Над покупною знатностью все смеются.

Несторий. Если нет ничего смешнее мнимой знатности, почему ты так упорно домогаешься звания рыцаря?

Гарпал. Есть причины, и немаловажные. Я их тебе охотно открою, если ты сперва подскажешь мне средства прослыть знатным у толпы.

Несторий. Получить одно прозвание, без вещи?

Гарпал. Если самой вещи нет, важнее всего слух о ней. Но, пожалуйста, Несторий, дай мне совет; узнаешь причины — сам скажешь, что ради этого стоит потрудиться.

Несторий. Ну, раз ты так настаиваешь, изволь. Во-первых, уезжай подальше от отечества.

Гарпал. Запомнил.

Несторий. Войди в общение с молодыми людьми действительно знатными.

Гарпал. Понятно.

Несторий. Отсюда возникнет первое предположение, что и ты таков же, как твои приятели.

Гарпал. Верно.

Несторий. Следи, чтобы ничего не было на тебе простонародного.

Гарпал. Чего именно?

Несторий. Я говорю о наряде. Шерстяного платья ни в коем случае не носи, но либо шелковое, либо, если недостанет, на что купить,— бумажное; пусть даже холстина, лишь бы не сукно.

Гарпал. Правильно.

---

[1] Конник без коня *(греч.)*.

Нестор ий. И смотри, чтобы цельного ничего не было, но повсюду делай прорези — и на шляпе, и на камзоле, и на штанах, и на башмаках, и даже на ногтях, если сможешь. И ни о чем низменном не говори. Если приедет кто из Испании, спроси, как улаживается спор между императором и папой. как поживает твой родич граф Нассау, как прочие твои собутыльники.

Гарпал. Будет исполнено.

Нестор ий. На палец надень перстень с печаткой.

Гарпал. Если только кошелек выдержит.

Нестор ий. Ну, медное кольцо с позолотой и с поддельным камнем стоит немного. И не забудь про щит с гербом.

Гарпал. Какой герб мне выбрать?

Нестор ий. А вот, если не возражаешь: два подойника и пивная кружка.

Гарпал. Нет, ты скажи серьезно.

Нестор ий. На войне ты никогда не был?

Гарпал. Даже не видал никогда!

Нестор ий. Но крестьянским гусям и каплунам. я полагаю, головы рубил.

Гарпал. Очень часто, и не без отваги.

Нестор ий. Возьми серебряный нож и три золотые гусиные головы.

Гарпал. И на каком поле поместить?

Нестор ий. На каком еще, как не на пурпуре? В память об отважно пролитой крови.

Гарпал. А и в самом деле! Гусиная кровь так же красна, как человеческая. Но, пожалуйста, продолжай.

Нестор ий. Этот щит с гербом постарайся прибить у ворот всех гостиниц и заезжих дворов, где ты когда-нибудь останавливался.

Гарпал. Какой выбрать шлем?

Нестор ий. Верно напоминаешь. Забрало пусть будет в прорезях.

Гарпал. Зачем?

Нестор ий. Чтобы ты мог дышать; и затем — в лад всему наряду. А нашлемник какой будет?

Гарпал. Скажи ты — я жду.

Нестор ий. Собачья голова с опущенными ушами.

Гарпал. Это примелькалось.

Нестор ий. Прибавь рога — это редкость.

Гарпал. Хорошо. Но какие животные будут держать щит?

Нестор и й. Оленей, псов, драконов, грифонов разобрали князья. Ты изобрази двух гарпий.

Гарпал. Прекрасный совет.

Нестор и й. Остается имя. Тут, прежде всего, надо остерегаться, чтобы тебя не звали попросту Гарпалом Комским, но Гарпалом из Комо: это подобает знати, а то жалким богословам.

Гарпал. Так. Запомнил.

Нестор и й. Нет ли у тебя какого-нибудь владения, чтобы ты мог именоваться его господином?

Гарпал. Даже хлева и то нет.

Нестор и й. Ты родился в большом городе?

Гарпал. Нет, в глухой деревне. Грешно лгать тому, у кого просишь лекарства.

Нестор и й. Ты прав. Но нет ли по соседству с этой деревней какой-нибудь горы?

Гарпал. Есть.

Нестор и й. А скала где-нибудь на горе есть?

Гарпал. Есть.

Нестор и й. Итак, будь Гарпалом, рыцарем Золотой Скалы.

Гарпал. У знати принято, чтобы каждый имел свой девиз. Например, у Максимилиана было: «Соблюдай меру!», у Филиппа — «Кто пожелает», у Карла — «Всё дальше!» И так у каждого свой.

Нестор и й. А ты надпиши: «До последней карты!»

Гарпал. Очень удачно!

Нестор и й. Чтобы мнение о тебе утвердилось, сочиняй письма, якобы посланные важными господами, и в них погуще расставь обращение «Светлейший рыцарь!» и упоминания о твоих ленах, о замках, о многих тысячах флоринов, о важных должностях, о богатой женитьбе. Позаботься, чтобы такие письма, якобы случайно тобою потерянные или забытые, попадали в чужие руки.

Гарпал. Это мне будет нетрудно: пишу я хорошо и долгим опытом приобрел способность подражать любому почерку.

Нестор и й. Вкладывай в платье или оставляй в кошельке, а после отдашь платье в починку, и мастера найдут. Они молчать не станут, а ты, как только об этом узнаешь, изобрази на лице гнев и огорчение, словно досадуешь на случившуюся оплошность.

Гарпал. А я и тут уже давно приготовился: могу менять выражение лица, как маску.

Несторий. Таким образом, обмана никто не заподозрит, и к молве все будут прислушиваться с доверием.

Гарпал. Обо всем позабочусь неукоснительно.

Несторий. Потом надо собрать нескольких приятелей или просто слуг, чтобы они повсюду уступали тебе место и величали «ёнкером». Расходов здесь опасаться нечего — есть очень много молодых людей, которые вызовутся разыгрывать эту комедию хотя бы и даром. Вдобавок здешние края кишат полуобразованными юношами, одержимыми страстью — чтобы не сказать «зудом» — к писанию; нет недостатка и в голодных типографах, готовых на все, если блеснет надежда на прибыток. Подкупи нескольких среди них, чтобы в своих книжках они объявили тебя «столпом отечества», и неоднократно, да еще и прописными буквами напечатали бы. Так ты хоть и в Богемии прослывешь «столпом отечества». Ведь книжки расходятся и живее и дальше, чем слухи или самые говорливые слуги.

Гарпал. И этот прием мне нравится. Но слуг надо содержать.

Несторий. Надо. Но ты не держи слуг ἀχίερους[1] и потому ἀχρείους[2]. Рассылай их туда, сюда — вот они что-нибудь и разыщут. Сам знаешь, случаи могут разные открыться.

Гарпал. Довольно: уже все понял.

Несторий. Остаются занятия.

Гарпал. Да, говори скорее!

Несторий. Если не будешь добрым игроком в кости, приличным картежником, неприличным блудодеем, неутомимым пьяницей, дерзким мотом и расточителем, по уши завязнувшим в долгах, если не будешь разукрашен галльскою паршою наконец,— едва ли кто поверит, что ты рыцарь.

Гарпал. В этом я давно понаторел. Да где взять средства?

Несторий. Погоди, сейчас узнаешь. Есть у тебя состояние?

Гарпал. Ничтожное.

Несторий. Когда многие поверят молве о твоей знатности, ты без труда найдешь дураков, которые поверят тебе

---

[1] безруких *(греч.)*.
[2] бесполезных *(греч.)*.

в долг: кто побоится отказать, а кто и постыдится. А чтобы обмануть заимодавцев, есть тысяча разных способов!

Гарпал. И в этом я не новичок. Но ведь начнут напирать, когда убедятся, что, кроме слов, нет ничего.

Несторий. Наоборот, нет более удобного пути к царству, чем задолжать как можно большему числу людей.

Гарпал. Как так?

Несторий. Во-первых, заимодавец оберегает тебя не иначе, как если бы ты оказал ему великое благодеяние: он боится потерять свои деньги и не хочет создать к этому повод. Рабы так не покорны своему хозяину, как заимодавцы должнику. А если когда-нибудь что-нибудь им вернешь, благодарности больше, чем за подарок.

Гарпал. Я это наблюдал.

Несторий. Только остерегайся иметь дело с мелкими заимодавцами. Из-за ничтожной суммы они поднимают целую бурю. С теми, кто побогаче, сговориться легче: их сдерживает стыд, ласкает надежда, пугает страх — им известно, на что способны рыцари. Наконец, когда долги станут тебя захлестывать, выдумай какую-нибудь причину и перебирайся в другое место, а оттуда — еще в другое. Стыдиться не нужно. Кто больше всех в долгу? Самые знатные. Если кто посмеет настаивать и напирать, прикинься оскорбленным такою наглостью. Правда, время от времени кое-что возвращай, но не все и не всем. Главное — это чтобы никто не почуял, что в кошельке у тебя совсем пусто. Всегда хвастайся.

Гарпал. Чем хвастаться тому, кому нечем похвастаться?

Несторий. Если друг оставит что-либо у тебя на сохранение, хвастайся будто своим, но как бы ненароком, неумышленно. Для этой же цели иногда бери деньги на короткий срок и возвращай исправно. Кошелек набей медной монетой, а доставай два золотых, которые припрятаны среди меди. Остальное сообрази сам.

Гарпал. Понимаю. Но в конце концов долги все равно меня погубят.

Несторий. Ты знаешь, сколько у нас позволено рыцарям.

Гарпал. Все, что угодно, и к тому ж безнаказанно.

Несторий. Так вот, слуг держи не робких и не ленивых, а еще лучше — не слуг, а кровных родичей, которых так или иначе приходится содержать. Встретится на дороге

купец — они его ограбят. Найдут кое-что без присмотра в гостиницах, в домах, на судах. Смекаешь? Пусть помнят, что не напрасно даны человеку пальцы.

Гарпал. Опасно все-таки...

Несторий. Ты одевай их получше, и непременно чтобы гербы на платье, да снабди вымышленными письмами к первым людям государства,— и тогда, если что стянут потихоньку, обвинить их никто не отважится, а если и будут подозрения, всякий промолчит, опасаясь господина. Если ж захватят добычу силой, это будет называться «войною». Такие забавы служат подготовкою к войне.

Гарпал. Какой удачный совет!

Несторий. И еще вот какой рыцарский закон всегда надо держать в памяти: рыцарь в полном праве опорожнить кошелек путнику-простолюдину. Слыханное ли дело, чтобы ничтожный купчишка позвякивал монетами, меж тем как рыцарю нечем уплатить продажной девке, нечего проиграть в кости! Всегда держись вблизи первых вельмож или, вернее, втирайся к ним в близость. Забудь про стыд, и в особенности — с иноземцами. Время старайся проводить в каком-нибудь людном месте, к примеру — в банях или в тех гостиницах, где всегда много постояльцев.

Гарпал. Это самое намерение у меня и было.

Несторий. Там судьба часто подбросит тебе добычу.

Гарпал. Каким образом? Объясни.

Несторий. Допустим, кто-нибудь забудет кошелек или оставит ключ в двери кладовой. Остальное сам понимаешь.

Гарпал. Но...

Несторий. Чего боишься? На такого нарядного, так надменно и цветисто изъясняющегося, на рыцаря Золотой Скалы — кто осмелится подумать? А если такой наглец и найдется, где у него мужество, чтобы тебя обвинить? Тем временем подозрение падет на кого-либо из постояльцев, уехавших накануне. Твои люди заведут брань и ссору с хозяином, а ты изображай невозмутимое спокойствие. Если ж обворованный окажется человеком осторожным и рассудительным, он не скажет ни слова, чтобы вместе с убытком не понести еще и позора, за то что плохо хранит свое добро.

Гарпал. Это ты дельно говоришь. Граф, владелец Белого Коршуна, тебе, конечно, известен.

Несторий. Разумеется.

Гарпал. Мне рассказывали, что у него гостил один испанец, весьма благородной наружности и прекрасно одетый.

Он украл шестьсот флоринов, и граф не посмел жаловаться. Столько было в этом человеке достоинства.

Нестор и й. Ну, вот тебе и пример. От времени до времени посылай одного из слуг на войну. Он пограбит церкви или монастыри и возвратится, нагруженный военною добычей.

Гарпал. Это всего вернее и безопаснее.

Нестор и й. Есть и еще способ доставать деньги.

Гарпал. Открой, очень тебя прошу.

Нестор и й. Изобрети какие-нибудь причины, чтобы можно было разгневаться на людей состоятельных, главным образом на монахов или священников, которых теперь почти все люто ненавидят. Один, дескать, насмехался над твоим гербом или плевал на него, другой говорил о тебе недостаточно уважительно, третий что-то написал, что может быть превратно истолковано. Этим людям через своих фециалов объяви ἄσπονδον πόλεμον [1]. Не жалей свирепых угроз, сули им разорение, разрушения, παγκληρίας [2]. В ужасе они прибегут к тебе улаживать раздор. Тут оценивай свою честь высоко, то есть требуй непомерно, чтобы получить в меру. Если запросишь три тысячи, меньше двухсот золотых дать постыдятся.

Гарпал. А другим буду грозить законами.

Нестор и й. Это уже ближе к искусству сикофантов; впрочем, отчасти небесполезно и оно. Да, вот что, Гарпал, чуть не забыл самое главное: надо поймать в сети богатую невесту. У тебя в руках приворотное зелье — ты молод, смазлив, забавно болтаешь, мило шутишь. Распусти слух, будто тебя зовут ко двору императора и делают самые заманчивые предложения: девушки охотно идут замуж за царских наместников.

Гарпал. Я знаю людей, у которых это отлично получалось. Но что, если в конце концов обман выйдет наружу и отовсюду разом накинутся заимодавцы? Затравят мнимого рыцаря насмешками! В их глазах самозванство страшнее и позорнее святотатства.

Нестор и й. Здесь нужно твердо помнить насчет бесстыдства, и в первую очередь — что никогда еще наглость не имела такого преимущества перед мудростью, как в наше время. Надо придумать какое-нибудь оправдание. Затем, всегда найдутся честные простаки, которые поверят твоей басне, а

---

[1] непримиримую войну *(греч.)*.
[2] окончательную погибель *(греч.)*.

иные и разгадают обман, но из учтивости промолчат. Наконец, если ничего иного не останется, ищи выхода в войне или в гражданской смуте. Подобно тому как κλύζει θάλασσα πάντα τῶν ἀνθρώπων κακά [1], так война покрывает все преступления. Кто не прошел такой подготовки, того нынче и за хорошего военачальника не считают. Это будет тебе последним прибежищем, если все прочее обманет. Но сперва надо горы и моря перевернуть — лишь бы до этого не дошло! Смотри, чтобы беззаботность тебя не сгубила. Избегай мелких городишек, где и пукнуть-то нельзя без того, чтобы весь народ не узнал. В больших и многолюдных городах свободы больше, если, конечно, это не Массилия какая-нибудь. Исподтишка выведывай, что про тебя говорят. Как узнаешь, что участились такие примерно речи: «Чем он занимается? Почему застрял у нас на столько лет? Почему не возвращается на родину? Почему не позаботится о своих замках? От кого ведет свое происхождение? Откуда средства для такой расточительности?» — когда, говорю, подобные речи зазвучат все дружнее, тут тебе самое время подумать о переселении. Бегство, однако же, пусть будет львиным, а не заячьим. Притворись, будто тебя приглашают к императорскому двору по важным делам и скоро ты вернешься с войском. Те, кому есть что терять, и пикнуть не посмеют в твое отсутствие. Но кого нужно остерегаться всего больше, так это поэтов из числа раздражительных и колючих. Если им что не по нраву, тут же давай марать бумагу, и что намарают — мигом разлетается по свету.

Гарпал. Клянусь, я в восторге от твоих советов! И ты скоро убедишься, что повстречал юношу, которого бестолковым или неблагодарным никто назвать не сможет. Как увижу на пастбище хорошего коня, тут же пошлю тебе подарок.

Нестор и й. Теперь и ты исполни обещание, в свою очередь. Почему ты так стремишься прослыть знатным?

Гарпал. Единственно потому, что знатным все позволяется безнаказанно. Разве это не веская причина, по-твоему?

Нестор и й. Как бы худо ни обернулось, двум смертям не бывать, а одной не минуешь, даже если жить в самом Шартрезе. И легче умереть на колесе, чем от камня в пузыре, от подагры или от паралича. Это по-солдатски — верить, что после смерти от человека не остается ничего, кроме трупа.

Гарпал. Так я и думаю.

---

[1] море смывает все грехи людей *(греч.)*.

Нефалий. Филипн

Нефалий. Нынче я хотел с тобою повидаться, Филипн, но сказали, будто тебя нет дома.

Филипн. И солгали не до конца, Нефалий: для тебя меня не было, для себя же я был вполне.

Нефалий. Что это? Загадка?

Филипн. Ты ведь знаешь старинную поговорку: «Я сплю не для всех». Известна тебе и шутка Назики. Он пришел навестить Энния, своего приятеля, а служанка, по приказу господина, ответила, что хозяина нет. Назика все понял и удалился. Когда же Энний, в свою очередь, пришел к Назике и спросил слугу, дома ли хозяин, Назика закричал из своей комнаты: «Нет меня дома!» Энний узнал голос и сказал: «Бесстыдник! Ты думаешь, я тебя не узнаю?» — «Нет,— возразил Назика,— ты еще бесстыднее моего, если не веришь мне самому, меж тем как я поверил твоей служанке».

Нефалий. Наверно, ты был очень занят...

Филипн. Наоборот, предавался приятному досугу.

Нефалий. Опять озадачиваешь меня загадкой!

Филипн. Хорошо, скажу напрямик, назову вещи своими именами.

Нефалий. Назови.

Филипн. Я крепко спал.

Нефалий. Что ты говоришь! А ведь уже восьмой час миновал, а в нынешнем месяце солнце встает раньше четырех!

Филипн. По мне, пусть встает хоть в полночь, лишь бы меня не тревожили и дали выспаться досыта.

Нефалий. Но это вышло случайно или же у тебя привычка такая?

Филипн. Конечно, привычка!

Нефалий. Но привычка к дурному — худшая из привычек.

Филипн. Почему ж «к дурному»? Никогда не спится так сладко, как после восхода солнца.

Нефалий. Так в котором часу ты обычно подымаешься с постели?

Филипн. Между четвертым и девятым.

Нефалий. Промежуток достаточно долгий: едва ли царицы причесываются и прибираются столько часов подряд. Но откуда у тебя эта привычка?

Филипп. А мы обычно засиживаемся до глубокой ночи за угощением, за игрою да за шутками, и этот убыток возмещаем утренним сном.

Нефалий. Никогда не видывал более отчаянного мота, чем ты.

Филипп. Мне это кажется скорее бережливостью, чем мотовством. Ведь я той порою и свечей не жгу, и одежду не снашиваю.

Нефалий. Бережливость наоборот: хранить стекло, теряя дорогие камни. Иначе судил философ, который на вопрос, что самое драгоценное, отвечал: «Время». Известно, далее, что рассвет — лучшая часть дня, и то, что есть самого драгоценного в самом драгоценном, ты с удовольствием расточаешь.

Филипп. Разве то, что отдаешь телу, расточаешь впустую?

Нефалий. Не отдаешь, а отнимаешь, потому что тело тогда в наилучшем состоянии, тогда всего бодрее, когда оно освежается умеренным сном и крепнет в утренних бодрствованиях.

Филипп. Но спать приятно...

Нефалий. Какая может быть приятность, если ты ничего не ощущаешь?

Филипп. Это-то и приятно — не ощущать никаких беспокойств.

Нефалий. Тогда уж самые счастливые те, кто спит в могиле, потому что спящего иной раз беспокоят сновидения.

Филипп. Говорят, что утренний сон — наилучшая для тела пища.

Нефалий. Это пища для животного, которое зовется сонею, а не для человека. Упитывают каплунов и поросят, готовясь к праздничному обеду, это понятно, но зачем наращивать жир человеку? Чтобы двигаться было тяжелее? Скажи, какого слугу предпочел бы ты иметь — жирного или бодрого и проворного?

Филипп. Да ведь я-то не слуга!

Нефалий. С меня довольно и того, что слугу, пригодного для работы, ты предпочитаешь хорошо упитанному.

Филипп. Разумеется.

Нефалий. А Платон сказал, что человек — это душа, тело же — не что иное, как помещение или орудие. И, во вся-

ком случае, я полагаю, ты согласишься, что душа в человеке главное и что тело — прислужник души.

Филипп. Пусть так, если тебе угодно.

Нефалий. Себе ты не желаешь слуги пузатого и неповоротливого, предпочитаешь резвого и проворного — почему же для души готовишь ленивого и тучного прислужника?

Филипп. Против правды не возразишь.

Нефалий. Задумайся еще вот о каком убытке. Если душа намного выше тела, то богатства души намного дороже телесных благ.

Филипп. Вполне вероятно.

Нефалий. Но между душевными благами первое место занимает мудрость.

Филипп. Согласен.

Нефалий. А для стяжания мудрости нет более удобного времени дня, чем рассвет, когда восходящее солнце вселяет во все бодрость и живость и рассеивает испарения, поднимающиеся из желудка и всегда затуманивающие голову — жилище ума.

Филипп. Не спорю.

Нефалий. Теперь разочти, сколько учености мог бы ты приобрести за те четыре часа, которые губишь на несвоевременный сон.

Филипп. Очень много.

Нефалий. Я по собственному опыту знаю, что в ученых занятиях больше пользы приносит один утренний час, чем три послеполуденных; и к тому же — без всякого ущерба для тела.

Филипп. Это я слыхал.

Нефалий. Далее, сообрази: если каждодневные потери собрать воедино, какая получится груда?

Филипп. Огромная, конечно.

Нефалий. Кто без толку сорит золотом и самоцветами, считается расточителем, и ему назначают опекуна. Но если кто губит это добро, неизмеримо более ценное, разве такое расточительство не позорнее, и намного?

Филипп. Видимо, позорнее, если правильно взвесить.

Нефалий. Взвесь и другое — то, что пишет Платон: «Нет ничего прекраснее и милее мудрости. Если бы возможно было разглядеть ее телесным взором, она возбудила бы необыкновенную к себе любовь».

Филипп. Но это невозможно.

Нефалий. Да, телесным взором. Но она открыта и видима очам души, которая есть лучшая часть человека. А где любовь необыкновенна, там должно быть и высшее наслаждение — всякий раз, как душа встречается с такою возлюбленной.

Филипп. Похоже, что ты прав.

Нефалий. Теперь ступай и сон, подобие смерти, променивай на это наслаждение!

Филипп. Но тогда прощай ночные игры.

Нефалий. И в добрый час, если худшее заменится лучшим, бесчестное — славным, самое дешевое — самым драгоценным. В добрый час расстается со свинцом тот, кто обращает его в золото. Ночь природа отвела сну; восходящее солнце призывает к житейским обязанностям весь род живых существ, а человека — в особенности. «Ибо спящие,— говорит Павел,— спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью». И есть ли что позорнее: в то время как все живое поднимается вместе с солнцем, а иные пением приветствуют его приближение, еще не видя самого светила, в то время как слон поклоняется восходящему солнцу, в это самое время человек еще долго храпит после восхода! Когда золотое сияние наполняет твою спальню, разве не кажется тебе, что оно корит сонливца: «Глупец, ты по доброй воле губишь лучшую часть своей жизни! Не для того я свечу, чтобы вы спали, укутавшись, а чтобы бодрствовали в самых достойных трудах. Никто не зажигает светильник, чтобы спать, но чтобы заниматься делом. Зажжен самый прекрасный из всех светильников — а ты знай себе храпишь!»

Филипп. Великолепная речь!

Нефалий. Не великолепная, а истинная. Не сомневаюсь, что ты не один раз слышал Гесиодовы слова: «Когда показалось дно, поздно быть бережливым».

Филипп. Тысячу раз. И верно: лучшее вино — в средине бочки.

Нефалий. А в жизни лучшая часть — первая, то есть юность.

Филипп. Бесспорно.

Нефалий. Но для дня рассвет — то же, что юность для жизни. Разве не глупо поступают те, кто юность растрачивает на пустяки, а утренние часы — на сон?

Филипп. По-видимому.

Нефалий. Есть ли такое имущество, которое можно поставить рядом с человеческою жизнью?

Филипп. Все сокровища персидской казны — и то нельзя!

Нефалий. Разве ты не испытывал бы сильной ненависти к человеку, который и мог бы, и желал коварно укоротить тебе жизнь на несколько лет?

Филипп. Я бы сам с удовольствием отнял у него жизнь.

Нефалий. Но еще хуже и вреднее, на мой взгляд, те, что по своей воле сокращают собственную жизнь.

Филипп. Согласен, если только найдутся такие люди.

Нефалий. Если найдутся? Да это делает всякий, кто схож с тобою!

Филипп. Опомнись, что ты говоришь?

Нефалий. То, что ты слышишь. Суди сам, разве не с полным основанием утверждает Плиний, что жизнь — это бодрствование и что человек прожил тем дольше, чем больше времени уделял занятиям? А сон — своего рода смерть. Потому-то и изображают его выходцем из царства мертвых, у Гомера же он назван братом смерти. Тех, кто во власти сна, ни среди живых нельзя числить, ни среди мертвых; скорее все-таки они ближе к мертвым.

Филипп. В целом так оно и есть, по-моему.

Нефалий. Теперь подсчитай, какую часть жизни отнимают у себя люди, которые ежедневно отдают сну три или четыре лишних часа.

Филипп. И не подсчитать!

Нефалий. Разве не чтил бы ты, словно бога, того алхимика, который мог бы прибавить десять лет жизни и вернуть пожилому возрасту юношескую бодрость?

Филипп. Как же иначе!

Нефалий. Но это божественное благодеяние ты способен оказать себе сам.

Филипп. Как так?

Нефалий. А так, что утро — юность дня, до полудня кипит молодость, потом наступает мужество, за ним следует старость, то есть вечерняя пора, а вечер сменяется закатом — это как бы смертный час. Бережливость и вообще приносит немалый доход, но всего более — в этом: разве не громадную выгоду доставил бы ты себе, если бы перестал губить без толку бóльшую и вдобавок лучшую часть жизни?

Филипп. Ты прав.

Нефалий. А потому до крайности бесстыдными представляются жалобы тех, кто винит природу, которая, дескать, столь тесно ограничила человеческую жизнь, но сами, по собственному почину, столько урезывают от того, что им отведено.

Жизнь у каждого достаточно долгая, если расчетливо ею распорядиться. Значительного успеха мы достигаем, если каждому делу назначен свой срок. После завтрака мы люди едва наполовину, ибо тело обременено пищей и, в свою очередь, отягчает ум, и небезопасно жизненный дух, занятый трудом пищеварения, из мастерской желудка вызывать наверх; после обеда — и того менее. Но в утренние часы человек — полностью человек: тело способно ко всякой службе, дух бодр и подвижен, все орудия ума чисты и исправны, и частица божественного дыхания, как говорит поэт, веет, и сознает свое начало, и устремляется к добродетели.

Филипп. Изящно ты проповедуешь.

Нефалий. Агамемнон у Гомера выслушивает, если не ошибаюсь, такие слова:

«Οὐ χρὴ παννύχιον εὕδειν βουληφόρον ἄνδρα»[1].

Насколько постыднее расходовать на сон значительную часть дня!

Филипп. Верно, но то — βουληφόρῳ[2]. А я не начальник войска.

Нефалий. Если есть у тебя что-либо дороже самого себя, тогда, конечно, не смущай душу словами Гомера. Медник ради скудной выгоды поднимается до света, а нас любовь к мудрости не может разбудить, чтобы мы вняли хотя бы голосу солнца, зовущего к выгоде поистине бесценной? Врачи предписывают принимать лекарства почти что исключительно на рассвете — они знают золотые часы, когда помочь телу; а мы их не знаем, не знаем, когда лечить и обогащать душу? Если это для тебя недостаточно веско, выслушай, что вещает у Соломона божественная Премудрость. «Кто рано,— говорит она,— устремится ко мне, найдет меня». А в таинственных псалмах сколько похвал утренней поре! Рано утром восхваляет божественное милосердие пророк, рано услышан голос его, рано достигает господа его мольба. И у Луки Евангелиста народ, взыскуя здравомыслия и учения, стекается к господу рано... Что вздыхаешь, Филипп?

Филипп. Едва сдерживаю слезы, когда вспоминаю, сколько потерял понапрасну!

Нефалий. Бесполезно мучиться из-за того, что вернуть нельзя, а исправить последующими стараниями можно.

---

[1] «Ночи во сне провождать подобает ли мужу совета?» *(греч.)*.
[2] мужу совета *(греч.)*.

Лучше об этом позаботься, чем в пустой скорби о прошедшем растрачивать впустую и будущее время.

Филипн. Хороший совет. Но ведь долгая привычка уже сделала меня своим невольником.

Нефалий. Вздор! Клин клином вышибают, привычка побеждается привычкою.

Филипн. Но трудно расставаться с тем, к чему так давно привязан.

Нефалий. Только поначалу. Противоположная привычка сперва утишит досадное чувство, а вскоре обратит его в самую горячую радость; так что не нужно сожалеть об этой недолгой досаде.

Филипн. Боюсь, ничего не выйдет.

Нефалий. Будь тебе семьдесят лет, я бы не стал сбивать тебя с привычного пути. Но ты, я думаю, едва за семнадцать перешагнул. А этот возраст чего только не одолеет — была бы решимость!

Филипн. Что ж, попробую. Попытаюсь из Филипна-Снолюбца сделаться Филологом-Словолюбом.

Нефалий. Если действительно постараешься, мой Филипн, я уверен: через немного дней ты будешь поздравлять себя с успехом, а меня благодарить за добрый совет.

СКАРЕДНЫЙ ДОСТАТОК

Якоб. Гильберт

Якоб. Откуда ты к нам, такой иссохший, точно бы все это время питался одной росою, вместе с кузнечиками? Прямо выползок человека, да и только!

Гильберт. Тени в преисподней насыщаются мальвою и пореем; а я прожил десять месяцев в таком месте, где и того не доставалось.

Якоб. Где же это? Объясни, пожалуйста! Может, тебя похитили и ты попал на галеру?

Гильберт. Ничего похожего. Я был в Синодии.

Якоб. В таком богатом городе — и чуть не умереть голодною смертью?

Гильберт. Именно.

Якоб. Но по какой причине? Денег не было?

Гильберт. И деньги были, и друзья.

Я к о б. Так в чем же дело?

Г и л ь б е р т. Я гостил у Антрония.

Я к о б. У этого богача?

Г и л ь б е р т. Но страшнейшего скареда!

Я к о б. Диво какое-то!

Г и л ь б е р т. Дива нет никакого. Все богачи таковы, если они выбились из крайней бедности.

Я к о б. Но что за охота была оставаться столько месяцев у такого хозяина?

Г и л ь б е р т. Так я решил в ту пору: были обстоятельства, которые меня удерживали.

Я к о б. Расскажи, заклинаю тебя, как устроена его жизнь.

Г и л ь б е р т. Охотно: воспоминания о пережитых бедствиях доставляют удовольствие.

Я к о б. А у меня удовольствие впереди.

Г и л ь б е р т. Когда я приехал, на Синодию обрушилась беда οὐρανόθεν:[1] целых три месяца задувал борей, хотя — по какой причине, не знаю — дольше недели кряду он не держался.

Я к о б. Тогда каким же образом он дул целых три месяца?

Г и л ь б е р т. На восьмой день ветер, так сказать, снимался с лагеря, но восемь часов спустя разбивал шатры на прежнем месте.

Я к о б. Тут слабому телу понадобился жаркий очаг.

Г и л ь б е р т. Жара было бы вдоволь, если бы хозяин запасся дровами. Но наш любезный Антроний, спасаясь от расходов, корчевал на островах пни. на которые никто больше не польстился; трудился он главным образом по ночам. Вот этими-то дровами, почти совсем еще сырыми, он и топил; дыма много, огня мало, да и тот не греет — скорее одна видимость, чтобы нельзя было сказать, будто огня вообще не разводили. Один огонечек тлел целый день — до того был чахлый.

Я к о б. Да, тяжелая выпала тебе зима.

Г и л ь б е р т. Но лето — еще тяжелее.

Я к о б. Почему?

Г и л ь б е р т. Столько в этом доме блох и клопов, что и днем нет покоя, и ночью глаз не сомкнешь.

Я к о б. Пакостное богатство!

---

[1] с небес *(греч.)*.

Гильберт. Да, такого рода скотинкою хвастаться не стоит.

Якоб. Как видно, женщины там ленивые.

Гильберт. Они прячутся по своим углам и среди мужчин не показываются. Так и получается, что женщины там — только утеха для мужчин, а той заботы, которую обычно слабый пол оказывает сильному, мужчины лишены.

Якоб. А что Антроний? Ему это запустение разве не в тягость, не в досаду?

Гильберт. Он вырос в такой же самой грязи, и ничто, кроме барыша, ему не дорого. Он проводил время где угодно, только не дома, и совал нос во все дела подряд. Ты знаешь, что этот город под особым покровительством Меркурия. Прославленный живописец считал потерянным день, в который он не провел хотя бы одной линии; Антроний гораздо горше оплакивал тот день, который не приносил ему никакого барыша. И если так случалось, искал даров Меркурия в собственном доме.

Якоб. Что же он делал?

Гильберт. В доме был водоем,— по обычаю того города,— и Антроний зачерпывал несколько ковшей и подливал в винные кувшины. Вот тебе и доход!

Якоб. Вино, наверно, было слишком крепкое?

Гильберт. Наоборот, жиже помоев! Он всегда покупал только дрянное вино, чтобы купить подешевле. И чтобы ни капли не пропало даром, все время подмешивал гущу десятилетней давности и старательнейшим образом взбалтывал, чтобы с виду напоминало сусло; так и гущи у него не пропадало ни крошки — он бы этого ни за что не допустил.

Якоб. Но если верить врачам, вино с гущею рождает камни в пузыре.

Гильберт. Врачи правы: года не проходило, чтобы один или двое из его домочадцев не умирали от камня; но Антрония траур в доме не страшил.

Якоб. Нет?

Гильберт. Он даже с мертвых драл подать. Не гнушался любым, самым ничтожным прибытком.

Якоб. Ты говоришь о воровстве?

Гильберт. Торговцы называют это барышом.

Якоб. А что сам Антроний пил?

Гильберт. Тот же нектар.

Якоб. И ему не было худо?

Гильберт. Он до того здоров, что хоть сено мог бы жевать, и смолоду, как я уже сказал, воспитан на подобных лакомствах. По его мнению, нет дохода вернее.

Якоб. Как это?

Гильберт. Если сочтешь всех — жену, сыновей, дочерей, зятя, работников и служанок, выйдет, что в доме кормилось тридцать три человека. Чем сильнее разбавлено было вино, тем меньше пили, тем дольше тянулся запас. Теперь сообрази, если всякий день прибавлять по ковшу воды, какая кругленькая сумма соберется за год.

Якоб. Какая гнусная жадность!

Гильберт. Но не меньше сберегалось и на хлебе.

Якоб. Объясни.

Гильберт. Он покупал испорченную пшеницу, которую никто другой брать не хотел. Тут сразу и доход, потому что обходилось дешевле. А порчу исправляли.

Якоб. Как же исправляли-то?

Гильберт. Есть белая глина, несколько схожая с хлебом. Ее любят лошади — они грызут стены, охотно пьют из рытвин, где вода взмучена такою глиной. Вот ее он и подмешивал: на две части зерна одну часть глины.

Якоб. И это значит «исправлять»?

Гильберт. Во всяком случае — на вкус. А доход и здесь совсем нешуточный. И еще одну хитрость прибавь сюда же. Хлебы месили дома, и не чаще, чем дважды в месяц, даже летом.

Якоб. Но это значит подавать на стол камни, а не хлебы!

Гильберт. Нет, камни, пожалуй, мягче. Впрочем, и тут нашлись, как пособить беде.

Якоб. Я слушаю.

Гильберт. Куски сухаря размачивали в вине.

Якоб. Одно под стать другому. А работники терпели такое обхождение?

Гильберт. Сперва расскажу тебе, как кормят родных,— тогда ты легче поймешь, как обходятся в этом доме с работниками.

Якоб. Я весь слух.

Гильберт. О завтраке там и речи не было, обед же задерживался чуть не до первого часа пополудни.

Якоб. Почему?

Гильберт. Дожидались Антрония, главу семейства. А ужинали иногда в десятом часу.

Якоб. Но ты всегда плохо переносил пост.

Гильберт. Вот я и кричал что ни день Ортрогону, зятю Антрония (мы с ним жили в одной комнате): «Эй, Ортрогон, нынче в Синодии не едят?» Он отвечал учтиво, что Антроний сейчас будет. На стол, однако же, не накрывали, а в животе урчало вовсю, и я снова говорил Ортрогону: «Эй, Ортрогон, нынче придется умирать с голоду?» Он ссылался на ранний час или еще на что-либо. Урчание в животе делалось невыносимым, и я опять спрашивал Ортрогона, занятого своими делами: «Что ж будет? Погибнем голодной смертью?» Исчерпав все отговорки, Ортрогон шел к слугам и приказывал накрывать. Но Антрония все не было, и стол по-прежнему был пуст; наконец Ортрогон, уступая моим попрекам, спускался к жене, к теще и к детям и кричал, чтобы подавали ужин.

Якоб. Ну, теперь-то уж подадут.

Гильберт. Не торопись. Приходит хромой слуга, который ведает столом, очень похожий на Вулкана; постилает скатерть. Это первое предвкушение трапезы. После долгой переклички приносят стеклянные чаши с чистою и прозрачною водой.

Якоб. Вот и другое предвкушение.

Гильберт. Не торопись, говорю. Снова ожесточенные крики — и появляется кувшин того мутного от гущи нектара.

Якоб. О, радость!

Гильберт. Но без хлеба. Пока опасности никакой: даже самая сильная жажда не прибавит вкуса этакому вину. Опять кричат до хрипоты, и лишь после этого ставят на стол хлеб, который и медведь едва ли угрызет.

Якоб. Ясно, что решили спасти тебя от смерти.

Гильберт. Поздним вечером возвращается наконец Антроний, но еще на пороге делает сообщение, которое не сулит ничего доброго: оказывается, у него разболелся живот. Чего ждать гостю, если хозяин нездоров?

Якоб. Он и вправду худо себя чувствовал?

Гильберт. До того худо, что один слопал бы трех каплунов, если бы кто дал задаром.

Якоб. Я жду трапезы.

Гильберт. Прежде всего, ставят перед хозяином тарелку бобовой каши — это у них обычное кушанье бедняков. Антроний говорил, что бобовая каша помогает ему от всех болезней.

Якоб. Сколько вас бывало за столом?

Гильберт. Восемь, иногда девять, в том числе — ученый Обрезаний, я полагаю, тебе небезызвестный, и старший сын Антрония.

Я к о б. А им что подавали?

Г и л ь б е р т. Разве не довольно людям воздержным того, что Мелхиседек вынес Аврааму, победителю пяти царей?

Я к о б. Значит, кроме хлеба и вина, ничего?

Г и л ь б е р т. Нет, кое-что перепадало.

Я к о б. Что именно?

Г и л ь б е р т. Помню, сидели мы вдевятером, а в миске я насчитал лишь семь листиков салата, которые плавали в уксусе, но без масла.

Я к о б. Значит, Антроний поедал свои бобы один?

Г и л ь б е р т. А их и покупали-то всего на пол-обола. Впрочем, он не возражал, если соседу по столу приходила охота отведать, да только невежливым казалось вырывать у бедняги пищу изо рта.

Я к о б. Значит, листья салата делили на части — как в поговорке про тминное зернышко?

Г и л ь б е р т. Нет, салат съедали самые почтенные сотрапезники, а остальные макали хлеб в уксус.

Я к о б. А после седьмого листочка что?

Г и л ь б е р т. Что же еще, как не сыр — заключение застолья?

Я к о б. И так постоянно?

Г и л ь б е р т. Почти постоянно. Лишь изредка, в день, когда Меркурий улыбался особенно милостиво, стол бывал несколько обильнее.

Я к о б. И что же тогда?

Г и л ь б е р т. Антроний приказывал купить три грозди винограда на одну медную монетку; и весь дом радовался.

Я к о б. Как же иначе!

Г и л ь б е р т. Но исключительно в ту пору, когда виноград всего дешевле.

Я к о б. Стало быть, кроме как осенью, он ничего лишнего не тратил?

Г и л ь б е р т. Тратил. Есть там рыбаки, которые вылавливают мелкие раковины, главным образом — в отхожих местах; особым криком они дают знать, что у них за товар. У них иной раз он распоряжался купить на полушку (эту монетку синодийцы зовут «багаттино»). Тут ты бы решил, что в доме свадьба: надо было разводить огонь, чтобы поскорее все сварить. Это подавали после сыра — вместо сладкого.

Я к о б. Сладкое отменное, клянусь Геркулесом! Однако ни мяса, ни рыбы на столе не было никогда?

Г и л ь б е р т. В конце концов он все же сдался на мои

жалобы и стал чуть щедрее. Когда же хотел показать себя вторым Лукуллом, перемены были примерно вот какие.

Я к о б. Очень любопытно!

Г и л ь б е р т. На первое подавалась похлебка, которую там, не знаю почему, зовут «служанкою».

Я к о б. И недурная?

Г и л ь б е р т. Приправляли ее так. Ставят на огонь горшок с водою, а в воду кладут несколько кусков буйволового сыра, сухого и твердого, как камень, без доброго топора ни крошки не отколешь. Размякая в горячей воде, сыр слегка закрашивает ее — и уже никто не может сказать, будто это одна вода. Это у них преддверие пира.

Я к о б. Хлебово для свиней!

Г и л ь б е р т. Потом — требуха от старой коровы, но, во-первых, в ничтожном количестве, а во-вторых, сваренная недели две назад.

Я к о б. Значит, смердит?

Г и л ь б е р т. Невыносимо! Но и тут беде умеют помочь.

Я к о б. Как?

Г и л ь б е р т. Я скажу, но ты не вздумай подражать.

Я к о б. Будь покоен!

Г и л ь б е р т. Разбалтывают яйцо в горячей воде и этой подливою заливают мясо; правда, скорее это обман зрения, чем обоняния, потому что смрада ни под какою подливою не спрячешь. Если день требует рыбного стола, подают в иных случаях три маленькие златобровки,— это на семь или на восемь человек.

Я к о б. А больше ничего?

Г и л ь б е р т. Ничего, кроме того же каменного сыра.

Я к о б. И вправду второй Лукулл! Но чтобы такого скудного припаса хватило на столько сотрапезников, да еще и без завтрака,— как это возможно?

Г и л ь б е р т. Ты еще не все знаешь — остатками нашего застолья кормились теща, невестка, младший сын, служанка и несколько малых ребят.

Я к о б. Ты лишь умножил мое недоумение, но никак не рассеял.

Г и л ь б е р т. Едва ли я смогу тебе это объяснить, если сперва не опишу порядка нашего застолья.

Я к о б. За чем же дело стало? Опиши.

Г и л ь б е р т. Во главе стола сидел Антроний, по правую руку от него — я, на правах почетного гостя, напротив Антрония — Ортрогон, подле Ортрогона — Обрезаний, подле Об-

резания — Стратег, грек родом. Слева от Антрония садился старший сын; если являлся еще гость, это место, из уважения, отводили ему.

Начнем с похлебки. О ней беспокоиться было нечего, и наливали всем почти одинаково — разве что в тарелках первых за столом лиц плавали кусочки сыра. Что же касается второго блюда, то из кувшинов с вином и водою (обычно их бывало четыре) воздвигалось подобие крепостной стены, так что дотянуться не мог никто, кроме троих, перед которыми блюдо стояло: только величайший наглец решился бы перескочить через эту ограду. Вдобавок блюдо на столе не задерживалось: скоро его уносили, чтобы и прочим домочадцам кое-что перепало.

Я к о б. А вы, за столом, что ели?

Г и л ь б е р т. Утешались на свой лад.

Я к о б. На какой же это лад?

Г и л ь б е р т. Глиняный хлеб размачивали в старой-престарой винной гуще.

Я к о б. Но такое застолье, должно быть, в один миг и заканчивалось.

Г и л ь б е р т. Нередко тянулось дольше часа.

Я к о б. Не понимаю.

Г и л ь б е р т. То, что внушало опасения, быстро уносили,— я уже тебе говорил,— и подавали сыр, за который можно было не опасаться, потому что от него ни одним столовым ножом ни крошки не отколупнешь. Оставалась эта знаменитая гуща и у каждого свой ломоть хлеба. К этому сладкому примешивались вполне невинные беседы, а тем временем закусывал женский сенат.

Я к о б. Ну, а работники-то что?

Г и л ь б е р т. Они с нами никак не сообщались, в свои часы и обедали и ужинали, но в целом на еду тратили не более получаса в день.

Я к о б. Но чем же их кормили?

Г и л ь б е р т. Это уж сам догадайся.

Я к о б. А немцам едва хватает часа на первый завтрак, еще одного часа на второй, полутора часов на обед и двух — на ужин; и если доверху не нальют утробу добрым вином, не набьют вкусным мясом и рыбою,— бросают хозяина и бегут на войну.

Г и л ь б е р т. У каждого народа свой нрав. Итальянцы на еду расходуют очень мало: наслаждению они предпочитают деньги. И трезвенники они не только по привычке, но и от природы.

Я к о б. Теперь я, конечно, не удивляюсь, почему ты вернулся такой тощий. Удивительно другое — как ты вообще жив остался, особенно после того, как дома всегда ел каплунов, куропаток, голубей да фазанов.

Г и л ь б е р т. А я бы и правда умер, если б не отыскалось спасительное средство.

Я к о б. Худо идут дела там, где нужно столько целебных средств!

Г и л ь б е р т. Я уже изнемогал от слабости, когда добился, чтобы мне за каждою трапезой давали четверть вареного цыпленка.

Я к о б. Теперь-то ты оживешь!

Г и л ь б е р т. Не совсем. Цыпленка, из бережливости, покупали до того маленького, что и шестерых таких недостало бы на завтрак одному здоровому поляку, а купивши, не кормили, чтобы не было лишних расходов. От этой заморенной, полудохлой птички варили крылышко или лапку. Печенку отдавали маленькому сыну Ортрогона. Навар и раз и другой выпивали женщины, дважды подливая свежей воды. В конце концов ко мне лапка попадала суше пемзы и безвкуснее трухлявой деревяшки, а навар был чистейшею водою.

Я к о б. А я слыхал, что там кур без числа, что они и вкусны и дешевы.

Г и л ь б е р т. Это верно, но деньги синодийцу милее курицы.

Я к о б. Такого наказания было бы довольно, даже если бы ты убил папу римского или помочился на гробницу Петра-апостола.

Г и л ь б е р т. Ты дослушай до конца. Тебе известно, что скоромных дней в неделе пять.

Я к о б. Еще бы неизвестно!

Г и л ь б е р т. Но цыплят покупали только двух. По четвергам прикидывались, будто забыли купить,— чтобы не пришлось подавать целого цыпленка сразу или чтобы на пятницу не оставалось.

Я к о б. Клянусь, этот Антроний побивает самого Эвклиона у Плавта! А постными днями как ты спасал свою жизнь?

Г и л ь б е р т. Я поручил одному другу, чтобы он за мой счет покупал мне по три яйца на день — два к обеду, одно к ужину. Но и тут женщины вместо свежих, купленных задорого, подкладывали тухлые, и я считал, что все обстоит превосходно, если из трех яиц хотя бы одно оказывалось съедобным. Купил я на свои деньги и мех вина получше; впрочем, женщины

сломали засов и в несколько дней все высосали досуха. Антроний не очень на них рассердился.

Я к о б. Неужели не было решительно никого, кто бы тебя пожалел?

Г и л ь б е р т. Пожалел? Наоборот — я казался им обжорою и мотом: ведь я один поглощал столько пищи! Ортрогон неоднократно мне внушал принять в рассуждение особенности тамошних краев и всерьез о себе позаботиться. Он вспоминал несколько наших земляков, которых прожорливость довела до тяжелой болезни, а то и вовсе свела в могилу. Когда он увидел, что я пытаюсь укрепить здоровье, подорванное беспрерывными трудами, недоеданием и даже болезнью,— покупаю у аптекарей сладости из сосновых орешков, из тыквенных и дынных семечек, он подговорил одного врача, близкого моего приятеля, посоветовать мне умеренность в пище. Тот взялся за дело с усердием, я быстро почувствовал, что он исполняет чужое поручение, и ничего не ответил. Тогда он приступился еще старательнее, и увещаниям не было конца, пока я не возразил: «Скажи мне, дорогой друг, ты это всерьез или в шутку?»— «Всерьез»,— говорит. «Как же, по-твоему, мне быть?» — «От ужина откажись вовсе, а вино разбавляй водой, по меньшей мере наполовину». Я посмеялся над этим прекрасным советом: «Если ты хочешь меня убить, то для моего тела, тощего, скудного и на редкость слабого, отказаться от ужина хотя бы раз было бы равносильно смерти. Это проверено на опыте, и не однажды; снова испытывать судьбу никакой охоты нет. Понимаешь ли ты, что получится, если, пообедав *так плотно*, я не стану ужинать? И понимаешь ли, *какое* вино советуешь разбавлять водой? Право же, лучше пить чистую воду, чем мутную! Не сомневаюсь, что все эти речи ты ведешь по просьбе Ортрогона». Врач улыбнулся и заговорил менее строго: «Не в том мой тебе совет, ученейший Гильберт, чтобы не ужинать вовсе. Можно скушать яйцо и выпить глоток вина,— я и сам так живу. На ужин мне варят яйцо, я съедаю полжелтка, а все остальное отдаю сыну; затем выпиваю полстакана вина и занимаюсь до глубокой ночи».

Я к о б. И теперь он говорил правду?

Г и л ь б е р т. Истинную правду. Случилось как-то, что я прогуливался, возвращаясь из церкви, и вдруг мой спутник мне напоминает, что на этой улице живет врач. Захотелось мне поглядеть на его царство. День был воскресный. Я постучался в дверь. Слуга отворил. Я вошел. Застаю врача с сыном и этим самым слугою за обедом. На столе два яйца и больше ничего.

Я к о б. Тщедушные, надо полагать, людишки!

Г и л ь б е р т. Нет, оба были хорошо упитанны, на щеках румянец, глаза блестят.

Я к о б. Что-то не верится.

Г и л ь б е р т. Я тебе рассказываю то, что видел сам. И не он один так живет, но и очень многие другие из тех, что и знатны и богаты. Поверь, объедалы и опивалы — рабы не природы, но привычки. Если втягиваться постепенно, в конце концов придешь к тому же, что Милон, который в день съедал целого быка.

Я к о б. Боже бессмертный! Если можно поддерживать здоровье таким малым количеством пищи, сколько же денег уходит впустую у немцев, англичан, датчан, поляков!

Г и л ь б е р т. Ужасно много, не сомневаюсь, и не без тяжкого ущерба как для здоровья, так и для ума.

Я к о б. Но что мешало и тебе довольствоваться этой пищею?

Г и л ь б е р т. Я привычен к другому, и менять привычку уже было поздно. Впрочем, не столько меня мучила скудость пищи, сколько скверное качество. И двух яиц могло бы хватить, если б они были свежие, и стакана вина было бы довольно, если бы вместо вина не подавали прокисшую гущу, и полхлебца насытили бы, если бы вместо хлеба не давали глину.

Я к о б. Неужели Антроний до того скуп при таких достатках?

Г и л ь б е р т. Я думаю, у него не меньше восьмидесяти тысяч дукатов. И не было года, который бы не принес ему тысячи дукатов — это по самым скромным подсчетам.

Я к о б. А сыновья, для которых он копит, такие же бережливые?

Г и л ь б е р т. Да, но только дома. А как за порог — так и едят сладко и жирно, и распутничают, и в кости играют. Отец ради самых уважаемых гостей боится медный грош истратить, а сыновья меж тем за одну ночь проигрывают шестьдесят дукатов.

Я к о б. Так всегда уходит на ветер то, что прикоплено скаредностью. Но куда же ты теперь, выбравшись цел из таких опасностей?

Г и л ь б е р т. Во Францию, в старинную, издавна знакомую мне гостиницу — там и возмещу потерянное в Синодии.

ПИСЬМА ТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ

1

Фома Швецдлиний,
в полные бакалавры богословия произведенный, хоть и недостойным будучи звания сего, желает здравствовать мужу пресветлейшему и мудроутробнейшему милсдарю Ортуину Грацию Девентерскому, пиите, оратору, философу, а равномерно и богослову, со присовокуплением всех прочих титлов, елико самим им благоугодно

Еже и понеже (как сказано у Аристотеля), «сомневаться в отдельных вещах небесполезно», и писано у Екклесиаста: «Предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать все, что делается под солнцем», помыслил я, господин, предать вашеусмотрению некий вопрос, будучи оным вопросом ниспровергнут в сумнение. Однако ж поспешаю заверить достойнейшего магистра: видит бог, не поползновенны мы искушать ни преподобие ихнее, ниже высокостепенствие, а отдаемся под покров щедрот ваших, ища единственно получить руководство и неколебимость супротив оного сумнения. Писано бо в Евангелии: «Не искушай Господа Бога Твоего», и глаголет Соломон: «Всякая премудрость — от Господа», вы же дали мне все знание, каковое во себе емлю, а всякое же благое знание есть источник мудрости, и через то проистекает, что вы предо мною яко бы господь бог, ибо вы, ежели выразиться поэтически, можно сказать, дали мне исполниться изначальственной мудростью.

Вопрос же сей учинился при таковом случае: будучи недавно званы ко Аристотелеву застолью, доктора и лиценциаты вкупе со магистрами изрядно возвеселились, и я иже с ними; по первости испили мы каждый три чаши мальвазии, а для закуски употребили мягчайшего хлебного крошева, затертого на вине, засим изволили выкушать от шести яств мясных, курьих и каплуньих, да от одного рыбного; однако ж, отведывая яств, непрестанно чередовались и в питиях, хлебнули вина коцборгского и рейнского да пива эмбекского, торгауцкого и наумбургского; магистры имели изрядное удовольствие и говорили, что новоиспеченные магистры не постояли на угощении и отпотчевали собратьев на славу. Засим возвеселясь, затеяли магистры весьма тяжкое словопрение о важных вопросах. И один сделал таковой вопрос: надлежит ли именовать лицо, имеющее быть произведену в докторы богословия, «нашемагистрие» или же «магистренашие», ежели взять для примеру хоть бы обретающегося в городе Кельне велеречивого отца и брата нашего Теодориха из Ганды, который есть монах ордена кармелитов и посланец благословенного Кельнского университета, знаток свободных искусств, философ, диспутант и превеликолепный богослов. И сей же час воспоследовал ответ от соотчича моего, магистра Мягкохлебеля, многоизощренного скотиста и магистра вот уже осьмнадцатый год, а прежде того с двух разов не был он допускаем к соискательству и с трех разов проваливался, однако ж до тех пор оставался в учении, покуда не пришлось произвести его в магистры за выслугой годов, ныне же превзошел науки и имеет во множестве учеников, больших и малых, старцев и отроков, и муж сей весьма рассудительно сказал и раздоказал, что непременно надобно говорить «нашемагистрие», как есть это выражение однословесное: ибо «взмагистрить» означает возвести в магистры, «взбакалаврить» — возвести в бакалавры, «вздокторить» же — возвести в докторы, откуда и воспроизошли слова: «магистрие», «бакалаврие» и «докторие». Но поелику докторы священного богословия не прозываемы «докторы», а для-ради смирения и святости, равно как и для-ради отличия, зовутся и именуются «магистры наши», ибо в католическом вероучении они наместничествуют за господа Иисуса Христа, который есть источник жизни; Христос же нам всем был магистр, то бишь учитель, а посему надлежит именовать их «магистры наши», ибо призваны они наставлять нас на путь истины. Бог же есть истина, стало быть, и прозываются они по заслугам «магистры наши»,

ибо все мы, християне, должны и обязаны послушествовать их-ним проповедям и ни в чем им не прекословить, и, стало быть, выходят они всем нам учители. Глагол же «я на́шу, ты на́шишь, он, она, оно на́шит» неупотребительствен и нет его ни в словаре «Из оного...», ни в «Католиконе», ни в «Кратком», ни в «Драгоценнейшем из драгоценных», хоть всяких прочих словес там предостаточно. Следовательно, надлежит говорить «нашемагистрие», но отнюдь не «магистренашие». И тогда магистр Андрей Делич, человек умственный, частью поэт, частью же знаток искусств, медицины и права, публично читающий об Овидиевых «Метаморфозах» и все сказанья толкующий буквалически и аллегорически, и я сам ходил у него во слушателях, ибо толкования его превеликолепны, на дому же он читает про Квинтилиана и Ювенка, сделал возражение магистру Мягкохлебелю, что говорить надо «магистренашие». Ибо подобно тому, как есть различение между «магистром нашим» и «нашим магистром», так есть различение и между «магистренашием» и «нашемагистрием»: ведь «магистрнаш» — выражение однословесное и должно означать доктора богословия, тогда как «наш магистр» — выражение двусловесное и пригодно для магистра всякого свободного искусства, либо рукомесла, либо умотруждения. А ежели глагол «я на́шу, ты на́шишь, он, она, они на́шут» неупотребительствен, так это не суть важно, ибо завсегда можно произвесть новое слово, и к сему присовокупил он цитату из Горация; магистры восхитились через великую его умственность и поднесли ему на здоровие кружку наумбургского пива, он же сказал: «Сей момент и прощенья просим», а засим прикоснулся к своей биретте, засмеялся сердечно и поднял кружку за магистра Мягкохлебеля, сказавши: «Вот, почтенный магистр, не думайте, что я вам не приятель»,— и выпил единым духом; магистр же Мягкохлебель достодолжно ему ответствовал и выпил за силезскую нацыю. И все магистры изрядно веселились, покуда не прозвонили к вечерне. А посему и молю вас, милостивцы вы наши, отписать мне свое глубокомудрое суждение; я так и сказал: «Магистр Ортуин беспременно отпишет мне истинную правду, ведь он был надо мной наставником в Девентере, когда я обучался там по шестому году». А еще желаю знать, много ли преуспели вы в брани супротив доктора Иоанна Рейхлина. Ибо слышу я, что сей висельник (хоть он доктор и законник) упорствует в своих заблуждениях. И еще пришлите мне при случае книгу магистра нашего Арнольда Тонгрского, сочинение глубокомысленное

и умственное, в коем много толкуется о премудрости богословской. Пребывайте в добром здоровии и не взыщите, что пишу к вам попросту, ибо сами вы мне сказывали, что возлюбили меня, как брата, и сулились мне во всяком деле споспешествовать, хоть бы даже станет нужда ссудить больших денег. Писано в Лейпциге.

2

Магистр Иоанн Шкурдубель
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

Пишу вам свой поклон со душевным расположением и всеконечной покорностью. Премногочтимейший господин! Поскольку сказано в Аристотелевых «Категориях»: «Сомневаться в отдельных вещах небесполезно», есть на мне один грех, о коем много печалуюсь и угрызаюсь совестью. Был я недавно с одним бакалавром на Франкфуртской ярмарке, и там, идучи улицей, что выходит на площадь, повстречались нам двое, наружностью весьма достойные, в черных и просторных одежах с капишонами на снурках. И видит бог, помыслил я, что сие магистры наши, и приветствовал их, снявши биретту; а сопутник мой, бакалавр, ткнул меня локтем и говорит: «Господи помилуй, что вы содеяли? Ведь это жидовины, вы же сняли пред ними биретту», и тут вострепетал я, как будто узрел самого диавола. И сказал: «Почтеннейший бакалавр, господь да простит мя, согрешил бо по неведению. Однако ж рассудите, зело ли тяжек мой грех?» И он ответствовал, что по мнению его сей грех смертный, ибо я нарушил первую из десяти заповедей, гласящую: «Веруй во единого боґа». А посему кто поклонится жидовину либо язычнику, яко бы пред ним християнин, тот прегрешает против християнства и сам уподобляется жидовинам и язычникам, жидовины же и язычники при сем говорят: «Эге, стало быть, наша вера правильней, ежели християне нас почитают», и утверждаются в вере своей, а от веры християнской отвращаются и не идут креститься. На это я отвечал: «Истинно так, ежели кто совершит сие с умышлением, я же согрешил по неведению, и, стало быть, мой грех простителен. Ибо будь мне ведомо, что они жидовины и я бы им при сем поклонился, достоин был бы сожжения на костре,

ибо сие есть ересь. Но свидетель бог, они ни словом, ни делом себя предо мною не оказали, и мнил я, что они магистры наши...» Он же сказал, что все единственно сие есть грех, и добавил: «Таковой же случай был и со мною. Пришел я раз во храм, а там пред распятым Спасителем постановлен деревянный жидовин с молотком в руке, я же помыслил, что сие святой Петр с ключом и, снявши биретту, преклонил пред ним колена, однако сей же час спохватился, что предо мной жидовин, и раскаялся, но когда пришел к исповеди в обитель братьев проповедников, духовник мне сказал, что сие есть грех смертный, ибо надлежит нам завсегда бдеть». И еще сказал он, что отпустить таковой грех может токмо епископ, буде же грех мой вольным, а не невольным, отпущение мог бы дать токмо самоличный папа. Однако я получил отпущение, потому как духовник мой был облеченный епископской властью. И видит бог, я уверен, что ежели вы хотите спасти свою душу, вам непременно надобно покаяться перед официалом консистории. Неведение же не может извинить таковой грех; ибо надлежит завсегда бдеть, и опричь того жидовины непременно носят желтый круг на одежах, и вы должны были сие узреть, как узрел я; посему неведение ваше душевредно и не может извинить греха». Таковые слова сказывал сей бакалавр. И как есть вы глубокомысленные богословы, молим вас покорнейше и всесмиренно рассудить об оном вопросе и отписать, совершил ли я смертный грех или же грех простительный и можно ли ему быть отпущену простым священником, либо же епископом, либо токмо самоличным папою. И еще отпишите, хороши ли вам покажутся обычаи во Франкфурте, где жидовинам дозволяется разгуливать по улицам, одетым совершенно как магистры наши; я же мыслю, что сие нехорошо и срамно, когда жидовинов не отличишь от магистров наших, через что учиняется поругание священному богословию. И предержащий государь император не должен тому попустить, чтобы жидовин, каковой не лучше собаки и враг Христов, разгуливал по городу, яко бы доктор священного богословия. При сем препровождаю вам послание магистра Борзоперия, в обиходе прозываемого Шустерписером, что получилось от него из Виттенберга. Вы с ним сделали знакомство еще в Девентере и водили дружбу; и он мне говорил, что дружба ваша была зело веселая. Он и ныне такой же веселый друг и об вас поминает со всяким удовольствием; да благословит вас господь и ниспошлет вам здравия. Писано в Лейпциге.

3

Магистр Бернард Борзоперий магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

«Горе той мыши, которая знает одну лишь нору». Сие, достопочтеннейший муж, подтвердительно могу сказать и о себе, ибо, имеючи одного лишь друга, был бы сир и убог, а ежели б он меня предал, неоткуда было бы мне обресть дружелюбивое утешение. И есть тут один поэт, прозываемый Георгий Сибут, из светских поэтов, и читает публично лекции о поэзии, во всем же прочем веселый друг. Но да будет вам известно, что сии поэты, ежели они еще и не богословы, подобно вам, норовят всех поносить и в особенности изливают хулу на богословов. Раз как-то давал он у себя на дому угощение, потчевал нас торгауским пивом, и засиделись мы до третьего часу ночи, а я присем был в изрядном подпитии, потому как пиво обыкновенно ударяет мне в голову, и один человек при всяком случае искал меня уязвить, я же смиренно предложил выпить про его здравие, и он того не отринул; однако в свой черед и не подумал ответить мне тем же; я его до трех разов к тому побуждал, а он отмалчивался, будто воды в рот набравши; тогда сказал я себе: «Сей бездельник взирает на тебя свысока и при всяком случае норовит уязвить». В сердцах схватил я кружку и разбил об его голову. Поэт же, озлобясь, сказал, что я сделал конфузию у него за столом, и велел мне убираться из его дома ко всем чертям. Я же на это ответствовал: «Плевал я на то, что вы мне будете не приятель. У меня таковые мерзостные неприятели были во множестве. Но я над всеми одержал верх, и экая важность, что вы поэт? Да я имею в друзьях поэтов почище вас, ваши же вирши ставлю не выше дерьма. Как вы обо мне полагаете? Что я дурак или что у меня кочан на месте головы?» Он же обозвал меня ослом и сказал, что я и в глаза не видывал ни одного поэта. На что я отвечал: «От осла и слышу, а поэтов видывал поболе твоего»,— и помянул вас, и магистра нашего Сотфи из бурсы Кнек, сочинителя «Достопамятной глоссы», и достопочтенного Рутгера, лиценциата богословия, из Нагорной бурсы; с тем я ушел, и сделались мы с ним неприятели. А посему прошу отписать мне милостиво и премилостиво какое ни на есть поэтичное послание, дабы мог я похвалиться пред оным поэтом и всеми прочими, что вы есть мой

друг и почище его поэт. А еще отпишите, как ныне идут дела у достопочтенного Иоанна Пфефферкорна, и все ли пребывает он в борениях с доктором Рейхлином, и все ли вы держите его сторону, как доселе, и какие вообще новости. Храни вас Христос.

4

Магистр Иоанн Горшколепий магистру Ортуину Грацию пишет свой поклон

Премногочтимейший господин магистр, коль скоро мы с вами почасту учиняли друг над другом всякие шкоды, не будет вам докукою, ежели расскажу кой-чего, и вознамерился сделать сие безо всякой опаски, что сочтете зазорною ту проделку, про которую пропишу в сем письме, ибо сами вы охочи до этаких штук. Не сумневаюсь, что будете много смеяться, потому как история сия зело смехотворна. Тут недавно был к нам один из братьев проповедников, гораздо понаторелый в богословии, он искусно умеет рассуждать, и многие к нему благожелательствуют. Прозывается он Георгий; прежде он обретался в Галле, а засим объявился здесь и небезуспешно проповедовал с полгода и поносил в проповедях своих всех и вся. Даже самого государя и его вельмож. Однако же в застолье веселился от души и пил купно со всеми вполпьяна и допьяна; но всякий раз после вчерашней попойки беспременно помянет нас наутро в проповеди: «Се восседают магистры университета сего, кои всю ночь с приятелями в винопийстве, веселии и глупствовании пробдели, и заместо того, чтоб других от такового дела отвращать, они сами всему зачинщики»,— и меня не единожды срамил поносными словесами. Я на него затаил обиду и стал думать, как бы ему отмстить; однако ничего не надумал. И вот прослышал я от одного человека, что проповедник сей ходит в ночи к одной бабе и имеет от нее всякое удовольствие и с ней спит. Сие прослышавши, созвал я своих однокашников из коллегии, и об десятом часе пришли мы к ее дому и вломились в дверь; монах, вздумавши улизнуть, не поспел одеться и прыгнул через окошко в голотелесном виде. А я так хохотал, что чуть кишка не лопнула, и крикнул ему: «Доброчестный брате, вы позабыли портки!» — однокашники же мои схватили его и вываляли в дерьме, а засим окунули в лужу; но я их удержал и сказал, что надобно блюсти пристойность;

однако же мы всем скопом поимели ту бабу; так я отмстил монаху, и более он уже не поминал меня в проповедях. Только вы об сем деле ни гугу, ибо братья проповедники ныне держат вашу сторону супротив доктора Рейхлина и обороняют церковь и веру католическую от светских поэтов: лучше бы тот монах был из какого другого ордена, потому как сей орден паче всех иных творит великие чудеса. Отпишите и вы мне что-нибудь смехотворное да не прогневайтесь. Пребывайте во здравии. Писано из Виттенберга.

5

Иоанн Страусовласий
Ортуину Грацию желает здравствовать многая лета и иметь столько приятственных ночей, сколько звезд на небе и рыб в море

Да будет вам ведомо, что я здоров и матушка моя тоже здорова. То же желаю слышать и о вашем здоровии, ибо всякий день непременно об вас поминаю. Однако дозвольте мне поведать о неслыханном деле, кое учинило здесь одно высокородное благородие, чтоб ему провалиться во преисподнейший ад; ибо сей человек вел хульные речи супротив почтеннейшего магистра нашего Петра Мейера за столом, где сидело много сиятельств и благородиев, и обошелся с ним безо всякого почтения, а напротив того, был столь продерзостен, что и слов нет. Охальник сей говорил так: «Доктор Иоанн Рейхлин, вот это доктор, не вам чета»,— и щелкнул у него перед носом пальцами. А магистр наш Петр ответствовал: «Пускай меня вздернут на виселицу, если это так. Свидетельствуюсь пресвятою Девою, что доктор Рейхлин в богословии яко младенец, и всякий младенец более смыслит в богословии, нежели доктор Рейхлин. Свидетельствуюсь пресвятою Девою, уж я-то в сем деле смыслю: он не знает ни единой строчки из книг «Изречений». Свидетельствуюсь пресвятою Девою, что предмет есть зело тонкостный, его не можно выучить, яко грамматику и поэзию. Вот я хоть сейчас могу стать поэтом, стоит мне только пожелать, и буду слагать вирши, потому что слушал в Лейпциге Сульпиция об стихотворных размерах. Только к чему мне сие? А вот он пускай попробует сделать мне богословский вопрос и приведет аргументы «за»

и «против». И он многоразличными способами раздоказал, что никто не может в совершенстве постичь богословие иначе, как через посредствие святого Духа. Один святой Дух преисполняет сим искусством. Поэзия же есть пища диавола, как говорит блаженный Иероним в своих посланиях. А тот охальник сказал, что это враки и что доктор Рейхлин тоже преисполнен святого Духа и довольно превзошел богословие, ибо написал книгу весьма богословскую, не знаю уж, какое там у нее название, и обругал магистра нашего Петра скотиной. И еще присовокупил, что магистр наш Гохштрат — нищеброд. И все много смеялись. Я же сказал, что простой школяр не смеет так дерзить и вести хульные речи об докторе богословия. А доктор Петр до того прогневался, что вскочил из-за стола и привел из Евангелия: «Ты самарянин и бес в тебе». Я же сказал: «Вот тебе, получай!» — и возрадовался, что он так ловко разделался с сим охальником. И вам необходимо надобно впредь стоять на своем, обороняя богословие, и ни на кого не взирать, будь то благородие, либо мужепес, ибо ученость ваша велика и предостаточна. Умей я сочинять стихи, подобно вам, я не поглядел бы и на князя, пускай даже грозил бы он меня умертвить. А пуще всего ненавистны мне сии законники, что носят красные сапоги и шубы на куньем меху и не оказывают достодолжного почтения ни магистрам, ниже магистрам нашим. А еще смиренно и всепокорно прошу мне отписать, каковы учинились в Париже дела с «Глазным зеркалом». Молю бога, дабы благословенный Парижский университет взял вашу сторону и предал сожжению сию еретическую книгу, ибо она содержит премного поносной хулы, как пишет магистр наш Арнольд Тонгрский. И еще слышу я, что магистр наш Сотфи из бурсы Кнек, сочинивший «Достопамятную глоссу» к четырем книгам Александровым, преставился. Надеюсь, однако, что сие неправда, ибо был он муж преславный и многомудрый во грамматике, не в пример нонешним грамматикам, которые из поэтов. А еще благоволите передать мой поклон магистру Ремигию, некогда несравненному моему наставнику, почасту мне говорившему: «Гусак ты, гусак, нет никакой моей возможности выучить тебя искусству логики». Я же ответствовал: «Помилосердствуйте, почтеннейший магистр, я исправлюсь». И он иной раз прогонял меня с глаз, а иной раз крепко драл розгами; я же был об ту пору довольно смирен и с охотой принимал вразумление за нерадивость свою. А более писать не об чем, кроме как пожелать вам сто лет жизни. Пребывайте и здравствуйте в мире. Писано в Майнце.

8

Франциск Гуселапий
магистру Ортуину Грацию

Желаю вам столь премногого здравия, что и тыще талантов не перевесить. Достойнейший господин магистр, надобно вам ведать, что идет здесь об вас великая молва, и богословы воздают вам хвалы, что вы, ни на кого не взирая, сочинительствуете в защиту веры и супротив доктора Рейхлина. Но некоторые здешние скудоумные школяры, а иже с ними законники, не осененные верой Христовой, многие ведут против вас речи, однако не могут взять верх, ибо богословский факультет держит вашу сторону. А недавно, когда доставились сюда книги, именуемые «Парижские определения», все магистры их купили и вельми радовались; я тоже купил и послал в Гейдельберг для прочтения. Пребываю в надежде, что когда гейдельбергцы их узрят, то сей же час раскаются, что не споспешествовали благословенному Кельнскому университету супротив доктора Рейхлина. И еще слышу, что Кельнский университет принял статут во веки веков не допускать к испытательному диспуту ни единого, кто обучался на бакалавра или магистра в Гейдельберге; и распрекрасное дело, пускай знают, каков есть Кельнский университет, и наперед будут с ним заодно. Не худо бы подобное же учинить и над прочими, но полагаю, что прочие университеты не знали сего, и можно простить их нее неведение. А еще один мой друг дал мне превеликолепное ваше стихотворение, каковое вы, надо быть, пожелали возвестить Кельнскому университету, я же, показуя его магистрам и магистрам нашим, слышал, что они зело его похваляли. И послал я его во многие города, ко славе вашей, ибо вы мне любезны. А вот и стихотворение сие, дабы ведали вы, об чем речь:

«Аще кто ересь читать восхощет ныне
И учиться при сем классической латыни,
Должон «Парижские определения» добыти
С изложением недавних парижских событий,
О том, яко Рейхлин заблуждался в вере,
Что магистр наш Тонгрский доказал в полной мере.
Магистр Ортуин хощет читать писанья эти
В сем благодатном университете,
И тако и сяко тексты толковати,
И кой-что существенное в них выделяти,

И все «за» и «против» досконально оспорить,
В том желая парижским богословам вторить,
Егда «Глазное зеркало» они изучили
И оного Рейхлина наставительно осудили,
Яко ведают о том братья кармелиты,
А такожде те, что зовутся иаковиты» [1].

Воистину дивлюсь, сколь много имеете прозорливости; и столь преискусственно сочинительствуете, что я, читаючи сладостные писания ваши, возвеселяюсь и желаю вам многая лета и преумножения славы, ибо велика польза от ваших трудов. Господь да сохранит вас, и сбережет вам жизнь, и не отдаст вас на волю врагов ваших; и да будет по слову Псалмопевца: «Да даст тебе Господь по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит». И опричь того отпишите мне об своих делах, ибо уповаю слышать и видеть, что делаете и творите: а засим пребывайте во здравии. Писано из Фрейбурга.

9

Магистр Конрад из Цвикау
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

Зане писано у Екклесиаста, XI: «Веселись, юноша, в юности твоей», то я и возвеселился душой и, да будет вам ведомо, зело преуспел по части женска пола и со многими сотворил блуд. Сказано бо у Иезекииля: «Теперь кончатся блудодеяния ее вместе с нею». Так почему мне нельзя при случае произвесть очищение почек? Ибо я не ангел, но человек, человеку же свойственно ошибаться. Ведь вы и сами иной раз не прочь с кем ни то переспать, ибо не можно человеку завсегда почивать одному, по слову Екклесиастову, III: «Если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться?» Когда же отпишете мне, как поживает ваша полюбовница? Мне сказывал один человек, что при бытности его в Кельне вы с нею рассорились и прибили ее за то, что она яко бы смела вам перечить. Удивляюсь я, как поднялась у вас рука бить такую красотку: я не мог бы сие лицезреть без слез; лучше было бы вам ей сказать, чтоб она больше такого не смела, и она бы исправилась и стала бы с вами ласковей

[1] Здесь и далее переводы стихов В. Рогова.

по ночам. Ведь вы, когда читали нам Овидия, сами говорили, что женщин не можно бить ни под каким видом, и подкрепляли сие даже цитатами из Писания. Я же радуюсь, что моя зазноба весела и не ссорится со мною; и сам я, когда прихожу, беру с нее пример, и мы возвеселяемся и пьем пиво и вино, ибо вино веселит сердце человеческое, унылый же дух сушит кости. Бывает, правда, я на нее рассержусь, но тогда она целует меня, и мы миримся, и она говорит: «Достойный магистр, возвеселитесь духом». А недавно, когда вздумалось мне прийти, в дверях столкнулся я с каким-то молодым торговцем, и штаны у него были враспояску, и на лбу пот, и я решил, что она ему дала, и весьма прогневался; однако ж она мне поклялась, что оный торговец до нее и не коснулся, а предложил только купить полотна на рубашку; тогда я сказал: «Сие похвально, но когда же вы сошьете мне рубашку?» — и тут она выпросила у меня два флорина на полотно, дабы было из чего сшить. А денег у меня как раз не было, и я попросил взаймы у одного приятеля и отдал ей. И хвалю я веселие. Да и врачи говорят, что кто всегда весел, тот здоров. Есть тут у нас один магистр наш, он завсегда бывает сердит и никогда не весел, а оттого и хвор. Он завсегда меня попрекает и говорит, что я не должен любить женщин, ибо они суть диаволы, и погибель для мужеска пола, и нечисты, и нет средь них ни одной непорочной; и ежели кто бывает с женщиной, сие все едино что с диаволом, потому как покоя уж не видать. Тогда я сказал: «Прощенья просим, господин магистр наш, но ведь и ваша родительница тоже была женщина»,— и с тем пошел от него. А еще он недавно говорил за проповедью, что священники ни под каким видом не должны иметь сожительниц, и епископы совершают смертный грех, когда берут молочную десятину и позволяют священникам держать служанок, и что их надо бы выгнать всех до единой. Однако так ли, эдак ли, а должны же мы иной раз возвеселяться; и с женщиной можно спать, чтобы только никто не видел; засим, конечное дело, потребно покаяться: господь бог есть бог милосердый, и должно нам уповать на прощение. При сем посылаю вам сочинение в защиту Александра Галла, старого и многоученого грамматика, хотя нынешние поэты и норовят его охулить; но они не ведают, что говорят, ибо Александр зело превосходен, о чем вы много говорили мне в Девентере. Сочинение сие дал мне один здешний магистр, а откуда его достал, об том я неизвестен. Уповаю, что вы его напечатаете к великому досаждению оных поэтов, ибо таковой сочинитель им поистине что кость в горле; однако писано у него столь поэтически,

что я не уразумел ни слова, ибо писавший, опричь всего, хороший поэт; и присем он богослов и не знается со светскими поэтами наподобие доктора Рейхлина, Буша и иных прочих. Когда сие сочинение было мне преподнесено, я тотчас сказал, что пошлю его вам для прочтения. А ежели имеете какие новости, немедля мне отписывайте и здравствуйте в нелицемерной любви. Писано из Лейпцига.

10

Иоанн Арнольди
желает здравствовать на множество лет
магистру Ортуину Грацию

Зане и поелику имеете вы всенепременное желание слышать новости — в согласии с Аристотелем, каковой глаголет: «Все люди от природы стремятся к знанию»,— посему я, Иоанн Арнольди, ученик ваш и покорный слуга, посылаю вашему владычеству и достопочтенству сию книжицу, каковая сочинена одним охальником и исполнена срамных речей на достойнейшего Иоанна Пфефферкорна из Кельна,— мужа сугубо беспорочного, и я, хоть и возмущался, однако не мог учинить препятствия ее печатанию, ибо он имеет тут во множестве покровителей, и в оном числе — больших благородиев, кои разгуливают по улицам, как шуты, препоясанные длинными мечами. Но все равно я сказал, что сие не праведно, ибо надобно памятовать, что сии светские поэты станут и впредь смущать людей своими стишками, ежели магистры наши не станут бодрствовать и не притянут их через магистра нашего Якова Гохштрата к ответу пред римской курией. А опричь того опасаюсь, что учинится великое шатание в католической вере. И посему молю вас написать книгу супротив сего срамника и как следует его проучить, дабы не было ему наперед повадно бесчестить магистров наших, будучи самому простым школяром и не имея степени ни в законоведении, ни в свободных искусствах, хоть он и побывал в Болонье, где также много светских поэтов, что не имут ни рвения, ни чистоты веры. А еще он недавно говорил за столом, что магистры наши в Кельне и в Париже учинили не по справедливости над доктором Рейхлином, и я стал делать ему возражения; он же забросал меня соромными и поносными словами, и я до того стал сердит, что вскочил из-за стола и всех звал в свидетели, что мне чинят обиду,

и после того кусок лез у меня из горла. Теперь же испрашиваю от вас совета, как мне при сем случае его тягать в суд, ибо вы ведь еще до некоторой степени юрист. А еще посылаю стихи, кои я сочинил и написал:

хореямбом, гексаметром, сафическою строфой,
ямбом. асклепиадовым стихом, одиннадцатисложником,
элегическим дистихом, двухчленным размером и
двустишием:

«Кто истинно блюдет
католическую веру
Зане, яко всем надлежит знать,
За нею же идет университет
Кельна,
Зато все иные ему
беспрекословны
А Рейхлин, «Глазного зеркала»
сочинитель,
И магистр наш Тонгрский,
вполне в том уверясь,
А магистр Гохштрат приложил
тщания,
да воспоследует парижан
примеру,
там всех университетов мать,
коий вере следует
вельми богомольно,
или же вину искупают, ежели
виновны,
злонравный бе совратитель,
доказал, что сие есть сущая
ересь,
дабы ввергнуть в огнь оные
писания».

Ежели б мог я возыметь аргументы, то написал бы целую книгу против сего охальника, доказуя, что он на деле уже отлучен от церкви. Однако мне недосуг более вам писать, потому что время идти на лекцию, ибо здесь один магистр зело и досконально разбирает и читает старое искусство, я же посещаю лекции его для своего сугубого совершенства. Желаю вам здравия наипаче всех друзей моих и приятелей, кои здесь и всеместно пребывают в великой чести.

11

Корнелий Окноставний
желает здравствовать на множество лет
магистру Ортуину Грацию

Посылаю вам таковую множественность приветов, сколько на небе звезд, а на дне морском — песчинок. Достопочтенный господин магистр, терплю я немало бранных препирательств с лихими людьми, что возымели желание сойти за ученых,

сами же не обучены логике, то бишь науке всех наук. В недавнем времени отслужил я в обители братьев проповедников одну обедню святому Духу и молил господа ниспослать мне милость, и укрепить память мою на силлогизмы, дабы мог я диспутировать супротив тех, которые только и умеют, что речисто болтать по-латыни да кропать стишки. А опричь того велел я взимать доброхотные даяния на потребу магистру нашему Якову Гохштрату и магистру нашему Арнольду Тонгрскому, начальствующему в бурсе святого Лаврентия, дабы обресть им одоление над неким доктором права, а равно и светским поэтом, прозываемым Иоанн Рейхлин, зело продерзостным, каковой выступил супротив четырех университетов в защиту жидовинов и высказывает кощунственные мнения, мерзопакостные для благочестивого уха, как доказали Иоанн Пфефферкорн и магистр наш Тонгрский; однако сам он не превзошел умозрительного богословия и не изучил ни Аристотеля, ниже Петра Испанского. А посему, ежели не отречется, магистры наши в Париже приговорили его к сожжению. Я своими глазами видел письмо с печатью и собственной рукой декана парижского факультета священного богословия. И один из магистров наших, зело премудрый в священном богословии и просвещенный в вере, каковой членствует в четырех университетах и сочинил сверх ста писаний об книгах «Изречений», кои превзошел досконально, неоспоримо доказал, что упомянутый доктор Иоанн Рейхлин никоим образом не отвертится, и даже самоличный папа не дерзнет вынести приговор супротив столь славного университета, ибо он сам не богослов и не смыслит в сочинении святого Фомы против язычников, хоть и говорят, будто он человек ученый, да обучен-то он поэзии. И магистр наш, что священствует во храме святого Мартина, показывал мне письмо, в котором письме сей университет предлагает с великой готовностью братскую помощь Кельнскому университету. Однако оные латынщики дерзают противиться. Недавно сидел я в Майнце в гостинице «Корона», где ко мне с неслыханным бесстыдством привязались двое охальников, дерзая обзывать кельнских и парижских магистров наших безмозглыми глупцами. И сказали, что их писания об «Изречениях» — сугубое глупствование. А еще они назвали наставления, своды и суммы, какими пользуются во всех бурсах и в каждой по отдельности, сплошным вздором. Я столь вознегодовал, что у меня язык отнялся. Они же все допекали меня, поминая, что я совершил паломничество в Трир, дабы узреть хитон господень, который определительно отнюдь не господень.

И привели в доказательство рогатый силлогизм: «Ничто разодранное не должно выдавать за хитон господень. Но сей хитон разодран. Следовательно... и т. д.». Я принял бóльшую посылку, меньшую же отринул. А они засим привели таковое доказательство: сказано у блаженного Иеронима: «В древности Восток, обуянный заблуждениями и смутою, хитон Господень, не швенный, а весь тканый сверху, на клочья растерзал». Я на сие возразил, что святой Иероним пишет не евангельским слогом и явственно не по-апостольски; и с тем, вставши из-за стола, отошел от сих охальников. Право, они вели таковые окаянные речи об магистрах наших и докторах, осененных истинной верою, что папа может их за одно сие отлучить от церкви. И ежели б про то ведали куриалы, притянули бы их к суду в курию, решили бы их всех ихних бенефициев или, по крайности, слупили с них немалую пеню. Слыханное ли дело, чтоб какие-то неучи, безо всякой степени и отличия, ни при каком факультете не состоящие, разводили хульные речи о столь достойных мужах, постигнувших полную глубину мудрости, каковы магистры наши? Они от того много о себе возомнили, что могут кропать вирши. Однако я тоже могу сочинять стихи и вирши, ибо читал «Новый латинский слог» магистра Лаврентия Корвина, и грамматику Брассикана, и при сем Валерия Максима, а также иных поэтов. И недавно, когда прогуливался, сочинил супротив сих охальников таковое поэтическое произведение:

«В Майнце, в трактире, зовомом «Корона»,
Где недавно стояла моя персона,
Два охальника возмутительных,
К магистрам нашим бесстыдно непочтительных,
Их опровергать в богословии посмели,
Хоша и степени никакие не имели,
Не ведают правил, по коим вести прения,
Многих выводов не соделают из единого заключения,
Яко Доктор Изощренный нас тому наставляет --
И сугубо тот гнусен, кто его не уважает! —
Яко на диспутах выводят из Доктора Несокрушимого,
В науках многоразличных непобедимого;
Не ведают они, кто есть Доктор Серафический,
Не постичь вполне без коего науки физической,
И что Доктор Святой пишет достохвально,
Аристотеля и Порфирия ведая досконально:

Он к «Пяти универсалиям» дал нам пояснение,
Или к «Пяти предикабилиям» — то же самое значение,
И кратко изложил пункты оны, столь многи,
И этике Аристотеля подвел итоги;
Сие недостижимо ни для единого стихоплета,
Посему-то бесстыдно болтать им охота,
Яко болтали оны гнусны кривляки оба,
Их же к магистрам нашим безмерна злоба;
Но магистр наш Гохштрат да к ответу их притянет —
И хулить просвещенных охоты у них не станет».

Пребывайте во здравии, а еще кланяйтесь от меня достохвальным мужам магистру нашему Арнольду Тонгрскому, и магистру нашему Ремигию, и магистру нашему Валентину Гельтерсгеймскому, и господину Якобу из Ганды, превеликолепному поэту из ордена проповедников, и прочим.

12

Магистр Гильдебрант Мамаций желает здравствовать магистру Ортуину

Дражайший господин Ортуин, не могу ныне писать с достодолжным изяществом, каковое предписует письмовник, ибо надобно поспешать и понуждаем я с краткостию изъяснить, об чем речь, ибо имею донести вам об одном деле, кое есть удивительно и таково: надо вам знать, что прошел здесь преужасный слух, и все говорят, что дела магистров наших в римской курии обернулись к худу, ибо говорят, что папа хочет утвердить решение, кое в прошлом годе вынесено было в Шпейере насчет доктора Рейхлина. Когда я о том услыхал, от страху уста мои сделались безгласны и не мог слова вымолвить, а после целых две ночи не спал. Рейхлиновы же друзья ликуют и везде распускают сей слух; но я ни за что не поверил бы тому, ежели б своими глазами не видел письмо одного магистра нашего из ордена проповедников, в коем он с великой скорбию пишет сию новость. И еще пишет, что папа благословил печатать «Глазное зеркало» при римской курии, и книготорговцам велено его продавать, чтоб все читали. А магистр наш Гохштрат возжелал покинуть курию и поклясться, что он неимущ, но судьи не отпускают его. Они говорят, что он должен ждать

окончания делу, клясться же, что неимущ, не может, ибо въехал в Рим о трех конях, а после, при курии, много устраивал угощения, и не стеснялся в деньгах, и давал мзду кардиналам, и епископам, и аудиторам консистории, и посему не может принести обет бедности. О пресвятая Дева, как нам теперь быть, ежели богословие таковые претерпевает унижения, что один юрист взял верх над всеми богословами? Я мыслю, что папа не есть добрый христианин, а будь он добрый христианин, невозможно было бы ему, чтоб не постоять за богословов. Но пускай даже папа вынес решение супротив богословов, все равно надобно жаловаться перед собором, ибо собор выше папы, и там богословы имеют одержание над остальными факультетами; и уповаю, что «Господь даст благо» и призрит на рабов своих богословов, и не попустит, дабы торжествовали враждующие против них, и дар святого Духа изольет на нас, и ниспошлет нам одоление над лживостью сих еретиков. Недавно говорил здесь некий юрист, будто было слово пророческое, что ордену проповедников суждено сгинуть, и от ордена сего проистечет соблазн в вере Христовой, превеликий и доселе неслыханный: и свидетельствовался книгой, в какой прочитал сие пророчество. Да быть ему лживу! Ибо оный орден зело полезен, и не будь его, не знаю уж, что и сталося бы с богословием, ибо проповедники во всякое время были в богословии превыше миноритов или августинцев и не сходят с пути своего Доктора Святого, он же никогда не заблуждался. И присем в ордене ихнем много было святых, и они отважно диспутируют супротив еретиков. И удивляюсь я, почему магистру нашему Якову Гохштрату нельзя поклясться, что он неимущ, — он ведь принадлежит к нищенствующему ордену, где явственно все неимущи. Если б я не боялся отлучения, то сказал бы, что папа в сем случае заблуждается. И не мыслю, что он поистине не стеснялся в деньгах и давал мзду, ибо он есть муж зело ревностный в вере; а мыслю, что все сие выдумали юристы и иже с ними, ибо доктор Рейхлин ведает, чем их прельстить, и слышал я, что также многие города, и государи, и важные господа писали в его защиту. И причина тому, что они не обучены богословию и не разумеют дела: иначе постигли бы, что в сем еретике сидит диавол, ибо он учиняет досаждение супротив веры, пусть бы даже весь мир утверждал обратное. Вам должно не замешкав изъяснить сие магистрам нашим в Кельне, дабы знали они, как быть. И отпишите мне, что они думают делать. Будьте здоровы, да хранит вас Христос. Писано в Тюбингене.

14

Магистр Иоанн Крабаций
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

Преславный муж, как я два года сопребывал при вас в Кельне, и вы наказывали мне завсегда вам писать, в котором бы ни был я месте, доношу вам, что прослышал о кончине славного богослова, магистра нашего Гекмана Франконского, коий был несравненный муж, и при бытности моей в Вене состоял там ректором, и глубокомудростно диспутировал вслед за Скотом, и был супротивник всех светских поэтов, и ревнитель веры, и радетельный служитель обедни. Когда он был ректором в Вене, всех своих подначальных соблюдал в превеликой строгости и заслуживал похваления. И вот когда я был в Вене, прибыл однажды из Моравии какой-то малый, наверно что поэт, ибо сочинял стишки и просился читать об стихосложении, однако отнюдь не имел степени. На сие магистр наш Гекман клал ему запрет, в нем же достало продерзости оный запрет не взять во внимание, и тогда ректор клал своим подначальным запрет, дабы не смели ходить на его лекции; а сей кромешник заявился к ректору, и говорил с ним бесстыдно, и тыкал; ректор же велел кликнуть стражников и заключить его в тюрьму, ибо сие есть великий срам, когда какой-то неуч тычет ректору университета и магистру нашему: ведь я слышал, что он не бакалавр, и не магистр, и вовсе никакой не имеет ни степени, ни звания, а выступает будто воитель или ратник, идучи на бранное дело, на голове у него шлем, а у пояса длинный нож, и видит бог, сидеть бы ему в тюрьме, не будь у него в городе благосклонных знакомцев. Я премного скорблю, ежели правда, что упомянутый достойный муж преставился, ибо он много мне благодетельствовал при бытности моей в Вене; а посему сочинил я таковую эпитафию:

Под сим холмом пребывает зарытым
Их вознамерился он гнати,
К примеру, таков бе малый,
Из Моравии он явился,
И едва во узилище не угодил,

истинный супостат пиитам,
егда восхотели они сочиняти.
отнюдь не облеченный;
степенью ученой
где вирши плести научился
зане всем без разбора «ты»
говорил,

Но понеже стал он добычею тлена во граде названием Вена,
За него два-три раза произнеси: «Отче наш, иже еси...»

Был к нам гонец и доставил скверную весть, ежели правда, что ваше дело в римской курии оборотилось к худу; однако не даю тому веры, ибо гонцы очень даже нередко лживят. А поэты здешние изрекают на вас всяк зол глагол и грозятся стихами своими оборонять доктора Рейхлина; однако ж, коль скоро и вы при желании завсегда можете быть поэт, полагаю, что без препятствия одержите над ними верх. Но отпишите мне, каково обстоит дело, и ежели могу вам пособить, то считайте меня безотменно верным другом и споспешником. Пребывайте во здравии, а писано из Нюрнберга.

16

Матфей Медолизий
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

Понежеелику был я всегдашним другом вашего доброутробия и пекся об вашем благе, то и ныне желаю упредить вас об одном чреватом деле и веселиться вашим весельем, печалиться, когда вам худо, ибо вы есть мой друг, с друзьями же должно веселиться с веселящимися и печалиться с печалующимися, как пишет Туллий, хоть он есть нехристь и поэт. Итак, желаю вас упредить, что имеете тут злобесного супостата, коий беспрестанно об вас ведет хульные и поносные речи; преисполнясь гордынею, он всем и вся говорит, что вы есть выблядок, и мать ваша была потаскуха, а отец священник. Я же за вас вступился и сказал: «Господин бакалавр, или какое там на вас звание, вы еще щенок, чтобы хулить магистров. Писано бо в Евангелии: «Ученик не выше учителя». Вы же еще покуда ученик, а достойнейший Ортуин — учитель и магистр на осьмом или же десятом году; а стало быть, не вам хулить магистра и мужа столь высокостепенно поставленного, не то и на вас найдется хульник и не повзирает на вашу гордыню. Вам должно знать свое место и не чинить ничего подобного». Он же отвечал: «Я говорю истинно и могу доказать свои слова, а на вас я плевать хотел, ибо Ортуин есть выблядок, сие мне верно говорил один его соотчич, который знал его родителей, и я непременно

отпишу доктору Рейхлину, который об сем покуда не ведает. А вы как можете хулить меня? Вы меня не знаете». Тогда я сказал: «Глядите, люди добрые, он рядится в святого и говорит, что его не можно хулить и что на нем нет греха, как тот фарисей, который говорил, что постится два раза в неделю». Он же взъелся на меня и говорит: «Я не утверждаю, что безгрешен, ибо сие противоречит Псалмопевцу, у коего сказано: «Всякий человек ложь», а глосса толкует: «Сиречь грешник»,— а сказал я лишь, что вам не должно и не можно меня хулить через мое рождение по отцу и по матери, Ортуин же есть выблядок, рожденный в незаконном сожительстве; следовательно, он достоин хулы, и буду хулить его во веки веков». Я же сказал: «Не делайте сего, ибо магистр Ортуин муж преславный и может за себя постоять». Он же стал говорить многие поносные речи про вашу матушку, что она давала разным священникам, и монахам, и солдатам, и мужикам в поле, и на конюшне, и где угодно. Вы не поверите, сколь тяжки были мне сии мерзкие словеса. Но я не могу за вас постоять, ибо не видал ни родителя вашего, ниже родительницы, хотя и имею уверенность, что они люди достойные и добродетельные. Однако отпишите мне все как есть, и тогда я стану споспешествовать здесь вашей доброй славе. А еще я сказал: «Вы не можете так говорить, ибо ежели мы даже сделаем допущение, что магистр Ортуин выблядок, то, может, он был узаконен; а ежели он был узаконен, то он уже более не выблядок, ибо святейший папа имеет власть вязать и решать и может выблядка сделать законным и обратно. Вы же заслуживаете хулы, и я берусь доказать это через Евангелие. Ибо сказано: «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». А вы мерите мерою хульною: следовательно, и вам тем же должно мерить. А вот еще доказательство: сказал господь Иисус Христос: «Не судите, да не судимы будете», вы же судите и хулите других: следовательно, и вы должны быть судимы и хулимы». А он сделал возражение, что мои доказательства суть вздор и глупство. И упорствовал на своем, и сказал, что ежели самоличный папа родил бы сына в незаконном сожительстве, а после его узаконил, все равно пред богом он был бы незаконный, и бог сопричислил бы его к выблядкам. Я имею уверенность, что в сем кромешнике сидит диавол и через то он таково вас хулит. Посему отпишите, как мне постоять за вашу честь, ибо сделается великая конфузия, ежели доктор Рейхлин проведает, что вы есть выблядок. И пусть даже сие истинно, все равно ему не можно будет таковое доказать с неопровержимостию, а ежели

сочтете за благо, притянем его к суду в римскую курию и понудим отречься от слов своих — законники в таких делах зело искушены: и еще можно лишить его сана и через третье лицо учинить ему всякую пакость, а ежели он лишится сана, отобрать его бенефиции, ибо здесь, в Майнце, он состоит каноником и где-то еще имеет приход. Не прогневайтесь, что отписал вам, чего слышал, ибо имею благие намерения. Пребывайте во здравии со господом, и да хранит он пути ваши. Писано в Майнце.

17

Магистр Иоанн Жнец
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

«Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем», Псалтирь, XXXI. Но дабы не прогневались вы на меня, сказавши: «Для чего ради привел он сие место?» — надобно вам узнать весть радостную, и от нее возликует душа ваша; и я буду превесьма краткословен в своем письме. Побывал тут к нам один поэт, прозываемый Иоанн Эстикампиан, и вел себя зело продерзостно, многажды уязвлял магистров свободных искусств и изничтожал их в лекциях, и говорил, что они суть невежды и что один поэт стоит десятерых магистров, а посему в процессиях поэты должны шествовать во главе магистров и лиценциатов. А еще он читал Плиния и разных поэтов, и говорил, что магистры суть не магистры семи свободных искусств, но магистры семи смертных грехов и неучи, ибо не проходили поэзии, только и знают, что Петра Испанского да «Малые логикалии», и во множестве шло слушать его народу, и в числе том — младых благородиев. И еще он говорил, что скотисты и фомисты суть ничтожества, и поносил Доктора Святого. Магистры дожидались своего часу, дабы с помощью божией ему отмстить. И благодаря бога, однажды сказал он одну речь, в коей срамил магистров, докторов, и лиценциатов, и бакалавров, и восхвалял свой факультет, и хулил священное богословие. И было великое смущение средь начальственных мужей факультета. И собрались магистры и доктора на совет, и говорили: «Что же нам делать? Ибо человек сей творит неслыханное: ежели спустим ему безнаказанно, он пред всеми себя окажет ученее нашего. Как бы не явились

к нам новые толковники и не стали говорить, что ихние мнения превосходней старых, и не учинили поругания нашему факультету, зане воспроизойдет через то соблазн». И сказал магистр Андрей Делич, каковой при сем хороший поэт, что Эстикампиан, по его рассуждению, в университете все равно как пятое колесо в колеснице, ибо творит помешательство всем факультетам, и через то школяры не прилежны к учению. И все магистры подтвердили, что сие именно есть так. И в конце концов порешили, что необходимо надобно изгнать сего поэта, либо же исключить его, хотя бы и сделался он после того заклятый им враг. И был он вызван к ректору, и вызов сей вывешен был на дверях церкви: он же предстал, имея при себе юриста, и объявил, что будет защищать себя, и еще многие друзья его, пришед, стояли подле. Но магистры сказали, что им должно удалиться, иначе станут клятвопреступниками, выступивши противу университета. И магистры были несокрушимы во брани, и ратовали с неколебимостью, и поклялись ради правого дела не давать никому пощады, иные же юристы и придворные просили за него. Но господа магистры сказали, уж ничего не поделаешь, потому как у них устав и в согласии с уставом должно ему быть изгнану. И что удивления достойно, самолично герцог за него хлопотал, но вотще, ибо сказано было ему, что подобает блюсти устав. Ибо устав для университета все равно что переплет для книги. И не будь переплета, распадутся все листы как ни попало. Не будь же устава, не станет порядка в университете, и средь школяров будут разномнения, и воспроизойдет всякий бесчинный хаос; а посему должно ему печься о благе университетском, и быть подобным родителю своему. И герцог покорился и сказал, что не может идти противу университета. И что лучше одному быть изгнану, нежели всему университету впасть в соблазн. Сим господа магистры остались зело довольны и сказали: «Преславный государь, да благословит вас господь за правый суд». А ректор велел вывесить на дверях церкви указ, что Эстикампиану быть изгнану на десять лет. А от учеников его слышен был ропот и многие речи, что совет содеял над Эстикампианом несправедливость. Но господа из совета сего сказали, что не дадут за него и выеденного яйца. Иные из младых благородиев сказали, что Эстикампиан отмстит за сию несправедливость и внидет в римскую курию с жалобой на университет, магистры же смеялись над ним и говорили: «Ха-ха, что может сделать сей кромешник?» И ныне, да будет вам ведомо, во университете

обретается полнейшее согласие. И магистр Делич читает лекции об словесности. А равномерно и магистр Ротенбургский, написавший книгу трижды более толстую противу всех сочинениев Вергилиевых. Книга сия содержит в себе много пользительного, а также в защиту святой матери церкви и во славу святых. А паче всего восславил он наш университет, и священное богословие, и факультет свободных искусств и посрамил светских поэтов и язычников. И господа магистры глаголют, что стихи его не хуже Вергилиевых и совершенны, ибо он до тонкости постиг искусство стихосложения и тому двадцать лет, как сделался хорошим стихотворцем. Посему члены совета разрешили ему публично читать свою книгу заместо Теренция, ибо она много пользительней, и исполнена воистину християнским духом, и не толкует об шлюхах и шутах, как у Теренция. Должно вам сию новость объявить по всему вашему университету, и тогда, уповательно, и с Бушем поступят, как с Эстикампианом. И скоро ли пришлете мне свою книгу супротив Рейхлина? Давно вы уж обещались, а все втуне. И хотя писали, что жаждуете прислать ее мне, однако никак не шлете. Да простит вас господь, что не возлюбили меня, подобно как я вас возлюбил, ибо вы мне любезны, как собственная душа. Книгу же пришлите всенепременно, ибо «очень желал я есть с вами сию пасху», сиречь читать сию книгу. И отпишите, каковые имеете новости. И еще сочините в мою честь какое-нибудь творение или стихи, ежели я того достоин. А засим пребывайте во здравии со господом нашим Иисусом Христом во веки веков, аминь.

19

Стефан Лысый,
бакалавр, магистру Ортуину Грацию

Всепокорнейше желаем здравствовать благоутробию вашему. Достопочтенный господин магистр, побывал к нам один человек, коий имел при себе стихи и говорил, будто бы они вашего сочинения и вами обнародованы в Кельне; а один здешний поэт, зело прославленный, но не твердый в християнской вере, прочитал их и сказал, что они дрянь и содержат множество ошибок; я же сказал: «Ежели их сочинил магистр Ортуин, никаких ошибок там нету, уж будьте благонадежны»,— и готов был прозакладать свою рубаху, что ежели в сих стихах есть ошибки, стало быть, они не вашего сочинения; а ежели

они вашего сочинения, то в них нету ошибок; посему и посылаю вам сии стихи, дабы поглядели, вами ли оные сочинены, и отписали мне. А сложены они на смерть магистра нашего Сотфи из бурсы Кнек, некогда написавшего «Достопамятную глоссу», ныне же, увы, почившего в бозе.

Мир праху его. А далее следуют стихи:

«Здесь покоится из усопших наипочтенный,
Духом университетским святым рожденный,
Правил он бурсою Кнек, за милую душу
И Петра Испанского тряс, как грушу.
Ежели бы жить ему доле довелось
И писать поболе достопамятных глосс,
Был бы университету полезен он доныне,
Юношей обучал бы отменной латыни.
Но, поелику он в бозе почил
И не довольно Александра изъяснил,
То слезы о нем, университет, лей!
Яко светодарный густой елей
Лампада в себе заключает,
Тако он свет учености разливает.
Никто столь легко фраз не слеплял
И пиитов скоморошествующих не посрамлял,
Кои грамматику худо учили,
В науке логике скудно сведущи были
И, светом веры не озаренные,
Пребывали потому от благочестивых отлученные.
Аще кто мыслей надлежащих не явит,
Того Гохштрат на костер да отправит,
Оный Гохштрат, что в недавнюю пору
Рейхлина в суде подверг подробному разбору.
А ты, Всемогущий, с благоволеньем
Внемли моим рыданьям и слезным моленьям:
Усопшему яви навеки милость господнюю,
Пиитов же ввергни во преисподнюю».

Стихи сии я полагаю бесподобными, но не могу их читать, ибо писаны неведомым размером, а я умею читать только гексаметры. Но не попустите, дабы дерзал кто хулить ваши стихи, и непременно отпишите мне: я же готов единоборствовать за вас хоть бы и на бранном поле. А на том желаю здравствовать из Мюнстера в Вестфалии.

20

Иоанн Светошарий
магистру Ортуину Грацию желает
здравствовать несчетное множество лет

Достопочтенный господин магистр! Как вы некогда обещались мне споспешествовать во всяком деле, когда бы ни случилась нужда, и желаете меня возвысить надо всеми прочими, а посему могу я, не сумневаясь, к вам припадать, и вы будете мне как родной брат, и не покинете меня в злосчастии, то ныне молю для-ради господа нашего оказать мне вспоможение по силе-возможности, ибо на вас одна надежда. Здешний ректор отказал от должности одному помощнику учителя, и сделалось свободное место: благоволите же отписать про меня аттестацию, дабы он соизволил и позволил мне получить место сие. Ибо не имею ничего более за душой, и вовсе оскудел, и опричь того купил себе также книг и башмаков. Вы меня довольно знаете, и ведомо вам, что, божией милостью, я человек ученый. Ибо при бытности вашей в Девентере я там обучался по седьмому году, и после того еще год жительствовал в Кельне, так что совершенно стал готов к степени бакалавра; и получил бы оную степень на святого Михаила, когда были бы у меня деньги. А еще я умею обучать школяров по «Наставлению для мальчиков», или по второй книге «Меньшого сочинения», и умею также читать стихи, как вы тому учили, и превзошел все трактаты Петра Испанского и «Кратчайшие сведения из натуральной философии». К тому же я певчий, и знаю музыке хоралов и фигуралов, и еще пою басом, и могу взять нижениайшую ноту. Пишу вам про то не хвастовства ради, а посему не прогневайтесь, я же вверяю вас всемогущему господу. Пребывайте во здравии. Писано из Зволле.

21

Магистр Конрад из Цвикау
желает здравствовать магистру Ортуину
Грацию

В конце-то концов отписали вы мне про свою полюбовницу, и про то, как сильно вы ее любите, и как она ответно вас любит, и присылает вам венки, и утиральники, и гашники, и все прочее, денег же с вас не берет, как заведено у шлюх;

когда же муж ее в отлучке, вы бываете к ней, и она вам завсегда рада; а недавно получилось от вас известие, что вы имели ее трижды кряду, и один раз стоя в дверях и пропевши перед оным делом: «Поднимите, врата, верхи ваши». Но в тую пору пришел ее муж, и вы, выскочивши через задний ход, убегли садом. Посему и я решил отписать вам, сколь счастлив я со своей полюбовницей. Она женщина добродетельная и к тому же богатая, и спознался я с нею удивительным образом, ибо сему споспешествовало одно благородие, приближенное ко епископу. Я тотчас же в нее влюбился по уши, и денно ни на какое дело не имел сил, а нощно подолгу не мог отойти ко сну. Во сне же взывал возлежаще на постеле: «Доротея, Доротея, Доротея!» — и школяры, кои жительствуют в бурсе, сбежались и спрашивают: «Почтенный магистр, с чего вы изволите так орать? Ежели вам надобно исповедаться, так мы сей же час приведем священника». Ибо решили, что пришел мой смертный час, и я призываю святую Доротею вкупе со прочими святыми. Я же покраснел до ушей. А пришедши к ней, оробел я столь много, что даже глядеть на нее не имел смелости и опять покраснел. И она сказала: «Ах, господин магистр, с чего это вы такие робкие?» И все выспрашивала об причине, я же отвечал, что не смею сказать; но она беспременно желала доведаться, отступиться же не желала, покуда не узнает; и сказала, что не прогневается, даже ежели я скажу какое ни есть неприличие. И я наконец набрался отважности и открылся ей в своей тайне. Ибо вы однажды сказывали мне, когда читали нам Овидиево «Искусство любви», что любовнику надобно быть отважну, как воителю, а иначе останется ни с чем. И я сказал ей: «Милостивая моя государыня, смилуйтесь надо мною для-ради бога и для чести вашей, только я вас люблю, и отличил вас пред дщерями человеческими, ибо вы прекраснейшая средь жен и пятна нет на вас. И красивей всех на свете». А она засмеялась и говорит: «Видит бог, вот уж никогда бы не поверила, что вы знаете любезное обхождение». И с той поры я многажды бывал у нее на дому, и мы с нею вкушали пития. А в церкви я завсегда вставал так, чтоб можно было мне на нее взирать; и она тоже на меня взирала, будто хотела прозреть насквозь. А недавно стал я ее упрашивать, дабы оказала мне приятственную благосклонность; она же отвечала, что я ее не люблю. Но я поклялся, что люблю ее как родную матерь, и все сделаю, чтоб ей угодить, даже не щадя живота. И сказала тогда моя прекраснейшая из возлюбленных: «А вот поглядим, так ли сие есть»,— и нарисовала на доме своем крест, и говорит: «Ежели

любите меня, всякий вечер, как смеркнется, должны вы ради меня целовать сей крест». И я делал сие много дней. А однажды пришел кто-то и вымазал крест дерьмом, и я, целуя его, обмарал рот, и зубы, и нос. И зело стал на нее сердит. Но она поклялась всем святым, что не ею было содеяно. И верю ей, ибо, видит бог, она ни в чем ином передо мною не солживила. И я подумал на одного из школяров. Ежели только доведаюсь, что он содеял сие, верьте слову, я ему не спущу. А она с той поры сделалась ко мне благосклоннее противу прежнего. И надеюсь, что вскорости должна мне дать. Недавно кто-то ей сказал, что я поэт, и она говорит: «Слышала я, что вы хороший поэт: а посему должно вам сочинить в мою честь песнь». Я сочинил песнь и пропел у нее под окошком; а засим переложил на немецкий. Вот она:

«О благодатная Венус, и мать, и владычица страсти!
Ах, на какую беду сын твой явил мне вражду?
О Доротея, кого я в возлюбленных числить желаю,
Буди со мной такова, яко же есмь я с тобой!
В нашем ты граде прекрасней, чем прочие отроковицы,
Свет твой — подобие звезд, смех твой — подобие роз».

А она сказала, что будет хранить сию песнь на память обо мне по гроб жизни, Не откажите присоветовать, как быть и что делать, дабы она возлюбила меня. И простите милосердно, что написал вам без стеснения. Таков уж мой обычай обходиться с друзьями попросту. Будьте здоровы во имя благодатного господа. Писано из Лейпцига.

22

Герард Секиплетий
магистру Ортуину Грацию желает премного здравствовать во славу господа нашего, из мертвых во гробе воскресшего, на престоле небесном воссевшего

Достохвальный муж, да будет вам ведомо, что пребываю здесь противувольно и горько пеняю на себя, что не остался при вас в Кельне, где пошел бы далеко. Ибо вы могли бы содеять меня искусным логиком и даже в некотором роде поэтом. А опричь того кельнцы благочестивы и готовны ходить в церковь, а по воскресеньям слушать проповеди. И нет там такой гордыни, какая здесь. Ученики наши не имеют почтения к

магистрам, магистры же не пекутся об учениках, дали им волю шататься по улицам и сами ходят с непокрытыми головами. А как налижутся, немедля начинают божиться, и богохульствовать, и сеять соблазн. К примеру, недавно один сказал, что Трирский хитон Христов — никакой не Христов и не хитон, а ветхая и вшивая рвань, и он не верит даже, что хоть единый волос пресвятой Девы доныне сохранился на свете. Другой же сказал, что трое волхвов в Кельне — надо полагать, попросту три вестфальских мужика; а меч и щит святого Михаила никогда не имели принадлежности к святому Михаилу. И еще он сказал, что индульгенции братьев проповедников годятся только на подтирку, ибо братья эти — мошенники и обирают женщин и простаков. Тут я возопил: «На костер, на костер еретика!» А он расхохотался мне в лицо. Я же сказал: «Дерзнул бы ты, гнусливец, повторить сие перед магистром нашим Гохштратом в Кельне, который есть инквизитор и искореняет еретические мерзости». А он мне в ответ: «Гохштрат — окаянная и мерзопакостная скотина», и ругательски его изругал, а под конец присовокупил: «Вот Иоанн Рейхлин — достойный человек, а богословы — исчадия адовы и облыжно приговорили к сожжению его книгу «Глазное зеркало». Я на сие ответствовал: «Не говори так, писано бо у Иисуса, сына Сирахова в главе VIII: «Не судись с судьею потому, что его будут судить по его почету». Да будет тебе ведомо, что и в Парижском университете, где богословы преисполнены мудростью, ревностью и непогрешимостью, приговорили одинаково, как и в Кельне; неужели смеешь ты идти супротив всея церкви?» А он сказал, что парижские богословы — судьи неправедные и прияли мзду от братьев проповедников, каковой мзды подношение учинил (вот ведь как заврался нечестивец) ревностный муж и ученейший богослов Теодорих из Ганды, посланец Кельнского университета. И еще он сказал, что сие не церковь божия, а сбылось предреченное Псалмопевцем: «Возненавидел я сборище злонамеренных и с нечестивыми не сяду». И стал он поносить парижских магистров наших за все ихние дела. И сказал, что Парижский университет — матерь всепагубных глупствований, каковые, там порожденные, приумножились в Германии и Италии, и что он рассевает ложную веру и суету, а чуть не все, кто обучался в Париже,— тупицы и яко бы болваны. И еще сказал он, что Талмуд вовсе не осужден церковью. При сем присутствовавший Петр Мейер, священник из Франкфурта, молвил: «А вот я незамедлительно докажу, что сей человек не добрый христианин и идет против учения церкви.

Призываю Деву Марию во свидетельницы, что вы, други, покушаетесь рассуждать о богословии, в коем отнюдь не смыслите. Ведь даже Рейхлин не скажет, в коей книге писано, что Талмуд запрещен». Тогда спросил тот хулитель: «А в коей книге сие писано?» И отвечал магистр наш Петр, что писано в «Оплоте веры». А тот нечестивец сказал, что «Оплот веры» — книжонка вонючая, хуже дерьма, и ссылаются на нее только безмозглые глупцы. Тут я вострепетал, ибо магистр наш Петр столь остервенился, что у него воспроизошло содрогание в членах, и я, убоявшись, что сей же час магистр его изувечит, сказал: «Милостивый государь, явите терпение, ибо «у терпеливого много разума»,— Притчи Соломоновы, XIII. А сей кромешник да будет «как прах пред лицем ветра». Он хоть и многоречив, однако ничего не смыслит. Ибо писано у Екклесиаста: «Глупый наговорит много», вот и пусть его говорит». Но тот, как на грех, завел предлинную речь о братьях проповедниках, яко бы сии благочестивые братья сотворили окаянство в Берне,— чему я ни в жизнь не поверю,— и за это их сожгли на костре; и что однажды они подмешали яду во святое причастие и отравили какого-то императора. И он сказал, что орден сей непременно надобно изничтожить, иначе в вере учинятся еще многие шатания, ибо корень зла в ордене сем, и к тому присовокупил еще многое. Через то, доложу я вам, и возжелал я вернуться в Кельн, ибо что могу поделать с этими супостатами? «Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад», по слову Псалмопевца, ибо они — дети диавола. И ежели вам будет желательно, я прежде сощу здесь степень; а ежели нет, уеду сей же час. Посему отпишите мне, не замешкав, как об этом полагаете; я же не выйду из вашей воли, а покуда поручаю вас господу. Пребывайте во здравии. Писано из Майнца.

24

Павел Тугоухус
желает премного здравствовать магистру
Ортуину Грацию

Ныне судите сами, солживил ли я, как изволили вы утверждать, обещавшись писать вам часто и не пишущи. Решился я доказать, что своему слову хозяин, ибо муж зрелый и честный, чего не хочет исполнить, того и обещать не должен. И было бы криводушием не исполнить обещанного; и вышел бы я тогда

пустобрех. Но и вы равно должны мне писать; и тогда будет промежду нами вестись частая переписка. Имею вас уведомить, что доктор Рейхлин выпустил книжку под названием «Защита», в коей употребляет многие хульные слова и обзывает вас ослом. Читая оную книжицу, я не мог стерпеть сраму и не дочел до конца, а швырнул об стенку, ибо увидел, что там возводится поношение на богословов и магистров свободных искусств. Посылаю ее вам, дабы прочитали, ежели возымеете к тому желание, а по мне сего сочинителя вместе с книжкой надобно сжечь, ибо писание сие есть великий соблазн. Недавно побывал я на конской ярмарке, хотел сторговать лошадь, чтобы съездить в Вену; там эта книжка выставлена была на продажу, и, увидевши ее, помыслил я, что потребно вам ее прочитать, дабы ответить на все сии измышления; и буде случится мне оказать вам еще какую услугу, исполню все без задержки, ибо я вам завсегда покорнейший слуга и доброжелатель. Да будет вам ведомо, что я с давних пор слаб глазами; ныне же объявился здесь некий алхимик, искусный в пользовании глаз и даже исцеляющий совершенных слепых, пораженных сим недугом. А опричь того обрел он еще много драгоценных познаний: ибо побывал в Италии, и во Франции, и во многих прочих землях. Вам ведь ведомо, что все алхимики — лекари и собаку съели на составлении целебных мазей; этот, правда, уж больно похож на нищего. А еще вы спрашиваете, как я вообще поживаю. За спрос благодарствуйте. Ответствую вам, что по милости божией поживаю хорошо. От нового урожая надавил много вина и хлеба имею большой запас. А еще сообщаю вам новость, что наш государь император посылает великое войско в Ломбардию супротив венецианцев, дабы покарать их за дерзость. Я сам видел ратников числом не менее как в две тыщи, под шестью знаменами, одни с копьями, другие же с бомбардами и аркебузами, все зело страховидны и в штанах с прорезями. Через них учинилось великое разорение здешнему крестьянству и мужепесам. Посему народ призывал на ихние головы погибель, я же желаю им всем возвернуться в невредимости. Пришлите мне с сим же гонцом сочинение Брулифера о разновидностях и различиях по Скоту, а также «Щит фомистов», выпущенный из печатни Альда, ежели сыщете. А еще очень желаю иметь вашу книгу об искусстве стихосложения. И купите мне также все сочинения Боэция, а главное «О школьном обучении» и «Утешение философией» с толкованиями Доктора Святого. Засим пребывайте во здравии и благосклонности ко мне. Писано из Аугсбурга.

25

Магистр Филипп Ваятель желает здравствовать магистру Ортуину Грацию

Как уже не единожды я вам отписывал, превесьма сокрушаюсь, что эта шайка гнусливцев, то бишь поэтический факультет, плодится и приумножается во всех землях и странах. В мое время был всего один поэт по имени Самуил, ныне же только в нашем городе развелось их числом не меньше двадцати, и нам, сторонникам старого направления, не дают проходу. Недавно я изничтожил одного, который утверждал, будто слово «школяр» вовсе не означает человека, ходящего в школу учения ради, на что я сказал: «Ослина ты этакая, стало быть, ты дерзаешь исправлять самого Доктора Святого, употреблявшего сие слово?» Он же вскорости написал против меня кляузное сочинение, в коем осыпает поносными словесами и утверждает, что я никудышный грамматик, ибо неверно изобъяснил слова, толкую первую часть Александра и книгу «О способах обозначения». И решился я в подробности отписать вам про все сии слова, дабы видели вы, что я толковал правильно и в согласии со всеми словарями, что могу подкрепить цитатами из неоспоримых книг, в том числе богословских. Во-первых, я утверждал: слово «сиречь» происходит из Сирии и означает «сирийская речь», то бишь язык, на коем изъясняются сирийцы. Во-вторых: «патриций» то же самое, что «под тридцать», ибо всякому патрицию когда-нибудь да бывает под тридцать лет. Далее, «всадник» происходит от глагола «саднить», потому как от верховой езды в теле саднит. «Повинный» означает слабость к вину питающий, тогда как «неповинный» — к оному зелью слабости не питающий, откуда воспроисходит пословица: «Вино неповинно, повинен же пьющий вина».

«Лукавый» — все равно что «луковый», так как оба получились из слова «лук». «Платье» воспроизошло от «платить», ибо за него берут плату. «Механика» выводится из «мехов», коими раздувают огонь, ибо она есть искусство продувное, в отличие от семи свободных искусств, в которых нет надувательства. «Потчевать» проистекает от слова «пот», потому что кого щедро потчуют, тот проливает много пота. «Полигистор» — от слов «поливать» и «гистория», потому что он, когда рассказывает свои истории, всех поливает бранью, и отсюда — «по-

ле брани», то есть политое бранью. Он же сказал, что это и все иное прочее неверно, и осрамил меня перед моими учениками. На это я отвечал, что для вечного спасения предостаточно быть простым грамматиком и уметь по крайности излагать свои мысли. Он же сказал, что я не простой, и не сложный, и вообще никакой не грамматик, так как вовсе ничего не смыслю. Тут я возрадовался, ибо он не соблюл привилегий Венского университета, к ответу перед коим я теперь его и притяну, потому как милостью божией я имею степень магистра, и ежели по мнению всего университета я довольно учен, то уж на одного поэта во мне станет учености, ибо целый университет больше, чем один поэт. Верьте слову, я не стерплю такого поношения даже и за двадцать флоринов. Здесь говорят, что все поэты собираются взять сторону доктора Рейхлина супротив богословов и один из них уже сочинил книгу, называемую «Триумф Капниона», где и на вас излита немалая хула. Надобно всем этим поэтам показать, где раки зимуют, чтобы оставили нас в покое, а так, чего доброго, факультету свободных искусств будет через этих поэтов погибель, ибо они говорят, что искусственники совлекают с пути истины вьюношей, и берут с них мзду, и по мзде производят их в бакалавры и магистры, хотя они ничего отнюдь не знают. И по ихней милости ученики не хотят уже более учить свободные искусства, а хотят все до единого выйти в поэты. Я тут сделал знакомство с одним вьюношей, зело достойным и изрядных способностей, родители его послали в Ингольштадт, и я дал ему письмо к одному тамошнему магистру, каковой изрядно сведущ в свободных искусствах и ныне возымел намерение соискать степень доктора богословия; вьюнош же ныне покинул того магистра и ушел к поэту Филомузу, слушать его лекции. Печалуюсь я о бедном сем вьюноше, ибо сказано в Притчах Соломоновых, XIX: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу»,— и ежели б он остался при своем магистре, то ходил бы уже в бакалаврах. А так он пребудет в ничтожестве, хоть бы и десять лет обучался поэзии. Известен я, что и вам от сих светских поэтов многие приходится терпеть досаждения. Вы ведь хоть и сами поэты, не им чета. Ведь вы стоите за церковь и к тому же глубоко постигли богословие. И даже ежели пишете поэзию, то не о суетном, а во славу святых. Превеликую имею охоту знать, как идет у вас дело с доктором Рейхлином. И когда могу в сем деле вам споспешествовать, подайте весть и отпишите все в подробности. Пребывайте во здравии.

27

Иоанн Пресупоний Мильтенбергский желает здравствовать магистру Ортуину Грацию

Коль скоро всегда бывало вам желательно иметь от меня новости, ныне можно и должно мне объявить вам одну новость, хоть и скорблю об том, что от нее душа ваша не возрадуется. Ведомо вам, что братьям проповедникам дана привилегия продавать здесь индульгенции, которую привилегию они обрели в римской курии за изрядную мзду и получили через то немалую выгоду. И вот, ночным делом, забрался в церковь тать, похитил более чем триста флоринов и сокрылся. Братия же, мужи ревностные и к вере христианской усердные, были безутешны и принесли жалобу на вора сего. И от города отрядили людей во все концы для розыска, но не преуспели, ибо сгинул он вместе с деньгами. И сие великое есть святотатство. Потому как деньги получены за папские индульгенции и хранились во храме божием; тать сей, всеконечно, отлучен от церкви, где б он ни обретался. А те люди, что получили индульгенции и опустили деньги в ящик, мнят теперь, что грехи ихние не отпущены; они, однако же, заблуждаются: отпущение имеет равную силу, как если б деньги остались у братьев проповедников. А еще небезызвестно вам, что сторонники доктора Рейхлина распускают здесь слухи, будто братья проповедники для того и исхлопотали себе в римской курии право продавать индульгенции, дабы на собранные деньги учинять пакости оному доктору и творить ему уязвление в вопросах веры; а посему никакой человек не должен давать им денег, будь он звания высокого или низкого, богатый или бедный, духовник или же мирянин. Недавно ездил я в Майнц, дабы присутствовать при торжестве, каковое магистры наши полагали справить для посрамления Рейхлина; при тамошнем соборе служит один брат проповедник, который получил степень магистра нашего в Гейдельберге и прозывается Варфоломей Цеендер, а по-латыни — Десятник; и он возвестил с кафедры, чтоб все собрались на другой день глядеть, как «Глазное зеркало» будет ввергнуто в огнь пожирающий, ибо не мог и помыслить, что доктор Рейхлин сумеет тому учинить препятствие; и тогда один человек, как говорят, из поэтов, стал везде ругательски ругать упомянутого магистра нашего, а когда повстречался с ним, то взирал на него, аки лютый дракон. И кричал,

чтоб всякий мог слышать: «Сей проповедник не достоин сидеть за одним столом с честными людьми, ибо я имею доказательства, что он подлец и клеветник, который с кафедры собора вашего перед всем народом облыжно очернил достойнейшего человека». И еще он присовокупил: «Сей человек из зависти ославил знаменитого доктора». И обозвал его скотиной и собакой и утверждал, что ни один фарисей не был столь мерзостен и завистен. Когда же сие дошло до ушей упомянутого магистра. он, полагаю, оправдался зело твердословно, сказавши, что хоть эта книжка и не предана огню, однако беспременно будет предана во благовремении. И привел многие места из Священного писания к тому, что сказанное в пользу католической веры не может быть ложью, и объявил, что служители и официалы епископа майнцского воспрепятствовали делу сему вопреки справедливости. Но все еще узрят, что воспроизойдет, и он дерзает пророчествовать, что оная книжка будет предана огню, пускай хоть бы сам император, и король французский, и все князья и герцоги взяли сторону доктора Рейхлина И я решил о том вам донести, дабы вы остерегались. И прошу вас блюсти опаску в делах, дабы не получилось конфузии. Пребывайте во здравии. Писано из Мильтенберга.

28

Брат Конрад Оболтус
магистру Ортуину Грацию

Всепокорно и смиреннейше желаем здравствовать, об чем денно и нощно молим господа нашего Иисуса Христа. Достойнейший муж, не взыщите за докуку, что обременяю вас делами своими, тогда как множество имеете дел более важнейших. Однако ж вы не однажды мне наказывали, дабы я всегда вам отписывал о занятиях своих и занятия те не оставлял, но продолжал непременно, ибо таланты мои велики, и могу я с помощью божией высоко возвыситься, ежели пожелаю. Да будет известно вам, что ныне я пребываю в Гейдельбергском университете, где изучаю богословие; однако при сем всякий день слушаю одну лекцию о поэзии, в каковой, благодаря бога, весьма преуспел, и уже знаю наизусть все Овидиевы «Метаморфозы» и могу толковать их четверояко, а именно: природно, буквально, исторически и сверхприродно, сиречь духовно, чего светские поэты отнюдь не умеют. Недавно я спросил одного: «Откуда происходит Гадес?» — и он понес несусветную

околесицу; я же наставил его и сказал, что происходит от слова «гад», ибо гадок; и тем посрамил сего поэта. Во-вторых, я спросил: «А что аллегорически обозначают девять муз?» — и он не знал, я же объяснил, что девять муз равночисленны семи хорам ангельским. В-третьих, я спросил: «Откуда происходит имя Меркурий?» — и он снова не знал, я же изъяснил, что происходит от слова «мера» и «кура», ибо он покровитель торговцев, а торговцы продают все мерами и едят кур. Теперь сами можете видеть, что поэты смыслят в своем искусстве только буквально, но отнюдь не понимают аллегорий и духовных истолкований, ибо суть человеки плотские; и как писано у Апостола к Коринфянам, I, 2. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия». Однако вы можете спросить: откуда проникся я сими изощренностями? Отвечу, что не столь давно раздобыл я книгу, писанную одним магистром нашим из ордена нашего, родом из Англии, Фомой Валлийским, и говорится в книге той об Овидиевых «Метаморфозах», и все сказанья толкуются аллегорически и духовно. И такое в ней множество богословской премудрости, что поверить трудно. Не иначе Дух святой излил таковую ученость на мужа сего. Ибо он привел в совершенное согласие Священное писание и сказанья поэта, в чем сами можете увериться из моих на него ссылок. Ибо о змее Пифоне, коего умертвил Аполлон, сказано у Псалмопевца: «Там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем». И далее: «На аспида и василиска наступишь». О Сатурне же, коий изображается стариком и родителем богов, детищ своих пожирающим, у Иезекииля писано: «За то отцы будут есть сыновей среди тебя». Диана же равносильна пресвятой Деве Марии, которая всюду появляется в сопровождении прочих дев, и, следовательно, это о ней писано в Псалтири: «За нею ведутся к Тебе девы». И в ином месте: «Влеки меня, мы побежим за тобою в благовонии мастей твоих». Также и о Юпитере, когда он поял деву Каллисту и возвратился на небеса, писано от Матфея, XII: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И писано также про служанку Аглавру, кою Меркурий обратил в камень: о сем упоминается у Иова, XLII; «Сердце его твердо, как камень». И про то, как Юпитер поял деву Европу, тоже имеется в Священном писании, об чем я прежде и не ведал, ибо сказано ей так: «Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и возжелает Царь красоты твоей». Равно и Кадм, ищущий сестру свою, являет собою Христа, каковой ищет сестру свою, то есть душу человеческую, и основывает град, то есть церковь. Об Актеоне же, узревшем нагую Диану,

пророчествует Иезекииль, гл. XVI, говоря: «Ты была нага и непокрыта, и проходил я мимо тебя и увидел тебя». И не всуе пишут поэты, что Бахус родился дважды, ибо под оным разумеется Христос, который также родился дважды, единожды предвечно и единожды вочеловечно и воплотительно. И Семела, вскормившая Бахуса, обозначает пресвятую Деву, о коей сказано в «Исходе»: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, а я дам тебе плату». Также сказанье о Пираме и Фисбе толкуется аллегорически и духовно в таковом смысле: Пирам означает сына божия, Фисба же — душу человеческую, кою возлюбил Христос и о коей писано в Евангелии: «Тебе Самой оружие пройдет душу» (от Луки, II). Ведь Фисба закололась мечом своего возлюбленного, тогда как Вулкан был сброшен с неба и охромел, о чем писано в Псалтири: «Низринуты и не могут встать». Все сие и еще многое подобное узнал я из упомянутой книги. Будь вы здесь, близко меня, узрели бы воочию дивные дива. Только так и следовает изучать поэзию. Извиняйте, однако ж, что осмеливаюсь как бы учить вашу милость, ибо вы несравненно ученее моего, но сделал я это от благих намерений. А еще я подговорил одного человека из Тюбингена извещать меня обо всем, что делает доктор Рейхлин, дабы я мог вам всегда донести. Но покамест ничего не проведал, иначе тотчас остерег бы вас. Засим остаюсь в нелицемерной любви. Писано в Гейдельберге.

31

Варфоломею Кольпию, полному бакалавру богословия из ордена кармелитов, Виллиброрд Ницети из ордена вильгельмитов, лектор богословия, с благословения достопочтеннейшего генерала ордена честь имеет представиться и желает здравствовать

Сколь на дне морском песчинок, а во Кельне сколь бегинок, Сколь в ослей шкуре волосков, столь и много боле будь здоров.

Достопочтенный господин кармелит Кольп, ведаю, что принадлежите вы к славнейшему из орденов, коему пожаловано от апостольского престола великое множество индульгенций, противу всех прочих орденов несравненно превысшему, ибо дана вам власть отпускать многие грехи, и люди бывают к вам у исповеди, и каются, и плачут, и жаждут приобщиться святых тайн. Посему вознамерился я сделать вашему препочтенству

один богословский вопрос и уповаю получить изрядный ответ, ибо вы изрядный знаток искусств и изрядно можете проповедовать и имеете изрядно рвения и совести; а опричь того, слышу я, что у вас в обители есть множественное хранилище книг, объемлющих Священное писание, и философию, и логику, и Петра Испанского, а равно и руководство для магистров бурсы святого Лаврентия в Кельне, где ныне начальствует магистр наш Тонгрский, муж ревностный и глубокомудрый в умозрительном богословии, а равно просвещенный в католической вере. И хотя некий доктор законоведения пытается его посрамить, но он диспутировать не обучен и «Изречений» не знает, а посему магистры наши оставляют его безо внимания. А еще слышу я, что во упомянутом хранилище, среди книг, по каковым готовятся лекторы богословия, приковано железной цепью знаменитое сочинение, именуемое «Совокупитель» и содержащее богословские истины, а также первейшие начала Священного писания, каковое сочинение отказал вам на смертном одре один магистр наш из Парижа, когда исповедовался и поверил вам некие тайны из Бонавентуры, и он велел, чтоб к сочинению сему имели доступ лишь прйнадлежащие к ордену вашему, а кто его читает, таковым папа пожаловал индульгенции и разрешение от поста на сорок дней; там же покоится Генрих из Гассии, и Верней, и все прочие доктора, толковавшие «Изречения», и все это вы превзошли и можете на диспутах отстоять всякое направление, старое и новое, скотистское и альбертистское, а также то, которого держатся в кельнской бурсе Кнек, где обучают на собственный лад. А посему молю истово и сердолюбно не почесть мой спрос за докуку, но дать мне благой совет по силе-возможности вашей; и отписать, как мудрейшие докторы определили на сей счет предположительно, а засим окончательно. Вопрос же выражается так: «Суть кельнские лолларды и бегинки духовные особы или же мирские, должны ли они давать монашеский обет? И могут ли вступать в супружество?» Я много изучал Священное писание, а также «Ученика», и «Пук времен», и прочие книги, неоспоримо толкующие Писание, однако не доискался ответа. И то же постигло одного священника из Фульды, который сугубо изучал названные книги, но ответа доискаться не мог ни в кратком их перечне, ниже в самых книгах; он родич тамошнего пастыря, а пастырь к тому же и поэт, и превосходный латынщик, и многое сочиняет, да и я состою при монастыре; и многие от меня приемлют Святое Причастие, и иным задаю оный вопрос. И приор наш прямо говорит, что не можно ему брать на свою

совесть решение вопроса сего, хоть он и содиспутствовал со многими докторами в Париже и в Кельне, ибо сам имеет степень лиценциатскую, при соискательстве коей ответствовал, как положено, по всем правилам. А ежели вы не можете сами сие изъяснить, справьтесь у магистра Ортуина: он нам во всем наставник. И прозывается Грацием, потому как сам бог преисполнил его грацией, отчего и пишет столь изящно. А про вышепомянутое сочинение я сложил героическую песнь; которую песню прошу прочитать и исправить, пометивши места многословные и малословные; и магистра Ортуина спросите мнение, а засим отдам ее в печатню. Здесь начинается песнь:

«Никто не должон столь глупым быти,
Дабы продерзостно о себе возомнити,
Что станет он знатоком Писания священного
И дополнителем самого Бонавентуры просвещенного,
Ежели он «Совокупителя» не прочтет,
Коему везде от магистров наших почет —
И в Сорбонне, университетов матери, что всего важнее,
И в Кельне, где установили точного точнее
Магистры наши путем богословского прения,
Имеющего серафическое одобрение,
Что пользительнее «Совокупителя» досконально знати,
Коий в силе о предметах непостижимых рассуждати,
Нежели быти наторелым в Иерониме и Августине,
Кои лишь умели писать на доброй латыни;
«Совокупителя» же наилучшим находят,
Во всех обителях диспуты о нем магистры проводят,
Выводит он заключения поучительные,
Сами по себе божественные и вдохновительные,
И отменно трактует все начала теологии
А такожде вещи преважные прочие многие».

33

Сисесосий Мантельфорс, магистр семи свободных искусств, магистру Ортуину Грацию, философу, оратору, пииту, юристу, богослову и прочая и прочая, нелицемерно желает здравствовать

Доброчестнейший господин магистр Ортуин, поверьте истовому моему слову, что возлюбил вас сердцем с той поры, как превзошел через вас в Кельне искусство поэзии, в котором

искусстве вы затмили всех и вся, будучи поэтом много превосходнейшим, нежели Буш или Цезарий, и могущим даже обучать Плинию и греческой грамматике. По причине таковой моей веры в вас, хочу открыть вашему достоподобию нечто как на духу. Почтеннейший господин магистр, влюбился я в одну отроковицу, дщерь звонаря, именем Маргарита, ту самую, что в недавнем времени сидела с вами рядом за столом, когда священник наш пригласил ваше благоутробие в гости и оказал вам всяческие почести, и мы пили, и возвеселялись сердцем, и она тоже изрядно выпила во здравие ваше; я люблю ее столь сильной любовию, что стал сам не свой: поверьте истовому моему слову, по причине сего не могу ни есть, ниже спать. И все меня спрашивают: «Почтенный магистр, что это вы так бледны? Бога ради, покиньте свои книги, вы не в меру усердствуете в занятиях: вам надобно развлечься да попьянствовать, ведь вы еще в молодых летах, успеете еще получить степень доктора и стать магистром нашим. Уже и ныне вы хорошо и досконально преуспели в учении и почти годитесь в докторы». Я же робею и не осмеливаюсь открыть свое страдание. Читаю ныне Овидия о средствах от любви, которую книгу в Кельне под вашим руководством снабдил на полях множественными глоссами для памяти и назидания; но воистину это нимало не помогает, и любовь во мне что ни день крепчает. Недавно я станцевал с нею на гулянье у градоправителя три танца, и вдруг дудочник задудел песню «Пастушок из Нейштадта», и все танцоры, согласно обычаю, стали тискать отроковиц; я также свою со страстию притиснул грудями ко своей груди; и притом пожал ей руку изо всей силы; она же сказала со смехом: «Клянусь душой, почтеннейший магистр, вы знаете обхождение, и пожатие вашей руки нежней, чем у других. Право, вам нет нужды принимать духовный сан, а лучше жениться». И посмотрела на меня нежно, отчего вступило мне в мысли, что и она тайно в меня влюблена; поистине, глаза ее пронзили мое сердце, словно стрелы. Засим отбыл я домой со слугой своим и лег на постелю; мать моя, видя то, горько заплакала, ибо испугалась, что у меня чума, и скорей понесла мою мочу к лекарю Брунелю, и голосила: «Господин лекарь, для-ради господа, излечите моего сынка, ничего для вас не пожалею, самую распрекрасную рубаху подарю, ведь он у меня сын обещанный и беспременно должен стать священником!» Лекарь глянул на мочу и сказал: «Больной сей имеет темперамент отчасти холерический, отчасти же флегматический, и следует подозревать у него серьезную опухоль около

почек ввиду вспучивания и желудочных коликов, проистекающих от расстройства пищеварения. А посему надобно прибегнуть к испражняющим средствам: помнится, есть трава, именуемая «жено», родится в местах влажных и запах имеет тяжелый, как учит нас «Травник». Надо корень той травы растереть и соком пропитать большой пластырь, каковым обложить больному весь живот в соответственный час, и пускай лежит на животе не менее часу, и хорошенько пропотеет. Тогда колики непременно прекратятся, а равно и вспучивание, ибо нет средства действенней против сего недуга, что испытано на многих людях. А перед тем, само собой, полезно принять очистительное из греческой белявки с соком редьки, по четыре драхмы того и сего, и тогда больной выздоровеет». Мать моя пришла домой и насильственно влила мне в рот это очистительное, и за ночь меня пронесло пять раз, и я глаз не сомкнул, все вспоминал, как она на танцах притиснулась ко мне грудями и как на меня взглянула. Отдаюсь под покров доброты вашей и заклинаю присоветовать мне приворотное зелье из тех, какие значатся у вас в маленькой книжечке с пометой: «Испытано», вы мне ее однажды показывали и сказали: «Вот книжка, из коей могу сделать так, что во всякой особе женска пола ко мне воспылает любовь», а ежели не поможет мне, милостивец, я умру, и матушка моя тоже умрет от горя. Писано из Гейдельберга.

34

Магистр Ортуин Граций
магистру Сисесосию, другу излюбленнейшему
изо всех друзей, приближенному первой
степени, желает здравствовать

Поелику сказано в Писании: «Господь щит для ходящих непорочно», похвалы достойно, велемудрый господин магистр, что излили мне душу свою так непорочно и присем зело красноречиво, ибо отменно владеете латинским слогом. И я отвечу вам столь же непорочно и риторически, а отнюдь не поэтически. Господин магистр излюбленнейший, вы открылись мне в своей любви, и дивлюсь неразумию вашему, потому как можете влюбляться в отроковиц; знайте же, что поступаете дурно, и сии греховные помыслы доведут вас до адской погибели. Я же полагал, что имеете разум и не помышляете о таковом глупстве, от коего добра не жди. Однако готов при-

советовать вам по просьбе вашей, ибо сказано в Писании: «Просите и получите». Перво-наперво должно вам оставить пустые помышления об этой вашей Маргарите, кои внушены диаволом, отцом всех грехов, чему свидетельствует Рихард в толкованиях на четыре книги. Всякий же раз, как об ней помыслите, творите крестное знамение и читайте «Отче наш», а сверх того — стих из Псалтири: «И диавол да станет одесную его». Также всегда ешьте по воскресеньям освященную соль и окропляйтеся водою, что святит приставленный к сему делу священник у святого Рупрехта; оным способом изгоните диавола, внушившего вам столь сильную любовь к вашей Маргарите, которая отнюдь не так прекрасна, как вы возомнили: на лбу имеет она бородавку, и голенашки у нее длинные и красные, а руки заскорузлы и грубы, да изо рта воняет по причине зубовной гнилости; и зад у нее необходимо должен быть волосат, причем волосья эти нельзя обрить, ибо недаром есть пословица: «Маргариты опасайся, зад обрить не пытайся». Вы же ослеплены диавольской любовью и не видите сих ее пороков. Опричь того, она невоздержна в питиях и обжорлива, а недавно, когда сидела рядом со мной за столом, дважды подряд пукнула и объяснила, что это будто скрипела скамейка. Тут в Кельне у меня была полюбовница не вашей Маргарите чета, но я ее все равно бросил. Вышед замуж, она многократно призывала меня к себе через одну старую бабку, когда муж бывал в отлучке: я же посетил ее лишь единожды, да и по пьяному делу. Советую вам поститься два раза в неделю, а потом исповедаться у какого-нибудь магистра нашего из ордена проповедников, он же наставит вас на путь истины. А после исповеди помолитесь святому Христофору, дабы он возложил вас на рамена свои и не попустил, чтоб вы повернули вспять и погрязали долее в «море великом и пространном: там пресмыкающиеся, которым нет числа», то есть бессчетные грехи, как толкует «Совокупитель»; а засим помолитесь еще, дабы не впасть во искушение. Вставайте рано поутру, умывайте руки, расчесывайте власы и удаляйтесь от праздности: ибо учит Писание: «Боже! Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я». Удаляйтесь также от блудилищ тайных: ибо неведомо, когда и в коем месте человек может впасть во грех, наипаче же — в блудодеяние. А ежели впрямь помышляете получить от меня испытанное любовное зелье, то знайте, что не могу взять того на свою совесть. Когда вы с моего голоса писали глоссы к Овидиевой книжке «Искусство любви», то упредил вас, что никому не должно прибегать к черной магии для снискания любви

женска пола; а кто к сему прибегнет, уже через то самое отлучен от церкви, и инквизиторы, искореняющие скверну еретическую, могут его притянуть к ответу и осудить на сожжение. Приведу вам для примера и назидания один таковой случай. Некий лейпцигский бакалавр влюбился в отроковицу Катарину, дочь мукомола, и бросил в нее яблоко, содержащее силу черной магии, она же то яблоко поймала и спрятала в запазуху, промеж грудями, и тот же час воспылала к этому бакалавру неутолимой любовью, и пришед в церковь, не сводила с него очес; когда же надо было читать молитву «Отче наш, иже еси на небесех», молилась так: «Бакалавре, иде же еси?» И дома, когда отец или мать ее кликнут, отвечала: «Бакалавре, чего тебе?» И они не могли взять в толк, что с нею сталось, покуда один магистр наш, проходя мимо ихнего дома, не поздоровался с оной отроковицей, сказавши: «Добрый вечер, госпожа Катарина! О благословенная, какой красивый у вас гребень». А отроковица Катарина в ответ: «Благодарение господу, любезный бакалавр, а не выпьете ли со мною доброго пива?» — и подала ему кружку. Магистр наш прогневался и стал пенять ее матери: «Госпожа мукомолиха, наказуйте дщерь вашу: она бесстыдством своим осрамила университет, ибо назвала меня бакалавром, тогда как я — магистр наш. Истинно, истинно говорю вам, что совершила смертный грех: похитила у меня честь, и грех сей не отпустится, покуда не будет похищенное возвращено. Она и других магистров наших называла бакалаврами; имею подозрение, что она влюблена в бакалавра, а посему глядите за нею в оба». Мать же схватила полено и отлупила ее по голове и по спине столь немилосердно, что девица накакала себе в юбки, а потом велела ей сидеть полгода под замком на хлебе и воде. Бакалавр тем временем был рукоположен во священники, отслужил первую обедню и получил приход Пардау в Саксонии. Отроковица, как о том прослышала, сиганула в чердачное окно, едва не сломавши себе десную руку, и бежала к бакалавру в Саксонию, где живет с ним по сей день и родила от него четырех сыновей. А вы сами ведаете, сколь великий сие соблазн в лоне церкви. Стало быть, должно вам остерегаться черной магии, от коей неисчислимое проистекает зло. Право, много лучше воспользоваться средством, именуемым «жено», какое прописал вам почтенный лекарь Брунель: средство оное воистину превосходно, я сам часто употребляю его противу желудочных колик. Пребывайте во здравии вы и матушка ваша. Писано из Кельна, в доме господина Иоанна Пфефферкорна.

36

Пустобрехий из Пессенека, лектор богословия и монах ордена вильгельмитов, магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

«По природе своей имеем мы наклонность ко злу»,— как читаем в «Изречениях». А посему от людей слышим более злого, нежели доброго. Недавно в Вормсе диспутировал я с двумя жидовинами, доказуя им, что закон ихний изничтожен Христом, а ожидание мессии есть кромешное глупство и пустое мечтание, и при сем сослался на господина Иоанна Пфефферкорна из Кельна. Они же отвечали со смехом: «Ваш Иоанн Пфефферкорн из Кельна мерзостный обманщик: он не знает даже еврейского языка и християнскую веру принял, дабы сокрыть свое окаянство. Когда он был еще евреем и жил в Моравии, то в меняльной лавке ударил по лицу меняльщицу, чтоб невзвидела света божия, сграбастал более двух сотен флоринов и был таков. И еще в другом месте его приговорили к повешенью за воровство, однако же он выпутался неведомо каковым способом; мы видели своими глазами виселицу, ему уготованную, и многие християне тоже ее видели, а среди них были люди знатные, которых мы можем вам назвать; так что нечего ссылаться на этого вора». Я же осердился и отвечал: «Врете, поганые жидовины, без зазрения совести. Да не будь вам даны привилегии, сейчас ухватил бы вас за бороды да вывалял в дерьме, ибо все вы плетете по злобе на доктора Пфефферкорна, который есть самый добрый и ревностный християнин во всем Кельне. В сем я самолично убедился, ибо он часто бывает со своей супругой за исповедью к братьям проповедникам и слушает истово обедню, а когда священник поднимает святые дары, то взирает на них с благоговением, отнюдь не опуская глаза долу, как врут его завистники, и лишь изредка отплевывается, но делает это лишь потому, что у него слишком много мокроты и он по утрам принимает грудное лекарство. Думаете, магистры наши в Кельне и отцы города дураки, что поставили его управителем над главным лазаретом, а также еще солемером? Будьте покойны, уж они не сделали бы этого, не будь он добрым католиком. И знайте, что передам ему все до последнего слова, дабы он оборонил свою честь и задал вам жару, когда станет писать против вашей религии. Вы, конечно, скажете, что магистры наши и отцы

города к нему столь благосклонны, потому что у него красивая жена. Но не желаю и слушать ваши клеветы, ведь и у самих отцов города красивые жены, а магистры наши равнодушны к особам женска пола, и никто еще не слыхал, чтоб который-нибудь магистр наш совершил прелюбодеяние. Она же непорочнейшая из женщин в Кельне и бережет свою честь пуще зеницы ока. И я не единожды слыхивал от нее, что слышала она еще от своей матушки, будто обрезанный мужчина не в пример приятственней для женщины против необрезанного, а посему, сказала она, когда супруг ее отдаст богу душу, она и во вторые мужья беспременно возьмет себе обрезанца; следовательно, никак невозможно поверить, чтобы могла она любить отц. гор., ибо отц. гор. не жидовины и не обрезаны, как доктор Пфефферкорн; так что вы лучше его не трожьте, а то он и супротив вас сочинит трактат под названием «Набатный колокол», как сочинил уже супротив Рейхлина». Письмо сие покажите доктору Иоанну Пфефферкорну, дабы ополчился он на сих жидовинов и на Германа Буша, ибо означенный доктор мой лучший друг и ссудил мне десять флоринов, когда был я произведен в бакалавры богословия. Писано из Вероны Агриппиновой, где Буш со своим приятелем закусывал в «Жирном каплуне».

37

Лупольд Писакий, долженствующий вскорости быть произведену во лиценциаты, магистру Ортуину Грацию желает столько лет здравствовать сколько травинок щиплет гусь

Господин магистр Ортуин, в Эрфурте, среди прочих вопросов, один вопрос, зело многохитростный, поставлен был двумя факультетами, богословским и физическим. Иные утверждают, что когда жидовин приемлет християнство, у него сызнова отрастает крайняя плоть, то бишь кожица, каковая по рождении отрока мужеска пола, в согласии со законом иудейским, с тайного уда обрезывается. И утверждающие сие рассуждают по богословской методе и выдвигают весьма веские доводы, один из коих состоит в том, что в противном случае на Страшном суде крещеные жидовины будут приняты за некрещеных, ибо

по наготе ихней тайные уды станут явны, и через то сотворена будет над ними несправедливость; бог же не бывает несправедлив; следовательно... и так далее. Другое доказательство зиждется на словах Псалмопевца, у коего сказано: «Ибо он укрыл бы меня в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте»; сказано: «в день бедствия» — то есть Страшного суда в долине Иосафата, где всякий будет держать ответ. Прочие доводы опускаю для-ради краткости: мы ведь в Эрфурте придерживаемся нового направления, а новые времена, как вам ведомо, всегда любят краткость. А другая причина в том, что у меня слабая память, и не могу столь много упомнить, как господа юристы. Иные же полагают, что утверждение сие никак не может быть истинным, и ссылаются на Плавта, каковой в стихах своих говорит, что содеянное несодеянным учиниться не может. И из этого доказывают, что если какая-либо часть тела жидовина в бытность его жидовином утрачена, то в християнской вере ему отнюдь не можно сызнова ее обресть. И еще они утверждают, что доводы те приводятся не по правилам: иначе из первой посылки следовало бы с необходимостию, что те християне, кои, предаваясь любовным утехам, утратили какую-либо часть тайного своего уда, что нередко бывает с мирянами и с духовными особами, на Страшном суде будут равно приняты за жидовинов; таковое утверждение, однако, есть ересь, и магистры наши, инквизиторы еретического окаянства, никогда подобного допущения не позволят, ибо и сами порой имеют недостаток по этой части; сие постигает их, однако, не по причине блуда, а по неосторожности в бане. А потому смиренно и всепокорнейше молю вашу милость порешить дело и открыть истинную правду, справившись о сем у супруги доктора Пфефферкорна, ибо вы с ней на короткой ноге и она не постыдится ответить вам на всякий вопрос ради дружбы вашей с ее благоверным. Слышу я также, что вы ее исповедник, а стало быть, можете принудить ее к ответу, пригрозивши наложить покаяние. Вы ей скажите так: «Госпожа моя, не стыдитесь, мне ведома ваша добродетель, коей нет равных во всем Кельне; не помышляю об вас дурно, но откройте мне истинную правду, есть ли у вашего супруга крайняя плоть или же нет? Говорите во имя господа смело и без утайки. Для чего молчите?» Конечное дело, я отнюдь не дерзаю вас учить: вы ведь лучше моего знаете обхождение с женским полом. Писано с великой поспешностью в Эрфурте, у Дракона.

39

Николай Свечегас
господину магистру Ортуину Грацию
столь много желает здравствовать,
сколько плодится за год блошек и вошек

Велемудрый наставник магистр Ортуин, шлю вам более благодарений, чем имею на теле волос, за то, что присоветовали мне отправиться в Кельн и поступить в бурсу святого Лаврентия. Родитель мой был премного сим доволен, дал мне десять флоринов и еще купил длинную черную рясу с капюшоном. В первый же день, как доставился я в университет и принял посвящение в упомянутой бурсе, узнал я весьма важную вещь, каковую не променял бы и на десять монет серебра. Некто поэт Герман Буш явился в сию бурсу за своим делом к одному из помощников управителя. Этот магистр протянул ему руку и почтительно приветствовал его словами: «Откуда это ко мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Буш же отвечал: «Ежели матерь господа нашего была не красивей меня, то не блистала она красотою», — ибо не понял тонкости риторического иносказания, заключенной в словах магистра. Пребываю в надежде, что многому еще выучусь в здешнем благословенном университете, столь же полезному, сколь сей случай достопримечателен. Сегодня купил я себе устав бурсы, а назавтра буду участвовать в общем диспуте на таковую тему: «Обладает ли изначальная материя бытием в действительности или в возможности». Писано в Кельне, в Лаврентийской бурсе.

40

Герборд Навозий
магистру Ортуину, наставнику своему,
мужу несравненной учености, столь много
желает здравствовать, что и счесть не-
возможно

Пресветлейший магистр, тому два года, егда отъехал я от вашего достопочтения в Зволле, обещались вы мне беспременно и завсегда писать, а равно прислать для прочтения стихи ваши. Однако ж не емлю от вас ни слуху и ни духу и не ведаю, живы вы или нет, но все единственно, живы вы или нет, а мне не

пишете, дабы знал я, как и что и почему такое. Боже святый, сколь много имею об вас беспокойства! И молю для-ради господа и святого Георгия, сымите с меня сие беремя, ибо страшусь, что сделалась у вас головная боль, или желудочное расстройство с поносом, как уже было единожды, когда вы наложили в штаны прямо посреди улицы и не заметили сего, доколе какая-то женщина не сказала: «Почтенный магистр, где это вы сели в кало? Ведь у вас штаны и рубаха обгажены». Вы тогда пошли в дом к доктору Пфефферкорну, и супруга его дала вам смену одежды. Беспременно ешьте крутые яйца, а также каштаны, печенные на угольях, и вареные бобы с маком, как делают у вас на родине в Вестфалии. А еще видал я во сне, что у вас ужасный кашель и отходят мокроты; ешьте сахар и толченый горох с тмином и тертым чесноком, да натолкайте себе в пупок жареного луку, и шесть дней воздерживайтесь от сношений с женским полом, голову же и чресла закутайте потеплей, и тогда исцелитесь. А не то испробуйте средство, коим супруга доктора Пфефферкорна завсегда пользовала страдающих бессилием, каковое средство многократно испытано. Писано из Зволле.

1

Иоанн Губошлеп, милостью божией апостольский протонотарий, достопочтенному мужу магистру Ортуину Грацию Девентерскому, возлюбленному своему брату, желает здравия на сто тысяч сестерциев, по правилам новой грамматики

Запрошлого дня, почтенный муж, получилась здесь книга, что спосылали мне из Кельна. Сия и оная книга имеет титлу, глаголемую «Письма темных людей». Боже правый, сколь возликовал я в сердце своем, узряще оную книгу, исполненную многих красот, во стихах и прозе писанных. И возрадовался я радостью превеликою, когда узнал, какое многое множество у вас друзей, поэтов, риторов и богословов, что отписывают вам письма и купно с вами ополчаются супротив Иоанна Рейхлина. А намедни побывал я в гостях и выпивал с некоторыми куриалами, мужами зело учеными и умудренными в житейских делах, и положил на стол сию книгу. Когда же стали они из нее вычитывать, я усумнился и сделал вопрос: «Премилостивые государи, какое будет ваше мнение? Для чего магистр Ортуин поставил титлу, глаголемую «Письма темных людей», и назвал друзей и содеятелей своих темными людьми?» И ответствовал один священник из Мюнстера, весьма изощренный в законах, что слово «темнота» употребляется во многих смыслах, см., например, Зак. «Так вере», Диг. «О праве казны», отв. I, в конце, и присовокупил к тому, что, надобно полагать, таково фамильное прозвание которого-нибудь из них. Ибо писано, что Диоклетиан и иные несколькие цари были темного происхождения. Я же ткнул его локтем и сказал: «Виноват, почтеннейший,

но сие здесь невместно». Засим повторил я тот же вопрос одному знаменитому богослову, с нами выпивавшему. Он состоит в ордене кармелитов, родом же из Брабанта, и сказал зело подтвердительно: «Досточтимейший господин протонотарий, поелику, как говорит Аристотель, «сомневаться в отдельных вещах небесполезно», то сделали вы мне, досточтимейший, вопрос: для чего магистр Ортуин, отдавши в печатню новое собрание писем, назвал его «Письма темных людей»? С дозволения уважаемого общества, скажу по своему разумению, что магистр Ортуин, муж глубокомудрый и рассудительный, прилагает к своим друзьям слово «темный» в смысле мистическом: ибо читал я как-то в одной непререкаемой книге, что истина сокрыта во тьме. И говорит Иов: «Открывает глубокое из среды тьмы». И у Михея в главе седьмой читаем: «Хотя я во мраке, но Господь свет для меня». И опять же у Иова, XXVIII: «Сокрыта премудрость от очей всего живущего». Посему говорит и Вергилий: «Утаивали истину во тьме»,— это я слыхал от других. И можно предположить, что магистр Ортуин и друзья его суть люди, отыскивающие в Писании сокровенное — истину, справедливость и мудрость, что дано уразуметь не всякому, но лишь тем, коих просветил господь. Потому и писано в «Книге Царств», CXXXVIII: «Но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день: как тьма, так и свет». Когда же умолкло сие духовное лицо, все поглядели на меня, желая узнать, доволен ли я. Я же раздумывал над сказанным. И был там магистр из Парижа, Бернард Бахвал, молодой еще человек, но, говорят, великого ума и необозримой учености, каковой преуспел блестяще и в свободных искусствах, а также и богословие основательно превзошел, и он, по обычаю своему, головой помавая и глядючи с суровостью, возговорил: «Ведайте, государи мои, что есть великая и глубокая причина, для чего магистр Ортуин назвал друзей своих темными людьми: соделал он сие для-ради смирения. Ибо, как вам, может, ведомо, а может, и неведомо, но уповательно — ведомо, три года тому Иоанн Рейхлин выпустил письма друзей своих и поставил титлу: «Письма знаменитых людей». Памятуя сие, магистр Ортуин поразмыслил и сказал себе: «Стало быть, Рейхлин мнит, что ни у кого нет друзей, опричь его. А куда он денется, ежели я докажу, что и у меня есть друзья, да еще достойнейшие, чем у него, и они умеют писать стихи и послания лучше его друзей?» И к посрамлению Рейхлинову выпустил сии письма с титлой: «Письма темных людей» и, как говорится в Псалтири, «послал тьму и сделал мрак». Но сделал сие со смирением, ума-

лясь и унизясь, дабы иметь право повторить вослед Псалмопевцу: «Господи! Не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои». И господь бог, узревши смирение его, ниспошлет ему впредь свое попущение сочинять великие труды с равновеликими титлами. Подобно же сказано у Иова: «Свет приблизить к лицу тьмы». Но не должно думать, что сии письма друзей магистра Ортуина писаны неискусно, ибо друзьям Иоанна Рейхлина до скончания века не сочинить превосходнее, хоть бы и ломали они себе головы до исступления; но все это я говорил к тому, что впредь будет дано им совершать дела еще более великие. И уповаю, что, по милости божией, сподобимся мы узреть ихнюю славу, ибо магистр Ортуин помышляет не о пышных титлах, но говорит так: «Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» Коль скоро ведает, что, умаляя себя, впредь возвысится. Сказано бо в Писании: «Кто возвышает себя, тот унижен будет». И читаем в «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова», XX: «Есть унижение ради славы, а иной от унижения поднимает голову». О сем же прорицает и пророк Наум: «И врагов Его постигнет мрак». Я же, боясь, дабы они не рассорились или не прогневался бы кто на меня, ежели б сказал я тому или другому: «Ты премудрее», сослался на Горация, у кого сказано так: «Но и доныне их тяжба осталась еще не решенной». Отпишу магистру Ортуину, дабы изобъяснил все доподлинно. А покуда извиняйте за докуку». На том спор сей скончался, хотя магистр Бернард готов был упорствовать и доказывать вплоть до костра, что именно таково было ваше намерение. А посему, господин мой Ортуин, прошу вас дружелюбиво, отпишите мне по милости вашей, что разумели, когда на оных письмах поставили титлу: «Письма темных людей»? На том пребывайте в добром здоровии и славе. Писано в римской курии.

2

Иоанн Храп
магистру Ортуину душевно, с превеликой любовию вовеки желает здравствовать и честь имеет быть его всепокорнейшим слугой

Брат и наставник возлюбленный, поскольку вы недавно отписали мне, дабы послал я вам при случае сочинение, или же письмо, или стихословесность, дабы видели вы, чему выучился я от вас в Кельне и в Девентере, к поношению Иоанна Рейхлина и рейх-

линистов, как есть они супостаты ваши. Да будет вам ведомо, что приложил я к тому великие старания. И ныне препровождаю вам поэтическое стихословесное послание, Овидиевым подобное, ибо памятую, что много охотнее читаете стихи, нежели прозу. Однако необходимо надобно вам оное исправить: ибо «ученик не выше учителя». И еще придется читать в голос — складно ли, ибо я покуда не вполне превзошел искусство складывать складно.

ПОСЛАНИЕ ИОАННА ХРАПА, НОВИЧКА МЕЖ ПОЭТАМИ И СТИХОТВОРЦАМИ, НАСТАВНИКУ СВОЕМУ МАГИСТРУ ОРТУИНУ ГРАЦИЮ

Сим посланием шлет
А такожде поклон господину
Яко сие вьюношу подобает,

Посему смею умолять
Ежели скаредно они звучат,
Оные вирши отменно
сотворены,
И нет меж нами равных,

Изучил сей логику,
Оный — науку физическу,
А оный удивительно
Вам подобно, зане
Но равного вам дарами
своими
Где куриалы преподобные,
Друг друга тащат в суд,

Тако недавно некий лиходей

Ради некоего прихода,

Но вы о занятьях радеете
Прилагая всякое тщание
Вы чужды мирских забот,
Рейхлин и иже с ним,
Чьи мысли крамолой объяты,

Храп свой искренний привет
магистру Ортуину,
коий наставника свово
обожает.
вирши сии не презирать,
тогда как ваши гремят.
хоша не довольно всеми
оценены,
меж школяров скромных и
магистров преславных:
оный же пиитику,
оный же медическу,
постиг все решительно,
вы не токмо в родной стране,
не обрящете и в Риме,

полны вражды злобныя,
яко юнцы несмышленые себя
ведут —
тяжбу со мной возьми да
затей
и мирного быти не может
исхода.
и дум таковых не лелеете,
изучить отменно Писание,
не то, что мерзостный сброд,
что нравом отмечены злым,
пииты да адвокаты,

В ком обилие пагубных свойств
Вредят они вам, досаждают,
За вас же Тонгрский Арнольд преученый,
И школа франков, что сугубо славна:
«Глазным зеркалом» нареченная,
Но вам восхотел я вверити смело
Вкупе с Гохштратом, что во время оно
Доктором философическим, всеведущим,
Вашим покорным слугой пребываю
Господу хвала.

причиняет вам тьму беспокойств,
еретичные вирши кропают;
и Пфефферкорн крещеный,

ею Рейхлина книга огню предана,
с вашей помощию побежденная.
повести́ ради церкви сие тяжкое дело
превзошел бы познания самого Платона,
в оных тонкостях отменно сведущим.
и ночи покойной желаю.

Извиняйте, ежели в стихотворении сем есть ошибки, ибо ошибаться свойственно человеку, как сказал Философ, и сами всенепременно напишите мне что-нибудь новое.

Дано во граде Риме
Их же крестьяне продают,
Яко сам я видал
Аминь.

славном яблоками чудны́ми,
и для того на весы кладут,
и на опыте узнал.

5

Брат Иоанн из Вердау магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет и смиренно молитвит за него господу

Достопочтенный муж, как вы мне прописали, что вам доносят, что дело ваше в дурном обороте, и Иоанн Рейхлин исхлопотал от апостольского престола запрещение, и еще прописали мне, что имеете боязнь, как бы он не одолел богословов и наш святейший орден и через то не посрамил бы церковь господню. О маловерный, неужто вы столь убоялись,

что немедля готовы отчаяться? Ведь допрежде, как сопребывал я при вас в Девентере, не одержала вас толикая робость, а напротив того, превеликая отвага. Ибо ведомо мне доподлинно, как осилили вы двоих недорослей, что напали на вас с предлинными мечами, при вас же не было ни оружия, ниже щита. Но с помощью божией вы таково на них ополчились, что один со страху накакал в штаны. Сие видели многие и говорили: «Господи, ну и воитель этот Ортуин». И да будет вам ведомо, что ошибаетесь, ибо здесь, в римской курии, дела обстоят сугубо, и ежели кто в одном выигрывает, то в другом беспременно проигрывает. И бывает так, что который-нибудь человек вымогнет два, а не то и три приговора в свою пользу, а дело все равно проиграет. Вы, конечно, можете мне на это возразить так: «Но ведь папа разрешил продавать, читать и печатать «Глазное зеркало». Вольно же ему. Ежели он разрешил, что воспрепятствует ему запретить снова? Велика ли важность, когда его святейшеству дана власть вязать и решать, и никто ему не указ, ведь власть сия вездесущна, что должно быть ведомо вам из Евангелия, поелику вы столь блестяще превзошли Писание. Однако сошлюсь на каноническое право. Во-первых, папе дана власть над всем миром, воп. IX, к. IV, «Вся и повсюду», и может он единолично, даже и без собора низложить императора, как указует глосса на гл. «Ко апостольской» из «О решении и приговоре». А равно воп. II, VI, кан. «О прочем». И папа не послушествует закону, он сам есть олицетворенный закон на земле, как сказано в глоссе к главе XI «Об обязанностях особого судьи». А ежели папа есть закон, он может делать что хочет и ни с кем не соображаться. И хотя бы сегодня говорил он «да», завтра же может сказать «нет». Посему надобно вам иметь твердую уверенность, ибо недавно я слышал здесь от одного из судей при курии, мужа достойного и умудренного жизнью, что никак невозможно, чтобы папа вынес приговор против вас, ибо дело ваше верное и есть дело веры. Посему будьте тверды в своих борениях; и пускай лживят сии нечестивцы, вы же не обращайте внимания, ибо все вздор. Надеюсь, однако ж, вскорости обрадовать вас доброй вестью, ибо магистр наш Яков Гохштратен не щадит никаких сил. Недавно он устроил угощение и пригласил многих из курии, мужей старых и искушенных, и еще одного папского писца, коий пользуется особым благоволением его святейшества, и некоторых судей. Он потчевал их куропатками, и фазанами, и зайцами, и свежей рыбкою, и отменными винами, корсиканскими да греческими, и все говорили, что он ублажил их как

нельзя более, и говорили также: «Видит бог, он великий богослов. И мы за него порадеем!» Чем премного его обнадежили. Однако на сем принужден кончить, ибо гонец более не желает ждать. Пребывайте во здравии и кланяйтесь от меня магистрам нашим, и магистрам, и Иоанну Пфефферкорну. Писано из Рима.

6

Магистр Корнелий Тупиций
магистру Ортуину
желает здравствовать на множество лет

По просьбе вашей, каковую посылали вы мне в Рим, когда я обретался еще при римской курии, должен я в подробности вам доносить, как продвигается дело веры, кое вы купно со другими богословами отстаиваете супротив Иоанна Рейхлина: но примите в соображение, что отъехал оттуда с великой поспешностью и не мог отписать ни слова. Однако порешил отписать вам немедля по прибытии во отечество, что ныне и делаю. Итак, да будет вам ведомо, что при бытности моей в Риме дела шли прескверно, о чем сильно печалуюсь. Ибо магистра нашего Якова Гохштратена тяжкая постигла нужда. И не совестно ли вам, богословам, не слать ему денег? Восхотели совершать дела великия — денег же дать не восхотели. Тако ли надлежит поступать? Когда сей магистр наш въехал о двух или же о трех конях в Рим, и был при деньгах, и ставил угощения, члены курии весьма его жаловали. Один спрашивал другого: «Кто сей такой?» Другой же отвечал: «Сей доктор из Германии, славы несравненной, и столь глубокомудр и велеречив, что его никому не превзойти. Он прибыл сюда оборонять дело веры противу одного мирского законника». В те поры куриалы его восхваляли и часто говорили мне: «Почтенный Корнелий, нельзя ли через вас сделать знакомство с сим знаменитым богословом?» Было у него тогда довольно покровителей, и дела его шли хорошо. Теперь же вы его покинули и не шлете ему денег, сколько потребно. Я однажды был у него на дому и, взглянувши на его рясу, узрел, что она кишит вшами. Он же, видя, что я сие вижу, привел по сему поводу место из Писания: «Звери твои обитали там по благости твоей, Боже, ты готовил необходимое для бедного». И присовокупил: «Ревность моя снедает меня». Я же заплакал от жалости. Посему надобно вам порадеть, дабы братья проповедники посылали ему день-

ги. А ежели станут отговариваться неимением, велите взять из плоченных за индульгенции: ибо тут дело веры, и что будет сделано для дела сего, будет сделано для веры християнской. Пребывайте во здравии. Писано в Аугсбурге.

10

Магистр наш Варфоломей Ослятий
магистру Ортуину
шлет бессчетно пожеланий здравствовать
и сверх того превеликое почтение

Почтеннейший магистр, без предварений и окольных словес докладаю вам, понеже недавно отписали вы мне свое желание, дабы я докладал вам, как обстоит здесь дело веры; докладаю же, что обстоит хорошо, однако не вышло еще окончательного решения. Есть тут один законовед, прозываемый Мартин Грониген, доктор Сенский, как он себя именует, вельми надменен и обуян гордынею. Он должен переложить на латынь «Глазное зеркало» и сильно важничает, ибо мнит прославиться. Иные его восхваляют, и недавно я спросил их: «А в каковых познаниях он превыше других?» Они же сказали, что хорошо знает по-гречески. Посему, сами видите, его опасаться нечего, ибо греческий язык отнюдь не имеет важности в Священном писании. Полагаю, что он не знает ни единой строчки из книг «Изречений». И не мог при мне составить ни единого силлогизма по модусам «бароко» или «целарент», ибо нимало не смыслит в логике. Недавно он обозвал меня ослом, на что я отвечал: «Ежели ты столь дерзок, вызываю тебя на диспут»; так прямо и сказал ему на «ты». Он же смолчал. Тогда, не давая ему опамятоваться, я говорю: «Берусь доказать, что ты осел. Бóльшая посылка: все, несущие ношу, ослы. Ты несешь ношу; следовательно, ты осел. Меньшую посылку вывожу из того, что ты несешь сию книгу». И сие было истинно, ибо Яков Квестенберг дал ему для изучения книгу супротив магистра нашего Якова Гохштратена, и оную книгу он нес. У него же не хватило соображения отвергнуть бóльшую посылку, которую я не мог бы доказать; но я ведь прекрасно знал, что он отнюдь не смыслит в логике; и я ему сказал: «Почтенный доктор, вы вознамерились вмешаться в богословский спор, но сие не вашего ума дело; глаголю вам оставить таковое намерение, ибо ничего не смыслите в предмете. Аще наживете себе

великие неприятности, ибо богословы не потерпят, дабы юристы разбирали дела веры». Он же воспылал гневом и говорит: «Не только смыслю в сем предмете, но вижу также, что ты — проклятая скотина». Тут я тоже воспылал и вскочил с места; и учинилась меж нами великая брань. А потом магистр наш Петр Мейер, священник из Франкфурта, сказал мне: «Пойдемте подкрепим силы на постоялом дворе, ибо время завтрака; оставьте сего молодца, он совершенный невежда; пускай сперва подучится тому, что ведомо всякому школяру». Однако, верьте слову, магистр Ортуин, мы ему воздадим отмщенье за сию обиду; он ведь обучался в Кельне и, я знаю доподлинно, состоял в Нагорной бурсе; устройте же так, чтоб университет притянул его к ответу; тогда мы объявим его клятвопреступником, ибо он принадлежен к университету и принес клятву, что будет блюсти университетское благо, теперь же он взял сторону Иоанна Рейхлина супротив университета. Прошу с сим делом не замешкать и еще прислать мне книгу Иоанна Пфефферкорна, именуемую «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических». Недавно видел ее у одного человека и болею душой, до того желаю ее иметь, ибо в книге сей много тончайших доводов. Да ниспошлет вам господь бог наш в вечной славе своей здоровие и мир. Аминь.

12

Магистр Вильгельм Заец,
он же и магистр искусств, магистру
Ортуину Грацию желает здравствовать

Достопочтенный муж, как велели вы мне и наказывали сейчас по прибытии в Рим отписать вам про все, что сталось со мною в дороге и в каковом пребываю здравии, поспешаю уведомить, что по милости божией я ныне здрав и об вашем здравии слышать желаю. Уповаю, однако ж, что вы, благодарение господу, пребываете во здравии. И еще докладаю, что когда доставился в Майнц, стал я на постой в гостинице «Корона», где некие люди рассуждали о деле веры и держали руку доктора Рейхлина, а когда проведали, что я из Кельна, стали рассуждать еще того более и с явным ко мне презрением. Они восхваляли Иоанна Рейхлина и поносили кельнских магистров наших, утверждая, что оные магистры, подобно нетопырям, ничего не творят при свете дня, но летают во мраке и совершают темные дела. Тогда я сказал: «Да будет выслушана и другая сторона»,— и сослался на «Цветы права». Они же стали осы-

пать меня хульными словами, и наконец я сказал: «Что мне до Рейхлина? Дайте мне спокойно поесть за свои деньги». Вы, быть может, скажете: «Почтенный Вильгельм, надлежало вам твердо стоять на своем и борониться от них геройски». Однако да будет вам ведомо, что там сие было бы невместно. Ибо слышал я, что недавно в той гостинице одного человека изувечили скамейкой, который человек вступился за магистра нашего Якова Гохштратена. Ибо там столуются преужасные злодеи, носящие при себе мечи и сабли: средь них был один граф, высокорослый и белобрысый. Рассказывают, что он голыми руками может ратника в полных доспехах повергнуть наземь. И мечом опоясан предлинным, исполиновым. Я как узрел его, сей же час прикусил язык и не смел ему перечить. Хотел отписать вам немедля, но не было с кем спосылать письмо. А в Вормсе жительствовали мы в гостинице, где многое множество узрел докторов, состоящих при Высшем имперском суде. Там же наслушался я всяких неподобных речей супротив богословов. И поносили при мне Иоанна Пфефферкорна за «Набатный колокол». А один сказал: «Помяните мое слово, в недолгом времени все эти магистры наши будут изничтожены, и останется от них одно мокрое место». Тут я сказал: «Но кто же тогда будет пред вами проповедовать и наставлять вас на путь християнской веры?» Он же отвечал: «Сие предоставится ученым богословам, превзошедшим Писание, каковы Эразм Роттердамский, Павел Риций, Иоанн Рейхлин и прочие». Я смолчал, но помыслил так: «Собака лает, ветер носит». И сидел за столом некий человек по прозванию Теобальд Феттих, ныне он доктор медицины, и я его прежде знавал, ибо он обучался в Кельне в Нагорной бурсе: и он говорил злопыхательнее прочих. Я же сказал ему: «Вам надобно памятовать, что обещались клятвенно пред ректором и Кельнским университетом». Он же отвечал, что плевать хотел на всех нас. Но что с него взять. А после, как отъехали мы из Вормса, настигли нас в пути какие-то страховидные конные люди с арбалетами и хотели нас лишить живота. Сопутник мой возопил: «Господи, господи!» — я же, имея присутствие духа, велел ему замолчать и сказал сим людям: «Благодетели, не стреляйте, ведь мы безоружные духовные особы, в путь шествующие за бенефициями в Рим». И один сказал: «Что нам до ваших бенефициев? Подавайте мне и товарищам моим денег на выпивку, а не то отправим вас в пекло». И дабы от них отвязаться, пришлось отдать им два флорина. Присем я пробормотал про себя: «Пейте на радость диаволу». А малое время погодя сопутник мой сказал:

«Как мыслите, не притянуть ли их к суду римской курии?» Я же отвечал, что сие никак не можно, ибо не ведаем прозваний ихних. После того по преглубокой грязи доставились мы в Аугсбург, и дождь лил ливмя, и снег таковой валил, что глаз не давал отверзнуть. И сказал мой сопутник: «Прах меня побери, как же я продрог. Быть бы мне теперь в Кельне, ни за что не отъехал бы к римской курии». Я же только прыснул. А в гостинице узрели мы одну красивую собой девицу, вечером были танцы, и сопутник мой тоже стал танцевать. Я сказал, что сие ему невместно: ибо он магистр и не должен предаваться таковым глупствам. Он же не стал меня и слушать, а сказал: «Фунт говна от сей девицы скушал бы с моим удовольствием, только бы она согласилась переспать со мною одну ночку». Я такого не мог претерпеть, помянул сказанное Екклесиастом: «Суета сует, все суета»,— и с тем опочил. Поутру достигли мы Ландсберга, и там сопутник мой спознался в ночи со служанкою. Заутра же, когда отбыли мы из гостиницы, у него охромела лошадь, и я сказал: «Поделом вам, ибо путаетесь со служанками»,— но один кузнец пособил его нужде. И доставились мы в Шонгау, где купили превеликолепных зерцал. Засим направились в Инсбрук. Дорога же была столь мерзостна, что едва могли проехать, и лошади по причине глубокой грязи увязали выше брюха. Так со многими тяготами добрались мы до Иннсбрука, где пребывало в ту пору его императорское величество со вассалами, и придворными, и ленниками, и рыцарями, и оруженосцами, и все были в шелковых одежах, и на шеях золотые цепи. Некоторые были преужасны, бородаты и в биреттах с разрезами на воинский манер. В гостинице я опасался вкушать пищу, ибо слышал, как один сказал: «Будь я император, велел бы перевешать всех, кто поспешает к римской курии, дабы выучиться там всякой мерзости. Они грызутся промеж собой из-за бенефициев, а германскому священству чинят обиды и тесноты, и из-за них деньги утекают из Германии в Рим». И видел я, что сии придворные не чтут ни бога, ни людей, а посему будут развеяны, как прах пред лицом ветра. После того перевалили мы через снежную и превысокую гору, досягающую едва не до неба. И на горе той крепчал столь великий хлад, что я убоялся, как бы не сделалась у меня лихоманка, и вспомянул про теплую печку в Кельне. А сопутник мой сказал: «Эх, был бы при мне мой плащ с меховою подбивкою». Я же молвил: «Бесперечь пеняете вы на хлад, когда пребываете под открытым небом, а едва внидете в гостиницу, сейчас норовите залезть на бабу. Не знаете разве, что

от совокупления человек ко хладу делается чувствителен?» Он же отвечал, что от сего ему отнюдь не делается холодно, а напротив того, ударяет в жар. И да будет вам ведомо, магистр Ортуин, что сроду не видывал я человека более ко блуду приверженного; вошед в гостиницу, первым делом пытал у слуги: «Скажи, служитель, нет ли у вас чего благопотребного по части женска пола? А то у меня срамный уд стоит и отвердел совершенно, впору им орехи колоть». Засим мы доставились в Трент. И да простит меня бог, а равно и вы не прогневайтесь, что отпишу вам истинную правду: там я тоже один разок очистил почки, потаенно посетивши блудилище. Однако тою же ночью усердно помолился пресвятой Деве и замолил грех. Во граде сем было несметно ратников, кои собирались идти на Верону и явить геройские чудеса. И похвалялись они пред нами, что император вознамерился воевать Венецию. И узрели мы бомбарды и многое прочее, чего я отродясь не видывал. А в воскресенье приехали в Верону. Сей град чуден, со стенами, валами и иными укреплениями. И видели мы там дом Дитриха из Берна, в коем он жительствовал и в поединке одолел и побил многих исполинов. Мы хотели отправиться далее, но долго не решались из страха пред венецианцами, ибо говорили, что они уж выступили походом. И точно, через несколько времени, уже под самой Мантуей, слышали мы, как они бомбардировали, обложивши Брешию. И сопутник мой сказал: «Здесь родился Вергилий». Я же отвечал: «Что мне за дело до сего язычника? Побываем лучше к кармелитам, дабы лицезреть Баптисту Мантуанского, который один стоит двух Вергилиев, о чем мне десять раз толковал Ортуин». И я поведал ему, как однажды вы изругали Доната за таковые его слова: «Вергилий был ученейший из поэтов и достойнейший из людей». Вы тогда молвили: «Я бы самому Донату в глаза сказал, что он лживит: ибо Баптиста Мантуанский выше Вергилия». А когда приближались мы ко монастырю кармелитов, нам сказали, что Баптиста Мантуанский преставился. И я сказал: «Упокой его душу, господи». А засим мы отъехали в Болонью, где пребывало его святейшество и король Франции. Там слушали мы обедню, кою служил сам папа, получили отпущение всех грехов, смертных и простительных, и исповедались. Там же сопребывал преподобный отец и брат наш Яков Гохштратен, магистр наш и инквизитор еретического окаянства. И, узрев его, я сказал: «О святый отче, что здесь делает ваше преподобие? Я думал, вы обретаетесь в Риме». И вручил ему ваше письмо, а также письмо магистра нашего Арнольда Тонгрского; он же мне от-

ветствовал, что хлопочет пред королем Франции, дабы Рейхлина объявить еретиком, а «Глазное зеркало» предать сожжению. Тогда я сделал ему вопрос: «Стало быть, король смыслит в сих делах?» И он ответствовал: «Сам король, положим, и не смыслит, однако парижские богословы ему все растолковали, и его исповедник Вильгельм Малый, муж зело ревностный, сказал ему за исповедью, что не даст отпущения, ежели он не выговорит у папы объявления Рейхлина еретиком». Я возрадовался и сказал: «Дай господь, чтоб сталось по слову вашему». И еще я повстречал много знакомых куриалов и позвал их к себе в гостиницу. Далее отправились мы во Флоренцию, град красивейший на всем свете. Оттуда отъехали в Сиену, где имеет быть университет, однако богословы маломножественны. Засим мимоездом посетили мы мелкие городишки, из коих один называется Монтефьяско: там пили мы отменное вино, какого я допрежде не вкушал; и спросил я хозяина, как оно называется. Он же ответил, что называется «Слезы Христовы». А сопутник мой сказал: «Не грех бы Христу поплакать и в нашем отечестве». И выпили мы с ним изрядно. А через два дня доставились в Рим. Благословен господь, что избавил нас от бессчетных тягостей, каковыми чревата столь длинная путь, и не попустил прохудиться нашим башмакам. Но при курии я не доведался ни об чем новом, а узрел токмо диковинную зверь ростом с четырех лошадей и рыло имущу длиною с меня, и преудивительна она мне показалась. Узревши ее, сказал я: «Чудны дела твои, господи». И не пожалел бы флорина, только бы могли и вы тую зверь видеть. Однако, свидетель бог, я довольно был щедрый к вам в сем письме. Будьте и вы равно же щедры ко мне, иначе никогда более не стану вам писать. И здравствуйте присножизненно. Писано при римской курии с великой поспешностью.

15

Магистр Петр Камнелобст
магистру Ортуину Грацию здравствует

Премногожелательно мне, господин Ортуин, отписать вам всякие новости касательные войн и битв, а равно и дела Иоанна Рейхлина; однако пребываю в столь великом гневе, что по причине оного не могу усидеть на месте; так что нет моей мочи писать об таковых предметах, ибо сердце стучит, будто бы внутрях кто колотит кулаком, а все потому, что один немец

из Мейсена обещался дать мне некую книгу, «Словарь права», но никак не дает, хоть я не единожды пробовал ее по-приятельски с него вытребовать, и все без пользы. И зрю, что охота ему нарочно мне досадить. Однако известен я, что всякое обещание равносильно долгу, и посему притянул его к суду. Тогда он нынче написал мне хульное письмо и осрамил меня, будто я лихой человек. И я до того прогневался, что не знаю, как быть. Мыслю пойти к градоправителю и потребовать указа, дабы взяли его под стражу, ибо имею подозрение, что он замыслил бежать. И ежели не пришлет мне тотчас потребную книгу, кликну стражников, дабы схватили его и упекли в тюрьму, а ежели перед сим вздернут его раз-другой на дыбу, то поделом же ему: ибо хочу проучить его, дабы знал, как водить человека за нос и не держать обещания. Верьте слову, пекусь токмо об его пользе и в том клянусь своим животом. А без оной книги мне никак невозможно, ибо уже расписал я порядок занятий своих, и купил книги законоведческие и прочие, и всякий день хожу на четыре часа в «Школу мудрости» и слушаю там «Институции» и «Дигесты», а равно и каноническое право, и наставления насчет производства дел в курии. И нашел я одну весьма пользительную и превосходную книгу, из коей многому выучился; полагаю, что у вас в Германии ее нет; она же удивления достойна, и зело наставительна, и именуется «Подробное изложение казусов по «Институциям», и емлет во себе преполезнейшие сведения, и столь глубоко толкует «Институции», что нередко расчленяется один параграф на десять частей, и писана на манер диалога и вдобавок весьма изящным латинским слогом. Не могу изъяснить, сколь пользительно иметь такую книгу. Но не говорите о том кельнским законникам, что держат руку Иоанна Рейхлина: ибо ежели добудут сию книгу, станут действовать с великой ловкостию. Я очень знаю неудовольствие ваше тем, что я изучаю законы, ведь вы часто мне говорили, что должно мне изучать богословие, ибо в нем благодать и неисчислимо более достоинств, нежели в законоведении, кое черное делает белым, а белое — черным. И присем сослались на Рихарда. Я же ответствовал вам, что не могу иначе, ибо наука о законах есть наука о снискании хлеба: посему и говорится в стихах:

«Деньги дают нам Гален и законы Юстиниана.
В них — полновесные зерна; остальное — не лучше бурьяна».

Вы же очень знаете, как я беден, и матушка моя мне отписала, что должен думать о том, как добыть себе еду да прикрыть

свою наготу, ибо более не станет высылать мне денег; вот каковы, милостью божией, мои обстоятельства. Однако ж опять мне в голову лезут мысли о том человеке, на коего так я воспылал гневом. Желаю вам доброго здоровия. Писано из Рима.

16

Магистр Иоанн Шляпий
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать больше,

чем воров отыщется в Польше,
в Богемии еретиков,
в Швейцарии мужиков,
в Италии негодников,
в Испании сводников,
в Венгрии вшей,
в Венеции торгашей,
в Париже ученых книг,
и в Саксонии забулдыг,
в Риме святых отцов,
во Фрисландии тощих одров,
в Германии капелланов,
во Франции знатных болванов,
в Марке рыбьих костей,
в Померании жирных свиней,
овец в Англии,
быков в Дании,
девок гулящих в Бамберге,
художников в Нюрнберге,
в Праге иудеев,
в Кельне фарисеев,
в Вюрцбурге монастырей,
в Неаполе кораблей,
во Франкфурте меховщиков,
в Герцогенбуше игольщиков,
и знатных господ во Франконии,
мореходов в Зеландии,
содомских грехов во Флоренции,
у доминиканцев индульгенций,
в Аугсбурге ткачей,
саранчи средь хлебных полей,
в Веттерау лесных голубков,
в Баварии капустных кочнов,
сельдей во Фландрии,
мешков в Тюрингии,

то бишь желает здравствовать бессчетно, достопочтенный магистр, возлюбленный любовию безмерною и нелицемерною. Вы, может быть, скажете, что сие есть лукавство, и не поверите моему чистосердечию: посему не стану об нем отнюдь распространяться. Оттого и стих сложен: «Самохвальство уста оскверняет», а на немецком наречии: «Eygen lob stinkt geren». Однако ж в знак любви посылаю вам два подарка: четки из буйволова рога, кои возлагал я на усыпальницу святых Петра и Павла, а также на многие иные святыни в Риме. И опричь того отслужил я с теми четками три обедни. Говорят, они хорошо помогают от разбойников и всяких злодеев, ежели прочитать

с ними положенное число молитв. А еще посылаю вам одну вещь, зашитую во тряпицу, она помогает от змей, и я своими глазами видел ее действие; посему ежели когда (от чего упаси боже) уязвит вас змея, то будет вам безопасно; за оную вещь уплатил я карлин. Тут один человек на Цветочном поле являл чудеса силою святого Павла, и было у него много страховидных змей, на коих все дивились. Он их брал в руки, и они ему были безвредны; а когда кусали еще кого, он исцелял помянутым средством, давая сию вещь, зашитую во тряпицу, и люди говорят, что он от семени того человека, коему святой Павел даровал целительную силу, ибо, когда святой Павел еще ходил по земле, однажды принял его к себе в дом один человек, приветил его, развлек приятственным разговором, накормил, и напоил и уложил на мягкую постелю, а поутру сказал так: «Благочестивый господин, не взыщите за докуку; но вижу я, что вы великий муж и бог ниспослал вам особую благодать, и не имею сомнения, что вы святой, ибо видел, как творили вы вчера чудеса. Скажите же мне, кто вы?» И отвечал святой Павел: «Я Павел, апостол Христов». Тогда сей человек пал на колена и сказал: «О святой Павел, простите меня, ибо не ведал, кто вы, а ныне молю вас предстательствовать пред господом за грехи мои и сподобить меня на прощанье какой-нибудь благодатью за ради бога». И молвил святой Павел: «Вера твоя спасла тебя»,— и сподобил его и все его потомство сей благодатной силой исцелять людей от змеиных укусов. И который человек дал мне сию вещь — произошел от семени его, что доказал не единожды. Так что примите от души. Мне же отпишите новости про войну; и желательно мне ведать, не настрочил ли законник Иоанн Рейхлин еще которое-нибудь сочинение супротив вас, ибо по бесстыдству с него такое станется, хоть вы сему отнюдь не причинны. Уповаю, однако ж, что будет вам над ним одержание, ибо магистр наш Гохштратен сказал мне, что дела его идут хорошо, и велел об том вам отписать. Пребывайте во здравии, писано же в Риме.

17

Фредерик Плешивец
магистру Ортуину Грацию шлет бесчисленно пожеланий здравствовать

Достойнейший муж, ежели вы об том доныне неизвестны, сообщаю вам новость, что побранился здесь с одним певчим, возомнившим себя важной птицей, хотя на деле он такая же голь, как я

и все прочие. Мы тут выпивали, и он сказал, будто бы осушил за мое здоровье полную кружку пива; я же сказал, что он сие утверждает облыжно; бог свидетель, я того не видал. И сказал я: «Господин певчий, не видал я, чтоб вы пили, а если б видал, то с охотой вам бы ответствовал, ибо я не такой человек, чтоб убояться какой-то кружки пива». Он же поклялся, что выпил за меня, и потребовал, чтоб я за него выпил. Я отвечал: «Выпейте сперва за меня, тогда и я выпью». Он же сказал, что уже выпил, и теперь я должен сделать ему удовлетворение. Я ответил, что того не видел, а ежели б даже и видел, все равно не стал бы за него пить, и нет такого закона, чтоб заставить меня пить против воли. Он же сказал: «Очень даже есть». Я сказал: «Где это вы такое вычитали?» Он сказал: Зак. «Вино», Диг., «Если востребуют». Я ответил: «Вы ссылаетесь на закон, а я не законник, но об сем справлюсь». После того воздвигся я из-за стола и пошел прочь. Он же сказал, что никогда в жизни не станет более со мною пить. Я ответил: «А мне плевать». Вот как было дело, магистр Ортуин. Вы тоже отпишите мне, что нового, и пребывайте во здравии до тех пор, покудова воробей не станет ростом с поросенка. Писано из Мюнстера.

18

Брат Симон Шут,
доктор священного богословия, магистру
Ортуину Грацию желает здравствовать

Как объявилась здесь у нас «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических», писанная по-латыни, мы что ни день узнаем новые новости: один рассказывает то, другой — се; один стоит за Пфефферкорна, другой — за Рейхлина; один его обороняет, другой — виноватит. Спор идет великий, и дело без малого доходит до драки. И ежели б стал я описывать вам всю брань, какая имеет быть из-за сей книги, не уложился бы и в четыре года. Но между прочим, кое о чем расскажу. Многие тут утверждают, особливо светские магистры, священники и монахи из ордена миноритов, что Пфефферкорн никак не мог написать сию книгу, ибо сроду не учился по-латыни и не знает ни слова. Но я возражаю, что довод сей вздорен и, хотя доныне

им изнемогали многих великих мужей, слаб, ибо Иоанн Пфефферкорн, безотлучно имеющий при себе перо и чернило, может записывать то, что слышит на проповедях, и в разговорах, и со слов студентов и братьев проповедников, когда они на дом к нему приходят и когда сам он ходит в баню. Боже правый, подумать только, какое множество проповедей он выслушал за двенадцать лет! Какое множество увещаний! И изречений святых отцов! И все это он мог запомнить сам, или велеть запомнить жене, или ж записать на стенке, или же внести в записную книжку. И еще я сказал недавно, что Иоанн Пфефферкорн сам о себе говорит, нимало притом не хвастаясь, что все, писанное в Библии или же во святых евангелиях, он может процитировать ко всякому делу, хорошему или плохому, по-еврейски или же по-немецки. Также знает он наизусть все евангелия, читаемые в продолжение года, и может их повторить на память, чего отнюдь не могут сии законники и поэты. А еще у него есть сын именем Лаврентий, очень даже способный отрок, который столь усердно учился, что даже спал с лица. Дивлюсь, однако, что позволяет ему родитель изучать сих диавольских поэтов; он же собирает для отчей надобности изречения ораторов и поэтов, из книг и со слов учителей своих, по всякому поводу и про всякий случай; может даже цитировать и Гугона. Иоанн Пфефферкорн многие знания обрел чрез сего способного отрока, и чего сам он по неучености своей совершить не может, то исполняет его сын. А посему горе распускающим лживые слухи, будто не Иоанн Пфефферкорн написал свои книги, а сочинили все за него кельнские доктора и магистры: да сгорит со стыда и стенает во веки веков Иоанн Рейхлин, тоже утверждавший, что не Иоанн Пфефферкорн написал свое «Ручное зеркало», о чем были многие споры среди ученых людей, ибо все доводы, каковые там приводит, открыли ему некие три мужа. И кто-то спросил: «Кто же сии трое?» Я сказал, что об том не ведаю; но полагаю, что те же три мужа, кои явились Аврааму, о чем писано в книге Бытия. И когда сказал сие, стали надо мной потешаться, как над дураком. Пусть же диаволы побьют их мечом, как писано в книге Иова, кою мы сейчас читаем у себя в монастырской трапезной. И передайте Иоанну Пфефферкорну, дабы исполнился терпения, ибо уповаю, что некогда господь явит чудо, и поклонитесь ему от меня. Также поклонитесь его супруге, которую так коротко знаете; но сделайте сие тайно. И пребывайте во здравии. Писано на скорую руку в Антверпене.

19

Конрад Сратенфоц
магистру Ортуину Грацию

Желательно мне знать, достопочтеннейший господин магистр, по какой такой причине родители мои не шлют мне денег, хоть и знают, что не имею ни единого обола, о чем писал им до двудесяти разов, и никак не менее. Ежели не желают слать денег, видит бог, знаю, как мне быть. Поверите ли, недавно решился я испросить взаймы два или же три рейнских флорина, пускай потом за неотдачу хоть в тюрьму упекут, съездить в свое отечество и сказать им прямо в глаза все, что об них думаю, да твердисловно, чтоб они воспочувствовали. Вот дьявольщина, ужли по-ихнему я птица небесная или должен кормиться сеном, как скотское быдло? Диавол меня побери, ежели я за полгода имел в руках хоть единый карлин, и все это время питался я одним салатом, да луком, да чесноком, а изредка перепадало мне бобовой похлебки, зелени или шпината, как едят в Италии. Присем я ведаю доподлинно, что браты мои вкушают дома рыбу, и птицу, и всякие прочие объедения, обо мне же и не вспомнят. Я, однако, более терпеть сего не намерён, что и прошу им передать. Сам же буду усердно предстательствовать пред господином своим, дабы споспешествовал вашему делу, как вы того желаете. И прошу, когда родители мои дадут денег, сейчас мне их выслать. А опричь того выслать кусок мелу, ибо во всем Риме нет доброго мелу, и даже за целый флорин его не укупишь; вы же знаете, что мне быть без мела никак невозможно, ибо я логик; а когда хочу составить силлогизм, не всегда имею при себе чернило. Да и писать чернилом зело неприятно; и еще пришлите немецких снурков на башмаки, ибо в Италии их делают столь прескверно, что просто диву даешься. Посылаю вам при сем письме плат Вероники, коий коснулся глав святых Петра и Павла и многих прочих святынь; и еще посылаю агнца божия, а вы поклонитесь от меня почтенному Валентину Гельтерсгеймскому, высокопреподобному магистру нашему. Бог свидетель, мне никогда бы не выучить так логики, ежели б не побывал в его бурсе, ибо он все понятно изъясняет, и ученики сразу усваивают его лекции. Пребывайте во добром здравии духовном и телесном. Писано при римской курии.

20

Магистр Марквард Рогоносий магистру Ортуину Грацию

Честь имею пребывать вашим всепокорнейшим слугой. Достопочтенный господин магистр, коль скоро пишете мне, что должен доносить вам о магистре нашем Якове Гохштратене, то ведайте, что законники весьма его притесняют. Однако слышал я, что им не уйти от когтей диавольских. Ибо многие кардиналы стоят за вас, и особливо кардинал Святого Креста, каковой будет папствовать, когда нынешний папа преставится. Я слышал, как он говорил: «Буду защищать сего замечательного богослова Якова Гохштратена супротив Рейхлина, даже ежели законники всего мира встанут за него». И однажды уже совершил по слову сему, когда выступил противу суждений Петра Равеннского, также весьма и весьма еретических. И будьте благонадежны, господин Ортуин, кардинал сей и ныне преследует всех законников, ибо благоволит к богословам. И благоволит также ко французскому королю и Парижскому университету. А покойный французский король хотел сделать его папой. И во всем прочем дела ваши идут хорошо. Восемь дней тому магистр наш Яков поднес щедрую мзду референдарию одного кардинала, коего не стану называть по имени, и кардинал сей будет предстоять за него пред его святейшеством, в чем он весьма преискусен. И еще прошел здесь слух, что епископ кельнский почил в бозе, и новым епископом выбран граф Нейенар. Ежели сие правда, могу только сказать, что кельнские каноники глупцы, ибо поэт никак не может быть епископом. И сие есть помешательство для дела веры, ибо оный граф большой благожелатель Рейхлинов. И как мне сказал один из куриалов, когда отъезжал он в Италию из Кельна, тот дал ему письмо для вручения Иоанну Рейхлину; и слышал я еще от других, что он дружит со многими поэтами и новоявленными богословами вроде Эразма Роттердамского. Когда я обретался в Вюрцбурге, был там некий поэт Ульрих фон Гуттен, каковой беспрестанно высмеивал и поносил богословов и магистров искусств; в одной гостинице за столом он сказал какому-то другому из благородиев, что в сей самый день отписал графу письмо. А то благородие отвечало: «Что же вы ему пишете, когда переписываетесь?» Он же ответил, что отписал ему, дабы поболее радел о деле веры и старался за Рейхлина противу богословов, дабы не сожгли «Глазное зеркало»,

и с похвалением отозвался об Иоанне Рейхлине, и написал, что любит Рейхлина, как отца родного. Я же смолчал, дабы не показать, что держу вашу руку. Посему и говорю вам, что худо будет, ежели сей человек станет епископом. Надеюсь, однако, что сие неправда. Вы же отпишите мне правду и пребывайте во здравии «от подошвы ноги до темени головы», как сказано у Исаии. Писано из града Рима.

23

Магистр Бертольд Меринау магистру Ортуину Грацию шлет братскую любовь заместо приветствия

Достопочтенный муж, как обещался я вам, что буду доносить обо всем решительно и отписывать, как поживаю, да будет вам ведомо, что вот уже два месяца пребываю во граде Риме и по сю пору не сыскал места. Один аудитор из Роты хотел было взять меня к себе; я возрадовался и сказал: «Разлюбезное дело, однако ж соблаговолите, милсдарь, изобъяснить мне, какие такие будут мои обязанности». Он же ответил, что обязанность моя состоять при конюшне, ходить за мулом, содержать его в лучшем виде, кормить, и поить, и скрести скребницей, и холить. А когда случится надобность выехать верхом, чтоб завсегда был в готовности. И был бы взнуздан, и оседлан, и все как следует. А засим моя обязанность бежать у стремени до суда и обратно до дому. Я сказал, что сие мне невместно, ибо я кельнский магистр искусств и не могу ничего такого. Он же отвечал: «Коли не можешь, пеняй на себя». И помышляю отъехать назад восвояси. Чтоб я чистил мула и мел стойло? Да пусть диавол поберет этого мула вкупе со стойлом. А опричь того, думаю, сие было бы нарушением устава нашего университета, ибо магистр должен себя соблюдать, как следовает магистру. И было бы великим срамом для университета, ежели б кельнский магистр стал таковые делать дела. Посему и хочу вернуться, ибо пекусь о чести университетской, и вообще в Риме мне не нравится: здешние писцы и куриалы так много об себе полагают, что и поверить трудно. Вчерашнего дни один сказал мне, что серить хотел на кельнского магистра. А я отвечал: «Чтоб тебе серить на виселице». Он же сказал, что сам — тоже магистр, то бишь магистр курии, а магистр курии выше магистра искусств из Германии. Я же сказал, что этого быть не может. И сказал: «Ты хочешь сравняться со мною, хотя не держал испытания, как я, а меня испытывали пятеро прест-

рогих магистров. Стало быть, ты дутый магистр». Тогда он вступил со мной в диспут и начал с вопроса: «А что есть магистр?» Я отвечал: «Сие есть лицо, подготовленное, произведенное и остепененное в семи свободных искусствах, каковое выдержало перед тем магистерское испытание, имеет право носить золотое кольцо и мантию, подбитую шелком, и поставлено над своими учениками, яко царь над своими подданными. И зовется так по четырем причинам: во-первых, когда говорят о магистрах, сие происходит от слов «маг» и «страх», ибо каждый могуществен, как маг, и внушает своим ученикам страх. Во-вторых, сие именование магистрами проистекает от слов «маг» и «страми», ибо страмят своих супротивников. В-третьих, магистерская степень дается ввиду того, что магистры люди степенные. И в-четвертых — ввиду того, что остепеняются они постепенно». Он же спросил: «А где про то писано?» Я отвечал, что вычитал сие в «Кратчайшем наставлении». Тут стал он хулить помянутую книгу и сказал, что она ничего не стоит. Я возразил ему: «Ты дерзаешь хулить старую методу, а сам знаешь не более того. Да я и не слыхивал, чтоб кто-нибудь в Кельне сию книгу хулил. Как же не стыдно тебе?» И отошел от него, негодуя. Ведайте же, что хочу возвернуться в Германию, ибо там магистров почитают учителями. И сие доказывается из Евангелия, ибо сам Христос называл себя учителем, а не доктором, говоря: «Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо я точно то». А боле писать не могу, ибо извел всю бумагу, идти же на Цветочное поле далеко. Пишу вам свой привет при римской курии.

26

Генрих Швахумель
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

Как отъезжал я к римской курии, наказывали вы мне писать к вам ежевременно и по надобности испрашивать разъяснения богословских вопросов, которые разъяснения вы дадите лучше, нежели римские куриалы; посему ныне прошу преподобие ваше рассудить, что станется, ежели человек в Венерин день, то бишь на шестой день седмицы, или же в иной постный день, съест яйцо с цыпленком внутри? Ибо недавно на Цветочном поле сидим мы в одной харчевне, закусываем яйцами; и я, облупив яйцо, увидел там цыпленка, и показал соседу; он же

сказал: «Съешьте его немедля, покуда хозяин не увидел, ибо ежели увидит, придется уплатить ему карлин или юлий за курицу». Ибо здесь такой обычай: что хозяин подаст на стол, за то и плати, а назад возвернуть нельзя. И когда видит, что в яйце цыпленок, говорит: «Платите за курицу», — ибо за малое и за большое одна цена. И я тотчас проглотил яйцо вместе с цыпленком; а уж после вспомнил про Венерин день и сказал соседу: «Вы меня ввели в смертный грех, ибо я съел мясо в шестой день седмицы». А он сказал, что это отнюдь не смертный грех, и вообще не грех, ибо цыпленок считается яйцом, покуда не вылупится. И сказал, что точно так же и в сыре иногда заводятся черви, а равно и в вишнях, в горохе и в бобах, однако их едят в шестой день седмицы, как и в канун апостольских праздников. А плуты хозяева именуют их мясом, чтоб слупить побольше денег. Ушедши из харчевни, предался я размышлению об сем вопросе. И вот вам истинный бог, магистр Ортуин, я весьма обеспокоен и не знаю, как быть. Всеконечно испросил бы я совета у которого-нибудь из куриалов, когда бы не знал, что у них нет совести. Опасаюсь, что сии цыплята в яйцах суть мясо: ибо материя уже возникла и воплотилась во членах и телесах оной твари и обрела живую душу. Иное дело черви в сыре и всем прочем: ведь черви сопричисляются к рыбам, как слышал я от одного лекаря, весьма сведущего в физике. И вот благорассудно прошу ответить на мой вопрос. Ибо если полагаете, что сие смертный грех, то хочу получить здесь отпущение, прежде чем возвернуться в Германию. А еще да будет вам ведомо, что магистр наш Яков Гохштратен получил через посредников тысячу флоринов; полагаю, что он выиграет дело, и диавол поберет этого Иоанна Рейхлина и всех иных поэтов и законников, ибо они идут супротив церкви божией, то есть супротив богословов, на коих зиждется церковь, ибо сказал Христос: «Ты Петр, и на сем камне Я создам Церковь мою». А засим вверяю вас господу. Пребывайте во здравии. Писано из града Рима.

27

Магистр Вильгельм Аист
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

По какой такой причине вы мне в подробности отписываете об себе, а не преподносите книгу, кою сочинили супротив Иоанна Рейхлина? И присем пишете, что сочиняли ее в порыве

вдохновения, а через то полагаете, что она зело поучительна, и ежели отдадите ее в печатню, получите двадцать флоринов. Вы все обещаетесь прислать мне оную книгу, дабы показал я ее здесь куриалам и писцам да сделал им вразумление, ибо не верят, что в Германии есть не хуже поэты, чем в Италии. И сделаете дело, ежели ее мне пришлете. Однако не шлете, а только все обещаетесь. Пришлите же по моему прошению сие писание, то бишь книгу. Ибо желаю сделать вразумление некоторым писцам, кои мнят, что они одни знают толк в деле. И хулят стихотворения, сочиняемые мною при случае, говоря, что сочиняю плохо. Дабы вы самолично убедились, правда ли сие, влагаю в письмо одну таковую песнь, я ее написал недавно по случаю прибытия магистра нашего Гохштратена и прилепил к Пасквину в честь сего доктора, ибо он муж достославный и обороняет католическую веру от многих еретиков. А далее следует песнь:

ПЕСНЬ МАГИСТРА ВИЛЬГЕЛЬМА АИСТА ИЗ ДЕВЕНТЕРА, СОЧИНЕННАЯ ПО СЛУЧАЮ ПРИШЕСТВИЯ ДОСТОПОЧТЕННОГО ОТЦА И БРАТА НАШЕГО ЯКОВА ГОХШТРАТЕНА, МАГИСТРА НАШЕГО ИЗ ОРДЕНА ПРОПОВЕДНИКОВ И ИНКВИЗИТОРА ЕРЕТИЧЕСКОГО ОКАЯНСТВА.

О сем да ведает свет —
Яко магистр наш славный из славных,
Зовомый Яков Гохштратен знакомыми своими,
В граде сем известный вельми,

Коего отчий край — Германия,
В количестве преизобильном,

За то, что науки постигал быстро,

Он претонко диспуты вел

«Бароко» да «целарент» применял,
И о нем составили доброе мнение
И в инквизиторы произвели вскоре
те, кто млад, и те, кто сед,
коему сыщется мало равных,

ибо таково и есть его имя,

осанкою отличный меж прочими людьми,
где намолил он подаяния
в университете же, ученостию сильном,
удостоен бе степени богословия магистра;
и множество силлогизмов соплел,
чем восхищение всех снискал,
богословы, чье в вере велико рвение,
еретикам окаянным на горе.

Но аще вопросит иной:
Отвечу на сие решительно:
Ибо там же, в Германии, среди ученых,
Иоанном Рейхлином нареченный
В курию римскую на судоговоренье:
В коем несть богословского начала,
Положения оного в изрядной мере
В нас подозренье оно родит,
И суждено посему

И суров сугубо приговор:

Книгу распознайте, коль узреть придется:
А сочинитель оной, смутьян,

Дабы дело завершити приговором суровым,
Дондеже его в курию не сподобится залучити
Посему привечайте магистра с уважением,
Ежели он повстречается с вами:
И, хоша вельми тяжко доказать обвинение,

«А здесь-то он на кой?» —
глядите в оба неукоснительно!
есть некий доктор, искусный в законах,
и магистром нашим к суду привлеченный,
бысть написано им сочиненье,

пагубной ереси же немало.

заключают поношение истинной вере;
зане к жидовинам благоволит,
инквизитором рассмотрену быти ему,
сочинителя — к ответу,
книгу — на костер!
«Глазным зеркалом» она зовется,
магистром нашим в курию зван,
что не удается никак богословам:
невозможно оного еретика сгубити.
кланяйтесь ему с почтением,

он в диспутах научен разить словами,
он к сему приложит все свое умение.

Они же говорят, что сие сочинено неправильно и стопы составлены кое-как. На это я возразил: «Что мне за печаль об каких-то стопах? Ведь я сочиняю стихи отнюдь не светские, но богословские, и посему мне наплевать и начхать на всякие детские правила, я усердствую лишь об смысле». Вам же, господин Ортуин, непременно надобно ответствовать мне на сие послание и свое письмо оставьте в лавке у менялы. А еще сообщаю вам новость, что некие люди, прозываемые испанцы, идут походом на Ломбардию; и говорят, что император изъявил волю прогнать французского короля, а сие невыгодно магистру

нашему Гохштратену, ибо король за него хлопочет перед его святейшеством, и зело усердствует христианнейший сей король ради чести Парижского университета, потому как оному университету учинится великое посрамление, ежели «Глазное зеркало» не будет сожжено. А более писать не об чем. Пребывайте во здравии и веселии. Писано в Риме.

28

Магистр Бернард Хвастуниц
из числа меньших сих магистру Ортуину
Грацию здравствует

Почтеннейший и препочтеннейший муж, хотя не имею счастия быть с вами знакому, однако ж много о вас наслышан. И весьма давно слышал о вашем деле, каковое именуется Дело Веры против Иоанна Рейхлина, и все бумаги по сему делу собрал. И ежедневно диспутирую с куриалами и писцами, кои обороняют Иоанна Рейхлина. И когда лектор богословия и податель сего письма сказал мне, что отправляется в Германию и будет малое время сопребывать в Кельне, я сказал: «Господи боже ты мой, как желаю я сделать знакомство с магистром Ортуином и отписать ему послание!» Он же сказал: «Господин, да отпишите ему. Он будет зело радостен. Ведь когда я отъезжал из Кельна, он меня напутствовал: «Скажите всем богословам, и магистрам, и поэтам, какие есть в Риме, дабы писали мне, ибо счастлив бываю, когда мужи ученые и взысканные мудростью пишут ко мне: они пишут, а я письма ихние собираю и из оных книгу составлю, кою отдам напечатать». Я ответил: «Очень знаю, ибо уже видел одну книгу с титлой: «Письма темных людей» и много порадовался, когда читал, ибо она превеликолепна и содержит много пользительного». Следовательно, магистр Ортуин, честь имею представиться благоутробию вашему, ибо безотменно имею быть вашим доброжелателем и люблю вас безмерно. И покорнейше прошу замолвить обо мне словечко Иоанну Пфефферкорну, прежде жидовину, а ныне благодатно окрещенному во Христе. Книгу его, именуемую «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических», привезли мне из Германии, и прочитал ее от доски до доски, делая на полях пометки и примечания к памяти. И книгу сию полагаю зело достойной. Однако ж скажите ему, что есть среди официалов курии ярый приверженец Иоанна Рейхлина. Он

извлек некие положения из сей книги Пфефферкорновой и тщится доказать, что в положениях оных частью усматриваются еретические мнения, частью же — оскорбление величества. И говорит, что надобно инквизиции учинить розыск против Иоанна Пфефферкорна по причине ереси и оскорбления величества. Прилагаю при сем листок, где прописаны оные положения и соответственные против них опровержения, мною выдвинутые: я диспутировал с сим официалом и защищал Иоанна Пфефферкорна, сколько стало моей силы-возможности. Посему соблаговолите числить меня в друзьях и знакомых. Писано в римской курии.

Положения, извлеченные из книги Иоанна Пфефферкорна супротив Рейхлина и некоторых рейхлинистов, каковая книга имеет титлу:
«Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических».

Оные положения представлены рейхлинистами яко еретические и содержащие в себе оскорбление величества, в чем, избави бог, нет, не было и не будет правды

Положение первое

Рейхлинист утверждает, что Иоанн Пфефферкорн в своей книге «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических», в письме к его святейшеству папе Льву и проч. кощунствует над Первосвященником и повинен в оскорблении величества, ибо называет Папу «Вашей Святостью», будто он женщина (подобно тому как писано, что единожды папой была женщина), ибо пишет (А II. ст. I): «Ваша святость — наместники божии на земле и служители». Равно содержится здесь и ересь: ибо Пфефферкорн намекает, хоть и не откровенно, но подразумевательно, что вся церковь заблуждается, сделав женщину папой, каковое заблуждение есть величайшее. А кто говорит, что церковь заблуждается, тот необходимо впадает в ересь; следовательно...

На сие возражаю, что Иоанн Пфефферкорн, коий не силен в грамматике и не знает латыни, подумал, что «папа» женского рода, вроде как «муза»: ибо слышал, что «существительные, оканчивающиеся на «а», суть женского рода, за исключением исключений». Потому и у Александра сказано:

«Имя на «а» полагай среди женских, кроме исключений».

Из сего явствует, что Иоанн Пфефферкорн выступает в своем трактате как богослов, богословы же пренебрегают грамматикой, поелику она до них не касается.

Положение второе

Рейхлинисты доказывают: Иоанн Пфефферкорн во многих местах, как, например, A. I и IV, когда хочет поклясться в правдивости своих слов, пишет: «Отсохни у меня язык», из чего явствует, что он, Иоанн Пфефферкорн, язычник и не верует в господа нашего Иисуса Христа.

Возражаю: Пфефферкорн пишет: «отсохни язык», употребляя сие слово в смысле наречия. Ибо говорит Донат, каковой всеми признан и изучается в школах: «отсохни язык» значит то же самое, что «онемей вмиг» или же «вдруг». При сем повторяю: Иоанн Пфефферкорн пренебрегает грамматикой. И еще: «отсохни язык» может означать: «да станет во рту у меня сухо», о чем слышал я от одного поэта.

Положение третье

Рейхлинист утверждает: тот, кто говорит, что поддерживает церковь,— еретик. Иоанн Пфефферкорн утверждает, что поддерживает церковь. Следовательно, он еретик. Доказываю бóльшую посылку: кто говорит, что поддерживает церковь, подразумевает, что вся церковь заблуждается и если он ее не поддержит, падет и разрушится. Опричь того, сей человек может быть сочтен антипапой, поскольку желает стать папой и супротивником того папы, какой избран всею церковью. Ибо поддерживать церковь есть должность папы; Пфефферкорн же дерзает взять сие на себя; следовательно, он антипапа и еретик, утверждающий, что папа заблуждается и не есть добрый пастырь. Меньшая же посылка явствует из того места в книге Иоанна Пфефферкорна, где писано, что он «нижестоящий член церкви». Однако нижестоящий член тела есть нога, ибо стоит на земле, ноги же поддерживают тело, и не будь ног, тело поверглось бы наземь, следовательно, Пфефферкорн полагает, что церковь утверждена на нем и он поддерживает церковь.

Возражаю: Пфефферкорн не употребляет слова в столь неукоснительном и изначальном их значении. Он называет себя членом, то есть частью церкви, как все христиане называют себя ее частью. Равно же и «член» употреблен в широком смысле. «Нижайший» употреблено здесь заместо «смиренный» и «простой», а равно и в письме к папе Иоанн Пфефферкорн пишет: «Хотя я совершенно недостоин припасть ко святейшим твоим стопам...» и т. д. Следовательно, не должно выводить из сего, что Пфефферкорн высказывается против папы.

Положение четвертое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн держится мнения, что христианская вера не истинна, и сие явствует из собственных его слов. Ибо пишет в упомянутой книге (O. I), что сказал епископу майнцскому: «Если христианская вера истинна, Рейхлин никоего вероломства против меня не сотворит». Далее же, однако, видим более чем два ста мест, а равно и в прочих его книгах, ранее писанных, находим, что называет Иоанна Рейхлина вероломным. Следовательно, он дает понять, что не считает христианскую веру истинной.

Возражаю: слова сии надобно ограничить в смысле. Ибо когда Пфефферкорн говорит: «Если христианская вера истинна», подразумевается сверх того: «и Рейхлин истинный христианин», ибо, если бы Рейхлин был истинным христианином, он никогда не сотворил бы такового вероломства. А еще правильней сказать, что Иоанн Пфефферкорн тогда думал так: все мы человеки, человеку же свойственно ошибаться; однако засим тотчас же получил выволочку от епископа и оную выволочку снес смиренно и раскаялся. Ибо пишет, что епископ дал ему оплеуху, когда он произнес сии слова; выходит, что он получил выволочку за свой грех.

Положение пятое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн превознес себя превыше Христа, ибо в упомянутой книге говорит (F.I): «Рейхлин предал меня, как Иуда Христа, и много хуже», что означает: «Гнуснее предать Пфефферкорна, нежели Христа», или же: «Христос более заслужил страдания, нежели Пфефферкорн». Однако подобные утверждения суть явная и очевидная ересь.

Возражаю: когда Пфефферкорн говорит, что его предали хуже Христа, то разумеет под сим, что Рейхлин предал его императору, Христос же был предан только книжникам и синедриону, кои ниже императора. Ибо, по-видимому, хуже, то есть грозней, когда кого предают императору, а не синедриону и книжникам, каковые не имели столь великой власти.

Положение шестое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн сызнова оскорбляет величество, и притом многократно. Ибо говорит (О. I): «Все друзья и доброжелатели Иоанна Рейхлина, князья и иные люди, ученые и неученые, грешат, сочувствуя Иоанну Рейхлину»; однако ж таковых в Германии добрых десять князей, и сам государь император, и многие кардиналы и епископы в Риме, и сам святейший Папа Лев, каковой недавно, когда прочел письмо Иоанна Рейхлина, много хвалил сего мужа и сказал, что будет его защищать против всей нищенствующей братии; и то же сказали преосвященные кардиналы св. Марка, и св. Георгия, и св. Хризогона, и многие другие.

Возражаю: Пфефферкорн совершил сие ради истины, коя превыше папы, и императора, и всех кардиналов, и епископов, и князей. Соответственно, в заключение своего опровержения (О. IV), оправдывается: «Я защищался, руководствуясь одной лишь истиной и никого не оскорбляя. Ибо пророк Иеремия говорит: «Проклят, кто удерживает меч Его от крови». И лучше впасть в руки человеческие, чем в руки всемогущего господа». Следовательно, он полагает, что лучше оскорбить папу и императора, нежели истину, то есть бога. Ибо бог есть истина.

Положение седьмое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн в сей самой книге, в одном и том же месте впадает в ересь и совершает оскорбление величества. Ибо пишет (О. I, столбец II): «Здесь не мечом сражаются, не силою меряются, не выходит на поле брани ломать копия (что было бы греховной гордынею) царский воитель и т. д.». Стало быть, он говорит, что выступать войной и выходить на поле брани есть греховная гордыня; однако сие делают папа и император, и всегда делали, а равно и многие, сопричисленные к лику святых. Следовательно, если выходить

на поле брани есть греховная гордыня, то оные святые, и ныне царствующий император, и папа совершили смертный грех, а следовательно, церковь заблуждается, причисляя их к лику святых. И следовательно же, Пфефферкорн прямо выступает против канонического и гражданского права, против императора и папы, против церкви и империи.

Возражаю: сии слова следует разуметь ограничительно — а именно, что сражающиеся и оружно выходящие на поле брани впадают в греховную гордыню лишь в той мере, в какой без справедливой причины чинят другим несправедливость. Когда же император и папа ведут войну, должно предполагать, что ведут оную в защиту церкви и империи; стало быть, Пфефферкорн не порицает их.

Положение восьмое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн обвиняет императора во лжи, ибо пишет (О. II, столбец I) против Рейхлина: «Я же, напротив того, утверждаю, что он предатель пред богом и людьми и для его императорского величества лживый советник». В сих словах он открыто выступает против императора и обзывает его лжецом, ибо государь император в письме своем к папе, а равно во многих других посланиях и указах называет Иоанна Рейхлина верным своим советником и совещателем. Возможно ли более тяжкое кощунство, чем назвать императора лжецом? А посему заслуживает он немилосердной кары за оскорбление величества.

Возражаю: место сие надобно разобрать и так расставить знаки препинания, дабы после слова «величество» стояла запятая. Ибо Рейхлин, может статься, верный советник императору в его делах; однако же не был верен Иоанну Пфефферкорну, что оный доказывает многими доводами. Следовательно, никто не должен думать, что Иоанн Пфефферкорн выступает против императора, ибо он человек верноподданный, что явствует из многих мест в его книгах, писанных как по-немецки, так и полатыни.

Положение девятое

Рейхлинист утверждает: всего же преогромней, и пречудовищней, и преужасней, и престрашней, и прековарней, и предушевредней то, что Иоанн Пфефферкорн обвиняет папу и

курию, приписуя им грех лжи. Ибо, пишет он (I. IV): «Но всему сему, то есть комиссии, не токмо неправедно, но всенеправедно из Рима восприятой, учитель еретического окаянства ни малейшего внимания не оказал и т. д.». Но комиссия назначена от папы, следовательно, папу обвиняет Иоанн Пфефферкорн, что не поступил праведно, а сие ересь столь великая, что за нее он трижды достоин сожжения.

Возражаю: Пфефферкорн не говорит здесь, что папа или римская курия неправедно назначили сию комиссию, но хочет сказать, что Рейхлин неправедно ее воспринял. Следовательно, он называет неправедным Иоанна Рейхлина, а отнюдь не папу.

Положение десятое

Рейхлинист утверждает: Пфефферкорн сызнова оскорбляет величество, так как открыто облыгает императора и епископа Кельнского. Ибо говорит, что некий инквизитор, преследующий ересь, будучи назначен от его императорского величества с одобрения епископа Кельнского, сжег в Кельне «Глазное зеркало», а сие есть совершенная ложь, ибо ни его императорское величество не назначал, ниже епископ не одобрял. Если бы император дал означенному инквизитору означенное назначение, то не стал бы себя утруждать и заступаться за Рейхлина перед папой, пишучи, что должен защитить своего советника от завистливых и лицемерных богословов. Следовательно, Пфефферкорн совершает явственный подлог, ибо подделывает, или облыгает императорские определения.

Возражаю: об епископе Кельнском и говорить нет нужды, ибо он преставился. Об императоре же Иоанн Пфефферкорн пишет определенно, подразумевая первоначальное императорское намерение. Ибо поначалу, когда Иоанн Пфефферкорн взялся за сие похвальное деяние в деле веры, начавши с того, что велел сжечь все еврейские книги, император, как явствует, имел намерение сжечь все книги, противные вере Христовой. Книга же Иоанна Рейхлина именно такова; следовательно, император, как из сего явствует, намерен был и ее сжечь. Следовательно, Пфефферкорн написал то, что положил соделать император, но подразумительно, а не открыто или же прямословно. Ибо полагал достаточным прежнее императорское повеление об еврейских книгах, под которое подпадают также и книги еретические. Ибо я слышал, что ежели бы император остался при сем достохвальном решении, богословы учи-

нили бы розыск у книготорговцев повсеместно в Германии и все скверные книги сожгли, а особо — писанные сими новоявленными богословами и не зиждимые на учении Доктора Святого, Доктора Изощренного, Доктора Серафического и Альберта Великого. Сие было бы похвально и зело пользительно, и уповаю, что будет еще впредь. Дай то всемогущий господь, владычествующий над всем, и вся, и во веки веков. Аминь.

30

Валтасар Виниус,
в полные бакалавры богословия произведенный, магистру Ортуину Грацию желает здравствовать

Шлю вам благодарение великое, бездонное, невыразимое, неисчислимое, несравнимое, неисторжимое за присылание книги достойнейшего Иоанна Пфефферкорна, именуемой «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических». Я столь возликовал, получив ее, что скакал, как козел, на радостях. И верую непоколебимо, что это об Иоанне Пфефферкорне пророчествует Иезекииль, IX: «И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца». Ибо Иоанн Пфефферкорн всегда носит при себе таковой прибор и записывает за проповедью и при иных людских стечениях речи и слова, внимания достойные, а после и сам составляет подобные же. Вы даруете мне многие радости, когда присылаете книги его, ибо они написаны столь искусно, что диву даюсь. И в Вене ко мне зело почтительны, что имею знакомство с ним; а когда поминаю его, говорю так: «Друг мой Иоанн Пфефферкорн». Из сей же книги уразумел, что средь богословов есть разномнения касательно «Глазного зеркала», ибо одни приговорили книгу сию к сожжению, как в Париже и в Кельне, другие же — к повешенью, как магистр наш Петр Мейер, каковой, узрев «Глазное зеркало», воскричал громогласно: «На виселицу, на виселицу!» Но необходимо надобно всем вам блюсти единодушие, тогда будет вам одоление над оным еретиком. Когда я сие прочел, устрашился и сказал: «Ежели отныне средь богословов не будет согласия, диавол возрадуется». Однако уповаю, что впредь обретете согласие. Хотя мыслю я, что магистр наш Петр не прав и не правы его споспешники, полагающие, что «Глазное зеркало» надобно вздернуть на виселицу.

Ибо книга сия еретическая, а еретичество изничтожается через костер. Ведь еретиков всегда сжигают, вешают же воров. Хотя, может статься, они полагают, что «Глазное зеркало» равно погрешно и в воровстве. Ибо Иоанн Пфефферкорн сказал, что в сей книге Иоанн Рейхлин украл у него честь, которую он не продал бы и за двадцать флоринов: ведь два жидовина, которые тоже похитили у него честь, уплатили ему за то тридцать флоринов. Как бы ни было, но хочу, чтоб содеялось промеж вас согласие. А тут у нас ничего нет нового, разве только вот поэт Иоахим Вадиан, из рейхлинистов, стал ректором университета. Да истребит господь все скопище поэтов и законников, «не оставив мочащегося к стене». Я помыслил даже, уж не выйти ли из университета: что делать мне там, где ректором ставлен поэт? И рейхлинисты здесь столь множественны, как ни в одном более университете: именно, ректор Иоахим Вадиан, и Георгий Коллимитий Танштеттер, ныне медик, а прежде математик, и Иоанн Куспиниан, служитель и советник императора, и еще некто прозываемый Фома Реш, и Симон Лазий, соотчич Иоанна Рейхлина, и многие прочие. Но магистр наш Гекман стоит за нас; и он сказал, что будет держать сторону богословов до скончания дней своих. И велел кланяться вам и Иоанну Пфефферкорну. Пребывайте во здравии. Писано в Вене. И еще раз пребывайте во здравии до тех пор, покуда Пфефферкорн останется христианином.

32

Магистр Генрих Ситотрясий
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать

Достопочтенный магистр, перво-наперво и напредки да будет вам ведомо, что проиграл я дело уже дважды, а ежели проиграю и по третьему разу, то пропади все пропадом. Чего весьма опасаюсь, ибо один аудитор мне сказал: «Видит бог, на вашем месте я не стал бы подавать на обжалование, ибо дело ваше не правое». И не знаю, как быть. Имею опасение, что нынешний год для богословов не благоприятствует. Ибо даже борения преславного магистра нашего Петра Мейера супротив франкфуртских каноников зело малоуспешны, которые каноники великое учиняют досаждение достойному и благочестивому сему священнику. Имею, однако, таковую мыслю,

что каноники стараются в угоду Иоанну Рейхлину, коего жалуют за его стихи. И посему, желая сделать ему удовольствие, ополчились на достойного сего священника, ибо он люто ненавистен Иоанну Рейхлину, и не диво, коль скоро он стоит за свой факультет. Ибо Иоанн Рейхлин — супостат богословам, магистр же наш Петр — богослов; следовательно... Стоять же за свой факультет право имеет всякий. Равно и достопочтенному Якову Гохштратену, магистру нашему и инквизитору еретического окаянства, не было благоприятствия в деле веры. Ибо ныне все члены курии норовят выйти в поэты, а посему чинят обиды богословам и на них ополчаются. Уповаю, однако, что мало им будет через сие выгоды, ибо господь призрит на рабов своих и подаст им спасение. Слышал я недавно, что император послал письмо папе, в коем вступился за Иоанна Рейхлина и написал, что ежели его святейшество не положит конец сему делу и не вынесет приговора, он самолично озаботится, как оборонить своего советника. Но что с того? Ежели папа за богословов, я ничего не опасаюсь. Слышал также я от одного важного мужа и официала курии таковые слова: «Что нам до этих писем? Ежели у Рейхлина есть деньги, пускай сюда присылает. Ибо в курии необходимо быть при деньгах; иначе ничего не можно достичь». А другой тайно поведал мне, что магистр наш Яков снова поднес мзду некоторым из референдариев. А посему, когда они встречают его, то приветствуют с великим почтением и разговаривают с ним дружественно. Стало быть, ныне можно нам уповать. Ежели этот бенефиций так от меня и уплывет, то, как вам ведомо, попытаюсь получить викариат в Нейссе. Ибо ходатай мой сказал мне, что я в своем праве. Но вот еще что я вспомнил: недавно побывал здесь один человек и сказал, что Эрфуртский университет намерен отменить свое постановление или решение супротив Иоанна Рейхлина. И ежели так будет соделано, то скажу, что все тамошние богословы предатели и лжецы, и всегда буду их срамить, ибо они не постояли за свой факультет и не вступились за ревностнейшего мужа Якова Гохштратена, каковой есть светоч богословия, и ученье его и мнения светят, яко звезда, во славу католической веры. И ежели бы нагрянули на нас еретики или же турки, он вышел бы против них диспутировать, и одолел бы их своею умственностью, и обратил бы во христианскую веру. Ибо сему богослову нет равных. Недавно он премудростно диспутировал здесь в школе мудрости. И сказал один итальянец: «Вот никогда б не поверил, что в Германии бывают таковые богословы». Однако другой утверждал, что он не довольно

тверд в священных текстах и не понимает с должной глубиной Иеронима и Августина. Я сказал: «Боже правый, что говорите вы? Сей доктор все таковое давно уже предузрел и занят иным, много более умственным». Дай ему бог не сойти с правых путей, и тогда будет нам верх и одоление, и мы искореним поэзию по всей Германии. И заткнем рты законникам, дабы не шли супротив богословов: ибо возымеют страх, что к ним пришлют инквизитора и сожгут их как еретиков, что ныне, уповаю, с помощью божией, постигнет Иоанна Рейхлина, коего нам дано судить. Подобно тому как мирские ратники защищают правое дело на земле, так мы защищаем Церковь на диспутах и в проповедях. Однако извиняйте мою многоречивость. И пребывайте во здоровии. Писано при римской курии.

33

Петр Тупп,
лиценциат богословия, магистру Ортуину
Грацию желает здравствовать

Посколь отписали вы мне однажды, досточтимый муж, что премного удивляетесь тому, какое ныне множество в Кельне славных докторов, а равно и мужей, кои не имеют еще степени, но уже почти что магистры наши, и как много превосходнейших богословов, и помянули магистра нашего Якова Гохштратена, и магистра нашего Арнольда Тонгрского, и магистра нашего Ремигия, и магистра нашего Валентина Гельтерсгеймского, и магистра нашего Петра, каковой в мое время начальствовал в бурсе Кнек, и лиценциата Рутгера, и многих других, ныне сопребывающих в Кельне, а равно Иоанна Пфефферкорна, коий, хоть и не есть духовная особа, и не учен семи свободным искусствам, и никогда не бывал в християнской школе, и не учил грамматики или логики, однако, как вы пишете, имеет глубокий ум и просвещенную душу. Ведь и апостолы были неучены, однако знали все. И вы полагаете, что Дух святой может преисполнить упомянутого Иоанна Пфефферкорна всеми теми священными познаниями, яко сказано в Писании. Помянули вы также в Майнце двоих магистров наших, соборного проповедника Варфоломея Цеендера и священника Петра Бертрама. И во Франкфурте — достопочтенного Петра Мейера, каковой несравненен в проповедях своих и хочет — заставляет людей смеяться, а хочет — плакать, и проповедями своими

творит чудеса. Соответственно желаю, дабы все вы были заодно и заставили смириться законников и светских поэтов либо же заткнули им рты, дабы впредь не дерзали таково писать. А буде восхотят чего сочинить, первым делом показывают пускай магистрам нашим и получают от них дозволение печатать. А ежели магистрам нашим сие не покажется, то надобно не печатать, но сжечь. И еще должны магистры наши постановить, дабы ни один законник или поэт ничего не сочинял богословского и не вводил в священное богословие новую сию латынь, подобно как Иоанн Рейхлин и, слышал я, еще некто, прозываемый Пословиц Эразмовый, ибо не имеют в сем основательных познаний и, полагаю, ни разу не соучаствовали в открытых диспутах и не составляли силлогизмы, как следовает. Они дерзают занести серп свой на чужую жатву, но богословам не должно сего попустить. И того ради прошу, чтоб попросили вы тех ученейших мужей, о коих пишете, дабы приготовились диспутировать супротив новых сих латынщиков и сокрушить их. А ежели станут говорить, что знают по-гречески и по-еврейски, вы им делайте возражение, что оные языки богословам безо всякой надобности. Ибо Священное писание изрядно уже переведено и другие переводы не потребны. А опричь того для посрамления жидовинов и греков не должны мы изучать ихние языки. Ибо жидовины, узревши, что учим ихний язык, скажут: «Вон християне учат премудрость нашу и без нее не могут отстоять свою веру». И будет великое поругание христианству, а жидовины утвердятся в вере своей. Греки же отпали от церкви, стало быть, их также надобно считать злопыхательными и ихнюю ученость не можно использовать христианам. Душевно желаю, дабы вы по сему поступили, а после отписали мне, что воспоследовало. Пребывайте во здравии. Писано в Гальберштадте.

36

Иоанн Арнольди
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

Предузреваю, что известны вы и от многих наслышаны, что в недавнем времени я во благом побуждении подвигнулся на зиждительное странствие ко граду Риму, в курию, уповая исхлопотать себе бенефицийку, либо пребендишку, либо же

какой ни на есть приходец, дабы отныне и до скончания дней моих имел я, откуда снискать еду да прикрыть наготу, ежели будет на то милость господня. По каковой причине, ей-же-ей и ей-же-богу, должно вам почасту мне посылать дружелюбно писанные письмеца, в коих милостиво и премилостиво сообщать о вашем душевном и телесном здравии, и об том, каков есть фатум судьбы вашей, предуготованный от бога предвечного, как говорит Лактанций, изученный недавно мною с великим усердием, когда о нем читали здесь, в Школе мудрости, соответственные лекции. А еще побывал здесь один человек, посетивший Кельн и северные земли германские, и привез для вручения письмена из разных мест, в коих сказано, что выпустили вы в печатном виде книжку, имеющую сию или оную титлу: «Письма темных людей магистру Ортуину Грацию», в которой книжке, или сборнике, как растолковал мне сей человек, содержатся все письмеца, писанные вашими друзьями и знакомцами с братской любовью, где поместили вы мое также письмо, и я превесьма удивлен, что удостоился таковой чести и присносущной славы. За что приношу вам всеконечную свою благодарность. А еще сообщаю, что предался доскональному изучению поэтического искусства, и посему слог мой уже не тот, что прежде. Пребывайте в вековечном здравии. Писано из Рима.

37

Брат Георгий Овен магистру Ортуину Грацию

Смиренно молю за вас бога и пребываю верным рабом вашим, господин и магистр Ортуин. Посланную от щедрот ваших книгу Иоанна Пфефферкорна под титлой «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических» получил. И как просите вы, показал ее всем магистрам нашим в Париже, а равно и богословам из ордена нашего, и все они единогласно сказали: «Восхищения достойны германские богословы. Ежели неуч такое мог написать, то как же должны писать ученые и степенью облеченные?» А один спросил, оказывают ли также и князья в Германии должное почтение Иоанну Пфефферкорну? Я сказал, что в некотором роде — да, в некотором же — нет. И что он преданный и приближенный к императору попечитель в деле о еврейских книгах и приумножении веры Христовой. И сколь много жаловал его приснопамятный епископ

Майнцский и обещался споспешествовать ему во всем елико возможно; и когда отправлялся он в путь по делу веры, то щедро отпустил ему денег на дорожные расходы. А богослов тот сказал: «Стало быть, Иоанн Пфефферкорн много радеет о сем деле?» Я же отвечал по отписанному от вас наущению, что именно так, ибо неутомимо объехал всю Германию, покинувши супругу и чад своих, коих ему надобно питать и растить. Однако во время его отлучки богословы много благодетельствовали оной супруге, оказуя ей всяческое утешение, ибо ведали, что супруг поглощен делом веры. Также и некоторые из нашей монастырской братии посещали ее и говорили: «Жалостно нам видеть, сколь вы одиноки». На что она отвечала: «Приходите же меня навестить, ибо я, можно сказать, вдова, и утешайте меня». Однако нынешний епископ Майнцский не благосклонен к Иоанну Пфефферкорну, а все оттого, что некоторые его советники благосклонны к Иоанну Рейхлину и люто ненавидят богословов. И епископ сей не пожелал допустить пред себя Иоанна Пфефферкорна, когда он хотел поднести ему свою «Защиту противу клеветнических», о чем писано в письме вашем. И все сие я рассказал. Он же спросил: «А кто таков оный Пфефферкорн?» Я ответил, что прежде был жидовином, ныне ж благополучно окрещен и есть муж достойный и из колена Неффалимова. Он сказал: «Воистину благословение, ниспосланное Неффалиму, перешло на Иоанна Пфефферкорна. Ибо говорил Иаков сыну своему Неффалиму, Бытие, XLIX: «Неффалим — серна стройная; он говорит прекрасные изречения». И после того многие магистры наши, и лиценциаты, и иные богословы прочли в книге сей всякую страницу, а на странице — всякую строчку, а в строчке — всякое слово. Однако есть тут один человек из Оберланда, который учит греческий. Он во все сует нос и говорит, что неправда, будто Пфефферкорн — приближенный императора, и никогда он им не был, и что император написал его святейшеству и вступился за Рейхлина, желая, дабы богословы не притесняли его верного и преданного советника. Также и Яков Фабер из Этапля, о коем вы уже много наслышаны, открыто благоволит Рейхлину, хоть богословы и пытались его от сего отвратить. И говорят даже, что он написал в одном письме в Германию, что парижские богословы обошлись с Иоанном Рейхлином, как жидовины с Христом. Но пускай говорит, что угодно, а по большей части парижане за нас, ибо блюдут честь университета и ненавидят законников. Веселитесь же, радуйтесь и ликуйте. И до века пребывайте во здравии. Писано из Парижа.

41

Симон Хрякохрюкий
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

«Дивно для меня ведение Твое,— высоко, не могу постигнуть его!», Псалтирь. Сии слова можно прямо отнести ко мне, когда пытаюсь я уразуметь учение вашей милости, с коим недавно ознакомился по книге под названием «Речи магистра Ортуина». Боже правый, сколь высоко вы вознеслись и каким соделались великим человеком, а ведь были некогда у меня малоуспешным школяром, и вот ныне стали выше своего учителя, хоть и сказано в Писании: «Ученик не выше учителя». И когда увидел я сию книгу, воскричал громким голосом: «О Ортуин, дивно для меня ведение твое,— высоко, не могу постигнуть его!» И воистину оно «дивно», ибо никогда не поверил бы, что мог выучить вас столь искусному и преславному сочинительству: ибо я, благодарение богу, был вашим учителем и наставником; ныне же безмерно вами горжусь. И воистину, «высоко», ибо раньше не было учение ваше столь успешным, а теперь возвышено наитием Духа святого, просветившего вас. А прежде (уж не прогневайтесь) вы отнюдь не желали учиться и не единожды я вас сек за то, что не знали, какой падеж будет «тебе» или «мене», и какое время «писал, писали», и часто повторял вам стих:

«Дурак ты из дураков, если не знаешь таких пустяков».

Ныне же вы меня самого можете поучить: и не постыжусь пойти к вам в ученики. Посему и говорю: «Не могу постигнуть его», то есть досягнуть, ибо, как говорит Сократ, «что выше нас, то не нашего ума дело». Однако ж сочинительствуйте непрестанно, и прославитесь. Пребывайте во здравии. Писано из Любека.

42

Магистр Ахаций Зайчиш
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

Премного дивлюсь, достопочтенный муж, что пишете вы всем друзьям и приятелям своим в Рим, мне же одному не пишете, хотя обещались всегда писать. Но узнал я от одного

человека из Кельна, что вы желаете выучиться искусству, о коем я единожды вам говорил, то бишь искусству влюбить в себя женщину. И хоть не писали мне, решился послать вам сие наущение, дабы видели, сколь вы мне любезны. Ибо нет у меня от вас тайн, и хочу обучить вас тому,

«чего по былым временам не открывали и лучшим друзьям».

И поведаю вам упомянутое искусство. Только никому этого не открывайте: я храню его в такой тайне, что не открыл бы и родному брату, вас же люблю более брата. И посему вас посвящу. Делайте так: когда полюбите какую-нибудь женщину, разузнайте ее имя, а также имя ее матери. Положим, вы полюбили Варвару, дщерь Эльзы; надобно добыть волос с головы сей Варвары, когда же оный волос добудете, принесите покаяние и исповедуйтесь во всех грехах, или хотя бы попросту побывайте у исповеди, и засим, вылепив из воска фигурку отроковицы, отслужите три обедни, а волосок между тем обвяжите вокруг шеи фигурки. И спозаранку, тотчас после утрени, возьмите новый муравленый горшок с водой, разведите огонь в наглухо запертой комнате, покадите там ладаном и затеплите свечку из ярого воска, подмешав в него кусочек воску от пасхальной свечи. Засим произнесите над фигуркой таковое заклинание: «Заклинаю тебя, воск, силою бога всемогущего, девятью хорами ангельскими и силою Косдриэля, Болдриаха, Торнаба, Лиссиэля, Фарнаха, Питраха и Старниаля, подай мне тотчас во всем естестве и плоти Варвару, дщерь Эльзы, и да покорится она всякому моему желанию». Засим на голове фигурки начертайте серебряным стилом нижеследующие имена: «Астраб † Ариод † Бильдрон † Сидра † » и погрузите фигурку в горшок с водой. Горшок же поставьте на огонь. И произнесите таковое заклинание: «Заклинаю тебя, Варвара, дщерь Эльзы, силою бога всемогущего, девятью хорами ангельскими, силою Косдриэля, Бодриаха, Торнаба, Лиссиэля, Фарнаха, Питраха и Старниаля, и силою имен Астраб, Ариод, Бильдрон, Сидра, дабы тотчас полюбила меня и явилась ко мне, не замешкав. Ибо изнемогаю от любви». И как только вода подогреется, дело готово; ибо полюбит вас, хотя бы и не лицезрела вас и не ведала, где вы есть. Уж это испытано. И поверьте, что наука сия бесценна. Право, не открыл бы ее вам, когда не были бы вы мне столь любезны. Но и вы за это должны открыть мне какую-нибудь тайну. Пребывайте в благополучном здравии. Писано в римской курии.

44

Петр Вормский
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

Преславный муж, поскольку вы ко мне сердечно расположены и премного благоволите, готов сделать для вас все по силе-возможности. Вы говорили мне: «О Петр, когда будете в Риме, поглядите, есть ли там какие новые книги, и пришлите мне». Вот я и посылаю вам новую книгу, здесь напечатанную. И поелику вы поэт, мыслю, что через нее много сможете усовершенствоваться, ибо мне сказал в суде один нотарий, как видно, весьма изощренный в таковом искусстве, что книга сия есть источник поэзии, а автор ее, именуемый Гомер, отец всех поэтов; и сказал он также, что есть еще другой Гомер, на греческом языке. Я же сказал: «На что мне греческий язык? Латинский гораздо лучше, ибо хочу послать книгу в Германию магистру Ортуину, коему греческая околесица без надобности». И спросил его: «Что писано в сей книге?» Он отвечал, что там толкуется о неких людях, именуемых греки, каковые воевали супротив других людей, именуемых троянцы, о коих я уже слышал ранее. И у сих троянцев был большой град, и греки его обложили и простояли под ним целых десять лет; троянцы же по временам выходили на них, и бывало побоище великое, и столь преужасно секли друг друга, что все поле залили кровью, и речка, там протекавшая, вся кровью исполнилась и стала совсем красная, будто не вода в ней текла, а кровь; и шум побоища досягнул до самых небес, и один герой швырнул камень, какой был невподъем и двенадцати человекам, а одна лошадь обрела дар речи и пророчествовала. Однако я ничему такому не верю, ибо полагаю сие невозможным и не знаю, можно ли давать веру оной книжке. Прошу мне про то отписать ваше мнение. А засим пребывайте во здравии. Писано из Рима.

46

Магистр Конрад Сратенфоц
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

«Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат». Псалтирь. Слова сии могут послужить предварением и темою для моего послания:

у магистра Ортуина есть уста, но не говорят, а ведь могли бы хоть раз сказать кому-нибудь из едущих в Рим: «Кланяйтесь от меня почтенному Конраду Сратенфоцу». И есть глаза, но не видят, ибо я отписал им многое множество писем, они же не отвечают, как будто и не читали их, то бишь не видели. И в-третьих, есть у них уши, но не слышат: ибо я просил многих знакомых, отправляющихся в ихние края, кланяться им; они же не слышали приветов моих, ибо на оные не ответствовали. Грех вам великий, ибо любезны мне зело; а следовательно, и я должен вам быть зело любезен. Но я не любезен вам, ибо не пишете мне. Я же истово желаю, дабы писали мне почасту; ибо когда зрю письма ваши, возвеселяюсь сердцем. Слышал я, однако, что ныне у вас мало учеников и что пеняете на Буша и Цезария, кои сманивают школяров ваших и слушателей, хотя сами не умеют, подобно вам, аллегорически толковать поэтов и сверхаллегорически перетолковывать Писание. Должно быть, в сих поэтах сидит диавол. И через них учинится погибель всем университетам. А еще слышал я от одного старого магистра из Лейпцига, который уже тридцать шесть лет как магистр, что во времена его молодости университет там весьма процветал, ибо на двадцать миль в округе не сыскать было ни единого поэта. И еще он сказал, что об ту пору ученики прилежно посещали его лекции как ознакомительные, так и толковательные, или бурсальные: и считалось великим срамом, ежели какой-нибудь школяр выходил на улицу, не имея под мышкой Петра Испанского или «Малые логикалии». Грамматики же носили при себе все четыре части Александра, либо какое-нибудь краткое руководство, либо «Наставление для мальчиков», либо «Меньшое сочинение», либо же «Изречения» Иоанна Синтена. И в школах учились с великим усердием, и уважали магистров искусств: когда встречали магистра, преисполнялись такового трепета, будто узрели самого диавола. И еще он сказал, что об ту пору четырежды в год производили в бакалавры, да человек по пятьдесят либо по шестьдесят зараз. И университет тогда расцветал. Кто учился полтора года, получал степень бакалавра, а кто три года или же два с половиною, тот получал степень магистра, и родители много бывали довольны и с охотой давали сыновьям деньги, ибо видели, что дети ихние преуспевают. Ныне же ученики желают слушать Вергилия, и Плиния, и прочих новейших сочинителей; и хотя слушают лекции пять лет, не получают степени; когда же таковой школяр возвращается в свое отечество, родители его

спрашивают: «Кем ты стал?» Он отвечает, что никем, зато изучал поэзию. Родители же не могут взять в толк, что сие значит. Но когда слышат, что ихний сын не грамматик, то выражают неудовольствие, жалеючи о пропавших деньгах. И всем говорят: «Не пускайте сыновей своих в университет, там ничему не учатся, а только шляются по ночам. И зря тратят деньги, даваемые на ученье». И еще сей магистр сказал, что в его время в Лейпциге было не менее двух тысяч учеников, и столько же в Эрфурте, а в Вене четыре тысячи, и также в Кельне и в других местах. Теперь же во всех университетах не наберется столько учеников, сколько тогда было в одном или двух. И лейпцигские магистры горько пеняют на сию скудость. А виноваты во всем поэты. И ежели родители посылают сыновей в бурсы или коллегии, те не хотят там оставаться, а идут к поэтам и учатся всяким мерзостям. И еще он сказал, что прежде сопребывало при нем в Лейпциге сорок вьюношей, и когда шел в церковь, или на рынок, или гулять в Розовый сад, все они следовали за ним. А обучаться поэзии считалось в те времена великим паскудством. И ежели за исповедью кто каялся, что тайно слушал лекции какого-нибудь бакалавра о Вергилии, священник налагал суровое покаяние, дабы постился всякую пятницу или же читал каждодневно семь покаянных псалмов. И свидетельствовался он своею совестью, что у него на глазах одного человека отказались произвести в магистры, потому что кто-то из экзаменаторов видел, как он однажды в праздничный день читал Теренция. Ах, если б и ныне в университете были такие порядки, не стал бы я обретаться здесь, при курии! Но что ныне делать в университете? Доходов никаких нет. Ученики не хотят более жить в бурсах и учиться у магистров, из двадцати едва один ищет получить степень. Прочие же хочут учиться словесности. И магистрам некому читать лекции, а слушать поэтов сбегается такая толпа, что только диву даешься. И в таковом упадке пребывают университеты по всея Германии. Так что надобно молить бога, дабы прибрал всех поэтов, ибо «лучше нам, чтобы один человек умер...» и т. д., то есть лучше, чтобы умерли поэты, коих не так уж много в каждом университете, нежели чтоб столь многим университетам пришла погибель. Однако отпишите мне беспременный ответ, а ежели не послушаетесь меня, настрочу на вас предлинную кляузу. Пребывайте во здравии. Писано в Риме.

47

Брат Бенедикт Шотландец
магистру Ортуину Грацию

Шлем заместо приветствия братскую и сердечную любовь и, как вы того просите, сообщаем, что письмо ваше вручено нам на святого Михаила и готовы ответствовать на него по частям и разделам. Первое, спрашиваете вы, по каковой причине мы, братья проповедники, поем голосами грубейшими, нежели прочие ревнители веры. Ответствую, что сие, по разумению моему, проистекает из сказанного у Исаии, IX: «Все мы ревем, как медведи, и стонем, как голуби». Стало быть, полагаю, что святой Доминик восхотел исполнения сего пророчества. Далее спрашиваете вы, кто, по мнению моему, более исполнен святости, святой ли Фома или же святой Доминик. Ответствую, что о сем имеются разномнения: и докторы нашего ордена приводят противуположные доводы. Иные полагают, что святой Доминик святее достоинством своего жития, но не достоинством учения, святой же Фома, напротив, святее достоинством учения, но не достоинством жития. Иные же полагают, что святой Доминик сугубо святее, и доказуют сие двумя способами. Первый довод таков, что святой Доминик — основатель нашего ордена, святой же Фома, принадлежащий к нашему ордену, был его ученик. Но «ученик не выше учителя». Следовательно... Второй же довод таков, что учение не первенствует над житием и деяниями: следовательно, хотя святой Фома был ученее святого Доминика, однако он по этой причине отнюдь не святее. Иные же утверждают, что святой Фома сугубо святее, ибо среди всех святых нет более ни одного доктора, коего именовали бы Доктором Святым, кроме святого Фомы. И, следовательно, как Аристотель именуется просто «Философ», а Павел просто «Апостол», так святой Фома преимущественно перед прочими зовется «Святой». И, следовательно, не только в учении, но и в святости он превыше святого Доминика. Против сего возражают, что святого Фому именуют «Святым» не потому, что он сугубо святее всех прочих святых, но среди докторов святых он наисвятейший. Стало быть, он не святее святого Доминика. А еще один старец из нашего ордена обещался показать мне весьма древнюю книгу, в коей писано, что запрещается диспутировать о первенстве какого-либо из оных двух святых. А посему оставляю вопрос этот и разбирать

более не стану. Далее спрашиваете, как я полагаю, сохранит ли Иоанн Пфефферкорн приверженность ко християнской вере? Ответствую, что видит бог, не знаю, как и сказать, ибо дело сие весьма шаткое. Сами ведаете, что сделалось однажды в Кельнском Святом Андрее. Был в храме сем один настоятель, окрещенный жидовин, каковой долговременно оставался в лоне християнства и вел жизнь самую праведную. Однако, уже будучи на смертном одре, велел принести зайца и собаку и пустить их бежать: собака тотчас схватила зайца. Засим велел он пустить кошку и мышь: и кошка схватила мышь. И тогда сказал он всем, бывшим вокруг: «Видите, как привержены сии твари ко своему естеству? Подобно же и иудей всегда останется привержен ко своей вере, а посему ныне желаю умереть, как подобает доброму иудею»,— и с тем умер. А жители Кельна для памяти о сем случае отлили из меди сих тварей, коих и доныне можно видеть на стене против кладбища. И подобное же слышал я о другом человеке, каковой, тоже будучи на смертном одре, велел принести большой камень, положить в горшок с водой, поставить на огонь и варить; и стоял тот горшок на огне целых три дня; а засим спросил он, сварился ли камень, и ему ответили, что нет, ибо камень никак не может свариться. Он же сказал: «Как не может никогда камень свариться на огне, так не может иудей стать добрым християнином. Делают же сие ради выгоды, или же страха, или дабы когонибудь предать. А посему желаю ныне умереть в лоне веры иудейской». И видит бог, магистр Ортуин, надо иметь большую опаску насчет Иоанна Пфефферкорна, хотя уповаю, что господь бог ниспошлет ему особливую благодать и укрепит его в вере; и само собой, должно нам всегда говорить, что безотменно пребудет во християнстве, памятуя об Иоанне Рейхлине и его сторонниках. Далее спрашиваете вы, как я полагаю в рассуждении имен собственных: употребляются ли они во множественном числе, как утверждают древние грамматики, Александр и прочие, или же не употребляются, как считают нынешние и новые, вроде Диомеда и Присциана. Отвечаю подтвердительно, что имена собственные не имеют множественного числа, поелику суть собственные. Однако иногда они все же склоняются во множественном числе, и тогда их надлежит считать за нарицательные, как примерно два Иакова, то есть два апостола, коих нарекли Иаковами, два Катона, то есть два царя или премудрых римских сенатора, так именовавшихся, три Марии, то есть три женщины, носящие сие имя. Итак, ответствовал вам по своей силе-возможности. И ежели б знал

лучше, то лучше бы и ответствовал. А посему не взыщите. И кланяйтесь от меня магистру нашему Арнольду Тонгрскому, несравненному моему наставнику. И пребывайте во здравии. Писано в Зволле.

48

Иоанн Телятий магистру Ортуину Грацию дружелюбно желает здравствовать

Доброчестный господин, достопочтенный магистр, да будет вам ведомо, сколь много дивлюсь, что допекаете меня, пишущи всякий раз: «Отпишите мне какую ни на есть новую новость». И всякий раз желаете слышать новости, у меня же и других делов без числа. А через то мне не до новостей, я бегаю как оглашенный и хлопочу преусердно, дабы был даден мне бенефиций. Однако готов сделать вам удовольствие и единожды отписать, только засим оставили бы меня в покое и не требовали новостей. Да будет вам ведомо, что у папы имелась преогромная зверь по имени Слоний, и содержалась она в великой чести, и была папе зело любезна. А ныне, да будет вам ведомо, сей Слоний издох. Когда же занемог, папа весьма сокрушался, и созвал многих лекарей, и говорил им так: «Если можно, исцелите моего Слония». И они усердно старались, и нюхали его мочу, и давали ему опорожняющее, каковое обошлось в пятьсот золотых, но никак не могли очистить Слонию кишки; и он издох. Папа очень печаловался о Слонии. Говорят, за сего Слония была плочена тысяча дукатов. Ибо то была зверь диковинная, с превеликой и претолстой кишкой заместо носа. И когда видела папу, становилась на колена и вострубляла устрашающим гласом: «Гу, гу, гу!» И мню, что другой такой звери нет в целом свете. А еще говорят, что король французский и император Карл заключили мир на долгие годы и скрепили сей договор клятвой. Но многие полагают, что договор сей есть лукавство, и мир не пребудет долговременно. Не знаю, правда ли. Да и не больно желаю знать. Ибо как возвернусь в Германию, направлю стопы в свой приход, где стану жительствовать тихо и мирно. Там разведу гусей, и курей, и утятей, и на дворе смогу держать пять или даже шесть коров, и из ихнего молока делать сыр и масло. Того ради найму стряпуху. И беспременно чтоб была старушка. Ибо молодуха будет вводить во искушение мою плоть, и могу согрешить. А еще станет она мне прясть, для чего куплю льна. Опричь того заведу двух либо же трех сви-

ней и, откормивши оных, стану делать отменную ветчину. Ибо главным делом желаю иметь у себя в доме довольно харчей. А когда заколю бычка, половину продам крестьянам, другую же половину можно закоптить впрок. За домом будет у меня огородик, стану там сажать чеснок, лук и петрушку да взращивать репу, и всякую зелень, и прочее. Зимой буду сидеть дома и подготовляться, дабы проповедовать пред мужиками, по «Имеющему вскоре», или по «Ученику», или даже по Библии, для наилучшей подготовленности. Летом стану ловить рыбу либо трудиться в саду и не хочу знать ничего о войнах, а желаю жить сам по себе, и молиться, и служить обедни, и отринуть бренную суету мира, коя есть погибель для души. Пребывайте во здоровии. Писано при римской курии.

50

Магистр Адольф Тугоухиц
магистру Ортуину Грацию желает здравствовать на множество лет

Как недавно вам отписывал, со мною здесь много диспутируют об Иоанне Рейхлине и о деле веры. И да будет вам ведомо, что когда прислали вы мне книгу Иоанна Пфефферкорна, именуемую «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических», пошел я к одному человеку, всегда говорившему супротив меня, и показал ему в сей книге место в самом конце, а именно О. II , где писано так: «Еще двадцать лет назад, ежели я не запамятовал, было нам в Кельне пророческое слово от Иоанна Лихтенберга или чужестранного отшельника Руфа (чьи пророчества печатаны в Майнце по-латыни и по-немецки). И на листе шестнадцатом сказано: «Остерегитесь, о кельнские философы, дабы хищные волки не проникли в овчарню вашу. Ибо в ваше время совершится новое и неслыханное в церквах ваших, да отвратит это всемогущий господь». Он же, как прочел, постоял несколько времени в молчании и раздумье. А засим сказал: «Дивлюсь я глупости богословов. Уж не мните ли вы, что все люди — как дети малые, ежели надеетесь их в сем убедить? Но коль скоро кельнские богословы пускаются на такие ухищрения, я покажу вам пророчество Иоанна Рейхлина много более уместное. И вслед за тем докажу, что и то пророчество, кое они приводят, обращается на пользу Рейхлину, а отнюдь не против него. Итак, прочитайте в главе первой у Софонии, где пророк говорит так: «И будет в то время,

Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем...» и т. д. И ежели вы, кельнцы, дерзаете толковать Писание к своей выгоде, послушайте, как истолкую я слова пророческие. Итак, устами пророка рек господь: «И будет в те дни, Я осмотрю Иерусалим»,— то есть посещу церковь свою, помышляя преобразить ее, и истребить заблуждения, буде таковые в ней окажутся; и сделаю сие «со светильником», то есть через ученейших мужей, каковые суть в Германии,— Эразма Роттердамского, Иоанна Рейхлина, Муциана Руфа и прочих; «И накажу тех», то есть богословов, «которые сидят», то есть жестоковыйно упорствуют «на дрожжах своих», то есть в грязном, мерзостном, бессмысленном богословии, которое они усвоили несколько веков назад, отринув тех древних и мудрых богословов, что следовали истинному свету Писания. Сами же не знают ни латинского, ни греческого, ниже еврейского языка и не могут разуметь Писание. А посему, отвергнув истинное изначальное богословие, ни в чем ныне не совершенствуются, а лишь диспутируют, и изощряются в умствованиях, и измышляют бесполезные вопросы. И присем утверждают, будто защищают католическую веру, хотя защищать ее не от кого, и они лишь всуе расточают время и не приносят никакой пользы церкви божией. А если б хотели своими диспутами приносить пользу, могли бы обратить их ко благу церкви и веры католической, странствуя по свету и проповедуя слово божие, подобно апостолам, и убеждали бы греков воссоединиться с римскою церковью. Или же, если не хотят так далеко идти, отправились бы хоть в Богемию и затворили уста тамошнему народу своими аргументами и силлогизмами. Они же сего не делают. А напротив, спорят там, где отнюдь не о чем спорить. И посему накажет их господь и пошлет иных докторов, знающих греческий, латынь и еврейский, которые, отринув «дрожжи», то есть отвергнув бессмысленные богословские умствования, и лжесплетения, и темные толкования, принесут «светильники», и прольют свет на Писание, и возродят среди нас древнее и истинное богословие, подобно тому как упомянутый Эразм недавно исправил книги блаженного Иеронима и напечатал их. И исправил также Новый завет, что, по моему разумению, много полезней, чем если бы двадцать тысяч скотистов или фомистов сто лет спорили о существе и сущности». На эти его слова я отвечал так: «Господи боже, что это я слышу? Да ведь вы уже по сути дела отлучены от церкви». И с тем хотел отойти от него. Он же меня удержал, сказавши: «Сперва выслушайте до конца». Но я от-

ветил: «Не хочу более ничего слышать». Тогда он сказал: «Послушайте только, как истолкую ваше пророчество». И я, поразмыслив, согласился; ибо нет греха слушать отлученного, нельзя лишь вкушать с ним от яств и питий. И он начал так: «Остерегитесь, о кельнские философы». Не «богословы» сказано, а «философы», ибо богословие в Кельне — это скорее философия, то есть софистическое искусство, нежели истинное богословие, ибо есть не что иное, как диавольское словоблудие и нелепость. «Дабы хищные волки», то есть Яков Гохштратен, Арнольд Тонгрский и иже с ними, что во злобе и лютости своей ложью и клеветой терзают невинных овечек, каковы были и есть Петр Равенский и Иоанн Рейхлин, алчуще объявить их еретиками из зависти к их учености и славе. И, видя бессилие свое пред сими ученейшими мужами, ненасытно жаждут их погубить. Посему они и есть хищные волки, кои посягают на славу и живот невинных. И вот уж семь лет они хищно терзают и мытарят несчастного старика Иоанна Рейхлина; и если б не хранил его всемогущий господь, сожрали бы совсем. И никак нельзя истолковывать, что волк хищный — это Рейхлин; ибо за всю свою жизнь он никого не терзал хищно, то есть никого облыжно не обвинил, и ни пером, ни словом не посягал на чью-либо славу либо живот. Взгляните, однако, что сказано далее: «Не проникли в овчарню вашу». А ведь достойный Рейхлин никогда не проникал в Кельнский университет и равно не касался до кельнских богословов или церкви, будучи занят иными, более полезными делами. Следовательно, его отнюдь нельзя назвать одним из тех хищных волков, о коих говорит Лихтенберг, ибо их надобно искать в кельнской овчарне. Далее: «Ибо в ваше время совершится новое и неслыханное». Именно так — «новое и неслыханное»! Ибо «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на мысль человеку», что ученый и достойный муж, принесший столько пользы и никому не причинивший вреда, в преклонных годах мог бы подвергнуться таковым жестоким и коварным мучениям, досаждениям и гонениям. И сказано далее: «в церквах ваших», а посему не может касаться до Рейхлина, ибо он живет не под сению кельнской церкви, а в Констанцском епископстве. «И уповаю, что поспешают псы», то есть верные пастыри овечьего стада, кои без зависти и злопыхательства смиренно и верно станут пасти овец Христовых, то есть народ християнский, «и растерзают тех волков, что опустошали овчарню божию, и церковь божию очистят», то есть исторгнут сих грязных и презренных богословов, кои ничего не знают, но хвастают, будто знают все».

И когда он сие сказал, отошел я от него, поклявшись, что беспременно отпишу в Кельн. А посему смиренно прошу вас обо всем рассказать магистрам нашим и Иоанну Пфефферкорну, который, можно сказать, пишет за кельнцев и дивно искусен в сочинительстве, дабы прописал им по заслугам. А человек, все сие говоривший, родом из Берлина. И ежели желаете знать его имя, отпишите мне о том, и я его назову. Прежде он жил в Бонне, и там его как следует проучили; однако же он вновь ополчается супротив богословов; он плохой христианин и упорствует в своем окаянстве, за что попадет после смерти в геенну огненную, от коей сохрани господь вас, и богословов, и братьев проповедников, во веки веков, аминь. Писано во Франкфурте-на-Одере.

52

Генрих Пивиц
магистру Ортуину Грацию

Наше вам почтение, любезнейший друг и милостивый государь, поелику быть вашим покорным слугой всегда, везде и всюду имею честь. Достославный господин магистр, посылаю достославию вашему превосходную и полезную книгу. Полагаю книгу сию писанной с великим искусством, ибо содержит магистроучительные положения и называется «Обозрение божественных»; купил я ее, когда побывал на здешней ярмарке, и сразу сказал себе: «Сия книга именно для магистра Ортуина, благодарение богу, что попалась мне на глаза; я ему ее пошлю, как он недавно мне послал книгу Иоанна Пфефферкорна, именуемую «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических», каковую муж сей сочинил для обороны святой веры католической от Иоанна Рейхлина и его споспешников, и сокрушил их нещадно». Можете вы, однако, сказать: «Для чего посылает он мне сию книгу? Или думает, что у меня не довольно книг?» Отвечаю, что не того ради сие делаю. И ежели полагаете, что делаю того ради, великую надо мной творите несправедливость, ибо имею самые благие намерения. И не думайте, будто для принижения вашего указую, что у вас мало книг: ибо ведаю, что книги ваши многочисленны. Потому как своими глазами видел, когда побывал у вас на дому в Кельне, что у вас много книг больших и малых. Иные были в деревянных переплетах, иные в пергаменных. Иные обтянуты сплошь красной, зеленой или черной кожей, иные же лишь вполовину. И в руке у вас была метелка, коей вы обметали с них пыль. И я сказал: «Боже

правый, магистр Ортуин, сколько у вас красивых книг, и в каком почете вы их содержите». Вы же сказали, что через это и должно мне заключать, ученый передо мной человек или же нет. Ибо кто оказывает почет книгам, оказывает почет науке. И я сие поучение храню в сердце своем и буду хранить во веки веков, аминь. Писано в Наумбурге.

53

Иоан Пивнепивец магистру Ортуину Грацию

В недавнем времени написали вы мне письмо весьма поучительное и укоряли меня, что не пишу, как обстоит дело веры супротив Иоанна Рейхлина. И, прочитавши сие письмо, очень я рассердился и сказал: «Для чего пишет ко мне так, когда я уже написал ему два письма тому менее чем полгода?» Видно, гонцы их не вручили. Но разве я здесь повинен? Верьте слову, что описывал вам досконально и обстоятельно все, об чем сам я ведал. Однако может вполне статься, что гонцы не вручили моих писем. И в особенности писал про то, что, едучи верхом из Флоренции в Рим, повстречал дорогой преподобного отца нашего и брата Якова Гохштратена, магистра нашего и инквизитора еретического окаянства, шествовавшего из Флоренции, где предстоял он перед французским королем за ваше дело. Я обнажил пред ним голову и сказал: «Преподобный отец, вы ли это?» Он же ответил: «Я есмь сущий». Тогда я сказал: «Вы господин магистр наш Яков Гохштратен, инквизитор еретического окаянства?» И он ответил: «Да, говорю вам». Я же протянул ему руку и говорю: «О господи, для чего же шествуете вы стопами? Ведь это стыд и срам, что такой муж шествует стопами по дерьму и грязи». Он же ответствовал: «Иные колесницами, иные — конями, а мы именем господа бога нашего». Тогда я ему говорю: «Но ведь дождь льет и хлад преужасный». Тогда он воздел длани свои к небу и сказал: «Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду». Я же помыслил про себя: «Ах, господи, вот несчастье, что сего славного магистра нашего постигла столь тяжкая судьба. Два года тому я видел, как он въехал в Рим о трех конях, теперь же идет стопами». И сказал: «Не угодно ли вам взять мою лошадь?» Он же отвечал стихом:

«Кто дать пожелает, об том не спрошает».

Тогда я сказал: «Видит бог, достойнейший магистр, мне никак нельзя упустить бенефиций, и оттого должен я поспешать, ежели б не это, я беспременно отдал бы вам свою лошадь». И с тем от него отъехал. Итак, теперь ведаете вы, как обстоит дело. И разумеете, что сей магистр наш пребывает в великой нужде, а потому добудьте для него денег, иначе все дело пропало. Ибо ходатай Иоанна Рейхлина Иоанн фон дер Вик много усердствует и всюду находит кривые пути. Недавно он сочинил столь яростный извет против магистра нашего Якова, что удивляюсь, как бог не поразил его за то чумой. И еще он недавно поносил магистра нашего прямо в глаза, говоря: «Я тебя выведу на чистую воду, ты у меня издохнешь в сраме, и в разорении, и в скорби, а Иоанн Рейхлин восторжествует. И пускай сие увидят все богословы и лопнут от злости». Из чего для меня явствует, что оный Иоанн Вик не скрывает ненависти своей к богословам и исполнен дерзости и невиданного безрассудства. Я слышал, как магистр наш Яков сказал: «Если б не он, я добился бы приговора в свою пользу, сразу как прибыл в Рим». И сие истинная правда, ибо когда магистр наш Яков впервые прибыл к римской курии, был он столь грозен, что все куриалы его боялись. И никакой ходатай не брался хлопотать за Иоанна Рейхлина, убоявшись сего магистра нашего, и Яков Квестенберг, тоже друг Рейхлина, искал ходатая по всему Риму и не мог сыскать, ибо все с готовностью соглашались ему служить в чем угодно, но не в деле веры, оттого что боялись, как бы магистр наш Яков не отправил их на костер. Таковы были обстоятельства, когда явился сей доктор (ежели только он достоин так называться) Иоанн Вик и сказал Якову Квестенбергу: «Я предлагаю свои услуги в деле супротив сего злобесного монаха». А магистр наш Яков прямо ему угрожал, говоря: «Погоди, ты у меня раскаешься, ежели хоть слово скажешь за Рейхлина». И я слышал о ту пору из собственных его уст, что, когда добьется осуждения Рейхлина, тотчас учинит розыск над сим доктором Виком и объявит его еретиком: ибо в словах его усмотрел еретические мысли. Теперь же все обернулось противуположным образом. И верьте моему слову, что дело плохо, ибо ныне на десять приспешников Рейхлина не сыскать и одного сторонника богословов. И после разбора дела богословами стали подавать голоса: восемнадцать было за Рейхлина и только семь за богословов. Однако и эти семеро даже не высказались твердо, что «Глазное зеркало» надобно сжечь, а лишь сделали оговорку. И посему не имею благой надежды. Должно вам сделать все возможное, дабы

умертвить сего Иоанна Вика, ибо через него дела Рейхлина идут хорошо, дела же богословов окончательно плохи. А ежели б не он, сего не было бы отнюдь. Кажется, теперь все отписал вам в подробности, и более не станете меня корить. На том пребывайте во здравии. Писано при римской курии.

55

Магистр Сильвестр Гриций
магистру Ортуину Грацию

Понежелику клялся я клятвенно стоять за свой факультет и неотступно печься о его благе, отпишу вам досконально, кто тут держит сторону богословов, а кто Иоанна Рейхлина, дабы вы рассказали о сем богословам и они могли бы тем руководствоваться. Во-первых, в здешней гостинице «Корона» столуются некие люди, беспрестанно чинящие всякие пакости магистрам нашим и братьям проповедникам, и потому никто в сей гостинице не подает проповедникам милостыни. Имена некоторых мне известны: один прозывается магистр Филипп Кейльбах и всегда расхваливает Рейхлина, ему однажды задал хорошую трепку магистр наш Петр Мейер, священник из Франкфурта. Другой — Ульрих Гуттен, превеликая бестия, этот говорил, что ежели б братья проповедники обошлись с ним столь же несправедливо, как с Иоанном Рейхлином, он стал бы ихним заклятым супостатом и где бы ни повстречал монаха сего ордена, тотчас отрезал бы ему нос и уши. И многих имеет друзей, приближенных к епископу, каковые также благоволят Иоанну Рейхлину. Однако ныне он (слава богу), отъехал отсюдова, дабы выучиться на доктора, и не будет его целый год. Но пускай бы диавол его и вовсе побрал. А еще есть тут два брата из благородиев, Отто и Филипп Бок, изрекающие на богословов всяк зол глагол. И когда магистры наши учиняли в Майнце святое деяние над «Глазным зеркалом» и магистр Яков Гохштратен данной ему властью пожаловал индульгенции всем, кто имел в сем деле участие, оные два брата купно с иными кромешниками играли в кости на сии индульгенции при богословах, стоявших в гостинице. И еще есть тут один, прозываемый Иоанн Гуттих, также ваш неприятель. И другой, недавно произведенный в доктора законоведения, именем Конрад Вейдман; он благоволит всякому, кто чинит вам досаждение. И еще есть один доктор, а прежде — магистр искусств

нового направления; имя ему Евхарий. И еще Николай Карбах, что читает лекции о поэзии. А также Генрих Бруманн, соборный викарий, что не худо играет на органе. Я ему всегда говорю: «Играли бы себе лучше на органе, богословов же оставили бы в покое». Но главное дело, почитай все каноники стоят за Рейхлина и, опричь того, многие магистры, коих имен не упомню. Теперь же отпишу вам про друзей и благожелателей. Есть у вас здесь один друг, муж зело достойный, и прозывается Адулар Шван; сам он из благородиев, и на щите у него изображен кубок; отец же его лил колокола. Он весьма искусно диспутирует в духе Скота и выдвигает превосходные аргументы; и говорит, что тотчас одолеет Иоанна Рейхлина, ежели станет с ним диспутировать. И еще есть другой достойнейший ваш благожелатель — Генрих Кур, зовомый также «Звонарем», потому как более всего на свете любит звонить в колокола. Сие муж изощренный, ума замечательного и мудрости столь глубокой, что трудно поверить, и любит также диспутировать; а диспутируя, непременно смеется и, смеясь же, одолевает противника. Он как узрел еретические положения Иоанна Рейхлина, сразу сказал, что даже за единое из оных Рейхлин заслуживает костра. И еще есть среди споспешников ваших одно молоденькое благородие и человек военный — Маттиас Фалькенберг: он зело отважен и всегда является конно и оружно; за стол же непременно садится с краю; и говорит, что ежели сядет не с краю, а посередке и вдруг учинится бранное дело, не сможет тотчас вскочить и разить врагов. К тому же он искусно аргументирует по старой методе; и говорит, что ежели Рейхлин не образумится, он поспешит к вам на подмогу о ста конях. И еще один горожанин из Майнца, именем Виганд Сольмс. Сей вьюноша столь учен, что не уступит даже магистру нашему; и говорит, что не пожалел бы десять флоринов, только бы иметь случай диспутировать с Рейхлином. И недавно на диспуте взял верх над Иоанном Гуттихом, да столь твердисловно, что тот не знал, как и ответить. За вас также и господин Вернер, несравненный знаток Аквинатовой «Суммы против язычников», выучивший, опричь того, на память Скотовы разновидности. Он говорит, что не будь уже магистр наш Гохштратен при курии, он сам отправился бы туда и одолел Иоанна Рейхлина. Сии упомянутые друзья ваши всякую неделю собираются на дому у достославного мужа магистра нашего Варфоломея, который магистр всем вашим друзьям голова; и там толкуют о предметах зело умственных. И спорят промеж собой,— один отстаивает мнения Рейхлина, прочие же на него ополчаются,

и бывают у них знатные диспуты. А о других здешних ваших споспешниках ничего не ведаю, ибо не сделал с ними знакомства. Но как узнаю, тотчас вам отпишу. Покуда же храни вас господь. Писано в Майнце.

57

Гален Падеборнский
магистру Ортуину Грацию желает
здравствовать

Почтеннейший магистр, в ужас повергла меня молва, досюда достигшая, и власы мои встали дыбом. А молва сия таковая: едва ли не все школяры и клирики, из Кельна прибывающие, рассказывают, что слышали, будто бы братья проповедники, дабы не имел Иоанн Рейхлин над ними одоления в деле веры, вознамерились сами проповедовать новую веру. И один сказал, что ежели папа их осудит, они, очень возможно, отправятся в Богемию, и будут там укреплять еретиков в веровании супротив церкви и папы, и тем отмстят за обиду. Ах, милостивый господин Ортуин, отсоветуйте им делать так: ибо воспроизойдет через то ересь неслыханная. Уповаю, однако, что сие отнюдь не правда. И про себя помыслил: «Может, братья проповедники просто грозятся папе, дабы убоялся и подумал так: «Ежели ныне не решу дело в ихнюю пользу, все их презрят и отринут. И ополчится супротив них весь мир, и никто не станет подавать им милостыню, и обители ихние оскудеют; они же тогда пойдут в Богемию или в Турцию и станут проповедовать, что християнская вера не истинна; и через то произойдет великое зло». Будь что будет, но желаю, дабы вы, богословы, имели терпение и не шли супротив папы, а иначе все христиане осудят вас. И будете здравы во имя единородного сына божия. Писано в Бремене.

58

Магистр Ир Дивнолир магистру Ортуину
Грацию желает здравствовать бессчетно

Достопочтенный муж. В здешний университет доставили сочинения ваши, писанные супротив Иоанна Рейхлина; и старые магистры их весьма одобряют, новые же и молодые — хулят, утверждая, что вы по зависти нападаете на славного Рейхли-

на. И когда, созвавши совет, стали решать, выступить ли нам супротив «Глазного зеркала», сии новые, ничего еще не смысля, дерзнули прекословить старым, утверждая, что Рейхлин ни в какой ереси не повинен. И до сей поры чинят нам препятствия; не знаю уж, что будет далее. И убоялся, что университету вскорости придет погибель из-за сих поэтов, коих развелось такое множество, что только диву даешься. А в недавнем времени объявился здесь один грек, прозываемый Петр Мозельский. И есть тут еще другой, который тоже учит греческому и прозывается Ричард Крок, а родом из Англии. Я недавно сказал: «Дьявол его принес сюда из Англии! Да ежели б там, где раки зимуют, был хоть один поэт, он непременно тоже явился бы в Лейпциг». А у магистров таковая скудость в учениках, что просто одна срамота. Памятую доныне, что прежде, когда магистр шел в баню, за ним следовало более учеников, чем теперь по праздникам, когда идут в церковь. И ученики были исполнены ангельской кротости. Ныне же шляются по улицам и плюют на магистров; и все восхотели жить в городе и столоваться на стороне, а не в коллегии, так что у магистров совсем не стало столовников. А в прошлый раз, когда производили в бакалавры, всего десятеро получили степень. И во время экзамена магистры толковали об том, что некоторых надобно провалить. Я же сказал: «Этого никак нельзя. Ибо ежели провалим хоть одного, впредь никто не захочет держать экзамен или учиться на бакалавра, а все перейдут к поэтам». И мы всем оказали снисхождение. Снисхождение оказывалось троякое. Во-первых, в рассуждении возраста, ибо бакалавр должен быть не моложе шестнадцати лет, а магистр — не моложе двадцати. Но ежели кто и моложе, все едино — можно снизойти. Второе — в рассуждении благонравия. Ибо когда ученики не оказывают магистрам и докторам должного почтения, их проваливают, но через посредство снисхождения могут допустить, причем берут в соображение ихние проступки: не бесчинствовали ли они на улицах, не ходили ли к потаскухам, не носили ли при себе оружия, не тыкали ли магистрам или священникам, не шумели ли в аудиториях или коллегиях. В-третьих, оказывают снисхождение ихним познаниям, когда они еще не довольно превзошли науки и не во всей полноте. Недавно я спросил одного на экзамене: «Скажи, однако, по какой причине ты ничего не отвечаешь?» Он сказал, что робеет. Я же возразил, что не верю, будто он столь уж робок, зато верю охотно, что столь невежествен. Тогда он сказал: «Ей-богу, это не так, господин ма-

гистр. Внутри у меня великие знания, но никак не хотят вылазить наружу». И я сделал ему снисхождение. Теперь сами видите, что приходит погибель университетам. Недавно я допрашивал одного ученика об его проступке. Он же по злобе стал мне тыкать. Тогда я ему сказал: «Ну погоди, я тебе сие попомню на экзамене»,— намекая, что провалю его. Он же отвечал: «Плевать я хотел на степень бакалавра, а уйду в Италию, там учителя не морочат учеников и не глупствуют, когда производят в бакалавры. И ежели человек учен, его там уважают, а ежели невежествен, обращаются с ним, как с ослом». Я сказал: «Да как ты смеешь, охальник, поносить столь достойную степень?» Он же отвечал, что не выше ставит и степень магистра. И добавил: «Слышал я от одного приятеля, побывавшего в Болонье, что там всех магистров искусств из Германии ставят наравне с зелеными новичками. Ибо в Италии считается позором получить магистра или бакалавра в Германии». Вот до какого срама дошло дело. А посему желаю, дабы университеты действовали все, как один, и все, как один, поэты и гуманисты были изгнаны, ибо от них университетам погибель. И еще кланяются вам магистр Швецдлиний, магистр Негелин, магистр Кахелофен, магистр Арнольд Вюстенфельт и доктор Оксенфарт. Пребывайте во здравии. Писано в Лейпциге.

Магистр Вернер Штомпфф
магистру Ортуину Грацию желает
здравствовать

Да будет вам ведомо, преславный муж, что, когда получилось ваше письмо, пришел я в ужас, и красен соделался яко рак, и власы мои встали дыбом. Кажется мне, претерпел я страху не менее, чем в Кельне в Красной зале, когда держал экзамен на бакалавра. Ибо тогда я тоже ужасно боялся, что меня провалят. Вы пишете, что дело веры в Риме обернулось к худу. Святый боже, что могу сказать? Сии юристы и поэты ищут погубить весь факультет свободных искусств и богословский тоже. Ибо и в нашем университете они немало осмеливаются чинить супротив магистров и богословов. Недавно один из них сказал, что бакалавр права должен идти в процессии впереди магистра свободных искусств. Я же сказал: «Сему быть никак невозможно. Ибо с легкостью доказую, что магистры свободных искусств выше докторов права, каковые знают только одно искусство, а именно искусство права. Ма-

гистры же суть магистры семи искусств и, следовательно, знают много более». Он же ответствовал: «А ступай-ка в Италию да скажи там, что ты лейпцигский магистр, увидишь, как тебя примут». Я на то возразил, что могу постоять за свою магистерскую степень не хуже любого из Италии. И отошел от него, размышляя, какому поношению подвергается наш факультет и сколь сие ужасно; ибо магистры свободных искусств должны первенствовать в университетах, а ныне юристы норовят взять над ними верх, отчего учиняется великий срам. Уповаю, однако, что не потеряете вы твердости в деле веры. Ибо полагаюсь на бога, что вас не покинет. А на том пребывайте во здравии до тех пор, покуда Пфефферкорн останется християнином. Писано в Лейпциге, во Княжей коллегии.

61

Петр Любибус,
наставитель в грамматике и профессор
в логике, желает здравствовать магистру
Ортуину

Достопочтенный господин магистр. У нас в Гарце такой обычай, чтоб беспременно выпивать по два раза на дню. И первая выпивка называема бюргерской, а зачинается с полудни и имеет окончание в четвертом либо в пятом часу; вторая же называема ночной или поздней и начинается в пять, окончание же имеет в исходе восьмого, девятого, а то и десятого часу, иной же раз длится до полунощи или до часу. И богатые горожане, а также отцы города и цеховые старшины, побывавши на первой выпивке и довольно хлебнувши, платят деньги и идут по домам. А школяры и прочая университетская братия из тех, что помоложе, не ведая забот, остаются на позднюю выпивку и вкушают, покуда тело и душа приемлют. В недавнем времени была у нас поздняя выпивка, и сидели мы с братом Петром, монахом из ордена проповедников, которому вы зело любезны из-за Якова Гохштратена, кельнского инквизитора; в одиннадцатом часу ночи мы много диспутировали о происхождении имени вашего. И я стоял на том, что имя ваше происходит от римских Гракхов. Однако брат Петр, тоже в некотором роде изрядно сведущий в словесности, сие отринул и сказал, что зоветесь Грацием по причине ниспосланной вам свыше грации. И был там один бездельник, изъяснявшийся по-латыни со

столь хитрым извитием речи, что я его толком даже не разумел, и сказал он, что прозываетесь Грацием не от Гракхов, и не от грации, и нагородил такого вздору, что я спросил: «Откуда же тогда происходит имя Граций? Ведь многие глубокомудрые мужи сделали на сей счет обширные изыскания и заключили, что имя Граций происходит либо от Гракхов, либо от грации». Он же сказал: «То все были друзья магистра Ортуина Грация. И они толковали имя сие к своей пользе и в лучшую сторону. Однако сии заключения не предвосхищают истины». И брат Петр тогда спросил: «Что есть истина?» — полагая, что тот смолчит, подобно как смолчал господь наш, когда Пилат задал ему сей вопрос. Однако ж тот не смолчал, а ответил: «В Гальберштадте жительствует один палач, который прозывается мастером Грацием и доводится Ортуину дядей с материнской стороны, в честь этого палача Грация и назвали его Грацием». Тут я не стерпел и говорю: «Э, нет, братец, сие оскорбление тяжкое, и я возражаю! Да и магистр Ортуин тебе сего не спустит; я знаю, ты так говоришь по зависти к благородному Ортуину. Ибо все потомки получают имя и прозвище по отцу, а не по матери: как же в таком разе мог сей достойный магистр быть назван по матери и по материнскому дяде, а не по отцу, как все прочие?» Он же отвечал продерзостно и громко, чтоб все слышали: «Сие истинная правда, и следовало быть именно как вы говорите, однако Ортуину срамно объявить отца своего: ибо отец его священник, и, прозывайся он по отцу, всякому было бы ясно, что рожден от священника и потаскухи, а рожденных так принято называть выблядками!» Тут обуял меня гнев, и я вскричал: «Возможно ли сие? Да ведь он кельнский магистр! А благословенный Кельнский университет имеет устав, по коему степень дают только законнорожденным. Следовательно... и так далее». Он же ответил: «Дают ли степень законным или незаконным, а магистр Ортуин — выблядок и таковым пребудет вовеки». Я ему возразил: «Ну а ежели сам папа узаконил его своей властью? Тогда ведь он законный, ты же совершил тяжкий грех, идучи супротив римской церкви». А он сказал: «Пускай его хоть тысячу раз узаконят, все равно он выблядок». И привел такой пример: «Положим, кто окрещен крещальною водою, но ежели святой Дух не сошел туда, вода сия не имела никакой силы, и он остался жидовином. Точно так же и сии выблядки, рожденные от священников и потаскух, ведь священники не могут законным образом вступать в супружество с потаскухами, а стало быть, и детей ихних никак нельзя узаконить». И я еще его спросил: «Как тогда полагаешь

о докторе Иоанне Пфефферкорне?» Он же ответил: «Могу сказать с полной уверенностью, что он и посейчас остается жидовином!» И, вдобавок к прежнему, сослался на Евангелие от Матфея, III: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». А поскольку Пфефферкорн никогда не родился от Духа, следовательно, сия вода не имела никакой силы, и он навеки остался жидовином. На что я уже не мог ему ничего более возразить, и мы с братом Петром встали и пошли спать. Ныне же, слышу я, сей негодяй похваляется, что одолел нас в диспуте и что он ученее меня и брата Петра. Посему молю милость вашу отписать мне, как опровергнуть сии аргументы касательно узаконения, а равно и крещения доктора Иоанна Пфефферкорна и утереть нос оному прохвосту. И честь имею быть покорнейшим слугой вашим до гробовой доски. Пребывайте во здравии.

62

Мастер Граций
искоренитель плевел, то бишь: вешатель воров, четвертователь предателей, бичеватель подложников и облыжников, сожигатель еретиков и многая прочая, сыну сестры своей, магистру Ортуину, желает здравствовать на множество лет

Возлюбленный племяш, а равно достопочтенный господин магистр. Как много уж тому годов мы не видались, то восхотел я отписать вам письмо. Слышу об вас немало поразительного, ибо слава ваша преогромна. И сказывают, что знает об вас всякий, кто досягнул хотя преполовения учености, и не в одном Кельне, а и за Эльбой и Рейном, равно как по всей Италии и Франции. Кельнцы же особливое имеют к вам уважение за несравненную ученость, с каковой сочиняете во имя християнской веры супротив какого-то доктора и светского поэта Иоанна Рейхлина. И завсегда, на вас глядючи, ликуют, когда идете по улице, и даже указуют на вас пальцами и говорят: «Вот магистр Ортуин, воздвигший великое гонение на поэтов». А знай они, что доводитесь вы мне племянником, не сумлеваюсь, — еще того пуще стали бы на вас указывать пальцами. Ибо я довольно прославлен и упражняюсь в своем искусстве при великом стечении народу, и мне такие же оказуют почести, и когда иду по улице, указывают на меня пальцами, как на вас

в Кельне. И мне зело отрадно, что люди так полагают об нас с вами. А еще слыхал я, есть в Кельне некие мужи, други ваши, с коими вместях сочиняете супротив доктора Рейхлина, а именно: Яков Гохштратен, кельнский инквизитор, и магистр Арнольд Тонгрский, начальствующий в бурсе святого Лаврентия, и все полагают, что вы трое несете истинный свет веры католической. И полагают вас тремя великими подсвечниками, или же светильниками. А некоторые присовокупляют еще четвертый яко бы светильник, или же лампаду, не столь ярко светящую, — доктора Иоанна Пфефферкорна. И не сумлеваюсь, что ежели бы вас четверых с вашей мудростью привязать покрепче к столбу да подвалить добрую кучу сухих дровишек, получился бы славный светоч миру, пожалуй, даже поярче того, какой воссиял в Берне. Однако, излюбленный племяш, сие я, конечно дело, пишу шутейно. Но, окромя шуток, пребываю в надёже, что вы четверо поистине станете светочем мира: ведь нельзя же, чтоб столь превеликая мудрость, какую во себе емлете, так и осталась в дерьме. И еще мне сказывали, что недавно ночным делом вы заворотили подол одной ветхой старухе, что торгует горшками у фонтана в Кельне, она же громко вопила, отчего в окнах зажглись огни, люди выглянули из домов и увидели вас. Ей-ей, похваления достойны столь распрекрасные дела ваши, каковые родственны и моему заплечных дел мастерству, и не чужды вам, богословам. А намедни дошел сюда слух, что есть в Кельне один поэт, который считает вас дураком, обзывает Ортосвином и говорит, что самое место вам в свинарнике. Узнать бы мне только, кто есть таков сей поэтишка, и ей-же-ей, я бы его бесплатно вздернул на виселицу. А еще попросил бы я вас, излюбленный племяш, постараться изо всей силы-возможности, чтоб слава ваша прошла по всему белу свету. Но знаю, что никак не можно мне вам советовать. Ведь вы и сами распрекрасно все знаете, и многое унаследили, ей-пра, от пра, и пра-пра, и пра-пра-прародителев, особливо же от матери своей, излюбленной моей сестры, каковая едва прослышала, что выблядки завсегда бывают счастливее законных детей, сейчас побежала к священнику и дала ему, дабы родить такого преславного мужа, каков вы есть. И каков еще прославится по всему свету. Пребывайте же во здравии. Писано из Гальберштадта.

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН

ЛИХОРАДКА

Диалог второй

Собеседники: Гуттен, Лихорадка и Слуга

Гуттен. Эй, малый, кто-то подошел, слышишь? Слышишь, как там ломятся у входа? Слышишь? Слышишь? Что ж, пусть нам так двери и выломают?! Ну, ладно, выгляни-ка в окно и, если гость явился некстати, скажи, что меня нет дома.

Лихорадка. Как нет дома — да ведь я слышу твой голос! Ну-ну, отворяй же и впусти меня: на дворе-то ветер и льет как из ведра.

Слуга. Это Лихорадка, хозяин! Господи Иисусе, силы небесные, чем нам оборониться от этакой напасти?! Что прикажешь — прогнать ее камнями или, может, оружием, какое только у нас найдется?

Гуттен. Сначала закрой окно, а то опять дохнет на нас своим ядовитым дыханием — как в тот раз. Быстрей закрывай, и поплотнее.

Лихорадка. Отвори!

Гуттен. Как бы не так!

Лихорадка. Бывало, эти двери сами передо мною распахивались.

Гуттен. А теперь накрепко замкнуты.

Лихорадка. Вот то-то меня и изумляет. А потому — отворяй, хозяин, отворяй!

Гуттен. Ты бы еще сказала: «Удавись, хозяин, удавись» — это, право, одно и то же!

Лихорадка. Стало быть, так никогда и не отворишь Лихорадке?

Гуттен. До тех пор, пока хватит сил держать дверь на запоре.

Лихорадка. О гостеприимнейший из мужей, во имя старинной нашей дружбы и соседства заклинаю тебя, отвори!

Гуттен. Во имя ненавистных воспоминаний об этом соседстве запрусь от тебя еще крепче!

Лихорадка. Ведь ты меня впустишь, правда, хозяин? Отворишь мне, о любезнейший, о гуманнейший?

Гуттен. Я? Ни за что!

Лихорадка. Любимец Муз, отвори!

Гуттен. Бич наук, пошла прочь!

Лихорадка. Отвори! Отвори! Я же Лихорадка, Гуттен, Лихорадка!

Гуттен. А мне-то что?

Слуга. Ты с ней погрубее, хозяин, а не то она выломает дверь и ворвется в дом — видишь, как брусья дрожат? Гони ее, брани, проклинай!

Гуттен. Задвинь-ка засовы, сначала вот этот, двухфутовый. Ну что ты к нам привязалась? Разве мы важные господа или гуляки, за которыми ты любишь охотиться? Разве не осталось больше ни попов, ни купцов?

Лихорадка. Прежде всего мне нужен ты.

Гуттен. Прежде всего я не хочу видеть тебя.

Лихорадка. Не без причины...

Гуттен. И я тоже...

Лихорадка. ...ты мне нужен.

Гуттен. ...не хочу тебя видеть.

Лихорадка. Я должна тебе кое-что сообщить.

Гуттен. А я и слушать не стану.

Лихорадка. Мне необходимо с тобой потолковать.

Гуттен. А мне с тобой — нет.

Лихорадка. Прежде ты был другой.

Гуттен. Верно, зато теперь сделался лучше, и это меня радует.

Лихорадка. Пусти меня под крышу — ведь на дворе ветер, холод, дождь!

Гуттен. Сколько раз тебе повторять?! Не пущу!

Лихорадка. Значит, незаслуженно говорят о тебе, будто ты человек гуманный, радушный, гостеприимный!

Гуттен. Таков я и есть, но — с другими.

Лихорадка. А со мною обходишься по-иному?

Гуттен. Как видишь.

Лихорадка. Это несправедливо.

Гуттен. Напротив — по заслугам.

Лихорадка. Ишь, как лукаво ты судишь.

Гуттен. По-моему — нет.

Лихорадка. А по-моему — да, потому что ничего дурного я тебе не сделала.

Гуттен. Тем менее мы друг другу подходим, если придерживаемся различного образа мыслей.

Лихорадка. Нет, нет, я с тобой согласна, я готова признать, что прежде причиняла тебе зло, но впредь буду служить верой и правдой, вот посмотришь!

Гуттен. Ничего не выйдет, не видать тебе моих милостей.

Лихорадка. Почему ты так твердо в этом уверен?

Гуттен. Да как же не быть уверенным старому гостеприимцу Лихорадки, который знает ее так давно и в столь многих обличиях — тут и четырехдневная, и ежедневная, и трехдневная, и острая, и изнуряющая, и какие-то еще, я уж и названия позабыл.

Лихорадка. Я теперь не та, что была раньше.

Гуттен. Хвалю.

Лихорадка. Значит, впустишь меня?

Гуттен. Не знаю, как другие, а я — нет.

Лихорадка. Дай хоть несколько слов тебе сказать.

Слуга. Пугни ее как следует!

Гуттен. Даже взглянуть на себя не дам.

Слуга. Может, из бомбарды выпалить, а?

Гуттен. Нет, лучше неси сюда чечевицу. Это я по доброте сердечной, Лихорадка, не впускаю тебя и отсылаю назад к кутилам, а иначе ты будешь жаловаться, что, мол, тебя плохо приняли.

Лихорадка. Хочу быть с тобой, как бы ты меня ни принял.

Гуттен. А я — подальше от тебя, как бы ты себя ни держала.

Лихорадка. Ты вообще избегаешь разговоров?

Гуттен. В особенности — разговоров с тобою.

Лихорадка. О, как ты изменился!.. Только три слова!..

Гуттен. Нет, нет, не слушаю.

Слуга. Эй, ты гоняешься за удовольствиями, пирами, роскошью и несварением желудка — взгляни же, что у нас было на обед.

Лихорадка. Чечевица, мне кажется?

С л у г а. Да, наша пища — чечевица: мы теперь пифагорейцы.

Л и х о р а д к а. Но в таком случае вчера вы слопали самого Пифагора, если только верно, что душа Пифагора переселилась в петуха.

С л у г а. Мы пропали! Она видела, как я подавал на стол курицу.

Г у т т е н. Напротив, Лихорадка, мы зарезали петуха лишь потому, что и он питался чечевицей.

Л и х о р а д к а. И съели его, словно не чечевица перекочевала в петуха, а петух в чечевицу, да?

Г у т т е н. Еще что скажешь?

Л и х о р а д к а. А пили молодое вино, не считая кубков?

С л у г а. Что ты — воду!

Г у т т е н. Кипяченую.

Л и х о р а д к а. Пусть так, я теперь и водохлебов не чураюсь: выучилась разделять с ними трапезу.

Г у т т е н. Тогда постучись вон в тот домик на краю села — его хозяин уже двадцать лет вина в рот не берет.

Л и х о р а д к а. Но прежде дай скажу тебе три словечка.

Г у т т е н. Да ты уж и так больше сотни наболтала. Ну, ладно, скажи свои три словечка и убирайся.

Л и х о р а д к а. Пусти же меня в дом.

Г у т т е н. Нет, говори оттуда.

Л и х о р а д к а. Ну хоть выгляни.

Г у т т е н. Я слушаю не глазами.

Л и х о р а д к а. Но если ты меня увидишь, то живее откликнешься на мою речь.

Г у т т е н. А зачем откликаться? Мне это совсем ни к чему.

Л и х о р а д к а. Я расскажу о куртизане — как я с ним обходилась и как он меня принимал.

Г у т т е н. Меня это не занимает.

Л и х о р а д к а. Раньше-то занимало...

Г у т т е н. Да, потому что я думал о том, как от тебя избавиться; послушайся моего совета — оставайся-ка со своим куртизаном.

Л и х о р а д к а. Я уже его отпустила.

Г у т т е н. Так вернись к нему!

Л и х о р а д к а. Не примет — у него поселились другие болезни, и прежде всего — французская парша, которая жестоко стиснула его своими когтями; к тому же с недавних пор он мучается камнем в пузыре и острой подагрой в суставах, а в доме — хоть шаром покати.

Гуттен. Как? Он больше не кормит ни прихлебателей, ни собак, ни коней?

Лихорадка. Мышей — и то не кормит.

Гуттен. Значит, и подружку свою оставил?

Лихорадка. Нет, это она его оставила, и не без оснований — ведь он лишился всего, что имел.

Гуттен. Но ты-то как позволила другим хворям выжить тебя?

Лихорадка. Я не желаю нуждаться и всегда держусь поближе к кухне.

Гуттен. Там, где чад?

Лихорадка. Там, где душистый пар.

Гуттен. Но у меня нет ни того, ни другого.

Лихорадка. Ничего, скоро появятся: говорят, ты собрался жениться.

Гуттен. Ну, вот еще, жениться!.. Лучше бы ты выследила, куда отправилась девчонка куртизана,— уж она-то нашла себе тепленькое местечко, не сомневаюсь.

Лихорадка. Ее пригрел один старенький каноник: и грыжа-то у него, и подагра, грубый, ворчливый, неопрятный— настоящая свинья!

Гуттен. И она его любит?

Лихорадка. Она любит его золото.

Гуттен. Тем удобнее для тебя, на мой взгляд. Она будет заботиться о деньгах, а ты тем временем заберешь в свои руки хозяина.

Лихорадка. Мне его жаль: он нажил себе такую беду, что может обойтись и без лихорадки.

Гуттен. Меня ты небось ни разу не пожалела.

Лихорадка. Потому что с тобой такая беда не приключалась. Не знаешь ты, что за чума — полюбовница в доме.

Гуттен. Чума? Да ведь эти господа не только жадно ищут себе полюбовниц, но и соперничают из-за них и воюют друг с другом, пожалуй, ожесточеннее, чем в Риме из-за приходов.

Лихорадка. Беда лишь злее от того, что она добровольная.

Гуттен. Разве может человек терпеть беду по доброй воле?

Лихорадка. Не знаю, как остальные, а попы могут.

Гуттен. Что они обожают своих полюбовниц, а иной раз даже голову теряют,— это мне известно, но никакой беды для них я в том не вижу; если ж это беда, я не понимаю, зачем они сами ее на себя навлекают.

Лихорадка. А я вижу: долгое знакомство многому меня научило. Во-первых, они любят подружек горячее, нежели мужья своих жен.

Гуттен. Знаю.

Лихорадка. А подружки их — нет, или так, самую малость, потому что любят одновременно многих: того за обходительность, этого за богатство, а иных за силу чресел.

Гуттен. Но если отыщется женщина, которая не делит свою любовь между многими, а неизменно любит лишь одного, она тоже будет напастью для дома?

Лихорадка. Разумеется, нет — если только отыщется, потому между содержанками такая женщина — настоящий феникс: раз уж она потеряла честь, сокровище невозвратимое,— что ей теперь распутство!

Гуттен. Ты хочешь сказать, что каждая из них махнула рукою на то, что однажды погублено и уже недосягаемо более?

Лихорадка. Вот именно. Вступив на это поприще, они потом никогда уже его не покидают и, нисколько не заблуждаясь насчет того, как дурно судят о них люди, вовсе перестают заботиться о добром имени — охотно извлекают пользу из своего позора, развлекаются, где только могут, ищут разнообразия. Утрата целомудрия не похожа ни на какую другую: в отличие от остальных утрат, ей можно найти приятное и забавное употребление.

Гуттен. Не забавное, а гнуснейшее!

Лихорадка. Не спорю. Во всяком случае, женщина, которая однажды уступит исканиям поклонника, считает, что даром потеряла свою честь, если тут же не приобретет целую толпу полюбовников: в потере целомудрия утешением служит лишь похоть, утоляемая со всеми подряд. Впрочем, иная бросается в эту беспорядочную жизнь просто потому, что одного мужчины ей не хватает, и тогда тот, кто находится с нею в связи, жестоко страдает от ревности.

Гуттен. А разве в брачной жизни не то же самое?

Лихорадка. Нередко то же самое: есть женщины, которые и замужем предаются греху, но они пополняют число потаскушек и лишаются права на достоинство матроны. Разумеется, честных жен от прелюбодеяния удерживает стыд, а сознание супружеского долга и забота о детях не дают им преступить известные границы. Потаскухам же все трын-трава, они живут, как хотят, и безмятежно развлекаются, но чем легче катятся они по этой дорожке, тем горше приходится их возлюбленным,

которые жалким образом мучаются, видя, что ими пренебрегают, несмотря на великий ущерб, который они несут.

Гуттен. Ущерб? Какой же это?

Лихорадка. Весьма многообразный. Не говоря уже о том, что они губят душу, самую возвышенную и благородную часть своего существа, они должны,—если хотят угодить подружкам,— жить на широкую ногу, роскошно одеваться,не думая о затратах, и в необузданных любовных битвах расточать свои силы вплоть до полного изнеможения. И, наконец,каждый из них без колебаний ставит на карту здравый смысл и проигрывает его.

Гуттен. Стало быть, те, кто греет своих милашек, теряют и губят все?

Лихорадка. Ежели они доподлинно увлечены — право, не соображу, что им удается сохранить.

Гуттен. Еще немного — и я назову их несчастными.

Лихорадка. Назовешь! Да разве есть люди несчастнее тех, которые, принося столь частые и столь тяжелые жертвы, не знают, что такое покой, что такое мир и довольство, ибо не видят вокруг себя ни одной преданной души?!

Гуттен. Верно, среди многочисленной поповской челяди не найти человека, который был бы предан своему хозяину. А какие заботы не дают им покоя?

Лихорадка. И не перечесть! Но не буду многословной — вот как описал муки любви Плавт. Влюбленный говорит у него:

«Я в страданьях душевных стою выше всех
И не знаю соперников вовсе.
И колотит, и бьет, и терзает, и жжет,
И вертит на любовном меня колесе,
И лишает дыханья, уносит стремглав,
Раздирает на части и рвет на клочки.
До того мои мысли в тумане:
Там, где я, нет меня,
А где нет, там — душой.
Таковы настроенья: что нравится мне,
Вдруг не нравится больше! Настолько Амур
Над усталой душою смеется:
И хватает, и гонит, и держит ее,
И манит, и сулит; что дает, не дает;
Издевается: чуть присоветует что,
Рассоветовав, снова манит им» [1].

[1] Перевод А. В. Артюшкова. *(Ред.)*

Это, по-моему, и вообще-то верно сказано, но особенно справедливо — применительно к нашим духовным. Во-первых, они изнывают от того, что, хотя сами любят безумно, взаимной любви добиться не могут, а если уж им и отвечают взаимностью, почти всегда приходится делить это чувство с другими. А ведь любовь соучастников не терпит, и потому каждый испытывает особенно сильную тревогу, видя свою полюбовницу в обществе людей, которые не способны любить только одну. Если подружка от природы вспыльчива и не слишком приветлива, ее покровитель огорчается оттого, что даже внешне или на словах она отказывается ему угождать; если же нрав у нее самый что ни на есть ласковый и приветливый, рождается подозрение и даже страх и уверенность, что, мол, все это — одно притворство. Вот и мой хозяин всякий раз, когда девчонка ласково ему улыбалась, обнимала его или крепко целовала, со вздохом говорил: «Ох, моя Эльза, если бы ты не притворялась и любила меня всей душой!..» А та в ответ: «С чего ты взял, будто я не люблю тебя всей душой? Вот как ты обо мне понимаешь?!» Тогда он начинает попрекать ее одним из тех юношей, которые что ни день являлись к нему в дом и иной раз целовались или еще как-нибудь шалили с хозяюшкой, а хозяин все замечал. Тут поднимается крик, брань, а не то — и упорная, нешуточная ссора. Она кричит, что-де столько времени прожила с ним душа в душу, но, оказывается, ничего, кроме дурного мнения, не заслужила. Подозрительные да коварные — все их поповское племя таково! Вот они, его посулы, вот они, заманчивые обещания, на которые он был так щедр, вот она, благодарность за то, что она, хоть и могла вступить в связь с князьями и хоть благосклонности ее домогались люди несметно богатые, все же предпочла его, одному лишь ему подарила свою страсть, свои шутки и забавы, свою жизнь, наконец! «О, ты был мне так дорог, что я отказалась выйти замуж за того богатого юношу (ты помнишь?) — лишь бы остаться с тобою: пусть цветок моей юности,— думала я,— который распустился у тебя в доме, здесь же и увянет. Укажи мне во всем нашем городе еще одну женщину, которая бы так верно любила, так неусыпно блюла дом и заботилась о хозяйстве. Что другие расточают — я приумножила, что другие губят — сберегла». И здесь хитрющая баба разражается рыданиями, да такими, что выжимает слезы и из этого несчастного, — столь далек он от мысли об обмане.

Гуттен. Значит, она не такова, какою хотела себя изобразить?

Лихорадка. Сейчас услышишь, какая она. У нее было еще десять полюбовников, но она так незаметно обделывала свои делишки, что не раз собирала всех вместе у себя, за одним столом. Как ей втемяшится в голову эдакая блажь, она, под разными предлогами, заставляет своего попа приглашать их в дом: одни-де играют на лютнях и флейтах и сочиняют стихи, те — искусные танцоры, эти — остроумные собеседники, словом — ей необходимы все. Если же кто-нибудь из них оказывался не таким уже тонким знатоком в своем искусстве, тем не менее, благодаря ее рекомендации, он быстро преуспевал, и нередко она поселяла в хозяине твердое убеждение, будто тот или иной из их гостей — величайший знаток в делах, о которых этот «знаток» не имел, по существу, ни малейшего представления: всякий, кто ей нравился, был человеком полезным и нужным. Впрочем, обходилась она с ними неодинаково: от одних принимала подарки, других сама одаряла, но прежде всего — опустошала дом.

Гуттен. Это уж была, насколько я могу судить, вторая степень несчастия.

Лихорадка. Пожалуй, если только терять внешние блага — действительно несчастие. Она жестоко обирала попа — крала вино и отмеряла столько хлеба, сколько бог на душу положит; в предместье у нее был домик, куда она свозила то, что хотела сохранить, а в домике — старуха, весьма и весьма опытная в делах любви, которая вербовала все новых полюбовников, чуть только заприметит красивого юношу или богача с особенно толстой мошною, будь то чужеземец или земляк, без разбору.

Гуттен. По-видимому, его несчастие было скорее в том, что, лелея и холя эту чуму, он наносил такой непоправимый урон своему имуществу, нежели в том, что не мог пробудить у возлюбленной чувства взаимности. Он верил, что его любят. и этого достаточно: как в иных делах, так и в любви многое решает вера.

Лихорадка. Ты прав, но следует принять в рассуждение, что чем более счастливым почитает себя человек, тем сильнее страшится, как бы непредвиденное стечение обстоятельств не оборвало ту любовь, в которой он сам же себя убедил. Вот и мой куртизан, как начал хворать,— прежде я его трясла...

Гуттен. Так-то губишь ты мужей у жен!

Лихорадка. Не перебивай меня! Прежде я его трясла, потом камень пошел, потом другие недуги один за другим,— да как увидел, что ему теперь девчонку нипочем не ублаго-

творить, тут уже любой посетитель, любое приветствие, объятие, кивок, даже взгляд стали приводить его в трепет: он боялся, что кто-нибудь воспользуется его болезнью и сманит подружку.

Гуттен. Я уверен, он охотно замкнул бы ее в башню Данаи.

Лихорадка. Наоборот, он изо всех сил старался ей угодить, а она вовсе не желала сидеть взаперти, но любила многолюдное общество и считала себя пребывающей в одиночестве, если к обеду приглашали всего трех или четырех здоровенных парней. Замечая это (ведь требовалось до тонкостей изучить ее нрав, чтобы заранее угадывать все ее желания), он часто устраивал пирушки и отовсюду созывал записных весельчаков и острословов, чтобы как-то поправить свои дела. «Не грусти, моя Эльза, и пока развлекайся вот этим»,— говорил он, бывало, суля ей на будущее, когда поправится, жизнь поистине блаженную.

Гуттен. И он не видел, что тем временем его дом грабят и разоряют?

Лихорадка. Влюбленные ничего не видят — их бог слеп.

Гуттен. И ни о чем не подозревал?

Лихорадка. Меньше, чем любой мальчишка.

Гуттен. Надо было его предупредить...

Лихорадка. Он бы не услышал, ибо, как говорит Менандр, «φύσει ἔρως τοῦ γουθετοῦντος κωφός»[1].

Гуттен. О, безумные феспийцы! В честь Амура, от которого такие бедствия, они еще устраивали игры, словно в честь самого Юпитера!

Лихорадка. Эти бедствия выпадают на долю тех, кто любит неправо, кто восхищается лишь телесною красотою; а с φιλόκαλοι, иначе говоря — влюбленными достойно, бывает по-иному.

Гуттен. Ты говоришь о тех, кто любит своих жен?

Лихорадка. Во всяком случае — о некоторых из них.

Гуттен. По-моему, это страшная мука — любить то, что недостойно любви, и все же чувствовать себя вынужденным любить!

Лихорадка. Прибавь — любить до потери рассудка.

Гуттен. Но что это за помешательство? Ведь они сходят с ума, да и только!

---

[1] «любовь от природы глуха к увещаниям» *(греч.)*.

Лихорадка. Разве ты забыл, что Амур — мальчишка, и потому по-мальчишески ведут себя влюбленные, он легкомыслен и крылат, и потому все, кто любит, должны распроститься со строгой внушительностью.

Гуттен. И как мальчишек радуют орехи, но не радует золото, так же точно и влюбленные гоняются бог знает за какими пустяками, махнув рукой на здоровье, благополучие, друзей, имущество, дом, честь, людскую молву и на все то, чего следует добиваться, не щадя сил. Верно?

Лихорадка. Ты попал не в бровь, а в глаз! Они так дорожат своими ночами, пирами да забавами, что ни о чем благопристойном даже не вспоминают, ни на миг не задумываются о собственной выгоде.

Гуттен. Но у них есть одно преимущество: они постоянно любят, а стало быть,— неизменно молоды и проводят жизнь как нельзя более весело.

Лихорадка. Ты хочешь сказать — неизменно глупы и проводят всю жизнь, погрязая в заблуждении, и никогда не стоят твердо на ногах, но, как говорил Сенека, только и делают, что начинают жить сначала. Вся эта порода, исключая лишь очень немногих, закоснела и оцепенела в своей праздности.

Гуттен. Значит, по-твоему, толком устроить жизнь может лишь тот, кто взял себе жену?

Лихорадка. Разумеется, люди женатые устроены как следует.

Гуттен. И ты хочешь, чтобы я женился?

Лихорадка. Нет, не хочу.

Гуттен. Стало быть, ты не хочешь, чтобы я устроил свою жизнь?

Лихорадка. Нет, хочу, но по-другому.

Гуттен. Взять в дом подружку?

Лихорадка. Ни в коем случае! Просто — оставайся холостяком.

Гуттен. Это мне не по душе. Но объясни, почему ты не велишь мне жениться?

Лихорадка. Во-первых — соблюдая твои интересы, ибо жена будет докучать тебе, лишит покоя и помешает твоим занятиям; а поскольку касается меня, я не хочу этого потому, что жены терпеть не могут лихорадку и всячески стараются не допустить ее к мужьям, о здоровье которых они тревожатся больше, чем нужно.

Гуттен. То, что ты сказала, делает брак еще более желанным для меня. Однако продолжай о влюбленных.

Лихорадка. Они бросают все самое важное ради вздора, но даже вздор этот никогда не дается им в руки целиком: если иной раз и посчастливится попам вкусить от вожделенных радостей любви, то счастье (вот только можно ли назвать это счастьем?) бывает непродолжительно, а уж нераздельным его никак не назовешь, ибо подружка, обнимая одного, уже думает о другом. По-настоящему же такие женщины не любят никого, всемерно стараясь лишь о том, чтобы как можно больше полюбовников разделили с ними ложе; и они по-своему правы: видя, что юность стремительно убегает, они то и дело считают годы и нередко корят себя за то, что слишком мало было у них «добрых друзей»; ни к чему не относятся они так бережно, как ко времени, в особенности — в тех случаях, когда это сопряжено с наживой, потому что торгуют своей благосклонностью и за деньги готовы на все.

Гуттен. Но скажи мне, деньги привлекают их больше, чем красота, верно?

Лихорадка. Тех, кто поумнее,— больше, а кто любит без оглядки, не думая о выгоде, сами соблазняют подарками красивых мужчин.

Гуттен. Я должен сделать вывод, что есть два вида гулящих девчонок: первые заботятся о выгоде, вторые — о наслаждениях.

Лихорадка. Прибавь сюда третий вид — тех, кто ни того, ни другого из виду не упускает.

Гуттен. Как, например, эта Эльза твоего хозяина, которая у иных брала, иных одаряла, тех нежно любила за красоту, этих — за деньги?

Лихорадка. Как бесчисленное множество других. И я видела несчастных попов, которые тряслись от страха всякий раз, когда речь заходила о человеке богатом или вспоминали какого-нибудь красавчика.

Гуттен. И я тоже видел, хотя и не всё, что можно было бы увидеть.

Лихорадка. А еще сильнее пугается священник, если привлекательный юноша или человек с туго набитою мошной приходит к нему в дом.

Гуттен. И недаром — если верно, что в любви так много значит счастливый случай.

Лихорадка. Если послушать жителей Эгиры — то даже больше, чем красота: ведь эгирцы, как известно, чтили Амура, бога любви, и Фортуну, богиню счастливого случая, под одною кровлей.

Гуттен. Почему же твой куртизан не выгнал ее вон, зная обо всех ее проделках?

Лихорадка. Охотно выгнал бы, если бы посмел.

Гуттен. Я вижу, что попы боятся своих полюбовниц.

Лихорадка. Еще как! Больше, чем граждане — самого жестокого тирана.

Гуттен. И не могут от них избавиться, как ни мало удовлетворения приносит им такое сожительство?

Лихорадка. Пожалуй, и смогли бы — да любовь мешает.

Гуттен. Жалкое положение, как послушаешь: что им на пользу, того не могут, что во вред — приходится терпеть. Однако объясни мне, почему они так боятся своих подружек?

Лихорадка. Боятся их гнева — брани, обличений, попреков, холодности.

Гуттен. Неужели это способно нагнать на них столько страху?

Лихорадка. Да, способно, Гуттен; ведь иной раз потаскушки, распалившись, выдают то, что попам хотелось бы сохранить в тайне: кое-какие особенно непристойные шуточки либо те слова и поступки, которые были сказаны или совершены в их присутствии и признаться в которых мешает стыд.

Гуттен. Но разве мужья не боятся своих жен подобным же образом?

Лихорадка. Это совсем другое дело. К запретной любви почти всегда примешан тот самый страх, в силу которого Геркулес страшился Омфалы и повиновался ей во всем, меж тем как Деяниры не боялся и за прялкой у нее не сидел.

Гуттен. «Ἀπὸ γυναικὸς ἄρχεσθαι ὕβρις ἀνδρὶ ἐσχάτη»[1], как сказал Демокрит. Если даже в браке такое положение представлялось ему величайшим позором, что же сказать о наших распутниках?! И как, напротив, безопасна любовь в браке, где взаимные узы, связывающие супругов, не дают этому страху поднять голову!

Лихорадка. А ты все-таки не женись.

Гуттен. Ну, уж об этом я как-нибудь сам позабочусь. Продолжай!

Лихорадка. Так они силой вымогают золото, новые наряды, ожерелья, служанок и все прочее в том же роде, угрожая, что уйдут к другому, если желание их не будет исполнено. Иной, особенно горячий, поп не стерпит и вступит с женщиной

[1] «Быть под началом у жены — величайший срам для мужа» *(греч.)*.

в перебранку, а не то (бывают и такие влюбленные)даже прибьет; тут она: «Ты разве забыл, что мне кое-что известно? Сейчас же все выдам и разглашу!» — и с этими словами бежит вон из дому, повергая «дружка» в неописуемый страх: он-то знает, что слово у нее с делом не разойдется — стоит ей только захотеть... Наша Эльза каждый день донимала моего куртизана все новыми требованиями: то у других женщин платья лучше, чем у нее, то такая-то, мол, вся в кольцах и драгоценных камнях, и двадцать служанок в ее распоряжении, а она, Эльза,— одна во всем городе! — выходит на улицу без провожатых и без украшений! И чтобы ее ублаготворить, он — если денег не было — просил в долг у друзей, или продавал вино или хлеб, или занимал у евреев под проценты.

Гуттен. Этак и разориться недолго, ей-богу!

Лихорадка. Да что, — я видывала и таких, которые, чтобы поднести полюбовнице подарочек, воровали, грабили храмы божии,— как недавно один монах, спутавшийся с очень дорогой шлюхой и перетаскавший ей немало золота и серебра из ризницы.

Гуттен. Господи ты боже мой! Неужели и братия туда же?

Лихорадка. Братия! Как будто она хоть в чем-то уступает моему куртизану!.. Я видела среди духовных и лжесвидетелей, и отравителей, и изменников, и других отчаянных преступников.

Гуттен. Да, конечно, у тех, кто знает за собой подобные грехи, любовь всегда сопровождается мучительным страхом... Но если у них есть тайны, разглашения которых они боятся, почему бы им не скрыть эти тайны от своих полюбовниц?

Лихорадка. Да потому, что они любят, а влюбленный не в силах что бы то ни было скрыть: ведь Купидон-то наг.

Гуттен. Стало быть, у тех, кто влюблен, нет никаких секретов?

Лихорадка. У тех, о ком мы сейчас говорим,— никаких.

Гуттен. К величайшему для них ущербу, я полагаю. Такая любовь — дело опасное.

Лихорадка. Верно, потому что полюбовницы непостоянны, а угрызений совести они не боятся — вот и выбалтывают первому встречному все, что слышали и видели: одни —потому что молчание вообще не свойственно их полу, другие — в угоду тому, с кем они беседуют, а иные — из ненависти к тем, о ком

идет речь, если те их раздосадовали и разозлили; особенно часто это случается, когда подружку выгоняют из дому.

Гуттен. Вот теперь ты толково объяснила мне, почему попы не решаются их выгнать, и теперь мне до конца понятно, как жестоко бедствуют те, кто в собственном доме терпит такие притеснения. Мне даже начинает казаться, что ни в одном своем слове, ни в одном поступке они не свободны,— все делают с оглядкою на женщин.

Лихорадка. И друзей заводят, и враждуют, сообразуясь с их желаниями!

Гуттен. И нередко несут большие убытки — лишь бы им угодить!

Лихорадка. И бросаются вдогонку за сущим вздором, забывши о делах и обязанностях!

Гуттен. И религию в ломаный грош не ставят!

Лихорадка. И правда и неправда — для них все едино!

Гуттен. А иные — так даже и женятся на своих полюбовницах.

Лихорадка. Или еще как-нибудь изменяют приличествующий им устав жизни, разумеется — к худшему.

Гуттен. И с легкостью идут на любое преступление.

Лихорадка. Мало того, бросаются стремглав, лишь только почуют какую-нибудь мерзость.

Гуттен. Сколь же мало подобает такая жизнь священникам, которые должны быть настолько поглощены заботами о духовном, чтобы все мирское отступало назад и меркло! Какой страшный грех — отдаваться пустякам настолько, чтобы уже и не помышлять о духовном. Впрочем, нет — помышляют: домогаясь духовных должностей, они отправляются в Рим и там служат службы, зачастую самые унизительные.

Лихорадка. И это не ради духа — чтобы сделаться лучше, но ради должности — чтобы разбогатеть.

Гуттен. Значит, о достатке они пекутся, а о чистоте духовной не заботятся?

Лихорадка. На деле — нисколько, но звания духовной особы ищут весьма настойчиво: ведь оно приносит доход, и немалый. Да разве ты сам не видишь, как много ничтожных плутов прячется за этим прикрытием?

Гуттен. Нет, теперь вижу.

Лихорадка. Только благодаря моим заботам.

Гуттен. Не спорю.

Лихорадка. Значит, впустишь меня?

Гуттен. Этого я еще не решил.

Лихорадка. Все еще не решил? Я оделяю тебя мудростью, а ты настолько неблагодарен, что отказываешь мне в гостеприимстве?!

Гуттен. Да, потому что не в силах терпеть твое соседство. Впрочем, уже давно нашелся бы человек, который принял бы тебя под свой кров, если бы, наряду с добром, ты не рождала так много зла.

Лихорадка. Сколько же это?

Гуттен. Да столько, что мне, пожалуй, не снести.

Лихорадка. Ишь каким он сделался неженкой! А ведь прежде готов был что угодно вынести ради мудрости!

Гуттен. Меня ты уже достаточно просветила, теперь иди наставлять попов, чтобы они вернулись на путь истинный. А то я не вижу у них ничего общего с Христом.

Лихорадка. Я тебе говорила, бед у них и так предостаточно, и для лихорадки места не осталось. А Юпитер, узнав недавно о том, как живут попы со своими полюбовницами, так прямо и сказал: «Пусть это будет им вместо лихорадки»; и велел мне проситься к другим хозяевам.

Гуттен. К каким «другим»?

Лихорадка. Раньше всего — к тебе, а если тебе это придется не по нраву,— к купцам и к тем горожанам, которые любят весело пожить.

Гуттен А когда Юпитер с тобою беседовал, он не говорил, как он относится к постановлению папы Каллиста, которое лишает духовных особ права заключать браки? Одобрял ли он то обстоятельство, что заповеданные им порядки супружеской жизни сменились беспорядочным распутством?

Лихорадка. Нет, не одобрял. Мало того — вопрос обсуждался в совете богов без его ведома и решение было принято в его отсутствие, и он полагает, что этот декрет подлежит отмене: пусть, как и встарь, священники женятся, дабы не касались они святыни нечистыми помыслами и руками, восстав с ложа блудницы.

Гуттен. Я разделяю это мнение уже потому хотя бы, что оно вновь открывает тебе дорогу к попам: пока они не расстанутся с потаскушками, Лихорадке, насколько я могу судить, делать у них нечего.

Лихорадка. Верно — и потому, что Юпитер запрещает, и потому, что там и без меня хворей в избытке.

Гуттен. Наверное — от пьянства?

Лихорадка. И от блуда: ведь их подружки, корысти ради, путаются со всякими больными — будь то прокаженные,

будь то страдающие водянкой, французской болезнью или еще чем-нибудь,— а потом тащат эти недуги домой и награждают ими своих полюбовников...

Гуттен. ...что составляет немалую долю в их бедствиях.

Лихорадка. Ты прав — немалую.

Гуттен. А тех, у кого нет сожительниц, ты тоже не трогаешь?

Лихорадка. Тоже, потому что они страдают от алчности — болезни несравненно более тяжелой, чем все прочие.

Гуттен. Ну, а те, кто и алчностью не страдает, как ты обходишься с ними?

Лихорадка. Это бедняки, а к нужде я и близко не подхожу.

Гуттен. Какие ты только основания не приводишь, чтобы остаться со мною! Ничего не выйдет — не останешься!

Лихорадка. Значит, и мудрость не останется.

Гуттен. Кто ж прикажет ей уйти?

Лихорадка. Твоя похоть, которую лишь я одна умею обуздывать.

Гуттен. Ты умаляешь крепость тела.

Лихорадка. Я умножаю бодрость духа.

Гуттен. Ты разжижаешь кровь.

Лихорадка. Я гашу вожделение.

Гуттен. Ты обессиливаешь сердце.

Лихорадка. Я оживляю ум.

Гуттен. Ты приводишь с собой страдания.

Лихорадка. Я изгоняю роскошь.

Гуттен. Как?! Разве не ты столь часто мешаешь людям совершать похвальные деяния?

Лихорадка. Как?! Разве не я столь многим помешала согрешить?

Гуттен. Если этак рассуждать, всякая болезнь — благо, потому что, как и ты, делает тело немощным и истощает силы.

Лихорадка. Ничего подобного! Есть недуги зловонные, от которых все бегут, другие обезображивают человека язвами и вырывают целые куски плоти, третьи стягивают сухожилия, обращая больного в хромца. Все это лихорадке не свойственно.

Гуттен. Ты лжешь! Некоторые лихорадки тоже приводят за собою подобные уродства, а если не их, то уж, во всяком случае, худобу, бледность и даже самое смерть в непродолжительном времени.

Л и х о р а д к а. Что касается смерти, вот тебе мой ответ: кто умеет лечить меня, тот не умирает. А худоба и бледность — разве это уродства?

Г у т т е н. По-моему, да.

Л и х о р а д к а. Стало быть, тебе нужно такое брюхо, словно его водянкой раздуло, и такие красные щеки, чтобы никто не верил, что ты прилежно занимаешься науками?

Г у т т е н. Ох, и тонкая же штука Лихорадка! Но меня не уговоришь: я не пожелаю сделаться бледным из горячей любви к наукам.

Л и х о р а д к а. А ведь когда-то мечтал, чтобы наставники называли тебя прилежным, теперь же главная забота у тебя — румянец, чтобы женщины не разлюбили! Но ты заблуждаешься: они еще сильнее полюбят, полагая, будто твоя бледность — плод усердных занятий.

Г у т т е н. О ком ты толкуешь?

Л и х о р а д к а. О тех женщинах, что ценят в мужчине дарование.

Г у т т е н. Дарование? Да где ты видела таких женщин, которые ценят дарование?! Им красоту подавай, богатство!

Л и х о р а д к а. Ты судишь до крайности безрассудно — потому лишь, бесспорно, что не подпускаешь к себе лихорадку. Знай, женщина с подозрением глядит на красивого мужчину — разве только она слишком молода или неопытна и еще не понимает, что́ нужно любить, а женщины благоразумные любят то, что заключено в душе, на внешность же не смотрят.

Г у т т е н. Зато смотрят на богатство!

Л и х о р а д к а. Ну, этим недугом ваш пол страдает в такой же мере.

Г у т т е н. Вот я и боюсь, как бы мне совсем не остаться без жены: богатства у меня нет, а если к тому же ты меня еще и изуродуешь, ничего, кроме презрения, мне не видать.

Л и х о р а д к а. Если я тебя изуродую? Значит, уродливы любовники, чьи лица покрыты бледностью? Так-то ты помнишь слова Овидия:

«Но да бледнеет влюбленный, любовникам бледность пристала».

Г у т т е н. Да, запамятовал... Но я тебе одно хочу сказать: не надо мне ни любви, ни бледности. А из твоих «даров» больше всего я боюсь немощи.

Л и х о р а д к а. Да я нисколько не уменьшу твоих сил — я буду четырехдневной.

Г у т т е н. Ах так? Четырехдневной? Нет, не хочу.

Лихорадка. Это потому, что ты забыл, как обо мне в книгах пишут: с кем я однажды поживу в четырехдневном обличии, тот станет здоровым и крепким, как никогда прежде.

Гуттен. Со мною ты уже раз жила и обещания своего не сдержала. Как же тебе после этого верить?

Лихорадка. В то время у тебя были еще другие болезни, мне приходилось делить с ними власть. А теперь я буду одна, и уж я придам бодрости твоему жалкому телу!

Гуттен. Каким же это образом?

Лихорадка. Во-первых, сделаю его стройным и проворным,— а то ты уже начинаешь жиреть и скоро тебя будут считать человеком праздным и ленивым. Далее — сообщу лицу выражение строгое и серьезное, дабы отвести от тебя всякое подозрение в легкомыслии: скажу прямо, мне не нравится, что ты слишком много смеешься и шутишь.

Гуттен. Хочешь отнять у меня шутку, украсть смех — вот оно что!.. Иначе говоря — лишить всего, что нравится женщинам?! Ну, смотри же: эти двери для тебя закрыты наглухо! Читай надпись! *Пошла прочь, Лихорадка!*

Лихорадка. Не горячись. И то и другое к тебе вернется, когда ты снова наберешься сил с моей помощью.

Гуттен. А пока буду чахнуть целых шесть месяцев, как в тот раз, да?

Лихорадка. Ты бы уж дал мне двенадцать — год целиком, хочу я сказать,— тогда я сделаю тебя доподлинно мудрым, угасив ту похоть, которая так давно преграждает тебе путь к истинной мудрости.

Гуттен. Пошла прочь, Лихорадка, пошла прочь, Лихорадка!

Лихорадка. Не кричи, сейчас уйду к водохлебам.

Гуттен. Пошла прочь, Лихорадка, пошла прочь! Я забываю о гостеприимстве всякий раз, как ты палишь меня своим огнем. Пошла прочь!

Лихорадка. Ну, перестань кричать. Я уже ухожу, а вон и купец, охотник знатно попировать, который, наверное, не откажет мне в приюте: у него после вчерашней попойки желудок расстроен — никак съеденного не переварит. Там и поселюсь.

Гуттен. За ним, пожалуй, лекари смотрят...

Лихорадка. Смотрят, но — из тех неотесанных болванов, которые ежедневно потчуют больного аравийскими диковинами или плодами Индии.

Гуттен А чем он им отвечает?

Лихорадка. По-царски пышными пирами о двадцати переменах — куропатками, дроздами, павлинами, фазанами, рыбой, устрицами и другими яствами, что идут на вес золота.

Гуттен. Но тогда они сами подпадают твоей власти, не правда ли?

Лихорадка Разумеется, и я за ними зорко гляжу.

Гуттен. Хочешь доставить мне удовольствие — истреби сотню-другую этих людишек!.. Но разве, бражничая подобным образом, они не наставляют своих пациентов, как уберечься от болезни?

Лихорадка. Наставляют, и даже слишком ретиво,— и к немалому для тех ущербу: предписывают жить по правилам врачебной науки.

Гуттен. А пьянство не возбраняется?

Лихорадка. Вообще-то возбраняется, но к пациенту, нарушающему запрет, относятся снисходительно, понимая, что если он перестанет пить, иные лекари, глядишь, голодать начнут. Они думают лишь о прибытках и, понятное дело, охотно закрывают на это глаза. Сам посуди: откуда брали бы лекари средства к жизни, если бы не было болезней?

Гуттен. Пришлось бы им землю копать.

Лихорадка. Значит, они бы уже не были лекарями.

Гуттен. Так были бы землекопами, и, право, Германия бы только выиграла, если, с помощью ревеня и колоквинта, вывести разом всю эту лекарствующую братию.

Лихорадка. Как? И твоего Штромера, и Копа, и Эбеля, и Рития, и еще нескольких друзей, которые тебе дороги?

Гуттен. Нет, их — нет, они люди порядочные, и как раз по этой причине далеко не всегда занимаются медициной.

Лихорадка. Они стали бы еще порядочнее, если бы взяли чемерицы — фунтов этак двенадцать, не меньше,— приготовили отвар, да и влили бы тебе в глотку.

Гуттен. К чему так много, Лихорадушка?

Лихорадка. Надо изгнать твое безумие, чтобы ты о женитьбе и думать позабыл! Человек, созданный для ученых занятий, хочет взять себе жену, которая отнимет у него покой и в стремлении к мудрости будет видеть лишь помеху супружескому счастью!

Гуттен. Жениться я еще не решил, но если бы даже и женился, никакой ошибки в том не нахожу. А чемерица нужна, по-моему, тебе, чтобы избавиться от того безумия, которое ты приносишь другим.

Лихорадка. Нет, я приношу усердие, прилежание.

Гуттен. Пошла прочь, Лихорадка, пошла прочь, Лихорадка!

Лихорадка. Не кричи, не будет у тебя лихорадки, но ее место займут другие болезни.

Гуттен. Пошла прочь, Лихорадка! Ибо поистине безумны те, для кого не существует ничего, кроме наук.

Лихорадка. Такими словами ты восстановишь против себя ученых, в особенности — богословов.

Гуттен. Ни один здравомыслящий человек на меня не рассердится.

Лихорадка. Но все они считают себя здравомыслящими.

Гуттен. Это они-то, у кого ты так опорожнила голову, что мозга и на пол-унции не наскрести?!

Лихорадка. Ну погоди, твой мозг, такой убогий, но злоречивый, я высосу до капельки,— дай только через порог шагнуть.

Гуттен. Об этом я уже позаботился, а потому — убирайся, пустомеля!

Лихорадка. Да я еще и трех слов не сказала!

Гуттен. Ну да, трех слов! А губительное общение с тобой, а твои басни, которым конца не видно?! Убирайся к попам, к развратникам, к пьяницам, к Фуггерам, к купцам, к лекарю, а если хочешь — начни с писцов Максимилиана.

Лихорадка. Это те, что бог знает как нажились при его дворе и теперь предаются пьянству и всевозможным утехам, чванясь своим богатством?

Гуттен. Они самые, к ним и убирайся или еще к кому-нибудь, только от меня отвяжись.

Лихорадка. Ухожу, ухожу. Прощай.

Гуттен. Эй, ты, постой, я хотел спросить тебя...

Лихорадка. Я ведь знала, что Лихорадка тебе нужна!

Гуттен. Только для того, чтобы получить ответ на один вопрос.

Лихорадка. Какой вопрос?

Гуттен. Скажи мне, что за корень у этой поповской развращенности?

Лихорадка. Праздность, и ее кормилица — богатство.

Гуттен. А если Германия примет здравое решение и, лишив их части имущества, прикажет возделывать пашню и в

поте лица своего, как другие, снискивать себе пропитание,— будут тогда у немцев добропорядочные священники?

Лихорадка. Вместо меня тебе ответит Овидий:

«Если досугу конец, ломается лук Купидона».

А в другом месте тот же поэт называет богатство источником зла.

Гуттен. Скажи теперь, ты думаешь, что немцы когда-нибудь на это решатся?

Лихорадка. А почему бы мне думать иначе?

Гуттен. Но когда же, наконец, когда?

Лихорадка. Уже недолго осталось: скоро они откажутся тащить на своей спине эти тысячи и тысячи попов — племя праздное и в большинстве своем никчемное, способное лишь пожинать плоды чужих трудов. Сто́ит ценам подняться — и в один прекрасный день честные труженики вознегодуют, видя, как то, что по праву принадлежит им, беззаботно проматывают утопающие в роскоши ленивцы.

Гуттен. Ты полагаешь, что, подобно пчелам, которые

«Трутней, скотину ленивую, в ульи свои не пускают»,—

те трудолюбивые и незаменимые решительно изгонят бездельников — людей для государства не только бесполезных, но даже опасных?

Лихорадка. Вот именно.

Гуттен. Однако они оправдывают свою праздность, уверяя, будто бездельничают мудрости ради, и ссылаясь на Аристотеля, который учит, что в тишине и покое душа становится разумнее.

Лихорадка. Но по делам их каждый узнает, о каком досуге они пекутся!.. Честное слово, их до́лжно было бы терпеть, но лишь в том случае, если бы, следуя наставлению Плутарха, они употребляли покой и досуг на совершенствование в науках и разуме.

Гуттен. Правильно рассуждаешь, как я посмотрю.

Лихорадка. Так впусти же меня!

Гуттен. Я бы впустил, да в твоем совете нуждаются германские государи, чтобы поправить дела Империи, обратив те неисчислимые сокровища, что прикарманивают праздные попишки, частью на военные нужды, частью на поддержку ученых.

Лихорадка. Хочешь, чтобы Карл это сделал?

Гуттен. Если он сможет обойтись без лихорадки — хочу.

Лихорадка. А я думала, ты меня к Карлу пошлешь.

Гуттен. Нет, не пошлю и сам, вместо тебя, подам ему этот совет.

Лихорадка. Тогда попы станут призывать на тебя лихорадку.

Гуттен. А я на них — подагру, ишиас, ревматизм и такую язву, страшнее которой и не выдумаешь,— подружек!

Лихорадка. Тогда они тебя изведут.

Гуттен. Карл расправится с ними прежде, чем они узнают, что это я подсказал ему такое решение.

Лихорадка. Тебя, я вижу, ждет столько бед, что лихорадка уже ни к чему.

Гуттен. Ну, там поглядим, может быть, я сам охотно пойду навстречу беде, лишь бы император согласился...

Лихорадка. ...перебить попов?

Гуттен. Отнюдь! Пусть он заставит их расстаться с бездельем, покоем, праздностью, невоздержностью, ленью — самыми скверными в жизни пристрастиями, и быть воистину священниками, пекущимися о духовном и презирающими мирское; пусть, далее, внушит им, что нажива и благочестие — не одно и то же, пусть обуздает их страсть к роскоши и положит конец позорным нравам и привычкам.

Лихорадка. Но кто одобрит и поддержит такие действия?

Гуттен. Тот, кто сказал: «Священники твои облекутся правдою», написав о них в другом месте: «Ибо нет в устах их истины, сердце их пусто». А еще один великий муж восклицал: «Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих!»

Лихорадка. Мыслишь тонко и верно — а все благодаря мне!.. О чем, однако, ты хотел бы говорить в первую очередь, убеждая Карла принять твой совет?

Гуттен. Я призову его очистить пшеницу господню и заново возделать виноградник, о котором сказано было устами пророка: «Множество пастухов испортили мой виноградник, истоптали ногами участок мой». Затем я докажу, что только так он и должен поступить, если желает видеть Германию вкушающей мир и намерен воспрепятствовать негодяям почитаться людьми честными и порядочными. Недостойно доброго императора терпеливо смиряться с тем, что, к ущербу всего государства, никчемные людишки наслаждаются полной праздностью, и не просто наслаждаются, но еще и во всем без исключения главенствуют. Ты сама видишь, как надменно и нагло властвуют эти господа, которые, невзирая на крайнюю испорченность, отличающую бóльшую их часть, именуют себя цер-

ковью и, словно некие избранники божии, τοὺς κλήρους [1], меж тем как нет никого, чья жизнь была бы столь же противна и чужда Христу. Но благодаря этим титулам они вознеслись непомерно и ныне подчинили своей тирании даже великих государей, а христианский люд поко́рен им до такой степени, что самого последнего из духовных величает господином.

Л и х о р а д к а. Теперь я убедилась, что ты и впрямь человек достаточно искушенный и, стало быть, лихорадка тебе не нужна... Но все-таки сначала надо бы очистить Рим — рассадник этих злых бедствий.

Г у т т е н. Разумеется, надо бы.

Л и х о р а д к а. Ну, будь здоров.

Г у т т е н. Что это? Доброе пожелание?

Л и х о р а д к а. Нет, нет, я оговорилась. Будь всегда болен!

Г у т т е н. Ну, ты, вещунья негодная, убирайся к негодяям! А нас да хранит Христос.

ВАДИСК, ИЛИ РИМСКАЯ ТРОИЦА

Собеседники: Эрнгольд и Гуттен

Э р н г о л ь д. А, Гуттен! Наконец-то ты вернулся к нам из славного города Майнца, который ты любишь называть «золотым»!

Г у т т е н. Да, «золотым», потому что, на мой взгляд, среди всех германских городов нет равного Майнцу ни по выгодному местоположению, ни по здоровому климату: и воздух там хорош, как нигде, и место прекрасное — у слияния двух великих рек, Майна и Рейна, так что и путешествовать оттуда удобно, и ве́сти обо всех событиях, происходящих в Германии, очень быстро достигают его стен. К тому же я полагаю, что человеку, занимающемуся наукой, лучше всего жить именно в Майнце: всякий раз, как я туда возвращаюсь, стоит ему показаться вдали — и я уже чувствую себя бодрым и посвежевшим. Не было еще случая, чтобы в Майнце мне не хотелось читать или писать, наоборот, сколько я могу судить,— я пишу и читаю с таким удовольствием, какого не испытываю ни в каком ином городе во время ночных бдений.

Э р н г о л ь д. Все это мне отлично известно, но я подозревал, что ты называешь Майнц золотым по другой причине.

---

[1] Здесь: избранными по жребию *(греч.)*.

Гуттен. По какой же это?

Эрнгольд. А по той, что у тамошних священников много золота, и они служат ему усерднее, чем самим святыням.

Гуттен. Ну, в таком случае я бы уж скорее всего назвал золотым ваш Франкфурт: золота здесь у людей вдосталь, и оно в таком ходу, как, пожалуй, нигде в мире. Отовсюду, даже из самых дальних стран, съезжаются к вам купцы с товарами и за товарами. Здесь они отдают на хранение свои деньги, здесь — целые горы золота в банке Фуггеров. Нет, Майнц я назвал золотым потому, что так принято говорить о вещах замечательных, которые нам особенно милы и, следовательно, чрезвычайно дороги.

Эрнгольд. Но тогда почему бы тебе не назвать его «жемчужным»?

Гуттен. Да как-то в голову не пришло. Впрочем, не следует упускать из виду, что не я придумал это прозвище, оно было в употреблении еще у древних, подобно тому как Кельн звали «счастливым». Вот Майнц по сю пору и удерживает свое старое наименование.

Эрнгольд. Верно, говорят и так, но разве ты не слышал старинного изречения: «Майнц — искони плутоват»?

Гуттен. Я говорю о месте, а не о людях. О них и спорить не стоит: ведь теперь Майнц населяет не какое-то особое племя, как было прежде, независимости нет и в помине, и вообще от старых порядков ничего не осталось.

Эрнгольд. Ладно, хватит нам тревожить старину. Расскажи лучше, какие добрые вести ты с собою привез.

Гуттен. Вести-то я привез, но совсем не добрые.

Эрнгольд. Вот как? Что же тебя так разогорчило в твоем золотом городе?

Гуттен. Разные разности. Но, знаешь,— мне вспоминается одна веселая история.

Эрнгольд. Какая?

Гуттен. Говорят, что в Кельне умер какой-то старикашка поп, богач из богачей, но страшная жадина.

Эрнгольд. И это тебя так уж сильно развеселило?

Гуттен. Не это, а то, с какой неохотой он расставался с жизнью. За десять дней до смерти он велел принести свое золото и остальные сокровища, сложил их у себя в головах и все поглядывал на них, точно собирался унести с собой на тот свет. Потом попросил созвать отовсюду врачей и сулил им денег без счета, если снова подымут его на ноги; видя, однако, что его песенка спета, горько зарыдал и пал духом, но все же то

и дело требовал, чтобы ему показывали его драгоценности, читали счетные книги и выводили проценты. Рассказывают, что уже в агонии он, не переставая, вопил: «О мое золото! О мои владенья! О мои бенефиции!» и с лютой ненавистью смотрел на тех, кто стоял вокруг его постели: он знал, что не успеет он умереть, как они растащат все его добро и даже словом благодарности не обмолвятся. Уж и глаза закатились, и тело начало холодеть,— а он все еще, до самого последнего вздоха, обеими руками прижимал к груди свои сокровища... Кого не развеселит такая кончина? И кто пожалеет человека, который так жил и так умер?!

Эрнгольд. Только не я! Ты совершенно прав, и я молю бога, чтобы все скряги с чувством величайшей тоски и в самых горьких муках теряли то, что им дороже всего на свете. Будь я рядом с тем умирающим, я бы схватил ларец или шкатулку с монетами и гремел бы у него под ухом до самой последней минуты. Какая тут может быть жалость?!

Гуттен. Верно! И я бы поступил не иначе, изо всех сил стараясь довести его до бешенства.

Эрнгольд. И правильно бы сделал. Однако что у тебя за огорчения?

Гуттен. Недавно в Риме издали историка Корнелия Тацита с пятью вновь обнаруженными книгами, но когда я дал это издание печатнику и попросил перепечатать, он отказался, сославшись на буллу Льва Десятого, в которой перепечатка Тацита запрещается на десять лет.

Эрнгольд. Стало быть, Германия десять лет не сможет его прочесть?! Ведь книги из Рима привозят сюда так редко!

Гуттен. Вот то-то и удручает меня больше всего. А затем еще то, что так трудно заставить наших сограждан отказаться от предрассудков и суеверия: ведь иные полагают, что к ним обращена эта булла, советующая воздерживаться от развития способностей и изощрения ума в науках. Печатник был твердо убежден, что станет добычей дьявола, если выполнит мою просьбу и вообще будет оказывать услуги ученым; тогда я спросил его: «А вдруг какой-нибудь папа дойдет до того, что под страхом отлучения запретит германцам возделывать виноградники и искать золото? Неужели после этого люди станут пить одну воду и выбрасывать деньги в грязь?» — «Нет, говорит, не станут». Тогда я: «А если нас вознамерятся, по злобе, лишить наук, которые куда желаннее и золота и вина, и предпишут вовсе ими не заниматься,— как, по-твоему, согласимся мы на это или, с великой скорбью в душе, ответим папе отказом?» —

«Откажете»,— говорит. «Так чего ж ты боишься явить взору немцев Тацита? Ведь ни один писатель не отзывался о наших предках с большей похвалою, чем он!» И я добился бы своего, если бы не папский легат, который сейчас находится в Майнце: он нагнал на печатника новых страхов, предупреждая, что такой грех едва ли удастся отмолить и что Лев будет разгневан до крайности. Нужно ли говорить, как это меня опечалило и расстроило!

Эрнгольд. Вполне понятно! И это печально, и многое другое из того, что нам приходится терпеть. Уймутся ли они когда-нибудь со своими паллиями, аннатами, пенсионами и целой пропастью других поборов того же рода?! Боюсь, что Германии их дольше не вынести: ведь бремя наше что ни день — все тягостнее, а грабежам и вымогательствам конца не видно.

Гуттен. Да, римляне не желают знать ни границ, ни меры, но, кажется, у наших соотечественников глаза начинают открываться, и немцы начинают понимать, как подло их одурачивают, как нагло издеваются над свободным, воинственным и самым храбрым в мире народом, какое пренебрежение выказывается даже к величайшим германским государям. И уже многие, насколько я могу судить, не таясь, говорят об этом, ища способа поскорее сбросить это ярмо.

Эрнгольд. Дай-то Христос! Долго ли нам еще служить посмешищем для чужеземцев?!

Гуттен. Недолго, если только разум и чувства меня не обманывают,— ведь повсюду немцы объединяются, чтобы вернуть себе свободу. В наши дни чем человек благороднее, чем он сильнее духом, тем нестерпимее ему видеть, как то, что наши предки щедро и благочестиво уделили церкви, достается невесть кому в Риме; как что ни год — то новые поборы, как измышляются всевозможные средства, чтобы вытянуть из Германии остатки ее золота, а поскольку обманами и лестью они уже ничего не могут из нас выдоить, то стараются добиться своего угрозами — вот до чего дошла их наглость! Мыслимо ли буйство ужаснее, гнуснее — издевательство, рабство — хуже, рабство людей не только свободных, но призванных править целым миром?! Можно подумать, что они подчинили нас силой оружия и взимают с нас дань! Но так как в позоре своем мы дошли до края, я твердо верю, что дальше идти уже некуда и мы вырвемся из лап римлян.

Эрнгольд. Ты, по-видимому, надеешься на нового императора, верно?

Гуттен. Да, и на него, и на многое другое, достойное нашего народа, нашей Империи, равно как и его предков, его высокого происхождения. Неужели ты думаешь, что он согласится сначала равнодушно сносить унижения и смотреть, как нас грабят, а потом терпеть насмешки и издевательства тех самых людей, в карманы которых уплывает львиная доля наших доходов? К кому в Риме относятся сейчас с бóльшим презрением, нежели к германцам?

Эрнгольд. Право же, ни к кому! Над нами смеются и мальчишки, и старики, и мужчины, и женщины, ремесленники, купцы, священники, знать и чернь, свободные и рабы, словом, все без исключения, даже пленники всех народов — иудеи; над нами издеваются все, кому не лень, и вместе и порознь, и тайком и открыто, нас все порицают, награждают позорными прозвищами и обидными кличками; все это — как шутки ради, так и всерьез, но всегда с одной мыслью: дураков, мол, дразним. Но в чем глупость германцев, если не в том, что мы не замечаем, как подло и недостойно с нами обходятся? Что мы слишком суеверны и по этой причине позволяем похищать свое добро, которое прежде не удавалось исторгнуть из наших рук даже силой оружия? И что столько германцев покорно служит Риму, не требуя никакого иного вознаграждения, кроме того, чтобы им из милости разрешили пользоваться их же отеческим достоянием?! Ну да, ибо как иначе назвать щедрые дары, которыми наши предки осыпáли церкви?

Гуттен. Значит, ты, так же как и я, надеешься на лучшее и предвидишь скорое падение римлян?

Эрнгольд. Конечно. В особенности теперь, когда ты подбодрил и утешил меня.

Гуттен. Ты даже не поверишь, с каким негодованием и гневом выслушали некоторые из князей одно замечание кардинала Каэтана, оброненное им в прошлом году в Аугсбурге. Когда ему показали длинную процессию духовных лиц и он увидел, каким почетом окружено у нас это сословие и какой роскошный образ жизни ведут священники, он тут же разразился этакой, с позволения сказать, «шуткой»: «Гляди-ка, сколько у нас, римлян, конюших!» Этими словами он обличил нашу глупость: ведь мы, славные германцы, дошли до того, что покорно чистим мулов и лошадей у римских кардиналов и епископов и готовы выполнять любую, самую черную работу. Иные ответили Каэтану недовольным ворчанием, а я выступил более откровенно,— потому что и прежде не раз громко роптал,— и заявил, что с нашим достоинством несовместнó не только подчиняться

подобного рода людишкам, но даже позволять им насмехаться над нами. Ибо нет насилия более тягостного и горького, чем то, которое сопровождается наглою бранью и глумлением.

Эрнгольд. Пусть бы он почаще и подольше так насмехался, чтобы мы наконец до слез устыдились своего позора. Увы, этот человек прав: по-моему, дела именно так и обстоят. Пожалуй, не найдешь у нас в Германии обладателя тепленького местечка, который не выслужил его себе в Риме, или не приобрел, рассыпая направо и налево щедрые подарки, или не купил за деньги, обратившись за помощью к Фуггерам. Но разве никто не отважился словом либо действием наказать кардинала за его дерзость?

Гуттен. Я уже тебе сказал, что некоторые были разгневаны, поднялся ропот, пошли перешептыванья. Мне кажется, люди поняли свое бесчестие и позор. Но того все это нисколько не тронуло, он и по сю пору не перестает предлагать нам свой товар — продажные небеса — и все ждет да высматривает, кто сколько купит. Да вот тебе еще пример, чтобы ты убедился, какова дерзость этого человека. Недавно на совете князей он осмелился заявить, что Карл не способен управлять Империей по причине каких-то пороков — телесных, а равно и духовных,— и ратовал за то, чтобы придавить нас галльским ярмом, лишить независимости и, взамен ее, досыта накормить унижениями.

Эрнгольд. Какой жестокий век, какие нравы! Разве заслужил такую обиду юный государь, с которым связано столько надежд? Разве совместимо с нашею славой терпеливо выслушивать подобные речи? Но скажи мне, прошу тебя, неужели все это правда и я должен этому верить?

Гуттен. Да, правда.

Эрнгольд. И не εἰς πάγας ὁ λύκος ?[1]

Гуттен. Выскочил цел и невредим.

Эрнгольд. И он не был испуган, не чувствовал, что подвергает себя серьезной опасности?

Гуттен. Нисколько. Наоборот, говорят, он сам взял на себя посольскую миссию,

> «Веря в удачу свою, на любое заране готовый:
> Или посеять обман, иль смерть бестрепетно встретить».

Эрнгольд. Мне кажется, что если ты выступишь против него и изустно и в книгах, твои слова возмутят многих.

---

[1] бросился волк в сети? — греческая поговорка, примерно соответствующая русской «переть на рожон».

Гуттен. Если только многие уже сами не возмутились: ведь римляне почти совсем перестали таиться и хитрить и грабят теперь в открытую, без всякого удержу. Однажды в Риме я стал увещевать одного из них (а был он из числа самых отъявленных воров) и советовал ему умерить свою алчность. Послушай, каким оскорблением он мне ответил. «Варварам, говорит, золото не только не следует давать, но, напротив, буде у них найдется хоть крошка золота,— тонко обманув, отобрать». Не стерпел я ничтожества и наглости этого человека и, сам бросившись в бой, с крайней резкостью сказал ему примерно следующее: «Варварами новых времен ты считаешь нас, германцев. По какому же, однако, праву? Если варварством ты называешь неотесанную дикость и грубость и скотский образ жизни, то мы ничего общего не имеем с такого рода нравами. Если же варвары — это все нехристианские народы (что, по-видимому, и имел в виду Грациан), то какая нация с бóльшим основанием может именоваться христианской, нежели германцы, которые, не говоря уже о верности, гостеприимстве и постоянстве, известных всему миру, настолько благочестивы, религиозны и набожны, что легко превосходят в этом все остальные нации. Так на каком основании счел ты уместным наградить нас этой позорной кличкой и требуешь лишить Германию ее золота? Не иначе как ты убежден, что ваши нравы лучше наших, но, боже милостивый, что же это за нравы? Те самые «достохвальные» римские нравы,— да покончит с ними весь мир, поднявшись разом, как бывает, когда тушат пожар, угрожающий целой общине!» А чтобы этот мошенник не думал, будто я не знаю гражданского права, я сказал ему так: «Ведомо ли тебе, что о вас говорится в законах?» И, подавши ему книгу, показал закон императора Льва, запрещающий домогаться епископата или любой другой духовной должности с помощью подкупа.

Эрнгольд. Да, замечательный и поистине святой закон, но вряд ли сыщется сейчас другой, к которому относились бы с бóльшим пренебрежением.

Гуттен. Прошу тебя, раз ты его помнишь, повтори вслух, а я расскажу, что отвечал дальше тому златопийце.

Эрнгольд. «Если кому-нибудь в этом королевском городе или в других провинциях, которые рассеяны по всему свету, случится, божиим изволением, взойти на епископскую кафедру, да будет он возведен в сан по чистой совести, посредством честных выборов, после того как все откровенно выскажут свое суждение. Никто да не купит священнической должности за деньги; пусть принимаются во внимание заслуги каж-

дого соискателя, а не то, сколько он в состоянии заплатить. Ибо, в самом деле, какое место можно будет считать надежным, какой грех искупленным, ежели высокочтимые храмы божии станут покоряться золоту?! Какой стеною защитим мы совесть, каким валом оградим веру, ежели проклятая алчность украдкой переступает пороги храмов? Наконец, может ли быть что-нибудь крепким и нерушимым, ежели сама непорочность пятнается пороком? Да перестанет угрожать алтарям нечистый жар любостяжания и да закроются врата святилищ перед теми, кто позорит господа. Да избирают в наши дни епископами людей благочестивых и смиренномудрых, чтобы всякое место, где бы им ни пришлось оказаться, убеляли они непорочностью собственной жизни, и пусть не на подарки, а на дар божий смотрят те, кто назначает архипастырей. До того чужды должны быть епископу хлопоты и домогательства, чтобы его искали и силою заставляли, а он бы, в ответ на просьбы, отказывался и отклонял приглашения. Только подобные настоятельные отказы и говорят в его пользу, ибо сана достоин лишь тот, кто назначен вопреки своей воле».

Гуттен. Дойдя до этого места, я сказал: «Разве таких кандидатов вы нам утверждаете? Или, напротив, тем охотнее даете одобрение, чем щедрее сыплют вам деньги?» — «Но ведь вам предоставлено право свободно выбирать себе епископов»,— возразил он. А я в ответ: «Да, но попробуй-ка, стань епископом, прежде чем не купишь у вас в Риме паллий; что же это за свобода выбора? И вообще правильнее называть это не выборами епископа, а назначением того, кто сподобился купить епископат, не так ли? А потому отвечай мне, разве турки, наши соперники в борьбе за власть, более заслуживают имени врагов Христовых, нежели вы, заставляющие высокочтимые храмы божии покоряться золоту? Мало того — вы уже пустили в продажу небеса, вы проломили стену совести, разрушили вал, ограждающий веру, ваша ненасытная алчность не только украдкой переступает пороги храмов, но спокойно и уверенно царит под кровлями их, вы запятнали пороком самое непорочность, растлили деву-церковь, обратили в разбойничий притон дом молитвы, откуда Христос, вернись он сегодня на землю, изгнал бы вас с гневом куда бóльшим, чем некогда — тех покупателей и купцов. Да, потому что они торговали одним лишь мирским, а ваш товар — святые таинства, церковь, сам Христос и божественная благодать! Так разве не дóлжно обуздать вас еще решительнее, нежели турок, и прогнать еще дальше — вас, готовых пустить с торгов все подряд: Христа, алтари, таинства,

небеса? Ваши злодеяния причиною тому, что язычники не желают принимать христианство, видя, как вы, суля другим блаженство, сами ведете столь гнусную жизнь; между тем единственное, чем грозят нам турки,— это сила оружия, отразить которую для германцев легче легкого. Право же, не сыскать такого безумца, который, как следует рассмотревши, что за пример подаете вы другим, не предпочел бы идти путем старых заблуждений и не ввязываться в новые мерзости. Да, на словах вы пастыри стада господня, а на деле — грабители христианского люда; не Евангелие вы проповедуете, а рыщете в поисках денег; овец, порученных вам, не пасете, как подобало бы пастырям, но, по обычаю хищных волков, терзаете и пожираете; не ловцы человеков, подобно апостолам, а стяжатели богатств, охотники за наживой, добытчики золота, наглые расхитители чужих имуществ; и вы еще дерзаете присваивать себе достояние Петрово и своими хитростями, обманами, кражами и коварством позорите имя христианина, делая его ненавистным всему миру! Вернитесь же наконец на путь истины, вернитесь к добрым нравам, обуздайте алчность, гоните прочь от святилищ тех, кто порочит господа, живите в чистоте и страхе божием, дабы жизнь ваша была примером для других, подражайте Христу, чтобы вам подражали остальные. А до тех пор, пока вы держите себя так, что даже тыквы, за соответствующую мзду, могут у вас сделаться священниками,— люди разумные будут вас ненавидеть, а всякий, кто во власти заблуждения последует вашему примеру, погубит свою душу. Кроме того, берегитесь, как бы в один прекрасный день не образумились варвары-германцы, простотою которых вы злоупотребляете до такой степени, что, присваивая их деньги, но уже не довольствуясь этим, несправедливость притеснений усугубляете и умножаете словесными поношениями и над нами, ограбленными и разоренными, с величайшим презрением глумитесь!»

Эрнгольд. Мне кажется, что я воочию вижу лицо этого проходимца — как он то краснеет, то бледнеет под твоими сокрушительными ударами!

Гуттен. Ничуть не бывало, Эрнгольд. Мои слова тронули его не больше,

«Нежели твердый кремень иль дикие скалы Марпесса»,—

до того велика наглость этих людей. Уж не думаешь ли ты, что негодяи в Риме еще не разучились краснеть, что там сохранилась хоть капля стыда и совести?!

Эрнгольд. Ты прав, их бесстыдство мне знакомо. Но все же, что он тебе ответил?

Гуттен. Да что ж ему было отвечать, как не то, что, мол, закон этот — пустой звук, ведь он-де установлен императором, который теперь не имеет над папой никакой власти и, мало того, должен сам подчиняться воле папы! И еще что-то в таком же роде — еще более бесстыдное.

Эрнгольд. И он не отведал в тот же миг твоего кулака?

Гуттен. Можешь не сомневаться, отведал бы, если бы дело происходило не в Риме.

Эрнгольд. Будет просто чудом, если эти негодяи сами себя не погубят в ближайшем будущем!

Гуттен. Непременно погубят, и сами уже это чувствуют, постоянно получая вести о том, как много враждебного о них повсюду говорят и даже пишут. Но разве ты не слышал недавно побывавшего здесь Вадиска, который во всеуслышание рассказывал, что́ он видел в Риме, — причиняя римлянам великое бесчестие и будя ненависть к ним?

Эрнгольд. Самого Вадиска я не слышал, но от бургомистра Филиппа узнал, как смело он говорит, и решил повидать его, да что-то,— не помню уже теперь что именно,— мне помешало, а он тем временем уехал.

Гуттен. Ты бы услышал удивительные вещи и не только по существу одобрил бы его речи, но был бы восхищен остроумным и совсем новым приемом, которым он пользовался, обличая их бесчинства.

Эрнгольд. И что же это за прием?

Гуттен. Долго рассказывать, а времени мало: меня ждут при дворе.

Эрнгольд. Нет, не уходи, сначала все объясни мне и растолкуй.

Гуттен. Да ведь у меня дела!

Эрнгольд. Дела? Словно ты до того усердно несешь службу при дворе, что ни о чем другом и не думаешь и не урываешь ежедневно часок-другой для ученых занятий или дружеской беседы! Ну, рассказывай, рассказывай! Зачем ты заставляешь себя упрашивать?

Гуттен. А ты похлопочешь за меня в том деле, о котором я тебе говорил и просил помощи?

Эрнгольд. Как нельзя усерднее!

Гуттен. И все уладишь?

Эрнгольд. Если смогу их убедить.

Гуттен. А убеждать-то станешь?

Эрнгольд. По всем правилам риторики. Но довольно отговорок — ведь ты попусту тратишь время, которое тебе так дорого. Рассказывай!

Гуттен. Да я не все помню.

Эрнгольд. Вот и рассказывай, что помнишь.

Гуттен. Да мне и дня не хватит!

Эрнгольд. Ты не шутишь?

Гуттен. Нет, тебе предстоит выслушать речь чрезвычайно продолжительную.

Эрнгольд. Тем охотнее я буду слушать.

Гуттен. Ну, чтобы ты видел, с каким усердием я готов тебе служить, я не пожалею целого дня и, уповая на доброту князя, буду рассказывать до самой ночи!

Эрнгольд. Вот теперь ты опять становишься самим собой, узнаю прежнего Гуттена!

Гуттен. Во-первых, все, что может быть сказано в укор римлянам (я имею в виду римлян нашего времени, Вадиск называет их презренными римлянами или романистами), он сводит в тройки, иначе говоря — разделяет по триадам все гнездящиеся в Риме пороки и мерзости.

Эрнгольд. Я весь — слух.

Гуттен. Но об одном я должен тебя предупредить: как бы варваризмы не оскорбили твоих ушей.

Эрнгольд. А, пусть их оскорбляют! Будто уши у меня такие уж нежные или будто я не знаю, что за латынь у этих варваров из курии! Не бойся, рассказывай о куртизанах, о копиистах, о скобаторах, о бенефициях и синекурах, о факультатах, о грациях, резервациях, регрессах, даже об аннатах и крестных деньгах, если вздумается, о решениях коллегии, о праве патроната — меня это нисколько не смутит.

Гуттен. Три вещи, говорит он, оберегают высокое достоинство Рима: авторитет папы, мощи святых и торговля индульгенциями.

Эрнгольд. Почему ты не спросил, неизменно ли пребудет высокое это достоинство там, где окажется папа,— даже если церковь перенесет его резиденцию в Майнц, или в Кельн, или куда-нибудь еще?

Гуттен. Мало того, Вадиск считает, что любому епископу в его епархии должна принадлежать такая же точно власть, какая папе в Риме; Христос, по его словам, одобрял равенство, честолюбие же ему ненавистно. Мы долго беседовали, и я расспросил его кое о чем помимо триад, и все тебе перескажу; но ты помни, что вся эта речь, которую я сейчас веду, принадле-

жит не мне, а Вадиску, и я лишь повторяю то, что слышал от него. Так вот, он держится мнения, что индульгенции не обладают той великой силой, о которой вещают нам римляне, а иначе их нельзя было бы купить ни за какие деньги. И не в большей мере пребывает Петр в Риме, чем в любом ином месте, где его помнят и благочестиво чтут. Вадиск говорил даже, что паломничество в Рим не для каждого безопасно, ибо весьма многие из посетивших этот город приносят с собою оттуда три вещи.

Эрнгольд. Какие именно?

Гуттен. Нечистую совесть, испорченный желудок и пустой кошелек.

Эрнгольд. Как метко и точно сказано! Вот и я пожил там непривычною для себя жизнью — и до сих пор страдаю желудком. Я не видел никого, кто бы меньше помышлял о боге, до такой степени презирал клятвы и вел жизнь худшую, нежели римские куртизаны, торгующие бенефициями. Ведь каждому известно, во что ежедневно обходится германцам город Рим и что нет человека, для которого поездка туда не была бы сопряжена с непомерными затратами и тяжелым уроном для состояния. Я, по крайней мере, вернулся из Рима с пустым кошельком — как о том и говорится в триаде.

Гуттен. О себе я умолчу, а Вадиск вернулся вообще без кошелька. «Если бы я остался там еще немного,— сказал он мне,— я бы, вероятно, лишился и платья и даже волос». Но мы с тобой, Эрнгольд, не хлопотали ни о каких бенефициях, а потому, хоть нам было и несладко, все же, по-моему, отделались довольно легко. Более тяжкий ущерб несут, на мой взгляд, те, которые, обучаясь у тамошних лжеучителей, поневоле утрачивают твердость духа, скромность и чистую совесть.

Эрнгольд. Верно, как, например, тот шваб, которому ты выговаривал за то, что он хлопочет о разрешении от клятвы, а он тебе возразил: «Не забывай, что мы в Риме».

Гуттен. И как тот наглец из Кельна, который хвастался, что он, не совершая греха, скрепил документ фальшивой печатью: ведь это, мол, было папе на благо.

Эрнгольд. И как многие другие, которых мы видели своими глазами. Но вернемся к нашим триадам.

Гуттен. «Хотя бы потому,— говорит Вадиск,— следует держаться от Рима подальше, что он губит три вещи, которые должно беречь как зеницу ока: чистую совесть, пыл благочестия и верность клятве...» Да, знаешь, мне пришло в голову, что упоминание о трех вещах (тоже о трех!) не вызовет

сейчас в Риме ничего, кроме смеха: о подражании предкам, понтификате Петра и Страшном суде.

Эрнгольд. Отлично сопоставлено и то и другое. И в самом деле, если человеку, усвоившему римские нравы, приходится давать клятву, он дает ее не задумываясь: ведь он твердо убежден, что стоит ему пожелать — и папа расторгнет этот узел. На это, по-моему, и намекал Вадиск, говоря, что Рим губит верность клятве.

Гуттен. Ты прав, ибо то, что перестает существовать, становится ничем и должно считаться мертвым; но папе суеверие толпы приписывает власть превращать содеянное в несодеянное. А благочестие — ценится ли оно там хоть в грош?! И, наконец, сыщутся ли в Риме люди, которые думали бы о чем-нибудь, кроме денег?!

Эрнгольд. А кто в Риме старается подражать примеру предков?

Гуттен. Примеру Симона, Домициана, Нерона, Гелиогабала и прочих подобных негодяев — весьма многие, добрым же примерам — никто. Попробуй-ка, заведи в Риме речь о жизни Петра, о его епископате — на тебя посмотрят так, словно ты рассказываешь сказку, да еще ужасно смешную. Там различают две церкви: раннюю, в которой жили лучшие из ее верных, но которая изображается ныне в виде некоей тени, и позднюю, каковая есть живое тело, отбрасывающее тень,— прекрасное, все сплошь золотое и безупречно совершенное; и состоит эта поздняя из обманщиков, воров, святотатцев, нотариусов, изготовляющих подложные грамоты, епископов, погрязших в Симоновой ереси, и подхалимов римского первосвященника,— иных в ней не сыщешь, ибо если объявится в наше время порядочный человек среди епископов или кардиналов, его спроваживают подальше и не числят принадлежащим к церкви. Вдобавок они хвастаются неким даром Константина, ими же самими в давние времена вымышленным, и утверждают, будто Западная империя — их достояние, захватив под этим предлогом город Рим — резиденцию римского императора (которого пока, увы, нет) и столицу империи. В противоположность Петру, они отнюдь не отвергают мирскую преходящую власть, но ведут ожесточенные войны на суше и на море из-за царств земных, проливают кровь и не жалеют яда.

Эрнгольд. Про яд мне уже давно все известно.

Гуттен. И самого Юлия в полном вооружении ты видел, не так ли?

Эрнгольд. Да, самого Юлия, когда тысячи людей гибли от его руки. Боги благие, что за человек или, вернее, что за изверг рода человеческого: лицо безобразное, взгляд свирепый, всему живому он страшен, ужасен, отвратителен!

Гуттен. Но хотя все сказанное тобою — сущая правда, хотя он был виновником самой губительной из всех войн,— ибо, собрав отовсюду христианских государей, вверг их в эту бойню и заставил истреблять друг друга,— тем не менее никто не дерзнул выразить свое возмущение, пусть даже словами поэта:

«Граждан несчастных зачем без конца под удар подставляешь,
Ты, кто для Лация был и главой и причиною бедствий?»

Эрнгольд. Никто! Все боялись одного. Но если Константинова привилегия дарует им власть над Западной империей, то как бы Карлу не лишиться и наследственных своих земель, и тех, во владение которыми он вступил после своего избрания.

Гуттен. Если их высокопреосвященствам в Риме будет угодно, у него не останется ничего, ибо все принадлежит церкви.

Эрнгольд. В таком случае, слишком уж большую щедрость выказали, по-моему, первые папы, которые не потребовали всего, что им было даровано, но, удовольствовавшись малым, остальное уступили королям, да еще согласились, чтобы императору осталась его доля (впрочем, доля-то крохотная).

Гуттен. Нет, то была не щедрость, а слабость: выдумав этот дар, они сразу же должны были кое от чего отказаться, опасаясь в противном случае единодушного выступления королей, сопротивляться которому было бы бесполезно. А что весь этот обман есть плод папской алчности, в особенности убеждает нас то обстоятельство, что тогдашние священнослужители, будь они похожи на теперешних, не смирились бы даже с самым незначительным ущемлением своих интересов; если же (что я и полагаю истинным) первосвященники были святы в тот век, они бы не приняли дара. Но коль скоро те, к кому обратился Константин, отклонили его предложение, как неподобающее, то по какому праву их потомки требуют то, чего не приняли предки, сочтя это для себя неудобным и убедив дарителей отказаться от своего намерения? В действительности, разумеется, земли, о которых рассказывает эта басня, никогда не бывали под властью папы; более того, и город Рим они решились захватить лишь много веков спустя после Константина, а прежде он церкви не принадлежал. Вот сколько времени прошло, пока они вступили во владение своим «древнейшим даром», да

и то — ничтожной его частью. Далее: если бы они добровольно отказались от подарка, разве можно было сделать это иначе, нежели посредством скрепленных печатями документов? И мыслимое ли дело, чтобы, так ревностно оберегая эту привилегию, они столь легкомысленно отнеслись к доказательствам своего великодушия? Ерунда! Говоря откровенно, вот как родилась, я полагаю, Константинова привилегия. Некий алчный папа (безразлично, какой именно), воспользовавшись удобным случаем, захватил однажды часть Италии; это приобретение весьма ему полюбилось, а так как алчность ненасытна, он решил достигнутым не ограничиваться и пойти дальше. То были времена, когда процветали суеверия, и, пользуясь простотою черни и бездействием князей, нетрудно было добиться многого, с этой надеждой папа и начал расширять свои границы; подражая ему, его наследники превратили в обычай некогда дерзко присвоенное право грабежа. Так продолжалось до тех пор, пока один особенно мудрый папа, также вознамерившись сослужить церкви добрую службу, не написал на ветхом пергамене (или на новом, но предварительно как следует вывалянном в пыли или обросшем плесенью) этот божественный эдикт — бесспорно, много веков спустя после Константина.

Эрнгольд. А все-таки, если бы Лев Десятый потребовал у Карла этот «дар», как по-твоему, что было бы?

Гуттен. Карл, в свою очередь, потребовал бы у Льва свое достояние, вспомнивши, что он — король и германец.

Эрнгольд. И все разметал бы, перевернул, опрокинул, разорил, разрушил?

Гуттен. Избави бог! До этого дело не дойдет.

Эрнгольд. Да, если они смогут образумиться, но только кому не дерзнут они нанести оскорбление, если решаются бесчестить самого римского государя, который преклоняет перед папой колени, а тот ногами протягивает ему корону и заставляет клятвенно отрекаться от города Рима и от притязаний на Италию.

Гуттен. Карла Богемского папа Урбан короновал лишь после того, как взял с него клятву, что он в том же году покинет пределы Италии. Вдобавок он столь открыто выражал свое презрение к императору, что даже не дал ему аудиенции, а просто выслал корону с кем-то из кардиналов; он запретил Карлу появляться в Риме и отобрал несколько принадлежавших ему итальянских городов.

Эрнгольд. Не только что императорского престола, но даже жизни недостоин человек, который согласился это стер-

петь! А романисты, как мне кажется, и сами не верят, что в день Страшного суда оживут те три вещи, жалким образом погибшие от их рук, а им придется отвечать за это убийство.

Гуттен. Разумеется! Ведь они насмехаются над Страшным судом.

Эрнгольд. Не зарывают ли они в могилу и сам Страшный суд?

Гуттен. Ничуть не бывало: они считают его пустейшею выдумкой и совсем не думают убивать то, что, по их мнению, вовсе не существует. А иначе в Риме оставалась бы хоть какая-то совесть.

Эрнгольд. И было бы поменьше отравителей.

Гуттен. Вот почему Вадиск и утверждает, что Рим особенно богат тремя вещами: древностями, ядом и развалинами. К этому я добавил три вещи, которые оттуда изгнаны: простота, умеренность и честность.

Эрнгольд. Верно: простоты не терпят нравы этого города; умеренность жизни неведома там никому; а честность — кто из римлян честен?

Гуттен. Право, ни один. По мнению же людей — любой богач с туго набитой мошной.

Эрнгольд. Верно, но это мнение пагубно, и было бы куда лучше, если бы Рим избавился от него, чем от ядовитых скорпионов, змей и саламандр, несущих гибель лишь телу. Или, быть может, меньше следует сожалеть об утрате римлянами древней доблести и славных обычаев, нежели о том, что лежит в развалинах столько прекрасных дворцов, разрушено столько удивительных и великолепных сооружений? Нет, конечно, нет! Плакать и скорбеть нужно о том, что место Сципионов, Марцеллов, Максимов, Катонов, Метеллов, Цицеронов, Мариев заступили настоящие Вителлии, настоящие Отоны, дважды Нероны, трижды Домицианы, знатоки роскоши, рабы алчности и тщеславия, знаменитые грубияны и наглецы, люди, лишенные всякой добродетели, всякого здравого смысла,— вот о чем нужно плакать особенно горько, а не о том, что из мраморного и серебряного Рим сделался кирпичным и глинобитным.

Гуттен. Тонко ты рассудил. А что скажешь о такой его мысли: тремя вещами торгуют в Риме — Христом, духовными должностями и женщинами?

Эрнгольд. Если бы еще только женщинами, и ничем иным, кроме слабого пола!

Гуттен. Многое Вадиск постеснялся рассказывать, впрочем, сами римляне говорят об этом, нимало не стыдясь, и весьма

точно изображают в эпиграммах собственные нравы. А что вытворяли здесь, у нас на глазах, их легаты и нунции?! О трех вещах в Риме, по словам Вадиска, и слушать не хотят: о вселенском соборе, об изменениях в положении духовенства и о том, что глаза у немцев начинают открываться. И три другие вещи огорчают романистов: единодушие христианских государей, рассудительность народа и то, что их обманы выходят на свет божий.

Эрнгольд. Да, он отлично знает Рим. Разумеется, уж если бы дело дошло до собора, которому они лишь одни не дают собраться, по сю пору страдая от раны, полученной на Никейском соборе; или если бы в один прекрасный день совершились те изменения духовенства к лучшему, о которых уже давно, слишком давно помышляют; или если бы германцы поняли, как с ними обходятся, или пришли к единодушию христианские государи, или народ научился различать между верою и суеверием, или если бы все узрели и уразумели, какие злодейства творятся в Риме,— нам бы не пришлось больше видеть, как покупают Христа, небеса, блаженство и жизнь вечную, эти негодяи не дерзали бы больше торговать приходами и должностями и, я уверен, вели бы себя поскромнее.

Гуттен. Именно так.

Эрнгольд. Но мысль о соборе ненавистна им до крайности, и теперь, как я слышал, германских епископов, утверждая их в сане, заставляют приносить клятву, что они никогда не будут требовать созыва собора.

Гуттен. Да, говорят.

Эрнгольд. А если это верно, что может быть отвратительнее?

Гуттен. Пожалуй, ничего. Однако Вадиск назвал лекарства, которые могут исцелить Рим от всех недугов.

Эрнгольд. Какие?

Гуттен. Их тоже три: уничтожение суеверий, упразднение должностей и полное изменение всех заведенных в Риме порядков.

Эрнгольд. Достаточно было бы и одного третьего, потому что и предрассудки бы исчезли, и должностей никаких не осталось бы, если б только мерзкие обычаи изменились к лучшему. Но они и думать не думают об упразднении должностей, и одну из величайших заслуг папы Юлия видят в том, что он приумножил их число. Нам же следует желать, чтобы вместо этих должностей, которые суть не иное что, как мастерские преступлений и пороков, школы самых грязных обманов и лав-

ки бесстыдства, люди начали думать о чувстве долга, которое описано в книгах величайших мудрецов и имя которому — Добродетель.

Гуттен. Далее он сказал, что три вещи ценятся в Риме особенно высоко: красота женщин, стати коней и папские грамоты.

Эрнгольд. Ох уж эти женщины, кони и сам папа, наконец! Чтобы пристрастие к ним было сильнее, чем рвение в делах мира, веры, учения евангельского, одним словом — в делах христианской любви?! Мог ли думать Христос, что кто-то из его наследников, пренебрегши божественными его установлениями и ведя жизнь отнюдь не христианскую, истерзает весь мир отпущениями и буллами?! А если папа и в самом деле пастырь духовный, зачем обращаться с буллою к тем, кому даруются небеса и жизнь вечная? Ведь когда дело касается души, нет нужды ни в письменах, ни в чужих свидетельствах,— ни в чем, кроме собственной совести, которая и без доказчиков известна богу, ибо помыслы человеческие открыты ему. И что за дело наместникам Христовым до статистых лошадей, когда сам учитель лишь однажды сел на жалкого осла? Может, они на войну собрались? Но Христос ненавидел войну и высоко ценил покой, сам призывал к миру и любовь к нему завещал грядущим поколениям. О, сколь чуждо обычаям Христовым превыше всего любить женщин и вожделеть к блудницам, в особенности когда речь идет о тех, кто, следуя его воле, должен вести жизнь духовную и кому даже в браке он не хотел разрешать наслаждения плоти! Или, быть может, для того папа Каллист запретил священникам жениться, чтобы им одним позволено было блудить и чтобы сословие это от чистых уз брака перешло к постыднейшему разврату?

Гуттен. К этому Вадиск прибавил, что три вещи широко распространены в Риме: наслаждения плоти, пышность нарядов и надменность духа.

Эрнгольд. Верно, все это там в ходу. Но римляне не просто подчиняются велениям похоти,— в поисках разнообразия они придумывают столь удивительные и чудовищные способы ее утоления, что древние распутники, услаждавшие Тиберия, кажутся просто ничтожествами. Честное слово, обычное и естественное вожделение они презирают как нечто грубое и мужицкое, а потому в Риме творятся такие дела, о которых нам просто стыдно здесь говорить.

Гуттен. А что за пышные наряды!

Эрнгольд. Нигде в мире этаких не увидишь!

Гуттен. Но теперь римляне не только сами роскошно и со вкусом одеваются — даже мулам нужно щеголять в золотых удилах и пурпурных чепраках. Какое высокомерие!

Эрнгольд. Отвратительнее и не придумаешь! Стоит ли проклинать язычника Диоклетиана за то, что он первый возложил на себя диадему и украшал платье самоцветами, если христианский первосвященник носит на голове тройную корону и допускает, чтобы повелители многих земель целовали его ноги?

Эрнгольд. А Христос, как мы знаем, мыл ноги своим ученикам.

Гуттен. А какая надменность уже в том, что титул святейшего и блаженнейшего принимает человек из плоти и крови и к тому же ведущий жизнь, самую, пожалуй, недостойную. И верно, случалось ли нам видеть честного (не считая лишь Льва Десятого, который вернул мир нашему веку) или, тем более, святого папу?

Эрнгольд. Это еще что, а вот знаем ли мы такого папу — по преданиям или по книгам — хоть в прошлом, на протяжении даже нескольких веков? Великих воителей, разорителей городов и вернейших слуг алчности мы встречаем в исторических сочинениях весьма часто, а найдем ли мы в них, уйдя так далеко в глубь годов, папу, пылающего огнем христианской любви, сияющего светом учения евангельского или оставившего память о себе своим благочестием?

Гуттен. Им следовало бы противиться как можно решительнее имени «Благочестивого».

Эрнгольд. Ты прав. Но вот что никак не согласуется: папа разрешает называть себя блаженнейшим, а церковь молится о даровании ему блаженства. Ведь в храмах поют: «Помолимся за папу нашего Льва, да хранит его Господь, и да укрепит его, и да сотворит его блаженным на земле».

Гуттен. Да разве у них вообще что-нибудь согласуется?

Эрнгольд. А то, что наместник Христов и по сей день заставляет римского императора принимать корону из его ног — это ли не высокомерие?!

Гуттен. Беспримерная спесь! Но, как я слышал, по мнению некоторых, Карл не намерен терпеть это унижение и не удостоит поцелуем папины ноги.

Эрнгольд. Что ж ему за выгода от такого поступка?

Гуттен. Его будут считать за человека мудрого, знающего себе цену и не допускающего, чтобы извращали учение Христово и насмехались над величием Империи.

Эрнгольд. Стало быть, ученые мужи будут слагать ему панегирики?

Гуттен. Да, и напишут целые книги, прославляя его.

Эрнгольд. И греки дали бы ему обед в пританее?

Гуттен. Да, и все в нашей стране будут его приветствовать как спасителя германской свободы и всякий раз, видя его, кричать: «Храбрейший, справедливейший, свободнейший, поистине благочестивый, поистине христианин!» Однако мы забыли о триадах.

Эрнгольд. Ну-ну, что же сказал Вадиск дальше?

Гуттен. Тремя вещами заняты бездельники в Риме: прогуливаются, развратничают и пируют.

Эрнгольд. Ничем другим они не заняты. А у кого есть дела, те и в помыслах, и в писаниях, и в речах, в просьбах и мольбах надувают, обманывают, нарушают клятвы, предают, грабят, воруют, прелюбодействуют, обводят вокруг пальца.

Гуттен. Бедняки там закусывают тремя вещами: зеленью, луком и чесноком. И тремя богачи: пóтом бедняков, процентами и добычей, награбленной у христианского люда.

Эрнгольд. Совершенно верно.

Гуттен. Три вида граждан в городе Риме: Симон, Иуда и содомляне.

Эрнгольд. Страшно признаться, но это правда. Хотя на словах они проклинают симонию, на деле одну ее только чтут и ничем иным не занимаются.

Гуттен. Вот тем-то они и заслужили особенно лютую ненависть немцев: они считают нас такими болванами, что о вещах, приобретаемых за деньги, стараются внушить нам мнение, будто вещи эти не продаются и не покупаются, хотя торгуют ими до такой степени открыто, что разрешают Фуггерам устраивать настоящие ярмарки бенефициев. А вот совсем мелочь: я сам купил разрешение есть молоко и масло в пост, и когда бы ни приезжал в Рим в постные дни, не видел ни одной мясной лавки закрытою; а у иных кардиналов скоромное подают во всякое время, вообще не справляясь с календарем.

Эрнгольд. Мы-то видели это в Риме, но известно ли тебе, какими проклятиями осыпáли недавно граждане Франкфурта стол папских легатов, которые не соблюдают христианских обрядов и в пост без всякого стеснения едят любую пищу?

Гуттен. И трапезуя подобным образом, они, вероятно, милостиво расширили продажу масляных разрешений нашим землякам?

Эрнгольд. От своих обычаев они не отступили ни на

волос, а что это губит наши нравы, им и в голову не приходило, иначе бы они не нарушали так открыто церковных правил.

Гуттен. Что же, никто так и не обличил их «деяний»?

Эрнгольд. Нет, обличали, и дело получило громкую огласку.

Гуттен. А как они оправдывались?

Эрнгольд. Говорили, что немецкую рыбу их желудок не принимает.

Гуттен. А народ что?

Эрнгольд. Решил, что вернее всего они денег жалеют: рыба-то стоила дорого.

Гуттен. Отлично подходит к нашей триаде! Впрочем, нужно ли так уже строго присматриваться, какого рода пищей они набивают себе брюхо, проголодавшись? Ведь Христос никогда ни малейшего различия в этом не делал и делать не думал, наоборот, он учил апостолов, где бы они ни оказались, есть все, что ни подадут. А после него того же требовал Павел: «Пища,— говорил он,— не приближает нас к богу», и еще: «Все, что продается на торгу, в мясной лавке, ешьте без всякого разбора, не тревожа своей совести». Но уж если собственные их предписания иные, то они и должны указывать нам путь, должны подавать пример в соблюдении порядков, которые ими и установлены. Поистине бессмысленно пользоваться лазейками и продавать на это разрешения, если сами же прежде запретили. Но пора нам снова заняться триадами. Ты ведь знаешь, как одеваются кардиналы — за ними тянется свисающая с плеч пурпурная мантия. Намекая на нее, Вадиск говорит, что три вредоносных сирмы волочат за собой римские кардиналы: шлейфы, которые вздымают пыль и засоряют глаза всем, кто следует позади, а иной раз — и целому Риму; челядь, состоящую обыкновенно из разбойников, взятых прямо с большой дороги, сводников, наемных убийц и развратных мальчишек, из предателей и лукавых куртизанов, словом — самые бесчестные и безнравственные люди, шайка, запятнанная всеми пороками и преступлениями.

Эрнгольд. Что же ты остановился?

Гуттен. Запамятовал третье. Ага, вот: доходы каждого из них. И так как складываются они целиком из награбленного, украденного и обманом добытого, то сирма эта сметает и уносит все вокруг себя, куда только достанет, а все, что поблизости, портит и развращает, словно заразой какой дышит. Надеюсь, тебе известно, на что живут кардиналы?

Эрнгольд. Что не на свои средства они живут, это я

хорошо знаю. К тому же недавно повсюду можно было услышать скорбную песнь о новых «творениях» Льва Десятого: в один день он назначил тридцать кардиналов, которые, по-видимому, из одного яйца вышли, ибо все матерью своей назвали церковь.

Гуттен. И каждого из них он тут же обрядил в новые сирмы, назначив им области за Альпами, в которых они будут обманывать и грабить, то есть продавать духовные должности и учреждать пенсионы. Когда Вадиск заговорил об этом и кто-то его спросил, откуда получает добычу сам папа, раз те угодья для грабежа он уступает другим, он ответил: «Кроме городов, крепостей и обширных владений, к ним прилегающих, ему принадлежат грации и среди них те, которые называются экспектативными; и, наконец, самый гнусный из обманов — «соблюдение в сердце».

Эрнгольд. Я и сам не могу сдержать вздоха, когда слышу о «соблюдении в сердце» — до того, говорят, преступна эта выдумка.

Гуттен. На мой взгляд, ни один обманщик не измышлял ничего хуже, ни один мошенник не придумывал ничего преступнее: это побивает все хитрости, оставляет позади все коварные уловки, превосходит всякий срам. Но прежде я хотел бы вскользь упомянуть об ущербе, который наносит Рим нашему народу многими своими действиями,— не потому, что Вадиск говорил об этом вскользь (он-то ничего не пропускал), а потому, что больше память не удержала.

Эрнгольд. Рассказывай, рассказывай. Решено: пусть снова мучается мой желудок, успевший отвыкнуть от бывалой тошноты, проглотим поскорее эту горькую досаду, разбередим затянувшуюся рану. Разумеется, прежде всего Вадиск говорил о куртизанах.

Гуттен. Да, конечно, и немало. Но еще раньше — о том, что́ ворует папа, а затем — чем промышляют остальные. Папе принадлежат мантии епископов, выручка от продажи индульгенций и диспенсаций, сборы, которые его легаты делают в Германии — якобы для подготовки войны с турками, и все, что приносят буллы.

Эрнгольд. Оставь ты эти подробности; что нам за разница, какая часть награбленной в Германии добычи попадает в лапы каждого в отдельности, когда все мы скорбим о нашем общем несчастье и,— если не можем отомстить, потребовать удовлетворения за нанесенную обиду,— по крайней мере, выражаем свой протест, громко крича о том, как велика наша скорбь! Лучше расскажи сначала о куртизанах,— то, что слы-

шал от автора этого печального повествования, — а потом о положении дел в Риме, которое нам самим знакомо и которое мы не раз проклинали — с немалою для себя опасностью. Но что ты поставишь на первое место, о чем скажешь в последнюю очередь? И вообще, какого порядка следует придерживаться при таком изобилии?

Гуттен. Э, порядок! Будто может быть какой-нибудь порядок, когда все перевернуто вверх дном! Впрочем, больше всего меня возмущают их утверждения, что, мол, обижаться на утеснения с их стороны мы не вправе, ибо все предусмотрено конкордатом, на который они и ссылаются. Эта булла (если только она сохраняется ими в том виде, в каком была написана) налагает на нас ярмо до того тяжкое и постыдное, что тяжелее и постыднее и представить себе невозможно. И все же теперь мы видим, как они выходят за пределы даже этой чудовищной несправедливости,— так можно ли говорить о каком-то чувстве меры в их злодеяниях? Можно ли надеяться, что их разнузданность когда-нибудь умерится?

Эрнгольд. Поистине недостойны были имени германца — я уж не говорю о титуле германского государя — те, кто впервые заключили этот бессовестный конкордат с римскими папами. А мы — трижды глупцы, если располагаем возможностью исправить ошибку, допущенную предками, но вместо того — живые и отнюдь не слепые — платим к величайшему для себя ущербу и даже возражать не решаемся, хоть и видим, что зло со дня на день растет. Но, вероятно, сначала их завлекли в эту ловушку хитростью, а не силой.

Гуттен. Ты прав: первое, что их обмануло, было, надо полагать, ложное благочестие. Римляне прикинулись, будто заботятся о сохранении единства церкви, и под этим предлогом сосредоточили всю власть в руках своего римского епископа. Он получил право назначать преемников нашим епископам и духовным князьям, если им случится умереть в Риме; если же смерть настигает их в Германии, он утверждает кандидата в сане; первоначально это делалось даром, потом стали требовать выплаты пенсиона в Риме и выкупа за паллий здесь, в Германии. И того и другого добивались не сразу: в первое время назначили сумму столь ничтожную, что ее и в расчет-то никто не принимал, но постепенно она становилась все больше, так что к нынешним дням все успело вырасти во много раз.

Эрнгольд. В результате этого преступного плутовства за паллий епископа Майнцского платят теперь вдвое больше, чем раньше.

Гуттен. Они объясняют это как своего рода наказание. Был в прежние годы один решительный и достойный высокого своего положения епископ, который согласился, чтобы папа утвердил его в сане, но купить паллий не пожелал и твердо стоял на своем. Тогда папа предал его анафеме, а его преемникам, за то что Майнцская церковь сочувствовала строптивости (так они именуют любое из наших законных требований) своего предстоятеля, назначил впредь и навеки двойной выкуп за паллий: прежде было десять тысяч, теперь взимают двадцать. И мало того что они ни гроша не уступают — приходится еще ублажать подношениями всех, кто хоть как-то приложил руку к этому делу: написал два словечка, или оттиснул печать на свинце, или шил эту жалкую накидку,— а затем, вконец разоряясь, нужно отправлять в Рим многочисленное посольство. Случайся это раз в сто или двести лет — и то, пожалуй, не следовало бы нам терпеть противных христианской религии нововведений; но ведь в Майнце есть старик, на памяти которого Альбрехт — восьмой епископ Майнцский. Вот сколько паллиев было куплено одной только церковью на протяжении жизни одного поколения! Не мудрено, что эта церковь так тяжко обременена долгами, а народ настолько разорен поборами, что епископ едва-едва может существовать на свои доходы.

Эрнгольд. Как ты думаешь, если бы кафедра епископа вдруг оказалась свободной, граждане Майнца снова купили бы в Риме паллий, невзирая на крайнюю свою нужду?

Гуттен. Небеса да хранят Альбрехта! Но если с ним что-нибудь приключится — купят! Уверен, что купят! Христом клянусь, купят!

Эрнгольд. Да ведь денег-то нет и с народа взять больше нечего!

Гуттен. Люди разденутся догола и сами себя выпотрошат — лишь бы было что послать в Рим: вот как силен предрассудок! Если же не все граждане на это согласятся, найдется человек, который, желая стать епископом, купит паллий за собственные деньги.

Эрнгольд. И тогда уж никаких выборов не будет?

Гуттен. Разумеется, ибо бедняка с пустым кошельком папа сочтет недостойным сана, а богача утвердит. Нет, право, разумно, как я вижу, научились поступать германские каноники, заботящиеся о доброй репутации римского пастыря!

Эрнгольд. Что же они делают?

Гуттен. А вот что: если у церкви нет денег, а народ с трудом платит налоги, они выбирают кого-нибудь посостоятель-

нее, кто может выдержать все эти расходы,— даже если всем остальным требованиям он не отвечает.

Эрнгольд. Стало быть, по праву нас упрекают в подлой рабской покорности: ведь мы сами отдали себя в рабство; и нечего говорить о несправедливости там, где все совершается по доброй воле.

Гуттен. Это верно, но они-то вдобавок изображают грабеж в виде заслуги и хвастаются, будто неусыпно пекутся о наших душах и оказывают нам благодеяние, следя, как бы высокого места не занял недостойный. Одним словом, громоздя одну несправедливость на другую, они еще хотят, чтобы обиженные казались обласканными.

Эрнгольд. А если народ взбунтуется и рыцарское сословие соблаговолит избрать порядочного епископа, который денег не только что не имеет, но и не желает иметь и который запретит каноникам посылать в Рим даже нищенский выкуп за паллий, откуда бы ни поступали для этой цели взносы,— разве не был бы такой поступок добрым примером для других церквей Германии?

Гуттен. Нет, это бесполезно. Всегда найдутся государи, которые заплатят за паллий, и папа назначит их епископами; ссылаясь на законы, они силою заставят повиноваться и простолюдинов и рыцарей и будут править вопреки желанию всего народа. Так вспыхнула Майнцская война, которую помнят еще наши отцы: была распря между епископами, одного из которых выбрали каноники, а другого утвердил римский первосвященник; город был взят и отдан солдатам на разграбление, а церковь жестоко пострадала.

Эрнгольд. Теперь я понимаю, каким образом папы без труда достигают того, что в Германии нет неугодных им епископов и что поступающие доходы вполне утоляют их алчность.

Гуттен. Да что ты, ведь она неутолима — каждый следующий паллий дороже предыдущего, и прибыль, которую выкачивают из нас римляне, все растет и растет.

Эрнгольд. А потому я уверен, что лишь одно лекарство способно исцелить этот недуг: единодушие германского народа в тот день, когда, приняв смелое и достойное решение, он стряхнет это ярмо и, сбросив бремя не только тяжкое, но и позорное, доставляющее бесчестие всякому, кто его несет, объявит себя свободным. Боюсь только, как бы не помешали предрассудки, пустившие слишком глубокие корни в душах наших соплеменников.

Гуттен. Не бойся, не помешают; более того: вместе с ярмом исчезнут и предрассудки, и германцы поймут, сколь отлична служба истинному богу от идолопоклонства перед папскою тиранией. Они увидят, что все их затраты на этих римлян служат не делам веры и благочестия, а питают источники гнусной роскоши последних негодяев; увидев это, они уже никак не смогут верить, что их щедрость находит себе доброе применение. Они поймут далее, что из их пожертвований ни гроша не поступает ни в храмы божии, ни на общественные нужды, но все целиком уходит на поддержание злейших преступлений — к великому нашему позору и ущербу, а также к повсеместному поношению нашей религии среди язычников. Ведь для нас, христиан, нет упреков позорнее, чем когда обсуждают образ жизни этих подлых римлян, ибо они — всему голова, а если голова больна и в расстройстве, как можно поверить, что тело здорово?

Эрнгольд. Телу тоже приходится до крайности худо. Но ты полагаешь, что тело будет жить, если мы отсечем эту больную голову?

Гуттен. Тело без головы жить не может, да и нет необходимости сносить голову, нужно просто вырезать то, что испорчено, а потом обратиться к лекарствам. Подражая разумному врачу, следует устранить причину болезни и вырвать корни, ее питающие, тогда, изголодавшись и лишившись сил, она малопомалу пройдет и исчезнет без следа. Исцелить эту голову можно, но очень трудно, потому что лечение мучительно.

Эрнгольд. Я надеюсь, что когда священники расстанутся с роскошью и вернутся к делам благочестия, когда, дабы направить их по пути воздержания и умеренности, их оградят от злых соблазнов — от этих богатств, от этой порочной распущенности,— дух любостяжания, который развращает их сильнее всего прочего, уступит место непритязательности нужды и нравственной чистоте бедности. Ибо, как говорит греческий поэт:

«εἰ μὴ τὸ λαβεῖν ἦν, οὐδὲ εἷς πονηρὸς ἦν»[1].

Гуттен. Это верно, однако многим до того сладка эта болезнь, что они питают отвращение к здоровью, предпочитая навсегда остаться больными.

Эрнгольд. Но болеть им не позволят. Среди недугов это единственный, который занемогшим доставляет удовольствие, а всем, кто с ними общается, грозит гибелью.

Гуттен. Значит, нужно лечить, как бы ни противились этому больные.

[1] «Когда б не слово «брать», не знали б люди зла» *(греч.)*.

Эрнгольд. Но немалая часть их, если нельзя будет болеть, пожелает сложить с себя сан.

Гуттен. Ко всеобщей пользе и выгоде: меньше будет бездельников, которые всем в тягость и едва ли кому-нибудь полезны.

Эрнгольд. Христос-спаситель да устроит так, чтобы поскорее пришел этот час!

Гуттен. Непременно придет, потому что зло добралось до самой вершины, и, так как дальше подниматься некуда, оно должно пасть.

Эрнгольд. Тогда едва ли один из сотни останется в духовном звании.

Гуттен. И священников будет еще вполне достаточно, если оставить каждого сотого. Но тогда все будет по-другому.

Эрнгольд. Как же?

Гуттен. Точно не знаю, но лишь предчувствую что-то иное; а Вадиск считает, что духовные должности перейдут к самым лучшим и достойным, которые не будут проводить жизнь в безделии только потому, что они — священники, но именно потому и станут священниками, что каждый удостоверится в их трудолюбии; они посвятят себя всему государству и будут отличаться от остальных лишь большей непорочностью жизни и особенно ревностной заботой об общественном благе.

Эрнгольд. И они будут женаты?

Гуттен. Да, если пожелают,— чтобы не было больше повода к блуду.

Эрнгольд. Это мне нравится. Тогда и нам ничто не помешает сделаться священниками.

Гуттен. Я полагаю. Вадиск, во всяком случае, раньше этого принять сан не захочет — так всё ему противно в духовном сословии, и в первую очередь город Рим, которого, по-видимому, никто не проклинал красноречивее... Он напомнил мне о многих любопытных вещах, и между прочим вот о чем: еще на памяти людей папа назначал лишь князей церкви и утверждал избрание епископов, а теперь нашли способ превратить в доходную статью посвящение прелатов, деканов и каноников,— и это не только в папские месяцы, уже давно присвоенные Римом, но даже если вакансия откроется в дни, принадлежащие ординариям, тут они неукоснительно соблюдают знаменитый конкордат государей. По этому поводу Вадиск тонко заметил. «В трех вещах,— сказал он,— Рим постоянно ощущает недостаток: в епископских мантиях, папских месяцах и аннатах».

Эрнгольд. Мне казалось, что их больше чем достаточно.

Гуттен. А им — наоборот, потому что алчность их ненасытна. Если бы они считали, что епископы платят за утверждение в сане достаточно, то уж не касались бы низших должностей, и если бы довольствовались добычей своих шести месяцев, не врывались бы силой в свободную часть года; и не повышали бы под разными предлогами аннатов, если бы в Германии умирало достаточно большое (по их подсчетам) число священников. А у куртизанов — свои доходы, и к тому же огромные. Этих господ используют в качестве застрельщиков во всяких делах, между прочим они славно оберегают «привилегию челяди». Если умирает кто-нибудь среди приближенных папы, или кардиналов, или даже обыкновенного конюха в Риме, его приходы и должности, в соответствии с конкордатом, переходят в распоряжение папы, который их и раздает; каждый корыстолюбец и скупец прежде всего заботится о том, как бы попасть в разряд «приближенных», так как они скорее остальных достигают успеха в своих хлопотах, и бесчисленные толпы их наводняют Рим.

Эрнгольд. Но мне случалось видеть, как господа «приближенные», наравне с прочими, за деньги покупали то, чего добивались.

Гуттен. Приходится покупать — ведь в Риме ничто и никому даром не дается. Но не будь они «приближенными», им бы и купить не позволили.

Эрнгольд. Получается, что одному только Риму дарована привилегия пользоваться выгодами симонии, в остальных же местах это — преступление, ни с чем не сравнимое... А если порой несколько «приближенных» сразу сцепятся друг с другом, что решит их спор? Я думаю, что победу одержит тот, кто даст больше всего денег или предложит самую высокую цену.

Гуттен. Верно, но не так быстро, как тебе кажется. Если папа многим обещал одно и то же, нужно еще сначала узнать, кому из претендентов будет оказано предпочтение; всякая раздача граций сопровождается такими чудовищными надувательствами, что я не нахожу даже, с чем бы это сравнить. Я видел многих, которых трижды назначали и столько же раз отрешали, и всякий раз его святейшество находил объяснение тому, что берет назад оказанную милость. Но самую большую выгоду приносят городу Риму тяжбы, они так исправно умножают римскую казну, как ничто другое. Поэтому чем больше людей прибывает в Рим судиться, тем отраднее это хозяевам города: ведь каждый что-нибудь с собою привозит, ибо тот, кто

придет с пустыми руками, нарушит право и не только ничего в Риме не получит, но еще лишится того, что имеет. Намекая на это, Вадиск утверждает, что тяжущемуся в Риме нужны три вещи: деньги, рекомендательные письма и умение лгать.

Эрнгольд. А мне кажется, достаточно одних денег.

Гуттен. Да, достаточно, если их столько, что куры не клюют. Но стоит тебе попасть в стесненные обстоятельства — и придется выдумками, обещаниями, извинениями, обманами, ложными клятвами и торжественными присягами восполнять недостачу. От писем же, если нет в каждой строчке многообещающих намеков, толку никакого; вот разве что ты их получишь от человека очень богатого или могущественного и влиятельного — тогда они послужат тебе хоть какой-то защитой. Поистине любое дело продвигается в Риме с помощью трех вещей: подношений, покровительства и силы. Но покровительство, в свою очередь, снискивается лишь с помощью даров: станет ли кто-нибудь в Риме оказывать покровительство без всякой для себя пользы?

Эрнгольд. Нам для достижения наших целей не требовалось покровительство негодяев, но мы видели многих других, пребывающих в величайшем унижении, между тем как, будь у них деньги, они могли бы купить то, что им нужно.

Гуттен. Как раз в этом смысле Вадиск и говорит, что три вещи должен привезти с собою в Рим каждый: деньги, наглость и бесстыдство.

Эрнгольд. Все-таки, по-моему, главное — это деньги; правда, кое-какую роль играет и наглость, когда человек, чтобы выплыть или извернуться, совершает, по словам сатирика, поступки, заслуживающие ссылки и тюрьмы.

Гуттен. Да, в наглости заключено много злого и бесчестного; бесстыдство же гонит прочь скромность и учит человека не стыдиться позора.

Эрнгольд. Правильно. Но что это за срам — одну и ту же вещь дарить или обещать сразу многим, а затем преспокойно любоваться, как спорят и тягаются те, кто льстили себя одинаковыми надеждами!

Гуттен. Разумеется, срам, и германцы не стали бы его терпеть, не будь они жалким образом ослеплены своими предрассудками, которые застилают им глаза и по сей день не дают увидеть, как подло с ними обходятся. Во власти заблуждения они полагают, что папе все дозволено — даже принимать решения самые несправедливые,— и всякое слово неудовольствия его тиранией считают грехом незамолимым. Но Рим отнюдь не

бежит срама — он извлекает из срама прибыль: ведь папа вправе самое злое преступление объявить свободным от греха. Мало того, согласно конкордатам, все, что папа потребует назад у «облагодетельствованного» просителя (а это случается всякий раз, как пастырь разгневается на своих овечек), должно вернуться обратно в Рим, где куртизанам поручают выступать с обвинениями против тех, на кого им укажут.

Эрнгольд. Отсюда и возмущенные крики о том, что они многих преследуют без вины и доставляют неприятности людям самым безобидным.

Гуттен. А вот еще одна коварная уловка: так как конкордатами предусмотрено, что в случае смерти тяжущегося до окончания тяжбы его доходы немедленно поступают в распоряжение папы, богатых и дряхлых или больных священников нарочно вызывают в Рим для того, чтобы добыча не уплыла из рук, если кончина какого-нибудь из них не придется на один из папских месяцев. Я видел, как многие из получивших такой вызов умирали по пути в Рим. Что же до обвинителей, то они, как бы разорительно это ни было и как бы дорого ни стоило, предпочитают улаживать свои дела в Риме, чем обивать пороги где-нибудь еще, ибо Рим — это наиудобнейшее место для явных и самых злых преступлений. И Вадиск делает вывод, что всех едущих в Рим привлекают три вещи: восхищение славою Рима...

Эрнгольд. Это восхищение и отправило нас в путешествие!

Гуттен. ...нажива и порочная жизнь.

Эрнгольд. Второе и третье — приманка для куртизанов. Но я не знал прежде, что ординарии потеряли столько месяцев.

Гуттен. Столько, что почти все до одной вакансии открываются в папское время. Римляне всегда найдут способ не остаться с пустыми руками. В течение целого месяца после смерти духовного лица его преемник, избранный обычным порядком, не имеет права вступить в должность. Для чего это? Для того, разумеется, чтобы за этот срок римляне могли придумать, как бы им и здесь вырвать для себя кусок. Словом, нет никакой пользы от того, что год разделили на две части, раз они так или иначе забирают все себе. Что, например, за польза от жалоб и просьб епископов, если то, что раньше принадлежало одной из церквей и на что притязала другая, становится собственностью Рима? Мы видели недавно, как в Риме были проданы в один и тот же год одному и тому же человеку два паллия. Когда же дело доходит до раздачи так называемых экспектативных граций,—

а случается это не часто, ибо проявления благосклонности папы к германцам — дело исключительное,— то открыто нарушается конкордат государей: под видом граций растаскиваются должности, которые по многим основаниям должны быть свободны от римской тирании... Уже и в монастыри наши они врываются и обирают аббатов; при этом, лишая ограбленных единственного утешения, они самым жестоким образом урезывают так называемый регресс того, что некогда ссудил папа. Схватив добычу, они вцепляются в нее намертво, проклятиями и анафемами преграждая обратный путь к свободе... А аннаты — доход первого года после вступления в должность! Какой грабеж и какое обилие награбленного! Во избежание ошибок в Риме заведено учитывать, сколько каждая должность приносит своему владельцу. Но так как корень этого учета — римская алчность, то чаще всего называются суммы бóльшие, чем они есть на самом деле,— и что за решения коллегии тут можно услышать, какие неоспоримые суждения выносятся! Впрочем, может ли кто посетовать на несправедливость, если конкордат предписывает, в случае жалобы на неправильный подсчет аннатов, отправить из Рима в Германию специального легата для расследования дела?

Эрнгольд. А бывало, что отправляли?

Гуттен. А бывало, чтобы кто-нибудь дерзнул пожаловаться? Опасно докучать мелочами важным господам в Риме, и никто не решается высказать даже самое робкое сомнение относительно того, что связано с папой, дабы не рассердить его святейшество... Потом Вадиск говорил, что ему не хватило бы целого дня, чтобы исчислить способы и приемы, помогающие римскому епископу налагать руку на свободные церковные должности, распределять которые следовало бы нам, германцам. И хотя говорил Вадиск долго и много, он настоятельно подчеркивал, что успел коснуться лишь самой малости, ибо ничего — буквально ничего! — из того, что может пойти им на пользу, римляне не упустили. Все заповеди попраны, постановления отменены, обычаи забыты, договоры нарушены, соглашения расторгнуты, вера втоптана в грязь, законы опрокинуты, религия удавлена, все перевернулось вверх дном и пришло в упадок, и даже дети-несмышленыши могут занять духовную должность — лишь бы в Риме за диспенсацию деньги были получены. И нет такого греха, такого преступления, такого злодейства, отягощающего нашу совесть, которому римляне не радовались бы, предвкушая щедрую плату за диспенсации; но самито они грешат без всякой диспенсации. Известно ли тебе, что

в Майнце есть человек, который из своего бенефиция выплачивает дань некоей флорентийке?

Эрнгольд. Да, я слышал об этом недавно.

Гуттен. А какое отношение могут иметь женщины к бенефициям, в особенности же итальянка — к нашим бенефициям?

Эрнгольд. Никакого, клянусь богом, никакого, разве что ей назначат пенсию!

Гуттен. Ну, как по-твоему, найдется еще такая обида, которую бы они нам не причинили?

Эрнгольд. По-моему, нет; я вижу, их ничто не смущает и не останавливает.

Гуттен. Есть должности, на которые, по старинному германскому обычаю, назначаются лишь те, кто имеет ученое звание; чтобы, не нарушая внешней благопристойности, обойти это правило, в Риме такие звания раздают любым проходимцам. Благодаря этой уловке нéкто, получивший в Риме звание доктора, сделался каноником в Регенсбурге. Я видел его своими глазами и смею тебя заверить, что никаким иным способом он бы этого не достиг, ибо существует закон, отвергающий тех, кто не может похвастаться или благородством происхождения, или особой образованностью, между тем наш каноник, ничего не смысля ни в одной из наук, взял да купил себе звание. Если бы закон и в самом деле имел такой смысл, какой ему пытаются придать, то и мы в Германии могли бы поставить у алтарей своих ослов, да только, пожалуй, не захотели бы. Рим же не чурается никаких безобразий, и ему лишь одному на пользу чужие грехи: нет сомнений и беспокойств столь тяжких, чтобы в Риме не нашлось средства разрешить от них нечистую совесть... К папе отходят и те должности, владельцы которых умирают в Риме или на расстоянии двух дней пути от него. А при таком положении дел чего только не учинят яд, или наемные убийцы, или какие-нибудь другие средства, которые всегда под рукой в этом городе!

Эрнгольд. Да, многое способны они учинить. Тем безопаснее чувствовали себя в Риме мы: приходов у нас не было, и никаких козней мы не боялись.

Гуттен. Но за освобождающимися должностями куртизаны следят неусыпно, оказывая папе и кардиналам весьма важную услугу, ибо сразу обо всем доносят. Если же священник и не стар, и не болен и можно предполагать, что он еще долго протянет, его привлекают к ответу за какой-нибудь вымышленный проступок: одним вменяется в вину одно, другим — другое,

но на всех одинаково нагоняют такого страху, что многие, испугавшись опасности, раскошеливаются и откупаются, а иные умирают от горя и потрясения. Тяжко и прискорбно смотреть, как эти сикофанты нападают на неповинных (а по большей части только так и бывает), обличая их в Симоновой ереси — преступлении заведомом и строго караемом, которое лишь римлянам сходит безнаказанно: ведь, в самом деле, никого из этих торгашей, промышляющих святыней, нельзя обвинить в симонии. Часто какого-нибудь из них отлучают от церкви, но только для виду, а между тем существует столько поводов, по которым действительно, или, как говорят в Риме, *de facto*, отлучают, предавая анафеме людей, ни о чем не подозревающих и не знающих за собой никакой вины. Вот и мы с тобой — сидим сейчас и вспоминаем речь Вадиска, а римская справедливость наизнанку тем временем предает нас анафеме, хотя никаких доносов на нас и не поступало.

Эрнгольд. Господи Иисусе! Осуждать не выслушав, не дав защититься!

Гуттен. Καὶ πρὸ τῆς ἀπολογίας τὴν ψῆφον φέρειν![1]

Эрнгольд. Но соглашаться с этим могут лишь безмозглые ослы! Мы от такого пагубного суеверия свободны!

Гуттен. А они велеречиво убеждают народ, будто их жестокость — подлинное благочестие, превращая христианскую кротость в кровожадность настоящего палача, и хотя сами ведут жизнь самую гнусную, никого не соглашаются признать безгрешным и блаженным, если это не сопряжено для них с прямою выгодой. Отсюда и так называемые папские казусы тоже, по мнению Вадиска, бесстыдная и вздорная выдумка. Я же скажу: чем бы она ни была, она чужда намерениям и желаниям Христовым. Ведь Христос все роздал своим апостолам поровну, и ни единому из них не досталось больше, чем другому; я слышал, далее, что в ту пору, когда церковь была еще здорова, и папе на каком-то соборе предложили впредь считаться первым среди епископов, он от такого первенства отказался. А откуда старинное это прозвание — «раб рабов божиих»? Разве нет в нем намека на мысль Христа, в церкви которого каждый получал место тем выше, чем ниже сам себе выбирал, ибо управлять другими означает повиноваться всем,— такова была воля Христова... А у наших-то — что за спесь, что за чванство! Но если верно, что далеки от Христа те, кто, в заботах мира сего, нуждами духа или вовсе пренебрегает или отводит им последнее место,

[1] И подавать голос до выступления обвиняемого *(греч.)*

то можно ли вообще считать этих христианами, я уже не говорю — папами и князьями церкви?! Пожалуй, их можно было бы еще терпеть, если бы, сами живя скверно, они хотя бы не растлевали других; ныне же от тех, чьи руки должны протягивать нам плод духовный, исходит всеобщая погибель. Остается ли еще место для терпения, когда они силою вырывают то, чего прежде домогались лестью, когда они именуют церковными вотчинами то, что некогда униженно выклянчивали и сами же по справедливости называли подаянием? Но они написали для себя свои законы, из страха перед которыми приходится молча проглатывать все обиды. Не довольствуясь одними канонами и декретами, они прибавили к ним и палеи, и экстраваганты, и декларатории — для того, чтобы всеми средствами противодействовать истине, следить за каждым ее движением, заградить ей все пути. На столько разных ладов убивают души человеческие — и называются наместниками Христа, ну совместимо ли это?! Да что у них общего со Христом? Однажды, обернувшись к Петру, он сказал: «Паси овец моих»; а они что делают? Обрекают на голод христианский люд, вконец разорив его грабежами, и столько раз остригши это стадо до живого мяса, теперь и вовсе сдирают с него шкуру?.. И еще сказал: «И ты, обратившись, не оставь своих братьев»; ну конечно, то же делают и они, повседневно обирая и обчищая нас, все больше и больше обессиливая, а иной раз всех повергая в прах и испепеляя своими молниями! Ведь так много соблазнов губят душу, если за исповедью не явишься в Рим. Словно человека нельзя лечить там, где он заболеет, и где человек согрешит, не может он получить отпущения, и будто так уж необходимы долгие странствия или к раскаянию приводит место, а не собственная совесть. Но если бы дело обстояло иначе, на что жили бы все эти римские пенитенциарии, все те, кто пишет и запечатывает буллы? Никто не покупал бы индульгенций, если бы не был убежден, что от них зависит вечное блаженство, а на буллы никто бы и смотреть не пожелал, если бы в сердцах христиан не поселили ложного понятия, будто без их заступления душу не спасти; неразумный народ настолько этому верит, что те, у кого нет денег, добровольно подвергаются публичному бичеванию в Риме... А какой тиран с бóльшим презрением облагал данью покоренный им город, нежели эти «рабы рабов» угнетают народ не только свободный, но властвующий над миром?! Это ли «легкое бремя» Христово? Это ли «иго благое»? И разве не значит это скорее воздвигать гонения на церковь божию, вводить новые законы, до последней буквы противные установлениям Христа?

Эрнгольд. Нужно ли что-нибудь добавлять к твоим словам? Ведь мы так хорошо знаем, как это все верно, что никаких подтверждений не требуется.

Гуттен. Но мне давно уже время перейти к «соблюдению в сердце»,— впрочем, это предмет настолько важный, что я просто не знаю, с чего начать. Найдутся ли такие слова, в которых можно было бы описать преступление столь ужасное, что никакие виселицы, никакие кресты или пытки, никакие костры — даже тот последний, в котором некогда сгорит мир,— я уверен, его не искупят?

Эрнгольд. И это сердце принадлежит папе?

Гуттен. Да, одному лишь ему. Оно так обширно и вмещает столько бенефициев, что любому из получивших должность следует опасаться, не хранилась ли она прежде в груди его святейшества.

Эрнгольд. А много ли у него способов «блюсти» эти духовные должности?

Гуттен. Когда-то их можно было сосчитать, а теперь ни конца, ни края не видно. Чаще всего куртизаны просто выдумывают, что папа был хранителем того или другого прихода, чего на самом деле он и в мыслях не имел.

Эрнгольд. И он не гневается на них за этот обман?

Гуттен. Станет он гневаться за такую доходную выдумку! Тут же все подтверждает и хвалит их усердие, а они, не оставив похвалы без внимания, выслеживают повсюду богатых и старых священников и, с помощью денег, убеждают его святейшество, чтобы он, как только те умрут, объявил, что сохраняет за собой освободившиеся должности, а потом передал бы эти должности им. Иной раз человек уже умер, а они упорно продолжают добиваться своего, меж тем как наместник Христов охотно смотрит на все это сквозь пальцы и только что одобрительно не кивает преступникам. Мало того, дух любостяжания временами настолько силен в нем, что одно и то же место он продает двум, трем или нескольким соискателям. Поистине ненадежная и опасная вещь это «надувательство в сердце», ни с чем его не сравнишь: против него бессильны и выборы, и право патроната, и старинные обычаи, и порядки, искони соблюдаемые в стране, и чьи бы то ни было привилегии, и власть государей. Смертелен яд, источаемый этим сердцем, и нет для злодеяния убежища надежнее; в нем укрываются те, кому изменила удача во всех остальных обманах, уловках, хитростях, надувательствах, мошеннических проделках.

Эрнгольд. Боги благие, что за чудовищное коварство! Целая τῶν κακῶν Ἰλιας! [1]

Гуттен. Мне даже говорить об этом тяжело, как же горько все это терпеть!

Эрнгольд. Так за чем дело стало? Разве нет у Германии меча или огня?

Гуттен. Нет у Германии — найдутся у турок.

Эрнгольд. Не лучше ли нам отомстить за эти обиды самим, без чужеземцев?

Гуттен. Конечно, лучше, но медлить дольше нельзя, ибо их произвол становится безмерным. Ты видел буллу Юлия, которую до небес превозносят куртизаны?В ней подтверждается экстравагантa Пия Второго, направленная против тех, кто станет требовать созыва собора. Боги бессмертные, какая неслыханная наглость! Оба они преступники — и тот, кто первый издал такое постановление, и тот, кто его подтвердил! Так издеваться над очами и душами верующих! Они это сделали, чтобы раз навсегда избавиться от страха перед теми, кто ищет у собора защиты от папской несправедливости,— Риму и до́лжно бояться собора! Но все-таки эта булла, как мы ее ни проклинай, ныне числится среди законов церкви и уже отторгла от Венеции города и земли.

Эрнгольд. Не булла, насколько я могу судить, а мечи французов и немцев. Как, думаешь ты, отнеслись бы к этой бесстыдной и вздорной бумажонке мужи непревзойденного благоразумия, город, не знающий, что такое опрометчивость, если бы против них не выступили столько королей, столько государств, столько армий? Просто насрали бы на нее!

Гуттен. Пожалуй. Но этот обманщик осмеливается утверждать, будто дух святой споспешествовал ему в написании буллы — каково, а?! Точно возможно, чтобы дух премудрости господней присутствовал на совете злобы! И шайка этого разбойника еще называется церковью, а не худшим из гонителей, когда-либо восстававших против церкви! Язычники, преследуя Христа, убивали только людей — у этих «заслуги» побольше: они губят само учение Христово, на котором основана христианская вера, на котором стоит церковь, в котором корень и залог спасения рода человеческого, своими законами — смертоносным дыханием адских испарений — застят свет истины. К тому же прежние гонения и мученичества умножали и укрепляли веру незыблемостью и мужеством, а это — ниспровергает и разрушает ревностным усердием в лютых преступлениях.

---

[1] Илиада бедствий *(греч.)*.

Эрнгольд. Сгинь, о Рим, ты, веры Христовой не имущий, но лелеющий алчность в угоду Сатане! Сгинь, корень пороков и преступлений, от которого растет погибель христианскому миру, сгинь!

Гуттен. А эти пастыри?! Если придет нужда положить душу свою за овец, как по-твоему, окажут они мужество и отвагу?

Эрнгольд. Чтобы стали жертвовать жизнью и проливать кровь за свое стадо те, кто режет овец корысти ради?! Да если бы сегодня турки осадили Рим и пришлось оборонять Италию, первым сбежал бы, первым, при малейшем намеке на опасность, покинул бы и Италию и — если только разум мне не изменяет — самое веру тот, кто недавно требовал у немцев денег на войну с турками. И уж сколько раз морочили этой басней христианский люд! Они и не собираются нападать на турок, когда клянчат денег под этим предлогом,— они просто сами хотят жить припеваючи!

Гуттен. Я тоже так думаю. Они хотят иметь средства и возможность утопать в роскоши и ни в чем себе не отказывать; такова их цель, таков их образ действий. Нет, и падение нравов, и положение дел в Риме таково, что тут нужны турецкие мечи,— как тебе кажется?

Эрнгольд. Если христиане не пожелают открыть глаза и сами себе помочь, но останутся во власти одурачившего их суеверия и не покарают злодеев,— нужны!

Гуттен. Вот и Вадиск говорит, что три вещи могут вернуть Рим к его прежнему — и самому лучшему — состоянию: решимость германских государей, иссякшее терпение христиан и турецкое войско у ворот города.

Эрнгольд. А при чем здесь решимость?

Гуттен. Да как же, ведь без конца говорили и говорят, будто немцы когда-нибудь отважатся на подвиг,— а все ни с места, и римляне уже смеются, когда слышат, что, мол, явится некто и потребует у них ответа за неправедную жизнь.

Эрнгольд. Слишком велико долготерпение народа; когда, по-твоему, придет ему конец?

Гуттен. Когда души освободятся от суеверия, а это случится вскорости,— я твердо надеюсь.

Эрнгольд. Стало быть, двух первых средств будет достаточно и турецкое оружие уже не понадобится?

Гуттен. Вадиск полагает, что все-таки понадобится и оно, и что всех трех, если они объединятся, едва-едва хватит на то, чтобы наказать порок и вернуть церкви добрые нравы.

Но я считаю, что Германия способна на многое, если она внимательно и с толком рассмотрит все обстоятельства дела; а она их рассмотрит, и поможет этой беде, и, сбросив суеверие, облечется в истинную веру,— в доказательство этого я могу привести много разных соображений.

Эрнгольд. Дай-то Христос! Но если злой рок тяготеет над христианским миром и христиане перестанут верить, что своими силами смогут когда-нибудь изменить дурные нравы к лучшему,— пусть тогда турки захватят город, пусть убивают и режут всех подряд — понятное дело, не безвинных людей, нет, избави бог, но эту всесветную чуму добрых нравов, этих преславных учителей нравственности, которые, к величайшему позору для нашей религии, ведут христианский мир к гибели.

Гуттен. Кто станет удивляться дерзости богемцев, когда римляне всякий день дают столько поводов к нападению на самих себя?

Эрнгольд. Мы действий богемцев не одобряем, но и не удивляемся им: негодяи-римляне, по-видимому, намерены доставить новые поводы, которые вызовут новые, еще более страшные бедствия.

Гуттен. А что говорит Вадиск? Три вещи по сю пору мешают Германии мыслить здраво: бездействие государей, невежество в науках и суеверия черни.

Эрнгольд. Именно так, Гуттен, именно так! Что до суеверий, то римляне еще крепко на них уповают, но на попустительство государей, судя по твоим словам, им лучше не рассчитывать; науки же, мне кажется, поднялись на ноги и стоят твердо.

Гуттен. Вот то-то и не дает им покоя, и провалиться мне на этом месте, если эти завистники не думают, будто мы уже слишком сведущи в науках и слишком усердны в занятиях, хотя, на самом-то деле, нам остается желать еще очень многого.

Эрнгольд. Конечно, ты прав, и из того, что пишут немцы, многое, наверное, не по душе римлянам.

Гуттен. Тем не менее, по-христиански уповая на свои силы, мы должны писать и выводить на свет истину, которая да будет для нас свята! Ведь с каким упорством сам спаситель изо дня в день обличал духовных князей и книжников! Идя по его стопам, мы обязаны мужественно противостать тем, которые, прибыли ради употребляя во зло высокие свои титулы и учение Христа подменяя человеческими предписаниями, и учат и живут неправильно; которые истину божию превратили в ложь и ныне зовут поклоняться твари вместо творца; которые входят не

дверью, как пастыри, но, словно воры и разбойники, перелезают через стену. А кто входит путем обмана и подкупа, путем Христа не входит, ибо Христос и есть дверь, через которую должно входить в эту овчарню, чтобы, придя к овцам Христовым, пасти их, а не обирать, резать и губить. Против них, повторяю, мы обязаны возвысить голос и вместе с Вадиском кричать до тех пор, пока не найдется человек, которого тронут наши жалобные вопли и который, вняв им, и отважится и сможет ополчиться на тех, кто, вопреки долгу, не увещевает свою паству с кротостью и умеренностью Христовой, но угрозами проклятия и вечной погибели принуждает к подчинению. Если бы они рассевали у нас свои духовные семена, а мы находили бы это уместным и своевременным, то, по справедливости, разрешали бы им снимать осязаемую жатву на нашей земле; ныне же они не дают ничего, а получать хотят по-прежнему и вдобавок бесстыдно пускают нам пыль в глаза, нацепляют на себя какую-то смехотворную маску. Таким образом, одурачивая нас, они забирают себе блага настоящие, а нам сулят будущие, которых у них нет и быть не может, ибо люди над ними не властны. Вот какой дорогой ценой мы покупаем эту надежду и все никак за нее не расплатимся! Вот на сколько ладов нас оскорбляют, а мы и от поношений себя не ограждаем, и от насилия не защищаемся.

Эрнгольд. Вы правы, протестуя против этой тирании, но будьте осторожны, берегитесь их коварства и козней, чтобы добродетель не пострадала безвинно. Не думай, что это пустяки.

Гуттен. Я не думаю, но:

«Счастье только с риском ходит: нет того — нет этого».

Эрнгольд. Да, это великий и славный подвиг — если кому удастся уговорами, увещаньями, ободреньями и даже принужденьем заставить отечество осознать свой позор и, с мечом в руке, вернуть себе старинную свободу.

Гуттен. Пусть даже и не удастся — сама попытка заслуживает награды: быть может, пример окажется заразительным, ему станут подражать повсюду и, в конце концов, мир придет в движение, и Германия опомнится и окажет Христу и церкви услугу, на мой взгляд — величайшую из возможных: немедленно положит конец несправедливым поборам и, оставляя свои деньги у себя, голодом заморит римских копиистов и протонотариев.

Эрнгольд. Ах, если бы ты смог убедить ее в этом!

Гуттен. Во всяком случае, попытаюсь.

Эрнгольд. Будешь говорить ей правду?

Гуттен. Да, буду,— хотя бы мне грозили оружием и самой смертью!

Эрнгольд. Каких только хитростей они тогда не измыслят?

Гуттен. Каких только союзников я тогда не призову, каких только караулов не расставлю?

Эрнгольд. Христос да ниспошлет тебе удачу. Но мы уж чересчур отвлеклись от триады.

Гуттен. Не иначе поступал и Вадиск, многое разъяснявший в обширных отступлениях. В особенное негодование он приходил, когда упоминал об отпущениях, релаксациях и диспенсациях; он возмущался неравенством среди священнослужителей, которое выдумали римляне, и слишком большой свободой, которую они себе забрали, освобождая от клятвенных обязательств, объявляя соглашения недействительными, расторгая договоры и разрешая все, что противно вере и учению Христову и враждебно добрым нравам. Затем он зло и горько хулил каноническое право, и тебе, как юристу, стоило бы его послушать; я же могу только сказать, что эта часть его речи мне очень понравилась. Он разъяснил нам, какие укрытия они заранее себе подготовили и как им это удалось, какие сети обманов сплели, какие замечательные потайные ходы прорыли, чтобы улизнуть при первом же нападении. «Что теперь гражданское право? — говорил он.— Оно растоптано противозаконностью их установлений. Это было самое надежное средство накинуть петлю на христианскую свободу, ибо тремя вещами Рим подчиняет себе все: силой, хитростью и напускной святостью. И хотя сила — это самое главное, ее было бы недостаточно, не будь она приправлена хитростью, так чтобы люди верили, будто ежедневно появляющиеся решения скреплены единодушным согласием всей церкви».

Эрнгольд. Здесь уместно будет вспомнить и то возражение, которое недавно было выдвинуто против Карла: строжайше-де запрещено избирать Римским императором короля Неаполитанского.

Гуттен. Кому не ясно, чего они этим домогаются? Но подобным законам конца не видно, а они желают, чтобы мы благоговейно чтили все до единого. Понятно, они хотят, чтобы мы верили, будто одна буковка в их установлениях значит больше, нежели сотни законов римских императоров и древних юристов. Евангелию они предпочитают каноны и учению Христа — папские декреты, чтя людей выше, чем бога. И так упорно на этом стоят, что объявляют нас нечестивцами, если мы, хоть шепотом,

повторяем слово Евангелия, противоречащее какому-нибудь решению папы. А римский епископ, всякий раз как замыслит новое строжайшее предписание, призывает к себе для совета того или иного из своих кардиналов или протонотариев либо собирает тех, кто ему ни в чем не прекословит или же, как ему доподлинно известно, придерживается той же точки зрения, что и он, и таким-то вот образом рожденный декрет, сколь бы нечестивым он ни был, его святейшество прикрывает авторитетом всей церкви. Тут поднимаются крики: «Так постановила церковь! Церковь не ошибается! Нужно верить в святую церковь!» — и этого достаточно, это всем затыкает рот, никто не решается возражать из страха услышать в ответ обвинение в ереси, которым бросаются с такой легкостью, что проще оказаться еретиком, чем обыкновенным грешником. После того как этой ложью они ввели в заблуждение христианский люд, пресловутый пастырь сразу же принимает титул святейшего и бесстыдно разрешает именовать себя «Блаженнейшим». А потом — целование ног и страх христианских государей перед угрозой отлучения; и вот уже римская тирания выпрямилась во весь рост. Но эта сила нуждалась в деньгах, чтобы тратить шире, чем короли. Тогда нашли три способа выкачивать золото из-за границы: продажу индульгенций, мнимый поход на Турцию и предоставление факультатов легатам в варварских странах.

Эрнгольд. Никто еще не собирал удачнее всего этого воедино. Верно, главный свой улов римляне вынимают из этих трех сетей.

Гуттен. Не удивительно: преемникам Петра и надлежит быть ловцами.

Эрнгольд. Но ловцами душ человеческих, а не чужих денег. Вот уж поистине неравная замена: вместо того, о чем Христос сказал: «Сделаю вас ловцами человеков»,— гнуснейшая погоня за деньгами.

Гуттен. Нет, они ловят людей и обращают их в рабство — уже не простой христианский люд, как бывало прежде, а королей и князей.

Эрнгольд. И это чуждо Христу. Он хотел, чтобы апостолы проповедью веры стяжали человеческие души, но чтобы они домогались богатств и власти и притязали на царское могущество,— не хотел. Какое поношение имени Христова! А христиане и не замечают, что евангельскую истину исказили, вывернули наизнанку! В Евангелии богатства человеческие — великое препятствие на пути к блаженству, а тут небо сулят лишь тем, у кого есть деньги. Христос сказал, что его царство не

от мира сего, и когда люди хотели сделать его царем, бежал от них; а эти до того вожделеют к царствам земным, что ради них все предают огню и мечу и, ожесточенно сражаясь, приводят в расстройство целый мир,— как говорится, смешивают море с землей и обрушивают на них небо. Христос учит нас, что нельзя служить двум господам сразу: «Не можете,— говорит он,— служить и богу и мамоне»; а эти даже и двум не думают служить, но до такой степени преданы последнему, что только в нем и живут и не отступают от него ни на шаг. «Какое согласие между Христом и Велиаром?» Глупцы не видят и не понимают, что если римляне правы, то легче достигнуть блаженства богачам, сынам века, нежели беднякам, избранным богом, ибо первые могут больше тратить, покупать больше индульгенций и вести более разнообразные дела с теми, кто облечен факультатными полномочиями. Но Христос мыслил совсем по-другому и называл блаженными нищих, говоря, что их есть царствие небесное.

Гуттен. Однако торговцы индульгенциями нищих не гонят.

Эрнгольд. Знаю, такую хитрость они придумали недавно, чтобы убедить толпу, будто торговля эта заведена не ради денег: вот, мол, мы же не берем денег с тех, у кого их нет, и они получают индульгенции даром, а платят лишь те, кто может. Но, действуя таким образом, они собирают больше, чем при ином положении дел, так как никто не верит, что получит отпущение, не заплатив. Впрочем, они никому и не дают индульгенций даром. Каждый платит понемногу, это верно, но сочти-ка всё вместе, и получится чудовищная сумма. Это основное средство, к которому прибегают коварные римляне, чтобы сделать хоть мало-мальски терпимыми свои вымогательства. Итак, каждый хочет что-нибудь дать,— откуда он возьмет, это не важно: какая-то мелочь у каждого найдется,— в надежде обрести благодать божию, если благочестие будет подкреплено золотом. Они нимало не сомневаются, что их деньги идут на святые нужды, особенно — женщины, которых жестоко надувают исповедники, обольщая своих духовных дочерей самыми невероятными посулами и выкачивая из них, сколько вздумается, а те с чистой совестью грабят своих мужей, обирают детей и опустошают дома, чтобы щедро ублаготворить торговцев вздором. Мало того — это именуется благочестием, именуется милосердием и превозносится в проповедях до самых небес, как ни одна из прочих добродетелей. Что в сравнении с этим неприступное женское целомудрие? Что воспитание детей в духе порядочности и благонравия? Что соблюдение супруже-

ской верности и единомыслие с мужем, ничем не нарушаемое до последнего вздоха? — все ничто, все ерунда, главное — уплатить за индульгенции, хоть украсть, но уплатить! Этого ли хотел Христос? И что может грубее противоречить его учению?

Гуттен. Можно подумать, что ты слышал Вадиска.

Эрнгольд. Его-то я не слышал, но зато все видел сам, собственными глазами.

Гуттен. Почти в тех же словах говорил и он: «Где ныне соль земли, о которой Христос вещал апостолам: «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой?» Разве она уже не потеряла силу и разве не заменила ее соль поддельная, негодная, безвкусная? Разве не пришло время выбросить ее вон на попрание людям?» Теперь о факультатах: хоть это не что иное, как разрешения творить любые бесчинства (я уже приводил тебе эти слова из речи Вадиска), тем не менее дают их легко, дают часто и многократно. Но прежде диспенсации были заперты в стенах Рима, и желающие могли получить их только там; а недавно, сочтя, что недостаточно много народу приезжает за ними в Рим, папа начал рассылать легатов, и они за деньги милостиво дозволяют то, что запрещено законами божественными или человеческими. Вот что такое факультаты: человек хочет питаться в постные дни мясом, молоком, яйцами, маслом, или дал обет, а теперь раскаивается и не желает его исполнять, или поклялся, но тяготится этой клятвой, или собирается взять себе в жены женщину, жениться на которой ему не позволяет закон, или хотел бы иметь сразу двадцать так называемых куратных приходов, а священнических обязанностей не желает исполнять ни в одном (ибо многим духовным лицам, особенно в Германии, неприятно и даже стыдно служить богу у алтаря),— во всех этих случаях у легата покупается соответствующее разрешение.

Эрнгольд. Если таковы эти легаты, то, принимая их, чем отличаемся мы от троянцев, которые сами ввезли в свой город и поставили посреди крепости рокового коня с заключенными в его чреве данайцами?

Гуттен. Ничем. Однако пойдем дальше: любой злодей освобождается от грехов и делается чист, хотя бы он и убил человека, или даже родного отца убил, или,— еще того хуже,— подстрекаемый диаволом, избил священника, или находился в преступной связи с собственной матерью, сестрой или дочерью, или, наконец, был отлучен от церкви самим наместником Христовым; короче говоря, нет такого деяния, которое с помощью факультатов не могло бы обратиться в несодеянное. Здесь стоило

бы вспомнить о так называемых папских казусах — ведь именно из них-то и вышли факультаты, и если так, то, казалось бы, никто, кроме легатов от ребра апостольского, не вправе возить сюда этого рода отпущения, а между тем мы страдаем и от перекупщиков: нищенствующая братия и другие ордена и конгрегации закупают их в Риме, чтобы перепродать у нас, больше всего — нищенствующие монахи, потому что они лучше других умеют расхвалить товар. Они честно блюдут интересы папы, рассказывая небылицы об индульгенциях грубой черни и бабам, которые не осмеливаются сказать «да» или «нет» без их согласия и беспрекословно повинуются всякому слову своих исповедников.

Эрнгольд. Я не вижу ни малейшей разницы между обыкновенными купцами и этими торговцами.

Гуттен. А ее и нет, не считая лишь того, что получение денег за разрешительную грамоту не называется у них словом «продажа»,— иначе преступление стало бы очевидным и им пришлось бы несладко.

Эрнгольд. Но разве существо дела меняется, если вещи запрещают называть своими именами? И кого эти вампиры надеются обморочить настолько, чтобы можно было, не встречая возражений, доказывать, будто брать деньги за товар не значит продавать его?

Гуттен. Простодушную толпу и кое-каких дураков и пьяниц среди государей,— к этому прилагаются все усилия. А сколько раз они вымогали у нас деньги под предлогом войны с турками, меж тем как начнись она с общего согласия всех христиан — и единственной помехой окажутся эти же самые подстрекатели, можешь быть уверен. Ведь турки выгодны Риму по многим и важным соображениям, прежде всего потому, что благодаря им можно взимать деньги с немцев. С итальянцев-то они не взимают, да и с других народов почитай что не взимают, и лишь над немцами издеваются как хотят, находя это удобным и безопасным. Да что там! Канонизацию святых (иными словами — причисление усопшего к лику блаженных небожителей) — и ту они ухитрились превратить в источник наживы!

Эрнгольд. Значит, в наше время даром святыми не делаются?

Гуттен. Как видишь. И лучше бы собственные заслуги человека обращали его в святого, чем создавать у людей такое мнение с помощью чужих денег. Недавно братья проповедники захотели причислить к лику святых какого-то своего Антония и просили Максимилиана написать по этому поводу Льву Деся-

тому; но нам известно, сколько денег они отвалили папе немного спустя. А «нешвенный хитон», который несколько лет назад откопали в Трире,— ведь у папы тайком купили согласие считать его поистине облачением Христовым. И разве до сих пор часть приношений, которые делают прибывающие в Трир паломники, не уходит к папе в Рим? Итальянцы пожертвовали бы чем угодно, но ни за что не позволили бы так себя одурачить и потому смеются до упаду над нашей податливостью.

Эрнгольд. Я ни разу не видел, чтобы в Италии творились такие безобразия, какие, с согласия наших соотечественников и к величайшему для каждого из них в отдельности и для всего государства ущербу, творятся в Германии. Индульгенций итальянцы не покупают и даже даром брать не хотят, на войну с турками взносов не делают и твердо знают, что факультаты выдуманы специально для варваров, чтобы их обманывать и обирать, а посему уверены, что к ним это ни малейшего отношения не имеет. И на построение храмов они ни гроша не дают — не то, что мы здесь.

Гуттен. Ты напомнил мне еще об одной триаде. Вадиск говорит: «Тремя вещами беспрерывно занимаются в Риме, а конца все не видно: спасением душ, восстановлением обветшалых церковных строений и снаряжением войска в поход на турок».

Эрнгольд. Под этими тремя предлогами они и тянут из нас деньги.

Гуттен. Вот именно. Недавно, к примеру, они переправили к нам через Альпы поистине божественные факультаты, лицемерно заверяя, что вырученные деньги пойдут на построение собора святого Петра в Риме, фундамент которого заложил Юлий Второй.

Эрнгольд. Да если бы и правду говорили,— с какой стати мы должны строить на свои деньги церкви в Риме? И почему бы в богатой Италии не выклянчить чего-нибудь на это благочестивое дело? Или, может, в Германии мало церквей, которые пришли в ветхость и нуждаются в восстановлении? Как только папе не стыдно обращаться к нам с подобными просьбами!

Гуттен. Было бы стыдно, если бы хоть один человек в Риме знал, что такое стыд и страх перед позором. Ну ладно, а поход на турок когда начнется?

Эрнгольд. Спроси лучше, сколько раз они мешали ему начаться!

Гуттен. А как они спасают души?

Эрнгольд. Разве могут спасти чужие души те, кто сам так далек от истинного спасения, более того — окончательно забыл совесть и честь?

Гуттен. Ты затрагиваешь вещи, правды о которых римляне не выносят, слышать не могут.

Эрнгольд. Что же это за вещи?

Гуттен. Вадиск называл три: папа римский, индульгенции и, наконец, грехи, которые каждому в Риме приносят выгоду.

Эрнгольд. А мы все-таки заставим их слушать, и раз их не трогают по-христиански доброжелательные, братские увещания, придется нам в конце концов испробовать то, что предлагает Вадиск:

«Жалость откинувши, действовать станем жестоко и злобно».

В этом деле, я надеюсь, у нас будет немало помощников. И не только среди простого народа, который уже начинает смотреть на буллы с пренебрежением, все реже и реже обращается к торговцам дарами его святейшества, все враждебнее относится к папским легатам, день ото дня все больше возмущается поборами и уж не так, как прежде, боится громов отлучения, а потому почти совсем перестал покупать диспенсации. Нет, мы надеемся приобрести союзников и среди владетельных государей, которые, по твоим словам, в иных случаях и говорят и действуют независимо, которые считают, что нельзя дольше терпеть неограниченную власть римского епископа, присвоенную им по собственному почину, которые с нетерпением ждут собора и уже не особенно ревностно поклоняются бесстыдному идолу в образе христианского первосвященника. Оглядываясь на былую простоту и скромность, которыми отличались папы в давние времена, они с негодованием думают об этих мнимых епископах — людях, погрязших в роскоши и алчности, под маскою святости прячущих высокомерие тиранов. Они хотят сами по своему выбору назначать достойных кандидатов на церковные должности у себя в стране, чтобы алчность чужеземцев не могла больше — к позору нашему и ущербу — ни присваивать их, ни продавать первому встречному. Они больше не желают, чтобы тяжбы между духовными лицами разбирались в Риме, принося Германии такие внушительные убытки. Они жаждут, чтобы все эти «главы церкви», вместо пороков, которые ныне владеют ими: глупости, праздности, роскоши, алчности, хищности, коварства, пьянства, хитрости, любострастия, гордыни, необузданности, лукавства, злобы, низости и жестокости — обле-

клись наконец в добродетели: мудрость, неутомимость, прилежание, бережливость, рассудительность, умеренность, честность, трезвость, простоту, самообладание, терпение, миролюбие, верность, справедливость, благочестие, кротость и милосердие. И, наконец, они полагают, что в интересах всего христианского мира, чтобы притязающие быть наместниками Христа следовали по стопам его; да и вообще незачем притязать — пусть лучше поскорее приступят к исполнению своих обязанностей.

Гуттен. Надеюсь, что в конце концов так и будет: ведь иногда ἀπὸ βραδυσκελῶν ὄνων ἵππος ὤρουσεν[1]. Но, как по-твоему, если наши земляки возьмутся за них, чем они на это ответят?

Эрнгольд. Станут как шелковые и

«...уже не с оружием боле,
Но с мольбами и клятвами будут о мире стараться».

Гуттен. Ничего подобного! Они будут защищаться с великим упорством, накупят оружия и коней, наймут солдат и поведут войну с нами — за наш же счет; а если на собственные силы не понадеются, то, как и встарь, будут искать сочувствия и помощи у французов и всех взбудоражат, поднимут на ноги даже камни, прежде чем согласятся с изменением привычного для них порядка вещей. Они объявят нас гонителями церкви (так называют они каждого, кто отваживается тронуть их хоть пальцем) и схизматиками, будут вопить, что мы-де раздираем на части нешвенный хитон Христов, станут метать в нас молниями своих анафем. Если кому-нибудь случайно неизвестны события отдаленного прошлого и он не знает, что довелось вынести по той же причине многим германским императорам — людям решительным, которых они позднее помянули в помойных своих декретах и нарекли предателями, чудовищами, еретиками,— каким несчастием, из-за лукавства врагов, обернулось для многих это дело,— пусть тому человеку напомнят о сравнительно недавнем эдикте безумного Юлия Второго, в котором он обрекает когтям Сатаны всякого, кто подымет оружие против папы и церкви, и, напротив, сулит небеса и даже нечто превыше небес тем, которые выступят под его хоругвью. Кто остался безучастным, услышав этот эдикт? — вероятно, никто, но либо соблазнился приманкой, либо в ужасе и отчаянии бежал. Один человек вершил судьбою стольких королей и народов! Тем, кого он удостаивал своим союзом, он разрешал побеждать, но — лишь до тех пор, пока длилась его дружба; когда же ему бы-

[1] из медлительного осла лошадь выходит *(греч.)*.

вало угодно расторгнуть союз и примкнуть к противной стороне, он возвращал все права и преимущества этой последней; так, куда бы он ни двинулся, вслед за ним шли победа, главенство и господство.

Эрнгольд. Я это знаю; однако успеху Юлия способствовал не тот эдикт и не какое-либо иное из его решений, но случай и удивительно благоприятное стечение обстоятельств. Впрочем, как бы там ни было, а я полагаю, что он последний наслаждался такой удачей и никому из его преемников она уже не выпадет.

Гуттен. А они глубоко уверены в обратном; поэтому, как рассказывал Вадиск, они нас презирают и сами говорят, что тремя вещами укреплен город Рим: мелкими рвами, разрушенными стенами и низкими башнями, — словно хотят сказать, что для защиты от тяжелых на подъем варваров достаточно любой, самой ничтожной силы, а потому незачем особенно заботиться об укреплениях. Вот как мало боятся нашей доблести в городе, которым правят три государя; сводник, куртизан и ростовщик.

Эрнгольд. Клянусь богом, верно. Мы же сами видели, что только они и пользуются в Риме почетом.

Гуттен. А пристало ли главе церкви иметь пребывание среди подобных сограждан?

Эрнгольд. На мой взгляд — ни в какой мере.

Гуттен. Как вообще жить в городе, где три вещи люди делают лишь поневоле: держат слово, оказывают услугу ближнему и уступают дорогу?!

Эрнгольд. Что может быть противнее христианской непорочности, чем эти нравы? Ведь она-то в том единственно и состоит, чтобы каждый обходился с людьми так, как он хочет, чтобы обходились с ним, а римляне настолько далеки от нее, что им трудно даже дорогу уступить брату своему. Нет, право же, верность и милосердие слишком божественные добродетели, чтобы город Рим был способен их воспринять и вместить.

Гуттен. Зато тремя другими вещами он переполнен настолько, что им и числа нет: шлюхами, попами и писцами, к величайшему убытку тех, у кого обманом и силою вымогают деньги на содержание этой чумы, этой банды никчемных и прожорливых бездельников!

Эрнгольд. Клянусь, нет сил терпеть этот ущерб! Не буду говорить о других странах, а сколько теряет Германия, мы наконец поняли.

Гуттен. Опасаясь, как бы не получилось, что характер нынешних римлян показан лишь в немногих чертах, Вадиск

прибавляет: «Три вещи на уме у каждого в Риме: короткое богослужение, старинное золото и веселая жизнь».

Эрнгольд. Это обличает в них пренебрежение к религии, дух любостяжания и праздности.

Гуттен. Этим порокам ревностно привержен весь город, который, в отличие от других городов, владеет тремя вещами: папой, старинными зданиями и безграничною алчностью.

Эрнгольд. Увы, вот она какова, столица нашей церкви! Настанет ли время, когда мы, наконец, отнимем это верховенство у места, отравленного столькими ядами, зараженного столькими болезнями, столькими пороками телесными и духовными?!

Гуттен. Но иначе и не может быть там, где на каждом шагу — три вещи, которые нигде больше не встречаются.

Эрнгольд. Что же это за вещи?

Гуттен. Люди всех племен, монеты всех стран и разговоры на всех языках.

Эрнгольд. Пусть он лучше сгинет вместе со своими паломниками, монетами и языками, этот зачумленный Рим,— только бы не губил больше наших нравов.

Гуттен. А римлянам выгодно, чтобы нравы в Германии окончательно погибли, и потому из трех вещей, которые Рим люто ненавидит,— так называемого права патроната, свободных выборов прелатов и епископов и трезвости немцев — более всего ему ненавистна третья, нестерпима настолько, что папа намерен издать эдикт, одобряющий пьянство, опасаясь, как бы, отрезвев, мы быстро не раскусили их коварные приемы. Ведь те, кто меньше пьет, бранят этот грязный омут резче, чем хотелось бы римлянам, и придерживаются мнения, что назначать на духовные должности должны патроны и что епископы, по старинному обычаю, должны выбираться коллегами. Римляне же, повторяю, этого не потерпят.

Эрнгольд. Но и мы, наверное, не станем терпеть их насилий, обманов и преступлений.

Гуттен. Тогда город во многом утратит свое великолепие.

Эрнгольд. Какое великолепие?

Гуттен. Как какое? Будто ты никогда не видал Рима в его блеске! Ну, прежде всего, что ты скажешь о трех вещах, которые там каждому бросаются в глаза, не заметить их невозможно,— о всадниках, письмоносцах и щедро расточаемых благословениях?

Эрнгольд. Скажу, что не вижу в них никакого проку.

Гуттен. Затем — куда ни взглянешь, святые места, проститутки и досточтимые древности.

Эрнгольд. А я отнюдь не считаю святыми те места, в которых процветают подобные нравы, и думаю, что правильно сказано в Писании: «Не для места избрал народ господь, а для народа место». Если бы Христос любил Рим больше, чем какой-нибудь город в Германии или в отдаленнейшей Фуле, он бы уж, наверное, хранил его чистым от стольких гнусностей, стольких пороков, такого нечестия, либо же, видя теперешнюю скверну и мерзость, испепелил бы его молнией весь без остатка.

Гуттен. И всю его роскошь, весь его пышный убор?

Эрнгольд. Разумеется, а заодно и всех протонотариев, писцов, попов у алтарей, копиистов, служек, скобаторов, епископов, ростовщиков, сводников и всю эту пакость, которая бременит землю.

Гуттен. Ты мыслишь столь же решительно, как Вадиск. Вернемся, однако, к великолепию города Рима: три вида нарядов там особенно роскошны — облачения священников, попоны мулов и платья потаскух.

Эрнгольд. А почему бы им и не наряжаться? Пока Германия не очнулась, у них всегда будет вдоволь денег, чтобы наводить на себя блеск. Но уж если она проснется и почувствует боль, которую ей причиняют, тогда эти негодяи будут жить поскромнее и обходиться свитою поменьше, их кошелек опустеет — и они сойдут со своих раззолоченных ослов на землю и зашагают пешком. Тогда уж не увидишь кардиналов в пурпурных мантиях, едущих по улицам города в сопровождении эскорта пышнее королевского; меньше станет бездельников, меньше обманов и преступлений, больше святости, учености и благочестивых молитв; от бдений и постов они ослабеют телом, но зато укрепятся духом, прежде всего — от трезвости и умеренности, а затем — от сознания своей невинности и благочестия. Они потеряют богатства, но обретут подлинную внушительность духовных наставников и просияют величием, достойным их высокого положения. О, если бы дожить до этого дня, когда в столице церкви,— где бы она ни была,— исчезнут пороки и поселятся добродетели! Такие епископы будут поистине любезны пастве, но не те, что

«...в ярких одеждах — пурпурных, шафранных,
В сердце праздность у них, на уме лишь песни да пляски».

Гуттен. Но ведь они не только изнеженны и развратны,— они к тому же коварны и более чем кто-либо склонны к воровству

и насилию. Страсть к грабежу и разбою и дух любостяжания ослепляют их, и

«...отрадно добычу
Свежую им приносить и всегда пробавляться хищеньем».

Эрнгольд. Самое главное зло здесь в том, что, разбойничая, обманывая и грабя, они твердят, будто умножают достояние церкви и служат богу; если же, напротив, кто-нибудь у них отберет хоть крошку, они объявят его святотатцем, завопят, что он-де разоряет церковь, что он-де враг божий. Вот и получается, что они одни грабят безнаказанно и невозбранно, одни ожидают награды за преступление, и всякий раз словно цитируют Вергилия:

«Мы нападаем с мечом, и богов на часть и добычу
Мы призываем, и даже Юпитера».

Гуттен. Но они-то с мечом не нападают.

Эрнгольд. Так нападают со свинцом. Не все ли равно, каким оружием порабощена Германия?

Гуттен. А ты знаешь, что́ запрещено буллой «У трапезы господней»?

Эрнгольд. Все, что только может запретить булла!

Гуттен. И люди боятся ее, как огня.

Эрнгольд. Что же удивительного, если мощь и богатства, приобретенные такими средствами, одним внушают надежды, а другим ужас? Ведь они весь христианский мир, а Германию в особенности, одурачивают и обводят вокруг пальца. Самих государей они сделали чуть ли не идиотами: посылая им в подарок священные розы, мечи или шляпы,— боги бессмертные! чего только не получают они в ответ, какие богатства, какие выгоды и привилегии! А те, кто привозит дары от папы,— какого пышного, какого почтительного приема они требуют! Недавно ты видел, как один легатишка, приехавший в Саксонию с папскою розой, отказывался поднести ее иначе, чем во время обедни, которую служил сам князь-епископ. Вот какой торжественностью и всенародным ликованием должны обставляться папские выдумки и римское суеверие. Но это еще пустяки по сравнению с тем, что люди тратят пропасть денег, лишь бы побывать в Риме и поцеловать ноги папы; а что они оттуда привозят домой, я, право же, не знаю.

Гуттен. И я тоже знаю не больше того, о чем говорил раньше, когда — помнишь? — рассказывал, что уносят с собою паломники из Вечного города. Но есть три вещи, которые, как

утверждает Вадиск, вывозить из Рима запрещается, хотя в таком запрете и нужды никакой нет: реликвии — вследствие двусмысленной репутации, которой пользуется повсюду римская вера, неизвестно, являются ли эти реликвии тем, за что их выдают; большие камни — их и без того не просто увезти; и, наконец, благочестие — его в Риме нечего и искать.

Эрнгольд. В храмах и на площадях — конечно, нет, но в домах у некоторых честных матерей семейства, может быть, и сыщется. Но я сильно сомневаюсь, чтобы из сотни нынешних римлян хоть один оказался человеком мало-мальски благочестивым и богобоязненным.

Гуттен. О том же самом и я хотел сказать: в три вещи, говорит Вадиск, почти никто в Риме не верит — в бессмертие души, в сонм святых и в адские муки.

Эрнгольд. Я с ним совершенно согласен. Ведь если бы они верили в бессмертие души, то каждый всемерно заботился бы о ней, ублаготворял ее; ныне же они настолько преданы наслаждениям плоти, что всячески утесняют душу. Что до святых, то если бы они хоть сколько-нибудь их чтили, они бы стремились и сопричислиться их сонму. А об адских муках лучше и не заикайся: преславные квириты поднимут тебя на смех, словно старую бабу, рассказывающую сказки.

Гуттен. А между тем как там хвастаются благочестием, как красно рассуждают о нем перед публикой! Поэтому Вадиск говорит о трех вещах, которых в Риме днем с огнем не сыщешь, но которыми хвастаются нестерпимо: о благочестии, вере и невинности.

Эрнгольд. Разумеется, их там нет и в помине, а это хвастовство напоминает, на мой взгляд, знаменитое Вергилиево чудище:

«Сверху, лицом, — человек, а грудью прекрасною — дева,
Ниже, от бедер, она — ужасного образа рыба».

Гуттен. И наоборот, тремя вещами Рим славен превыше всех прочих городов, однако ж увидеть их до крайности трудно: это старинное золото (его скрыли у себя куртизаны, попы и ростовщики), папа (он почти не появляется на людях, дабы лицезрение его казалось толпе особенно драгоценным) и красивые женщин (ревнуя и опасаясь измен, которые там совершаются с необыкновенною легкостью, мужья держат их взаперти и зорко стерегут).

Эрнгольд. Раз Вадиск все разбил на триады, скажи, что считает он самым дорогим в Риме?

Гуттен. Тоже три вещи: одолжения, справедливость и дружбу. Они такая редкость в Риме, что того, кому на долю выпадает пользоваться ими, можно назвать чуть ли не блаженным.

Эрнгольд. Я бы, по крайней мере, не колеблясь назвал его блаженным — в городе, где все столь испорчены, где такие ужасные нравы. Но при этом — какие повсюду громкие изъявления мнимой дружбы, кто только (в особенности из числа людей известных) не обнимал и не целовал нас при встрече! Да, я знаю, в Риме губы целуют в тот самый миг, когда сердце исходит лютой враждой.

Гуттен. Три вещи, по словам Вадиска, целуют в Риме люди: руки, алтари и щеки.

Эрнгольд. Как, а ноги разве не целуют?

Гуттен. Верно, но — лишь у папы, да и то — очень немногие: знатные господа или те, к кому почему-либо благоволит его святейшество.

Эрнгольд. Всякий раз я слышу либо о трех безобразиях, либо о трех пустейших суевериях. Неужели Вадиск не нашел в Риме ничего хорошего?

Гуттен. Найти-то нашел, но до того мало, что даже не сумел составить триаду, и я был немало изумлен, когда он сказал, что три дела милосердия творятся в Риме. «Да неужели,— подумал я,— он и впрямь назовет что-то святое?»

Эрнгольд. Ну, ну, и что же?

Гуттен. Вот, продолжал он, дела милосердия в Риме: доходы особенно богатых монастырей отдают кардиналам в качестве так называемой коммендации, должности каноников и вообще выгодные должности во всех странах обращают в собственность папы, поднося их ему как пожертвования, и души верующих, доведенные до отчаяния бессмысленными предрассудками, запуганные настоящим колдовством, врачуют отпущениями и папскими милостями.

Эрнгольд. Никакого милосердия я здесь не вижу; вижу лишь алчность и самый непростительный обман.

Гуттен. И я тоже.

Эрнгольд. Так зачем же мир позволяет и дальше себя обморочивать?! Что мешает ему, не медля ни минуты, повергнуть в прах тех, кто все извращает и губит?! И какая обида, что, желая принести облегчение всему телу, нельзя отделаться от больной головы!

Гуттен. Как бы мир ни старался — а от папы не отделаться: помешают предусмотрительные хитросплетения дек-

ретов и канонического права, которые легко отразят любое нападение, в том числе — и угрозу собора.

Эрнгольд. О, несчастный христианский люд, который верит, что он не должен даже пытаться оградить себя от всех этих вопиющих несправедливостей, не должен им противиться! Но я надеюсь, что всеблагой и всемогущий Христос внушит людям другой образ мыслей и они сотрут в порошок сначала декреты, а потом тех, кто их издает и сочиняет,— копиистов и нотариев, князей римской церкви.

Гуттен. И то, что дал Константин, тоже у них отберут?

Эрнгольд. А что он им дал?

Гуттен. Раньше всего — свиту, коней, короны из чистого золота, фалеры, колесницы, перевязи, багряницы, мантии, диадемы, застежки и тому подобное, а затем — царства, города и всю империю.

Эрнгольд. Старая басня, я ей не верю, а потому сказал бы так: если римляне и владеют тем, что ты перечислил, нужно их этого лишить, равно как и всего остального, а самого папу вместе с кардиналами вернуть к старинной умеренности и чистоте, *καὶ εἰς ἀρχαίας φάτνας* [1].

Гуттен. Они пока еще не опасаются ничего подобного и полны каких-то удивительных упований.

Эрнгольд. На что же они уповают?

Гуттен. На три вещи, которые в Риме считаются непреходящими: на доблесть римлян, лукавство итальянцев и неповоротливость немцев.

Эрнгольд. Так вот на что они рассчитывают!

Гуттен. Да, и отсюда их уверенность в будущем.

Эрнгольд. Но ведь каждый убежден, что римская доблесть иссякла, и даже пословица есть, подходящая к случаю:

«Πάλαι πότ' ἦσαν ἄλκιμοι Μιλήσιοι» [2].

Гуттен. Сами они придерживаются другого мнения и, точно законное наследство, присваивают славу и блеск римского имени, даже звуки слов «величие Рима» их успокаивают.

Эрнгольд. Сколь беззащитными окажутся те, кто полагается на оплот слов!.. Вот лукавство итальянцев — дело другое, оно не раз оставляло в дураках целые армии наших. А немцы, я надеюсь, не всегда будут так тяжелы на подъем.

Гуттен. Но римляне питают другие надежды, иначе они страшились бы наших сил.

---

[1] и к прежним яслям *(греч.)*.

[2] «Когда-то и Милет блистал отвагою» *(греч.)*.

Эрнгольд. Пусть не страшатся — лишь бы поняли, что вся земля на них сетует.

Гуттен. Знаешь ли, о каких изъянах римского правления следовало бы особенно сокрушаться миру, будь он разумен?

Эрнгольд. Я знаю многое из того, что тяжело терпеть, но, вероятно, наш составитель триад выразил это как-то по-иному. Как же все-таки?

Гуттен. Прежде всего — три обстоятельства: то, что в городе хозяйничает гнусная шайка флорентийцев, что льстецы папы римского учат людей чтить его как самого бога и что папа слишком своевольно рассыпает отпущения и анафемы.

Эрнгольд. Я в восторге от остроты ума Вадиска, хвалю твое усердие и не могу надивиться твоей памяти. Но скажи мне, тот, кто все в Риме сделал тройственным, вероятно, наделил папу тремя мечами, хотя сам папа до сих пор утверждал, что их два — мирской и духовный?

Гуттен. Да, теперь их у него три — в соответствии с короной, которая уже давно тройная: к двум присоединился третий, которым славный пастырь, Христов наместник, стрижет свое стадо и отсекает изъязвленную плоть, чтобы зараза не шла дальше.

Эрнгольд. Значит, он стрижет овец не ножницами, как другие пастыри?

Гуттен. Он орудует мечом, чтобы заодно уж и страху на них нагнать,— иначе они не дали бы стричь себя; к тому же ему нередко бывает нужно зарезать какую-нибудь из них, а тут сподручнее меч.

Эрнгольд. Меч — и пастырь, стричь — и отсекать! — как это все противно Христу, который оставил своим апостолам меч духовный, который есть слово божие! Но кто убивает мечом, тот сам примет смерть от меча,— так да учинит Христос!.. После стольких триад, обличающих нравы Рима, я желаю трех напастей этой помойной яме, которая развращает и отравляет мир,— чумы, голода и войны. И пусть это будет моей триадой!

Гуттен. Рим и без того, по словам Вадиска, подвержен трем недугам — лихорадке, нужде и коварству.

Эрнгольд. Да, эти недуги прочно там обосновались: ведь и нас в Риме жестоко скрутила нужда, раз-другой трясла лихорадка, а от коварства у нас на глазах, к великой нашей скорби, погибло несколько близких друзей.

Гуттен. Вадиск упоминал еще о трех напастях: дороговизне, вероломстве и нездоровом климате.

Эрнгольд. Что же папа, который так легко всех и вся отлучает, воле которого покорны не только земли, но и небеса,— что же он не изгонит эти напасти, не покончит с заразой, не отвратит недуги? И как это он бахвалится властью над душами, не доказав еще, что имеет власть хотя бы над телами?!

Гуттен. Он бы, конечно, доказал, если бы вообще был способен что-нибудь доказать, но, как шутит Вадиск, три вещи отлучил и изгнал из стен своих Рим: бедность, раннюю церковь и проповедь истины.

Эрнгольд. И все благочестие, добавлю я, все законы, а учение Христово он и близко не подпускает, чтобы уверенно править в сознании невозбранности любых преступлений.

Гуттен. Но мы с тобой засиделись до поздней ночи, и тебя, я полагаю, ждет жена, а меня Штромер, которому кажется, что он один при дворе, когда я далеко, да и сам я не меньше дорожу его дружбой и люблю этого человека сильнее, чем кого бы то ни было во Франкфурте. Ступай же домой, теперь ты по горло сыт триадами и пылаешь таким гневом против Рима, так кипишь желчью, что достанется, наверное, и твоим домашним. А я потерял целый день.

Эрнгольд. Потерял? Ах, если бы ты почаще терял дни подобным образом! Но жена-то всегда у меня под боком, а твоим обществом я наслаждаюсь редко. Давай вместе переночуем здесь и прямо так и уснем над этими проклятыми триадами.

Гуттен. А завтра твоя жена мне глаза выцарапает за то, что я тебя тут задержал и на одну ночь оторвал от нее?

Эрнгольд. Ничего подобного! И слова не скажет!

Гуттен. Знаю я женский нрав: она решит, что я водил тебя куда-нибудь к девкам в бардак. Брось ты эту затею, лучше разойдемся, ты пойдешь к себе, а я к Штромеру, которому пока еще плевать на женские подозрения. Пойдем!

Эрнгольд. А триад больше не осталось?

Гуттен. Есть еще несколько, но совсем неинтересные — и вспоминать не хочется.

Эрнгольд. А мне хочется услышать даже неинтересные.

Гуттен. Идем, по пути скажу. Три орудия у римской алчности: воск, пергамен и свинец.

Эрнгольд. Верно!

Гуттен. И три вещи римляне глубочайшим образом презирают: бедность, страх божий и справедливость.

Эрнгольд. Увы!

Гуттен. И трем вещам в Риме выучат как нигде: пьянст-

вовать, не держать слово и предаваться всяческому непотребству.

Эрнгольд. Стоило тебе опустить последнюю триаду — и я бы мог сказать, что ты вообще ничему от Вадиска не научился. Ведь это те самые яды, которыми Рим отравил сначала прочие народы, а потом и немцев, словно заразив воздух смертоносным дыханием чумы. Это, повторяю, тот источник величайших бедствий, из которых выходят на свет недуги христианского мира, берут начало его пороки. Одним словом, этот Рим — вместилище всяческой грязи, клоака гнусности, неисчерпаемое озеро бедствий, и чтобы стереть его с лица земли, разве не соберутся люди отовсюду, словно на пожар, угрожающий каждому? Разве не приплывут под парусами, не прискачут на конях? Не обрушатся огнем и мечом? Мы видим в Германии священников, о которых говорят, что они собственным телом заплатили в Риме за свой приход; мы видим, как куртизаны на немецкой земле вытворяют (и над собой разрешают вытворять) такие вещи, о которых прежде наш народ и понятия не имел,— никто и никогда не поверил бы, что наши нравы примирятся с подобной мерзостью; мы видим, как индульгенции освобождают людей от обязанности делать добро и многим внушают мысль, что можно быть злыми и подлыми. О, губительный для мира театр, побывав в котором люди считают дозволенным подражать всему, что они там увидели! О, преславная житница всего света, в которую отовсюду сносят украденное и похищенное и посреди которой восседает ненасытный обжора; он

«...истребляет целые горы
Хлеба»

при содействии бесчисленных сотрапезников, которые сначала выпили нашу кровь, потом объели мясо, а теперь, Христом клянусь! добрались до костей — крушат их и высасывают мозг, и дробят на куски все, что еще уцелело. Что же, немцы так и не возьмутся за оружие? Не ворвутся к ним с огнем и мечом?.. Это грабители нашего отечества, которые сначала просто с жадностью, а теперь уже с наглыми угрозами обирают народ, властвующий над миром; они услаждают себя кровью и потом немцев, потрохами бедняков набивают себе утробу и питают свою распущенность. Вот кому даем мы золото! А они за наш счет кормят коней, собак, мулов и — какой срам! — содержат потаскух и развратных мальчишек! На наши деньги они изощряются в пороках, живут припеваючи, одеваются в пурпур, украшают коней и мулов золотыми уздечками, воздвигают двор-

цы из мрамора. Стоя во главе нашей религии, они не только равнодушны к ней,— что уже само по себе немалый грех,— но даже презирают ее, и более того — бесчестят, оскверняют, позорят! Сперва они ловили нас на приманку и выдаивали деньги с помощью лжи, хитростей и обманов, а теперь выдирают силой, запугивая и стращая, и грабят нас, словно волки

«Хищные в черном тумане, коих чрезмерная гонит
Чрева прожорливость слепо и коих в берлогах волчата...»

И таких-то волков мы должны еще гладить по шерсти, и не то чтобы пырнуть кинжалом или спустить шкуру — пальцем их тронуть не смеем. Когда же мы, наконец, очнемся и отомстим за наш позор, за ущерб, который наносят Германии? Если прежде нас удерживало от этого почтение к религии и святое благоговение, то теперь подталкивает и торопит сама Необходимость.

Гуттен. Разгневанного мужа отправляю я домой к супруге.

Эрнгольд. Да как же не гневаться? И найдется ли человек, настолько терпеливый, чтобы все это не вывело его из себя?!

Гуттен. Ну ничего, ты позволишь жене утешить тебя.

Эрнгольд. Ты еще шутишь!

Гуттен. Но я перестану шутить в тот час, когда можно будет приложить к этому делу руки!

Эрнгольд. И будешь действовать не менее решительно, чем не так давно — против швабского тирана.

Гуттен. Еще решительнее: ведь то были дела семейные, домашние, частные, а здесь речь идет об интересах всего отечества.

Эрнгольд. Ну как, остались еще триады? Давай-ка уж подберем все дочиста.

Гуттен. Остались одни одонья: тремя вещами Рим изобилует — мулами, буллами и прокурациями.

Эрнгольд. Правильно.

Гуттен. Три категории людей в Риме носят пестрые одежды: слуги, женщины и монахи. И три вещи в Риме обшиты бахромой: пояса мужчин, кошельки куртизанов и поводья коней. Вот тебе все, что я запомнил из речи Вадиска.

Эрнгольд. Итак, мы выпили эту горечь, как говорится, вместе с одоньями.

Гуттен. Да, по твоей просьбе.

Эрнгольд. Что ж, такая просьба не должна казаться тебе докучной, равно как и я не чувствую себя неловко, утруж-

дая друга по такому поводу. Благодарю тебя за все, что ты здесь передо мною извергнул.

Гуттен. Ну, прощай.

Эрнгольд. Прощай и ты. Да, послушай, о каком воздаянии для куртизанов просить мне бога сегодня ночью?

Гуттен. О каком же ином, кроме того, чтобы, вечно домогаясь бенефициев, они никогда их не получали и жестоко томились этой неутоленною страстью!

Эрнгольд. И жене сказать, чтобы она молилась вместе со мной?

Гуттен. Скажи, если хочешь.

НАБЛЮДАТЕЛИ

Собеседники: Солнце, Фаэтон и легат Каэтан

Солнце. Ну вот, Фаэтон, мы уже добрались до середины неба, теперь можно ехать помедленнее. Давай о чем-нибудь побеседуем, пока кони дух переведут.

Фаэтон. Хорошо, отец, но тогда давай и тучи раздвинем и поглядим повнимательнее, что делается на севере. Ведь мы уже давно изменили прежнее свое расположение к смертным и постоянно окружаем себя густой завесой облаков, чтобы не видеть, как они там суетятся, переплывают моря, воюют друг с другом, по пустяшному поводу, не задумываясь, бросают в бой целые армии и готовы один другому горло перегрызть из-за какого-нибудь ничтожного титула или звания.

Солнце. Ты прав. Мне это все надоело: я убедился, что они даже заблуждаться и грешить толком не способны. До чего, например, неискусно ведут военные действия итальянцы, среди которых с трудом найдешь человека как следует вооруженного, правильно держащего щит, мерно взмахивающего пикой, умеющего держать строй и выполнять приказ, одним словом — человека, действительно знающего толк в военном искусстве. Можно подумать, что в Италии нет больше итальянцев, что от прославленного корня не осталось теперь ни единого ростка. Вот только венецианцы сильны разумом, да еще Колонна мужественно действовал под Вероною, в точности выполняя то, чему он научился от немцев.

Фаэтон. Но самих немцев, отец, я бы хвалить не стал: мне кажется, они не сражаются иначе, как во хмелю. Потом,

я замечаю в этом народе какую-то никчемную горячность: сначала они так и вспыхнут, а там, глядишь, жар остыл, и тем дело и кончается. Недавно Альвиано чудесным образом захватил их врасплох, когда они пировали вместе с десятью или двадцатью итальянцами и пили за здоровье друг друга (до такой степени они были убеждены в поражении венецианцев), и более четырех тысяч были вынуждены сдаться на самых позорных условиях.

С о л н ц е. Однако Альвиано поступил бесчестно, вопреки данному обещанию перерезав безоружных людей, словно скот. Ведь они сложили оружие на том условии, что он отпустит их восвояси и будет защищать от нападений крестьян, пока они не доберутся до своей земли; он же, обезоружив их таким способом, перебил всех до одного.

Ф а э т о н. Пусть это останется на его совести. Но как они-то могли развлекаться в окружении опасностей и на вражеской земле, еще не соединившись с основными силами, бражничать, забывая о засадах и ловушках! Они и вообще за все берутся с величайшим усердием, но редко доводят начатое до конца.

С о л н ц е. Ты прав, это недостаток немцев, и немалый. В военном деле они искусны, как ни один другой народ, и непобедимы в сражениях, но к власти далеко не так способны: им достаточно вторгнуться, расхитить, опустошить, опрокинуть, разграбить, вытоптать, выжечь, а потом как пойдет у них пир, так они и думать забывают о своей добыче, о захваченных городах и крепостях. Создавать империи они и хотят и могут, но о том, чтобы удержать их за собой и защитить от врага, не заботятся: они умеют побеждать, но не умеют пользоваться победой.

Ф а э т о н. За прошедшие годы в этом нетрудно было удостовериться на примере Падуи, Виченцы и Тревизо, которые они так легко могли сохранить, но оставили без всякой защиты, и венецианцам ничего не стоило вернуть себе эти города.

С о л н ц е. А с каким благоразумием они удерживали Верону?

Ф а э т о н. Скажи лучше: с каким неразумием потеряли! Но что ты думаешь об испанцах? Что они за воины?

С о л н ц е. Прежде всего, это отчаянные воры, сын мой, но люди отважные, не хуже других; они опытны в войне, строго блюдут порядок, к тому же горячи и решительны... Впрочем, поглядим-ка лучше на Германию: там сейчас такое волнение, какого еще никогда не бывало. Убери тучи... так... я вижу

Рейн — красноречивого свидетеля моего могущества: все народы Севера, вместе взятые, не смогли перекинуть мост через эту великую реку, а я за каких-нибудь несколько часов чуть было совсем не иссушил ее — в тот раз, когда ты так неловко правил колесницей, что опалил целый мир.

Фаэтон. Ах, отец, неужели тебе приятно вспоминать о моих бедах?

Солнце. Да ведь благодаря им ты сделался богом: не заблудись ты тогда и не упади в Эридан, откуда ты вышел возрожденным,— ты бы сейчас не мог управлять колесницею Солнца.

Фаэтон. Ты прав. Но что там в Германии за смятение? Кто при оружии, кто безоружный, тот спешит, этот не торопится, все направляются к одному и тому же месту, а там, как я вижу, одни сидят и безмятежно пьянствуют, другие серьезно совещаются, иные же занимаются и тем и другим попеременно или даже сразу.

Солнце. Это собрание германских князей и народа.

Фаэтон. Что у них может быть за собрание? Наверное, как сражаются хмельные, так и совет держат.

Солнце. Точно так же, Но, взгляни-ка, некоторые ведут свои дела вполне трезво, и за это иные из соотечественников считают их чужеземцами и презирают.

Фаэтон. Кто же так считает? Вероятно, вон те господа в пурпурных одеяниях, расфуфыренные, завитые, с ожерельями на шее, длинноногие, высоченные, вылощенные?

Солнце. Они самые и вся хмельная братия.

Фаэтон. Почему же трезвые не гонят их прочь? Ведь они не только себя пятнают таким пороком, но и порядочным людям стоят поперек дороги.

Солнце. Не могут: их мало, а тех — не счесть. Все же они их корят, и корят не без пользы: многие одумываются, убедившись, что пьянством губят свое здоровье.

Фаэтон. Стало быть, когда тело страдает, они одумываются, а когда невоздержность убивает рассудок, они и ухом не ведут?

Солнце. Это им еще невдомек. Немцам легче понять то, что касается тела, нежели то, что имеет отношение к духу.

Фаэтон. Есть ли надежда, что они когда-нибудь оценят также и духовные блага?

Солнце. Немалая: ведь те, трезвые, уже многое подвергают острому сомнению, усовершенствуют душу и, вращаясь среди моих Муз, пьют воду из их источника. Они невзрачны,

сухопары, немощны телом, но силы духа неодолимой, ибо есть в них и тонкость и некая возвышенность мысли.

Фаэтон. Замечательные, как я посмотрю, люди, и совсем не заслуживающие, чтобы пьяницы не давали им покоя или как-то их притесняли.

Солнце. Ничего, есть и могучие духом государи, которые их оберегают, правда, таких государей немного, раз-два— и обчелся. Впрочем, и пьяницы уже начинают благоговейно чтить ученых и трезвых, хотя по достоинству оценить их пока еще не могут, — они только слышали, как другие, трезвые, называют тех великими.

Фаэтон. Боги да хранят этих взрослых младенцев. Однако давай еще посмотрим на собрание. О Юпитер, что за шум, что за возлияния, какие громкие и какие нестройные крики! И что это там за процессия движется посредине? Но прежде всего скажи мне, какой это город.

Солнце. Это Аугсбург, сюда собираются имперские князья, чтобы посовещаться о самых важных делах. А процессия сопровождает легата римского папы — видишь, он вышел из гостиницы.

Фаэтон. Какого легата, отец, и куда сопровождает? И раз уж ты все знаешь и ничто от тебя не укроется, скажи, пожалуйста, о чем эти пьяные и разгоряченные вином люди будут совещаться?

Солнце. Легата они ведут в сенат, где он сообщит им волю папы. А держать совет они будут о войне с турками, которую затевает Лев Десятый в надежде на большую прибыль; он для того и послал сюда этого Каэтана, чтобы немцы не занялись каким-нибудь другим, более важным делом.

Фаэтон. На какую прибыль он надеется? Разве папа выступит в поход вместе с прочими и намерен получить свою долю добычи?

Солнце. Да нет, о турках он только говорит, всерьез же отнюдь не помышляет. На самом деле все это — одно лишь вымогательство: он задумал обобрать германцев и отнять у варваров все золото, которое у них осталось.

Фаэтон. Боги, какая несправедливость! Да и сможет ли он совершить насилие над народом воинственным, непокорным?

Солнце. Напротив, он вполне в своем праве. А действовать он будет хитростью, которая заменяет ему силы.

Фаэтон. Не понимаю.

Солнце. Он выдает себя за пастыря — такого, каким был некогда Христос: все христиане, мол,— его овцы, в осо-

бенности немцы; вот он и посылает работника, чтобы тот остриг стадо и привез шерсть. Какая же здесь несправедливость?

Фаэтон. Никакой, отец, клянусь,— если только они и правда овцы, а он их пасет.

Солнце. Пасти-то пасет, да на лугах ерунды и вздора, а они воображают, будто у них под ногами настоящее пастбище.

Фаэтон. И довольствуются собственным воображением?

Солнце. Да, довольствуются.

Фаэтон. Пусть же он их стрижет, своих бредожуев, и даже шкуру с них сдирает, если вздумается!

Солнце. Именно так он и делает, этот алчный стригальщик,— режет по живому мясу.

Фаэтон. Но они-то что — сами хотят, чтобы их стригли и драли с них шкуру?

Солнце. Нет, сами-то они не хотят: видишь, какие нескрываемо угрюмые взгляды бросают на легата. Мало того, насколько я разбираюсь в характере немцев, еще совсем немного — и ему придется несладко: столь враждебно они теперь к нему относятся, убедившись, что он негодяй, хотя и прикидывается самым порядочным в мире человеком.

Фаэтон. Верно, с помощью каких-то поразительных уловок этот обманщик преображается настолько, что никто не узна́ет в нем негодяя: с великим умением придал он честный и скромный вид своему челу, взору, осанке, речам, поступи, словом — всему.

Солнце. И все же немцы не станут его терпеть: слишком уж многие и прежде вели себя подобным образом. Как они от природы ни простодушны, а все же, наученные частыми обманами, начинают понимать, что их надувают.

Фаэтон. Стало быть, стригальщик явился не ко времени?

Солнце. Как видишь. В другое время он бы уехал отсюда с полной мошной, но теперь, когда столько других его опередили, для новых обманов места не осталось.

Фаэтон. А сам он понимает, что хлопочет понапрасну?

Солнце. Еще бы!

Фаэтон. Вот почему он и глядит невесело: жалеет о лакомом куске, который вырвали у него из глотки. Теперь ему нужно придумывать что-нибудь еще.

Солнце. Этим он как раз и занят: размышляет, прикидывает, откуда бы ему подступиться, раз намеченный путь оказался закрытым, и, вероятно, предпримет какую-то новую попытку, применит новую хитрость. Не удастся одно — выедет на другом, измыслит неслыханный доселе обман, соблазнит

чернь, напряжет все свои силы. Золото ускользает — бросится в погоню, деньги разбросаны тут и там — соберет, кто-то задремал — разбудит, предрассудки остывают — подбавит жару. Исподволь, не сразу, но своего он добьется.

Фаэтон. Да, что-то вроде этого он и затевает, я уж сам замечаю. Но скажи, прошу тебя, он, видно, знатного происхождения, раз именно его посылает сюда Рим, или выше других духом?

Солнце. Для того чтобы прослыть великим в Риме, не нужны ни хорошее происхождение, ни собственная добродетель,— важно одно: чтобы тебя знали за хитреца и проныру. Я с трудом поверю, что Каэтану известно, кто его отец; далее, как я понял, он совершеннейший невежда, а между тем с какой торжественностью едет он из Рима спасать чужие души и переваливает через Альпы в сопровождении целого каравана вьюков, туго набитых индульгенциями и факультатами.

Фаэтон. Так, значит, отсюда его выдворят порожняком? Ведь если уж германцы захотят отправить в Рим свое золото, то, полагаю, доверят его сыну своей земли, а не чужой.

Солнце. Ты прав. Но такой человек, как Каэтан, превосходно владеющий искусством все вокруг себя портить, несомненно, что-нибудь придумает. Да что там — он уже измышляет уму непостижимые хитрости, уже строит гнусные козни, и немцам надо поразмыслить, как бы оградить себя от его коварных подходов.

Фаэтон. Ну, а если он все-таки добьется того, что весь Север единодушно выскажется за войну с турками, успокоится он на этом или еще чего-нибудь потребует?

Солнце. Да что ты! Война его беспокоит меньше всего; золото — вот чему он служит, деньги — вот чего он домогается, клятвенно заверяя, что все полученное будет издержано на эту войну; но стоит деньгам оказаться в его руках (я говорю лишь то, в чем заведомо уверен) — и они пойдут на потребу утопающим в роскоши романистам.

Фаэтон. До каких же пор будет продолжаться эта игра?

Солнце. Пока не поумнеют германцы, которых оболванил суевериями город Рим.

Фаэтон. А скоро они поумнеют?

Солнце. Скоро. Каэтан будет первым, кто воротится ни с чем — к великому ужасу «святого города»: там и не подозревают, что варвары способны на такую дерзость.

Фаэтон. Значит, германцы — все еще варвары?

С о л н ц е. Да, по мнению Рима, точно так же, как французы и все остальные народы, кроме итальянцев. Но если судить по чистоте нравов, по учтивому обхождению, по любви к добродетели, по честности и постоянству души, немцы — самый просвещенный в мире народ, а римляне — напротив, худшие из варваров: во-первых, они безнадежно развращены изнеженностью и роскошью, в легкомыслии и непостоянстве за ними и женщине не угнаться, верность встретишь у них редко, зато обман и злоба неодолимы.

Ф а э т о н. Приятно слышать то, что ты рассказываешь о немцах. Вот если бы они еще не пьянствовали...

С о л н ц е. Когда-нибудь заживут трезво, и, думаю, не так уж долго этого ждать, потому что пьют они все меньше и меньше; и хоть сами не всегда трезвы, но о бражниках отзываются скверно.

Ф а э т о н. Скажи еще, а государи у них тоже пьют?

С о л н ц е. Если бы хоть это сословие не было заражено тем же пороком, всей пьянствующей братии уже пришел бы конец. Но государи воодушевляют ее собственным примером и находят горячую поддержку у саксонцев — вон у тех, гляди,— которые, как ты сам можешь убедиться, всей душой преданы пьянству и, ни на йоту не отступая от старинных обычаев, упорно не желают слушать увещевателей и одни только защищают нравы предков.

Ф а э т о н. О небо и земля, какое общество там собралось, как они жрут, как рыгают и как тут же блюют, не сходя с места! «Едят и пьют без всякого толка — кушанье целыми кусками, хлеб краюхами, вино ведрами; не забава — крик, не пенье — оранье»,— ну, словно про них написано! А вот что говорит им Луцилий:

«Будьте здоровы, кутилы, обжоры, несытые брюхи!»

Кажется, что видишь пир лапифов и кентавров. Право, не нужна больше греческая пословица: «Ἀεὶ Λεόντιοι περὶ τοὺς κρατῆρας» [1], — лучше сказать по-латыни, чтобы все поняли: «Саксонцы с бокалами не расстаются». А сколько они вина переводят!

С о л н ц е. Да нет, вина они не пьют.

Ф а э т о н. Как? Хмелеют от воды?

С о л н ц е. Да, от воды.

Ф а э т о н. Значит, у них есть хмельные ключи, какие, говорят, были в Пафлагонии.

[1] «Леонтинцы от кратеров не отходят» *(греч.)*.

С о л н ц е. Нет, ты опять ошибаешься,— иначе бы они опились и лопнули. Просто они варят какие-то травы и плоды, а отвар получается такой, что от него пьянеют.

Ф а э т о н. Отлично придумано! Сколько же, однако, вина потребовалось бы этим бездонным бочкам?

С о л н ц е. Всей Германии столько не уродить.

Ф а э т о н. Но разум-то у них есть, как у других людей? Какой-то здравый смысл?

С о л н ц е. Есть. Разумом они не беднее других.

Ф а э т о н. И они извергают то, что поглотили, без всякого для себя вреда? Ты это имеешь в виду?

С о л н ц е. Да, потому что никто не управляет справедливее, никто не живет спокойнее, никто успешнее не отражает вражеских нападений.

Ф а э т о н. Они бросят когда-нибудь пить, как ты полагаешь?

С о л н ц е. Сильно сомневаюсь.

Ф а э т о н. А если все-таки бросят, сохранят они свои добрые нравы?

С о л н ц е. Если смогут остаться такими, как сейчас, но при этом жить трезво,— никакой другой народ я саксонцам не предпочту.

Ф а э т о н. А телом каковы они?

С о л н ц е. Крепки и здоровы, как никто. Единственные из немцев, они не знакомы с врачами, потому что почти совсем не болеют, а юристов с величайшим презрением гонят от себя прочь.

Ф а э т о н. Как же они творят суд?

С о л н ц е. По собственным древним обычаям и столь осмотрительно, что нигде справедливость не нарушается реже, чем у них. Так обычай заменяет писаные законы.

Ф а э т о н. Тебе остается только сказать, что от пьянства они становятся лучше.

С о л н ц е. Этого я, конечно, не скажу, но сами обстоятельства показывают, что во многом они поступают лучше и решают разумнее, чем иные трезвые. Они следуют одной пословице, которая у них каждому известна: утром — за дела, вечером — за стол. После ужина они пьянствуют до поздней ночи, а утром, не взяв в рот ни капли, совещаются о важных государственных делах.

Ф а э т о н. Тогда я не вижу, зачем мешать им пить. Возможно, это вошло у них в привычку, и как бы они не перестали жить праведно, сделавшись трезвенниками.

С о л н ц е. Пожалуй.

Ф а э т о н. Но среди пьяниц мне нравятся только твои саксонцы. А теперь посмотрим на других. Что я вижу? Мужчины и женщины купаются вместе, и те и другие нагишом — какой, должно быть, ущерб для их целомудрия!

С о л н ц е. Напротив, никакого.

Ф а э т о н. Да ведь они целуются!

С о л н ц е. Без всякого стеснения.

Ф а э т о н. И нежно обнимают друг друга!

С о л н ц е. Мало того — иной раз даже спят вместе.

Ф а э т о н. Значит, они из школы Платона, раз жены у них общие?

С о л н ц е. Отнюдь не общие; во всем этом лишь обнаруживается взаимное доверие. В иных местах женскую чистоту стерегут неусыпно, но нигде не может она быть целее и сохраннее, чем здесь,— предоставленная самой себе и открытая всяким опасностям. И верно, нет страны, где измены случались бы реже, брак чтили благоговейнее, нерушимее были супружеские узы.

Ф а э т о н. Ты утверждаешь, что, кроме поцелуев и объятий, между ними ничего не бывает, даже когда они вместе спят ночью?

С о л н ц е. Да, утверждаю.

Ф а э т о н. И никто не ревнует? Никто не испытывает тревоги за целомудрие своей молодой жены, видя, как другие мужчины обходятся с нею подобным образом!

С о л н ц е. Даже подозрений таких не возникает,— столь твердо они друг другу доверяют, столь откровенно и широко общаются; им чужд обман и незнакомо коварство.

Ф а э т о н. Какой прекрасный народ! А погляди на итальянцев — они всегда кому-то завидуют, всегда копят, вожделеют, стяжают, обманывают, строят козни. Они изводят друг друга ожесточенной враждой, подсылают убийц, подмешивают яд, на уме у них постоянно одни хитрости, одно лукавство, никто ближнему не доверяет, никто не действует открыто. Поэтому, вероятно, они и бледные такие.

С о л н ц е. Одни — поэтому, другие — по другим причинам; быть может, тут и климат виной.

Ф а э т о н. Во всяком случае, мне видно отсюда, что у немцев цвет лица отличный, ибо они веселы, полагаются один на другого и гонят как можно дальше от себя все, что терзает разум, возмущает душу и портит кровь: в самом деле, я не замечаю, чтобы заботы и беспокойства томили их или же удру-

чали... Но я не вижу у них и государственной казны! Неужели они подражают древнему обычаю лакедемонян и, когда начинается война, делают, каждый в отдельности, свой взнос на покрытие расходов?

С о л н ц е. И это похвально: жизнь их столь свободна, что во время досуга они не помышляют о делах и во время мира не думают о войне и, чувствуя себя в безопасности, ни о чем не тревожатся.

Ф а э т о н. И даже совета не держат перед началом войны?

С о л н ц е. Они совещаются в самый разгар военных действий, и тут их храбрость и безрассудная отвага обычно превращаются в благоразумие. Засад и хитростей они не признают и в сражении не применяют, но всегда бьются с врагом лицом к лицу.

Ф а э т о н. Да, они действительно заслуживают столь обильных похвал. Но чтобы уж мне знать все без изъятия, расскажи вкратце, какой у них образ правления.

С о л н ц е. Прежде всего, они по природе таковы, что никому не желают подчиняться и лишь с трудом терпят власть правителей. Что же касается государей, которых ты видишь, то им они служат как свободные люди и с величайшей добросовестностью, всякий — своему князю. Все вместе они признают верховное владычество вон того старца, которого называют императором. Пока он милостив и справедлив, они чтут его, но большого послушания никогда не оказывают. Отсюда их частые раздоры между собой, отсюда неумение и нежелание совещаться о делах всего государства.

Ф а э т о н. Но вот же они все-таки совещаются.

С о л н ц е. Да, а к единодушному решению не придут. Так уж у них заведено — время от времени попусту терять несколько месяцев на совещания и тут же — пировать и забавляться, забывая о серьезных вещах.

Ф а э т о н. Как мало это подобает мужам, которые должны повелевать другими!

С о л н ц е. Совсем не подобает, но образ их действий именно таков.

Ф а э т о н. Стало быть, властвовать они не способны, хотя в остальном, по-видимому, более удачливы, и по большей части проницательность других людей берет верх над их усилиями, тогда как первый успех принадлежал им.

С о л н ц е. Ты прав. Из государей одни правят в силу высокого своего происхождения, а других — епископов и прелатов — избирают.

Фаэтон. Наиболее могущественные, по-моему, вторые.

Солнце. Верно, Их и числом больше, чем светских князей, и, кроме того, они богаче и влиятельнее: ведь духовным государям принадлежит более половины всей Германии!

Фаэтон. Как же предки нынешних немцев до этого допустили?

Солнце. Чрезмерно благочестивые, они когда-то щедрее, чем следовало, раздавали церквам свое достояние.

Фаэтон. А теперь их потомки терпят нужду?

Солнце. И видят, как их господа владеют землею их отцов.

Фаэтон. Ты говоришь, что к этому привело неверно понятое благочестие?

Солнце. Разумеется, ведь они слепо следовали предрассудку!.. Между государями то и дело вспыхивают ссоры, а за ними идут гражданские войны, приносящие немцам неисчислимые бедствия.

Фаэтон. А император не вмешивается и не обуздывает их?

Солнце. Станет ли он вмешиваться, зная, что, если князья не будут ослаблять друг друга, они могут превратиться в слишком грозных для него противников?

Фаэтон. Кто идет вслед за князьями?

Солнце. Так называемые графы. Они не столь влиятельны, как князья, но сильнее обыкновенных дворян.

Фаэтон. А что представляют собой обыкновенные дворяне?

Солнце. Они образуют рыцарское сословие — главную военную силу у немцев, ибо рыцари многочисленны и хорошо обучены. Кроме того, они, по-видимому, до сих пор хранят древнюю славу Германии — искони присущую немцам честность и врожденную нравственность. Они первые сторонники всего германского и враги всего чужеземного.

Фаэтон. Но я замечаю, что многие ими недовольны.

Солнце. Верно.

Фаэтон. Одних они дерзко грабят, других преследуют с оружием в руках, в том числе людей самых знатных, но в особенности — купцов.

Солнце. Поэтому у них так много врагов, которые проклинают их жестокость и кровожадность.

Фаэтон. Почему же враги их не изгонят?

Солнце. Одни не хотят, а другие не могут, как бы им этого ни хотелось.

Ф а э т о н. Кто именно не хочет?

С о л н ц е. Князья, которые используют их для охраны своих владений. Скажу больше: в рыцарях — вся сила князей, и если один государь разгневается на другого, то орудием его гнева, его мечом служат рыцари.

Ф а э т о н. Так, значит, каждый бережет их на погибель другому?

С о л н ц е. Да.

Ф а э т о н. И по этой причине в Германии так часты разбои, грабежи, засады при дорогах и многие иные беспорядки?

С о л н ц е. Прежде всего по этой, но есть и еще одна.

Ф а э т о н. Какая?

С о л н ц е. Ненависть к купцам и к так называемым вольным городам.

Ф а э т о н. За что ненавидят купцов?

С о л н ц е. За то, что они привозят разные заморские товары — шелк, пурпур и другие предметы роскоши, которые, как утверждают рыцари, губят добрые нравы народа, заменяют их чужеземными нравами и обычаями и распространяют изнеженность, по справедливости ненавистную немцам.

Ф а э т о н. Достаточно веское основание для ненависти. Мне кажется, что дело обстоит так: большинство погрязло в изнеженности, хотя остались еще сторонники отважных и решительных действий; старинная, природная доблесть угасает, и неведомый прежде чужеземный срам заступает ее место. Что Германия сделалась сама на себя не похожа, видно хотя бы из того, как иные одеваются, и если эта перемена коснется нравов, нет сомнения, последствия будут ужасны.

С о л н ц е. Уже коснулась.

Ф а э т о н. Но по этим соображениям рыцари грабят купцов, а вольные города почему они преследуют? Не потому ли, что дворянство когда-то жило в городах, но затем было изгнано простолюдинами и теперь без конца мстит им за это?

С о л н ц е. Напротив, дворян в городах никогда не было, они постоянно, как и теперь, были рассеяны по деревням. И если это сословие враждебно горожанам, то причина тут иная.

Ф а э т о н. Мне бы очень хотелось услышать о ней от тебя и понять, откуда взялась эта взаимная вражда.

С о л н ц е. Сейчас услышишь. Первоначально в Германии вовсе не было городов и даже строения рядом не ставились, но у каждого был свой, уединенно расположенный дом.

Ф а э т о н. Да, я знаю.

С о л н ц е. В ту пору купцы не приезжали, никаких товаров из чужих краев не привозили, и все обходились лишь тем, что родит немецкая земля: одевались в звериные шкуры, питались плодами отеческих полей и не знали ничего заморского. Торговцы тогда никого не обманывали, повсюду царила непоколебимая честность, которой были верны все, как один. Денег никто еще и не видывал, ни у кого не было ни серебра, ни золота.

Ф а э т о н. То было самое счастливое время для Германии!

С о л н ц е. Мало-помалу иностранцы принялись тревожить побережья и завязывать там торговые связи, дальше — больше, и так до тех пор, пока новшества не полюбились каждому негодяю и бездельнику, пока народ не привык к роскоши и падение нравов не захватило вдруг чуть ли не всю Германию. В этих обстоятельствах люди решили объединиться, появились села, а немного спустя начали строить и города, обносить их стенами и укреплениями, воздвигать башни и копать рвы. Чем ленивее и малодушнее был человек, тем легче он присоединялся к такому решению, но все отличавшиеся благородством происхождения или твердостью духа, любовно храня отеческие обычаи и дедовские нравы, упорнейшим образом сопротивлялись позорной, с их точки зрения, перемене и решили всеми силами держаться за старину и не отступать от своих природных качеств. Все они, независимо от положения и звания, больше всего домогались воинской славы, презирали деньги, укрепляли себя охотой, не могли сидеть сложа руки, ненавидели покой и проклинали досуг... Вот отсюда и начинается раздор: одни всё стремились повернуть по-новому, а другие, считая это бесчестным и возмутительным, защищали прежние порядки.

Ф а э т о н. Эти разногласия и побудили их взяться за оружие, которого ни те, ни другие до сих пор не выпускают из рук?

С о л н ц е. Как видишь. Люди энергичные не в силах смириться с тем, что в их стране процветает изнеженность и роскошь составляет предмет зависти. Кроме того, в городах живут купцы и все остальные знатоки и мастера роскоши, которых они терпеть не могут.

Ф а э т о н. Пусть прогонят их прочь!

С о л н ц е. Уже давно прогнали бы, если бы не городские стены, за которыми те скрылись, и не крепкие здания, которые их защищают. А раз у этих бездельников такое надежное прикрытие, рыцарям остается только одна возможность расправиться с ними: если кто выйдет из своего убежища, напасть на него и ограбить.

Ф а э т о н. Этот страх, который они нагнали на изнеженных и малодушных, представляется мне полезным: слишком большая уверенность в собственной безопасности развратила бы тех еще хуже.

С о л н ц е. Но сами-то горожане не устают повторять, что, мол, рыцари вредят общественному благу и наносят огромный ущерб государству.

Ф а э т о н. А, какой там ущерб! Словно Германия не выиграла бы, если бы в один прекрасный день собрали все, что они привозят из-за моря, и отправили ко всем чертям вместе с купцами в придачу! Да, насколько я могу судить, эти люди — источник большого зла.

С о л н ц е. А они, напротив, утверждают, будто оказывают родине великую услугу; они враждуют с рыцарями и помышляют о том, как бы их извести под самый корень и разом покончить со всем дворянством. Среди купцов особенно богаты Фуггеры: они скопили столько денег, что, по-моему, с избытком хватило бы на содержание целого войска и на покрытие королевских расходов.

Ф а э т о н. С помощью этих средств и того единодушия, которое их связывает,— победят они в конце концов рыцарей или не победят?

С о л н ц е. Победили бы, не будь это войной трусов с храбрецами.

Ф а э т о н. Ты хочешь сказать, что жители городов все до одного — трусы и лентяи? И нет в них ни капли храбрости, энергии?

С о л н ц е. Какая-то малость есть, люди разумные найдутся и в городах, но так уже повелось в мире, что большинство никчемных и никудышных подавляет меньшинство разумных и способных.

Ф а э т о н. Неужели августейшие деньги не настолько могущественны в Германии, чтобы одолеть доблесть противников,— в особенности когда волею и милостью денег совершается все?

С о л н ц е. У других народов они всемогущи, но немцы еще не так заражены пороком, чтобы деньги чтить выше доблести. Богачи вызывают у них справедливое недоверие, к ним обращаются с укорами, вспоминая пословицу: «ὡς οὐκ εἰσιν οἱ παμπλούσιοι ἀγαθοί»[1].

---

[1] «Не бывают богачи людьми порядочными» *(греч.)*.

Ф а э т о н. Право же, есть во всем этом какое-то подобие древней доблести! Но вот разбои (каким бы мужественным ни было это бесчинство) я хвалить не стану. Кроме того, мне не по душе их чрезмерная суровость и грубость, достойная кентавров. Впрочем, я одобрил бы их действия, если бы они нашли способ заставить этих изящных и прелестных совратителей, которые позорят Германию, либо забыть об изнеженности и начать лучшую жизнь, либо немедленно покинуть Германию, пока еще не каждого коснулось их тлетворное дыхание. Следовало бы полностью закрыть доступ всему чужеземному, изгнать всяческую роскошь: даже мне противно смотреть, с какой заботливостью иные за собой ухаживают, как, выставив за дверь отеческие порядки, они постыдно усвоили чужие и самые худшие нравы, да еще пекутся о том, чтобы этим иноземным гнусностям подражали, а отеческую доблесть забыли. А между тем это не только лишает их воинственности, но и вообще делает из них баб. Ага, теперь я вижу, как, вопреки обычаям своего племени, они весьма искусно обманывают и надувают. Нет, если они немедленно не изменятся, то сделаются недостойны даже имени германца, ибо покрывают бесчестием это имя и пятнают позором его древнюю славу.

С о л н ц е. Но взгляни-ка на священников — это уж совсем дрянной народ. Ни малейшей пользы согражданам они не приносят, никогда ничем не заняты, преданы лишь попойкам, сну и роскоши, знай себе кутят да бражничают, греют подружек, прикармливают дармоедов и живут в полнейшем довольстве, ни о чем, кроме наслаждений, не думая, размякшие от всевозможных утех и вконец погубленные сладострастием — отупевшие и уже почти утратившие человеческий облик. Они любят лишь роскошь, изнеженность, тихий досуг, покой, сочетающийся с разными приятностями, καὶ μεμαλαγμένον βίον [1]. Им подавай все безмятежное, милое, радостное, грубости они не выносят, от работы бегут и трудностей сторонятся, резкости терпеть не могут, благоразумия знать не желают, беспокойство ненавидят, даже простой шум их раздражает. У них одна забота — погреб и кухня, чтобы все было под рукой и в изобилии. Так они сами себя ублажают и служат собственной утробе, набивают брюхо, объедаются на пирах, нежатся в бане, умащаются благовониями, валяются в постели. Они окружены достатком и ни в чем не знают отказа, глядя на них, вспоминаешь вошедшие в пословицу жреческие трапезы. К чему вся

[1] и изнеженную жизнь *(греч.)*.

эта разнузданность, которая лишает их ясности духа и остроты ума? Их бог — чрево!

Ф а э т о н. Вот они — вылощенные, нарядные, с холеною кожей, тщательно выбритые, румяные, беззаботные, томные и до крайности изнеженные. Но в то же время они немощны и, если только не ошибаюсь, болезненны — совсем как те, о которых пишет греческий поэт:

«...ποδαγρῶντες
καὶ γαστρώδεις, καὶ παχύκνημοι, καὶ πίονές εἰσιν ἀσελγῶς» [1].

Я уверен, что хвори их — от невоздержности. В самом деле, это сословие — позор для всего народа. Не понимаю, как немцы их еще терпят!

С о л н ц е. Из благочестия.

Ф а э т о н. Ничто не может быть противнее древним германским обычаям, чем жизнь этих священников. Да, здесь не оправдывается пословица: какова земля, таковы и нравы; в них нет ничего германского, каким бы влиянием они ни пользовались, каким бы богатством ни обладали. Но мне они кажутся к тому же и жадными и хищными.

С о л н ц е. Вернее не скажешь.

Ф а э т о н. А вон те, в одежде особого цвета и покроя, которые есть и в Италии и называются там «братьями»,— как их здесь много, больше, чем в любом другом месте, как они мечутся, копошатся, суетятся!

С о л н ц е. Тоже кутилы, бездельники, болваны, пустозвоны и ничтожества!

Ф а э т о н. Но, кажется, в Германии им оказывают немалое уважение.

С о л н ц е. Верно, оказывают — из-за суеверий, которыми они, словно чарами какими, морочат и сбивают с толку людей.

Ф а э т о н. Смотри-ка, иные шепчут им что-то на ухо и другим священникам — тоже, что это такое?

С о л н ц е. У них это называется исповедью: если кто в чем-нибудь согрешит, благочестие требует, чтобы он сказал одному из них о своем грехе, и это касается не только поступков, но даже и помышлений. Так каждый должен поверять им свои тайны.

Ф а э т о н. Кто же соглашается открывать свои секреты подобным господам?

«...подагрики люди,

[1] Толстопузые и толстоногие все, разжиревшие до безобразья» *(греч.)*.

С о л н ц е. Все соглашаются — из религиозного чувства и из почтения к древнейшему христианскому установлению.

Ф а э т о н. А они хотя бы не разглашают то, что узнали?

С о л н ц е. Это уж зависит от человека: сдержанные молчат, а через болтливого все выходит наружу.

Ф а э т о н. Право же, опасно делиться с ними тайными думами и в особенности — с пьяницами. Но что я вижу? Они выслушивают и женщин! Какой мерзкий обычай! А что они делают с теми, кого гладят по голове?

С о л н ц е. Делают их невинными, чистыми и свободными от греха.

Ф а э т о н. Тех, кто прежде был отягощен виной и преступлениями?

С о л н ц е. Тех самых. И называется это «отпущением».

Ф а э т о н. Что ты говоришь? Разве могут отпускать чужие грехи те, кто сам в них погряз?

С о л н ц е. Таковы правила религии.

Ф а э т о н. Мне они не нравятся. И я полагаю, что этому народу нужно позаботиться о всеобщем исправлении нравов: нельзя терпеть столько праздных ленивцев, которые проедают чужое добро, а сами никакого доброго плода не приносят: нужно любой ценой искоренить иноземную роскошь и как можно дальше изгнать чуждую немцам изнеженность, вернув всю Германию к прежней ее силе и старинной доблести.

С о л н ц е. Но ведь они исстари бражники, преданы хмельному питию, и никогда в Германии пьянство не считалось зазорным.

Ф а э т о н. В этом одном они должны изменить прошлому, а в остальном пусть остаются ему верны.

С о л н ц е. Слишком уж хорошие сделаются тогда у тебя немцы! Ведь пьянство так же свойственно им, как итальянцам — лукавство, испанцам — вороватость, французам — чванство, а другим народам — другие, присущие им пороки.

Ф а э т о н. Ну, если без порока не обойтись, то я предпочитаю этот любому из тех, которые ты назвал. Впрочем, я думаю, что время их исцелит, так же как оно избавит от недугов всех остальных людей,— ты сам внушил мне эту надежду. Но вернемся к собранию и к легату папы Льва: видишь, отец, шествуя в процессии, он что-то кричит, обращаясь к небесам, вне себя от гнева и ярости, и мне кажется, что гневается он на нас, потому что смотрит сюда.

С о л н ц е. Он сердится на меня. Но послушаем, что болтает этот человечишка: он чем-то грозится, надменно задрав нос.

К а э т а н. ...которому надлежало сиять по первому моему знаку, и к тому же — светлее и ярче обычного!

С о л н ц е. Что, что, легат? Что ты говоришь? Это ты меня укоряешь?

К а э т а н. Ты еще спрашиваешь?! Будто само не знаешь, какой ты великий грех совершило!

С о л н ц е. Но я, право, не знаю, да и не узнаю, если ты не скажешь, чем я провинился.

К а э т а н. Наконец-то, повторяю, ты выглянуло, бессовестное! Наконец-то явило себя миру! Ты, которому надлежало сиять по первому моему знаку, и к тому же — светлее и ярче обычного!

С о л н ц е. Не понимаю, в чем мое прегрешение.

К а э т а н. Ах, не понимаешь?! Да ведь ты за целых десять дней ни единого лучика мне не показало и нарочно закрывалось облаками, да так, словно вознамерилось лишить мир света!

С о л н ц е. Если тут и есть чья-то вина, то лишь астрологов: это они предсказали такую погоду в своих подсчетах.

К а э т а н. А тебе надлежало больше следить за желаниями папского легата, чем за выкладками астрологов! Разве ты не помнишь, чем я тебе грозил, покидая Италию, на тот случай, если ты сильным зноем не пресечешь несвоевременную стужу в Германии и не вернешь туда лето, дабы мне не томиться неодолимой тоской по Италии?

С о л н ц е. Я пропустил мимо ушей твои предписания, и вообще мне неизвестно, чтобы смертные могли приказывать Солнцу.

К а э т а н. Как неизвестно? Так ты и того не знаешь, что епископ римский (который ныне всем своим могуществом облек меня — легата от ребра апостольского) властен вязать и решать все, что пожелает, как на земле, так и на небесах?

С о л н ц е. Это мы слыхали, но я не верил его хвастовству, ибо не видел еще смертного, который бы хоть что-нибудь здесь, у нас, изменил.

К а э т а н. Ах, ты еще и не веришь, дурной ты христианин?! Ну, раз ты такой еретик, тебя нужно немедленно отлучить от церкви и предать когтям Сатаны!

С о л н ц е. Ты низвергаешь меня с неба и предаешь когтям Сатаны? Словом, как говорится, отбираешь у мира солнце?

К а э т а н. Именно так я и поступлю, если ты немедленно не исповедуешься у одного из моих кописистов и не попросишь у меня отпущения грехов.

С о л н ц е. А когда исповедуюсь, дальше что?

К а э т а н. Я наложу на тебя епитимью, ты будешь несколько дней умерщвлять плоть постом, или исполнять какую-нибудь тяжелую работу, или отправишься в утомительное паломничество, или станешь раздавать подаяние, либо тебя высекут за твои прегрешения.

С о л н ц е. Нелегкие условия! А что ты мне потом даруешь?

К а э т а н. Объявлю тебя свободным от вины и дарую тебе очищение.

С о л н ц е. Стало быть, ты собираешься «принести Солнцу свет»?

К а э т а н. Да, если пожелаю: факультаты, полученные мною от Льва Десятого, способны и на это.

С о л н ц е. Какой вздор! И ты думаешь, что найдется среди смертных такой дурак, который тебе поверит, не говоря уже о всевидящем Солнце?! Ступай-ка да выпей чемерицы: мне кажется, ты сошел с ума.

К а э т а н. Сошел с ума?! Ты уже отлучено за непочтение к папскому легату! Знай, что на тебе лежат великие и ничем не искупимые проклятья, а вскорости я созову народ и публично, торжественно предам тебя анафеме за то, что ты так сильно меня разгневало!

Ф а э т о н. По-моему, отец, к этим угрозам нужно повернуться задом и хорошенько на них пукнуть. Ну что может сделать богам ничтожный смертный?!

С о л н ц е. Да, на него нечего и внимания обращать. А впрочем, не заслуживает ли он жалости как человек, которого лишила рассудка болезнь?

Ф а э т о н. Какая болезнь?

С о л н ц е. Ведь он страдает алчностью, а так как дела в Германии идут скверно и набить мошну не удается, он пришел в неистовство и лишился рассудка. Но погоди-ка, сейчас я над ним посмеюсь. Что ты вещаешь, святой отец? Ты намерен осудить меня, не разобравшись в деле? Чем я заслужил такое обращение?

К а э т а н. Я тебе уже сказал. А что до разбора дела, то многие из числа тех, кого осуждают папы и их легаты, не получают слова для защиты.

С о л н ц е. Будь это не вы, а кто-нибудь еще, я бы сказал, что они поступают несправедливо. Но, окажи милость, сжалься и прости меня.

К а э т а н. Вот то-то же, молись, дабы тебе не погибнуть! Итак, повелеваю тебе чтить меня, где бы я ни находился. А ныне

следи, чтобы дни в Германии стояли ясные, и силою своего тепла умеряй холод, который не дает мне покоя даже теперь, в середине июля.

Солнце. Я бы уж и прежде так поступал, да ведь ты многое творишь втайне от немцев. Я и опасался, как бы слишком ясный свет не выдал им твоих проделок, а даром бы тебе это не прошло.

Каэтан. Ну-ка, ну-ка, какие там еще тайны ты можешь выдать другим, если само ничего не знаешь?

Солнце. Это я-то не знаю? Не знаю, как ты пытаешься помешать Карлу стать преемником деда, хотя воля Максимилиана именно такова? Будь этот и еще многие другие твои замыслы известны немцам, они бы тебя жестоко возненавидели, если только того не хуже!

Каэтан. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. А ты держи язык за зубами, не то будешь отлучено.

Солнце. Я слышу речи настоящего тирана!

Каэтан. Далее повелеваю тебе вынуть из колчана стрелы и вызвать чуму, поражая германцев скоропостижною смертью, дабы освобождались должности и приходы и можно было устанавливать новые пенсионы; тогда в Рим потекут деньги, да и мне, здесь, что-нибудь перепадет. Ведь уже давно у варваров умирает слишком мало богатых священников. Ты слушаешь, эй?

Солнце. Затаив дыханье.

Каэтан. Прежде всего меться в епископов, чтобы паллии не залеживались, бей каноников и аббатов, чтобы шли доходы вновь назначенным кардиналам. Нужно всемерно позаботиться об этих последних, дабы у них были деньги на необходимые расходы.

Солнце. Но если напускать на людей чуму, придется собрать облака, расстелить туман над землей и покрыть небо мглою, а я боюсь, что непогода будет тебе не по душе.

Каэтан. Главное — пусть начинается чума, чтобы должности освобождались. Облака же, насколько возможно, сдерживай, но если это совсем невозможно, действуй, как находишь нужным.

Фаэтон. О, гнуснейший из обманщиков! Теперь только я понял, что́ его печалит и что́ радует, когда он огорчается и когда ликует! Лишь бы торговля индульгенциями шла удачно — и он охотно согласится на хмурое небо, холод и вообще любую непогоду. Я сам хочу к нему обратиться. Слушай меня, ты, несчастный: «Пасти должен пастырь овец, а не убивать».

К а э т а н. Что ты говоришь, святотатец? Что ты там болтаешь, нечестивый возница? Да я тебя сейчас проклятиями в порошок сотру! Ты, я вижу, собрался смешать мои планы?

Ф а э т о н. Да, по мере сил. За что ты хочешь погубить тех, у кого сам же всеми способами выманиваешь деньги?

К а э т а н. Ты, проклятый преступник, последний ты негодяй, отродье диаволово, ты что это ко мне привязался? Разве не справедливо, чтобы пастырь стриг своих овец?

Ф а э т о н. Справедливо, добрые пастыри так и делают, они стригут овец, но не сдирают с них шкуру, не режут их! Так и скажи Льву Десятому: если он не перестанет посылать в Германию столь неуемных легатов, одного за другим, то как бы, в конце концов, овцы не составили заговор против несправедливого и жестокого пастыря и не отважились на какой-нибудь достойный поступок. А про твой нрав они уж и песни сложили и, по-видимому, дольше терпеть его не намерены, хотя бы ты даже переправил через Альпы целые телеги с отлучениями и обрушил на их головы.

К а э т а н. Ты колеблешь то, что должно быть неколебимо, а потому — анафема! Будь проклят! Вот какому наказанию я подвергаю тебя за неблагоразумные речи.

Ф а э т о н. А я предам тебя на осмеяние и поношение германцам, которых ты грабишь, а может быть — и на растерзание, если они захотят подать добрый пример потомству. Итак, будь посмешищем! Вот тебе от меня наказание!

С о л н ц е. Брось этого болтуна, пора ехать вниз и уступить место вечеру. А он пусть себе болтает, обманывает, лжет, обирает и грабит на свой страх и риск.

Ф а э т о н. И к тому же — пусть погибнет злою смертью. Ну, ладно, подхлестнем коней и поедем отсюда.

БУЛЛА, ИЛИ КРУШИБУЛЛ

Собеседники: Германская Свобода, Булла, Гуттен, Франц и несколько немцев

С в о б о д а. Ну, когда же, когда же...

Б у л л а. Что «когда же», пьянчужка?

С в о б о д а. Когда же ты, наконец, умеришь свою жестокость и перестанешь чинить мне эту неслыханно злую обиду?!

Б у л л а. Ничего не слышу. Вот тебе!

С в о б о д а. И хватит уж бить меня, богохульница!

Б у л л а. Да я только начинаю.

С в о б о д а. Пусть же Христос погубит тебя в самых страшных муках, негодяйка!

Б у л л а. Ты еще и злословишь, несчастная?

С в о б о д а. Разве злословить зло не значит славословить благо?

Б у л л а. Опять ты бранишься?! Вот тебе, получай!

С в о б о д а. Пусти меня, злодейка проклятая, лгунья, преступница, пусти, говорю! Что ты меня бьешь?

Б у л л а. А ты что кричишь, пакостница?

С в о б о д а. Сама же заставляешь!

Б у л л а. Так я заставлю тебя молчать.

С в о б о д а. Попробуй только — ничего не выйдет: пока я жива — не перестану кричать о твоих бесчинствах!

Б у л л а. Что же, получай еще!

С в о б о д а. Непоправимую беду навлекаешь ты на себя, если только разум и чувства меня не обманывают.

Б у л л а. Что ты болтаешь, дура нескладная? Какую беду?

С в о б о д а. Отмщение, достойное твоих злодеяний.

Б у л л а. Замолчи!

С в о б о д а. Не замолчу. Сегодня я должна высказать все!

Б у л л а. Тебе говорю: молчи!

С в о б о д а. А я говорю тебе: мне нужно сегодня высказаться — а иначе я так молча и погибну, словно Амиклы в древности.

Б у л л а. Что же ты намерена сказать?

С в о б о д а. Я буду говорить — нет, громко кричать! — о тебе, о том, что ты явилась к нам с готовностью и намерением меня задушить.

Б у л л а. Кому ты это скажешь?

С в о б о д а. Всем, кто живет в этой стране,— всем германцам.

Б у л л а. Ты собралась жаловаться на меня тем, кто так безропотно мне подчиняется?

С в о б о д а. Подчиняется? О нечестивые слова, о нестерпимое оскорбление — утверждать, будто немцы подчиняются тебе! Тебе!! Слушайте, слушайте, германцы, это чудовищное поношение, недостойное ваших ушей, но взывающее к мести ваших рук: она хвастается, что вы-де подчиняетесь, служите ей! Убейте ее! Растопчите! Вколотите ей обратно в глотку эти слова!

Б у л л а. Славное начало! Продолжай так же — и наверняка наклúкаешь на себя беду.

С в о б о д а. А еще вернее — на тебя.

Б у л л а. Ну, что ты мелешь, шкура потасканная? Ты наклúкаешь беду на меня?! Как бы не так!

С в о б о д а. А что же, не накликаю, ты, источник порока и ложных клятв? Не накликаю — за всю твою коварную злобу и злобное коварство?

Б у л л а. Ты еще храбриться вздумала, подлейшая из подлых? Смотри у меня!

С в о б о д а. А что мне еще остается, раз ты так свирепствуешь?

Б у л л а. Сама виновата — нечего было вопить. Ведь я приехала, чтобы потребовать к ответу Лютера, а ты тут при чем? Что ты лезешь не в свои дела?

С в о б о д а. Как будто не ясно, чего ты добиваешься, уверяя, что преследуешь Лютера, или не понятно, что цель твоего приезда — ввергнуть меня в оковы и опутать Германию сетями позорного рабства. Это ты мне как раз и запрещаешь разглашать, опасаясь, как бы мои крики не вывели тебя на чистую воду.

Б у л л а. Но тебе было бы выгоднее помолчать.

С в о б о д а. И бесчестно и невыгодно.

Б у л л а. Ну, как бы там ни было, а ты сейчас же прекратишь орать, слышишь?!

С в о б о д а. Нет, я буду говорить, чего бы мне это ни стоило!

Б у л л а. Эх, если я брошу поводья, не буду больше себя сдерживать и выплесну на тебя весь свой гнев,— вот когда ты пожелаешь, наконец, образумиться, да уж будет поздно! Впрочем,стоит ли дольше терпеть?Я говорила,что тебе лучше молчать, говорила? Так вот же тебе, дрянь ты этакая, вот тебе, получай!

С в о б о д а. Клятвопреступница, враг законов, я сделаю все, чтобы погубить тебя, если только вырвусь из твоих когтей! Будет драться, проклятая, перестань немедленно!

Б у л л а. Будет и тебе вопить, пустомеля, перестань немедленно!

С в о б о д а. Ты у меня кувырком отсюда вылетишь, в слезах отправишься восвояси.

Б у л л а. Вот тебе! Вот тебе!

С в о б о д а. Ах, как долго они не идут, те свободные люди, которых я звала! Ну, что ты меня бьешь, ничтожнейшая из булл?

Булла. *А ты* что кричишь, дурья башка? Ну-ка, еще разок!

Свобода. Заклинаю вас, германцы! Помогите, сограждане! выручайте, земляки, соотечественники, соседи, ближние, дальние — все!

Булла. Вот тебе!

Свобода. Молю вас, германцы! Не оставьте, сограждане! Спасите несчастную Свободу! Отважится ли кто оказать мне поддержку? Найдется ли человек поистине свободный, преданный добродетели, любящий справедливость, ненавидящий обман, почитающий право, гнушающийся преступлением? Найдется ли поистине германец?

Гуттен. Меня зовут, вот только кто и где — не разберу. Посмотрим-ка, в чем тут дело. Э, да это, никак, Свобода? Скорей туда! Что случилось? Кто здесь? Кто кричит?

Свобода. Свободу душат, Гуттен,— меня, Свободу, я и кричу. А душит меня вот кто — Булла Льва Десятого. Она действует с таким упорством, точно крепость осаждает, и, несомненно, решила опутать меня своими тенетами, а потом удавить.

Гуттен. Да избавят нас боги от такого несчастья! Но о какой булле ты говоришь, какую новую напасть ты нам возвещаешь?

Свобода. Вот об этой коварной обманщице, об этой Булле, которую послали к нам нечестивые римляне, отравители и колдуны, чтобы она всех вас обратила в рабство, а меня связала и убила.

Гуттен. Поразительно, как только нашлись люди, отважившиеся на подобную дерзость! Ну, Булла, ты, должно быть, отличаешься необыкновенною наглостью, если нападаешь на Свободу, ставишь ни во что доброе имя германца и, к тому же, не знаешь ни границы, ни меры в своем безрассудстве!

Булла. Ты так думаешь?

Гуттен. Да, именно так.

Булла. А уж не ты ли — тот, кому буллы обязаны отчитываться в своих действиях?

Гуттен. Не шути со мной, Булла: попробуй только у меня не отпустить Свободу — живо узнаешь, кто я такой. И запомни хорошенько: отныне пальцем не смей ее тронуть, если не хочешь познакомиться со мной поближе.

Булла. Я до тех пор буду шутить и посмеиваться, пока не увижу, что тебе принадлежит власть над буллами.

Гуттен. Говорю тебе, отпусти Свободу, если хочешь, чтобы мы были друзьями.

Свобода. Ты решился помочь мне?

Гуттен. Самым решительным образом, если смогу.

Свобода. А кто будут наши союзники?

Гуттен. Если случится нужда в союзниках, мы соберем сюда вольных простолюдинов и всех свободных и отважных людей Германии, а прежде других явится Франц, тот самый, который уже давным-давно воздвиг тебе храм и посвятил алтарь.

Свобода. Ты возвратил мне бодрость, вспомнив имя непобедимого героя. Так он придет нам на помощь?

Гуттен. Разумеется! По первому нашему зову.

Свобода. Я спасена!

Булла. Да, благодаря моей снисходительности, но при условии, что ты перестанешь кричать.

Свобода. Но я перестану лишь в том случае, если ты остановишься и дальше не пойдешь.

Булла. Уж не хочешь ли ты помешать мне попасть туда, куда мне нужно?

Свобода. Постараюсь помешать: буду кричать во всю мочь.

Булла. А я тебя изобью, как собаку, если ты хоть слово вымолвишь.

Гуттен. Ты изобьешь ее? А я буду стоять и смотреть?

Булла. Если пожелаешь — смотри. А будет невтерпеж — отойди в сторонку, пока я досыта угощу ее колотушками, как она того и заслуживает. Будешь еще мне докучать, ничтожная?

Гуттен. Ты куда, бесстыжая?

Булла. Куда хочу.

Гуттен. Почему ты ее не отпускаешь, как тебе было приказано? Отпусти, говорю, и оставь ее в покое.

Булла. Кто ты таков, чтобы приказывать буллам?

Гуттен. Тот, кого ты перед собой видишь, а если не уймешься — то и бока твои со мной познакомятся.

Булла. Ты это всерьез, скажи правду?

Гуттен. Серьезнее быть не может.

Булла. И ты один такой отыскался, что ставишь препоны буллам, обращающимся в Германии?

Гуттен. Есть ли еще другие, не знаю, но что касается меня, то я позабочусь, чтобы ты не чинила ей ни малейшей обиды.

Булла. Нелегкое дело ты затеваешь.

Свобода. Видишь, как она насупилась, как трясет головой? Честное слово, римляне немцев и за мужчин не считают!

Гуттен. Они узнают, какие мы мужчины!

Б у л л а. Смотри, как бы не оказаться умнее, чем нужно.

Г у т т е н. Умнее, чем тебе выгодно,— это наверняка.

Б у л л а. Ты даже не подозреваешь, в какие беды ты себя впутываешь, решившись на такой поступок!

Г у т т е н. Чем бы это ни кончилось, я запрещаю тебе пальцем к ней прикасаться. Слышишь?

Б у л л а. Слышу, что ты уж слишком командуешь и отчаянно свиреп в речах.

Г у т т е н. И на деле — тоже, и ты скоро это почувствуешь, если только не уймешься.

Б у л л а. Ты дерзаешь мне угрожать, ничтожнейший из людей?!

Г у т т е н. И выполню угрозу, низкая тварь!

Б у л л а. Значит, ты меня презираешь?

Г у т т е н. Я просто растопчу тебя, если ты не перестанешь меня раздражать. Ну, ты куда двинулась, негодяйка?

Б у л л а. Ты смеешь оскорблять меня хулой?

Г у т т е н. И даже действием!

Б у л л а. Черная желчь тебя изводит.

Г у т т е н. А тебя изведет черная смола, и сейчас же! Стой, ни шагу дальше!

Б у л л а. Ты все еще несешь свой вздор!

Г у т т е н. Ты все еще плюешь на мои слова? Куда ты лезешь, черепаха?

Б у л л а. А вот как налечу на тебя быстрее ветра — сразу узнаешь, черепаха я или Пегас.

Г у т т е н. Шутки шутишь да куражишься! Что ж, ладно, но смотри не вздумай двигаться в путь вопреки моему повелению.

Б у л л а. А где это написано, повелитель мой, что ты устанавливаешь законы для булл?

Г у т т е н. Нигде не написано, не раскрашено, но дай срок — и напишут и раскрасят!

Б у л л а. Никчемный, как я смотрю, человечишка собирается чинить мне это беспокойство!

Г у т т е н. Грош цена и тебе самой, и твоей болтовне! Ну, если я не раздавлю тебя сегодня, как паука...

Б у л л а. Ну, если я сегодня не собью с тебя спеси... И знай, что я шутить не расположена: с этого дня ты состоишь под судом и следствием.

Г у т т е н. А я стану преследовать тебя, пока не изведу.

Б у л л а. Ступай, несчастный, в Рим, и чтобы ты был там до истечения шестидесятого дня!

Гуттен. Стой здесь, несчастная, целых шестьдесят дней!

Булла. Во имя и в силу святого повиновения!

Гуттен. Во имя и в силу вот этих кулаков!

Булла. Что это? Ты хочешь смешать меня с дерьмом? Да есть ли у тебя рассудок и здравый смысл, человек?

Гуттен. И кулаки — тоже.

Булла. Да, вот это любезный хозяин! Ну и прием же он мне оказал! Эй, ты! Знать больше не знаю и знать не хочу твою Свободу. Пойду в другое место — туда, где мне нужно исполнить повеление Льва Десятого.

Гуттен. В какое место?

Булла. А что тебе до этого?

Гуттен. Сегодня тебе придется дать мне отчет во всем, что ты делаешь и собираешься сделать.

Свобода. Разве я тебе не говорила, что ты еще раскаешься в своих намерениях? Теперь ты и сама видишь, насколько выгоднее было бы тебе послушаться моего совета.

Булла. Кто ты такой, что приезжающие сюда по делам должны давать тебе отчет?

Гуттен. Прежде скажи мне, кто ты такая, что осмелилась оскорблять Свободу Германии? Твое имя?

Булла. Прочти у меня на лбу.

Гуттен. «На вечную память». Так ты Булла, иначе говоря — Пузырь. Но почему тебя так назвали? Не потому ли, что ты пуста, и как одно-единственное дыхание тебя выдувает, так ты и исчезаешь — в один миг?

Булла. Ты уж слишком меня презираешь.

Гуттен. Слишком? Да разве пузыри не лопаются от первого же дуновения, едва успев возникнуть?

Булла. Я не из их числа: всей Германии не хватит на то, чтобы развеять меня по ветру.

Гуттен. Что за чушь, пропади ты пропадом? Думаешь, у Германии духа недостанет? Недостанет силы?

Булла. Нет, этого я не думаю.

Гуттен. Зачем же тогда хвастаться?

Булла. Знай, что я оберегаю свое достоинство.

Гуттен. Это — пожалуйста, не тронь только нашей Свободы. Какое, однако, достоинство может быть у буллы?

Булла. Какое было всегда, и тебе следовало бы принять меня здесь с бóльшим почтением.

Гуттен. Почтение — к пустому пузырю?

Булла. Так уже заведено: мы являемся сюда пустыми и налегке, чтобы вернуться в Рим с грузом и поклажей.

Гуттен. Почему?

Булла. Об этом можно догадываться, но рассуждать нельзя.

Гуттен. И все же я не пойму, за что к тебе следует относиться с почтением и как его выражать. Уж не требуешь ли ты, чтобы мы возили тебя повсюду в сопровождении торжественной процессии?

Булла. Конечно, как возили другие буллы, до меня.

Гуттен. Вот, на самом-то деле, могущество: она уверена, что стоит ей повелеть — и все в тот же миг исполнится, хотя сама — пустышка, тень, призрак!

Булла. Нет, я не пустая.

Гуттен. Не знаю, не знаю. Впрочем, ты же сама мне об этом сказала.

Булла. Я говорила о деньгах и о плодах земли.

Гуттен. Значит, ты наполнена чем-то еще, если так сильно раздулась?

Булла. Да.

Гуттен. Чем же? Ведь ты, того и гляди, лопнешь.

Булла. Ничего удивительного: я полна благочестия, полна могущества, власти, почета и духа божия.

Гуттен. А я полагаю — вдохновляема суеверием и алчностью, надута спесью и тщеславием, пьяна от суетной славы, но лишена какой бы то ни было порядочности и честности.

Булла. Никогда еще я не слыхивала более злого на язык человека! И, наверное, не сыскать другого, который бранился бы так же дерзко! Не иначе, как ты подражаешь древним комикам, мазавшимся винною гущей.

Гуттен. Да я-то никакой гущей не мазался и говорю с тобой открыто, под маской не прячусь. Оставь в покое нашу Свободу, Булла, а там будь себе, чем захочешь — тем ли, что греки называют *πομφόλυξ* [1], или тем, что обозначается у них словом *φύσημα* [2].

Булла. Ошибаешься, происхождение у нашего имени совсем иное: мы подаем советы, и потому древние нарекли нас буллами *ἀπὸ τῆς βουλῆς* [3] и завещали чтить.

Гуттен. Но откуда бы ни взялось твое имя, ты, по-моему, не Булла, а Булга, то есть Кошель: ведь вы увозите от нас деньги и доставляете в Рим жалованье папским креатурам.

---

[1] пузырь *(греч.)*.

[2] Здесь: полый шарик, пустышка *(греч.)*.

[3] От слова «совет» *(греч.)*.

И потом, если зрение меня не обманывает, ты пылаешь какою-то совсем новою алчностью. Смотри-ка, да ты кожаная — как и всякий кошель!

Б у л л а. Уж не слепой ли ты? Принять меня за кожаную, когда я из пергамена! И не смей называть меня Булгой — иные могут понять это непристойно [1].

Г у т т е н. Ну, до благопристойности тебе далеко. А впрочем, хоть Пузырь, хоть Волдырь — это мне безразлично. Скажи лучше, кто твой отец? Мне кажется, ты дочь Земли, сестра Гигантов: в тебе есть что-то от Титанов.

Б у л л а. Нет, ты заблуждаешься, моя мать — Церковь, а отец — папа Лев Десятый; дщерью или творением папы я и зовусь чаще всего.

Г у т т е н. А откуда ты теперь прибыла, творение Десятого?

Б у л л а. Из того города, что властвует над племенами и языками.

Г у т т е н. Какого же это?

С в о б о д а. Дай я скажу, Гуттен. Она прибыла из Рима, где мулы дороже коней, где мужи — не мужи, где добро — зло, а зло — добро; где злодеяния могут сойти за великие заслуги; где люди — боги, а богов нет совсем; откуда все благородное изгнано; где люди рабски служат деньгам и богатеют; где и правда и неправда — пустые слова; где договоры — жалкие бумажонки, а жалкие бумажонки — договоры; где вера — вне закона, религия зарезана, невинность погублена, честность истреблена под самый корень. Вот он каков — владыка над племенами и языками!

Б у л л а. Ах, ты клеветница, такое величие — и так злобно унижать!.. Но ты тоже скажи, как тебя зовут и откуда ты прибыл.

Г у т т е н. Меня зовут Крушибулл.

Б у л л а. Ничего хорошего для меня это имя не предвещает.

Г у т т е н. А сюда я приехал из Эбернбурга — из того славного пристанища справедливости, где в цене кони и оружие, в пренебрежении досуг и безделие; где мужи — поистине мужи; где воздают должное и добру и злу; где людей принимают по заслугам; где богу оказывают поклонение, а ближнему своему — любовь; где добродетели окружены почетом, алчности же — места нет; откуда изгнано тщеславие, а коварство

[1] Bulga значит также «утроба».

и преступление и близко туда не подходят; где живут мужи не только свободные, но и благородные; где люди презирают деньги и обретают величие; где идут по стопам правды, а неправды гнушаются и бегут; где блюдут договоры, оберегают веру, чтут религию, обороняют невинность, где честность в расцвете, а союзы нерушимы. Вот оно каково — пристанище справедливости!.. А ты... теперь я начинаю тебя узнавать... ты, должно быть, та, о приезде которой недавно вещали с такими угрозами?

Булла. Она самая. И я намерена осудить лютеран, ἅπαντας ἐν κύκλῳ περιελθών[1].

Гуттен. Многих же порядочных людей готовишься ты ввергнуть в пучину опасностей! Но у тебя ничего не выйдет... Почему ты, однако, без проводника? Неужели не нашлось никого, чтобы показать тебе дорогу?

Булла. Экк показывал, но он ненадолго отлучился, чтобы расправиться с какими-то молодыми людьми, которые в чем-то (не знаю толком, в чем) ему дерзнули перечить.

Гуттен. Ну, это человек глупый и невлиятельный, хотя для такого дела как раз годится: ведь он и зол, и безрассуден, и всегда готов к услугам, если где затевается какая-нибудь подлость.

Булла. Что ты говоришь? И о ком? О достойнейшем муже, которого высоко вознесет Лев Десятый, если он успешно завершит начатое дело!

Гуттен. Хоть бы уж он повис высоко над землей!

Булла. За что? Апостолический протонотарий, который был бы уже епископом, если бы не его скромность!

Гуттен. За то, что вы смеете грозить бедой порядочным людям.

Булла. Порядочным людям, говоришь? И Лютера тоже к ним причисляешь?

Гуттен. Я — да!

Булла. Опасное заблуждение! Если ты меня выслушаешь, то бедственный пример Лютера научит тебя уму-разуму, и ты, как говорится, извлечешь пользу из чужого безумия.

Гуттен. Опомнись, нечестивая, вещать правду — это безумие?

Булла. Все равно что безумие,— если вещают незвано-непрошено, обращаясь к тем, кто не желает слушать о деле, которое всем ненавистно, как это уже давно делает Лютер. А потому, если ты человек разумный, молчи о нем.

---

[1] обойдя всех по очереди *(греч.)*.

Гуттен. О Лютере я еще, пожалуй, могу промолчать, но Свобода — дело другое. Как смела ты поднять на нее кощунственную руку? Как ты смела? Вот на какой вопрос я требую у тебя ответа! Какое отношение ты имеешь к Германской Свободе, что налагаешь на нее руки? Какое, я спрашиваю?

Булла. А такое же, как хозяин — к рабу.

Гуттен. Ты хочешь сказать, что наша Свобода — твоя рабыня? Так, проклятая?

Булла. Полагаю, что так.

Гуттен. Боги да погубят тебя, бешеная, сумасбродка!

Булла. Боги да истребят тебя, неистовый, одержимый! Ты осмелился бранить святые буллы — неслыханная дерзость!

Гуттен. Погоди, я еще попотчую тебя чем-нибудь покрепче брани.

Булла. Пропусти меня, если хочешь, чтобы все было хорошо: ведь если ты не перестанешь упорствовать и чинить мне препятствия, я устрою так, что ты еще сегодня предстанешь перед судом, себе на горе. Дай же мне уйти отсюда.

Гуттен. Не дам. Куда ты направляешься?

Булла. Пойду туда, где меня ждут добыча и триумф.

Гуттен. Прежде ты у меня пройдешь под игом, это будет плата за триумф.

Булла. Пропусти меня, говорят тебе, но не под игом, а в Саксонию. Ну, что тебе до меня, святотатец?!

Гуттен. А что тебе до Германии, мерзавка?!

Булла. Как что? Разве буллам внове вести здесь дела?

Гуттен. Нет, не спорю, так заведено давно, но еще раньше, совсем давно, духу вашего здесь не было. Будем же следовать давнему порядку, самому давнему.

Булла. Значит, по-твоему, папа не вправе посылать сюда свои творения, или креатуры, дабы они над вами царили?

Гуттен. Конечно, нет. Как он может быть вправе?

Булла. Ты не знаешь? Сейчас услышишь. Власть над Римской империей вы получили из рук пап. За это благодеяние они требуют, чтобы вы терпели у себя их легатов, буллы и достойный уважения промысел куртизанов.

Гуттен. Подобной чуши даже от эпикурейцев в древности никто не слыхивал. Да, теперь я убедился: ты и в самом деле не пустая, но, по-видимому, до отказа набита вздором.

Булла. Я — словно рог изобилия: во мне есть все, чего сама ни пожелаю.

Свобода. Она не лжет, она и впрямь некий Злой рог изобилия, из которого вот-вот посыплются обманы, хитрости, наду-

вательства, уловки, козни, интриги, ложь, притворство, коварство, вероломство, преступления, злые умыслы. Вот чем она набита.

Булла. Ну, смотри, я битком набью тебя бедою, недолго ждать осталось.

Гуттен. Ты опять грозишь бедою Свободе, безбожница проклятая?

Булла. Ты опять говоришь дерзости священной Булле, негоднейший из двуногих? Но ответь-ка мне на один вопрос: ты, верно, тот знаменитый муж, который запрещает папам повелевать в Германии и низвергает владык?

Гуттен. Да, это я схватил тебя за шиворот. А теперь ты у меня покувыркаешься, шлюха, вот так, и еще раз, и вот этак!

Булла. Ты осмелился поднять на меня руку?! С этой минуты ты отлучен, и пусть узнает Десятый, что ты лютеранин.

Гуттен. Нет, не лютеранин, но еще более злой недруг булл, чем Лютер, и еще сильнее ненавижу преступный Рим!

Булла. Совсем-совсем недавно в Германии таких людей не было. Эй, несчастные, несчастнейшие из несчастных, против кого дерзнули выставить рога? Боюсь, как бы ваше безрассудство досыта и более чем досыта не напоило вас, тебя и Лютера, бедою из одной чаши, из той страшной вавилонской чаши,— если только ты не послушаешь моих увещаний и не уймешься. Помни, что лучше бежать назад, чем вперед, но неудачно.

Гуттен. А ты бежала так неудачно и так далеко забежала, что обратно тебе не вернуться. Ты у меня отсюда не уйдешь, как бы ни старалась.

Булла. Ты думаешь помешать Булле возвратиться? И не позволишь мне бродить, где вздумается? И катиться, куда захочу, в моих владениях?

Гуттен. В твоих владениях, говоришь, злодейка?! Ну, за эти слова ты ответишь головой и впредь будешь называться «недюжинно-избитой» — так я отхолю тебя с головы до пят! На, отведай моих кулаков.

Булла. Я не голодна.

Гуттен. А все-таки отведай!

Булла. Ты что это, бьешь меня?

Гуттен. Получай!

Булла. Увы, он меня колотит! Пропала твоя голова!

Гуттен. Пропали твои бока!

Булла. Эй, ты погибнешь лютою, жалкою смертью — ты ее заслужил!

Гуттен. Ты издохнешь прежде, чем успеешь погубить меня или еще кого-нибудь. Вот тебе, подлая, угощайся вволю!

Б у л л а. Перестань, ты, самый злой из нечестивцев, каких только носит земля!

Г у т т е н. Вот тебе, дрянная Булла!

Б у л л а. Я не привыкла к таким дарам!

Г у т т е н. Ничего, привыкнешь, я тебя приучу!

Б у л л а. Скажи, скажи, бессовестный, кто отдал меня тебе в учение, чтобы ты меня наставлял вопреки моему желанию?

Г у т т е н. А я сам тебя взял.

Б у л л а. Болван, тупица, зачем ты это затеял?! Ну, пусти же, я пойду, куда меня послали.

Г у т т е н. Что ты там будешь делать?

Б у л л а. То, что говорила,— чему научена, для чего снаряжена и так хорошо подготовлена. И время как раз приспело: люди есть, обстоятельства благоприятствуют,— такой случай больше не представится.

Г у т т е н. Ничего, я вырву у тебя из рук твое оружие. Куда побежала? Ну-ка, посмотри на меня. Ишь как ловко прикидывается, какая степенная походка, какой вид благопристойный — кто-нибудь, пожалуй, и за чистую монету примет!.. На меня гляди, на меня! В клочки тебя разорвать мало, чертова ведьма!

Б у л л а. Помогите, заступитесь, благочестивые немцы! Где бы вы ни были, придите на помощь — меня бьют нещадно! Вот человек, который избивает буллы и делает из папы Льва посмешище!

Г у т т е н. А пока я тебе всыплю еще.

Б у л л а. Пусти, говорю! Нечего тебе усердствовать надо мною — злое это усердие, нехорошее!

Г у т т е н. А все-таки хочется поусердствовать, сейчас сделаю из одной Буллы несколько.

Б у л л а. Что? Ты собираешься делать буллы, мошенник,— да ведь это только папам разрешается!

Г у т т е н. Нет, новых я делать не стану, а просто искрошу тебя на мелкие кусочки.

Б у л л а. Никогда еще не видывала такого дикого зверя среди людей!

Г у т т е н. И я никогда еще не видел такую дрянную буллу. Ух, до чего ты отвратительна, рожа-то до чего противная!

Б у л л а. А ведь иные поклонялись бы мне как богине, если бы ты меня к ним пропустил.

Г у т т е н. Клянусь, они рабы, те, кто молятся на тебя — чванную, бесстыжую, зловонную, полную вероломства и преступлений! А ты еще превозносишь самое себя до небес, делая,

как говорится, из мухи слона! Получай двойную порцию и еще одну — вот как следует расправляться с римскими соблазнами.

Б у л л а. О, если бы собраться с силами — я бы дала тебе такой отпор!.. Что ты бьешь меня, заморыш? Думаешь, я защититься не смогу? Ошибаешься, я Булла храбрая, мужественная. Ну, что ты меня бьешь?! Вот тебе!

Г у т т е н. Этого только мне и нужно — отбрыкивайся, отбрыкивайся, чтобы не вышло так, будто я разделался с тобой вовсе без сопротивления. Побушуй немного — скоро ты у меня станешь как шелковая. Получай, храбрая Булла, получай, дщерь Десятого, еще разок, папино творение! Вот как дерутся у нас в Германии.

Б у л л а. Увы мне! Увы благочестию! Где же Экк? Куда он запропастился, доблестный муж? Верно, наперед знал, что случится беда, и почел за лучшее сбежать! Славно же ты меня предал, лицемерный богослов, бессовестный хитрец!

Г у т т е н. Негоже булле-воительнице так скоро падать духом и так жалобно голосить. Держись и отбивайся!

Б у л л а. Не для такой битвы я сюда прибыла.

Г у т т е н. Знаю — ты привыкла к злодейским обманам и коварству. Но мы в Германии сражаемся по-иному.

Б у л л а. Потому-то мне и не нравится сражаться с тобою.

Г у т т е н. Зато мне нравится рубить тебя под самый корень, злобная тварь, злобою набитая!

Б у л л а. Да ведь перед тобою я ни в чем не провинилась, какая я там ни будь.

Г у т т е н. Не провинилась? Передо мною? А кто замыслил погубить моих друзей и расправиться с нашей Свободой?

Б у л л а. Я этого не замышляла, я только пошутила с тобой.

Г у т т е н. Но ее ты жестоко обидела и собственными руками избила.

С в о б о д а. Да, до синяков.

Г у т т е н. Смерть тебе! Смерть!

Б у л л а. Остановись хоть на миг и выслушай меня: берегись, ты навлечешь на себя страшную ненависть.

Г у т т е н. Чью же это?

Б у л л а. Во-первых, всей без изъятия римской курии...

Г у т т е н. ...другом которой не пожелает быть ни один порядочный человек! Охотно принимаю ее вражду.

Б у л л а. Затем — куртизанов всех земель и дворов.

Г у т т е н. Тоже не возражаю. Однако ты уже все сказала?

Б у л л а. Еще я хочу сказать, чтобы ты меня отпустил. Теперь все.

Гуттен. Ну что за наглость — морочить мне голову таким вздором, отрывая от дела, которое не терпит ни малейшего промедления! Вот тебе за это!

Булла. Что же это помощь так долго не приходит? Где же благочестие? Где страх божий? Я вижу, что буллам здесь поклоняются все менее и менее усердно. Ну, где этот предатель Экк, который завел меня в беду, а потом бросил?! Помогите, христиане, помогите!

Гуттен. Не станут, потому что знают, какую злую службу сослужила ты Христу, религии и вере.

Булла. В ком есть благочестие — сюда! Услышьте меня, германцы, если хотите, чтобы вас услышал Христос!

Гуттен. Ничего не выйдет: они предпочитают свободу.

Булла. Блаженны, кто вступится за меня!

Гуттен. Удавиться бы им! Береги спину!

Булла. Выручайте, германцы,— ведь вы всегда души не чаяли в буллах!

Гуттен. А теперь жестоко ненавидят.

Булла. Удивительное дело: те, что теперь от нас отвернулись, прежде берегли пуще глаза, так они чтили нас! Иные считали, что без булл — жизнь не в жизнь, и платили за нас бешеные деньги.

Гуттен. Сейчас — дело другое! Пуще глаза берегли вас те, у кого собственных глаз не было, а потому они и смотрели на все вашим взором. Ныне же нашлось целебное средство, и чужие глаза им больше не нужны, ибо, вылечив собственные, они ими и смотрят.

Булла. Будь оно проклято, это лекарство, из-за которого нам отказывают в гостеприимстве и бросают на произвол судьбы!

Гуттен. Будь ты трижды проклята, гнусная Булла, за то, что требуешь гостеприимства у тех, кому готовишь беду, и даже в моем присутствии смеешь поносить порядочных людей.

Булла. Раз уж ты запрещаешь мне говорить, что вздумается, скажи хотя бы, кто ты такой!

Гуттен. Я тот, кто тебя лупцует! Вот тебе!

Булла. Сгинь, несчастный, трижды, четырежды сгинь! Наущением диаволовым ты посягнул на Буллу — так будь же проклят! Анафема! Анафема!

Гуттен. А ты будь себе Буллой и получай, получай, получай!

Булла. Отродье Сатаны!

Гуттен. Ничтожные ветры жалкого болтуна! Вот тебе еще!

Б у л л а. Увы, пустопорожние словеса я меняю сегодня на увесистые тумаки.

Г у т т е н. Сама выбрала такой обмен и предпочла его покою! Сидела бы себе в Риме — горя бы не знала!

Б у л л а. Я успокоюсь и отдохну, когда прикажет Десятый.

Г у т т е н. Ну, что он там прикажет, мне безразлично, а я говорю тебе: и на вершок не смей отсюда двигаться — таковы мое решение и моя воля. А иначе я усмирю тебя кулаками, не спросив твоего согласия. Впрочем, эта кулачная забава мне тоже по душе.

Б у л л а. Зато мне не по душе. Забавляйся ею с другими, а я тебе не игрушка. Но, скажи прямо, ты отвергаешь власть Льва Десятого?

Г у т т е н. Не только Десятого, но всех десяти Львов, если они властвуют неправо.

Б у л л а. Отойди от меня! Отойди! Слышишь, ты?!

Г у т т е н. Но сначала прими от меня в дар беду и убыток, пустомеля, воровка, разорительница, насос, выкачивающий из Германии ее богатства!

Б у л л а. Где же вы, набожные немцы, благочестивые граждане? Где тучи братии — верных и неизменных стражей римского папы? Где богобоязненные бабенки, наши присные, преданный нам пол? Где почитатели булл — куртизаны? Где вы все, что прежде, бывало, горстями бросали деньги буллам и торговцам буллами? Ныне молю вас об одном: защитите меня от этого тирана!

Г у т т е н. Я тебе уже сказал: теперь у них есть свои глаза, чужих они не ищут и тем более — не покупают. И они не слушают твоих воплей, просветленные неким знанием до такой степени, что, вместо предрассудков, которые вы им навязывали, облеклись истинной верою и научились служить богу, а не идолам. Да, кстати, не смей больше кричать — это я тебе тоже запрещаю.

Б у л л а. Ты не позволишь мне громко жаловаться?

Г у т т е н. Не позволю.

Б у л л а. Какая несправедливость!

Г у т т е н. Напротив, вполне справедливо: рядом лежат больные старцы, ты будишь их своим криком — дерзость, которой никто себе не позволит по отношению к кардиналам, сотворенным вместе с тобою в Риме. Ну да, ведь они желают мирно почивать и оберегают свой слух от малейшего шума, деятельные мужи; они проводят жизнь в чистоте, в баловстве да в забавах, преславные эти оси мира, вокруг которых вращается все!

Б у л л а. Ах, если бы они узнали, что ты отважился поднять на меня руку!

Г у т т е н. Верно, учинили бы что-нибудь замечательное, а?

Б у л л а. Воздали бы тебе по заслугам.

Г у т т е н. Да, если бы смогли. И в самом деле, я им здорово насолил, как следует с тобою расправившись, ведьма.

Б у л л а. Ну, довольно, отвечай: ты мне дашь вернуться восвояси?

Г у т т е н. Нет, не дам, разве что прежде вволю над тобою натешусь.

Б у л л а. И еще добавишь к тем ударам, от которых я едва не скончалась?

Г у т т е н. Другие добавят.

Б у л л а. Какие другие? Скажи, сделай милость, неужели есть у вас в Германии еще люди, способные на такой поступок?

Г у т т е н. Сколько раз повторять тебе, что вы нам больше не глаза?!

Б у л л а. Значит, мы потому получаем побои, что в нас нет нужды?

Г у т т е н. Мало того: есть нужда, чтобы вас не было. Вот мы и решили убивать всех, сколько вас ни явится из чужих краев, суля нам свет, а на деле разливая непроницаемый мрак, болтая о жизни, а на деле неся нам, чуть не всякий раз, лютую смерть. Но что-то я уже долго тебя не потчую, получай!

Б у л л а. Ой! Ой! Ой-ой-ой!

Г у т т е н. Вот так оно лучше всего: ты кричи, а я буду бить.

Б у л л а. Если бы Лев об этом узнал!

Г у т т е н. Уж ты, во всяком случае, ему не доложишь, потому что я забью тебя здесь насмерть.

Б у л л а. На помощь, христиане, на помощь!

Г у т т е н. Не слушают.

Б у л л а. А ведь, бывало, слушали... Что же мне делать, несчастной?!

Г у т т е н. То, чего ты заслуживаешь,— получать побои.

Б у л л а. А конец-то им будет, трижды святотатец?

Г у т т е н. А твоей брани, трижды отравительница?

Б у л л а. Но буллам свойственно браниться, и уже тому много лет.

Г у т т е н. А нам — бить, и ныне, и навеки впредь.

Б у л л а. Нет, Германия совсем не так гостеприимна, как я полагала. Плохо ты меня сегодня встречаешь.

Гуттен. По заслугам. А что бы ты со мной сделала, если бы я оказался у тебя в Риме?

Булла. Вознесла бы и возвеличила.

Гуттен. Знаю, знаю, что́ ты стараешься купить и как бы тебе хотелось найти здесь продажных людей.

Булла. Но к тебе это не имеет ни малейшего отношения, я сделаю тебя епископом, если ты меня отпустишь.

Гуттен. А я епископом быть не хочу, и тебя не собираюсь выпускать отсюда, где ты нашла прием, вполне достойный тебя.

Булла. И все же отпусти.

Гуттен. Ни за что.

Булла. Не ведаешь ты, в какую беду ввязываешься.

Гуттен. Ничего, потом развяжусь. Получай!

Булла. Как бы мне хоть отделаться от тебя сегодня, раз нигде не видно союзников, которые выступили бы вместе со мной против такого лютого врага!

Гуттен. Союзников ждать нечего.

Булла. Как знать. А что, если я возьмусь за дело всерьез и посулю награды, которые привлекут людей?

Гуттен. Пока получай всерьез!

Булла. Боги да погубят тебя, негодяй, жестокою гибелью! Где вы, тысяча куртизанов? Все сюда, хватайте его, вяжите и тащите в Рим!

Гуттен. Вот тебе тысяча ударов — они тебя успокоят. Вот тебе!

Булла. Нечестивец! Злодей! Подлец!

Гуттен. Вот тебе!

Булла. Решится ли кто оказать услугу Льву Десятому и заслужить благосклонность папы?

Гуттен. Никто не решится. А колочу тебя я, видишь? Смотри хорошенько.

Булла. Решится ли кто взять под охрану дщерь Льва Десятого, о благочестивые христиане, и убить этого подлеца? Никакое наказание вам не грозит, напротив, защитник мой получит в награду от папы пять тысяч полновесных дукатов из апостолической казны и синекуру, приносящую до трехсот золотых ежегодно. Кроме того — полное отпущение грехов, на две тысячи лет индульгенций и разрешение от пятидесяти шести Великих постов, чин протонотария и право признавать законными детей, прижитых вне брака, а также возводить в пфальцграфское достоинство. Ему будет позволено совершать ежедневно по одному смертному греху, и на ближайшие

семь лет он освобождается от исповеди, а потом волен исповедоваться раз в семилетие, не чаще. Ну, что же вы? Ладно, пусть исповедуется только раз за всю жизнь и второй — перед самою смертью. А если духовной должности он не ищет, мы разрешим ему жениться на собственной падчерице, или племяннице, или двоюродной сестре; и если он в чем-нибуь поклялся, мы разрешим его от клятвы, а если заключил какой-нибудь договор, расторгнем его — стоит ему только пожелать. Эй, вы, все отлученные и преданные анафеме по какой бы то ни было причине, за какой бы то ни было проступок, чем бы ни был продиктован приговор — законами, каноном или человеческим суждением! Всякий, кто совершил кровосмешение или прелюбодеяние, похищал девиц, насиловал жен; всякий, кто ложно клялся, убил или отпал от веры до двух раз; каждый душегуб, умертвивший священника, каждый преступник, поправший все законы человеческие и божеские,— любой из вас сделается чист и невинен! Эй, вы, осквернители святыни, грабители храмов, вы сможете навсегда оставить себе награбленное и никто не потребует его обратно! Слушайте меня, где бы вы ни были, все отвергшие бога и забывшие, что такое человечность! Здесь можно смыть гнуснейшие пятна самых страшных преступлений, и какой ничтожной ценою — убийством вот этого человека, которое каждому сойдет безнаказанно. Как бы чудовищно ни было злодеяние, как бы неслыханно ни было преступление — слушайте меня, слушайте, немцы! — даже если человек покусился на сестру мою, Буллу «У трапезы господней», совершив то, что относится к прерогативам одного только апостолического престола и что искупается лишь публичным покаянием, если он нарушил правила, установленные папской канцелярией, какие бы то ни было и каким бы то ни было образом, пусть будет он клирик или мирянин,— вот способ вернуться на стезю истины, вот путь к исцелению! Если вы дали обет, исполнить который затруднительно, я избавлю вас от этой заботы. И не одна только я осыплю вас благодеяниями: убейте его — и, клянусь, вы получите блаженство, которое принесет и возвестит вам моя сестра, идущая следом за мной.

Свобода. Слышишь? Есть, оказывается, еще одна Булла, и угрожает она тебе. Она выслала вперед эту, чтобы первый удар обрушился на нее. А сама сидит в засаде и ждет, но при первом же удобном случае выступит.

Гуттен. Что ж, и я ударю не слабее.

Свобода. Хвала твоей доблести, если выстоишь!

Булла. Хотя любой, кто выполнит мою просьбу, уже

заслуживает всех наград, которые я перечислила, я прежде всего зову вас, саксонцы, послужите мне верой и правдой. А вам за это даровано будет право есть в постные дни сливочное масло и яйца, когда захотите, и дважды в день допьяна напиваться пивом. И вас зову, поляки,— вы, должно быть, где-нибудь здесь, неподалеку: помогите мне — и впредь, на вечные времена, воруйте невозбранно. Сюда, опороченные, чтобы вернуть себе доброе имя! Сюда, уличенные в симонии, чтобы снова войти к папе в милость! Сюда, ростовщики и грабители, чтобы пользоваться неправедно нажитым, не боясь греха!

Гуттен. Ну, время угощаться.

Булла. Ты пропал, несчастный!

Гуттен. А ты угостилась. И вот тебе еще.

Булла. Увы мне! Заступитесь, овцы Христовы!

Гуттен. Они слушаются лишь голоса пастыря. Получай!

Булла. Пособи мне, рука мирянина!

Гуттен. Нет, скорее уж поколотит: вот тебе!

Булла. Решится ли кто ядом или мечом истребить этого человека — кощуна, про́клятого, отлученного, отродье сатанинское, лишенного прав...

Гуттен. Отлично сказано! Вот тебе за это!

Булла. ...прямо или косвенно, открыто или тайно, собственными или чужими руками, и даже в священном месте!

Гуттен. Превосходная латынь! Но пока получай из той тысячи ударов, которые я тебе посулил.

Булла. Что ты меня бьешь?

Гуттен. Сама знаешь.

Булла. А кончишь когда-нибудь?

Гуттен. Дай сначала долг отсчитаю. Получай!

Булла. Ой! Ой!

Гуттен. Держи еще!

Булла. Ой-ой-ой!

Гуттен. Держи!

Булла. Пощады и сострадания!

Гуттен. Что, присмирела наконец? Смягчилась?

Булла. Как же не смягчиться, если все твердое раскрошили твои удары? Стою теперь, ни жива ни мертва. А вот и рана! О каноны, декреты и преславные декреталии!

Гуттен. Все вопишь? Разве я тебе только что не запретил — из-за тех старцев?

Булла. Боль память отшибла: и стариков забыла, и себя самое.

Г у т т е н. И все же — получай! Зачем кличешь вздорные призраки, вроде этих декреталий, вместо того чтобы взывать к праву и справедливости?

Б у л л а. Что же, согласна. О право и справедливость!

Г у т т е н. Вот тебе!

Б у л л а. Как? Опять?

Г у т т е н. Да, опять, ибо нет большей справедливости, чем отхолить тебя по всем правилам.

Б у л л а. Вот беда-то неминучая! Так и погибну здесь под ударами! Будь он проклят, Экк, дезертир, который бросил меня на волю бедствий!

Г у т т е н. Право же, удивительно: ведь ты все можешь, а сделать так, чтобы я вконец тебя не распотрошил, не можешь. И чего тебе бояться раны, раз ты бессмертна?

Б у л л а. Нет, не бессмертна, я заблуждалась.

Г у т т е н. Это я тебе показал, кто ты такая. Чем не благодеяние, чем не бенефиций? Однако — получай еще!

Б у л л а. Перестань, во имя всего, что тебе дорого, молю, перестань! Смотри, вот моя рука: ты победил, распоряжайся и повелевай!

Г у т т е н. А зачем распоряжаться? Я просто-напросто предам тебя смерти, и к тому же позорной.

Б у л л а. О я несчастная, вот уж доподлинно несчастная! Приехала править и царствовать, а дело так обернулось, что даже мольбами жизнь не спасти! Какие уловки пропали даром, сколько изумительных хитростей пошло прахом! Послушай, даруй мне мир на любых условиях, я на все согласна.

Г у т т е н. Не может у меня быть мира с Буллами.

Б у л л а. Тогда пощади смиренную просительницу.

Г у т т е н. Кто заблуждается ненароком, тех мы щадим охотно, но не тех, кто грешит умышленно и по злобе.

Б у л л а. Но я больше не буду.

Г у т т е н. Это бесспорно, ибо ты погибнешь прежде, чем сможешь еще раз согрешить.

Б у л л а. Укроти свой гнев, ты, победитель Буллы!

Г у т т е н. Лучше я тебя как следует укрощу.

Б у л л а. Пощади! Я уже достаточно наказана и впредь никогда не сделаю ничего дурного.

Г у т т е н. Я уже давно знаю, как можно верить Буллам. Нет, решено: ты здесь умрешь.

Б у л л а. Пощади!

С в о б о д а. Не убивай ее, послушайся моего совета. Даже если ты ее и пощадишь, она вот-вот сама издохнет.

Гуттен. Ты так думаешь?

Свобода. Уверена. Она до того раздулась от спеси, что непременно лопнет и разорвется. Брось ее, она сейчас треснет.

Булла. Послушайся уговоров.

Гуттен. Нет!

Булла. Фуггеры дадут тебе денег, много тысяч!

Гуттен. Хочешь разозлить меня еще сильнее — предлагай деньги Фуггеров, нажитые самыми гнусными средствами.

Булла. Значит, остается одна надежда — куртизаны, которые — я уверена — окажут мне поддержку. А вот и они, если зрение меня не обманывает,— спешат, летят... Отлично! Скоро ты по-другому заговоришь.

Гуттен. Вот как?

Булла. Конечно! Разве ты не видишь, как они бегут сюда, чтобы вырвать меня из твоих рук? Им счету нет...

Гуттен. Да, что-то такое вижу.

Булла. Это они мчатся мне на помощь издалека... Сейчас они еще величиной с блоху, а вот уже стали как муравьи, я различаю их все яснее и яснее! Теперь всадники кажутся размером с кошку! Ну, берегись, туго тебе придется! Надеюсь, что сила смирит того, кто совсем недавно отвечал несправедливым, жестоким отказом на все мои просьбы и посулы. Ура! Ура!

Гуттен. Придите же и вы, свободные, придите, мужи! Решается наше общее дело, под угрозой благо всего отечества, огонь войны разгорается все жарче. Кто хочет быть свободным — приди: здесь можно обрести это великое сокровище, здесь гонят прочь господ, здесь избавляются от рабства. Где свободные — ведь не перевелись же они окончательно?! И где прославленные мужи, эти герои с громкими и грозными именами? Где вы, вожди народов? Почему вы не собрались сюда, чтобы вместе со мною избавить наше общее отечество от этой чумы?! Есть здесь человек, которому невмочь быть рабом? Который стыдится угнетения и жаждет свободы? Короче — есть здесь подлинно муж, с мужскою силою в чреслах и мужским разумом? Где вы, те, что недавно грозили войною туркам? Ведь нечестивые буллы куда более злые враги Германии!.. Услышали! Сто тысяч я вижу, а во главе — Франц, приютивший меня в своем замке. Слава богам! Германия опомнилась и хочет быть свободной! Ну, что ты теперь скажешь, творение Льва?

Булла. Я вижу такое множество смертных, какого никогда еще не видела.

Гуттен. Достаточно будет для твоих куртизанов?

Б у л л а. Более чем достаточно. Они уже бросились врассыпную и разбежались кто куда.

Г у т т е н. Ничего, далеко не убегут. Но вот и сам император Карл, а вокруг все князья. Такой сбор меня радует. Речь пойдет о деле, касающемся всей Германии. Сейчас я об этом скажу. Князья и мужи Германии, у меня был бой с этой Буллою, которая явилась сюда, чтобы задушить нашу Свободу, но я нагнал на нее немалого страху и сдерживал все время, пока вас не призвал. Теперь же заклинаю вас любовью к нашему общему отечеству: да не будет больше немецкий народ посмешищем и забавой для города Рима! Окажите этой Булле такой прием, чтобы ни одна после нее не посмела перейти через Альпы. Пусть видят чужеземцы, что германская доблесть наконец пробудилась. Дайте им доказательство вашей храбрости.

Ф р а н ц. Прошу вас, князья и мужи Германии, сделайте мне милость и благосклонно выслушайте мои слова, если советы мои представятся вам дельными и важными. Перед нами распахнулись врата к свободе — войдемте в них! Представился удобный случай — воспользуемся им! Вот одна из Булл, которых мы уже давно и с таким ущербом для себя терпим. Это те приманки и соблазны, с помощью которых Рим уже столько лет водит нас за нос и дурачит, как ему вздумается: в ответ на дары присылает хитро сплетенные словеса, строит козни нашей Свободе, разными способами, приемами, уловками, выдумками выманивает у нас деньги, с лихвой покрывая свое гнусное расточительство, а сами римляне ведут такую жизнь, что слух о ней мерзок ушам праведных. Не говоря уже о старине, о прошлом,— оно известно всем: иные из вас были свидетелями событий последнего времени. Боги бессмертные, какая гора преступлений, и каких преступлений! Несправедливо погубил господь Содом и Гоморру, если он щадит этих римлян, в сравнении с порочностью которых содомляне еще слишком добропорядочны. Да разве можем мы говорить иначе, видя, что у них все продажно — и священное и мирское! Они без конца принимают всё новые постановления и сами же их нарушают. едва отыщут какую-нибудь лазейку, а подстрекаемые алчностью, они непременно отыскивают, если это сулит им барыши. В своих хищениях они не знают ни границы, ни меры и, не успев еще растратить того, что получили, уже посылают сюда следующего грабителя, чтобы он измыслил, как бы похитрее отобрать у немцев их золото, а заодно и серебра не оставить бы ни крошки. Давайте же, наконец, попытаемся сделать то, что до сих пор считалось невозможным: будем охранять свое иму-

щество! Ведь столько раз посылая деньги, и всякий раз помногу, мы нимало не насытили этих людей, но, напротив, еще хуже раздразнили их аппетит; долготерпение наше и простодушие, что ни день, прибавляет им алчности и вожделения к нашему добру. Нам это легче легкого — дерзните только! Что до меня, то заверяю вас: Христос так да поможет мне в моих начинаниях, как я не откажусь ни от какого труда и до тех пор не перестану трудиться, пока не удостоверюсь, что впредь бесчестным куртизанам и преступным римлянам в Германии прибыли не видать! Впрочем, я слишком многословен: таких людей, как вы, незачем одушевлять речами — вас это недостойно.

Б у л л а. Вы слышали, германцы, этого пустомелю, эту безногую и безголовую болтовню?! Вот уже бесчисленное множество лет мы пользуемся здесь нашими правами — и все же иных нечестивцев не оставляет надежда изменить существующий порядок вещей! Если бы даже это и было в их силах, им следовало подумать о славе отечества, которую они могут запятнать таким преступлением. Смотрите, как бы старинная добрая молва о вашем благочестии не оказалась испоганенной новоявленным срамом. Десятый убежден, что овцы, которые здесь пасутся, ему покорны; он слишком хорошего мнения о вас, этот пастырь, и даже приказал мне на прощание похвалить немцев за то, что среди всех народов они неизменно были самыми ревностными приверженцами апостолического престола. А между тем сегодня дела мои шли из рук вон плохо — так свирепо встретил меня этот «гостеприимец». Но если вы и в самом деле те, за кого мы, римляне, вас принимаем, то по заслугам накажете его за подобную дерзость. Да, император, я к тебе обращаюсь и хочу знать, что мне сообщить Льву Десятому: найдет ли он в тебе послушного сына?

К а р л. Только если сам он — действительно отец.

Г у т т е н. Ты что это стараешься испортить нам юного императора, ты, мешок злодеяний? Да тебя сразу нужно было прикончить, уже за твои «шутки» с нашей Свободой,— тебя задушить, а ее спасти.

С в о б о д а. Я говорила, что она сама лопнет, чересчур раздувшись от гнева и спеси. Вот вам, пожалуйста! Теперь я должна предупредить вас, германцы: либо отойдите отсюда, либо примите какого-нибудь лекарства, чтобы уберечь себя от ядовитого ветра, который из нее вырвется. Ведь Булла не совсем пустая внутри.

Г у т т е н. Совет очень важный, ни в коем случае им нельзя пренебречь. А потому — сюда, Штромер, Эбель, Коп!

Здесь нужна ваша помощь. Δότε προφυλακτικόν τι [1], заранее примите меры против этой напасти и отвратите ее от нас.

Штромер. Что бы такое прописать? Ага, вот! Пусть все поедят семян репы, размоченных в сельдерейном соке, а потом надо разжевать корень ангелики и подержать его во рту.

Свобода. Ну, Булле пришел конец: лопнула как раз посредине. Но смотри-ка, из нее вываливается целая куча опаснейшей дряни, вытекают смертоносные яды! Давайте поглядим, что там такое.

Гуттен. Вот Вероломство, обычный порок всех куртизанов, вот жалкое Тщеславие. А вот и Алчность показалась — с утробою почти совсем пустою, а ведь сколько раз мы ее набивали, эту утробу! — и ее служанки Индульгенции, удивительно ничтожные создания! Вот Хищение, Беззаконие и рядом с ними Разбой. И Клятвопреступление тоже здесь — римляне высоко его чтут. А как торжественно выставляют себя напоказ Поповское чванство, мнимая Папская святость и достопочтенное Лицемерие! Здесь и Суеверие, и Притворство, и тысячеликий Обман, и все виды Хитрости, и Хвастовство с Бахвальством, и то, что во всех отношениях омерзительно, что отталкивает с первого же взгляда,— Роскошь, Хмель, Пьянство и многообразная Похоть. Нет, эта Булла непременно должна была разорваться: она не могла дольше удерживать в себе столько пороков. Теперь, когда она подохла, как ей и полагалось, вам следует о том позаботиться, немцы, чтобы истребить всех до единого куртизанов, которые недавно выступили в ее защиту и с немалым усердием старались ее спасти. За дело же, и будьте свободны! А я похороню здесь Буллу и напишу на могиле эпитафию:

«Здесь безрассудная Булла покоится папы-тосканца:
Гибель готовя другим, смерть повстречала сама».

РАЗБОЙНИКИ

Собеседники: Гуттен, Купец и Франц

Гуттен. Ну, погоди, сейчас я вырву твой преступный язык — злобный, злоречивый!

Купец. Здесь, в вольном городе, и к тому же в освященном месте? Нет, здесь ты меня и пальцем не тронешь!

---

[1] Дайте какое-нибудь профилактическое средство *(греч.)*.

Гуттен. Здесь — нет, это верно, но попробуй только высунуть нос за ворота. Ты что это, порочить доблестных мужей вздумал, ты, наглец, висельник, душегуб, а?

Купец. Уймись, дружок мой разбойничек, и помни: здесь рук не распускай, если не хочешь, чтобы их тебе связали в другом месте.

Гуттен. Ты свяжешь мне руки, отвечай, злодей, ты заставишь меня действовать вопреки моему желанию?!

Купец. Действовать — нет, а перестать — заставлю незамедлительно: вот только донесу на тебя бургомистру. Что это, в самом деле, за угрозы насилием?

Гуттен. Пусть весь мир узнает, что́ ты дерзнул сказать, а я — сделать! Я хоть раз тебя ограбил? И вообще: найдется ли такой человек среди тех, что живут сейчас или когда-нибудь жили на свете, у которого я похитил бы имущество?

Купец. Ну, так еще похитишь: знаю я вас, рыцарей.

Гуттен. Ах ты, злейший из недругов! Ты думаешь, что я так тебе и спущу твою глупую брань?

Купец. Я готов повторить еще раз: от вашего сословия — все беспорядки в Германии, из ваших рядов, и только из ваших, выходят разбойники, которые хозяйничают на дорогах, угрожают путникам и повсюду открыто бесчинствуют, в том числе, по-видимому, и ты, ибо рыцарским духом, как я посмотрю, ты наделен не хуже всякого другого. Может быть, по этому случаю, ты разорвешься от злости, не сходя с места?

Гуттен. Я-то не разорвусь, зато тебя, если буду жив, разорву в клочья за эту наглость: из-за преступлений одного или нескольких людей ты оскорбляешь все благородное сословие! Тебе недостаточно пожаловаться на тех, которые причинили тебе зло или принесли убытки,— ты бранишь всех подряд, и виновных и невиновных, и при этом лжешь вдвойне — и потому, что среди разбойников можно встретить не только рыцарей, и потому, что не все рыцари разбойничают.

Купец. Попробуй поднять на меня руку, ну, попробуй!

Гуттен. И попробую, если не прекратишь хулить рыцарей. Смотри: еще одно подобное словечко — и тебе не помогут ни этот вольный город, ни святое место!

Купец. Но, но, потише!

Гуттен. Ты еще надо мною смеешься, бездельник, проходимец, ничтожество?!

Купец. А что ж, плакать ты меня пока не заставил.

Гуттен. Ну, так сейчас заставлю! Говорю тебе по правде, по истине, по совести, если ты не опомнишься и не

обуздаешь свою наглость, то сначала я отхлещу тебя по щекам и расквашу всю рожу, потом кулаками вышибу зубы, один за другим, потом пересчитаю ребра, но так, что чуть не каждое захрустит, и, наконец, вываляю в грязи да тут и брошу — обессиленного, полумертвого, обосравшегося целыми фунтами перца и полуунцией шафрана!

Франц. Перестаньте или уйдите отсюда куда-нибудь! Я же должен обратиться к Гуттену и предупредить его, чтобы он, отдавшись, как я вижу, во власть гнева, не совершил чего-либо недостойного: что бы там ни вывело его из себя, но он уж слишком распалился. Что с тобою, мой милый Гуттен? Неужели ты позволишь гневу овладеть тобою настолько, что не оставишь места для разума, забудешь о своей чести, о том, что ты мужчина?!

Гуттен. Забуду, гостеприимный мой хозяин, если и дольше буду терпеть его речи, которые ни один мужчина терпеть не должен!

Франц. Что же это за речи и кто этот человек? Мне бы хотелось убедиться, что ты не зря так взволнован и не без основания разгневан.

Гуттен. Сейчас убедишься. Это Купец, слуга Фуггеров. Речь у нас шла об указах, решениях и постановлениях последнего Имперского собрания, и, когда кто-то между прочим заметил, что Карл поклялся положить предел грабежам, умиротворить Германию и разом покончить с разбойниками,— он тут же принялся хулить наше сословие, назвал германских рыцарей грабителями Германии и выразил надежду дожить до того дня, когда все рыцарское сословие целиком исчезнет с лица земли. Даже твои подвиги он называет обыкновенными разбоями и до того дошел в своей наглости, что не делает различия между негодяями и честными людьми и не принимает во внимание ни лица, ни обстоятельства.

Франц. Если это правда, ты поступаешь слишком дерзко и отнюдь не справедливо. Ибо, что касается меня — не стану оправдываться подробно, но знает Германия, знают соседи, и даже в хрониках и анналах записано, что я никогда и никому не чинил обиды без предварительного объявления войны.

Купец. Но я скажу больше: нужно запретить вам объявлять войну кому бы то ни было, а иначе ты всегда будешь грабить под этим предлогом и всегда найдешь себе отличное оправдание.

Франц. Как? Ты хочешь сказать, что нам нельзя ни воевать, ни объявлять войну?

К у п е ц. Да, вот именно. Без согласия и одобрения князей — нельзя!

Ф р а н ц. Тогда ответь мне на один вопрос: знать имеет право на существование?

К у п е ц. Думаю, что имеет.

Ф р а н ц. Стало быть, знатными следует считать только князей?

К у п е ц. Нет, не только: графов, которые стоят ниже князей, я тоже зову знатью, да и вам, рыцарям, не считаю нужным отказывать в этом звании, однако лишь постольку, *поскольку жизнь ваша украшена добродетелью. Видишь ли*, я уже давно свыкся с мыслью (и не предполагаю от нее отказываться), что начало знатности — это добродетель и что вместе с добродетелью утрачивается и знатность.

Ф р а н ц. Ты прав. Я держусь того мнения, что добродетель по наследству не передается, а потому, чем более тяжкий проступок обременяет совесть человека, тем дальше пусть будет он в наших глазах от истинной знати — даже если человек этот окажется князем. И я не отрицаю, что тот, кто не подражает славным деяниям своих предков, лишается и принадлежавших им преимуществ; мне до глубины души противны те, кого знатными почитает толпа; чей род древен, а жизнь порочна на новый лад, у кого много старинных портретов и никаких заслуг. Знай, что если в нашем роду найдутся люди, которые ведут свое происхождение от одного со мною корня, но живут грязно и низко, таких людей я не стану считать ни близкими, ни родичами, ни даже вообще дворянами и ничего общего иметь с ними не желаю.

К у п е ц. Каким благоразумным ты себя изображаешь — а ведь скольких ты ограбил, а иных так и вовсе убил, по ничтожному поводу, без всякого на то права или основания!

Ф р а н ц. Нет, право же, я заслуживаю более справедливого судьи, чем ты, но охотно соглашусь терпеть твои несправедливые упреки, лишь бы только удалось разубедить тебя в том что касается рыцарства вообще. И раз уж ты признал, что знатность рождается от добродетели, я тебя сегодня не отпущу, пока ты не откажешься от прежнего недоброжелательства к рыцарям. Итак, мне нужно выяснить, какая добродетель скорее, чем другие, по-твоему, открывает путь к знатности.

К у п е ц. Говорят, что воинская доблесть.

Ф р а н ц. Ты имеешь в виду храбрость?

К у п е ц. Да, храбрость.

Ф р а н ц. Что ж, и тут мы с тобою одного мнения. Но что такое храбрость?

К у п е ц. Я бы сказал, что это добродетель, обнаруживающая себя в сражениях за справедливость.

Ф р а н ц. Так оно и есть. Отныне я неизменно буду считать самым здравым мнением, что от природы все люди равны и одинаковы, но высшее благородство принадлежит храбрейшему.

К у п е ц. Не спорю.

Ф р а н ц. Ты, вероятно, согласишься со мною и в том, что человек тем благороднее, чем больше он сражается за справедливость?

К у п е ц. Соглашусь.

Ф р а н ц. Ну, так как же? Согласен ли ты, что, хотя по преимуществу за справедливость должны сражаться князья, но — не только они одни, ибо мы уже раньше установили, что не только князья знатны, какими бы преимуществами они в этом отношении ни пользовались?

К у п е ц. Согласен, но лишь на том условии, чтобы вы, рыцари, сражались по их приказу, а по собственному почину за оружие не брались.

Ф р а н ц. А если они вовсе перестанут приказывать, подобно тому как очень редко делают это сейчас (ведь мы знаем, какие теперь в Германии князья: каждый думает только о своих делах и лишь очень немногие пекутся об общественном благе),— тогда ты позволишь нам сражаться за справедливость, не дожидаясь их приказа?

К у п е ц. Тогда позволю.

Ф р а н ц. А если кто-нибудь сегодня причинит тебе обиду, признаешь ли ты справедливым, чтобы я защитил тебя от насилия, даже если ни один из князей этого не прикажет?

К у п е ц. Почему бы и нет? Разумеется!

Ф р а н ц. Теперь ты видишь, можно ли отбирать у нас то единственное право, которое и делает нас знатными,— право с оружием в руках защищать справедливость? В особенности — если устав благородства заключается в том, чтобы помогать угнетенным, оказывать поддержку несчастным, вступаться за обездоленных, заботиться о покинутых, мстить за несправедливо пострадавших, оказывать сопротивление негодяям, оборонять невинность от насилия, печься о вдовах и сиротах. Станешь ли ты отрицать, что я достаточно убедительно опроверг твои соображения?

К у п е ц. Нет, не стану и впредь с одобрением буду следить за тем, как вы, повинуясь этому уставу, и войну объявляете, и храбро воюете.

Ф р а н ц. Ты бы еще больше убедился в несправедливости

своего суждения обо мне, если бы услышал, каких свидетелей, одобряющих мои войны, я готов выставить!

К у п е ц. Можешь быть уверен, что я и так уже в этом убежден, и тем не менее вам следует подчиняться князьям, предоставив бразды правления им и не переворачивая вверх дном всю Германию.

Ф р а н ц. Мы не отвергаем такого подчинения и даже служим им от всей души, как подобает свободным людям,— но только, разумеется, если сами, добровольно, принимаем на себя подобные обязательства. Ибо вообще-то мы признаем лишь одного господина — императора и называем его хранителем всеобщей свободы, потому что, если бы он вздумал несправедливо нас притеснять или толкал на какой-нибудь бесчестный поступок, мы бы и ему отказали в повиновении. И он сам, в ответ на твой вопрос, какие обязанности он несет, сказал бы, что ему не дозволено отдавать несправедливые повеления и препятствовать справедливым начинаниям. Тем менее, надо полагать, имеют на это право остальные германские государи, каждый из которых должен править своими подданными честно и умеренно.

К у п е ц. Да, надо полагать.

Г у т т е н. А я полагаю, что тебя по этому случаю надо отодрать плетьми!

Ф р а н ц. Отойди-ка вон туда и потерпи, пока я с ним разговариваю.

Г у т т е н. Что ж, отойду и потерплю. Но не забывай, какого наказания заслуживает его неслыханно дерзкая брань.

Ф р а н ц. Слушай дальше, купец. Если ты считаешь, что князья не могут потворствовать несправедливости, то тем самым вместе со мною признаешь, что каждому дозволено делать то, что справедливо,— в любое время и не дожидаясь чужого приказа.

К у п е ц. Верно.

Ф р а н ц. Но в таком случае ты отрицаешь теперь то, что немного раньше отстаивал,— иначе не скажешь.

К у п е ц. И все-таки среди рыцарей очень много разбойников.

Ф р а н ц. Среди других сословий их куда больше, и, к тому же, они гораздо опаснее.

К у п е ц. Я их не вижу. Где они?

Ф р а н ц. Сейчас покажу. Прежде всего, согласись, что не каждый, кто грабит путников в лесах и полях,— обязательно рыцарь. Ведь любой человек, чем ниже он пал и чем больше отчаялся, тем легче решается на преступление.

К у п е ц. Но первое и самое сильное подозрение в любом из таких случаев падает на вас, и мы прямо зовем разбойников рыцарями.

Ф р а н ц. Кто это «мы»?

К у п е ц. Те, кто чаще всего страдает от грабежей, — купцы.

Ф р а н ц. А я никогда прежде не слышал, чтобы кто-нибудь из вашего сословия вел подобные речи. Однако ответь мне, тебя хоть один рыцарь когда-нибудь ограбил?

К у п е ц. Никогда, но я постоянно этого боюсь и вижу в рыцарях врагов, потому что знаю многих, которых вы обобрали, да и все кругом толкуют, что это, мол, постоянное ваше занятие.

Ф р а н ц. Я, право же, изумлен: возводишь такую хулу на наше сословие — а самому никакого зла рыцари не причинили, и все свои доказательства ты черпаешь из людской молвы. Неужели тебе не страшно просто так, без всякого основания, оскорблять влиятельнейшее из сословий, делая самого себя предметом вражды и ненависти? Впредь не бросайся словами так безрассудно и держи на привязи свой чрезмерно распущенный язык: ведь всегда и повсюду болтливая дерзость подлежит суровому наказанию. А теперь я покажу тебе, каковы разбойники из других сословий.

К у п е ц. Но прежде — прости меня, полководец: я виноват перед тобой. Теперь я понял свою ошибку и образумился.

Ф р а н ц. Я тебя прощаю, и Гуттен тоже с тобою помирится, если захочет послушаться меня.

Г у т т е н. Конечно, послушаюсь! Так нам и нужно действовать, по-моему, если только впредь он обещает сдерживать себя.

К у п е ц. Обещаю!

Ф р а н ц. Итак, в Германии есть разбойники четырех видов.

К у п е ц. Я весь — слух.

Г у т т е н. Из них первый и самый опасный — попы!

Ф р а н ц. А я хотел поставить на первое место самый безобидный, а потом, словно по ступенькам, подняться к самому главному и вредоносному, чтобы сначала сказать о тех, кто грабит поменьше, а потом о тех, кто побольше.

Г у т т е н. Теперь и мне кажется, что так будет лучше. Начинай!

Ф р а н ц. Первые — это так называемые разбойники с большой дороги, которые грабят в полях и лесах.

К у п е ц. Они и представляются тебе наименее опасными, и с ними, на твой взгляд, иметь дело лучше, нежели с остальными?

Ф р а н ц. Ну да! Ведь они вредят и сравнительно мало, и

сравнительно редко, потому что могут напасть далеко не всегда. Им легко оказать сопротивление, если есть охота соблюдать осторожность; затем — боязнь позора, на тот случай, если дело получит огласку; и, наконец, — страх перед казнью, который по большей части удерживает их от преступления. Из всех германских разбойников только им одним и грозит наказание! И разве снискивать пропитание, подвергая себя подобному риску, не значит таскать хлеб из огня? Честное слово, им неведомо, что такое безопасность! Другие люди, принимаясь за доброе или злое дело, могут сначала его обдумать, а эти полагаются лишь на дерзость и удачу и всегда готовы к самому худшему.

К у п е ц. Да, правда, иных ловили и вешали, но, по-моему, то были людишки маленькие и худородные; а если попадется кто-нибудь покрупнее — выходит сухим из воды.

Ф р а н ц. А я мог бы назвать тебе нескольких людей знатных и высокого происхождения, которые поплатились за свои злодеяния, причем родичи их и друзья не были особенно возмущены или раздосадованы, ибо знали, что эти люди заслуживают своей участи. И потому если сначала они отдавались первому порыву гнева, то затем, все взвесив, легко успокаивались, и в конце концов дело предавалось забвению.

К у п е ц. Дворянин, занимающийся грабежом,— разве это не великое бесчестие?

Ф р а н ц. Настолько великое, что первые мы сами — хоть ты и относишься к нам с таким подозрением — считаем его нестерпимым: тех, кто совершит подобный проступок, мы преследуем ненавистью самою лютой, изгоняем из сословия и гнушаемся родства и свойства с ними.

К у п е ц. Если бы вы постоянно действовали так! Но ты говоришь, что есть еще и другие разбойники? И что их не смущает позор и не останавливает страх перед наказанием?

Ф р а н ц. Да, и разделяются они на три вида. Все остальные разбойники в Германии, кроме тех жалких неудачников, о которых мы уже упомянули, грабят бесстыдно, беззастенчиво и так самоуверенно, словно какое-то разрешение получили, словно выполняют свой долг,— ничего не боятся и ни с кем не считаются. Мало того — никто не корит этих людей за их злодеяния, напротив, они окружены почетом, владеют богатствами и не отказывают себе ни в чем.

К у п е ц. Стало быть, никакого позора и никакого преступления здесь нет. А в противном случае, я полагаю, они не встречали бы повсюду такой поддержки и невозможна была бы подобная снисходительность.

Франц. До сих пор она была возможна, потому что люди еще не разобрались как следует в их проделках. Но теперь ты уже повсюду можешь услышать крики возмущения.

Купец. Ну, так скажи мне, наконец, кто эти разбойники?

Франц. В первую очередь — вы, купцы.

Купец. Как? Купцы?

Франц. Да, да — вы. В самом деле, найдутся ли еще люди, у которых было бы столько добра столь нечестно нажитого?

Купец. Значит, к разбойникам ты причисляешь и купцов и утверждаешь, будто они грабят немцев?

Франц. Да, я утверждаю, что они составляют второй вид разбойников и грабят нас достаточно жестоко; впрочем — не все: есть часть купцов, безукоризненно порядочная, и я не стану, подобно тебе, хулить все сословие целиком из-за нескольких его членов, хотя и о купцах у меня нашлись бы слова более чем злые и враждебные.

Гуттен. И у меня тоже.

Купец. Но какие же именно?

Франц. Нет, нет, никакие.

Купец. Пожалуйста, если есть у вас что-то на душе,— выскажитесь!

Франц. Нет, не станем: ведь мы с тобою уже помирились.

Купец. Но я не сочту наше доброе согласие нарушенным вашими словами, не буду сердиться и не затаю обиды. Я уверен, что ненависти ваша речь служить не будет.

Франц. Не будет, Христос нам свидетель! Мы искренне и без всякой ненависти выполним твое желание, раз ты этого требуешь.

Купец. Конечно, требую, и прошу, и жажду услышать все, что вы скажете. Мы-то привыкли к мысли, что едва ли сыщется сословие почтеннее нашего, и никак не предполагаем, что нас можно в чем бы то ни было упрекнуть.

Франц. А я покажу тебе, что можно. Во-первых, не думаешь ли ты, что разбойниками следует называть тех, кто ежегодно похищает у Германии огромную сумму денег?

Купец. Ну, разумеется!

Франц. Как раз это вы и делаете.

Купец. Мы? Как так?

Франц. Вы, повторяю, ибо, привозя к нам самые вздорные, никому не нужные товары, вы отдаете иностранцам столько немецкого золота, что и сосчитать невозможно!

Купец. Но мне хотелось бы знать, о каких вздорных товарах ты говоришь.

Ф р а н ц. А разве не самый настоящий вздор и ерунда все эти перцы, имбири, корицы, шафраны, корешки гвоздики и тому подобных растений, все эти травы, плоды и семена, без которых вполне можно было бы жить, и жить лучше, здоровее?! Трудно себе представить, чтобы немцам шло на пользу то, чего немецкая земля не родит! А будь так — сама природа позаботилась бы, чтобы все это рождалось и у нас. Стало быть, такие товары приобретаются не для пользы, а для забавы; не ради того, чтобы укрепить тело, но чтобы доставить ему удовольствие, пускаете вы их в оборот. Отсюда — поразительные перемены к худшему и предрасположенность ко всякого рода болезням. Затем, вы стали ввозить шелка и бесконечное множество разных чужеземных одеяний, что ослабило прославленную природную силу Германии, растлило замечательные ее нравы: бабья страсть к роскоши и позорная изнеженность вошли из-за вас в жизнь людей. Стоит ли мне вспоминать о вещах, которые не приносят ни вреда, ни пользы, обо всем, что ни есть нового или редкостного в любой стране, в особенности же — о всяких смехотворных выдумках, возбуждающих пустое любопытство и потому приковывающих к себе жадные взоры женщин и детей, или о том, что пригодно для развлечений и может служить предметом веселых шуток? Все это вы доставляете к нам незамедлительно. Что бы ни произвела природа или руки человека — мы должны об этом узнать, ибо вы обшариваете все места, все области, моря, сушу, каждый уголок земли в поисках того, что можно привезти, а взамен похищаете наши деньги. Право же, я готов подумать, что вы поклялись не оставить в Германии ни крошки золота или серебра!

К у п е ц. И все же ты не станешь отрицать, что хорошо иметь заморские товары у себя в Германии.

Ф р а н ц. Напротив, привозить то, что у нас не родится, значит спорить с природой,— вот что я хочу сказать! Ах, если бы вы не научили Германию любить порок, роскошь, попойки, пиры, кутежи и никому не нужные вещи вроде чужеземного платья, драгоценных камней, пурпура! Тогда наши нравы остались бы не затронутыми порчей, да и деньги бы от нас не уплывали. Далее, мы не знали бы того, что тянется вслед за этим,— не знали бы убийств, войн, насилия и несправедливости, мы были бы далеки от соблазнов, от стольких приманок, властно призывающих к наслаждениям, и жили бы так же, как некогда отважные мужи — наши предки, состязались бы в доблести и спорили о славе. И за столом, я полагаю, мы обходились бы глиняной посудой, если бы вы не привезли из-за рубежа золо-

тую и серебряную. И, конечно, мы бы и по сей день одевались еще в звериные шкуры, если бы вы на собственном примере не показали, как носят шелк. Какой же мудростью отличались наши предки, которые закрыли купцам доступ в Германию, словно свыше вдохновляемые предчувствием, что некогда купцы окажутся виновниками падения нравов в нашей стране! Величайшую славу они почитали в том, чтобы слыть народом, которому неведомы хитрость и лукавство,а вы мало-помалу приучили нас и к этим порокам. Наши предки не умели лгать, а вы без обмана и дня не проживете. Все соседние народы высоко ценили немецкую верность, вы же и ее опорочили своими надувательствами. Денег в рост они не отдавали и не взимали процентов, для вас же это первое дело. Вот вам ваши чужеземные обычаи! А ты думал, что можно спокойно слушать, как вы, сами погрязая в скверне, еще черните других?! Впрочем,— я уже раз об этом предупреждал,— мне бы хотелось, чтобы ты воспринял мои слова не как обвинение, действительно направленное против купцов, но как то, в чем вас можно было бы обвинить, если бы дело и впрямь дошло до словопрений.

К у п е ц. Так я их и воспринимаю — в соответствии с нашим уговором, хотя ты, по-видимому, держишься того мнения, что нет в Германии более гнусных и более вредных разбойников, чем мы.

Ф р а н ц. Ничего подобного! Погоди немного, скоро я буду описывать других, и рядом с ними те, о которых мы только что говорили, вообще перестанут казаться разбойниками. Однако и то, что было сказано, никоим образом не относится ко всем купцам без исключения, словно бы я полагал, будто все они приносят Германии один только вред, — иные из них и полезны. Дурными же и опасными я называю тех несметно богатых, которые, сговорившись между собой, установили и поддерживают монополию, и самые подлые из всех — это твои хозяева Фуггеры. Если бы вопрос решался голосованием, разве нашелся бы в Германии хоть один порядочный человек, даже из вашего сословия, который не потребовал бы немедленно, в первую очередь, изгнать их из Германии и сослать как можно дальше, за то что они наводнили наше отечество дрянью и пустяками, отправляя в чужие края золото без меры и счета и калеча нравы немцев? Разве это не называется разбоем, как по-твоему?

К у п е ц. Нет, не называется, потому что здесь нет насилия.

Ф р а н ц. Нет насилия? Но зато есть грабеж, несправедливый и противозаконный! Ну да, разве обманывать и плутовать не значит нарушать справедливость, и к тому же — самым гнус-

ным образом?! Какая разница, силою ты у меня отнимешь мое добро или так сплутуешь, что я сам уступлю его тебе? Если ты захочешь утверждать, что грабежа без насилия не бывает, я не смогу доказать тебе, что в Германии есть другие разбойники, кроме тех жалких грабителей, от которых и вреда-то почти никакого.

Купец. Нет, этого утверждать я не стану... Но подобных обвинений против купцов я еще никогда не слыхал.

Франц. Вот и я никогда прежде не слыхал, чтобы так хулили рыцарское сословие. Впрочем, если у тебя есть, что добавить, я терпеливо выслушаю — так же, как слушал меня ты.

Купец. Нет, сейчас я ничего больше не припомню.

Гуттен. А у нас найдется еще очень много упреков к купцам.

Купец. Говори и ты.

Гуттен. Во-первых, само ваше занятие берет начало из дурного источника.

Купец. Из какого же это?

Гуттен. Из сребролюбия — корня всех зол, как заметил святейший автор и как признает каждый. Ибо от алчности и любостяжания происходят все пороки. И затем вы всеми средствами домогаетесь того, что остальные, желая быть праведными, а иные — даже только мудрыми, не больше, — расточают и выбрасывают.

Купец. Однако я не вижу, чтобы кто-нибудь сегодня выбрасывал золото.

Гуттен. Зато много людей, которые его презирают, а может, есть и такие, что выбрасывают. Ведь ни один человек всего не увидит, и нет ни малейших оснований сомневаться, что и по сю пору не перевелись люди, считающие пример Кратета или Анаксагора достойным подражания.

Франц. А если даже и перевелись — презрение к деньгам всегда было признаком честности и благородства, потому что деньги расслабляют дух и по большей части оказываются причиной великих и бесконечных бедствий, а чрезмерное богатство легко приводит к праздности и роскоши. И напротив, страсть к наживе всегда и везде была позором. Между тем вся ваша жизнь — это забота о прибыли, и нет у вас другой цели, кроме того, чтобы разбогатеть... Ну, хорошо, а когда богатство нажито, как вы им пользуетесь?

Купец. Кто как.

Франц. Большинство, — согласись, — угождает своему тщеславию, похоти и обжорству, не так ли?

К у п е ц. Пусть так. Однако продавать то, что раньше купил за свои же деньги,— разве это бесчестно?

Ф р а н ц. Нет. Но я вижу, что вы всё продаете выше стоимости, и тем лучше, по вашему мнению, купец, чем больше он наживается. Впрочем, будь торговля и честным занятием, однако те, кто гонится за богатством, одержимые своей страстью, нет-нет да и совершат недостойный поступок — это неизбежно. К тому же обман и коварство у вас всегда наготове. Одним словом, плутни и надувательства — вот неотчуждаемая ваша собственность!

Г у т т е н. Постой-ка, ведь ты ничего не оставил для моих милых куртизанов. Что теперь можно будет о них сказать?

Ф р а н ц. Я занимаюсь купцами, а уж о куртизанах ты позаботься, чтобы они получили по заслугам. А теперь скажи мне ты, где и когда осуждали вы хитрецов, бессовестно преданных одной лишь наживе?

К у п е ц. Мы не любим выносить приговоры другим.

Ф р а н ц. Вот как? А чем же вы занимаетесь, когда всякого ловкого обманщика превозносите до небес, а нас проклинаете самыми страшными проклятьями?

К у п е ц. Это было только один раз, и то по неведению. А таких, кто хвалил бы обман, я просто не знаю.

Ф р а н ц. Сейчас я тебе покажу. Как ты думаешь, твои Фуггеры — люди порядочные или нет?

К у п е ц. По-моему, порядочные.

Ф р а н ц. А что у них за приемы, что за ухватки? Разве не надувают и не обирают они каждого, с кем имеют дело?

К у п е ц. И не думают!

Ф р а н ц. Я разобью тебя показаниями купцов, чье мнение уместно выслушать в этом деле: весь мир оглашается их единодушными жалобами на Фуггеров, которые не дают другим наживаться, желают лишь сами вести торговлю с иностранцами и, словно установив своего рода тиранию, все закупают первыми; если же им это не удается, они побивают соперников с помощью денег — взвинтив цены, избавляются от слабых конкурентов, а потом, скупив все сами, сами же и продают за сколько вздумается. Как часто я слышал жалобы наших приверед ников, что, мол, перец дорог и шафран дорог, ибо Фуггеры, желая сбыть свое гнилье чем подороже, закрыли остальным немецким купцам доступ в Индию. А что у Фуггеров за монета? Разве не обнаружилось недавно, что целых двадцать квинденариев, которые они чеканят и которыми наводнили всю Германию, не стоят одного талера? Разве этот обман не заслуживает ненависти?

К у п е ц. Заслуживает, если только найдутся люди, которые в нем повинны.

Ф р а н ц. Так они же и повинны — призываю в свидетели твою совесть!

К у п е ц. Будь это верно, они бы не пользовались таким почетом, и Максимилиан не возвел бы их в дворянство.

Ф р а н ц. А, какое там дворянство! Не копьями, не знаменами, не фалерами, не шрамами оно рождено — нет, его бесславно стяжал туго набитый кошелек: тем, кому незнакома доблесть, пришло на помощь богатство.

К у п е ц. Но если ты оспариваешь дворянское достоинство дома Фуггеров, что ты скажешь о предках Льва Десятого, которые за короткое время из купцов превратились в могущественных государей?

Ф р а н ц. То же, что о писцах Максимилиана, которым император пожаловал благородное звание,— лучше бы он коекого из них отправил на виселицу.

К у п е ц. И Медичи тоже не принадлежат к знати?

Ф р а н ц. Медичи — это знатные купцы, так же как и Фуггеры, но благородными их назвать нельзя.

Г у т т е н. Верно говорит Сенека — писатель, достойный всяческого доверия: с тех пор как деньги стали цениться высоко, истинная ценность вещей погибла.

К у п е ц. Мне кажется, вы завидуете нашему достатку — потому и ведете такие речи.

Ф р а н ц. Завидуем! Скорее уж ненавидим вас самих — за то, что, занимаясь самым грязным делом, вы требуете к себе уважения, не заслуживая ничего, кроме позора и срама.

К у п е ц. Как «срама»? Это уж слишком грубо, такие вещи о порядочных людях не говорят!

Ф р а н ц. Я объяснюсь, но помни, тот, кто захотел бы вас изобличить, объяснялся бы иначе. Итак, слушай: ложь менее всего приличествует человеку благородному, а вы радуетесь лжи, ложью живете.

К у п е ц. Когда это было?

Ф р а н ц. Всегда! Ведь ложь, клятвопреступление, обман и надувательство стало у купцов второй натурой. Разве не вошла купеческая присяга у народа в поговорку?

К у п е ц. Вошла, но я думаю, что это несправедливо.

Ф р а н ц. Те, кто вас знают, так не думают.

Г у т т е н. Вот почему, я полагаю, у них один бог с ворами и обманщиками — Меркурий: он их покровитель, по его имени названы коммерсанты, коммерция и меркантильность.

К у п е ц. Эх, если бы я прежде не сказал то, что мне хотелось, не нужно было бы сейчас выслушивать то, чего не хочется!.. Но все же вы не будете отрицать, что есть купцы добросовестные и порядочные.

Ф р а н ц. Я это и раньше говорил. Однако мы почти не видим таких купцов, которые, получая прибыток, не приносили бы никому вреда. Даже если бы можно было наживаться самым честным образом, все-таки богатство, когда оно слишком велико, порождает неприязнь и раздоры, а когда тает,— рабство. И нелегко увидеть человека, который бы стремился к богатству и, в то же время, вел примерную жизнь: забота о деньгах отвлекает от совершенствования в добродетели. Как видишь, ваши жизненные правила чрезвычайно опасны.

Г у т т е н. Я приведу мнения некоторых ученых, если ты не будешь сердиться.

К у п е ц. Пожалуйста. Я уже научился терпеливо выслушивать порицания и нападки.

Г у т т е н. По Платону, регулярно извлекать из чего бы то ни было наживу — бесчестно, ибо это марает благородную натуру. Слышал?

К у п е ц. Слышал и ничего не имею против, чтобы у него в государстве так дело и обстояло.

Г у т т е н. Так оно обстоит везде. Ибо и Аристотель, более искушенный в политике философ, бранит купцов за то, что они постоянно нарушают спокойствие на рынках и чаще других возбуждают беспорядки и сеют раздоры. И если уж без купцов обойтись невозможно, пусть хотя бы граждане торговлей не занимаются, заключает тот же философ. Ты видишь, что Аристотель, в свою очередь, закрывает перед вами городские ворота?

Ф р а н ц. И все же ныне в городах, за малыми исключениями, живут одни купцы.

К у п е ц. Правильно. Вот как преуспел этот болтун со своими поучениями.

Г у т т е н. Болтун? Да ведь наши теологи и нищенствующая братия чтут его словно бога!.. А Сократ, который говорил, что между богатством и добродетелями так мало согласия, словно они лежат на двух противоположных чашах весов — кто кого перетянет! Он же замечал, что в государстве, где богатства и богачи окружены почетом, на добродетель и честных мужей смотрят с пренебрежением. Верно! Это повсюду так! Платон тоже считал, что очень богатые люди порядочными не бывают. А Бион, один из семи мудрецов, смеялся над теми, кто гонится за богатством, ибо дарует его счастливый случай, хранит — ску-

пость, уносит — доброта. И Диоген был уверен, что добродетель не может жить ни в богатом государстве, ни в богатом доме.

К у п е ц. К чему эти речи? Как будто одни купцы богаты!

Г у т т е н. Нет, не одни, но никто так много не печется о богатстве, как купцы: никаких других помыслов у них нет... А станешь ли ты отрицать, что чрезмерная изнеженность заслуживает ненависти?

К у п е ц. Нет, не стану. Я и сам осуждаю ее у священников, не одобряю и у наших.

Г у т т е н. И ты согласен с решительным высказыванием славного римлянина: «Изнеженность подобает женам, труды — мужам»?

К у п е ц. Согласен.

Г у т т е н. Значит, ты уже не так, как прежде, восхищаешься деньгами — причиною всевозможных бедствий? И уже не взираешь с таким почтением на драгоценные камни и пышные одеяния — пустейшую утеху для глаз?

К у п е ц. Больше того — я их презираю.

Ф р а н ц. Ты будешь достаточно знатен — сохраняй только и в дальнейшем этот образ мыслей.

Г у т т е н. Теперь ты сам убедился, что порядки и правила вашей жизни хуже, чем в нашем сословии, которое ты недавно поносил и смешивал с грязью.

К у п е ц. Нет, в этом я еще недостаточно убедился. Все, что ты сказал о нас,— верно и соответствует истине, но и у вас есть свои пороки, которые не меньше наших; иные из них, о которых я прежде пытался вспомнить, наконец снова пришли мне на ум.

Ф р а н ц. Что ж, говори.

К у п е ц. Во-первых, нрав у вас дикий и грубый, человечность вы и в грош не ставите — не то что горожане. Затем, как слышал я некогда от твоего наставника, Гуттен, германское дворянство особенно страдает двумя пороками — высокомерием и невежеством; по вине последнего оно не знает само себя, в силу первого — презирает остальных. Вряд ли где-нибудь еще сыщутся люди, которые бы на словах больше похвалялись своим благородством и так редко проявляли его на деле. В ваших домах на каждом шагу — изображения предков, куда бы вы ни явились — тут же исписываете все стены своими девизами, а вот чтобы вы занимались каким-нибудь порядочным делом— увидишь не часто. Обыкновенно вы гордитесь преимуществом своего происхождения и пустыми звуками слова «знать», а

многие ли из вас думают о славных подвигах и стараются их совершить? Разве вы не успокаиваетесь весьма охотно на том, что упорно держитесь за титулы, перестав ревновать о добродетели? Я видел, как иные из вашего сословия, считая себя оскорбленными, требовали удовлетворения у тех, кто именовал их недостаточно полно и пышно. Другие заставляют нас оказывать им почести без всякого на то права и без всяких заслуг, кроме той, что они из «такого» рода. А один даже войну объявил некоему почтенному городу за то, что его (как он утверждал) принимали там недостаточно торжественно. И это ничтожное обстоятельство послужило причиною злых грабежей и даже убийств и поджогов. Нашлось достаточно друзей и родичей, которые, точно бог знает какое славное дело затевалось, поддержали этого воителя и деньгами, и силой оружия и так свирепствовали, будто война шла за отечество, религию и законы. Это ли превосходные правила жизни? И разве достойны благородного происхождения эти нравы?

Ф р а н ц. Я уже говорил тебе, что я думаю о таких людях: все, кто подобным образом изменяют своему долгу, по-моему, предают дворянство и ставят себя вровень с самою подлой чернью. Впрочем, пороки, которые ты только что перечислил,— согласись,— свойственны вам в такой же мере, как и нам. Ведь и вы, горожане, хвастаетесь своим происхождением и смотрите друг на друга свысока. А в роскоши вы нас намного опередили и проводите век свой в безобразных попойках и возлияниях.

К у п е ц. Ну, а вы-то? Разве вы не напиваетесь то и дело до потери сознания?

Ф р а н ц. Ах, если бы я мог сказать, что нашему сословию этот порок чужд! Да, мы тоже пьянствуем, но реже, чем вы. Более всего нам свойственна некая грубая и неотесанная отчаянность, которую ты толкуешь как дикость и называешь бесчеловечностью. Во всяком случае, живем мы проще вас, умереннее и, я бы сказал, разумнее и строже, крепче держимся старины. Мы заняты возделыванием полей и военным искусством, все остальные источники дохода мы отвергаем и бесконечно далеки от вашей грязи и мерзости. Затем, мы отличаемся широтою натуры и презираем деньги — вы же безмерно сребролюбивы; мы страшимся срама, бежим позора, стыдимся бесчестия — вы же, ради обогащения, пройдете через огонь, воду и медные трубы. Нам присущи какая-то честность и прямодушие — а вы даже друга постоянно подозреваете в коварстве и обмане. Да оно и вполне естественно: натуры в хорошем роду выше и лучше, чем в никудышном. И, наконец, скажи-ка, разве не бле-

щет в нас самая прекрасная из добродетелей — храбрость, разве не мы оберегаем справедливость, защищаем невинность?

К у п е ц. Ты убедил бы меня возненавидеть наше сословие, а рыцарей прославить до небес — но только в том случае, если бы и вы ни в чем не изменяли своим принципам, и мы все, как один, были соучастниками того, что может быть вменено в вину некоторым из нас. Но сейчас мне хочется, следуя твоему же примеру, потребовать, чтобы пороки отдельных лиц ты не распространял на все сословие, а иначе из-за нескольких человек все мы окажемся заслуживающими ненависти и тяжелого наказания.

Ф р а н ц. Я уже об этом позаботился, сделав исключение для людей порядочных, которые среди вас есть, и я этого не отрицал,— меж тем как ты нападал на всех рыцарей без разбора. Однако выслушай то, что я еще тебе не досказал. Верно говорится (откуда бы эта мысль ни шла), что чем ближе к богам, тем дальше от городов... Что же касается грабежей, то я, право, не понимаю, почему чаще всего подозрения падают на нас (если только дело действительно обстоит так, как ты говоришь). Вот разве потому, что, когда мы воюем, солдатская разнузданность временами приводит к таким поступкам, которые возбуждают ненависть к нам, но эту разнузданность ни мы, ни кто бы то ни было еще обуздать не в состоянии. Впрочем, у меня нет ни малейшего желания оправдывать пороки, и если человек пятнает славу высокого рода безобразной жизнью и дурными нравами, я считаю своим долгом выступить с обвинением против него, а о том, чтобы брать его под защиту, не может быть и речи. Да, поистине тот, кто хвастается великими подвигами знаменитых предков, не понимает, какое бремя возлагает он себе на плечи: если сам он уже далеко не таков, чтобы не слишком сильно от них отличаться, он только доставит другим оружие против себя, даст им в руки доказательства собственного ничтожества... А вот если бы оба сословия самым неукоснительным образом придерживались своих жизненных правил, ты бы не смог отрицать, что мы лучше вас, потому что мы больше трудимся, честнее снискиваем себе пропитание и меньше вашего позволяем безделью портить нас: ведь наш отдых — охота, которая сама по себе — немалый труд. К тому же мы занимаемся военным искусством, выше которого нет ничего, ибо нет ничего важнее и необходимее для неприкосновенности всех вещей и соблюдения всеобщего достоинства. В самом деле, военное искусство служит защите невинности и борьбе с насилием и, единственное из всех, постоянно было предметом усердного изучения самых первых и самых лучших людей.

Гуттен. Вот и Кир, самый добродетельный среди языческих царей, называл земледелие и военную службу в числе прекраснейших и необходимейших занятий, а мы за всю свою жизнь ни к чему иному рук не прикладываем. А Платон советует учить мальчиков обращаться с оружием и, как только они подрастут, немедленно отдавать их на военную службу.

Купец. Нельзя ли, наконец, оставить эту тему и перейти к другим видам разбойников?

Франц. Ты прав,— достаточно об этом!

Купец. А наша взаимная приязнь может быть упрочена?

Франц. Я бы этого хотел.

Купец. И давайте так завершим эту часть нашей беседы: если оба сословия будут твердо выполнять свой долг, вы будете знатны и благородны, а мы сможем приобрести эти качества. И тогда уже никакого различия между нами не будет?

Франц. Никакого. И мы не сразу сделались знатью

Купец. Но как же, если только это возможно, как же покончить с враждою, которая нас разъединяет?

Франц. Думаю, что возможно. Я, по крайней мере, не оставляю мысли, которую мне усердно внушает Гуттен: употребить все свои силы и влияние на то, чтобы рыцарское сословие навеки заключило дружеский союз с вольными городами.

Купец. Поскорее берись за дело, а взявшись — упорно иди вперед, не отступай!

Франц. Ну, посмотрим.

Гуттен. Не сомневайся: он это сделает!

Купец Отрадная весть, ибо я, кажется, вижу, какие блага сулит согласие сословий нашей Германии, как она усилится и расцветет, если это случится.

Франц. И я вижу, и потому уже давно стараюсь советом, убеждением и даже влиянием своим помочь установиться этому согласию. Но займемся прочими разбойниками.

Купец. Да, да, пожалуйста! Какие же грабители Германии стоят у тебя на третьем месте?

Франц. Писцы и юристы, и они тем опаснее, чем шире поле их грабежа: ведь они вездесущи, и нет такого места, где бы они не грабили — при дворах государей, в городских ратушах, на всеобщих съездах и частных совещаниях, в ратном поле и дома, на войне и в мирное время. И вообще они — всему голова, их почитают хранителями и ключниками законов и права, без них нет государственного правления. Они сами учреждают империи и по произволу вносят изменения в существующие порядки.

Гуттен. Одни из них — писцы — некогда целиком забрали в свои руки нашего Максимилиана и, ни с кем не разделяя власти, злоупотребляли простодушием этого государя, как им только хотелось. То, что им доставалось от императора даром, они продавали другим за деньги. И деньги Максимилиана тоже принадлежали им, ибо сам он своими деньгами не распоряжался: даже если платить было необходимо, если нужно было рассчитываться с кредиторами, все-таки писцам разрешалось запускать руку в казну раньше всех. И во время войны, каким бы трудным ни было положение, он платил им, а солдатам не платил. Ради того, чтобы насытить алчность этих негодяев, которую, впрочем, он никогда не мог насытить, ради того только, чтобы желания их исполнялись, он готов был снять осаду, уклониться от битвы или проиграть ее, бросить войско на произвол судьбы, лишить союзников поддержки, отдать город врагу, одним словом — упускал самые лучшие возможности. Не было, пожалуй, такой неотложной нужды, которую он поставил бы выше прихоти писцов. Они указывали ему, с кем дружить и с кем враждовать, по сравнению с ними князья не пользовались никаким уважением — писцов решительно предпочитали знати. Впрочем, император возводил их и в дворянское достоинство, и в княжеское, прежде всего — того епископа, которого я собственными глазами видел на всеобщем имперском совете: этот выскочка, что когда-то пришел ко двору босиком, осмелился оспаривать у первых князей Германии их места.

Купец. Его отец продавал молоко в Аугсбурге, приезжая в город верхом на безобразной кляче, с кувшинами, притороченными по обеим сторонам седла, а сынок теперь окружен баснословною роскошью, и что для других — удовольствие, ему представляется тяжким трудом. Стол у него такой, что он нередко бранит Фуггеров, которые-де слишком мало новых лакомств привозят к нам из-за границы.

Франц. Я еще тогда называл это общественным бедствием, а век наш — жалким. Судите сами, было ли время, чтобы Германия видела себя опозоренной сильнее, чем в те дни, когда у кормила правления встали никчемные людишки, которые в неслыханной своей разнузданности осквернили право, законы человеческие и божеские, справедливость, честь? Впрочем, теперь я замечаю, что и вокруг нынешнего императора начинают копошиться люди, которые точно так же пытаются злоупотребить его доверием.

Гуттен. И я замечаю и оплакиваю судьбу всего отечества. Да, не этим бы освятить ему начало своего царствования!

Ф р а н ц. А чем?

Г у т т е н. Чем угодно, но только не тем эдиктом против Лютера, который он позволил у себя выманить!

Ф р а н ц. Но ведь составил его не он — составили писцы и какие-то негодяи-придворные, подкупленные папой.

Г у т т е н. Знаю, а все-таки обнародован эдикт за подписью Карла, и он его не отменяет, и отдает праведного мужа, оказавшего величайшие услуги родине и империи, на растерзание злодеям!

Ф р а н ц. Это они сбивают его с толку, но я твердо уповаю, что настанет день, когда они, почитая положение самым безопасным и самым устойчивым, самым бедственным образом рухнут и расточатся в прах. Мне кажется, я правильно угадываю натуру этого юноши, и вдобавок, по некоторым проявлениям его монаршей воли, я уже могу судить о том, что он намерен свершить, если когда-нибудь возьмет кормило правления в собственные руки.

Г у т т е н. Ты неизменно внушаешь мне добрые надежды на его счет, да я и сам, без того, питаю к нему добрые чувства. Но пора уже ему освободиться из-под гнета мерзавцев — хватит благосклонно взирать на то, как мерзавцы торгуют его именем, рукой и печатью в деле, являющем собою столь пагубный пример.

Ф р а н ц. Освободится, не сомневайся, и сбросит это ярмо, и не даст больше ни нашептывать себе в уши, ни злоупотреблять своим терпением.

Г у т т е н. Если он это сделает — а я надеюсь, что сделает,— бесспорно, ему станут подражать другие государи, и тогда влияние писцов наконец ослабеет.

Ф р а н ц. Конечно, сделает! Ведь низость их приемов становится ему все яснее, и он начинает гнушаться зла и неправды.

Г у т т е н. Когда то словесное утешение, которым ты меня сейчас подкрепляешь, претворится в действительность, при дворах первых князей Германии, вне всякого сомнения, займут место честные мужи, а темные проходимцы утратят и власть свою, и дерзость; эти люди, не обладающие ни навыком либо опытом в государственных делах, ни познаниями в истории, ни трудолюбием, ни, наконец, просто чистой совестью, одной только наглостью, бесстыдством и самым низким коварством проложили себе дорогу к руководству нравами всей страны и ее законами. При таком положении вещей нигде не может быть добрых государей — из-за этих пресловутых канцлеров, ларцы которых, словно некий божественный оракул, заключают в себе решения, касающиеся как общих, так и сугубо частных дел;

у них выторговывают королевские грамоты и покупают рескрипты князей; они — как бы очи государей, без которых те ничего не видят, ничего не различают. Потому-то они и ведут государей, куда хотят, а хотят вести — куда им самим выгодно. Так есть ли среди них хоть один, чьи планы и намерения — выйди они наружу — не свидетельствовали бы о самой подлой душе?!

Ф р а н ц. Да, ты прав — самой подлой... Чего только нет на совести у тех, кто готов продать любой приказ и запрет своего князя, любой кивок, слово, мысль?!

Г у т т е н. Иногда, если это сулит наживу, они подделывают подпись господина и крадут его печать. И, вдобавок, что самое печальное, эти мошенники не просвещают науками и благородными занятиями дух, а только украшают тело драгоценными одеяниями. Вполне понятно, что лютейшею ненавистью ненавидят они образованных и ученых, опасаясь, по-видимому, как бы те не уличили их однажды в невежестве и тупости. Поэтому они всячески стараются помешать знакомству государей с такими людьми и ожесточенно гонят их прочь от дворов.

Ф р а н ц. Верно, так оно и есть. Однако в своем «Мисавле», где достаточно ярко и подробно, как мне кажется, описаны все пороки двора, ты только об одних секретарях говоришь чересчур снисходительно. Разве ты уже тогда не знал, что хотя все решения выходят из-под их пера, но любое зло, совершающееся по их вине, приписывается добрым государям, а в результате о лучших людях нередко ходят самые дурные толки? Что они постоянно и от всех подряд принимают подношения, а кто подношений не делает, те видят их насупленные брови и встречают препятствия на каждом своем шагу? Что если они обижены (а обижают их честность, невинность, образованность и тому подобные добродетели, но прежде всего — бедность), ничем иным, кроме подношений, их не успокоишь? И разве ты не замечал, что никто при дворе не ведет себя так неискренне и лицемерно, что именно тогда вынашивают они в душе самый коварный обман, когда на словах выказывают величайшее дружелюбие, рассыпаются в притворных похвалах и пышными словесами пускают пыль в глаза?

Г у т т е н. Все это я знал и замечал, но упомянул о них лишь вскользь, предполагая когда-нибудь возместить им мечом то, что недодал пером. И до сих пор не оставляет меня горячая надежда, что они будут изгнаны, что государи сбросят их с плеч своих, точно некое невыносимое бремя. Не кажется ли тебе, что от шутов и скоморохов князьям больше пользы, чем от зловреднейшего племени писцов?

Ф р а н ц. Верно, больше — прежде всего потому, что они иногда говорят правду, невзирая на лица, а те подло льстят всякий раз, как чуют запах наживы, к которой направлены все их помышления... Но можно ли сказать, что превосходные наши юристы терзают Германию с меньшим усердием, нежели писцы?

Г у т т е н. Никоим образом! Они еще хуже писцов, ибо, ровным счетом ничего не смысля в науках, везде слывут за ученых и за ученых себя выдают и, нахватавшись самых поверхностных сведений обо всем на свете — сведений, которые легко приспособить к какому угодно стечению обстоятельств, к любому изменению государственного устройства,— нестерпимо этим хвастаются. Ну, подумай сам, как нынче буквоеды повсюду дерут нос!

Ф р а н ц. Как никто!

Г у т т е н. А могут боги и люди дольше терпеть эту спесь?

Ф р а н ц. По-моему, нет: она уже всякую меру превзошла.

Г у т т е н. А ведь она ни на чем не основана. Если бы германские князья узнали, какой вздор таится под важным обличием, со всею школой бартолистов было бы покончено. И тем не менее эти законники вводят мир в заблуждение и предпочитают свои аксиомы наиболее досточтимым наукам. Мало того, все остальные занятия они с презрением отвергают как пустую трату времени и не устают повторять, что они пожинают плоды, а другим достаются плевелы и солома. Эти люди до того тупы, что тупостью своей не раз губили лучшие умы, которым приходилось с ними сталкиваться.

Ф р а н ц. Получается,— как я об этом и слышал,— что те, кто одних лишь себя почитают разумными, вовсе лишены всякого разумения.

Г у т т е н. Верно. В самом деле, что это за искусство, в котором основою знания (если только вообще его стоит называть знанием) служит ребяческая болтливость? И что это за наука, если людей простодушных обманывают и водят за нос, если законам, с помощью хитроумных толкований, придается совсем не тот смысл, какой вкладывал в них законодатель, если справедливость извращается, если для того, чтобы выйти в первые ряды, более всего необходимы обман и лукавство?

Ф р а н ц. Не все об этом знают. Человек необразованный еще не может судить, ученые люди господа юристы или нет, но что они бесчестны и зловредны,— знают все и повсюду. И я готов вслед за тобою похвалить саксонцев (хоть они и горькие пьяницы) за то, что, как ты мне говорил, законы они чтут, но отлично обходятся без законников.

Г у т т е н. Заслуженная похвала! Они и впрямь великолепно распорядились своими делами, если уберегли и сохранили себя от этой жестокой и прилипчивой болезни.

Ф р а н ц. Я часто слышу от стариков, что лишь деды наши помнили то время, когда нигде в Германии не были известны эти докторишки,— вот как давно вторглись они к нам в своих красных шапчонках, чтобы опустошить нашу страну, точно некий шквал. Не сразу нашлись люди, которые бы воспротивились этому губительному новшеству, и очень долго им сходило с рук все, на что бы они ни дерзнули. Но впредь, надеюсь, все переменится: я замечаю, что повсюду начинают понимать, какая несправедливость царит ныне в судах. Когда я был одним из заседателей в Вормсе, я видел, как они непрестанно ищут «законных обоснований» и никак не могут отыскать, и в вопросах самых пустяковых, решить которые, по-моему, ничего не стоит, без всякой нужды нагромождают неразрешимые трудности; погребенные под целыми горами книг, они потели дни и ночи напролет, а потом вылезали на свет божий, бледные, измученные, и чаще всего изрекали суждения, с которыми на словах нам приходилось соглашаться,— ибо достойные юристы подавляли нас цитатами из книг,— но в душе мы считали их просто-напросто бессмысленными.

Г у т т е н. Да, немалый это труд перевернуть вверх дном справедливость и несправедливость. А к чему еще они стремятся, в чем видят свою славу, если не в том, чтобы, взяв на себя защиту несправедливого дела, изобразить его в виде самого справедливого и, напротив, всякое доброе дело представить злым и порочным?

Ф р а н ц. Ни в чем ином, каждому ясно. Ведь больше всего они заботятся о том (полагая это вершиной своего искусства), чтобы поймать человека на одном-единственном неправильном словечке, и тут же поднимают крик, что он, мол, проиграл процесс. Но в таком случае и чистой совести не обеспечена безопасность, если и осуждение и оправдание зависят от слов, и ни от чего больше! Справедливость нисколько не занимает этих господ, они с головой ушли в болтливое сутяжничество и затевают великие распри по ничтожным, из пальца высосанным поводам. Подумай только, прошу тебя, что за всеобщий мир настал бы у нас, что за согласие душ, если бы они не извращали так бессовестно прекрасные законы и лишились возможности придавать вещам то одно, то другое обличие с помощью лукавой своей мудрости!

Г у т т е н. А какую роль играет эта груда книг, которым нет конца?

Ф р а н ц. По-моему — огромную: из них, насколько я понимаю, они вытягивают доводы, которыми завораживают и ослепляют любого, даже самого лучшего судью. Когда, оторвавшись от книг, они появляются на людях, начиненные своими казусами, им кажется, что они могут сразиться с противником словно под прикрытием щита Паллады. А «сражаться» означает у них уметь использовать закон, как им только ни вздумается. Разве это честь для законоведа, говорят они, без труда выиграть верное дело? Нет, того лишь следует считать за человека, кто умеет взять верх и в деле сомнительном, неправом. Подобно тому как меняет свою форму воск под пальцами мастера, так и они — сами лепят право и всё гнут да поворачивают законы, куда захотят и куда им выгодно. Так под властью каких же тиранов, если бы Германия понесла поражение в войне, была бы наша жизнь горше, чем сейчас,— под властью подателей правосудия, не ведающих, что такое справедливость?! И сила какого оружия может сокрушить государство с большею беспощадностью, чем их ложь и коварство терзают право и законы, истину божескую и человеческую? Поистине, мне кажется, что Германия лучше управлялась в ту пору, когда право было заключено в мече, нежели теперь, когда власть, «общественной пользы ради», передана ученым юристам, которые, притязая на строжайшую законность, творят величайшие беззакония. И верно, в те времена люди жили проще, коварство не имело еще такой силы, и потому оружие защищало невинных от насилия и злых обид. А ныне советы, как силою одолеть справедливость, почерпаются из книг, и, по-моему, нельзя придумать ничего лучшего, как в один прекрасный день собрать их все да и сжечь: если орудие преступлений исчезнет, люди меньше будут сбиваться со стези справедливости.

Г у т т е н. Ты прав — лучше и не придумаешь. А самих крючкотворов, лжемудрецов и ученых неучей хорошо бы перевезти в государство Платона или в эту Утопию, о которой мы недавно узнали. Ведь сколько зла, сколько зла, клянусь небом, терпят от них повсюду ученые мужи! Мало того — самим наукам наносит ущерб их тирания. Не обладая никакими познаниями и опасаясь, как бы среди людей знающих они не стали предметом презрения, эти «стражи закона» повсюду без устали воздвигают гонения на ученых и пекутся о том, чтобы нигде не преуспевал и даже на поверхность не выплыл человек, наделенный способностями или искушенный в науках,— они решительно преграждают ему путь и пускают в ход все свои хитрости. А в результате — добродетели редко пользуются почетом, и лишь пустым

именам оказывают уважение. Вряд ли сыщешь теперь такое собрание или такой совет, куда бы не привели одного из чванных, надутых буквоедов, который усаживается на первое место, а люди куда более ученые и достойные располагаются далеко позади. Однако если бы этот болван был чуть-чуть поумнее и мог бы пошевелить мозгами, он предпочел бы все, что угодно, таким незаслуженным почестям.

Ф р а н ц. Великие мира сего держат их в своей свите и повсюду за собой возят. Несчастные! Они не видят, что по вине этих плутов государи перестают быть государями. А в противном случае право не извлекалось бы из чужих писаний, но мудрость самого государя, его доброта, справедливость и милосердие определяли бы, кому что причитается: каких наград достойны добрые, каких наказаний— злые. Ныне же всякий раз, когда князю приходится разбирать тяжбу, для решения дела сразу призываются эти «мудрецы», которые одни заполнили и заполонили дворы государей, изгнав оттуда знать. Они раздают нам наши же отчины, и нам запрещается владеть чем бы то ни было без их предварительного согласия. И может ли быть иначе, если бóльшую часть того, что искони нам принадлежало, они объявляют ленными владениями и все очевидное подвергают сомнению. Вот какими гибкими становятся у них законы, разумеется — к немалой для господ юристов выгоде. В самом деле, на чем только они не наживаются? И делают ли что-нибудь, не рассчитывая нажиться? И кто теперь богатеет быстрее, чем они?

Г у т т е н. Разумеется, никто! Ведь изо дня в день они всё повышают плату за свои услуги, проявляя алчность столь непомерную, что она даже в пословицу вошла: законники на то и рождены, чтобы денежки загребать, говорят в народе. Больше всего они обирают князей, так их одурачив, что те глубоко убеждены, будто без своих советчиков они и править-то не сумеют, а потому, за что бы ни взялись,— словно ходят у них на поводу и перечить им не решаются, но и в речах, и в поступках неукоснительно следуют их правилам и предписаниям. За этим помешательством князей неизбежно идет угнетение народа, ибо не остается такого сословия или состояния, которое не было бы обязано с благоговением обращаться к юристам за советами: к ним, словно к оракулам, стекаются все — к великому несчастью для всех и каждого! И, понятно, многие из тех, кого они опутают и оплетут, дни и ночи напролет думают о своем деле и, не находя покоя, кончают тем, что сходят с ума, а иные, отчаявшись и ожесточившись, налагают на себя руки.

Ф р а н ц. А каковы они с виду, эти юристы, Гуттен?

Г у т т е н. С виду-то они философы, а по нутру своему — настоящие сводники, вот они кто!

Ф р а н ц. Правильно! Строгости нравов в них нет и на волос, а угрюмое выражение лица внушает скорее страх, чем почтение; однако мнимым этим величием они уже достигли того, что почти весь мир прислушивается к их голосу. И виноваты здесь мы: почему, скажите на милость, мы так не доверяем собственной честности, что отдаем на их рассмотрение иски, касающиеся как всего государства, так и частных лиц? Ну, не глупцы ли мы? Почему доверяем последним прохвостам то, что даже самым лучшим и порядочным людям следует поручать не без оглядки?

Г у т т е н. Такая уж у Германии несчастная судьба. А иначе разве можно было бы довести наше отечество до того, чтобы оно облекло неограниченными полномочиями продажных негодяев, которые ничего не делают даром и верны лишь деньгам? Право же, в книге судеб записана эта кара, ниспосланная нам свыше! Как часто досаждаю я нашим рыцарям неумолчными предупреждениями: «Неужели вы не понимаете, несчастные, неужели не понимаете, что ваши нынешние советчики, если им заплатить, станут помогать советом и врагам вашим?» И тут же привожу в пример тех, чьи тайны юристы коварно выпытали, а потом выдали. Нет, я не перестану внушать Германии, чтобы она сурово расправилась с мошенниками. Трудно даже представить себе, какое пагубное влияние оказывают они повсюду на нравы, какой ужасный пример подают, каким гнусным преступлениям способствуют. Всякий, кто задумает оклеветать ближнего, получает у них совет и поддержку. Каждого они убеждают не бросать тяжбу, и упорствовать в клевете называется у них «отстаивать истину»; несчастных клиентов они обольщают надеждой, что выиграет тот, кому они продали свои услуги, а если видят, что те пали духом, тут же начинают хвастать, будто могут любое правое дело обратить в неправое, или, наоборот, внушают клиенту, что, мол, в их власти надеть личину высшей справедливости на какую угодно пакость. Все это делается для того, чтобы процессы тянулись как можно дольше, ибо как только тяжбы иссякнут, юристы останутся без хлеба.

Г у т т е н. Такого пустозвона я видел как-то раз во Франкфурте. Этот жалкий старичишка выступал против моего приятеля в качестве адвоката другой стороны и, не веря в благоприятный для его доверителя исход дела, однажды сказал: «Я не обещаю, что мы выиграем,— это невозможно; но я обещаю добивать-

ся отсрочек на протяжении десяти лет — и это сокрушит наших противников».

Ф р а н ц. Так разве не опасны эти разбойники, разве не грозят они нам гибелью? Разве малый ущерб причиняют они Германии?

К у п е ц. Достаточно тяжелый! Тем легче становится у меня на сердце, ибо я вижу, что есть еще другие разбойники, которые наносят всему народу больший вред, нежели купцы. И мне захотелось похвалить граждан Нюрнберга, которые закрыли двери своего Совета перед этими «умниками» и отстранили их от участия в городских делах на том основании, что безупречно честными они быть не могут.

Г у т т е н. Я тоже постоянно их хвалю, за то что они так правильно смотрят на вещи и там, где остальные города словно слепотою поражены, выказывают замечательную остроту зрения. А вот если бы их примеру последовала вся Германия, так чтобы адвокаты повсюду лишились своих мест и кормило правления было исторгнуто из рук ученых неучей — злой чумы для наших отчин, если бы, к тому же, как здесь советовал Франц, сжечь Аккурзия вместе с другими писаками, коим нет числа,— неужели ты сомневаешься, что после этого германские суды вернули бы себе прежнее влияние и наше отечество, которое ныне, расставшись со старинными нравами и обычаями, уже не слывет у чужеземцев оплотом справедливости и правосудия, вновь обрело бы древнюю свою честь и возвратилось к исконному величию и блеску?

К у п е ц. Нисколько не сомневаюсь.

Г у т т е н. Стало быть, крючкотворы — самые опасные разбойники в Германии!

К у п е ц. Конечно! Ведь другие только вещи у людей отбирают, а эти, погубив право и похитив законы, сосут кровь у несчастных жертв и лишают их всякого душевного покоя: жестоко мучат тягостными мыслями, немилосердно сокрушают печалью и скорбью и подтачивают силы, словно чахотка.

Г у т т е н. Но можем ли мы допустить, чтобы негодяи и впредь оставались негодяями? Почему бы не пойти нам по стопам наших предков, этих доблестных мужей, которые, разгромив войско римлян и освободив отечество, убивали всех подряд и лишь на адвокатов обрушились с какою-то особенной яростью: видя, что именно от адвокатов они терпят самые возмутительные обиды и утеснения, они считали себя в полном праве разделаться с ними так свирепо, как ни с кем больше. И вот, где

бы ни попадался им в руки пустозвон-защитник, они вырезали ему язык и зашивали губы, приговаривая: «Наконец-то ты перестанешь шипеть, гадюка!»

К у п е ц. Ах, если бы все немцы благосклонно прислушались к твоим речам и под корень, всех до последнего, извели мерзавцев, у которых высшее право — то же, что высшее бесправие, и освободили нашу родину от злого ига!

Ф р а н ц. Да, если бы они прислушались! И все же бессовестное племя писцов и юристов менее вредоносно, нежели нечестивые попы и те, что зовут себя духовенством или же клиром; они-то и занимают четвертое место среди грабителей, обирающих чересчур терпеливых германцев.

К у п е ц. Я уже ждал, когда ты к ним перейдешь.

Ф р а н ц. Да, да, перехожу, но тут необходимо, чтобы мой Гуттен подсказал мне и нужные слова, и само содержание речи, если мне придется говорить, а еще лучше — пусть все изложит сам, ибо этот предмет отлично ему знаком: ведь он жил в Риме и даже водил знакомство с попами, так что изучил все до тонкостей.

К у п е ц. Верно, так будет лучше.

Ф р а н ц. Что ж, Гуттен, начинай и покажи нам священнодействующих разбойников.

Г у т т е н. Ни в коем случае! Рассказывай, что ты знаешь, а я кое-что добавлю, когда это будет уместно.

Ф р а н ц. Итак, самые алчные грабители в наше время — попы. Они хватают то, к чему нигде ни один разбойник не дерзает прикасаться,— словно им лишь одним это дозволено или словно существует некий священный грабеж,— хватают так, что переходят всякую меру и границу. А ведь когда-то они просили милостыню у тех, кого сегодня обирают силой. Вот вам, например, германские епископы. Среди них есть настоящие воители, от которых никому, пожалуй, не уберечь наследственного достояния,— с такой жадностью ведут они дела своей церкви, пользуясь самыми неблаговидными предлогами для того, чтобы приумножить ее владения. Нет, наши предки ни за что бы не поверили, если бы кто-нибудь взялся их убеждать, что, мол, придет время, когда те самые нищие, которым они так щедро подают милостыню, будут так нагло грабить их потомков!

Г у т т е н. Ах, как громко я об этом кричал и как долго — а все впустую! Даже того не достиг, чтоб обернулись назад и вспомнили о первых и подлинно христианских служителях святыни! Церковью все считают ту грязную клоаку, которую видят ныне перед глазами.

К у п е ц. А я не раз слышал, что германский народ (в особенности — горожане) намеревался потребовать, чтобы все это сословие было подвергнуто особому испытанию и те, для кого имя духовного лица — лишь надежный покров, были бы изгнаны. Но, говорят, вы воспротивились и не позволили ущемить интересы ваших родичей.

Г у т т е н. Да разве все попы — из дворян, разве не каждое сословие сливает свою долю нечистот в эту выгребную яму?

Ф р а н ц. А если бы и не так,— разве не предпочли бы мы помочь отечеству, которое всем нам дорого, вместо того чтобы оказывать благодеяние горстке людей, не ведающих чувства благодарности? Мы знаем наверное (и убедиться в этом можно где угодно), что все перешедшие от нас в духовное сословие оказываются предателями и никого не обременяют они сильнее, чем свойственников своих и родичей, у которых без конца вымогают пожертвования для своих церквей, но как много ни получат — всегда недовольны. Доходит до того, что иные сначала бог знает сколько отдают в Риме за приход, а потом притязают еще на равную с нами долю в наследстве. Они и думать не думают о том, что после нас остаются дети, о которых необходимо позаботиться (а им только и заботы, что прокормить какую-нибудь одну любовницу да нескольких слуг),— знай себе тащат и тащат без жалости, не помня о кровном родстве. Много тащат каноники, еще больше епископы, и недаром говорится, что духовные, чуть только примут сан, сразу проникаются алчностью и неблагодарностью и приобретают вкус к роскоши.

К у п е ц. Верно.

Ф р а н ц. И не лучше ли, чтобы они вовсе исчезли, чем оставались такими, как есть? И хотя дело это касается всех, кто должен позаботиться о нем скорее, нежели мы, бедные рыцари? Ведь города хоть в какой-то мере оградили себя от их грабежей, и только мы безоружны и беззащитны. А так как суеверия всегда проникают к нам особенно легко и пускают особенно глубокие корни, мы давали на церковь больше, чем любое другое сословие, и до сих пор наперебой несем пожертвования, разоряя родных детей. Все это чистая правда; духовенство чудовищно богато, утопает в роскоши, ведет жизнь изнеженную и полную наслаждений; но кое-кому попы ухитрились внушить чувство признательности, устраивая для них пышные пиры. И вот эти болваны, ради того чтобы несколько раз как следует угоститься, многое дарят им при жизни и многое оставляют по завещанию, забывая о своем потомстве.

К у п е ц. Опомнитесь же!

Ф р а н ц. Непременно!

К у п е ц. И позаботьтесь о благе всего государства!

Ф р а н ц. Уже давно бы позаботились, если бы не мешало княжеское сословие, из которого выходят соискатели, притязающие на епископские кафедры; они-то как раз и выступают против законов, доведя нас, рыцарей, почти до отчаяния. Если бы «архипастыри» увидели, что вы упорно добиваетесь своего,— представляешь ли ты себе, как бы они на вас ополчились, призвав на подмогу родственников, которые не могут допустить, чтобы их близких обобрали: ведь иначе духовные владыки вынуждены будут вернуться в наследственные свои владения! Иного выхода у них нет, ибо, как правило, они бедны и живут на церковные доходы.

К у п е ц. Наконец-то я понял, из-за чего откладывается славное и чрезвычайно нужное дело.

Ф р а н ц. Да, только из-за этого.

К у п е ц. А князья — люди злонамеренные или порядочные, но просто больше заботящиеся о собственной выгоде, чем о благе всего государства?

Ф р а н ц. Чем бы они ни были, но навсегда сохранить нынешнее положение им не удастся: придет время позаботиться и об интересах государства — даже вопреки их желанию.

К у п е ц. Поскорее бы! И пусть люди условятся: раз духовное сословие обременительно для всех, то и приговор ему выносить должны все вместе.

Ф р а н ц. Я не возражаю.

Г у т т е н. И я согласен! Ведь священники в наше время не таковы, какими им следует быть, и по Христовым заветам не живут. Им бы как можно решительнее бежать благ преходящих, а они стремятся к ним всеми помыслами и пекутся о вещах самых пустых и ничтожных. Что сейчас приятно — к тому и тянутся, тому отдаются и ставят превыше всего, а о будущем не заботятся и далеко не столь высоко ценят блага жизни грядущей, о которой они только говорят, но уже не верят в нее. Ведь если бы верили, то не погрязали бы в роскоши так глубоко и не пренебрегали бы так открыто своими обязанностями — они, не духом живущие, но слепо повинующиеся велениям плоти; одни из них нежно благоухают душистыми притираниями и всевозможными сладчайшими ароматами, от других гнусно разит омерзительнейшею вонью бардака. И это называется духовенством!

Ф р а н ц Не забудь, что только они одни владеют богатствами безмятежно, ничего не опасаясь.

К у п е ц. Нам, купеческому сословию, остается только вздохнуть, вспоминая, как вы жесточайшим образом осуждали нас за чрезмерное пристрастие к богатству.

Ф р а н ц. Разве я не говорил, что есть еще такие господа, по сравнению с которыми все остальные уже и разбойниками не кажутся?

К у п е ц. Говорил, а теперь и доказал.

Ф р а н ц. Эти богачи еще хуже вас, ибо по самой сути своей должны бы презирать богатство, но, вместо этого, только к богатству и рвутся, всеми правдами и неправдами, а дорвавшись, проматывают его, погрязая в роскоши и распутстве.

К у п е ц. Верно.

Ф р а н ц. И нет сейчас стяжателей более алчных, чем они. Видал ты хоть кого-нибудь, кто добивался бы прихода с иной целью, кроме обогащения, покоя и всяческих удовольствий?

К у п е ц. Нет, не видел.

Г у т т е н. А ведь все это должно быть чуждо духовному сословию, как было в давние времена, когда священники были поистине священниками и под внушающим почтение именем не скрывался нестерпимый срам. Но могут ли быть иными члены этого сословия, если в него принимают не прежде, чем оценят имущество будущего собрата? И выходит, что любой чурбан и невежда, будь у него только кошель потуже набит, вступает туда без всяких затруднений, а людьми учеными и благонравными гнушаются и пренебрегают. Потому и возвышенные занятия (и прежде всего — изучение Священного писания) стали величайшею редкостью, уделом немногих знатоков, претерпевающих именно по этой причине утеснения и обиды, меж тем как неучи торжественно именуются владыками, облечены саном каноника, прелата, епископа, позвякивают золотом в карманах и стремительно взбегают по лестнице почетных должностей; в своем ἀπαιδία[1] они безмятежно властвуют и вполне удовлетворительно блюдут собственные интересы, а вот стадо, лишенное пастыря, — порученный их попечениям народ христианский,— не блюдут. Пасет ли кто из них теперь овец Христовых?

Ф р а н ц. Я таких не знаю, вот разве что Лютер и его немногочисленные единомышленники недавно за это взялись и сразу же возбудили жесточайшую ненависть к себе, словно государственный переворот замыслили или святынею небрегут. Все остальные знай себе богатеют да кладут в сундуки похищен-

[1] невежестве *(греч.)*.

ное у нас добро, а несчастных овечек пожирают, даже не вспоминая о своем долге пасти их и охранять.

Гуттен. Правильно! А укажи мне хоть одного епископа-проповедника в Германии.

Франц. Не могу. Храбрых охотников — могу, и неутомимых воителей — тоже, и даже бесстыжих мужеложцев и многоопытных развратников. Все они ищут внешнего блеска, трудов же бегут. Но первая их забота — обогащение, ради денег они на все пойдут (впрочем, чувство удовлетворения им незнакомо, ибо их алчность ненасытна). И они не только сами творят зло ради наживы, но и другим разрешают, а нередко даже приказывают. Кто в наше время не может грабить безнаказанно, если часть добычи он пожертвует какому-нибудь храму, в особенности — если щедро одарит монастырь? Стало быть, и красть можно, и обманывать, и мошенничать, даже убивать — лишь бы нашлось чем заплатить попам. А они тут же набегут, предлагая свои отпущения тем самым людям, которым (не будь у них денег) отказали бы в благословении, прежде чем те не совершат по их приказу паломничества в Рим или в отдаленнейшие пределы Испании, или в Сирию и Иудею, или, наконец, прежде чем тех не высекут нагими перед крестом,— даже это право они дерзнули себе присвоить! Короче говоря, они сулят нам все, что угодно, на все смотрят сквозь пальцы и легко прощают любое, даже самое страшное преступление — только бы выдоить из нас побольше денег.

Гуттен. И все это — вопреки воле Христовой! Верно, спаситель не хотел губить грешников — но лишь на том условии, чтобы они раскаялись, и не предполагал, что небеса пустят в продажу.

Франц. Иными словами — они презрели все законы божеские и человеческие и все перевернули вверх дном в погоне за наживой, которой жаждут так неуемно, что мечтали бы наживаться на каждом нашем поступке, более того — на каждом намерении и помышлении! Для этой цели они и выдумали исповедь, доставляющую им самый обильный из уловов; и тут, в достаточной мере открыто, выказывают свое нечестие те, кого ты, Гуттен, ненавидишь самой жестокой ненавистью,— святые побирушки, нищенствующая братия.

Гуттен. Совершенно правильно! Опытные погубители, они знают, как подольститься получше, чтобы побольше выдоить. К этому направлены и их проповеди: тех, кто дает, они восхваляют наилюбезнейшим образом, а попробуй не дай — и они осыплют тебя угрозами, изругают и проклянут. И верно,

никого-то не подвигли они к благочестию, рассевая слово божие, и только суеверия повсюду разжигают, сочиняя всевозможные басни, и к праведной жизни не зовут они нас собственным благим примером, но хвастливой пышностью церемоний вынуждают бросать деньги на ветер. Те из них, кто поучает народ, уж лучше бы помалкивали, ибо слово господне они не проповедуют, а вздор и ерунду проповедуют охотно. Так и получается, что Евангелие (а вместе с ним — чуть ли не сам Христос) потеряло всякую силу.

К у п е ц. Вот то-то и оно! Я вижу, как повсюду краснобаи, повествуя о мнимых чудесах, делают обильнейшие сборы. И если замечают, что мы раскошеливаемся, то сулят нам небесные радости и жизнь, исполненную дивного блаженства, а если выручки нет никакой — до того запугивают грядущими муками и казнями, что иных чуть не до петли доводят!

Г у т т е н. По их вине мы не только сравнялись с язычниками в мишурной суетности обрядов, но и намного их превзошли. Всякое благо, на которое люди уповают, всякая беда, которой они страшатся, имеет теперь своего особого святого: тот посылает и отвращает безумие, этот во гневе поражает проказой, а смилостивившись, сам же исцеляет; один — желтухой, другой — лихорадкой, а кое-кто чесоткой и язвами заставляют смертных благоговейно себя чтить. Есть один, который, если ему помолиться, лечит рожу, найдена небесная заступница, утишающая зубную боль. Кто бы подумал, что у французской болезни — недуга, который ни единому из прошедших веков известен не был, есть собственный, и к тому же древний, святой? Однако попы и такого раздобыли! Да что там — в наше время иные причислялись к лику святых как раз благодаря болезням: так изобретательны попы, когда дело касается прибыли. Даже то, что почитается определением судьбы, люди суеверные стараются вымолить или же, напротив, отвратить, обращаясь к определенным святым,— я говорю о богатстве, здоровье, красоте, долгой жизни, неволе, пожарах, кораблекрушениях, смерти и всяческих неожиданностях. Одному лишь Христу ничего не осталось, один лишь он нищ и бессилен: его предали забвению и молятся теперь не богу, а этим новым крохотным божкам, словно спаситель так щедро оделил других своей силою и мощью, что исчерпал ее всю до последней капли. Верить в свои выдумки попы заставляют с помощью рассказов о чудесах, которые якобы совершаются непрерывно, однако показать чудо в миг его свершения не удалось ни разу. Но что там ни толкуй, а жатву они собирают обильную — пользуясь

хитрыми приемами, которые им хорошо известны; впрочем, приемы эти немцы легко бы разгадали, не будь мозги у них большею частью свинцовые.

К у п е ц. Я думаю, что те же самые духовные уговорили нас устраивать праздники по всякому поводу,— им-то это выгодно!

Г у т т е н. Они самые. Отсюда же и пышные пиры после крещения младенцев, и невыносимые, непомерные расходы на похороны. Они продают участки земли для могил и склепов и подпускают покойника тем ближе к себе, чем больше монеток он отсчитал им при жизни. И тут нередко выуживаются целые поместья, присбретаются земли и загородные дома.

Ф р а н ц. Да он это превосходно знает на примере своих Фуггеров, к которым те относятся с величайшим почтением, ибо получают от них самые щедрые дары. Ты когда-нибудь видел, Гуттен, знаменитый склеп Фуггеров в Аугсбурге?

Г у т т е н. Кто же его не видел?

Ф р а н ц. Ах, как он выстроен!

Г у т т е н. Да, по-королевски! Но кому повезло — так это кармелитам; вот почему склеп, что ни день, окружен их благочестивым бормотанием и сладкозвучными молитвами.

К у п е ц. Оставь в покое Фуггеров — ты уж их и так достаточно опорочил — и продолжай о священнодействующих разбойниках.

Г у т т е н. Да ведь среди них числятся и сами Фуггеры: они вмешались и в дела духовенства — грабить несчастную Германию одним-единственным способом им было недостаточно.

К у п е ц. Чтобы Фуггеры заключали сделки с духовенством — об этом я еще не слыхивал.

Г у т т е н. Скоро услышишь, когда я буду говорить о куртизанах и торговцах церковным достоянием.

Ф р а н ц. Но что мешает тебе говорить о них уже теперь?

Г у т т е н. А то, что сначала нужно сказать о нищенствующих монахах, которые, пользуясь ложною славой бедняков, копят деньги и, по слову комедиографа,

«Все решительно имеют, не имея ничего,
И хоть ничего нет вовсе, недостатка нет ни в чем».

И до того жадно гоняются они за деньгами, что уж и скотина у них привыкла клянчить милостыню вместе с хозяевами.

К у п е ц. Вот-вот, клянусь, ты прав! У братьев из конгрегации святого Антония свиньи откармливаются за чужой счет,

бродя из дома в дом и выпрашивая пищу,— так их монахи научили.

Гуттен. Бараны, посвященные духу святому, тоже выучились бы этой премудрости, не будь они от природы чуть менее сообразительны. Впрочем, кое-какие успехи они уже делают.

Купец. Ну, разумеется, выучатся!

Гуттен. А почему сейчас так много монашеских орденов? Да потому лишь, что просто побираться, и всего одним способом, им кажется недостаточно выгодным. Им угодно просить подаяния по-разному и во многих обличиях.

Франц. Но как с самого начала удалось склонить немцев к тому, чтобы они одобрили подобные дурачества и позволили укорениться у себя самому отвратительному обычаю?

Гуттен. Дело в том, что вообще пустое суеверие легче поселяется в душе, чем подлинная, настоящая вера, и еще в том, что начиналось все это с сущих пустяков, потом понемногу окрепло и очень медленно принялось распространяться вширь; так длилось до тех пор, пока священная нищенствующая братия не вошла в силу. Но так как теперь их гнусные, подлые приемы становятся известны каждому, я не сомневаюсь, что эта шайка отъявленных разбойников идет навстречу гибели. Ибо нет, я уверен, более опасных для Германии грабителей, где бы и как бы ни занимались они своим ремеслом: они побивают всех и числом, и усердием в разбоях, любовью к ним и упорством, они попадаются на всех дорогах, кишмя кишат в городах, селах, поместьях и крепостях Если и есть среди них люди порядочные, то, поскольку все-таки живут они разбойничьей добычей, трудно поверить, чтобы, одержимые страстью к наживе, они не могли порою легко склонить свои помыслы к пороку и злу. И, во всяком случае, никто не умеет так ловко лицемерить и обманом забирать людей в свои руки. Бабенки, которые ходят к ним исповедоваться, жадно ловят каждое их слово и тащат отовсюду — у мужей, у детей, у кого ни попало — чтобы отдать им. Вот это и есть благочестивый грабеж, благочестивое воровство.

Франц. Я бы сказал, что оно заслуживает наказания в десять раз более сурового, чем любое нечестие!

Гуттен. А сам хотел выстроить новое гнездо древоногим францисканцам, и если бы я не вмешался и не отговорил тебя, сейчас оно было бы уже готово.

Франц. Да, признаюсь, хотел, и к этому времени уже отстроил бы. И я попался в их тенета — так же, как другие.

Гуттен. Стало быть, первое условие нашего благополучия — это умение распознавать их обманы и коварство.

Трудно исчислить способы, какими они прибирают к рукам наше наследственное достояние, рассказать об удивительных приемах и разнообразных хитростях, применяемых ради уловления душ наших, о том, какую жатву снимают эти гнусные льстецы, более угодливые, нежели все паразиты, вместе взятые, выслеживая трапезы богачей и не отходя от дверей сильных мира сего. Получив подаяние, они удаляются, скорбно насупившись, а в душе радуются и ликуют. Некоторые, в силу особого обета, денег не берут, но зато берут вином, хлебом и всевозможными продуктами — берут куда больше и обильнее, чем могли бы взять деньгами; и поступают разумнее всех прочих, ибо иной раз щедрые даяния немногих людей возмещают неудачу долгих сборов с протянутой рукой. Таковы-то их замыслы, таково мастерство! Так властвуют монахи-пустынножители, которые, впрочем, монахами не являются, ибо уединенной жизни не ведут, и, право же, меньше, чем кто-либо еще, стóят они того, чтобы из-за них терпеть дороговизну в Германии! Ведь они и теперь ни к чему не пригодны и впредь ждать от них пользы нечего: не с этою целью учреждены монашеские ордена.

Ф р а н ц. А как они были учреждены с самого начала?

Г у т т е н. Сейчас расскажу, чтобы ты мог объяснить Карлу. Но прежде всего запомни хорошенько, что я буду говорить не о тех монахах, которые жили семьсот лет назад, не о тех славных мужах, которые, презрев соблазны жизни сей, отрекаясь от всех мирских забот и даже наслаждения плоти поправ ногами, удалялись в пустынь, где ничто не мешало им предаваться размышлениям; о заведенных у них порядках и образе жизни многие люди, столь же ученые, сколь благочестивые, написали целые книги. Нет, я буду говорить о тех, что ныне наводнили весь мир и подчиняются различным уставам, подлежащим утверждению у папы в Риме; лишь очень немногие из подобных орденов были действительно основаны теми, от кого выводят они свое происхождение: по большей части монахи обманывают толпу, придумывая себе мнимого учредителя и основателя. Среди них — и нищенствующая братия, которая впервые обнаружила свою ненависть к германским императорам во времена Фридриха Второго, а затем (все более и более открыто) — при германских государях, воевавших с папами. Отлично понимая, что их тирания ни в коем случае не выстоит перед мощью наших императоров, папы решили отправить к нам этих лицемеров, чтобы те расположили немцев в их пользу, рассказывая повсюду об их силе и могуществе, которое они якобы получают от Христа в качестве преемников Петровых, и убеждая

простой народ, что папы-де святы, даже если жизнь их запятнана пороком. Тогда впервые христианский люд был обманом похищен у Христа и подпал власти антихриста-папы, поддавшись скорее искушению, чем убеждению. Так преуспели эти мнимые апостолы, лжеучители, опытные в искусстве льстить слуху людей.

Франц. Обстоятельства, о которых ты рассказываешь, еще не всем известны, но стоило бы довести их до всеобщего сведения.

Гуттен. Конечно, стоило бы! И уж ты позаботься, чтобы о них узнал Карл.

Франц. Непременно узнает... Ну, а другие ордена, как они появились на свет?

Гуттен. Сатанинским наущением — все до одного: разделить Христа на части — вот чего хотелось диаволу, а ведь против этого упорно боролся некогда еще Павел, лучший из апостолов!

Франц. Что ты говоришь?

Гуттен. Истинную правду! Ибо в земной своей жизни ничего так не осуждал Христос, как это пагубное лицемерие, которое монахи, не таясь, обнаруживают в одеяниях, речах, обрядах, короче говоря — во всем! И как раз тогда, когда они разыгрывают самую благочестивую из своих ролей, они дальше всего от благочестия. Каждое их действие, каждый поступок — часть невиданных прежде и бесконечно разнообразных обрядов, которые они повсюду являют взорам людей и которые служат самым надежным орудием обмана; это притворство увлекает род человеческий по пути ужасных заблуждений. Подумай сам, кто в наше время постригается в монахи (не говоря лишь о невинных мальчиках, которых до срока забирают в обитель), кто, кроме людей, которые отчаялись в будущем или ленятся работать собственными руками и не ищут ничего, кроме праздности? Или рабов собственной утробы? Или тех, кто опозорен и не в силах более сносить свой позор? Но нет никого, кто пришел бы служить Христу и взращивать плоды в святом его вертограде, ибо если человек проникся таким намерением, его легче исполнить любым другим способом, но только не принося обета! А потому они обречены гибели, и все насаждение это искоренится, ибо не бог, отец наш, насадил его, но злой враг — диавол: не в силах возмутить церковь Христову иным путем, он приступил отсюда и, посеяв различия во мнениях, разделив на секты единое стадо, старается опустошить овчарню Христову.

Франц. Теперь лишь я начинаю понимать, что ни в коем случае нельзя терпеть этих людей. Если ничего дурного за ними

не числится, то незачем одеваться так необычно, ибо в сердцах и помыслах читает бог, и никакой другой рекомендации, кроме добрых дел, у людей быть не должно, а добрые дела напоказ не выставляются, но лишь приводятся в пример. Если же это люди испорченные, то как опасно общение с ними, в особенности когда последний негодяй среди них почитается за человека безупречного!

Гуттен. В том-то и вся суть! Но, хотя они подчиняются самым различным уставам, хотя жестоко соперничают друг с другом, изводя себя взаимной ненавистью и злобой,— знаешь ли, в чем все они сходятся?

Франц. Нет, не знаю, и вообще не думаю, чтобы они хоть в чем-нибудь сходились,— такие у них раздоры по любому поводу, так старается каждый из орденов ничем не походить на другие — ни одеждой, ни строениями, ни проповедями, ни богослужением, ни молитвами, ни песнопениями, ни обрядами, ни телодвижениями; словом — ни единой черточкой как в обыденном поведении, так и в богослужении.

Гуттен. Во всем остальном ты совершенно прав, но есть один предмет, который не вызывает у них ни малейших разногласий: словно составив какой-то заговор против наук и ученых, они преследуют их с такой свирепостью и ожесточением, что охотно уступят в чем-нибудь еще, лишь бы тут не отступить ни на шаг. А больше нет ничего, что было бы всем одинаково и в равной мере угодно или же неугодно.

Франц. Отсюда же, по-видимому, и заговор против Лютера.

Гуттен. И против других — тоже. Ибо кому из людей подлинно ученых не грозит их вражда?

Франц. Я полагаю, причина здесь та, что монахи опасаются, как бы проповедь истины, которую возвещают ученые, не повредила их интересам и не сделала подаяние менее обильным.

Гуттен. Верно. А так как сами они чудовищно невежественны, то завидуют ученым и на каждого из них смотрят с подозрением.

Франц. И правильно делают, ибо благодаря наукам ныне вновь обретает самое себя Германия.

Гуттен. Да, благодаря наукам.

Франц. И я надеюсь, что они же принесут гибель монахам.

Гуттен. Они же — если только вы, вняв нашим убеждениям, не будете больше прислушиваться к словам гнусных паразитов, все речи и действия которых направлены лишь к то-

му, чтобы самим разжиться, а вас обобрать с помощью благочестивого обмана.

Ф р а н ц. А разве бывает благочестивый обман?

Г у т т е н. Они говорят, что да, но природа отрицает, и осуждает бог, который пожелал, чтобы к вере в него род человеческий был обращен проповедью истины, а не ложью и выдумками.

Ф р а н ц. Значит, нам нужно изгнать этих святош, освободить место для истинного благочестия и положить конец злому грабежу. Насколько я понимаю, Германию нельзя исцелить без того, чтобы елико возможно сократить духовенство в числе, а с монашеством, как ты советуешь, надо покончить совсем. И я все снова и снова буду внушать эту мысль моему государю Карлу, дабы он перестал смотреть сквозь пальцы на целые орды бездельников, по вине которых Германия страдает от дороговизны.

Г у т т е н. Посоветуй-ка ему последовать примеру подлинно великого императора Александра Севéра, который сказал: «Глуп и ничтожен, как последний мальчишка, тот император, что за счет населения провинций содержит ненужных и бесполезных для государства людей».

Ф р а н ц. Этот пример мне нравится — принимая в рассуждение хотя бы то, кто его подал.

Г у т т е н. Тогда преподай Карлу еще один, идущий от того же императора.

Ф р а н ц. Какой?

Г у т т е н. Севéр строго-настрого запретил держать в храме больше четырех-пяти фунтов серебра, а что касается золота, то сам он ни разу не принес в дар богам ни одной крошки, ни самого тоненького листика.

Ф р а н ц. О, если бы этот мудрый государь жил в наше время! Какое бы, по-твоему, решение он принял, видя, что вокруг священников все только золото да серебро и что они требуют дорогих камней и бог знает каких еще драгоценностей и почитают грехом прикоснуться к дереву или глине?

Г у т т е н. Такое же точно, какое следует принять и нашему Карлу, в случае если придется воевать за отечество, а денег не хватит.

Ф р а н ц. Но какое же все-таки?

Г у т т е н. Он собрал бы золото и серебро в церквах, сколько его там ни есть, а драгоценные камни продал и все вырученные деньги обратил бы на содержание армии, чтобы оказать государству необходимую помощь.

Ф р а н ц. Ну, а если войны нет?

Г у т т е н. Тем не менее я считаю, что все это нужно из храмов изъять, а священников, ревнуя о благочестии, освободить от бремени богатства, которое им в тягость.

Ф р а н ц. Полезный совет, уже потому хотя бы, что пока такие вещи находятся в храмах, они смущают души жаждою стяжания. Когда же священные сосуды будут из глины, а митры епископов из полотна, это будет для нас постоянным напоминанием о христианской умеренности. Ведь злополучное золото, вторгшись в храмы, изгнало из них Христа, и оно же исторгло истинное благочестие из душ и вложило в них любовь к себе — к золоту. Так покончим же с причиною столь тяжких бедствий, покончим раз и навсегда, а затем навсегда закроем перед ней ворота Германии. Этого хотят все, все к этому стремятся!

К у п е ц. Какое прекрасное, какое радостное начинание, лишь бы только вам удалось взять верх!

Г у т т е н. Верх возьмет Христос: ведь это и его забота, он одолеет тех, что поднялись против него.

К у п е ц. Ну, а с куртизанами как обстоят дела?

Г у т т е н. Хорошо! Ненависть к ним начинает расти — наконец-то мы этого добились!

Ф р а н ц. Если мы переходим к куртизанам, то, по-моему, Гуттен, ты должен сначала рассказать нам, какими пороками изобилует город Рим и сколько их.

Г у т т е н. Сочти лучше звезды и песок морской!

Ф р а н ц. Ну, хоть что-нибудь скажи о столице нынешних лжеепископов.

Г у т т е н. Да ведь есть диалоги и другие мои сочинения на эту тему. Читайте!

Ф р а н ц. Как будто сейчас лучше сесть за книгу, чем продолжать нашу дружескую беседу!

Г у т т е н. Так запомните же самое основное: все в Риме ужасно, все вывернуто наизнанку, как говорится — μηδὲν ὑγιές[1]. И это тем более опасно и пагубно, что город Рим избрали столицею церкви и воздвигли в нем того бесстыжего идола — папу,— коему разрешается все без изъятия: он может, если вздумает, принимать решения, противные учению Христову (что часто и случалось до сего времени), отступать от Евангелия как угодно далеко, награждать, кого заблагорассудится, блаженством,— даже если человек погряз в грехах,— и, напротив, осуждать на муки души невинных. Одним словом, он может

[1] живого места нет *(греч.)*.

столько, сколько отважится себе позволить, а перечить ему нельзя, нельзя даже роптать, и запрещается смещать папу, каким бы он ни был и какую бы жизнь ни вел,— запрещается, даже если этого хочет церковь: вот какую власть дает ему Базельский собор, подчиняя церковь папе и вознося его могущество превыше авторитета соборов. Всего этого Христос не заповедовал, и самой природе нестерпимо, чтобы кто-то из смертных владел тем, что принадлежит бессмертному богу. Однако так бы оно и было, если бы только они не лгали, уверяя, будто Христос даровал им право разрешать и связывать по своему усмотрению и что всякое их слово будет одобрено на небесах у бога-отца.

К у п е ц. Постой-ка, я не совсем понимаю: стало быть, Христос не даровал им этого права?

Г у т т е н. Нет, почему же, даровал — при условии, что любовь в них будет совершенна, но и то не в большей мере им, чем тебе или мне, или любому истинному христианину.

К у п е ц. Значит, каждому христианину, где бы он ни был, дано связывать и разрешать?

Г у т т е н. Каждому из нас, если только мы доподлинно христиане и ясно представляем себе, что до́лжно связывать и разрешать.

К у п е ц. Что же в таком случае надлежит связывать и что разрешать?

Г у т т е н. Я полагаю — узы грешников, но не заветы Священного писания, ибо для слова божия, как учит Павел, нет уз, и закон, по свидетельству Христа, не будет нарушен вовеки, даже тогда, когда исчезнет земля, и небо, и все сущее.

К у п е ц. Значит, ты не желаешь, чтобы одному человеку принадлежала вся полнота власти?

Г у т т е н. Как же — а император и светские государи, которым следует подчиняться, по примеру Христа и учению апостольскому? Но между епископами и духовными владыками, если следовать воле Христа, не должно быть такого, который повелевал бы другим, напротив, спаситель желал, чтобы первый и лучший среди них был для них слугою.

К у п е ц. А все же Петру он дал больше, чем остальным.

Г у т т е н. Да, потому что Петр любил его больше, чем остальные. Ты видишь, что к соревнованию в любви побуждал он их, а не к искательству почестей или к погоне за главенством. Но эти следуют иным путем и ради богатства и власти всю жизнь воительствуют на суше и на море, неся огонь и меч. Скажи мне, однако, обладал Петр властью над своими соапостолами?

К у п е ц. Если я только не ошибаюсь, папы говорят, что да, и на этом основании полагают и свою власть вполне законной.

Г у т т е н. А Писание говорит «нет», ибо он шел, куда его посылали другие, подчинялся собору, смиренно выслушивал укоры Павла и держал себя с братьями как ровня. И это значит «обладать властью»?

К у п е ц. Нет, не значит. Но разве подобает церкви быть без главы?

Г у т т е н. Конечно, нет! И она обладает главою — это сам Христос!

К у п е ц. Что Христос — глава церкви, они не отрицают, но вышний, небесный, а потому нужен еще наместник, земной глава.

Г у т т е н. Нет, не нужен. К чему мне эта двуглавая церковь? Разве и здесь, на земле, Христос не с нами и разве не пребудет он с нами вовек, если обещал никогда отсюда не уходить?

К у п е ц. Да, я помню.

Г у т т е н. Так статочное ли дело, чтобы он доверил свое место другому, если желает все обязанности исполнять сам? А если бы даже и доверил, то уж никак не позволил бы грешнику распоряжаться всем тем, на что притязают папы: ведь и Петра он поставил пастырем лишь после трехкратного исповедания любви. Как же эта должность, на которую некогда избирал сам господь, ныне передается людьми из рук в руки, без всякого испытания и разбора?!

К у п е ц. Теперь я понимаю, что это невозможно.

Г у т т е н. Тогда согласись, что невозможна и непогрешимость, которую приписывает папе его курия: папа-де не заблуждается ни в одном из своих поступков, слов или решений; но вместе с тем они не отрицают, что его святейшество — смертный человек и, стало быть, не чужд первородному греху. А как согласовать с обычаем апостольским, которому обязаны подражать наши святейшие отцы, то, что они алчно домогаются чужого имущества, хотя должны бы и свое-то оставлять по доброй воле? И то, что, вопреки повелению объявить войну миру и отказаться от всех плотских наслаждений, они, желая уйти от Христа как можно дальше, проводят жизнь в утехах плоти и в союзе с миром воюют против духа? О, сколь свят будет, по моему убеждению, любой, кто по внушению любви войдет в покинутую пастырем овчарню Христову, дабы ревностно пасти его стадо! Лишь такой человек — можно надеяться — выполнил бы повеление доброго пастыря, служа другим и, как говорит Павел, ища не своего, но пользы другого. А эти, нынешние, не

для того становятся папами, чтобы денно и нощно печься о христианском люде и о распространении веры Христовой, но ради беззаботной и сладкой жизни подчиняют себе царства и империи. Где еще найдутся люди, которые бы так заботились о своих утехах и так умело и изысканно наслаждались, меж тем как никому труды и тяготы не приличествуют более, нежели им?

К у п е ц. Нигде. Но какое отношение имеет все это к куртизанам?

Г у т т е н. Да ведь они ведут дела папы римского и служат опорой его могущества: если бы куртизаны не исполняли так расторопно своих обязанностей, он не был бы всесилен. Их похотью, алчностью и честолюбием держится царство папы-антихриста, они — телохранители и пособники дурного господина, они обременили нас непомерною тиранией. Да, ибо это они вознесли его и, словно нечестивое племя в пустыне, расплавив в огне золото, сотворили себе нового бога, которому оказывают почести более чем божеские: справляют праздники, поют хвалы, прославляют повсюду и требуют, чтобы христиане все, как один, ему поклонялись. По их планам и замыслам то, что наши предки из благочестивого рвения пожертвовали некогда германским церквам — иными словами, пот и кровь наших предков,— ныне гнусно проматывается за границею последними негодяями. Они мешают всем порядочным и ученым людям Германии занять подобающий им высокий пост в церкви; вот и получается, что те, чья жизнь полна скверны, служат богу на самых видных местах, а тем, кто лучше других, места нет. Оно и понятно: какой порядочный человек захочет покупать себе приход или епископат? А из-за них никто не может сподобиться благодати священства даром — в прямом противоречии с учением Христовым и апостольскими правилами. Нельзя даже придумать, нельзя измыслить кары, которая была бы для них достойным воздаянием,— в стольких чудовищных преступлениях они повинны, столь дурные примеры подают повсюду. В них источник всеобщего падения нравов, соблазн для малых сих, и нет злодеев более бесстыдных, ибо самые мерзкие свои проступки они прикрывают авторитетом церкви и, совершая смертные грехи, внушают людям мнение, будто исполняют свой долг. К тому же они подло изменяют отечеству: они разоряют его ради того, чтобы строить в другом месте; ради того, чтобы в чужом краю богател город Рим (от которого в награду за грязную свою угодливость получают долю в грабеже родной земли), они действуют во вред и убыток друзьям, родственникам и свойственникам, родителям. Станет ли теперь

кто-нибудь изумляться, что я ненавижу их сильнее, чем самого тирана-антихриста? Ведь это они — творцы его непомерного могущества, и никогда не дерзнул бы он заявить притязания на то, что они подносят ему сами и даже предлагают наперебой, а, стало быть, папа в случае надобности может сослаться на нашу добрую волю! Они без всякого принуждения, по собственному почину, пожелали облечь его такой властью, о какой он в ином случае и мечтать не посмел бы — не то что притязать на нее. Разве он когда-нибудь решился бы разбойничать в Германии, если бы не убедился заранее, что ворота широко распахнуты куртизанами? Вот оно новое, неслыханное доселе пиратство, которому они положили начало и хуже которого не бывало от века! Императора, повелителя всей земли, преданного куртизанами, подчинили себе папы и сначала отняли у него город Рим, потом — добрую часть Италии, а вслед за тем осмелились потребовать всю Западную империю, словно законное свое достояние. Германским князьям они предписывают правила и условия для выборов императора и запрещают возводить на престол того, чью кандидатуру они не одобряют и кто не принес им присяги на верность; они лишают его всякой власти, всякого права царствовать, если только он не подчиняется их требованиям, любое приветствие с его стороны, кроме лобызания стоп, почитают недостойным себя, именуют императора своим слугой и управляющим. Но это как раз и значит грабить, разбойничать и пиратствовать.

К у п е ц. Да, как раз это оно и значит. И в самом деле, чего стоят остальные грабежи в сравнении с грабежом «благочестивым»?

Г у т т е н. Почти что ничего. А что твои Фуггеры проделывают, ты знаешь?

К у п е ц. Нет, не знаю.

Г у т т е н. Я покажу тебе их проделки, да такие, за которые они заслуживают звания вождей всех куртизанов. Денег у них предостаточно, а тут деньги решают очень многое, потому Фуггеры и занимаются ремеслом куртизанов в самых широких пределах и как в торговле другими бесполезными товарами, так и здесь выступают в роли перекупщиков: покупают у папы по дешевке — чтобы потом перепродать втридорога — не только отдельные бенефиции, но даже грации целиком. Найдутся у них и буллы, и диспенсации проходят через их конторы. Легче всего приобрести должность, если ты друг Фуггерам: они сделают все, что нужно, умело и скоро, они единственные, через кого можно добиться в Риме чего угодно. Если бы нельзя было на них так

надежно положиться, многие в Германии и хлопот бы не стали затевать о должности; сама курия была бы вынуждена иной раз приостанавливать работу, если бы не Фуггеры: они с удивительной быстротой рассылают письма в разные концы, оказывая величайшую услугу Римской церкви, которая никогда еще не принимала более счастливого для себя решения, чем допустив к торговле святыней этих мирян. Впрочем, и они не прогадали, ибо зачастую наживаются на этом товаре не хуже, чем на индийском перце. Теперь ты видишь, что Фуггеры — тоже куртизаны?

К у п е ц. Слышу, но еще не вижу, потому что моими услугами в подобных случаях не пользовались ни разу.

Г у т т е н. Зато пользовались услугами других! Я видел в Риме старика Цинка, который весьма ловко обделывал такие дела.

К у п е ц. Может быть. Но ты еще с Римом не покончил.

Г у т т е н. Вот как возникла, окрепла и выросла безбожная курия, и за это время было роздано так много кардинальских шапок, точно слишком мало обирали христианский люд, заставляя его полностью ублаготворять одного тирана, пусть даже самого алчного. И все же я считал бы наши убытки не слишком большими, если бы мы теряли только деньги или даже лишились свободы, но веры бы нечестивая рука не коснулась. В старину несчастные германцы вовсе не решались возражать, когда их ощипывали подобным образом, а говорить этим разбойникам о свободе было невозможно, а теперь уж и о самом Евангелии нельзя им говорить без предварительного на то разрешения, и мы не смеем учением Христовым оборонять себя от их установлений. Самое истину они изгнали и слово божие близко не подпускают, чтобы освободить место для своих лживых и коварных вымыслов; так далеко зашла их наглость. Как же много нужно грабителей и какая неумолимая жестокость, чтобы похитить столько, сколько за все эти годы обманом исторгли у нас они, учредив столько должностей, столько званий, столько отличных друг от друга орденов, столько коллегий и братств, что число людей, вымогающих у нас милостыню, почти бесконечно?! Впрочем, это еще мелочь, а что сказать о князьях-епископах, которых они над нами поставили и которые, не довольствуясь щедростью наших предков — чрезмерной, да! чрезмерной, чрезмерной, Христос свидетель! щедростью, с избытком доставляющей им средства к существованию,— насильно, грубо (как уже упоминалось выше) рвут у нас из рук и остальное? Вот какое тягостное господство, опас-

ную и пагубную тиранию, и какой дорогой ценой купили неразумные пращуры наши, я бы, пожалуй, сказал даже — «нечестивые», ибо, без всякого сострадания к своему потомству, тех людей, которых другие прогнали бы мечами и копьями, они сами призвали и сделали нашими господами, издержав на это, вдобавок, свое имение. Но имение, приобретенное пóтом и кровью, они хотя бы отдали добровольно, а теперь, вопреки нашему желанию, с нас взимают деньги на содержание новых кардиналов — никому не нужных «сотворений» римского папы. Конца не видно ограблению Германии, не видно ни края, ни предела! А наши, воспользовавшись примером и опытом римлян, весьма умело применяют его и, благодаря обманам и хищениям, усилились настолько, что захватили самые богатые места Германии, заняли самые плодородные ее земли, взимают самые обильные пошлины. Как прочно удерживают они за собой оба берега Рейна!

Ф р а н ц. До того прочно, что Фридрих Третий любил называть Рейн «Поповской улицей», видя, что землями вдоль него, от истоков и до самого Океана, правят германские епископы.

Г у т т е н. А несчастное племя франков, как покорно оно подчиняется нечестивой поповской тирании!

Ф р а н ц. Если бы вы это уразумели, франки! Я вам всегда говорил и говорю: вы потому, прежде всего, потеряли гордое имя «вольных франков», которым называла вас древность, что с бóльшим раболепием, нежели любой другой народ, приняли на свои плечи это ярмо.

Г у т т е н. Не знаю, как другим, а мне стыдно; я день и ночь думаю о том, как бы нам вырваться из позорного плена, не перестаю призывать земляков вернуть себе свободу и, рискуя стяжать ненависть соплеменников, укоряю их в долготерпении, столь мало приличествующем мужам,— в том, что они позволяют шайкам молодых лоботрясов, у которых на уме одно пьянство да развлечения, бродить по нашей стране; и, не чувствуя, не понимая, какой опасностью грозит это женскому целомудрию, даже приглашают их к себе в дом и слишком охотно заводят знакомство с ними. Но к чему еще речи, когда все это у каждого перед глазами? Лучше я в немногих словах закончу о римлянах, сказав об их легатах — самом заразном из недугов, какие только посылают на землю разгневанные боги. Куда ни направятся они в сопровождении своих куртизанов, референдариев, писцов, каудатариев, хранителей печати, церемонийместеров и тому подобной челяди, повсюду оставляют следы

позора и бесчестья, преступления и безумия! Нет человека, которого общение с ними не сделало бы гаже,— разве что он уже и так испорчен до крайности! Право, худших примеров для окружающих сыскать невозможно! Всякий раз, как эти легаты приезжают, они увозят с собой золота без меры и счета, ибо единственное их задание — грабить всякое место, в какое ни попадут. И никто так дерзко не обдирает, не отхватывает, не рвет. Впрочем, свои злые козни они прикрывают достаточно благовидными предлогами. Те едут якобы для проверки духовных орденов; они разбирают дела и чинят суд и расправу, и ради добычи, но никак не правосудия, разрешают привлекать к ответу честных и скромных священников, и невинных осуждают, потому что доходу от них нет, а виновных принимают с распростертыми объятиями в расчете на то, что с их помощью смогут грабить свободно и безбоязненно. Эти просят у нас денег на войну с турками, которую они якобы собираются вскоре начать, и держат повсюду удивительно возвышенные речи о зверствах турок, часто возят с собою картины, на которых изображен враг, купающийся в христианской крови, и своим чудовищным враньем стараются растрогать простой народ, чтобы выжать из него серебро и золото. Иные обращаются за вспомоществованием на возведение обрушившегося собора святого Петра в Риме, другие придумывают другие басни. Куда бы они ни забрели, повсюду бойко торгуют благословениями и проклятиями и охотно продают как разрешения, так и запреты: препятствуют браку или, напротив, милостиво дозволяют, а иной раз, если найдут нужным, даже разводят, устанавливают законы касательно пищи, сотворенной богом для подкрепления тела, и по своему усмотрению назначают на должности и отрешают от них. Кроме того, они присутствуют на всех наших собраниях и встречах, когда обсуждаются дела первостепенной важности: тупоумные князья допускают их, словно нет ничего опасного для нас в том, что обо всем услышанном здесь они потом доносят папе в Рим. О несчастная, но сама повинная в своих бедах Германия! Ты глядишь — и не видишь, понимаешь — и не разумеешь!.. Но подобных примеров еще очень много, их можно припоминать без конца. А потому я все-таки закончу свою слишком затянувшуюся речь о священнодействующих разбойниках; за это время, Франц, мы могли бы услышать от тебя что-нибудь полезное, справедливость требует, чтобы и ты добавил свои соображения, если, по-твоему, я не все сказал.

Ф р а н ц. Сейчас мне нечего добавить. Пусть, если хочет, добавляет он.

К у п е ц. Нет, я не хочу. Но только прошу и заклинаю вас, позаботьтесь о том, чтобы Германия раз и навсегда избавилась от этих смертельно опасных для нее разбойников! Только теперь я понял смысл твоего обещания показать таких разбойников, по сравнению с которыми остальные — уже не разбойники. Да, конечно, когда узнаешь об этом грабеже, приходится забыть о любом другом, который ныне тревожит Германию.

Г у т т е н. Да, мы не будем сидеть сложа руки и, надеюсь, кое-чего добьемся, если только Франц станет мне ревностным помощником и не лишит меня своей поддержки.

Ф р а н ц. Я помогу тебе, но — в свое время, когда представится благоприятный случай. А ты, по-моему, слишком торопишься.

Г у т т е н. Да разве того, кто лишь теперь принимается за дело, можно упрекать в поспешности?! Разве можно еще выжидать благоприятного случая после этой бесконечной вереницы преступлений и разве не всякое время годится для того, чтобы оказать сопротивление их бесчинствам?!

Ф р а н ц. И тем не менее есть одно соображение, которое меня останавливает, и ты сам знаешь какое. Неужели ты хочешь, чтобы, начав не в срок, мы были разбиты теми, кто не думает о благе Германии?

Г у т т е н. Нет, избави бог! Не хочу!

Ф р а н ц. А я уверен, что так оно и будет, если найдутся люди, которые откликнутся на твой безрассудный призыв. Нет, уж ты подожди вместе со мною другого часа, и когда этот час придет, ты сам скажешь, что он гораздо благоприятнее для наших начинаний.

Г у т т е н. Подожду, если недолго осталось ждать.

Ф р а н ц. Совсем недолго, вряд ли я ошибаюсь! Германия приходит в себя и, пробужденная тобою и Лютером от какого-то глубокого сна, начинает распознавать обман, который ее усыпил. Мне кажется, она не может долее терпеть унизительного общения с бездельниками, а если бы даже и могла и не желала ни узнавать самое себя, ни замечать окружающего, Христос не допустил бы, чтобы и впредь, прячась под напускным благочестием, над ним измывались и искажали его заветы.

Г у т т е н. Но когда этот час наступит, мы должны, по-моему, забыв о прежних раздорах и недоброжелательстве, постараться, чтобы наиболее уважаемые города Германии сделались нашими союзниками. Я вижу, что они жадно тянутся к свободе и стыдятся мерзкого рабства, как ни одно из остальных

сословий. Они сильны и очень богаты, и если дело дойдет до войны (а я надеюсь, что в конце концов войны не миновать), дадут в изобилии и бойцов и денег.

Ф р а н ц. Я принимаю совет и согласен с твоим планом. Впрочем, я и сам уже давно решил про себя помириться с ними и заключить дружбу.

К у п е ц. Предложение необыкновенно заманчивое, если оно осуществимо!

Ф р а н ц. С моей стороны препятствий нет.

К у п е ц. Ах, если бы так! Наши-то хоть сейчас готовы, я знаю.

Ф р а н ц. Поверь мне, что я тоже готов.

Г у т т е н. Отлично, ибо в противном случае тебе не избежать упреков! Как бы там ни было, а я не перестану убеждать тебя и упрашивать, чтобы ты пошел навстречу желаниям немцев, что принесет нашему отечеству двойную пользу: прежде всего, прекратится пагубная распря и два наиболее могущественных сословия свяжет единодушие; а затем Германия вырвется из плена, в котором держат ее нечестивые попы,— плена самого жестокого, самого позорного,— христианская свобода будет восстановлена, просияет истина, умножится слава Христова.

К у п е ц. Все это, по-видимому, свидетельствует о том, что война с попами близится. Да ускорит господь, спаситель наш, ее приход, потому что, на мой взгляд, никогда еще не бывало столь основательной причины для немедленного объявления войны.

Г у т т е н. Ты говоришь дело. Ибо если правы были иные из императоров, под страхом жесточайших пыток запрещавшие покупать светские должности, то как нам поступить с теми, кто ныне торгует духовными? Разве нет у нас законного основания истребить их, свести под самый корень?! И если всегда считалось необходимым бороться против любой тирании, с каким рвением должны мы действовать теперь, когда тираны не только дерзко покушаются на наше имущество, не только отнимают у вас гражданскую свободу, но стараются погубить даже веру, высшую справедливость и религию, попирают истину, отвратили от ушей человеческих слово божие и уже замышляют изъять из помыслов наших самого Христа? Мало им терзать наше тело — и на душу (в той мере, в какой это от них зависит) изливают они лютую злобу, яростно на нее нападая.

К у п е ц. Чтоб уж они сами передохли, погубители души и тела! А ты неутомимо продолжай звать к борьбе, и пусть не оправдаются подозрения тех, которые, как мне известно, вре-

менами поговаривают, будто деньги и щедрые подачки сбили тебя с намеченного пути.

Гуттен. Несправедливые подозрения, от кого бы они ни исходили. Меня с пути не собьешь!

Франц. Да, он останется тверд, готов за него поручиться. Я хорошо знаю этого человека, знаю, в какие опасности он бросался очертя голову, чтобы навлечь беду на тех, чью ярость теперь может утишить, а душам вернуть покой, по-видимому, лишь его смерть и смерть Лютера: так они пылают гневом и пышут ненавистью за то, что Гуттен и Лютер открыли немцам глаза на их обманы и разоблачили их приемы.

Купец. Пусть случится все, что угодно, лишь бы не исполнилось их желание!

Франц. Эти слова должны произнести вместе с нами все порядочные люди... Ну, теперь ты видишь, что в Германии есть не один-единственный вид разбойников?

Купец. Вижу и всю жизнь буду помнить.

Франц. И впредь будешь говорить о нас более сдержанно?

Купец. Как нельзя сдержаннее и даже с любовью.

Франц. И миришься с нами?

Купец. С величайшей охотой, и вас прошу о том же.

Франц. Разве мы недостаточно выказали сегодня свое миролюбие, как тебе кажется?

Купец. Вполне достаточно, если то, что я услышал от вас, говорилось всерьез.

Франц. Всерьез.

Гуттен. Всерьез.

Франц. Дай мне твою руку.

Купец. Прими, сделай милость.

Франц. И Гуттену протяни руку.

Купец. С большим удовольствием. Вот она.

Гуттен. Христос всемилостивый и всемогущий да упрочит нашу дружбу и да сотворит так, чтобы этот пример распространился как можно шире в обоих сословиях. Прощай.

Купец. Прощайте и вы.

Франц. Прощай, друг.

ПРИМЕЧАНИЯ

СЕБАСТИАН БРАНТ

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

«Корабль дураков» Себастиана Бранта («Narrenschiff oder das Schiff von Narragonia») впервые был напечатан в Базеле в 1494 году. Сатирико-дидактическая поэма Бранта сразу приобрела огромную популярность, неоднократно переиздавалась еще при жизни автора, была переведена на латынь (перевод Якоба Лохера, Базель, 1499) и на ряд европейских языков.

Произведение Бранта было написано на народном немецком языке конца XV века, на котором говорили в те годы в Эльзасе, в частности в Страсбурге. Идея «корабля дураков» была популярна во времена Бранта; в целом ряде назидательных сочинений всевозможные пороки рассматривались как разновидности глупости, глупцы выступали как олицетворение пороков (см., например, Vindlers «Blume der Tugend», Augsburg, 1486), фигурировал и образ «поездки» или «плаванья» дураков. Брант в своей сатире сделал попытку собрать все мыслимые пороки и слабости воедино и представить их в виде разнообразных «глупостей» («Narrheiten»). При этом Брант не всегда последователен в построении своей книги: так, у него идет речь то о «корабле дураков», то о целом «дурацком флоте».

Настоящий перевод сделан по классическому изданию текста, осуществленному Фридрихом Царнке (Leipzig, 1854). Использовался также перевод сатиры Себастиана Бранта на современный немецкий язык Маргот Рихтер (Seb. Brant «Das Narrenschiff», Verlag Rütten und Loening, 1958). Русский текст дан в сокращениях — опущены отдельные сатирические главы, а также некоторые длинноты внутри глав. Трехстишие, открывающее каждую главку, по замыслу Бранта, служило подписью под гравюрой, из которых многие были выполнены Альбрехтом Дюрером. Русский перевод Льва Пеньковского был впервые напечатан в 1965 году (изд-во «Художественная литература», М. 1965) и является первым опытом перевода сатиры Бранта в таком объеме (до этого публиковались только отдельные отрывки в хрестоматиях).

Стр. 25. «*Протест*».— В первом издании «Корабля дураков» (1494 г., Базель) этой части не было. Она была добавлена к третьему изданию книги (1499 г., Базель), и в ней Брант резко протестует против дополнений и переделок, которым подверглась его книга во втором, страсбургском издании (1494), осуществленном без ведома и разрешения автора вскоре после выхода первого издания.

Стр. 27. ... *доктором обоих прав.*— Брант был ученым юристом и имел степень доктора гражданского (имперского) и канонического (церковного) права. Некоторое время Брант преподавал право в Базельском университете.

Душеспасительные книжки пекут у нас теперь в излишке...— В эпоху Бранта печатни существовали во всех крупных и средних городах Европы, и книги перестали быть редкостью, доступной только дворянам и богачам, как это было всего еще два-три десятилетия тому назад.

Стр. 29. *Теренций* Публий Афр (ок. 185—159 гг. до н. э.)— знаменитый римский комедиограф. Брант цитирует здесь слова Теренция из комедии «Девушка с Андроса»: «Правда родит ненависть» (акт первый, сцена первая).

Стр. 31. *Ганс-дурак* (Hans Narr) — выражение, в известной мере аналогичное русскому Иванушка-дурачок. Неоднократно встречается в тексте «Корабля дураков».

Птолемей — египетский царь Птолемей II Филадельф (285—246 гг. до н. э.), собрал в тогдашней столице Египта Александрии самую богатую для того времени библиотеку.

Стр. 33. *Красс... золотом опился...*— Марк Лициний Красс (ок. 115—53 гг. до н. э.) — римский политический деятель и полководец периода кризиса республики в Риме. Прославился своим огромным богатством, которое нажил во время проскрипций диктатора Суллы (82—79 гг. до н. э.) и впоследствии увеличил путем различных спекуляций. В 53 г. до н. э., будучи римским наместником в Сирии, Красс возглавил поход против парфян, но потерпел жестокое поражение, попал в плен и был убит. По преданию, парфянский царь Ород влил мертвецу в глотку расплавленное золото. На это и намекает Брант.

Кратет из Фив (IV — III вв. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, ревностный приверженец учения Диогена. О нем рассказывали, что он отказался от своего имущества и вел бродячую жизнь.

Стр. 35. *А сколь чиста у старцев совесть, нам скажет о Сусанне повесть...*— намек на библейское предание о прекрасной и добродетельной Сусанне. В доме мужа Сусанны постоянно бывали двое судей-старейшин, которые воспылали к ней нечистой любовью. Старцы подстерегли Сусанну возле водоема в ее саду, где она купалась, и, когда она отвергла их домогательства, обвинили ее в прелюбодеянии («Книга пророка Даниила», XIV по греческому тексту Библии).

Стр. 36. *Илий* — первосвященник и судья Израилев. Согласно Библии, бог через своих пророков предупреждал Илия, что беспощадно покарает его нечестивых сыновей. Эти пророчества исполнились во время неожиданного нападения филистимлян. В решающей битве они разгромили иудеев, убили обоих сыновей Илия и захватили святыню — ковчег завета. Пораженный горестными известиями, Илий умер в тот же день («Первая книга Царств», II—III).

Феникс — в греческой мифологии фессалийский старец, обучавший знаменитого героя Троянской войны Ахиллеса (Ахилла) красноречию и военному делу.

Филипп II Македонский (ок. 382—336 гг. до н. э.) — царь Македонии, отец Александра Македонского.

Македонец.— Имеется в виду Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.).

Стр. 38. *Горгий* (ок. 483—375 гг. до н. э.) — древнегреческий философ и ритор.

Стр. 39. *Авессалом* — один из сыновей древнееврейского царя Давида (X в. до н. э.). Честолюбивый юноша, не надеясь унаследовать царский венец, поднял мятеж против отца. Сначала ему удалось захватить власть и изгнать Давида из Иерусалима, но в последующем сражении он потерпел поражение и погиб.

Алким — иудейский первосвященник (первая половина II в. до н. э.), захвативший это высшее в Древней Иудее достоинство с помощью интриг и предательства: он привел в Иерусалим сирийцев и помогал врагу бороться с освободительным движением, возглавлявшимся братьями Маккавеями. Угождая своим хозяевам, он приступил к разрушению Иерусалимского храма, как повествует Библия («Первая книга Маккавейская»), был внезапно разбит параличом и умер в тяжких мучениях.

Того надежда обманула, кто весть о гибели Саула...— Саул — первый царь Израиля (XI в. до н. э.). В Библии сообщается, что, потерпев поражение в битве с филистимлянами и потеряв в ней трех своих сыновей, Саул в отчаянии бросился на меч. Случайно присутствовавший при этом юноша поспешил с вестью о смерти Саула к сопернику и врагу Саула Давиду. Рассчитывая получить награду, вестник сказал, что сам помог смерти царя, но Давид оплакал смерть Саула и казнил вестника.

Иевосфей — один из сыновей Саула. Согласно Библии, он царствовал над Израилем в течение двух лет после смерти отца, несмотря на постоянные междоусобные войны; был убит во время сна двумя своими людьми, которые принесли его голову Давиду. Последний казнил его убийц.

Стр. 40. *Давид* и *Ионафан.*— В Библии рассказывается, что Давид, будущий царь Израиля, много лет упорно преследуемый царем Саулом,

находился в трогательной дружбе с его старшим сыном Ионафаном. Ионафан не раз открывал другу враждебные замыслы своего отца против него и тем спасал ему жизнь.

Стр. 41. *Сципион и Лелий.*— Публий Корнелий Сципион Африканский Старший (ок. 235—183 гг. до н. э.), знаменитый римский полководец и государственный деятель, был на протяжении всей своей жизни очень дружен с Гаем Лелием (умер после 160 г. до н. э.).

Стр. 42. *Когда бы понял Ионафан...*— Ионафан Маккавей — иудейский первосвященник, возглавлявший освободительную борьбу евреев в 161—144 гг. до н. э. Военачальник сирийского царя Антиоха VI, Трифон, усыпил осторожность Ионафана лестью и дарами и уговорил его распустить войско. Ионафан оставил при себе лишь тысячу человек, и все вместе они были коварно убиты сирийцами.

На что был Юлий Цезарь гений...— Гай Юлий Цезарь был убит 15 марта 44 г. до н. э. участниками республиканского заговора, руководителями которого были Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. Известно, что при входе Цезаря в здание, где совершилось убийство, ему подали письмо с предостережением, но он оставил его нераспечатанным.

Никанор.— Полководец Никанор был послан сирийским царем Деметрием Сотером для подавления восстания евреев. В решающем сражении он был разбит наголову и погиб (161 г. до н. э.). Вождь повстанцев Иуда Маккавей приказал, чтобы «отсекли голову Никанора и руку с плечом и отнесли в Иерусалим». Затем, уже в Иерусалиме, он распорядился «вырезать язык у нечестивого Никанора и, раздробив его, разбросать птицам, руку же безумца повесить против храма» («Вторая книга Маккавейская», XV, 30, 33). Существовало предание, будто Никанор еще до начала боевых действий продал работорговцам своих будущих пленников.

Стр. 43. *Дидона* — легендарная царица Карфагена, героиня «Энеиды» Вергилия. Покинутая троянцем Энеем, в которого она влюбилась, Дидона добровольно взошла на костер.

Стр. 44. *От страсти Несс-кентавр погиб...*— Согласно греческому мифу, кентавр Несс почувствовал любовь к Деянире, жене могучего героя Геракла. Переправляя Деяниру через реку на своей спине, он попытался ее похитить, но был убит стрелой Геракла.

И Троя натерпелась горя...— Имеется в виду легендарная Троянская война, причиной которой, согласно греческим мифам, было похищение Парисом, сыном троянского царя, прекрасной Елены, жены спартанского царя Менелая.

Сафо (Сапфо; конец VII — первая половина VI в. до н. э.) — древнегреческая поэтесса. По преданию, она бросилась со скалы в море из-за безнадежной любви к красавцу Фаону.

И взнуздан был, и был оседлан мудрец один красоткой подлой...— Имеется в виду Аристотель, который, по преданию, однажды позволил своей возлюбленной оседлать себя и катал ее на своей спине.

На воздух воспарил Вергилий...— Публий Вергилий Марон (70—19 гг. до н. э.) — крупнейший римский поэт, широко популярный в Европе в средние века и в эпоху Возрождения. Брант неоднократно цитирует его и называет «своим другом Вергилием». Здесь Брант намекает на анекдот из жизни Вергилия: женщина, которую поэт хотел посетить, предложила ему сесть в корзину, спущенную из окна на веревке, обещая поднять его к себе, но затем оставила висеть между небом и землей.

За курс искусства страсти пылкой Овидий поплатился ссылкой.— Великий римский поэт Овидий (43 г. до н. э.—17 г. н. э.) в 8 году н. э. был сослан императором Августом из Рима в далекую ссылку (местечко Томы в устье Дуная). Поэту вменялась в вину безнравственность его произведения «Искусство любви».

Стр. 45. *Не снес вина и старец Ной...*— По библейскому мифу, спасшийся от потопа Ной насадил виноградник. Отведав вина, Ной опьянел и заснул нагой в своем шатре. Один из его сыновей, Хам, увидел наготу отца и рассказал об этом братьям, которые, пятясь задом, вошли в шатер и, не глядя, прикрыли наготу Ноя. Проснувшись, Ной проклял Хама и его потомков.

Телец — упоминаемый в Библии идол, которого, по требованию народа, отлил из золота первосвященник Аарон, в то время как Моисей беседовал с богом на горе Синай.

Сыны Аарона.— Потомкам Аарона было отведено высшее место в священнической иерархии древних иудеев.

Хлебнул и Олоферн беды...— Военачальник Олоферн, посланный царем Навуходоносором для завоевания всех земель на западе, был обезглавлен еврейкой Иудифью во время сна после вечерней трапезы, за которою «пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения» («Книга Иудифь», XII, 20).

Бывал и Александр пьян...— Имеется в виду Александр Македонский, убивший на пиру своего лучшего друга Клита.

Стр. 46. *Василиск* — сказочное существо древних восточных сказаний, которое часто представляли в виде огромной птицы с короной на голове и хвостом змеи. Согласно мифам, василиск убивает своим взглядом.

Стр. 47. *Осел подох — изголодался: хозяев многих навидался!* — Намек на старинную немецкую басню «Недовольный осел».

Стр. 50. *Жантили́ и Мезю́э* — средневековые врачи, писавшие о лихорадке. Брант упоминает, что оба они погибли от этой болезни, но неизвестно, из какого источника он почерпнул эти сведения.

Стр. 52. *Да, юноши обыкновенно поныне едут в Лейпциг, в Вену...*— Здесь и ниже Брант перечисляет крупнейшие университетские города Германии того времени.

Стр. 55. *Что́ Цезаревы нам законы, что́ Юлиевы нам препоны?!* — Брант имеет в виду законы от 18 года до н. э. римского императора Октавиана Августа, направленные против разврата и сурово каравшие за нарушение супружеской верности. Название «Цезаревы» и «Юлиевы» объясняется тем, что, будучи внучатым племянником и наследником Юлия Цезаря, будущий император принял после его смерти имя Гай Юлий Цезарь Октавиан, а после установления империи стал именоваться Цезарь Август.

Мужья, подобные Катону...— Марк Порций Катон Младший (95—46 гг. до н. э.)— римский государственный деятель, стойкий защитник республики. Римский консул и оратор Квинт Гортензий Гортал (114—50 гг. до н. э.) посватался сначала к дочери Катона, а затем, получив отказ, попросил в супруги его жену Марцию. После смерти Гортензия Марция вернулась к Катону.

Стр. 56. *Кандавл* — упоминаемый в «Истории» Геродота легендарный царь Лидии. Желая похвастаться красотой своей жены, Кандавл показал ее своему приближенному и любимцу Гигу обнаженной. Оскорбленная женщина предложила Гигу либо умереть самому, либо убить Кандавла и жениться на ней. Гиг предпочел последнее.

Стр. 57. *Поехать в Павию, иль в Рим, иль даже в Иерусалим...*— Павия (город в Северной Италии), упоминающаяся здесь наряду с Римом и Иерусалимом, привлекала паломников и путешественников находившимся в ней собором с гробницей святого Августина и знаменитым старинным университетом.

Стр. 58. *Но если даже привезешь и сотню крестиков...*— Речь идет о крестах, которые паломники, в качестве своеобразных сувениров, обычно привозили из своих странствий.

Не изучил бы Моисей египетской науки всей...— Моисей, согласно библейскому преданию, воспитывался при дворе египетского фараона и вызывал удивление своей ученостью.

И Даниил бы не был склонен усвоить мудрость вавилонян...— Даниил — иудейский пророк. В Библии рассказывается, что отроком Даниил был взят ко двору вавилонского царя Навуходоносора, где усвоил язык и науки вавилонян.

Стр. 59. *Архит* Тарентский (ок. 440—360 гг. до н. э.)— греческий математик и астроном, полководец и государственный деятель, современник Платона.

Стр. 60. *Корей землею был проглочен.*— Во время исхода евреев из Египта Корей, согласно Библии, поднял бунт против власти Моисея и первосвященника Аарона, завидуя их славе и воздаваемым им почестям.

Бог жестоко покарал за это Корея и его приспешников: земля разверзлась у них под ногами и поглотила их.

Никем не шитый плащ Христов.— В «Евангелии от Иоанна» рассказывается, что римские воины, распяв Иисуса, разделили его платье на четыре части, и только хитон, который «был не сшитый, а весь тканный сверху», раздирать на части не стали, а бросили о нем жребий. «Нешвенный хитон Иисусов» был в средние века символом единства церкви.

Стр. 62. *Хоть строгой Аталанты меч...*— Аталанта — быстроногая дева-охотница из греческой мифологии. Так как оракул предостерег ее против брака, она предлагала юношам, желавшим жениться на ней, состязаться с нею в беге и пронзала их копьем, когда обгоняла. Только Гиппомену с помощью богини Афродиты удалось хитростью победить Аталанту.

Бранил однажды рака рак...— Здесь Брант пересказывает сюжет старинной немецкой басни «Два рака».

Стр. 63. *Воистину, мудра лисица...*— Намек на старинную немецкую басню «Лев и хитрые лисицы». В басне рассказывается, как старый лев, неспособный более добывать пропитание охотой, притворился больным и стал пожирать зверей, которые приходили к нему выразить сочувствие. Только лисицы, подошедшие к пещере, не последовали приглашению хищника, так как заметили, что в пещеру ведет много следов, а оттуда — ни одного.

Стр. 67. *И папский меч, и королевский...*— С XIII века два меча считались у католиков символами духовной и светской судебной власти.

О Риме так сказал когда-то Югурта-царь...— Югурта (ок. 160—104 гг. до н. э.), царь Нумидии, хорошо знал римские нравы и неоднократно прибегал к подкупу римских сенаторов и полководцев. При помощи подкупа ему удалось сохранить свою власть над всей Нумидией, захваченную им в результате узурпации престола, и значительно отсрочить войну с Римом, так называемую Югуртинскую войну (111—105 гг. до н. э.).

Стр. 69. *Апеллес* (356—308 гг. до н. э.) — знаменитый древнегреческий художник.

Стр. 70. *Но он из Обезьяноградa...*— то есть из страны дураков. Слово «обезьяна» (Affe) в немецком языке — один из синонимов слова «дурак», «глупец», как, например, «осел» в русском языке.

Стр. 71. *Диоген* из Синопа (ок. 404—323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник; по мнению киников, высшей нравственной задачей является подавление страстей, сведение потребностей к минимуму.

Стр. 72. *Сарданапал.*— Согласно преданиям и сообщениям некоторых древних авторов, так звали последнего царя Ассирии, который отличался

необыкновенной изнеженностью и любовью к роскоши и проводил время в наслаждениях. У римских авторов имя Сарданапал было нарицательным.

Стр. 72. *...наслаждений трубадур, пел по-иному Эпикур!* — Древнегреческий философ-материалист Эпикур (341—270 гг. до н. э.) отрицал бессмертие души и считал началом и концом счастливой жизни удовольствие, подразумевая под ним отсутствие душевных и телесных страданий.

Стр. 73. *Власть Асмодееву упрочил.*— В библейской «Книге Товита» повествуется о некоей Сарре, которую семикратно выдавали замуж, но всякий раз злой дух Асмодей умерщвлял новобрачного, прежде чем тот успеет «побыть с Саррою, как с женой». Асмодей считался демоном похоти и нечистых помыслов.

Где Вооз, кто на чужестранке...— Вооз — герой библейской «Книги Руфь», богатый и почтенный человек, который женился на неимущей чужестранке — пришелице Руфи, собиравшей по бедности колосья на его поле.

Стр. 74. *Исав* ненавидел своего брата-близнеца Иакова, который обманом получил благословение отца, причитавшееся Исаву. Иакову пришлось бежать на чужбину от гнева брата (Библия, «Книга Бытия»).

Сыны Иакова завидовали своему младшему брату Иосифу, любимцу отца, и продали его в рабство в Египет (Библия, «Книга Бытия»).

Фиест.— Согласно греческой мифологии, Фиест соблазнил жену своего брата Атрея и попытался отнять у него власть, после чего был им изгнан. Это послужило началом непримиримой вражды между Фиестом и Атреем, изобиловавшей страшными и трагическими эпизодами. Вражда продолжалась до смерти обоих братьев, и жертвами ее оказались многие из детей.

Стр. 75. *Цуоста* — предположительно, врач того времени.

Стр. 76. *Когда-то в Риме Марк Отон был императором... и мыться любил он молоком ослицы.*— Марк Сальвий Отон (32—69 гг. н. э.) был римским императором очень короткое время в конце своей жизни (69 г. н. э.). Купания в молоке ослицы приписываются его первой жене Поппее Сабине, ставшей затем женой императора Нерона (ум. в 68 г. н. э.).

Стр. 77. *Гейдельбергская обезьяна* — скульптурное изображение обезьяны на старом мосту через Неккар в Гейдельберге. Изображение обезьяны является символическим изображением дурака (см. прим. к стр. 70).

Пигмалион — в греческой мифологии легендарный царь Кипра, замечательный скульптор, который влюбился в сделанную им самим статую. Богиня Афродита оживила эту статую, и она стала женой Пигмалиона.

Стр. 79. *Богатые есть ордена!*— Брант имеет здесь в виду так называемые «нищенствующие» ордена (главные из них — францисканский

и доминиканский), возникшие в первую половину XIII века, в разгар борьбы с ересями. На заре существования этих орденов их члены вели исключительно бродячий образ жизни и собирали подаяние и дары на церковь, проповедуя «евангельскую бедность». Впоследствии эти ордена непомерно разбогатели.

Стр. 80. *От века продавцы реликвий народ обманывать привыкли.*— Вполне реальная бытовая сцена. Продажа поддельных реликвий подобного рода была широко распространена в Европе эпохи Бранта.

Стр. 81. *Наш город Базель... их плутней служит средоточьем...*— Вблизи Базеля находилось во времена Бранта большое поселение бродяг и нищих, настоящее государство, со своими законами, обычаями и вольностями.

Стр. 82. *К святому их везет в Сантьяго.*— Имеется в виду город Сантьяго-де-Компостела в Испании — одно из «святых» мест католической церкви, куда из Германии в XV — XVI веках обычно направлялось много паломников. По преданию, там находились мощи святого Иакова.

Ривольское, эльзасское — сладкие вина, которые высоко ценились в эпоху Бранта.

Стр. 87. *Марсий* — фригийское божество, спутник бога Диониса. Согласно мифу, он нашел флейту, брошенную богиней Афиной, и вызвал на состязание самого бога Аполлона с его кифарой. Разгневанный дерзостью Марсия, Аполлон после победы над ним содрал с него кожу. Вместо слова «флейта» Брант обыгрывает слово «дудка», которая является одной из обычных принадлежностей традиционного шута или дурака.

Стр. 91. *Нимрод, чей богом был отвергнут род.*— Нимрод был внуком Хама, проклятого Ноем. В Библии о Нимроде говорится, что «он был сильный зверолов перед господом» («Книга Бытия», X, 9).

Губерт и Евстахий.— Святой Губерт (ум. в 728 г.), епископ Льежский, считался покровителем охотников. По преданию, в молодости он сам был страстным охотником, пока однажды в лесу ему не было видения: олень с золотым крестом между рогами. Это заставило его покаяться и посвятить себя богу. Эта легенда первоначально рассказывалась о святом Евстахии (жил во II в.) и только в XV веке была отнесена к Губерту.

Стр. 92. *Господин фон Бруннедрат.*— Имя происходит от названия города Прунтрут, или франц. совр. Порантрюи. Во времена Бранта это было одно из владений епископа Базельского. Брант намекает на то, что этот город во время так называемых бургундских войн выступил на стороне бургундского герцога Карла Смелого против французского короля Людовика XI. Этим он предал большинство швейцарских городов, которые были на стороне Людовика, так как бургундский герцог угрожал их независимости. В решающей битве под Муртеном (1476 г.) швейцарцы разбили бургундца и его союзников. После этой битвы в обоих лагерях много солдат было произведено в рыцари.

Стр. 93. *Гинц и Кунц.*— Сочетание этих двух распространенных в средние века немецких имен употреблялось в значении «всякий», «представитель простонародья» обычно с уничижительным оттенком.

Кревинкель — название вымышленной деревни, символ захудалости и незнатности происхождения. Впоследствии слово «Кревинкель» стало в немецком языке условно обозначать место, в котором живут узколобые, ограниченные бюргеры, глубокие провинциалы.

Стр. 96. *Напомнить, что сказал Вергилий...*— Ниже Брант излагает содержание стихотворения «Об игре», которое ошибочно приписывалось Вергилию.

Стр. 102. *Коеда б сказал... всю истину пророк Иона... не знал бы он такой поруки...*— То есть: если бы пророк Иона послушался бога и пошел бы проповедовать в грешный город Ниневию, он не был бы в наказание проглочен китом, как сказано об этом в Библии.

Но Илия — пророк-герой...— Пророк Илия, согласно Библии, бесстрашно возвещал грешникам волю бога и был вознесен живым на небо.

Монтефьясконе — итальянский город, который славился своим вином.

Стр. 104. *Мы много сказочных созданий встречали на путях скитаний...*— Здесь и далее Брант пересказывает эпизоды из «Одиссеи» Гомера, сопоставляя странствования и приключения ее главного героя с путешествием дураков в вымышленную страну Глупландию (Наррагонию).

Стр. 107. *«Гаудеамус»* (л а т.) — начало известного в средние века анонимного латинского стихотворения, распространенного в среде бродячих клириков и школяров (студентов). Стихотворение воспевает радости жизни. Некоторые его строфы вошли в студенческую песню, которая дожила до наших дней.

«О застольном невежестве».— Эта сатира примыкает к популярным во времена Бранта сборникам правил поведения за столом, большей частью стихотворным. Впервые такой сборник появился в Германии в начале XIII в. В конце XV — начале XVI в. многие писатели, наряду с Брантом, резко выступали против крайней грубости и распущенности, которые царили среди немецкого общества того времени.

Стр. 110. *Как та злосчастная невеста...*— Эта история о невесте заимствована из старинного немецкого стихотворения, которое дошло до нас в собрании стихов и прозы XIII — XIV вв. «Лидерзаль» (Liedersaal), составленном германистом Иозефом Ласбергом в 1820—1825 гг.

Стр. 113. *А чтобы вы мудрее были, поможет вам мой друг Вергилий.*— В этой последней главе Брант вольно излагает содержание приписывавшегося Вергилию стихотворения «Мудрец».

Е. Маркович

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ

Самое знаменитое произведение Эразма «Похвала Глупости» существует в нескольких русских переводах: анонимный перевод 1840 г. (Москва, Университетская типография), переводы А. Кирпичникова (Москва, Типография С. Орлова, 1884), П. Н. Адашева (Юрьев, Типография К. Матиссена, 1902), П. К. Губера (Academia, М.— Л., 1931).

В настоящем сборнике перепечатывается (почти без изменений) перевод П. К. Губера в новой редакции С. П. Маркиша (по изданию: Эразм Роттердамский, «Похвала Глупости», Москва, Гослитиздат, 1960).

Стр. 119. *Томас Мор* (1478—1535) — известный английский гуманист и государственный деятель, с которым Эразм был дружен. Его перу принадлежит знаменитая «Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия (1516).

Мори́я — глупость (г р е ч.).

Стр. 120. *Демокрит* Абдерский (ок. 460 — ок. 370 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ-материалист, основатель учения об атомах как неизменных элементах материи. Древние называли Демокрита «смеющимся философом».

Лукиан (ок. 120—180 гг. н. э.) — знаменитый древнегреческий сатирик, автор многочисленных диалогов, памфлетов и сатирических рассказов, в которых зло осмеивал религиозные представления языческой мифологии и раннего христианства.

Батрахомиомахия (то есть «Война лягушек и мышей») — древнегреческая поэма (V в. до н. э.), в которой борьба лягушек и мышей описана наподобие войны троянцев с ахеянами, изображенной в «Илиаде». Во времена Эразма «Батрахомиомахия» приписывалась, по античной традиции, Гомеру.

Среди приписываемых Публию Вергилию *Марону* стихотворений есть две маленькие шуточные поэмы, на которые и намекает здесь Эразм.

Исократ (436—338 гг. до н. э.) — знаменитый афинский оратор, автор многочисленных речей и декламаций. В речи «Бусирид» он исправляет и дополняет софиста Поликрата, восхвалявшего легендарного египетского царя Бусирида, который приносил в жертву богам всех прибывавших в Египет чужеземцев.

Главк восхвалял неправосудие...— Платон, «Государство» (II, 2).

Фаворин из Арелата (ныне Арль во Франции) — греческий ритор и философ (II в. н. э.); *Ферсит* — ахейский воин, изображенный безобразным, дерзким и злым («Илиада», II, 216—219).

Стр. 120. *Синесий* Киренский (370—413 гг. н. э.) — философ-неоплатоник александрийской школы; принял христианство и был митрополитом Киренского пятиградия (в Северной Африке). Среди произведений Синесия до нас дошло шутливое «Похвальное слово плеши».

...Лукиан — муху...— Эразм имеет в виду «Похвальное слово мухе» Лукиана.

Луций Анней *Сенека* (I в. н. э.) — знаменитый римский философ-стоик. Эразм имеет в виду сатиру «Отыквление», написанную Сенекой на смерть императора Клавдия.

В одном из сочинений выдающегося греческого писателя-моралиста *Плутарха* (ок. 46—126 н. э.) выведен Грилл — спутник Улисса (Одиссея), превращенный (как и его товарищи) волшебницей Цирцеей в свинью. Предпочитая оставаться в этом состоянии, Грилл убеждает Одиссея в преимуществах четвероногих над двуногими.

Апулей (род. ок. 124 г. н. э.) — известный римский писатель. Его роман «Метаморфозы» («Золотой Осел») по основной сюжетной схеме близок к приписываемой Лукиану повести «Лукий, или Осел». В обоих произведениях рассказывается о приключениях юноши, превращенного в осла.

«*Завещание поросенка*» — шуточное анонимное сочинение на латинском языке (III или IV в. н. э.).

Иероним (ок. 340—420 гг. н. э.) из Далмации — известный теолог, автор многих богословских сочинений; ему принадлежит латинский перевод Библии, так называемая «Вульгата». Эразм издал в 1516 году полное собрание сочинений св. Иеронима, снабдив их своими комментариями.

Стр. 121. Децим Юний *Ювенал* (I — II вв. н. э.) — знаменитый древнеримский поэт-сатирик, бичевавший римские нравы императорской эпохи.

...стоит ли говорить все это такому искусному адвокату...— Томас Мор начал свою деятельность как адвокат.

10 июня 1508 г.— Дата ошибочная: «Похвала Глупости» написана в августе 1509 года, издана впервые в 1511 году.

Стр. 122. *Непента* — упоминаемое в «Одиссее» растение, которое усиливало опьяняющее действие вина.

Трофониева пещера — оракул Зевса в Беотии. Обстановка, в которой давались предсказания, была настолько ужасна, что все побывавшие в пещере выходили из нее потрясенные.

Стр. 123. Царь Фригии *Мидас*, присутствовавший при состязании Аполлона с Паном, предпочел простую свирель Пана кифаре Аполлона. В наказание оскорбленный бог наградил его ослиными ушами.

...предпочли назваться софистами...— Имеется в виду течение в древнегреческой философии (V — IV вв. до н. э.), взгляды представителей

которого (Горгия, Протагора, Продика, Гиппия и др.) были проникнуты скептицизмом, субъективизмом и релятивизмом. Они называли себя софистами (от греч. «софия» — мудрость) и обучали «мудрости», прежде всего — умению аргументировать любой тезис. Сократ, Платон и Аристотель осуждали софистов, противопоставляя их учению объективные и общеобязательные нормы разума и морали. Со временем термином «софистика» стали обозначать «мнимую мудрость» (по определению Аристотеля).

Солон (ок. 638 — ок. 559 гг. до н. э.) — законодатель Древних Афин и один из древнейших аттических поэтов. Солона греки считали одним из величайших мудрецов.

Стр. 124. *Фаларид* (VI в. до н. э.) — тиран Агригента (Сицилия), отличавшийся крайней жестокостью. Лукиан написал два «Слова» о Фаларide: первое произносят в защиту тирана его посланцы, обращаясь к жрецам Аполлона и народу дельфийскому; второе, ответное,— один из дельфийцев.

Стр. 125. *Фалес* из Милета (ок. 624—547 гг. до н. э.) — родоначальник античной философии, впервые высказавший идею о единой материальной основе мира (считая такой основой воду). Один из так называемых «семи греческих мудрецов».

Двуязычные — то есть знающие греческий и латинский языки.

Иапет — титан, отец титанов — Прометея, Эпиметея и Атланта.

Плутос — греческий бог богатства.

Гесиод — древнегреческий поэт VIII — VII вв. до н. э.; ему принадлежат две большие дидактические поэмы: «Труды и дни» и «Теогония» («Происхождение богов»).

Отец богов и людей — так Гомер и Гесиод неоднократно называют Зевса (Юпитера).

Стр. 126. *Неотета* — Юность (г р е ч.).

Хромой кузнец — Гефест, греческий бог огня и кузнечного ремесла.

...не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана...— В комедии великого древнегреческого комедиографа Аристофана (ок. 445—385 гг. до н. э.) «Богатство» бог богатства Плутос выведен в образе слепого старика.

На острове *Делосе*, который носился до этого по морским волнам, родился бог Аполлон. Из морской пены возникла богиня Афродита (г р е ч. м и ф.).

Молий (или моли) — растение, употреблявшееся древними как средство против колдовских чар. *Панацея* — мифическая трава, исцеляющая все болезни.

Сады Адонисовы — поговорка, обозначающая все непрочное, быстро преходящее, доставляющее лишь кратковременное удовольствие.

Стр. 126. *Кронид* — сын Крона, то есть Зевс. Крон, зная, что он будет свергнут одним из сыновей, проглатывал всех своих детей, как

только они рождались. Младшего сына, Зевса, мать его Рея родила в пещере на острове Крите и, спрятав от отца, поручила заботам нимф, которые вскормили его молоком божественной козы Амалфеи (г р е ч. м и ф.).

Стр. 127. *Ме́тэ* — Опьянение (г р е ч.).

Апеди́я — Невоспитанность (г р е ч.).

Стр. 128. *Эгида* — щит Зевса, сделанный из кожи выкормившей его козы Амалфеи (г р е ч. м и ф.).

...твердокаменные догматы.— Эразм говорит об этике стоицизма — философского учения, основанного древнегреческим философом Зеноном (IV — III вв. до н. э.) и получившего широкое распространение в Римской империи (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий и др.). Стоики проповедовали отказ от радостей жизни и подчинение всех человеческих страстей и чувств разуму.

По мысли древнегреческого философа *Пифагора* (VI в. до н. э.), в основе всего сущего лежит число.

Стр. 129. Тит *Лукреций* Кар (ок. 99—55 гг. до н. э.) — знаменитый римский поэт и философ-материалист. Его поэма «О природе вещей» начинается гимном Венере:

«Рода Энеева мать, людей и бессмертных услада,
О благая Венера!»
(Перевод Ф. Петровского)

«Блаженна жизнь...» — слова из трагедии великого древнегреческого трагика Софокла (ок. 497—406 гг. до н. э.) «Аянт Биченосец» (554).

Стр. 131. *...по примеру старичка, выведенного Плавтом...*— Эразм намекает на сцену из комедии «Купец» (акт II, сцена 2) великого римского комедиографа Тита Макция Плавта (ок. 254—184 гг. до н. э.).

Нестор — мудрый и красноречивый старец, старейший из ахейских царей, осаждавших Трою. Стремясь смягчить гнев спорящих Ахилла и Агамемнона, Нестор

...сладкоречивый восстал...
Речи из уст его вещих сладчайшие меда лилися.
(«Илиада», I, 248—249. *Перевод Н. Гнедича*)

...с шелестом лилий — «Илиада», III, 152.

«Сходные вещи сближать привыкли великие боги...» — «Одиссея», XVII, 218.

Стр. 132. *Акарнанские свинки.*— Акарнания — область на севере Греции; жители Акарнании занимались свиноводством.

Правильно также говорят о брабантцах...— Эразм намекает на голландскую пословицу: «Чем старше, тем глупее брабантец; чем старше, тем тупее голландец».

Медея, Цирцея (Кирка) — могущественные волшебницы, героини многих древнегреческих мифов.

...возвратила молодость своему деду Тифону.— Глупость смешивает и путает здесь несколько различных мифов.

Стр. 133. *Вакх* (Дионис) — бог вина, сын Зевса и фиванской царевны Семелы; он родился недоношенным, поэтому Зевс зашил его к себе в бедро, и Дионис вторично родился из бедра своего отца (г р е ч. м и ф.).

Лесной бог *Пан*, разгневавшись, насылал на людей «панический» ужас (г р е ч. м и ф.).

Горгона — чудовище, взгляд которого обращал людей в камень. Герой Персей победил Горгону, и богиня Афина Паллада прикрепила ее голову к своему щиту.

Флора — римская богиня цветов и весны. Празднества в ее честь сопровождались бурным весельем и разгулом.

Эндимион — прекрасный юноша, любимец богини Артемиды (римской Дианы). По другим мифам, Эндимиона любила богиня Луны, которая погрузила его в вечный сон.

Мом — греческий бог злословия.

Богиня *Ата* олицетворяла пагубное заблуждение. Зевс, разгневавшись однажды, сбросил Ату на землю и запретил ей возвращаться на Олимп.

Стр. 134. *Приап* — римский бог плодородия, покровитель полей и садов, позднее — бог сладострастия. Его изображения делались обычно из дерева.

Силен — воспитатель и постоянный спутник бога Диониса (г р е ч. м и ф.); *Кордак* — разнузданный бурный танец в древнеаттической комедии.

Полифем — свирепый одноглазый великан (циклоп), ослепленный Одиссеем.

Ателланские фарсы — древнеримские народные драматические представления, часто непристойного содержания, обычно включавшие в себя пляски сатиров; названы так по месту возникновения (город Ателла в Кампании).

Гарпократ — древнеегипетское божество, олицетворявшее восход солнца; изображалось обычно держащим палец правой руки у рта, поэтому греки считали его богом молчания.

...как унция к грану.— В римской унции 480 гран.

Стр. 135. *...неотъемлемое свойство ее пола.*— Глупость искажает взгляд великого древнегреческого философа-идеалиста Платона (427—347 гг. до н. э.), который, напротив, считал, что женщина наделена такими же умственными способностями, как и мужчина.

Стр. 136. ... *семь ... греческих мудрецов* — Питтак Митиленский, Солон Афинский, Клеобул Родосский, Периандр Коринфский, Хейлон Спартан-

ский, Фалес Милетский и Биант Приенский, полулегендарные философы, законодатели и военачальники VII — VI веков до н. э.

Стр. 137. *Крокодилиты, сориты, рогатые силлогизмы* — термины средневековой формальной логики, обозначающие виды умозаключений.

Бальбин и *Агна* — комические любовники, упоминаемые великим римским поэтом Квинтом Горацием Флакком (65—8 гг. до н. э.) в одной из его сатир (I, 3).

...«как орел или змей Эпидаврский» — Гораций, «Сатиры», I, 3, 27. Перевод М. Дмитриева.

Аргус — стоглазый великан, которому ревнивая Гера приказала стеречь возлюбленную Зевса Ио, превращенную ею в корову.

Стр. 139. *Нирею*, самому красивому из осаждавших Трою греков, противопоставляется безобразный *Ферсит*, юноше *Фаону* — старец *Нестор*.

...«чтобы желания твои совпадали с выпавшим тебе жребием»— перифраз одной строки римского поэта-эпиграмматиста I века н. э. Марка Валерия Марциала (X, 47, 12).

Стр. 140. *«Хриплым рокотом труб оглашается воздух»* — Вергилий, «Энеида», VIII, 2.

Архилох — выдающийся древнегреческий поэт середины VII века до н. э. Он много странствовал и служил наемником в войсках различных греческих городов-государств. В одном стихотворении Архилох без тени смущения вспоминает о том, как однажды во Фракии позорно бежал с поля брани. *Демосфен* (384—322 гг. до н. э.)— великий афинский оратор и политический деятель; его речи сыграли большую роль в период борьбы Афин против Македонии. Мория искажает факт трагической биографии Демосфена, который бежал из Афин после поражения родного города и, не желая сдаться македонянам, принял яд.

Сократ (469—399 гг. до н. э.) — великий древнегреческий философ. Учение Сократа, оказавшее огромное влияние на развитие современной ему мысли, известно из сочинений его учеников Платона и Ксенофонта, так как сам Сократ ничего не писал. Обвиненный в том, что он, отвергая богов, развращает юношество, Сократ был приговорен к смертной казни и умер, выпив чашу с ядом.

Стр. 141. *Теофраст* (372—287 гг. до н. э.) — ученик и последователь Аристотеля, известный древнегреческий мыслитель, писатель и ученый-натуралист, автор множества разнообразных сочинений. Замечание Мории о Теофрасте ошибочно, так как Теофраст считался прекрасным оратором.

Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.) — крупнейший римский оратор, видный государственный деятель, писатель и юрист.

«Блаженны государства, в которых философы повелевают...» — Платон, «Государство», V, 473 С.

Марк Порций *Катон* Старший (234—149 гг. до н. э.) — известный

римский государственный деятель, участник Второй Пунической войны. В 184 году Катон был избран цензором и прославился как непреклонный блюститель строгих нравов. Братья *Гракхи*, Тиберий (163—132 гг. до н. э.) и Гай (153—121 гг. до н. э.) — римские политические деятели, защитники плебса. Попытки Гракхов провести демократические реформы не увенчались успехом. Оба брата были убиты.

Марк Антонин — римский император Марк Аврелий Антонин (годы правления: 161—180 н. э.). Его внутренняя политика (в частности, устройство детских приютов, помощь пострадавшему от голода и чумы населению и т. д.) создала ему репутацию гуманного правителя. Занимаясь с ранней юности философией, Марк Аврелий был последователем учения стоиков, этическую доктрину которых он изложил в трактате «К самому себе». Сын его *Коммод*, развратный, слабохарактерный и жестокий деспот, был убит в 192 году.

Стр. 142. *Тимон* (V в. до н. э.) — богатый афинянин, который, возмутившись человеческой неблагодарностью, удалился от людей. Имя его еще в древности стало нарицательным для обозначения человеконенавистника (ср. также трагедию Шекспира «Тимон Афинский»).

Амфион звуками своей лиры заставлял каменные глыбы слагаться в стену вокруг города Фив. *Орфей* своими песнями укрощал диких зверей и приводил в движение деревья и скалы (г р е ч. м и ф.).

Стр. 143. *Басня о чреве и членах человеческого тела.*— Имеется в виду предание о том, как в 494 году до н. э. римские плебеи, возмущенные жестокими притеснениями со стороны патрициев, покинули Рим и удалились на Священную гору (невдалеке от города). Посол патрициев Менений Агриппа умиротворил народ, рассказав басню о членах человеческого тела, которые взбунтовались против желудка.

Фемистокл (526—461 гг. до н. э.) — известный древнегреческий полководец и политический деятель, однажды успокоил афинян, возмущенных жадностью должностных лиц, рассказав басню об увязшей в болоте лисе, которая просила ежа не отгонять облепивших ее комаров, так как они уже напились ее крови, а на их место могут слететься новые, голодные и потому еще более жадные и жестокие.

Квинт *Серторий* (ум. в 72 г. до н. э.) — римский полководец и политический деятель. Будучи наместником в Испании, откололся от Рима во время диктатуры Суллы, противником которого он был, и возглавил армию, состоявшую из наемников и римских изгнанников. Стремясь укрепить свой авторитет, Серторий показывался солдатам с ручной белой ланью, якобы подаренной ему богиней Дианой.

...славный спартанец проделал с двумя собаками...— Имеется в виду полулегендарный законодатель Спарты Ликург (ок. X в. до н. э.), который, чтобы наглядно доказать необходимость реформы воспитания юношества, по-разному вырастил двух щенков: один из них был прожорливым и

ленивым, а второй проворным. Когда щенков спустили с цепи, первый бросился к миске с похлебкой, а второй погнался за живым зайцем.

...а тот же Серторий — с лошадиным хвостом.— Желая показать своим сторонникам, что единодушие важнее силы, Серторий сначала велел молодому, сильному солдату вырвать хвост у старой клячи, а потом приказал дряхлому старику вырвать хвост у молодого коня. Первый справился со своей задачей с большим трудом, потому что старался вырвать весь хвост сразу, а второй легко выщипал волос за волосом.

Минос — мифический царь и законодатель Крита, сын Зевса, каждые девять лет он якобы посещал своего божественного отца и получал от него наставления; после смерти боги сделали его одним из трех судей в подземном царстве мертвых. Полулегендарный древнеримский царь *Нума* Помпилий, по преданию, постоянно советовался с мудрой нимфой Эгерией, которая открывала ему волю богов.

Деции — римский патрицианский род. Три представителя этого рода погибли в боях за отечество (IV — III вв. до н. э.).

...что заставило Курция броситься в расщелину...— Имеется в виду рассказ о подвиге Марка Курция: в 362 году до н. э. он бросился в появившуюся посреди римского форума расщелину, которую, согласно прорицаниям, во избежание великих несчастий, нужно было заполнить самым дорогим, что есть в Риме.

Стр. 144. «*Событие зрит и безумный*» — Гомер, «Илиада», XVII, 32.

Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.) — известный афинский политический деятель, друг Сократа. В диалоге Платона «Пир» Алкивиад произносит речь, в которой сравнивает Сократа с *силенами*, полыми статуэтками, изображавшими уродливого и обрюзгшего старика Силена, внутри которых хранились драгоценные и прекрасные изваяния.

Стр. 145. *Хорег* — в Древней Греции организатор театрального представления, бравший на себя,— в порядке общественной повинности,— все расходы по обучению и содержанию хора для постановки трагедии или комедии. *Просцениум* (проскений) — в античном театре площадка, на которой играли актеры.

Стр. 146. *Муз геликонских...*— Согласно греческим мифам, обиталищем Муз была гора Геликон в Беотии (область Средней Греции).

В государстве Платона...— В диалоге «Государство» Платон излагает принципы совершенного, с его точки зрения, государственного устройства. Идеи в учении Платона — сущности и прообразы вещей, образующие особый мир, отражением которого является мир материальный.

Стр. 147. *Сады Танталовы.*— В наказание за разглашение тайн богов царь Фригии Тантал был осужден в царстве мертвых вечно мучиться голодом, видя спелые плоды над самой своей головой, но тщетно пытаясь их сорвать.

Твердому камню подобного...— Вергилий, «Энеида», I, 471. *Мар-*

песс — гора на о-ве Паросе, из которой добывался знаменитый паросский мрамор.

Линцей — мифический герой, был одарен необыкновенно острым взором, проникавшим даже в земные недра.

Стр. 148. *Милетские девы.*— По свидетельству римского писателя Авла Гелия (II в. н. э.), эти девушки, потеряв рассудок, все разом покончили с собой.

Диоген Синопский (ок. 404—323 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, согласно легенде, покончил жизнь самоубийством, задержав и остановив дыхание. *Ксенократ* Халкидский (ок. 406—314 гг.) — древнегреческий философ, ученик и последователь Платона; ему приписывался философский трактат о смерти.

Хирон — мудрый и справедливый кентавр, воспитатель Ахилла. По одной из версий мифа, он добровольно умер вместо Прометея, передав ему свое бессмертие.

Согласно одному из вариантов мифа о *Прометее*, он сотворил первых людей из глины.

Парки (Мойры) — три богини судьбы, одна из которых пряла нить человеческой жизни, другая вытягивала ее, а третья обрезала (г р е ч. м и ф.).

...отупевших, но сластолюбивых.— Аристофан, «Богатство», 266—267.

Стр. 149. *Палестра* — гимнастическая школа в Древней Греции.

Стр. 150. *Тевт* (или Тот) — легендарный создатель математики, алфавита и астрономии.

...доказывает у Платона один умный царь.— Эразм имеет в виду рассказ Платона («Федр», р. 274 C—D) о споре египетского царя Тама с обучавшим его Тевтом. Тевт утверждал, что искусство письма помогает памяти. Там доказывал, что оно, напротив, вредно, так как, овладев им, человек больше записывает, чем запоминает.

Халдеи — племена Южной Месопотамии, образовавшие в VII веке до н. э. Ново-Вавилонское царство; они считались изобретателями астрологии и магии, поэтому впоследствии в Риме астрологов называли халдеями.

Стр. 151. *...муж-врачеватель многим другим предпочтен.*— Гомер, «Илиада», XI, 514.

Стр. 152. *...лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия.*— Намек на диалог Лукиана «Петух, или Сновидение», в котором петух рассказывает о своих превращениях из воина в философа Пифагора, затем в гетеру, киника Кратета, царя, нищего, сатрапа, коня, галку, лягушку и, наконец, в петуха.

Энтимема — сокращенный силлогизм (одна из посылок опущена).

Стр. 154. «*Глупый по-глупому и говорит*».— Слова из трагедии древнегреческого трагика Еврипида (ок. 480—406 до н. э.) «Вакханки» (369).

Елисейские поля — обитель блаженных в царстве мертвых (греч. миф.).

Стр. 155. *...у Платона Сократ рассекает Венеру...*— Эразм имеет в виду диалог Платона «Пир», в котором утверждается, что есть две Афродиты: старшая, родившаяся из пены морской, Небесная Афродита (Урания) и младшая, дочь Зевса и Дионы, Всенародная Афродита (Пандемос), а следовательно — два Эрота и два различных вида любви (идеальная и чувственная).

«*Иль сладко безумье...*» — Гораций, «Оды», III, 4, 5. Перевод Н. С. Гинцбурга.

...не нарекла бы безумным подвиг Энея.— В «Энеиде» Вергилия (VI, 135) прорицательница Сивилла так говорит о намерении Энея спуститься в преисподнюю для свидания с тенью отца его, Анхиза.

Стр. 156. Тит Помпоний *Аттик* — богатый римлянин, друг Цицерона.

«*...не спасли вы меня, а убили...*» — Гораций, «Послания», II, 2, 133—135; 138—140. Перевод Н. С. Гинцбурга.

Стр. 157. *Киннамон* — благовонное масло.

Стр. 158. *...отыскивают некую пятую сущность на суше и в морской пучине.*— Помимо четырех материальных сущностей (земли, воды, воздуха и огня), о которых писали античные материалисты, средневековые философы различали пятую, якобы наиболее истинную сущность вещей (квинтэссенцию).

«*Важно уже и стремление в деле великом*» — слова из элегии римского поэта I века до н. э. Секста Проперция (II, 10, 6).

Малея — очень опасный для мореплавателей мыс на побережье Пелопоннеса.

Стр. 159. *Лемуры, ларвы* — духи умерших (римск. миф.).

Полифем-Христофор.— Эразм сопоставляет великана Полифема со св. Христофором потому, что иконописцы обычно изображали этого святого очень высоким, с огромным посохом, похожим на мачту.

Святой Георгий всегда изображается на коне, а юноша *Ипполит*, погубленный влюбившейся в него мачехой, был, согласно мифу, искусным наездником.

Клепсидра — водяные часы.

...названные магические стишки указал святому Бернарду некий демон...—В житии святого Бернарда Клервоского (ум. в 1153 г.) рассказывается, как явившийся ему однажды дьявол хвастался, что знает такие семь стихов из «Псалтири», ежедневное чтение которых непременно приведет в рай, но открыть эти стихи отказался. Святой Бернард решил ежедневно прочитывать всю «Псалтирь». Тогда дьявол, рассудив, что это составит еще больший подвиг благочестия, чем чтение семи строк, назвал магические стихи.

Стр. 160. *Если б имела я сто языков и железное горло...*— Мория перефразирует три строки из «Энеиды» (VI, 625—627).

Стр. 161. *Эдилы* — в Древнем Риме выборные лица, в обязанности которых входили организация народных зрелищ, городское благоустройство, полицейский надзор и регулирование продовольственного снабжения.

Артур — легендарный король Британии. С его именем связаны кельтские предания, послужившие сюжетами для множества средневековых романов (так называемый цикл романов Круглого Стола).

Гермоген — известный певец, о котором упоминает Гораций («Сатиры», I, III, 129).

Стр. 164. *Академики* — последователи Платона. Основанная Платоном философская школа называлась Академией потому, что его ученики и друзья собирались в роще, посвященной герою Академу (близ Афин).

Зевксид (V в. до н. э.) — знаменитый древнегреческий живописец.

Моего соименника — то есть Томаса Мора.

Стр. 164—165. *Не счастливее ли они того мудреца...*— Эразм имеет в виду знаменитое место из диалога Платона «Государство» (начало кн. VII), где люди уподоблены узникам, заключенным со дня рождения в темной пещере. Они обращены спиной к выходу и видят лишь тени предметов, проносимых мимо пещеры. Только созерцающий идею мудрец подобен человеку, который вышел из пещеры на свет и увидел самые предметы.

Лукианов Микилл...— В диалоге Лукиана «Петух, или Сновидение» выведен некий Микилл, который во время послеобеденного сна увидал себя богачом, но был разбужен петухом и горько об этом сожалел.

Вейовис — древнеримский бог мщения. *Пены* — олицетворения кары, возмездия. *Фебры* — богини лихорадки (р и м с к. м и ф.).

Стр. 168. *...увидишь подчас неких пифагорейцев...*— Пифагорейцы основывали аскетические общины, в которых отчасти осуществляли проповедуемый ими отказ от личной собственности.

...ежели поглядеть с луны, по примеру Мениппа...— Вероятно, намек на диалог Лукиана «Икароменипп», герой которого, Менипп, смастерив себе крылья, взлетел на луну.

...держат, как говорится, златую ветвь в руках.— Некоторые комментаторы полагают, что Эразм намекает на розгу, которой был неизменно «вооружен» учитель.

Стр. 169. *...о которых гласит греческая эпиграмма...*— Речь идет об одной из эпиграмм поэта IV — V веков н. э. Паллада, где говорится о том, что жизнь учителя так же мрачна, как первые пять стихов «Илиады» Гомера, с которой начиналось изучение грамматики в школе.

Размышляльни — так, издеваясь над философами, называет Аристофан школу Сократа в комедии «Облака».

Кумский осел.— Латинская поговорка об осле в львиной шкуре.

Дионисий — имя двух сиракузских тиранов, Дионисия Старшего (406—367 гг. до н. э.) и его сына Дионисия Младшего (свергнут в 357 г.).

Реммий *Палемон* — римский грамматик I века н. э., отличавшийся необыкновенной самонадеянностью. Элий *Донат* — известный римский ритор и грамматик IV века н. э.

Стр. 170. *Альд* Мануций (1449—1515) — друг Эразма, владелец знаменитой типографии в Венеции, издававший сочинения древних авторов, а также гуманистов, в частности — произведения Эразма.

«Об искусстве речи».— Анонимное наставление по риторике, в древности ошибочно приписывавшееся Цицерону.

Стр. 171. Марк Фабий *Квинтилиан* (ок. 35—95 гг. н. э.) — известный римский ритор, автор обширного трактата «Образование оратора» — классического труда по истории и теории римского красноречия.

Персий и Лелий упоминаются Цицероном как величайшие знатоки ораторского искусства.

Стр. 172. *Телемах* — сын Одиссея.

Стелен — видимо, описка Эразма. Известен Сфенел, друг Диомеда, одного из героев Троянской войны.

Лаэрт — отец Одиссея.

Поликрат (VI в. до н. э.) — тиран острова Самос, отличавшийся богатством и щедростью. *Фразимах* — древнегреческий философ-софист (V в. до н. э.).

Алкей из Митилены (на о-ве Лесбос) — знаменитый древнегреческий лирик (конец VII — начало VI в. до н. э.). *Каллимах* (ок. 310—240 до н. э.)— один из крупнейших греческих поэтов эпохи эллинизма.

Так в ожиданье народ колеблется...— Вергилий, «Энеида», II, 39.

...Сципионовы триумфы.— Имеется в виду триумф, которого удостоился римский полководец Публий Корнелий Сципион Африканский Старший в 201 году до н. э. после победы над Карфагеном.

Сизифов камень — Сизиф, мифический основатель города Коринфа; за коварство и обманы осужден богами вечно вкатывать на высокую гору огромный камень, который всякий раз, как Сизиф приближается к вершине, срывается вниз (г р е ч. м и ф.). Выражение «сизифов труд» стало нарицательным для обозначения всякой бесплодной работы.

Глоссы — примечания к «Своду римского права», сделанные средневековыми юристами XI — XIII веков (так наз. глоссаторами). Впоследствии глоссы, в свою очередь, приобрели силу законов.

Медь Додонская.— В Додоне (Сев. Греция) перед храмом Зевса были развешаны и расставлены медные сосуды; колеблемая ветром проволока ударялась о них, и раздавался непрерывный звон. Отсюда — «говор меди Додонской» как беспрерывный шум.

Стр. 173. *Стентор* — глашатай, отличавшийся необыкновенно сильным голосом («Илиада», V, 785).

Универсалии — общие понятия (л а т.).

Стр. 174. *...не трогать болота Камаринского...*— Жители сицилийского города Камарины (Камерины), вопреки совету Дельфийского оракула, осушили болото вблизи своего города, что открыло врагам доступ к Камарине.

Дефиниция — определение (л а т.). *Конклюзия* — заключение (л а т.). *Корольлярии* — выводы (л а т.). *Пропозиция* — утверждение, посылка (л а т.).

Вулкановы силки.— Намек на выкованные Вулканом железные тенета, в которые попалась его неверная жена Венера со своим любовником, богом войны Марсом.

Евхаристия — таинство причащения, в котором, по учению католической (а также православной) церкви, хлеб *пресуществляется* в тело, а вино — в кровь Христову.

Стр. 175. *Гнома* — краткое прозаическое или стихотворное изречение, обычно поучительного характера (г р е ч.).

Реализм и номинализм — противоположные направления средневековой схоластической философии. *Реалисты* утверждали, что общие понятия («универсалии») реально существуют и предшествуют единичным предметам; *номиналисты*, наоборот, считали общие понятия лишь абстракциями, именами реально существующих единичных предметов. *Фомисты* (томисты) — последователи Фомы Аквинского (1225—1274) — итальянского средневекового философа-схоласта. Учение Фомы Аквинского стало официальной философией католической церкви. *Альбертисты* — ученики Альберта фон Больштедта (1193—1280), прозванного богословами Великим, немецкого теолога и философа-схоласта, учителя Фомы Аквинского. *Оккамисты* — сторонники Уильяма Оккама (ок. 1300—1350) — крупнейшего английского философа-номиналиста. *Скотисты* — последователи Иоанна Дунса Скота (ок. 1264—1308), шотландского философа-номиналиста, оспаривавшего догматику Фомы Аквинского.

«*Вера есть...*» — «Послание к Евреям», XI, 1.

...каким образом оказалась она свободной от Адамова греха? — Намек на происходивший между скотистами и фомистами спор о догмате непорочного зачатия богородицы.

«*Бог есть дух...*» — «Евангелие от Иоанна», IV, 24.

Акциденция и субстанция — философские термины: акциденция — случайное, преходящее начало; субстанция — неизменная и вечная сущность.

...хрисипповыми тонкостями...— Хрисипп из Киликии (ок. 280—208 до н. э.) — древнегреческий философ-стоик; славился как искусный диалектик.

Стр. 177. Святой Иоанн *Златоуст* (347—407) — знаменитый проповедник и богослов. Святой *Василий* Великий (330—379) — епископ Кеса-

рийский, один из крупнейших авторитетов восточной церкви. Эразм здесь противопоставляет ранних «отцов церкви» столпам средневековой схоластики.

«*Кводлибетум*» (от лат. quodlibet — что угодно) — название одного из сочинений Дунса Скота.

Стр. 178. ... *сам Юпитер... прибег к помощи Вулкана.*— Афина Паллада родилась из головы Зевса (Юпитера), после того как Гефест (Вулкан) рассек, по просьбе Зевса, его череп (см. Лукиан, «Разговоры богов», 8).

Стр. 179. *Иудейская тетраграмма* — имя божие (Яхве), состоящее из четырех букв.

Стр. 181. *Небеса абраксасиев.*— Гностик Василид (II в. н. э.) учил, что существует 365 небес, совокупность которых он обозначил словом «Абраксас», так как сумма цифровых значений входящих в него букв равна 365.

Стр. 182. «*К чему же ты чушь свою клонишь?*» — Гораций, «Сатиры», II, 7, 21.

...*обратились в камень, наподобие Ниобеи...*— Гордясь своими многочисленными детьми, фиванская царица Ниобея дерзнула презрительно отозваться о богине Латоне, матери Аполлона и Артемиды. Разгневанные боги умертвили всех детей Ниобеи, сама же она обратилась в камень.

...*беда, какая постигла деревянного Приапа...*— Эразм имеет в виду рассказ Горация о деревянном Приапе, который, увидав, как колдуньи *Канидия и Сагана* заклинают фурий и духов, от ужаса раскололся с таким треском, что сами колдуньи в страхе убежали (Гораций, «Сатиры», I, 8).

Стр. 183. «*Историческое зерцало*»— было написано в XIII веке монахом-доминиканцем Викентием из Бове. «*Римские деяния*» (Gesta Romanorum) — анонимное произведение, появившееся примерно в то же время. Сочинения эти, богатые разнообразными вымыслами, пользовались в средние века огромной популярностью.

Тропологически — иносказательно.

Анагогически — то есть в высшем, мистическом смысле.

«*Если бы женскую голову*»...— Гораций, «Искусство поэзии», I. Перевод М. Дмитриева.

Эллебор — растение, применявшееся в древности как средство против душевных болезней.

Стр. 186. ...*эхо подскажет вам окончание этого стиха...*— Эразм имеет в виду стихи Горация:

> «Мы — ветрогоны, мы все — женихи Пенелопы, подобны
> Юношам мы Алкиноя, что заняты были не в меру
> Холею кожи и, спать до полудня считая приличным,
> Сон, что лениво к ним шел, навевали звоном кифары...»
>
> («Послания», 1, 2, 28—31. *Перевод Н. С. Гинцбурга*)

Стр. 188. ... *Диспенсация* — разрешение в отдельном случае нарушить существующий церковный закон. Диспенсивная власть принадлежала папе, который мог передавать ее епископам, и являлась существенным источником доходов католической церкви в средние века.

Стр. 189. *...сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел...* — В «Послании к Римлянам» (XVI, 18) говорится о тех, которые «...служат не господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных».

Интердикт — запрещение богослужения и отправления других религиозных обрядов, широко применявшееся средневековой католической церковью в ее борьбе со светской властью в качестве наказания, налагаемого на целые города, области, страны или — реже — на отдельных лиц. *Бенефиций* — здесь: церковная должность и связанные с ней доходные статьи.

«*Вот мы оставили все и последовали за тобою*» — «Евангелие от Матфея», XIX, 27.

Порой увидишь даже дряхлых старцев... — Весьма смелый намек на папу Юлия II (1503—1513), еще занимавшего папский престол в годы первых изданий «Похвалы Глупости».

Стр. 190. *Десятина* — десятая часть урожая и иных доходов, взимавшаяся в Западной Европе церковью со всего населения.

Стр. 191. *Регулярное духовенство* — священники, не принадлежавшие к определенному ордену или конгрегации, но соблюдавшие монашеский устав.

Картезианцы — монахи картезианского ордена, учрежденного около 1084 года и известного особой строгостью устава.

Рамнузия — Немезида, греческая богиня справедливости и возмездия.

Тимофей — известный афинский полководец IV века до н. э.

...ездят на Сеевом коне, а в карманах у них гремит тулузское золото. — Авл Геллий (III, 9, 6) рассказывает о коне, принадлежавшем первоначально некоему Сею, осужденному на смерть Марком Антонием. Все последующие владельцы этого коня также погибли насильственной смертью. Тот же Геллий (III, 9, 7) сообщает, что золото, награбленное в храмах галльского города Тулузы римским консулом Гнеем Сервилием Цепионом (конец II в. до н. э.), принесло несчастье всем, кто получил свою долю в добыче.

Стр. 193. *Холеный поросенок из Эпикурова стада.* — Так называет себя Гораций («Послания», I, 4, 16).

...«с трезвой мыслью мешать глупость». — Гораций, «Оды», IV, 12, 27. Перевод Н. С. Гинцбурга.

«*Сладко мудрость забыть порой*». — Гораций, «Оды», IV, 12, 28. Перевод Н. С. Гинцбурга.

«Лучше безумцем прослыть и болваном...» — Гораций, «Послания», II, 2, 126. Перевод Н. С. Гинцбурга.

«Весь мир полон глупцов».— Цицерон, «Письма к близким», IX, XXII, 14.

Стр. 194. *Сорбонна* — богословский факультет Парижского университета, была центром католической реакции в XVI веке.

...слушая чтение своего хозяина.— Намек на одно анонимное латинское стихотворение, где Приап изображен садовым сторожем, который, слушая, как его господин читает Гомера, запомнил несколько слов и затем употреблял их весьма некстати.

...слова самого Христа...— «Евангелие от Матфея», XIX, 17.

Стр. 195. *«...кто умножает познания, умножает скорбь».*— «Екклесиаст», I, 18.

...согласно заповеди евангельской. — «Многие же будут первые последними и последние первыми» («Евангелие от Матфея», XIX, 30).

...недвусмысленно о том свидетельствует в главе сорок четвертой...— В действительности это «свидетельство» находится не в XLIV, а в XX главе (стих 31).

Стр. 196. *«Подлинно я более невежда...»* — «Книга Притчей Соломоновых», XXX, 2.

«Если кто смеет хвалиться чем-либо...» — «Второе послание к Коринфянам», XI, 21.

«Трехъязычные» — то есть знающие греческий, латинский и древнееврейский языки.

...один славный теолог...— Имеется в виду Николай Лира (ум. в 1340 г.), богослов и проповедник, комментатор Библии.

Стр. 197. *Если верить свидетельству... Иеронима...*— Св. Иероним знал пять языков: латинский, греческий, древнееврейский, халдейский и свой родной — далматский.

...«неведомому богу»...— В «Деяниях апостолов» (XVII, 22—23) приводится обращение апостола Павла к афинянам: «По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».

Стр. 198. *«Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его...»* — «Евангелие от Луки», XXII, 36.

Стр. 199. *Есть еще один богослов...*— По-видимому, августинец Иордан Саксонский (XIV в.).

...так-де предписано Павлом...— «Послание к Титу», III, 10. Перевод не совсем точен.

...в Писании сказано...— «Второзаконие», XIII, 5.

Дидим — известный александрийский грамматик I в. до н. э., оставивший огромное количество трудов (по преданию, свыше 4000).

Итак, возвращаюсь к Павлу.— «Второе послание к Коринфянам», XI, 19.

Стр. 200. *И в ином месте.*— «Первое послание к Коринфянам», IV, 10.

И у Луки Иисус называет «несмысленными» двух учеников...— «Евангелие от Луки», XXIV, 25.

«Немудрое божие... премудрее человеков».— «Первое послание к Коринфянам», I, 25.

Ориген Александрийский (185—254) — один из крупнейших богословских авторитетов раннего христианства.

«Ибо слово о кресте...» — «Первое послание к Коринфянам», I, 18.

«Ты знаешь безумие мое».— «Псалтирь», XVIII, 6.

Марк *Антоний* (83—30 гг. до н. э.) — выдающийся римский полководец и государственный деятель. Среди ближайших соратников Юлия Цезаря Антоний отличался беспечностью и ненасытной жаждой наслаждений.

Нерон ненавидел Сенеку...— Философ Сенека был воспитателем будущего императора Нерона (37—68) и в первые годы его правления руководил своим воспитанником, но позже был отстранен от государственных дел. В 65 году Нерон, обвинив философа в участии в республиканском заговоре, заставил его покончить жизнь самоубийством.

... Дионисий — Платона.— Надеясь подчинить своему влиянию сиракузских тиранов и создать в Сицилии идеальное государство, Платон трижды посетил Сиракузы (первый раз при тиране Дионисии Старшем, второй и третий — при его преемнике, Дионисии Младшем). Все эти попытки окончились неудачей. По преданию, после ссоры с Дионисием Старшим Платон был даже продан в рабство.

«Но Бог избрал немудрое мира...» — «Первое послание к Коринфянам», I, 27.

«Погублю мудрость мудрецов...» — «Первое послание к Коринфянам», I, 19, где Павел цитирует «Книгу пророка Исаии», XXIX, 14.

Стр. 201. *«Вот агнец божий».*— «Евангелие от Иоанна», I, 29 и 36.

Стр. 202. *Так и Саул оправдывается перед Давидом...*— «Первая книга Царств», XXVI, 21.

Да и сам Давид взывает к господу...— «Вторая книга Царств», XXIV, 10.

«Ибо не ведают... что творят».— «Евангелие от Луки», XXIII, 34.

...свидетельствует и вдохновенный псалмопевец...— «Псалтирь», XXIV, 7.

Стр. 203. ... *Павел показался безумным судье Фесту.*— В ответ на защитительную речь апостола Павла римский наместник Фест сказал ему: «Безумствуешь ты, Павел. Большая ученость доводит тебя до сумасшествия» («Деяния апостолов», XXVI, 24).

Стр. 204. ...*пили вместо вина масло.*— Намек на рассказ о том, как святой Бернард, будучи погружен в размышления, выпил по рассеянности вместо вина масло.

Стр. 205. ...*«неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство»*.— Платон, «Федр», 245 В.

Стр. 206. *Именно об этом вещал пророк...* — «Первое послание к Коринфянам», II, 9, где Павел цитирует «Книгу пророка Исаии», LXIV, 4.

Л. Пинский

НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ

Это эссе — один из прославленных «гигантов», появляющихся в «Адагиях» («Пословицах») начиная с издания 1515 года (в предыдущих изданиях комментарии к отдельным пословицам не имели ни столь значительных размеров, ни, главное, столь откровенно публицистической окраски). В переводе опущены несколько вводных строк, объясняющих написание и употребление пословицы. На русский язык «Адагии» прежде не переводились.

Стр. 208. ... *в «Икароменнппе» он упоминает...*— См. Лукиан, «Икароменипп, или Заоблачный полет», 10.

Стр. 209. ...*сведав его верность на русом Ганимеде...*— Ганимед, сын малоазийского царя Троя, был необычайно красив. Зевс (Юпитер) влюбился в него и велел своей священной птице, орлу, похитить мальчика. (По некоторым вариантам мифа, Зевс похитил его сам, приняв облик орла.) На Олимпе Ганимед стал виночерпием Зевса. Выражение, которое употребляет здесь Эразм,— чуть измененная цитата из Горация («Оды», IV, 4, 3—4).

Стр. 210. «*Когда-то младость...*» — Гораций, «Оды», IV, 4, 5—12. Перевод Н. И. Шатерникова.

«*Так я хочу и велю!..*» — Ювенал, «Сатиры», VI, 223.

Стр. 211. *Филоксен* — греческий поэт конца V — начала IV в. до н. э.

«*Царь-пожиратель народа...*» — «Илиада», I, 231.

...*Гесиод называет царей...*— «Труды и дни», 263.

Стр. 212. «*Если ж откажут...*» — Гомер, «Илиада», I, 137—139. Перевод Н. И. Гнедича.

«*Или тебе не помогут...*» — Гомер, «Илиада», I, 566—567. Перевод Н. И. Гнедича.

Стр. 213. ...*в своем птенце — в Александре.*— Философ Аристотель был воспитателем македонского царевича Александра, будущего Александра Великого, «покорителя полумира».

...к таким государям, как Нерон, Калигула...— Римские императоры Калигула (37—41 гг. н. э.) и Нерон (54—68 гг. н. э.) вошли в историю как образцы безумных и неистово жестоких правителей.

Мусей — мифический певец, предсказатель и жрец. Греки считали, что он жил еще до Гомера и первым стал сочинять гимны в честь богов на греческом языке.

Стр. 214. *Плиний* — Гай Плиний Секунд Старший (23—79), римский военный писатель, историк, естествоиспытатель и теоретик красноречия. Он пользовался репутацией ученейшего человека своего времени. До нас дошло громадное сочинение «Естественная история» — настоящая энциклопедия античных знаний и представлений о природе. Наряду с подлинно научными сведениями в труде Плиния немало фантастических вымыслов, которые и заимствует у него Эразм, описывая нравы и повадки обеих враждующих сторон — орла и навозника.

...если бы прочел у Демокрита...— «*Прочесть у Демокрита*» что бы то ни было не мог в ту пору ни Эразм, ни кто-либо другой: от его многочисленных сочинений сохранились лишь скудные отрывки, ныне сведенные учеными вместе, а тогда безнадежно разрозненные.

Эгиф и *флор* — греческие названия двух не опознанных современной наукою птиц, предположительно — коноплянки и золотой иволги.

Стр. 216. *Правда, в случае с Эсхилом...*— Эразм намекает на известный в древности анекдот о смерти Эсхила. Великий мастер греческой трагедии умер в 456 г. до н. э. в сицилийском городе Гела. Говорили, будто он очень одряхлел и любил греться на солнышке, что, если верить анекдоту, его и погубило.

...в родстве с Веспасианом, который считал благоуханной любую прибыль.— Анекдот, легший в основу этого намека, еще более знаменит. Римский император Веспасиан (69—79) отличался редкостной скупостью и обложил налогом даже отхожие места, а в ответ на упреки сына, которому было неприятно такое скряжничество, дал ему понюхать монетку и спросил, не воняет ли она. Сын отвечал, что нет. «Вот видишь,— сказал Веспасиан, — а она из мочи».

...«Нумантинским».— Нумантия — крепость в Испании, взятая римлянами после долгой и мучительной для них войны в 133 г. до н. э. Победитель — Сципион Младший — получил прозвище «Нумантинского».

Стр. 218. *...отправиться вместе с Филоксеном в каменоломни...*— Уже упоминавшийся выше лирический поэт Филоксен жил некоторое время в Сицилии, при дворе Сиракузского тирана Дионисия Старшего, который писал трагедии и очень гордился своим талантом. Но Филоксен отозвался о писательстве тирана без всякого восторга, за что и лишился свободы.

Киликия — приморская область на юге Малоазийского полуострова. *Тавр* — горный хребет в Малой Азии.

Прославленный любитель прогулок — Аристотель, который во время занятий никогда не сидел на месте, но либо расхаживал взад-вперед, либо прогуливался вместе с учениками и говорил на ходу.

Эсалон — предположительно кобчик (г р е ч.).

Стр. 219. «*Пусть ненавидят, лишь бы боялись!*» — слова из не дошедшей до нас трагедии римского драматурга II века до н. э. Луция Акция. Эта фраза была любимым изречением императора Калигулы.

...даже если они причинят ущерб рыбакам...— Судя по Плутарху («Пир семи мудрецов», 19), у которого заимствованы все примеры насчет дельфинов, речь идет о тех случаях, когда дельфин врывался в рыбачьи сети и портил улов.

...лев, отблагодарил своего благодетеля...— Рассказ об Андрокле и льве, который сохранился у нескольких древних писателей (Сенека, Элиан, Авл Геллий), был в средние века одной из популярнейших историй, но для читателя нового времени намек Эразма недостаточно ясен. Раб Андрокл бежал от своего господина, римского наместника в Африке, и, бродя по пустыне, встретился со львом, в лапе которого торчала громадная заноза. Андрокл вытащил занозу и после этого прожил некоторое время вместе со львом, который даже носил пищу своему гостю. Затем он покинул логово льва, а вскоре был пойман и, за побег, осужден биться с дикими зверями на арене цирка. Но лев, которого выпустили против Андрокла, оказался его знакомцем и гостеприимцем. Вместо того чтобы растерзать человека, он стал ласкаться к нему. Изумленные и растроганные городские власти отпустили на волю обоих — и беглого раба, и льва.

...эту историю рассказал Филарх...— Здесь все перепутано. Плиний Старший (VIII, 21) ссылается на некоего *Деметрия Физика* (о котором ничего более неизвестно) как на источник рассказа о пантере (у Эразма — следующий пример). В свою очередь, Деметрий, как следует из Плиния, ссылался на отца некоего Филина (а не Филарха, как у Эразма!), «любителя мудрости»: тот якобы и вытащил из ямы детеныша пантеры.

Аристофан Грамматик — знаменитый греческий филолог III века до н. э. (более известен под именем Аристофана Византийского — по месту своего рождения). Жил в Александрии и под конец жизни сделался начальником прославленной Александрийской библиотеки.

Стр. 220. *...служба, которую они сослужили Ариону...*— Предание о поэте и музыканте Арионе, которого ограбили и бросили за борт матросы, а дельфин, очарованный его пением (убийцы разрешили своей жертве спеть перед смертью), вынес на берег,— достаточно известно русскому читателю благодаря стихотворению А. С. Пушкина «Арион». О *Гесиоде* рассказывали, будто он был коварно умерщвлен и брошен в море, но тут же целая стая дельфинов подхватила мертвое тело и доставила к ближайшему мысу, где как раз происходило празднество в честь Посейдона.

Девицу с Лесбоса должны были бросить в море по совету оракула — как умилостивительную жертву морским божествам. Но на судне нашелся юноша, который полюбил ее; в отчаянии, не зная, как помочь любимой, он, когда все уже было готово к жертвоприношению, вдруг поднял девушку на руки и вместе с нею прыгнул в воду.

Мальчик, разъезжавший взад-вперед по волнам — также весьма известный пример дельфиньего человеколюбия, заимствованный у Плиния Старшего (IX, 7): мальчик, ежедневно бегавший в школу берегом моря, подружился с дельфином настолько, что тот стал возить его из дома в школу и назад, а когда мальчик внезапно умер, зачах от горя и дельфин.

Стр. 221. ... *зорче глядел Пирр*...— Пирр, царь Эпира (307—272 гг. до н. э.), получил от своих подданных прозвище «Орел» после битвы, начавшейся поединком полководцев, в котором Пирр одержал трудную победу над македонским военачальником. Отвечая на поздравления эпиротов, он говорил: «Благодаря вам я сделался орлом. Да и как же иначе! Ведь ваше оружие, словно крылья, вознесло меня ввысь!» (Плутарх, «Пирр», X. Перевод С. Ошерова).

Антиох, гордившийся прозвищем «Ястреб» — младший брат сирийского царя Селевка II Каллиника (246—225 гг. до н. э.); своим прозвищем он обязан непомерному властолюбию, толкнувшему его на многолетнюю и бесплодную борьбу против брата.

...отвел ему вполне почетное место между светилами...— Речь идет о созвездии Орла, которое древние считали орлом Зевса, несущим огненную стрелу своему господину.

...Волчицею, кормилицей римского племени...— По римскому мифу, близнецы Ромул (будущий основатель Рима) и Рем были выкормлены волчицею, посланной богом Марсом.

Стр. 222. ...*Римская держава была основана гаданием по полету коршунов*...— Миф гласит, что Ромул и Рем, основывая новый город (которому суждено было стать Римом), никак не могли согласиться, на каком именно месте его закладывать, и условились решить спор гаданием по птицам: они сели порознь и стали ждать, и со стороны Рема показалось шесть коршунов, а со стороны Ромула — вдвое больше.

Стр. 223. *Аякс... стыдится такого бессильного соперника, как Улисс*...— После смерти Ахилла мать его, Фетида, предложила отдать доспехи павшего самому храброму из греческих героев. Больше всех заслуживал этой чести Эант (Аякс), сын Теламона, но хитрый Одиссей (Улисс) сумел завладеть наградою с помощью подкупа и лжесвидетельства. В гневе и обиде Аякс покончил с собой.

Тройная корона — папский венец (тиара), служащий символом тройственных прав папы — как верховного судьи, законодателя и священнослужителя всего католического мира.

Гомерова муха— намек на знаменитое гомеровское сравнение, сопоставляющее упорство Менелая со

смелостью мухи, которая мужем
Сколько бы крат ни была дерзновенная согнана с тела,
Мечется вновь уязвить, человеческой жадная крови.

(«Илиада», XVII, 570—572. *Перевод Н. И. Гнедича*)

Стр. 224. *Демиург* — творец, зиждитель (г р е ч.), термин Платоновой философии, унаследованный (хотя и неодинаково толкуемый) различными философскими и религиозно-философскими школами поздней античности, а также ранним христианством.

...землепашцам; самому почтенному в прошлом роду людей...— Восхваление сельского хозяйства предпочтительно перед всяким другим занятием было «общим местом» для античной древности.

...они называли его благоприятнейшим словом — «летáмен», то есть «радость».— В самом большом и, пожалуй, до сих пор самом авторитетном толковом словаре латинского языка, словаре Форчеллини, в объяснении на слово laetamen читаем: «...так зовется навоз, который разбрасывают по полям, потому что он делает посевы радостными, то есть тучными и плодоносными» (цитирую по изданию 1865 года, том 3, стр. 679).

Стеркут (от латинского stercus, то есть «кал») — римское божество навозной кучи, ведавшее удобрением полей. В древнейшей римской мифологии «Стеркут» было прозвищем верховного бога Сатурна, исполнявшего функции бога плодородия (этот древнейший период и отражен в свидетельстве римского писателя V в. Макробия, на которое Эразм ссылается чуть выше).

...доставил великую славу двум царям — Авгию и Геркулесу.— Седьмой подвиг Геракла (Геркулеса) — очистка хлевов и конюшен царя Элиды (западной области Пелопоннесского полуострова) Авгия, владевшего многими тысячами голов скота и не чистившего стойла тридцать лет. Геркулес перегородил соседнюю реку запрудой и направил воду на скотный двор.

Стр. 224—225. *...память о царственном старце, которого (как замечает Цицерон в «Катоне») Гомер представил потомству... удобряющим почву...*— Речь идет о той сцене из «Одиссеи» (XXIV, 205—411), где старик Лаэрт встречается со своим сыном Одиссеем после двадцатилетней разлуки. Эразм недаром ссылается на Цицерона: об унавоживании почвы говорится именно в Цицероновом диалоге «Катон Старший» (54), но не в Гомеровой «Одиссее».

Стр. 225. *...среди священных изображений...*— Греческое слово hieroglyphica означает: священные [письмена], высеченные в камне.

Стр. 226. *Маворс* — архаическая форма имени римского бога войны Марса (у греков — Арея).

Бусириты — жители города Бусириды, находившегося в середине Нильской дельты.

Пиргополиник — герой комедии Плавта «Хвастливый воин». Это имя, означающее по-гречески «Башнеградопобедитель», стало нарицательным, а образ вояки-хвастуна бесчисленное множество раз воспроизводился в европейской драматургии.

Стр. 227. *...трава моли, которую некогда дал Улиссу Меркурий.*— Эта трава (название которой мы уже встречали в «Похвале Глупости») действительно существовала и слыла у древних надежным средством против колдовства. Гомер («Одиссея», X) рассказывает, как волшебница Цирцея превратила спутников Одиссея (Улисса) в свиней, и та же участь постигла бы самого Одиссея, если бы вестник богов Гермес (Меркурий) не дал ему «чудесное средство, разрушающее чары»:

«Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною;
Моли его называют бессмертные; людям опасно
С корнем его вырывать из земли, но богам все возможно».

(Стихи 304—306. *Перевод В. А. Жуковского*)

Стр. 228. *...огромен и славен* — «Илиада», II, 653. Так Гомер говорит о Тлеполеме, сыне Геракла.

Пенаты — боги-хранители. И государство в целом, и каждая из римских семей имели своих хранителей и покровителей, которые и считались их пенатами. Чаще других богов пенатами были Юпитер, Веста, Вулкан, Венера.

Стр. 229. *...как в давние времена...*— Эразм вспоминает здесь две другие известные Эзоповы басни.

Калхас (Калхант) — легендарный греческий прорицатель, участник похода на Трою. «*Вспыхнувший гнев он на первую пору...*» — Гомер, «Илиада», I, 81—83. Перевод Н. И. Гнедича.

Стр. 230. *Плутос* — греческий бог богатства. Слепым его изобразил в одноименной комедии Аристофан, чтобы подчеркнуть несправедливость в распределении богатств на земле.

...обращается к Вулкану, с которым был в добрых отношениях,— по сходству цвета...— Бога огня и кузнечного ремесла Вулкана (у греков — Гефеста) древние представляли себе в виде закопченного дымом кузни мастерового.

Стр. 231. *Острова Блаженных* — в греческой мифологии место на краю земли, где пребывает после смерти поколение героев, погибшее в великих войнах (в том числе — при осаде Трои). Это понятие сливалось с понятием о Елисейских полях (Элизиуме).

Стр. 232. *...бросить священный якорь...*— Эту греческую пословицу, обозначающую крайнее средство, объясняли тем, что самый большой и

крепкий якорь на корабле назывался «священным»; моряки бросали его лишь в случае самой грозной опасности.

...хотя бы даже в случае с новым виночерпием замена и оказалась весьма приятной.— По некоторым вариантам мифа, орел подносил Зевсу не только огненные стрелы, но и чашу с нектаром. Таким образом, Ганимед сменил его на посту «виночерпия» (нектар на пирах богов — то же, что вино в застольях у смертных).

...теми блаженнейшими яйцами, что снесла ему Леда...— Зевс соединился со смертной красавицей Ледою, приняв обличие лебедя, и спустя некоторое время Леда снесла два яйца; из одного вылупились близнецы Кастор и Полидевк (Диоскуры, то есть сыновья Зевса), из другого — Елена Прекрасная, будущая виновница Троянской войны.

Стр. 233. *...после Кадмейской, как мы бы выразились, победы.*— Кадмея — крепость Фив Беотийских (в Средней Греции). Братья Этеокл и Полиник должны были править Фивами поочередно. Но Этеокл нарушил уговор, и Полиник, призвав на помощь шестерых прославленных полководцев, двинулся на родной город (так называемый «поход Семерых против Фив»). После долгой осады Фив братья согласились встретиться в поединке и пали от руки друг друга.

Стр. 234. *Канфаролефр.*— Погибель для навозника (г р е ч.).

...недостатка в средствах для раскрашивания и расцвечивания у меня нет...— Очень любопытно сравнить собственно «басенную» часть эссе с ее главным источником — Эзоповой басней об орле и жуке (в сочетании двух ее вариантов — из «Основного эзоповского сборника» и из анонимного «Жизнеописания Эзопа»):

«Однажды заяц, спасаясь от орла, прибежал к навозному жуку и попросил заступиться за него. Жук просил орла прислушаться к его заступничеству, именем Зевса убеждал орла не презирать его ничтожества. Но орел крылом отшвырнул жука, схватил зайца, растерзал и сожрал. Возмутился жук, полетел следом за орлом, высмотрел его гнездо, где лежали орлиные яйца, и разбил их, а сам улетел. Вернулся орел, пришел в ярость, хотел найти и растерзать злодея; а на другой год он снес яйца на более высоком месте. А жук опять прилетел, опять их разбил и скрылся. Горько сетовал орел, говоря, что Зевс в гневе решил перевести орлиный род («Жизнеописание Эзопа», 135—136). Наконец орел, нигде не находя покоя, искал прибежища у самого Зевса и просил уделить ему спокойное местечко, чтобы высидеть яйца. Зевс позволил орлу положить яйца к нему за пазуху. Жук, увидев это, скатал навозный шарик, взлетел до самого Зевса и сбросил свой шарик ему за пазуху. Встал Зевс, чтобы стрясти с себя навоз, и уронил ненароком орлиные яйца. С тех самых пор, говорят, орлы не вьют гнезд в ту пору, когда выводятся навозные жуки». (Перевод М. Л. Гаспарова. См. «Басни Эзопа», «Наука», М. 1968, стр. 61, 64.)

Стр. 235. *Не знаешь? В баснях у Эзопа...*— «Мир», 129—134. Перевод А. И. Пиотровского (с небольшими изменениями). Характерно, что шесть строк греческого оригинала Эразм переводит семью латинскими строками: он никогда не держался принципа эквилинеарности (равнострочности) и иногда увеличивал объем переводимого текста чуть ли не вдвое.

...есть людишки... такие же черные...— Ученые толкуют это место как выпад против ненавистных Эразму нищенствующих монахов; черную накидку поверх белого нижнего платья носили доминиканцы.

РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Первый опыт перевода «Разговоров» на русский язык принадлежит еще М. В. Ломоносову; в главу IV его «Риторики» включен диалог «Рассвет» под следующим заглавием: «Разговор Дезидерия Еразма Роттеродама, называемый Утро». Первой значительной по объему выборкой из «Разговоров» был перевод академика М. М. Покровского, увидевший свет под названием «Домашние беседы» (Гослитиздат, Москва, 1938). Представленные здесь диалоги заимствованы из книги: Эразм Роттердамский, «Разговоры запросто». Перевод с латинского С. Маркиша («Художественная литература», Москва, 1969) наиболее полного русского издания «Разговоров».

В ПОИСКАХ ПРИХОДА

Стр. 237. *...по бугорку на пальце ноги.*— У Гомера — по шраму на колене; ошибку, несомненно, следует отнести не на счет Эразма, а на счет его простоватого героя.

Ламия — в греческой мифологии страшная старуха, которой пугали детей, некое подобие бабы-яги.

...словно бы рогом.— Гасильником для свечей обычно служил полый рог.

Стр. 238. *...средь бела дня на битком набитой площади никого не увидишь.*— Намек на известный анекдот о Диогене, который днем расхаживал по городу, держа в руках зажженный фонарь, и на вопрос, что он делает, отвечал: «Ищу человека».

Делия — то есть Делосская: греческая богиня охоты Артемида, местом рождения которой считался остров Делос.

...золото променивает на свинец? — Имеются в виду свинцовые печати, которыми скреплялись папские грамоты.

Стр. 239. *Из Будеева «Асса».*— Будей — латинизированная фами-

лия Гильома Бюде (1467—1540), одного из виднейших французских гуманистов, друга Эразма. Главный его труд — исследование денежной системы Древнего Рима; оно называлось «Об ассе» (асс — римская медная монета).

ХОЗЯЙСКИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Стр. 240. *Рабин.*— Этим вымышленным именем обозначаются обыкновенно доктора богословия. В «Диалоге о правильном произношении, латинском и греческом» Эразм сообщает, что «наш учитель», почетный титул доктора богословия (в переводе «Писем темных людей» — «магистр наш») — это перевод еврейского «раввин».

Стр. 241. «*Не могу одновременно...*» — Плавт, «Привидение», 791.

Стр. 242. *...нет ли писем для меня и когда он собирается в дорогу.*— Почты еще не существовало, и письма пересылались либо с оказией, либо — чаще — с нарочными (гонцами), взимавшими за свои труды немалое вознаграждение.

В греческие календы — соответствует русскому выражению «на турецкую пасху»: календы — чисто римское понятие.

...нет ли новых книжек из Германии.— Следует иметь в виду, что речь идет не о слуге типа гоголевского Петрушки или Осипа, но о прислужнике-ученике, состоящем в услужении у ученого хозяина и совмещающем обязанности собственно слуги и секретаря.

ПЕРЕД ШКОЛОЮ

Стр. 243. *...самого Орбилия посрамит.*— Орбилий — школьный учитель Горация, которого поэт вспоминает в «Посланиях» (II, 1, 70—71) и называет «щедрым на удары». Его биография известна достаточно подробно по сочинению Светония «О грамматиках и риторах».

ПОКЛОННИК И ДЕВИЦА

Стр. 246. *Ахилловыми доводами* — то есть самыми сильными (по имени сильнейшего из гомеровских героев — Ахилла).

Стр. 248. *Ареопаг* — верховный суд в Древних Афинах.

Амфиктионы — так назывались у греков города, заключавшие союз для совместного отправления культа в общем святилище и совместной защиты этого святилища. Памфил хочет сказать, что если его утверждение и не согласно с правилами грамматики, то вполне согласуется с учением философов (платоников и неоплатоников), на которое он ссылался выше.

...или деву-весталку? — Жрицы богини Весты в Древнем Риме обязаны были хранить строжайшее целомудрие. Растлитель весталки подлежал позорной и мучительной казни.

Стр. 249. *Она... вооружена молнией?.. Трезубцем?.. Копьем?* — Молния — оружие Зевса, трезубец — его брата Посейдона, владыки морей, копье — бога войны Ареса.

Стр. 250. *Аглаиус* — от греческого aglaos, то есть «блестящий», «славный».

Стр. 251. *Немезида* — греческая богиня возмездия.

Стр. 252. *Авгур* — у древних римлян жрец-прорицатель, предсказывавший будущее по полету и поведению птиц.

Песенка-то короткая, да припев долгий.— По каноническому (церковному) праву, обмен такими обещаниями был равнозначен заключению брака, почти столь же законного и нерасторжимого, как скрепленный обрядом венчания.

Стр. 253—254. *...как жили некогда Иосиф с Марией.*— Евангелие повествует,что Мария, мать Иисуса, прежде чем «сочетаться» со своим супругом, Иосифом, «имела во чреве от Духа Святого». Иосиф «хотел тайно отпустить ее», но ангел, явившись ему во сне, объяснил смысл происходящего, и, «встав ото сна, Иосиф... принял жену свою и не знал ее, как наконец она родила сына своего, первенца...» («Евангелие от Матфея», I, 18 —25).

ХУЛИТЕЛЬНИЦА БРАКА, ИЛИ СУПРУЖЕСТВО

Стр. 259. *...Петр ставит нам в пример Сарру...*— В «Первом соборном послании апостола Петра», гл. III, ст. 1—6, говорится: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям... Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Это намек на деталь ветхозаветной истории патриарха Авраама, которому бог,— несмотря на столетний почти возраст, — обещает сына, а супруга патриарха «внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар» («Бытие», XVIII, 12).

Стр. 260. *Ведь это Христос так порешил!* — В «Евангелии от Матфея», XIX, 8—9, Христос поучает: «Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала было не так. Но я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует».

Стр. 263. *Я близко знакома с одним человеком...*—Далее следует история из жизни Томаса Мора. Героиня этой истории—первая супруга Мора, Джейн Коулт, умершая в 1511 году, после шести лет счастливого брака.

Стр. 264. *...историю... про мужа, исправленного мягкостью жены.*— Это народная новелла, имевшая самое широкое хождение; ее сюжет разработан, в частности, у Маргариты Наваррской («Гептамерон», новелла 38).

Стр. 268. *Ты повторяешь шутку насчет трехмесячного потомства?* — Эту шутку приводит Гай Светоний Транквилл в жизнеописании императора Клавдия. Бабка Клавдия, Ливия, вышла замуж за Октавиана Августа, будучи беременной, и уже через три месяца после свадьбы родила; тут же кто-то пустил стишок:

«Везучие родят на третьем месяце».

(«Божественный Клавдий», I. *Перевод М. Л. Гаспарова)*

Стр. 269. *...можешь после звать меня не Евлалией, а Псевдолалией-Пустобрешкой...*— Как очень часто у Эразма, имена героиням диалога выбраны со значением: Евлалия — по-гречески дословно «благоречивая», Ксантиппа — тезка супруги Сократа, на века прославившей себя сварливостью и дурным характером. Имя «Псевдолалия», если и его перевести дословно, означает «лжеречивая».

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Стр. 271. *Кастор и Поллукс* (Полидевк) — близнецы Диоскуры. У древних они считались покровителями мореплавателей.

Стр. 272. *Поистине скифская проповедь.*— Слово «скиф» для греков и римлян было синонимом варварской суровости и грубости.

Стр. 274. *...сулил золотые горы святой Деве Уолсингэмской...*— Храм Богородицы в Уолсингэме на восточном побережье Англии был одною из знаменитых святынь Северной Европы.

...апостол Павел, который сам плавал по морю, терпел кораблекрушение и добрался до берега невредим.— Римский наместник в Палестине Фест отправил Павла под стражею в Рим, на суд к императору. Невдалеке от Крита судно было застигнуто бурей и погибло, но все, кто на нем находился, остались живы. Этот эпизод из «Деяний святых апостолов» (гл. XXVII), один из лучших в книге, в известной мере послужил литературным прототипом Эразмову диалогу. Так, отсюда заимствовано упомянутое несколько ниже обвязывание носа и кормы канатом.

«*Ведая беды и сам*»...— Слегка перефразированный стих из «Энеиды» Вергилия I, 630.

Стр. 276. *Жерсон* — Жан Шарлье из Жерсона (на северо-востоке Франции) (1363—1429), знаменитый богослов, государственный и церковный деятель, человек удивительного благородства и мужества. Его взгляды были во многом близки Эразму, но латынь Жерсона по справедливости казалась ему варварской.

ЗАЕЗЖИЕ ДВОРЫ

Стр. 279. *...оттуда Одиссею своих спутников не увести бы — там настоящие сирены!* — Имеется в виду известный эпизод из «Одиссеи» Гомера, песнь XII, где рассказывается, как Одиссей и его спутники миновали остров сирен — морских муз,— которые своим пением заманивают плывущих мимо путников, и те, забыв обо всем на свете, погибают вместе с кораблями.

Стр. 283. *...скатерти отнюдь не милетские...*— Жители города Милета, старинной греческой колонии на западном берегу Малой Азии, считались любителями роскоши, изнеженными, избалованными.

Стр. 284. *...точно Харон какой-нибудь.*— Харон, перевозящий души умерших через реки и озера подземного царства, взимает плату за перевоз; в рот покойнику вкладывали мелкую медную монету для расплаты с Хароном.

Стр. 285. *...я вижу Платоново государство.*— Здесь имеется в виду абсолютное равенство внутри сословий, на которые членит общество Платон в своем диалоге «Государство».

ЮНОША И РАСПУТНИЦА

Стр. 288. *...помогаешь милостынькой нищим.*— «Нищие» — это нищенствующие монахи, скорее всего ненавистные Эразму францисканцы или доминиканцы.

РАЗГОВОР СТАРИКОВ

Стр. 290. *Евсевий. Пампир. Полигам. Гликион.*— Все четыре имени значимы, и значение их связано с содержанием диалога: Евсевий — по-гречески «благочестивый», Пампир — «все испытавший», Полигам — «многоженец», Гликион — «сладкий, приятный».

Стр. 291. *Кадуцей* — жезл бога Гермеса (Меркурия), трость с обвившимися вокруг нее двумя змеями.

...почти по греческой пословице...— Во время празднеств в честь Диониса в Афинах по улицам разъезжали повозки, с которых острословы высмеивали и бранили всех подряд, невзирая на лица и положение; отсюда пословица о полной откровенности.

Стр. 292. *...Тифонова старость, как говорится!* — Тифон — легендарный царь Троады, возлюбленный богини Зари (Эос), которая выпросила для него у Зевса бессмертие, но вечную молодость выпросить не догадалась.

Стр. 294. *...играю роль некоего Митиона-Миролюбца...*— Митион (от лат. mitis — «мягкий») — вместо Микион: так зовется в комедии Теренция «Адельфы» снисходительный и мягкосердечный старик.

Стр. 295. *...Кратет, которому приписывается эпиграмма...*— Эпиграмма эта принадлежит не философу Кратету, а поэту IV— III веков до н. э. Посидиппу. *Метродор* — греческий поэт IV века н. э.

Стр. 299. *...из числа тех, что снаружи льняные, внутри шерстяные.*— То есть вступил в обитель уставных августинских каноников (к этому ордену принадлежал и сам Эразм), которые носили льняную рясу поверх шерстяной рубахи.

Стр. 300. *...обернулся кожаным — у картезианцев.*— Картезианцы в те времена одевались в рясу из кожи.

...из ордена святого Бенедикта.— Святой Бенедикт из Нурсии в Средней Италии (480 — ок. 542) был основателем первого в Западной Европе монашеского ордена и первых монастырей.

...их вернул к строгим правилам Бернард...— Речь идет о святом Бернарде Клервоском, который был реформатором монашества.

Черепашье мясо либо ешь досыта, либо не ешь вовсе.— Греки считали, что черепашье мясо в большом количестве полезно, а в малом — вызывает рези в животе.

...существуют некие бригиттинцы...— Орден, основанный святой Бригиттой Шведской (ок. 1302—1373), имел монастыри преимущественно на севере Европы (Швеция, Дания, Норвегия, Померания).

Стр. 301. *...набрел я как-то на крестоносную братию.*— Изображение креста на одежде и на латах носили все (или почти все) рыцарствующие монахи. Каждый орден отличался от всех других формою или цветом креста.

Стр. 302. *Юлий Второй бился с французами.*— Римский папа Юлий II начал войну с Францией в 1511 году (французы укрепились в Северной Италии, а папа стремился вытеснить их оттуда). Борьба шла с переменным успехом и прервалась лишь со смертью папы (1513).

Стр. 303. *Бенефиций* — в католической церкви должность, приносящая доход. Это латинское слово, первоначально означавшее «благодеяние», приобрело новое значение лишь в средние века, отсюда презрительная оговорка Евсевия: «Так это у них зовется».

НИЩИЕ БОГАЧИ

Стр. 305. *...завтра ж за проповедью выставите меня...*— Папские привилегии давали францисканцам право проповедовать, исповедовать и отпускать грехи. Это вызывало зависть и протесты со стороны приходских священников, не желавших терпеть конкурентов. Вражда между нищенст-

вующими монахами и приходским духовенством — частая тема в предреформационной литературе задолго до Эразма (Джон Виклеф, Ян Гус).

Стр. 306. *Коли нужда придавила — стыд не на пользу.*— Перифраз известной сентенции из «Одиссеи» Гомера (XVII, 347):

«Стыдливым
Нищему, тяжкой нуждой удрученному, быть неприлично».
(*Перевод В. А. Жуковского.*)

Ты, видимо, подозреваешь, что мы из тех, которые изменили...— Еще при жизни святого Франциска Ассизского (1182—1226), основателя нищенствующего ордена «меньших братьев», начались раздоры между теми, кто требовал неукоснительного исполнения устава, и сторонниками реформ, приспосабливавших устав Франциска к требованиям папской курии и повседневной жизни. Эти разногласия привели к фактическому расколу ордена на два крыла — обсервантов («наблюдающих устав») и конвентуалов (умеренных). Главою обсервантов в начале XV века был святой Бернардин Сиенский, именем которого и назван один из персонажей настоящего диалога.

Стр. 310. «*Не заботьтесь...*» — «Евангелие от Матфея», VI, 33.

Стр. 313. *Фрасоновы глупости.* — Фрасон — имя хвастливого и заносчивого воина из комедии Теренция «Евнух» (от греческого слова thrasys — «дерзкий», «наглый»).

Стр. 314. *...мантию Учителя и Наставника...*— то есть был доктором богословия, носившим почетный титул «Наш учитель».

Стр. 315. *...ее не стыдятся ни кардиналы, ни даже папы.*— Смиренные «меньшие братья» поднимались и до кардинальского достоинства, и даже всходили на папский престол в Риме.

...люди, что объездили разные вновь открытые земли.— Один из очень немногих у Эразма откликов на великие географические открытия, современником которых он был.

Стр. 317. *Почему апостолы не сразу принялись есть всякую пищу без разбора?* — Ветхий завет, а также обычаи накладывали на исповедующих иудаизм различные ограничения в пище. Христианство этими ограничениями пренебрегло.

...как испанец выдергивал волоски из конского хвоста.— См. прим. к стр. 143 («Похвала Глупости»).

ЗАКЛИНАНИЕ БЕСА, ИЛИ ПРИВИДЕНИЕ

Стр. 320. *И, наверно, знаешь его поместье неподалеку от Лондона?*— Ученые предполагают, что Пол — это Томас Мор и что события, изображаемые в этом диалоге, происходили в его имении в феврале 1514 года. По другим соображениям, Пол — это тесть Мора, Джон Коулт.

Стр. 321. *...некий Фавн...*— «Скорописец» Эразм, почти никогда не перечитывавший то, что сам написал, назвал одним именем трех персонажей: тестя Пола (который так и не появляется), глупца священника и «грешную душу». Имя, как почти во всех случаях, выбрано для священника не случайно: римский бог полей и лесов Фавн чтился еще под именем «Фатуус», а fatuus по-латыни «дурак», «тупица».

...которым мало прозываться латинским словом «уставные»...— Эразм насмехается над нелепостью названия «уставные каноники»: canon — по-гречески «правило, устав» (имеется в виду монашеский устав).

Стр. 322. *Комедия... почище Менандровой «Фазмы».*— Заявление весьма рискованное, поскольку, кроме названия, от этой комедии Менандра сохранилось менее пятидесяти строк, да и те, возможно, были известны Эразму не полностью.

...облачился в так называемую священную столу...— Стола у римлян — длинное и просторное женское платье, а в позднюю античность — одеяние жрецов. Здесь — священническое облачение, риза.

Стр. 324. *...зять Пола, муж его старшей дочери...*— Если Пол — Джон Коулт, то этот безыменный зять — Томас Мор.

Стр. 326. *...посетил жилище Петра...*— то есть базилику святого Петра в Риме.

...гребень Иисуса в Трире.— В Трирском соборе показывали гребень, которым якобы причесывался Иисус Христос.

Стр. 327. *Многое... было подстроено примерно так же.*— В послесловии «О пользе «Разговоров» Эразм дает такое, несколько неожиданное толкование этому диалогу: «Я разоблачаю уловки обманщиков, которые привыкли издеваться над простыми и легковерными душами, изображая явления демонов и усопших, подражая звукам сверхъестественных голосов... Юный и неискушенный возраст особенно беззащитен перед такими обманами, и потому я решил показать злостное надувательство на этом забавном примере».

АЛХИМИЯ

Филекой — по-гречески «любитель послушать», *Лал* — «болтливый».

Стр. 331. *...Богородице, которую... чтут в Паралиях...*— Паралии можно перевести примерно как «Приморск» (г р е ч.); имеется в виду уже упоминавшаяся однажды божья матерь Уолсингэмская (Уолсингэм — к северо-востоку от Лондона, в графстве Норфольк).

Стр. 332. *Только тут и обнаруживается его близорукость, в остальном он зорче самых зорких.*— С этим замечанием, возможно, связан выбор имени «Бальбин»: у Горация в «Сатирах» (третья сатира первой книги) так назван влюбленный, который «не видит ничуть недостатков в милой подруге».

Стр. 336. *Да, недурно ты разыграл критянина с этим критянином!* — Греческая пословица: жители Крита считались в древности отъявленными лгунами и обманщиками.

ГОВОРЛИВОЕ ЗАСТОЛЬЕ

Стр. 338. Все имена вымышленные и все греческого происхождения: *Полимиф* — «словоохотливый», *Геласин* — «смеющийся», *Евтрапел* — «остроумный», *Астэй* — «изящный, прелестный», *Филитл* — «любитель вздора», *Филогел* — «смешливый», *Евглотт* — «говорливый», *Лерохар* — «пустослов», *Адолеск* — «болтун».

...собирали голоса по трибам... — Трибы — административно-территориальные округа в древнем городе Риме. Поначалу их было три, постепенно число триб дошло до тридцати пяти, и все новые римские граждане приписывались к этим уже существующим трибам.

Стр. 339. *...разве у нас застолье несвоевременное и неприсутственное?*— Римский календарь разделял дни на благоприятные и неблагоприятные. Последние были объявлены неприсутственными — в такие дни преторы не могли вершить суд и не произносили формулу, утверждавшую законность их решений. А формула эта состояла из трех слов: do — предоставляю [права], dico — произношу [приговор], addico — присуждаю. Отсюда шутливый ответ Евтрапела.

Чтобы чрезмерная удача не навлекла на них гнева Немезиды...— Древние верили, будто боги завистливы и не прощают человеку постоянного и неизменного счастья.

Бромий — «шумный» (г р е ч.), прозвище бога вина Вакха.

Стр. 340. *Иоганн Ботцхейм* (ок. 1480—1535) — друг Эразма и многих других гуманистов. Его дом в Констанце был пристанищем для всех людей науки и искусства, ехавших из Северной Европы в Италию или в обратном направлении. Эразм был его гостем в 1522 году. Они сблизились благодаря сходству характеров и взглядов, в частности — благодаря одинаковому отношению к Реформации: сперва сочувственному, потом враждебному.

...если верить Плавту...— «Привидение», 791.

Стр. 342. *Это очень похоже на тяжбу о тени осла.*— Источник этой поговорки — анекдот о великом греческом ораторе Демосфене. Выступая в одном сложном деле и видя, что судьи рассеянны и невнимательны, он вдруг прервал свою речь и начал рассказывать о каком-то юноше, нанявшем осла с погонщиком. День был жаркий, и седок, спешившись, присел отдохнуть в тени, которую отбрасывал осел. Погонщик

возразил, утверждая, что отдал внаем только осла, а не его тень. Спор превратился в судебную тяжбу. Тут Демосфен умолк, а когда судьи попросили его закончить рассказ, с горечью воскликнул: «Басню о тени осла вы готовы слушать, а важное дело выслушать не желаете!»

Такой же случай произошел в Девентере, когда я был мальчишкою.— По всей видимости, истинная автобиографическая деталь: Эразм учился в голландском городе Девентере в 70-е — начале 80-х годов XV века.

...пора, когда царствуют рыбники, а мясники пропадают от безделия — то есть мясопуст (великий пост).

Стр. 343. *...первое звено — в деснице Юпитера.*— В «Илиаде» Гомера (VIII, 19—27) Зевс (Юпитер) грозится спустить с неба на землю золотую цепь и утверждает, что все боги и богини не смогут «совлечь с неба на землю Зевса, строителя вышнего, сколько б они ни трудились», тогда как он, если почтет за благо, поднимет их всех вместе «с самой землею и с самим морем».

Стр. 344. *...а потом и вступил на престол.*— Людовик наследовал своему отцу, Карлу VII, в 1461 году, а умер в 1483. Таким образом, память о нем была еще жива и свежа, когда Эразм впервые появился во Франции (1495 г.).

Стр. 347. *...вспомнить нашего Максимилиана.*— Максимилиан I, император Священной Римской империи германской нации (1493—1519), еще в 1477 году получил во владение Нидерланды, вступив в брак с Марией Бургундской, дочерью герцога Бургундского Карла Смелого.

Стр. 348. *Филипп Добрый* — герцог Бургундский (1419—1467), отец упомянутого выше Карла Смелого.

Стр. 351. *Как волк в басне!* — Эта латинская пословица чаще употреблялась в значении русского «легок на помине».

ЭХО

Стр. 353. *...скверно налегать на одного Цицерона...*— Это первый открытый выпад против фанатиков гуманизма, «цицероновых обезьян», тупых и слепых в своем педантизме подражателей античным образцам, против тех, кто не желал считаться с требованиями жизни, мертвое предпочитал живому. Два года спустя Эразм опубликовал большой сатирический диалог на эту тему — «Цицеронианец».

НЕРАВНЫЙ БРАК

Стр. 354. *...вроде того, что в стародавние времена на пиру у лапифов?* — Царь лапифов, легендарного племени из Фессалии (Северная Греция), пригласил к себе на свадьбу кентавров — полулюдей-полуконей, а

те, напившись пьяны, пытались похитить невесту и других девушек и женщин. Завязалась битва, в которой кентавры были разбиты.

Или влаги Вакха недостало? — то есть вина.

Стр. 355. *Псора* — чесотка (г р е ч.).

А его дочь Ифигению? — Микенский царь Агамемнон, возглавлявший поход греков-ахейцев против Трои, принес в жертву свою дочь Ифигению ради того, чтобы боги даровали его флоту счастливое плавание к берегам Троады. Так и эти родители приносят дочь в жертву, только не ради общего дела, а ради собственного тщеславия.

...паршою, которая твердого названия еще не имеет и потому весьма многоименна.— Речь идет о сифилисе, который тогда называли то французской, то испанской, то неаполитанской болезнью. Нынешнее свое название он получил по имени главного героя поэмы итальянского врача Джеронимо Фракасторо, описавшего эту болезнь в стихах (1530 г.). Героя поэмы звали Сифил, что можно перевести примерно как «друг свиней».

...но совсем не так ловко, как швейцарцы.— Эразм смеется над швейцарскими наемниками и их шагом в строю.

Стр. 356. *...как говорит Марон...*— Публий Вергилий Марон, «Энеида», VIII, 485—486. Перевод С. М. Соловьева. *Мезентий* — один из персонажей «Энеиды», за чудовищную жестокость изгнанный из города, которым он правил.

Стр. 357. *Шельда* — река на территории нынешней Франции, Бельгии и Голландии. При впадении Шельды в Северное море стоит Антверпен.

Лен — наследственное земельное владение, полученное вассалом (рыцарем) от сеньора и связывающее вассала и все его потомство долгом верности по отношению к сеньору.

Стр. 358. *«Доблесть милее вдвойне...»* — Вергилий, «Энеида», V, 344.

Стр. 359. *...мази куда похуже елея.*— Намек на тогдашние способы лечения сифилиса: больного обмазывали различными снадобьями, а затем надолго обертывали бинтами и укутывали в простыни, чтобы лекарство получше впиталось. Ниже Эразм вспоминает и об этих укутываниях.

Стр. 361. *Фаларид.*— См. прим. к стр. 124 («Похвала Глупости»).

Стр. 363. *Оскулярий* (от лат. osculari — «целовать») — пластинка из золота, серебра, слоновой кости или другого ценного материала с изображением распятия, агнца божия, Девы Марии и т. п.; во время обедни к ней прикладывались сперва священнослужители, а потом народ.

Столько законов, что и на двенадцати таблицах не уместятся! — Законы Двенадцати таблиц — запись римского обычного права (449 г. до н. э.), основной источник всего римского права в целом. Текст их до нас не дошел.

НЕСКЛАДИЦА

Стр. 364. Эразм в «Адагиях» приводит несколько толкований, объясняющих происхождение греческой пословицы, которая взята названием этого диалога, но самым достоверным считает следующее: греческая трагедия, первоначально неразрывно связанная с кругом мифов о Дионисе (Вакхе), затем обратилась к сюжетам, не имеющим никакого отношения к Дионису, оставаясь в то же время непременною составною частью торжеств в честь этого бога.

САМОЗВАННАЯ ЗНАТНОСТЬ

Стр. 366. *Гарпал* — одного корня с греческим глаголом harpazo (грабить). *Несторий* — от имени гомеровского Нестора, мудрого советчика.

Стр. 368. *...Гарпалом Комским...*— Комо — город в Северной Италии, но вместе с тем Ком у греков — бог веселых пирушек. Отсюда — двусмысленность прозвища.

Стр. 369. *...и величали «ёнкером»* — то есть «молодым господином» (голландское jonkheer, немецкое Junker). Обращение вроде русского «барич» или «барчук».

Стр. 372. *...через своих фециалов...*— Фециалы у древних римлян — коллегия жрецов, отправлявшая обряды, связанные с международным правом; фецналы входили в состав посольств, объявляли войну, заключали мир.

Стр. 373. *...море смывает все грехи людей...*— слегка искаженная цитата из «Ифигении в Тавриде» Еврипида (ст. 1193). В «Адагиях» Эразм сообщает, что это изречение родилось после того, как с Еврипидом в Египте случился припадок эпилепсии, а египетские жрецы исцелили его, окунув в морскую воду.

...если... это не Массилия какая-нибудь.— Древняя Массилия (нынешний Марсель) славилась строгостью нравов и любовью к наукам.

...даже если жить в самом Шартрезе.— Шартрез (Картузия) — первый монастырь ордена картезианцев, давший имя самому ордену; назван по месту, где был основан,— горному массиву Большой Шартрез в Альпах.

РАССВЕТ

Стр. 374. *Нефалий* — «трезвый, сдержанный» (г р е ч.), *Филипп* — «любитель поспать» (г р е ч.).

«Я сплю не для всех».— Источником этой поговорки послужил анекдот, который Эразм вычитал у Плутарха. Как-то за пиром знатный и влия-

тельный гость энергично ухаживал за хозяйскою женою, и муж, чтобы не мешать высокой особе, закрыл глаза и прикинулся спящим; но когда подошел раб и хотел было стянуть со стола чашу с вином, хозяин мигом поднял голову и сказал: «Ах ты, несчастный! Ты что же, не видишь, что я сплю только для Мецената?!»

Известна тебе и шутка Назики.— Другой анекдот, заимствованный Эразмом у Цицерона.

Стр. 377. «*Ибо спящие...*» — «Первое послание к Фессалоникийцам», V, 7.

Гесиодовы слова.— У Гесиода сказано:

Пей себе вволю, когда начата иль кончается бочка,
Будь на середке умерен; у дна же смешна бережливость.

(«Работы и дни», 368—369. *Перевод В. В. Вересаева*)

Стр. 378 *...люди, которые ежедневно отдают сну три или четыре лишних часа.*— Нормою сна в то время считалась четвертая часть суток. Столько спят и утопийцы в романе Томаса Мора. Сам Мор регулярно поднимался в 2 часа ночи, чтобы отдать пять часов ученым занятиям и молитве.

Стр. 379. *...как говорит поэт...*— Гораций, «Сатиры», II, 2, 79.

Агамемнон у Гомера...— «Илиада», II, 24. Перевод Н. И. Гнедича.

...что вещает у Соломона...— «Книга Притчей Соломоновых», VIII, 17. Цитата неточна.

А в таинственных псалмах...— «Псалтирь», LVIII, 17 и LXXXVIII, 14.

И у Луки Евангелиста...— «Евангелие от Луки», VI, 13.

СКАРЕДНЫЙ ДОСТАТОК

Стр. 380. *Я был в Синодии.*— Прежде всего можно было бы предположить, что этим вымышленным именем обозначен Аугсбург, где годом раньше происходил имперский сейм, а сейм обозначается латинским словом conventus, которое можно перевести греческим synodos. Но это умышленный отвод глаз. Эразм как бы заручается алиби, чтобы затем достаточно прозрачно намекнуть на события более чем двадцатилетней давности, происходившие в Венеции, где он жил с марта по декабрь 1508 года, готовя к печати первое издание «Адагий». Он поселился в доме Андреа Торрезано, тестя и старшего компаньона Альда Мануция — лучшего типографа Италии и всего тогдашнего мира. Сам Альд и все ученые, группировавшиеся вокруг него и его печатни, оказали Эразму огромную помощь, без которой, по его же собственным словам, работа над «Адагиями» не могла бы быть исполнена. И вот теперь, когда ни Альда, ни его тестя уже не было в живых, Эразм отплатил приютившему его дому такими воспоминаниями, которые,

даже если они и верны, лучше бы не ворошить. Объясняется этот не слишком красивый поступок нападками ученых-гуманистов, оскорбленных диалогом «Цицеронианец» (см. прим. к «Эхо»). Самой злобной из нападок была «Речь в защиту Цицерона от Эразма», принадлежавшая итальянскому врачу и филологу Джулио Чезаре делла Скала (Юлий Цезарь Скалигер) и ставшая известной Эразму еще до напечатания. Помимо прочих обвинений Скалигер укорял Эразма и в том, что он будто бы пьянствовал в Венеции в 1508 году. Но Эразм был уверен, что под именем Скалигера скрывается бывший друг, а в ту пору непримиримый враг Джироламо Алеандро (1480—1542), когда-то входивший в основанное Альдом сообщество ученых в Венеции («Новую Академию»), но успевший сделать блестящую церковную карьеру (он был архиепископом еще в 1524 г.). Итак, Антроний в диалоге — это Андреа Торрезано; Ортрогон — Альд Мануций; ученый Обрезаний — Алеандро (ходили слухи о его еврейском происхождении, и Эразм делал вид, будто верит этим слухам); Стратег — Сципион Картеромах (Шипьоне Фортигуэрра), отличный знаток греческого языка, вместе с Альдом основатель «Новой Академии» в Венеции.

Стр. 382. *Прославленный живописец* — греческий художник Апеллес.

...вино с гущею рождает камни в пузыре.— Эразм всегда утверждал, что каменной болезнью, которою он страдал до конца жизни, его наградило дрянное венецианское вино.

Стр. 385. *...того, что Мелхиседек вынес Аврааму, победителю пяти царей?* — В библейской книге «Бытие» (гл. XIV) рассказывается, как патриарх Авраам, узнав, что уведен в плен его племянник Лот, вооружает триста восемнадцать своих рабов и наносит поражение четырем (а не пяти) царям. На возвратном пути его встретил царь и священник Мелхиседек, дал ему хлеба и вина и благословил Авраама.

Стр. 386. *Лукулл* — Луций Лициний Лукулл (ок. 106 — ок. 57 гг. до н. э.), римский полководец. Военные победы принесли ему несметное богатство, которое он расточал с таким усердием, что имя Лукулла стало символом любви к роскоши и особенно к тонкому столу.

Стр. 388. *...побивает самого Эвклиона у Плавта!*— Эвклион—скупой старик, герой комедии «Горшок».

Стр. 390. *Милон* — знаменитый древнегреческий атлет (VI в. до н. э.).

ПИСЬМА ТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ

«Письма темных людей».— Этот титул — пародийная реплика на заглавие сборника «Письма знаменитых людей, латинские, греческие и еврейские, посланные в разное время Иоанну Рейхлину Пфорцгеймскому, доктору обоих прав» (1514), где были опубликованы письма выдающихся ученых и богословов в защиту Рейхлина. Таким образом, в первоначальном

своем значении «темные» — это «незнатные», «никому не известные» (в противоположность «знаменитым»).

Настоящий русский перевод избранных «Писем» — второй по счету. Первый перевод (полный) принадлежит Н. А. Куну — Academia, М.— Л. 1935 (первое издание: «Источники по истории Реформации», выпуск II, «Письма темных людей» — перевод Н. А. Куна под ред. Д. Н. Егорова. Москва, 1907. Издание Высших женских курсов).

Стр. 393. *Фома Швецдлиний.*— Имена корреспондентов в «Письмах» большею частью сигнификантные (значимые), германские по корням, из которых они слагаются, и с латинскими окончаниями. Так, «Швецдлиний», в оригинале — Langschneyderius. Нередко за ними угадываются реальные лица. Возможно, что Томас Лангшнейдер — это ректор Лейпцигского университета в 1507 и 1528 годах, на латинский лад называвшийся Людовикус Сартор (от глагола sarcio — «чинить», «зашивать»), а по-немецки — Людвиг Лангшнейдер.

Бакалавр — первая и низшая ученая степень в средневековых университетах, в свою очередь подразделявшаяся на несколько степеней, высшею из которых был «полный бакалавр».

Ортуин Граций Девентерский (ум. в 1542 г.) — одна из главнейших фигур среди кельнских обскурантов. Прозвище «Девентерский» он получил не по месту рождения, а по городу, где учился. Любопытно, что из той же школы в Девентере вышел и Эразм. Девентерская школа, где в последнее десятилетие XV века властвовал уже новый, гуманистический дух, и внушила Ортуину тщеславную и злополучную — не по способностям — страсть к упражнениям в изящной словесности.

...как сказано у Аристотеля...— «Категории», 7, I, f.

...писано у Екклесиаста...— ветхозаветная «Книга Екклесиаста», I, 13 (перевод несколько отличен от синодального).

Писано бо в Евангелии...— «От Матфея», IV, 7.

...глаголет Соломон...— «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова», I, 1, то есть «темный человек» перепутал ветхозаветных авторов. Ошибки в цитатах из Писания нередки в «Письмах».

Стр. 394. *Аристотелево застолье* — угощение, которое устраивали для своих коллег по факультету лица, получившие ученую степень магистра.

...доктора и лиценциаты вкупе со магистрами...— Лиценциаты — бакалавры, успешно прошедшие диспут-испытание и получившие «лицензию», то есть разрешение преподавать во всех университетах. От второй и высшей ученой степени — доктора — лиценциата отделяла торжественная и требовавшая больших издержек церемония, которая очень многим была не по средствам. Университет разделялся обычно на четыре факультета — богословский, юридический, медицинский и факультет семи сво-

бодных искусств (то есть знаний и навыков, подобающих свободному человеку). Последний был необходимой приготовительной ступенью к любому из трех первых: чтобы поступить на высший факультет, надо было пройти курс наук и получить обе ученых степени на факультете искусств, то есть сперва степень бакалавра, а потом магистра, которой на высших факультетах соответствовала докторская степень.

...посланец... Кельнского университета...— Этот доктор богословия (родом не из Ганды, а из Гауды в Голландии) был отряжен послом к Парижскому богословскому факультету (Сорбонне) для доклада о еретических воззрениях Рейхлина, изложенных в «Глазном зеркале».

Стр. 395. *...нет его ни в словаре...*— Следует перечисление употреблявшихся в средневековой школе словарей. «*Католикон*» (то есть «Всеобщий [лексикон]», г р е ч.) — толковый словарь латинского языка, составленный итальянским монахом Джованни Бальби в XIII веке. «*Из оного*» — латинско-немецкий словарь второй половины XV века, представляющий собою обработку «Католикона»; удивительный его титул — не что иное, как первые слова пространного заглавия («Из оного «Католикона» вышли различные словари...»). «*Краткий* словарь» (тоже толковый) был напечатан впервые в 1478 году и принадлежал перу самого Рейхлина; несмотря на это, принципы его композиции оставались чисто средневековыми, он изобиловал ошибками и был отвергнут гуманистами вместе с прочими образцами средневековой лексикографии. «*Драгоценнейший из драгоценных*» (то есть самый совершенный, наилучшим образом исправленный) — двуязычный, латинский и немецкий словарь, выдержавший несколько изданий между 1484 и 1520 годами.

Ювенк — латинский церковный поэт IV в. н. э.

...присовокупил он цитату из Горация...— Имеются в виду строки из «Искусства поэзии» (47 сл.)

Биретта — головной убор, служивший знаком отличия для докторов и магистров.

...за силезскую нацыю.— Каждый средневековый университет разделялся на четыре землячества, или нации, в которые входили и студенты и преподаватели.

Арнольд Тонгрский (ум. в 1540 г.) — главный «ученый» оппонент Рейхлина, выпустивший в 1512 году возражения на «Глазное зеркало». «Труд» Арнольда назывался «Разделы, или Положения, весьма подозрительные в рассуждении сочувствия к иудеям, почерпнутые из немецкой книжицы господина Иоанна Рейхлина, доктора обоих прав...». Эту книгу и просит прислать «автор» письма.

Стр. 397. *...в обитель братьев проповедников...*— Так назывались монахи-доминиканцы.

Официал консистории — духовное лицо, которому епископ передоверяет свои права и обязанности духовного судьи над епархией.

Стр. 398. «*Горе той мыши...*» — сентенция, заимствованная из средневековой книжки «О верности сожительниц», напечатанной в 1500 году; это перелицовка двух стихов Плавта («Грубиян», 868—869).

И есть тут...— то есть в Виттенберге (как явствует из предыдущего письма).

...из светских поэтов...— в противоположность церковным; иначе говоря — из числа гуманистов.

Бурса (по-латыни «кошелек») — приют для бедных учеников, устроенный монастырем или частным благотворителем. Здесь словом «бурса» обозначается университетская коллегия, то есть закрытое, монастырского типа общежитие для студентов. В XV столетии коллегии стали местом не только жительства студентов, но и всех учебных занятий и диспутов. Знаменитая Сорбонна, давшая имя сперва богословскому факультету в Париже, а затем и всему Парижскому университету, была одною из парижских коллегий. Здесь названы две кельнские коллегии. От латинского bursa произошло немецкое Bursche (студент), вошедшее и в русский язык (бурш).

«*Достопамятная глосса*» (то есть толкование) — один из многочисленных комментариев к «Доктриналу», латинской грамматике в стихах. «Доктринал» был составлен в самом конце XII или самом начале XIII века Александром Галлом и исполнял в средневековой школе роль «стабильного учебника», а потому пользовался чрезвычайным распространением. Доктор богословия *Сотфи* (Герхард из Зутфена в Вестфалии) был ректором Кельнского университета в 1505 году.

Стр. 399. *...самого государя...*— то есть курфюрста Саксонского Фридриха III Мудрого (1486—1525), в чьих владениях находился Виттенберг.

Стр. 400. *Петр Мейер* (или Майер) — приходский священник из Франкфурта-на-Майне, фанатичный ненавистник Рейхлина и гуманистов.

«*Благородие*», хулившее Мейера,— Ульрих фон Гуттен.

«*Изречения*» — сборник «Изречения, в четырех книгах», составленный в XII веке Петром Ломбардским и представлявший собою свод суждений крупнейших церковных авторитетов (начиная с Отцов Церкви) по различным вопросам христианского вероучения. Труд Петра Ломбардского был важнейшим предметом изучения на богословских факультетах.

Сульпиций — итальянский гуманист второй половины XV века Сульпиций Веруланский (родом из Вероли, близ Рима). Ему принадлежали два сочинения по латинскому стихосложению.

Стр. 401. *...магистр наш Гохштрат* — Якоб Гоогстратен (правильнее — из Гоогстратена, невдалеке от Антверпена; ок. 1460—1527), инквизитор Кельна, Майнца и Трира, один из главных организаторов травли Рейхлина обскурантами. В «Письмах» он именуется то Гохштрат, то Гохштратен.

Стр. 401. *...и привел из Евангелия...*— «От Иоанна», VIII, 48. Самаряне (или самаритяне) — жители Самарии, области древнего Израиля. Во времена Христа отношения между ними и евреями были самыми враждебными.

...к четырем книгам Александровым...— «Доктринал» состоял из четырех частей, или книг (см. прим. к стр. 398).

Стр. 402. *Талант* — древнегреческая денежная мера и мера веса (26,2 *кг*).

«*Парижские определения*» — «Определения парижских докторов святейшего богословского факультета... против «Глазного зеркала» Иоганна Рейхлина...», напечатанные в Кельне в 1514 году.

Стр. 403. *...те, что зовутся иаковиты* — здесь единомышленники Якоба (Иакова) Гоогстратена.

...по слову Псалмопевца...— «Псалтирь», XIX, 5.

Сказано бо у Иезекииля...— «Книга пророка Иезекииля», XXIII, 43.

Стр. 404. *Молочная десятина.*— Так в просторечии именовался налог, который многие епископы взимали с духовенства своей епархии за право беспрепятственно держать служанку-любовницу. Этот обычай противоречил всем уставам и правилам церкви, но был широко распространен и практически неискореним.

Стр. 405. *Буш* — Герман Буш (1468—1534), выдающийся германский гуманист и поэт, один из предполагаемых авторов «Писем темных людей».

...в согласии с Аристотелем, каковой глаголет — в самом начале «Метафизики».

Один охальник — Ульрих фон Гуттен. Какое из его сочинений против Пфефферкорна имеется в виду, сказать трудно.

Стр. 406. *Старое искусство.*— Под этим общим титулом объединялись «Категории» и «Об истолковании» Аристотеля и «Введение в «Категории» Порфирия, то есть старинные труды по «искусству» логики.

Стр. 407. *Петр Испанский* (ум. в 1277 г.) — автор нескольких весьма популярных в средние века сочинений по логике.

...приговорили его к сожжению.— В действительности сорбоннисты приговорили к публичному сожжению книгу Рейхлина «Глазное зеркало».

Сочинение святого Фомы против язычников — «Сумма против язычников» Фомы Аквинского, написанная «ради просвещения» мавров, сарацинов и испанских евреев.

...обучен-то он поэзии.— Действительно, папа Лев X (1513—1522) был признанным ценителем и покровителем искусства и литературы.

Храм святого Мартина — кафедральный собор в Майнце.

Стр. 408. *Рогатый силлогизм* — то есть построенный по образцу софистического силлогизма, придуманного философом Хрисиппом, основателем стоицизма (III в. до н. э.): «Если ты чего-либо не потерял, ты это

имеешь; рогов ты не терял; следовательно, ты рогат». Нетрудно убедиться, что довод, предложенный «охальниками», отнюдь не принадлежит к числу рогатых силлогизмов.

Но сей хитон разодран.— См. прим. к «Кораблю дураков», к словам: «*Никем не шитый плащ Христов*».

«*В древности Восток...*» — «Послание к Дамазу», XV (цитата искажена как сокращениями, так и добавлением средневековых латинизмов). Иероним говорит о «хитоне Господнем» аллегорически, понимая под ним единство Восточной церкви, «охальники» же, потешаясь над невежественным оппонентом, толкуют текст Иеронима буквально.

...куриалы... в курию...— Речь идет о римской курии, то есть папском «дворе».

«[*Новый*] *Латинский слог*» — элементарный и весьма скверный школьный учебник латинской стилистики, имевший хождение в первые два десятилетия XVI века.

Брассикан — латинизированное имя Иоганна Кольбургера, преподававшего грамматику и философию в Тюбингене. Его «Грамматические наставления» вышли впервые в 1508 году.

Валерий Максим — римский писатель-прозаик I века н. э. Его «Достопамятные деяния и речения, в XI книгах» (сборник всевозможных историй и анекдотов) пользовались большой популярностью на факультетах искусств в Германии.

Доктор Изощренный — почетное прозвание Дунса Скота.

Доктор Несокрушимый — Александр из Гэльса в Глочестершире (ок. 1170—1245), философ и богослов. Ему приписывалось сочинение «Всеобщая богословская сумма». Его учениками в Парижском университете были Дунс Скот, Фома Аквинский и Бонавентура.

Доктор Серафический — Джованни ди Фиданца (1221—1274), более известный под именем святого Бонавентуры. Труды этого великого авторитета в богословии не имеют ни малейшего отношения к «науке физической».

Доктор Святой — Фома Аквинский.

Порфирий (233 — ок. 304) — греческий философ-неоплатоник. В средние века пользовался чрезвычайною известностью его трактат «Введение в Аристотелевы «Категории», или «О пяти звучаниях» (имеются в виду так называемые *предикабилии*, то есть необходимые признаки понятия); этот же трактат издавался под названием «*Пять универсалий*» (то есть общих понятий).

Стр. 409. *...решение... насчет доктора Рейхлина.*— 29 марта 1514 года епископ Шпейерский, по поручению папы Льва X, рассмотрел «дело Рейхлина» и вынес определение, что «Глазное зеркало» — сочинение не еретическое и что Гоогстратен должен уплатить значительные судебные издержки.

Стр. 410. *...аудиторам консистории...*— Первоначально католическая церковь называла консисторией любое собрание кардиналов под председательством папы, потому что в присутствии папы кардиналы стоят (consistunt); впоследствии термин приобрел гораздо более широкое значение. Здесь речь идет о «частной консистории» — узком и строго закрытом совете кардиналов, на котором решаются наиболее важные дела церкви. *Аудитор* — здесь лицо, выслушивающее жалобы.

«*Господь даст благо*» — «Псалтирь», XXXIV, 13.

...проповедники... были в богословии превыше миноритов...— Доминиканцы (проповедники), по вековой традиции, держались учения Фомы Аквинского, францисканцы (минориты) — Дунса Скота.

Стр. 411. *...состоял там ректором...*— Иоганн Гекман был ректором Венского университета в 1507, 1510 и 1515 годах.

...какой-то малый...— Ульрих фон Гуттен. Он появился в Вене летом 1511 года.

...и тыкал.— Правильная латынь не допускает иного обращения, как на «ты», но невежде ректору это кажется оскорблением.

Стр. 412. *...как пишет Туллий...*— «Автор» спутал «нехристя» Марка Туллия Цицерона с апостолом Павлом («Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими» сказано в «Послании к Римлянам» XII, 15).

«*Ученик не выше учителя*» — «Евангелие от Матфея», X, 24.

Стр. 413. *...как тот фарисей, который говорил, что постится два раза в неделю.*— Намек на евангельскую притчу о фарисее и мытаре, которые молились в храме, и фарисей благодарил бога за то, что он благочестив, «не таков, как прочие люди», и, в частности, не «как этот мытарь», мытарь же твердил лишь одно: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!» И Христос, рассказывающий притчу, заключает: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» («От Луки», XVIII, 10—14).

«*Всякий человек ложь*» — «Псалтирь», CXV, 2.

«*Какою мерою мерите...*»— «Евангелие от Матфея», VII, 2.

«*Не судите...*»— там же, VII, 1.

Стр. 414. *Иоанн Эстикампиан* — Иоганн Рак из Зоммерфельда (Aesticampianus — буквальный латинский перевод немецкого Sommerfeld; 1460—1520), германский поэт и ученый-гуманист. Случай, о котором повествует «автор» письма, произошел с Эстикампианом в Лейпциге.

...не магистры семи свободных искусств...— Семь свободных искусств, составлявшие предмет изучения в средневековых школах и университетах (на факультетах искусств), разделялись на тривиум (трехпутие), то есть грамматику, риторику и диалектику, и квадривиум (четырехпутие), то есть арифметику, астрономию, музыку и геометрию. «Искусства», входившие в квадривиум, изучались чрезвычайно поверхностно.

Семь смертных (то есть непростительных, ведущих к вечной муке) *грехов* таковы: похоть, обжорство, скупость, лень, гнев, зависть, гордыня.

...восхвалял свой факультет — то есть факультет искусств.

Стр. 415. *Герцог* — Георг Бородатый, герцог Саксонский (1500—1539).

Стр. 416. *...«очень желал я...»* — «Евангелие от Луки», XXII, 15.

...один здешний поэт — возможно, Герман Буш, предполагаемый автор этого письма.

Стр. 417. *А сложены они на смерть магистра нашего Сотфи...*— У Ортуина действительно были стихи на смерть Герхарда из Зутфена, появившиеся позже, в 1518 году, в сборнике «Жалобы темных людей». Но то, что приведено ниже, нельзя рассматривать даже как пародию на них.

...не довольно Александра изъяснил...— «Достопамятная глосса» содержала комментарий лишь к двум из четырех частей «Доктринала».

Стр. 418. «*Меньшое сочинение*» — элементарный школьный учебник, представляющий собою сокращенный вариант «Доктринала» и принадлежащий тому же автору — Александру Галлу.

Фигурал — хорал, осложненный многоголосым аккомпанементом.

Стр. 419. «*Поднимите, врата...*» — «Псалтирь», XXIII, 7.

...и отличил вас пред дщерями человеческими...— Магистр Конрад объясняется в любви словами, позаимствованными из Библии: «Ты прекраснее сынов человеческих» («Псалтирь», XLIV, 3), «Вся ты прекрасна, подруга моя, и пятна нет на тебе» («Песнь Песней», IV, 7).

Стр. 421. *...трое волхвов в Кельне...*— В Кельнском кафедральном соборе «хранились мощи» трех «волхвов с востока», которые, по евангельской легенде, явились в Иерусалим к царю Ироду и спросили: «Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему» («От Матфея», II, 1—2).

«*Возненавидел я...*» — «Псалтирь», XXV, 5.

Стр. 422. «*Оплот веры*»—сочинение испанского францисканца Альфонсо де Спина (XV в.), направленное против еретиков, евреев и магометан и полное самых невероятных и самых гнусных вымыслов.

Притчи Соломоновы, XIII.— В действительности — XXIV, 29.

«*Как прах пред лицем ветра*» — «Псалтирь», XXXIV, 5.

«*Глупый наговорит много*» — «Екклесиаст», X, 14.

...окаянство в Берне...— Доминиканцы были противниками нового, утверждавшегося тогда в католической церкви догмата о непорочном зачатии Богородицы. Чтобы поубедительнее его опровергнуть, доминиканские монахи в Берне распустили молву о «чудесах» и «видениях»,— будто Богородица собственными устами возвестила одному послушнику, что она запятнана первородным грехом. Обман был раскрыт, и четверо доминиканцев сожжены на костре (1509 г.).

...отравили какого-то императора — Генриха VII, в 1313 году; однако в этом случае вина монахов точно не доказана.

«Да найдет на них смерть...»— «Псалтирь», LIV, 16.

Дети диавола — выражение, заимствованное из «Первого соборного послания апостола Иоанна» (III, 10), где мир разделяется на «детей божиих» и «детей диавола».

Стр. 423. *...книжку под названием «Защита»...*— Полное ее название— «Защита Иоганна Рейхлина Пфорцгеймского, доктора обоих прав, против кельнских клеветников» (Тюбинген, 1513).

Брулифер — Стефан Брулифер из Сен-Мало, преподававший богословие в Майнце и Меце (вторая половина XV в.). Книга, о которой говорится здесь, называлась «Разновидности в согласии со Скотом» («разновидности», formalitates — в схоластической философии различные аспекты, в которых разум способен рассматривать одну и ту же вещь).

«Щит фомистов» — «Щит против стрел, нацеленных и пущенных во святое и непорочное зачатие Девы Марии; в виде трех проповедей...» (Лейпциг, 1484).

Боэций — Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (ок. 450—524), философ и государственный деятель при дворе готского короля Теодориха, захватившего Италию. «Утешение философией» (написанное в тюрьме, в ожидании суда и казни) было очень широко известно в средние века. Принадлежность Боэцию маленькой и скверно написанной книжки «О школьном обучении» наукою отвергается.

Стр. 424. *Поэт по имени Самуил.*— Самуил из Лихтенберга во Франконии, по свидетельству гуманиста Генриха Бебеля, бездарный бродяга, чьи вирши не менее опасны и ядовиты, чем укус аспида.

«О способах обозначения, или Умозрительная грамматика» — трактат Дунса Скота.

Полигистор (то есть «весьма ученый», г р е ч.) — название сочинения римского писателя III в. н. э. Гая Юлия Солина. Другое его название — «Собрание достопамятных событий».

Стр. 425. *...не соблюл привилегий Венского университета...*— Среди этих привилегий было право защищать добрую репутацию лиц, получивших от университета ученую степень.

«Триумф Капниона» («Капнион» — перевод на греческий язык имени «Рейхлин»).— Поэма с таким названием принадлежала Гуттену, но была напечатана позже, в 1517 году. Идет ли речь о ее рукописной копии или о другом, одноименном сочинении, сказать трудно.

Филомуз — Якоб Лохер (1470—1528), переводчик «Корабля дураков» Бранта на латинский язык.

Стр. 426. *...дабы присутствовать при торжестве...*— 13 октября 1513 года майнцские доминиканцы во главе с Гоогстратеном вышли торжественной процессией на городскую площадь, чтобы предать «Глазное зеркало» огню, но в последний момент вмешался архиепископ Майнцский и запретил экзекуцию.

Стр. 427. *Гадес* (или Аид) — подземное царство мертвых в античной мифологии.

Стр. 428. *...из ордена нашего...*— то есть доминиканцем.

«*Там этот Левиафан...*» — «Псалтирь», CIII, 26.

«*На аспида и василиска наступишь*» — там же, CX, 13.

«*За то отцы...*» — «Книга пророка Иезекииля», V, 10. На этом примере английский переводчик и комментатор «Писем темных людей» Фрэнсис Гриффин Стоукс показывает, что такое «четверояко толкование» Фомы Валлийского, усвоенное братом Конрадом Оболтусом. «П р и р о д н о е т о л к о в а н и е. Сатурн пожирает собственных сыновей, потому что он обозначает время, а все, рожденное временем, временем же истребляется. Б у к в а л ь н о е т о л к о в а н и е. О Сатурне говорят, что он пожирает собственных сыновей, потому что родившиеся под «созвездием» Сатурна редко выживают. И с т о р и ч е с к о е т о л к о в а н и е. Сатурн был царем Крита, и брат его, Титан, предсказал ему, что один из сыновей лишит его трона. Тогда он надумал пожирать своих сыновей и тем отвратить злую судьбу. А л л е г о р и ч е с к о е т о л к о в а н и е. Алчный человек, у коего в руках грабительство, словно бы некая коса, пожирает собственных сыновей в том смысле, что своими вымогательствами он разоряет их и истощает их состояние». Все заключается той цитатой из Иезекииля, которую приводит Оболтус.

«*За нею ведутся к Тебе девы*» — «Псалтирь», XLIV, 15.

И в ином месте — «Песнь Песней», I, 3.

Каллиста — нимфа, родившая от Зевса (Юпитера) сына Аркада. Ревнивая Гера, супруга Зевса, превратила Каллисту в медведицу, а богиня Артемида ненароком убила ее на охоте, после чего Зевс дал своей возлюбленной бессмертие, обратив ее в созвездие Большой Медведицы.

Аглавра.— Она исполняла поручение богини Афины (отсюда — *служанка*), но была непослушна и недобросовестна, и, чтобы ее наказать, Афина внушила ей безумную страсть к богу Гермесу (Меркурию), который был возлюбленным ее сестры; от ревности Аглавра превратилась в камень.

...у Иова, XLII.— На самом деле — «Книга Иова», XLI, 15.

«*Слыши, дщерь, и смотри...*» — «Псалтирь», XLIV, 11—12.

...Кадм, ищущий сестру свою...— Кадм пустился на поиски Европы, похищенной Зевсом (Юпитером), но Дельфийский оракул велел ему оставить это намерение, а пойти следом за коровой, которая ему повстречается, и там, где корова остановится, основать город. Так возникла Кадмея, цитадель Фив в Беотии (область Средней Греции).

Стр. 429. *...Бахус родился дважды...*— Дочь Кадма, Семела, понесла от Зевса; коварная Гера явилась к ней в образе старухи и посоветовала, чтобы Семела закляла Зевса показаться ей во всем своем величии. Связанный клятвою, Зевс подчинился и предстал перед Семелою в блеске молний,

которые и испепелили любопытную. Но не родившееся еще дитя Зевс извлек из утробы матери, зашил к себе в бедро и доносил. Этот младенец и был Вакх (Дионис).

...сказанье о Пираме и Фисбе...— Этот старинный миф о любви двух речных божеств был переведен Овидием («Метаморфозы», IV, 55 сл.) в бытовой план. Юноша и девушка любят друг друга вопреки воле родителей. Они уговариваются о свидании за городом. Фисба приходит первою, но встречается со львицею (место действия — Вавилон) и бежит, бросив покрывало. Является Пирам, находит изодранное покрывало, решает, что девушка погибла, и закалывается. Возвращается Фисба и убивает себя над телом любимого.

...Вулкан был сброшен с неба...— Бог огня и кузнечного ремесла Гефест (Вулкан) родился слабым и уродливым, и отец, Зевс (Юпитер), в раздражении швырнул его с Олимпа на землю.

«*Низринуты и не могут встать*» — «Псалтирь», XXXV, 13.

Вильгельмиты — монашеский орден, основанный в XII веке итальянцем Гуильельмо (Вильгельмом) неподалеку от Сьены. В XVI веке орден был в упадке и располагал очень незначительным числом монастырей.

Бегинки — светское религиозное общество, возникшее в XII веке в Нидерландах. Общины бегинок существовали также во многих городах Германии и Франции.

...от апостольского престола — то есть от папы римского.

Стр. 430. *Генрих из Гассии* (ум. в 1397 г.) — богослов, автор книг «Тайны священников» и «Зерцало души».

Верней — лицо неизвестное. Возможно, имеется в виду богослов XIV века Гервей.

...альбертистское...— См. прим. к «Похвале Глупости» к словам *реалисты и номиналисты* (к стр. 175).

Лолларды — первоначально последователи английского реформатора Джона Виклефа (ок. 1329—1384). Позже это название стали прилагать ко всем движениям, критиковавшим господствующую католическую церковь; здесь подразумеваются полумонашеские общины, появившиеся в Нидерландах в начале XVI века.

«*Ученик*» — «Проповеди ученика, написанные и собранные не поучительски изощренно, но попросту, по-ученически». Автором этого сборника, вышедшего в свет в 1418 году, был немецкий доминиканец Иоганн Герольт.

«*Пук времен*» — вероятно, анонимный сборник проповедей, ходивший под названием «Имеющий вскоре» (по первым словам текста, на который написана первая проповедь сборника: «Имеющий вскоре судить живых и мертвых» — «Первое соборное послание апостола Петра», IV, 5).

Стр. 431. *Имеющего серафическое одобрение* — то есть находящегося в согласии со святым Бонавентурой, Доктором Серафическим.

Стр. 432. *Цезарий* — Иоганн Кейзер (1460—1551), поэт и гуманист, преподавал греческий язык в Кельне.

Стр. 433. *Драхма* — денежная и весовая единица (4,37 *г*) в Древней Греции. В средние века (и вплоть до недавнего времени) сохранялась как аптекарская мера веса; аптекарская драхма была равна 3,732 *г*.

...приближенному первой степени...— Ортуин недаром считает себя знатоком классической древности: он пользуется титулом, принятым при дворе римских императоров.

«*Господь щит...*» — «Книга Притчей Соломоновых», II, 7.

Стр. 434. «*Просите и получите*» — «Евангелие от Иоанна», XVI, 24.

Рихард — Ричард из Миддлтона (умер ок. 1305 г.). *Четыре книги* — «Изречения» Петра Ломбардского, разделявшиеся на четыре части.

«*И диавол да станет...*» — «Псалтирь», CVIII, 6.

...дабы он возложил вас на рамена свои...— Намек на одну из легенд о святом Христофоре (традиция относит его к III в.), которая гласит, что Христофор добывал себе пропитание, перенося путников через реку, и всегда делал это без малейших усилий, но однажды согнулся в три погибели, приняв на плечи младенца: этот младенец был не кто иной, как сам Иисус Христос. Christophoros по-гречески означает «Христоносец».

...«море великом и пространном...» — «Псалтирь», CIII, 25.

«*Боже! Ты Бог мой...*» — там же, LXII, 2.

Стр. 436. *...не будь вам даны привилегии...*— Начиная с XII века евреи в Германии считались личными слугами императора.

...а также еще солемером? — В Кельне была особая должность надзирающего над общественными соляными амбарами.

Стр. 437. *Верона Агриппинова* — Бонн.

Стр. 438. «*Ибо он укрыл бы меня...*» — «Псалтирь», XXVI, 5.

...в долине Иосафата...— Эта долина (к северу от Иерусалима) названа местом божьего суда в библейской «Книге пророка Иоиля», III, 12.

...ссылаются на Плавта...— У Плавта («Амфитрион»,884) сказано как раз обратное: «Того, что было, вовсе не было». (Перевод А. Артюшкова.)

...у Дракона.— В средние века дома обозначались не по номерам, а по вывескам или каким-либо иным отличительным знакам. Дом с изображением дракона действительно существовал в Эрфурте и находился подле Большой коллегии. В нем сдавались квартиры преподавателям и студентам.

Стр. 439. *...принял посвящение в упомянутой бурсе...*— Обряд посвящения новичка (беана), который учиняли над ним его будущие однокашники, сопровождался самыми жестокими и мерзкими глумлениями.

«*Откуда это ко мне...*» — Магистр цитирует «Евангелие от Луки», I, 43 (слова, которыми Елисавета, мать Иоанна Предтечи, приветствует навестившую ее Марию, беременную Иисусом): он желает намекнуть на

стихотворение Буша о так называемой «Песни Богородицы», которую (согласно той же главе «Евангелия от Луки») Дева Мария произносит в ответ на приветствие Елисаветы.

Стр. 441. *Апостольский протонотарий.*— Это звание в XVI веке носили как семеро высших чиновников папской курии, так и значительное число духовных лиц, занимавших весьма различное (часто довольно низкое) положение в церкви. К числу последних принадлежит и «автор» письма. Тем смехотворнее звучит горделивое «милостью божией» в заглавии письма.

...на сто тысяч сестерциев, по правилам новой грамматики. — Словом «сестерций» обозначалась римская мелкая серебряная монета и, одновременно, мера глубины; Губошлеп считает это открытием грамматиков-гуманистов и путает два значения.

...Зак. «Так вере»...— В средние века, ссылаясь на источники права, приводили не номера книг, разделов, законов, параграфов и т. д., а первые их слова, обычно — в сокращенном виде. *Диг.* — «Дигесты» (или «Пандекты»), вторая и главнейшая из четырех частей свода римского права, составленного в первой половине VI века в Византии по приказу императора Юстиниана; «Дигесты» объединяли высказывания крупнейших юристов прошлого по различным вопросам права. *Отв.*— ответ.

Стр. 442. *«Открывает глубокое...»* — «Книга Иова», XII, 22.

...говорит и Вергилий...— На самом деле у Вергилия («Энеида», VI, 100) сказано: «Правду тьмой облекая».

...писано в «Книге Царств»...— На самом деле в «Псалтири».

...«послал тьму...» — «Псалтирь», CIV, 28.

Стр. 443. *«Господи! Не надмевалось сердце мое...»*— там же, CXXX, 1.

«Свет приблизить к лицу тьмы» — «Книга Иова», XVII, 12.

«Господь — свет мой...» — «Псалтирь», XXVI, 1.

«Кто возвышает себя...» — «Евангелие от Матфея», XXIII, 12.

«И врагов Его постигнет мрак» — «Книга пророка Наума», I, 8.

...сослался на Горация...— «Искусство поэзии», 78.

Стр. 445. *Школа франков* — Парижский университет.

...как сказал Философ...—Этот афоризм встречается у многих древних авторов (в том числе у Цицерона и Сенеки Старшего); кого имеет в виду «автор» письма, сказать невозможно, но скорее всего и сам не знает кого.

...славном яблоками чудными.— Немец говорит об апельсинах, которых прежде никогда не видывал.

Запрещение — в церкви отрешение от должности. Здесь, однако, подразумевается частное и ограниченное неодобрение действий Гоогстратена, вынесенное курией в январе 1515 года.

Стр. 446. *Воп. IX, к. IV, «Вся и повсюду».*— Расшифруем для примера эту ссылку на источник канонического (церковного) права: канон (то есть правило) «Вся и повсюду» (начальные слова послания, приписывавшегося

папе V века Геласию: «Вся и повсюду ведает церковь, что святая Римская церковь вправе судить обо всех и вся, но никому не дозволено выносить суждение об ней», вопрос девятый, казус четвертый. Надо заметить, что юридические обоснования, которые приводит автор, неточны и весьма шатки.

Стр. 447. «*Звери твои обитали...*» — «Псалтирь», LXVII, 11 (перевод несколько отличен от синодального).

«*Ревность моя снедает меня*» — «Псалтирь», CXVIII, 139.

Стр. 448. *Грониген* — Мартин Грёнинг из Бремена, получивший докторскую степень в итальянском городке Сенигалья (в древности — Сена Галльская) на Адриатическом побережье. Он действительно перевел «Глазное зеркало» на латинский язык и доказал, что перевод Гоогстратена, который тот представил в римскую курию в качестве доказательства еретических воззрений Рейхлина, полон ошибок и умышленных искажений.

...по модусам «бароко» или «целарент»...— Модусы (различные виды силлогизмов) обозначались особыми мнемоническими словами, в которых гласные буквы указывали количественные и качественные характеристики обеих посылок и заключения (то есть является ли суждение общим или частным, утвердительным или отрицательным), а первая согласная — к какой из четырех возможных фигур силлогизма принадлежит данный модус (фигура определяется тем, какое место в посылках занимает так называемый «средний термин», то есть понятие общее для обеих посылок и, следовательно, связывающее их между собой).

Яков (Якоб) *Квестенберг* — старинный и верный друг Рейхлина, пользовавшийся большим влиянием при папском дворе, приближенный папы Льва X. Рейхлин посвятил ему свой перевод толкований святого Афанасия на «Псалтирь» (1515). Об этой книге, по-видимому, здесь и говорится.

Стр. 449. «*Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических*»— По общепринятой средневековой манере название оборвано в самом неподходящем месте. Далее следовало: «...и преступных «Писем темных людей»...». Книга была выпущена в 1516 году в Кельне.

Магистр... он же и магистр искусств...— Хвастливый «автор» считает необходимым подчеркнуть, что он не только «магистр наш», но и магистр искусств, хотя без этой последней степени нельзя было даже поступить на богословский факультет.

«*Цветы права*» — известный в конце XV — начале XVI века сборник авторитетных суждений по гражданскому праву.

Стр. 450. *Павел Риций* — богослов, философ и врач (одно время он был даже лейб-медиком императора Максимилиана), подобно Рейхлину—«трехъязычный», то есть знаток латинского, греческого и еврейского (он был крещеным евреем); пользовался высоким и единодушным уважением среди гуманистов.

Стр. 451. «*Суета сует, все суета*» — «Книга Екклесиаста», I, 2.

Стр. 452. *Дитрих из Берна* — герой германского героического эпоса (в том числе «Песни о Нибелунгах»), легендарно преображенный Теодорих Великий (V в.), царь готов, захвативших Италию. Берном в германских эпических песнях именуется Верона.

Баптиста Мантуанский — Джованни Баттиста Спаньоли (1488—1516), родом из Мантуи, генерал ордена кармелитов и плодовитый поэт.

...изругали Доната за таковые его слова...— Элию Донату (IV в.), автору знаменитой в средние века латинской грамматики, принадлежал также комментарий к Вергилию; однако в дошедших до нас фрагментах этого комментария подобной аттестации Вергилия нет.

Стр. 453. *Вильгельм Малый* — Гильом Пети, доминиканец, духовник короля Франциска I, враг гуманистов.

А через два дня доставились в Рим.— Это письмо ученые уверенно приписывают Гуттену: осенью 1515 года он совершил то самое путешествие из Майнца в Рим, которое комически изображает здесь магистр Заец.

...узрел... диковинную зверь...— Чудеса о ручном слоне, подаренном папе Льву X португальцами, рассказывали и другие путешественники, посещавшие Рим в ту пору.

Стр. 454. «*Словарь права*» — компиляция неизвестного автора, составленная в первой половине XV века и более известная под названием «Словарь обоих прав» (то есть канонического и гражданского); она представляет собой объяснение юридических терминов, расположенных в алфавитном порядке.

«*Школа мудрости*» — специальная юридическая школа в Риме, основанная в 1244 году папою Иннокентием Четвертым (позже к юридическому отделению были прибавлены богословское и грамматическое). Над входом в здание школы было начертано: «Начало мудрости — страх божий».

«*Институции*» — первый раздел Юстиниановой кодификации римского права.

«*Подробное изложение казусов по «Институциям»* — пособие по римскому праву, составленное в XIII веке и решительно никаких достоинств не имеющее.

Деньги дают нам Гален...— Эта житейская мудрость, выраженная в не слишком складных стихах, заимствована из «Словаря права», которым так жаждет обзавестись «автор» письма. Великий римский врач Клавдий Гален (II в. н. э.) назван здесь как символ врачебного искусства.

Стр. 455. *В Богемии еретиков.*— Во второй половине XV века в Чехии возникла религиозная секта, получившая название Богемских (или Моравских) братьев. Движение это возникло среди последователей Яна Гуса и носило очень радикальный характер — отвергало присягу и воен-

ную службу, отрицало частную собственность, требовало возврата к простоте раннего христианства. К началу XVI века братья создали собственную церковь, которая просуществовала более 200 лет. Последним главою этой церкви был великий чешский педагог Ян Амос Коменский.

Марка.— Так в империи Карла Великого назывались пограничные области на разных рубежах государства. Здесь имеется в виду маркграфство Бранденбург.

Стр. 456. *Карлин* — мелкая серебряная монета, имевшая хождение в Италии.

Цветочное поле — Кампо де Фьори (или Кампофьоре), площадь в Риме, близ которой находился дворец папской канцелярии, а также (судя по «Письмам темных людей») гостиница, где проживал Якоб Гоогстратен, ведя дело против Рейхлина. На этой же площади сжигали евреев и еретиков; здесь в 1600 году был сожжен Джордано Бруно.

...силою святого Павла...— В «Деяниях апостолов» (XXVII — XXVIII) рассказывается, что, когда апостола Павла везли в Италию, на «суд кесаря», корабль потерпел крушение у берега Мальты. Тамошние жители разложили костер, чтобы спасшиеся могли отогреться, и Павел подбрасывал в огонь хворост. В хворосте оказалась ехидна; потревоженная жаром, она выползла и «повисла на руке» Павла. Увидев это, мальтийцы говорили друг другу: «Наверное, он убийца, если спасся от моря, а суд божий продолжает его преследовать». Но Павел стряхнул змею в огонь, не потерпев никакого вреда.

Стр. 457. *Но я возражаю, что довод сей вздорен...*— Вся аргументация в доказательство учености Пфефферкорна — несмотря на явную вздорность этой аргументации — заимствована из самой книги Пфефферкорна.

Стр. 458. *Гугон* — вероятно, доминиканец Уго из Фольето подле Флоренции (ум. в 1322 г.), богослов и философ.

«*Ручное зеркало*» — сочинение Пфефферкорна, опубликованное в 1511 году, где он обвинял Рейхлина в невежестве и в корыстном покровительстве евреям, которые якобы его подкупили. Ответом на этот гнусный пасквиль и было знаменитое «Глазное зеркало» Рейхлина.

...о чем писано в книге Бытия.— В XVIII главе книги «Бытие» говорится, что Аврааму «явился господь», и «он возвел очи свои, и взглянул, и вот три мужа стоят против него». В этих «трех мужах» христианская традиция усматривала либо Троицу, либо трех архангелов — Михаила, Гавриила и Рафаила. Пфефферкорн в «Защите» действительно сообщает, что цитатами для «Ручного зеркала» его снабдили «три прославленнейших и справедливейших мужа» из числа тех, кому император Максимилиан поручил проверить, насколько справедливо и согласно с христианской верой требование Пфефферкорна уничтожить все еврейские книги.

...в книге Иова...— На самом деле в «Книге Есфирь», IX, 5.

Стр. 459. *Обол* — медная монета в Древней Греции.

Посылаю вам... плат Вероники...— По христианской легенде, женщина по имени Вероника дала Христу платок утереть пот и кровь во время пути на Голгофу, и на платке запечатлелись черты Христа («нерукотворенный образ»). Эта реликвия хранилась в Риме, в соборе Святого Петра. Сратенфоц посылает Ортуину копию этого «плата».

Агнец божий — восковая облатка, на одной стороне которой было оттиснуто изображение «агнца божия» (ягненка) с хоругвью, на другой — папской руки с ключами. Эти облатки освящал сам папа римский в страстную субботу.

Валентин Гельтерсгеймский (ум. в 1526 г.) — каноник кафедрального собора в Кельне, доктор богословия, преподававший в Нагорной бурсе.

Стр. 460. *Кардинал Святого Креста.*— В Римской церкви первоначально кардиналами именовались настоятели приходских храмов в Риме и главы «пригородных» (то есть находившихся в непосредственной близости к Риму) епархий. Поэтому и впоследствии, сделавшись «князьями церкви», кардиналы сохранили в своих титулах названия римских храмов. Здесь речь идет об испанце Бернардино Каравахале, стороннике обскурантов и покровителе Гоогстратена. Папой, вопреки пророчеству Рогоносия, он так и не стал, хотя Льва X пережил более чем на год.

Петр Равеннский — Пьетро Франческо Томази (ок. 1448 — ок. 1510), известный юрист, автор многих трудов по законоведению, преподававший в разных университетах Европы. В 1506—1507 годах читал каноническое и гражданское право в Кельне, но был изгнан оттуда интригами богословов, и в первую очередь — Гоогстратена. Именно в этом конфликте и поддержал впервые кельнского инквизитора кардинал Каравахале.

Покойный французский король — Людовик XII, умерший 1 января 1515 года.

Референдарий — нечто вроде нынешнего секретаря.

Граф Нейенар — Герман фон Нейенар (ок. 1491—1530), известный германский гуманист, друг Гуттена, один из предполагаемых авторов «Писем темных людей». Слух о его избрании Кельнским архиепископом объясняется тем, что место умершего в августе 1515 года Филиппа фон Даун-Эберштейна занял тоже граф и тоже Герман — Герман фон Вид.

Стр. 461. ...*«от подошвы ноги...»* — «Книга пророка Исаии», I, 6.

Рота (по-латыни «колесо») — верховный суд при папской курии; его название происходит, по-видимому, от круглого стола, за которым сидели судьи в ту пору, когда возник этот трибунал (XIII в.).

Магистр курии.— Римская курия обладала правом присваивать ученые степени без испытательного диспута и широко этим правом пользовалась, разумеется — не безвозмездно.

Стр. 462. *«Вы называете Меня...»* — «Евангелие от Иоанна». XIII, 13.

...в Венерин день, то бишь на шестой день седмицы...— Почти все западное христианство сохранило языческие названия дней недели (по планетам). Венерин день — пятница; «шестым днем седмицы» она названа потому, что счет — на еврейский лад — начинался с воскресенья.

Стр. 463. *Юлий* — мелкая серебряная монета, чеканившаяся папою Юлием II (1503—1513).

Ведь черви сопричисляются к рыбам...— а стало быть, наравне с рыбами, и к постной пище, которую разрешено вкушать по пятницам и иным постным дням.

...весьма сведущего в физике.— «Физикой» в средние века называли науку о природе как неживой, так, равно, и живой (physis — по-гречески «природа»).

«*Ты Петр...*»— «Евангелие от Матфея», XVI, 18.

...книгу, кою сочинили супротив Иоанна Рейхлина? — Речь идет о «Защите Иоанна Пфефферкорна...», которую некоторые из «темных мужей» считают сочинением Ортуина. Так, магистр Иоанн Пустодермий (II, 21) пишет в ответ на письмо Ортуина: «Уразумел я из ваших слов, что вы сочиняете интересную книжку, а назвать ее надумали «Защита Иоанна Пфефферкорна противу клеветнических» и надумали отдать ее в печатню. И еще пишете, что свое имя ставить не желаете и что лучше, по-вашему, обозначить в титле имя Иоанна Пфефферкорна, ибо Пфефферкорну на это плевать, и он не боится Иоанна Рейхлина и его приверженцев, на случай ежели б они что надумали сочинить супротив него».

Стр. 464. *Пасквин* — статуя в Риме; к ее цоколю остроумцы прикрепляли или складывали свои памфлеты, эпиграммы, карикатуры, которые им хотелось сделать достоянием гласности (отсюда слово «пасквиль», вошедшее и в русский язык).

Стр. 465. *...испанцы, идут походом на Ломбардию...*— Весною 1516 года император Максимилиан с большим разноплеменным войском перевалил через Альпы, намереваясь вытеснить французов из Северной Италии.

Стр. 466. *...из числа меньших сих...*— Скромный Хвастуниц намекает на стих из Евангелия («От Матфея», XXV, 40), где говорится: «Так как вы сделали это одному из братьев Моих меньших, то сделали Мне».

...ярый приверженец Иоанна Рейхлина — Якоб Квестенберг (см. прим. к стр. 448).

Стр. 467. *...частью усматриваются еретические мнения, частью же — оскорбление величества.*— Следующие ниже положения (артикулы), якобы собранные рейхлинистами,— пародия на подлинные «изобличающие артикулы», которые публиковались обскурантами: книгу Арнольда Тонгрского (см. прим. к I, 1) и «Защиту» Пфефферкорна, в которой был раздел, озаглавленный «Новые гнусные положения рейхлинистов, для меня и для прочих оскорбительные, а для церкви божией неприкрыто кощунст-

венные, выбранные частично из проклятых «Писем темных людей». Пфефферкорн, в частности, упорно обвинял Рейхлина в оскорблении величества и государственной измене.

...единожды папой была женщина...— Намек на известную средневековую легенду о «папессе Иоанне», которая якобы занимала римский престол в середине IX века. Никаких исторических оснований эта легенда не имеет.

A II, ст. I.— Книга Пфефферкорна состоит из 14 листов, то есть из 56 страниц в четвертую долю листа. Страницы не нумерованы, а листы обозначены латинскими прописными буквами от A до O. Текст набран в два столбца.

...у Александра...— то есть в неоднократно упоминавшемся «Доктринале» Александра Галльского.

Стр. 470. «*Проклят, кто удерживает меч Его...*» — «Книга пророка Иеремии», XLVIII, 10.

И лучше впасть в руки человеческие...— Хвастуниц выворачивает наизнанку слова Библии: «И сказал Давид: ...пусть впаду я в руки Господа... только бы в руки человеческие не впасть мне» («Вторая книга Царств», XXIV, 14).

Стр. 472. *...комиссии... из Рима восприятой...*— Эта комиссия, назначенная папой Львом X, заседала в Шпейере под председательством тамошнего епископа и 29 марта 1514 года оправдала Рейхлина и все его писания.

Стр. 474. *...«не оставив мочащегося к стене»* — «Третья книга Царств», XIV, 10; XVI, 11; XXI, 12; «Четвертая книга Царств», IX, 8 (везде — для обозначения свободных взрослых мужчин).

Иоахим Вадиан — Иоахим фон Ватт (1484—1551), известный гуманист, друг Гуттена, поэт, медик и географ; примкнул к реформаторам (сперва к Лютеру, затем к Цвингли) и писал богословские сочинения против анабаптистов; ректором Венского университета был в 1516 году.

...магистр наш Гекман...— См. прим. к стр. 411.

Стр. 475. *Викариат* — должность викарного священника, то есть заместителя, который уполномочен ректором (номинальным держателем должности) исполнять его обязанности. Викарий получал обыкновенно лишь третью часть доходов, которые приносила должность; остальное доставалось ректору.

Стр. 477. *Пословиц Эразмовый* — название Эразмова сборника «Пословицы» «автор» письма принял за имя собственное.

...пребендишку...— — Пребендой называлось «штатное место» в причте собора и доход, доставляемый этою должностью, таким образом пребенда есть разновидность бенефиция.

Стр. 478. *Лактанций* — Луций Цецилий Фирмиан Лактанций, знаменитый апологет христианства, писавший в первой четверти IV века н. э.

...Слог мой уже не тот, что прежде.— Действительно, чудовищность этого слога не способен передать ни один перевод. В первом своем письме (I, 10) Иоанн Арнольди мало чем отличается от прочих «темных», но это, второе, поистине не знает себе равных.

Стр. 479. *...нынешний епископ Майнцский* — Альбрехт Бранденбургский, занявший Майнцскую кафедру в 1514 году. Он был покровителем гуманистов, и Гуттен писал о нем графу фон Нейенару в апреле 1518 года: «Обращаясь теперь к нашему Альбрехту, столпу и светочу всех германских епископов, я не могу тебе даже выразить, сколь велика его забота о процветании наук. Его письмо к Эразму привело бы тебя в восхищение — так ласково приветствует он Эразма, так настойчиво зовет к себе. Дома он не расстается с его книгами, и все, что выходит из-под его пера, читает ревностно и со вниманием».

...из колена Неффалимова.— Так утверждает сам Пфефферкорн в «Защите противу клеветнических и преступных «Писем темных людей»...», в разделе, озаглавленном: «Противу тех, кто облыжно утверждает, будто я ничтожество и Иоанну Рейхлину не должно вступать со мною в тяжбу и препирательство». К этому утверждению он присовокупляет: «А вот какого рода Иоанн Рейхлин, того не ведаю. Но от других приходилось слышать, что его отец был голодранец и починял старые башмаки».

Человек из Оберланда — по-видимому, Вильгельм (Гильом) Коп, лейб-медик французских королей Людовика XII и Франциска I, знаток античной медицины, переводчик Гиппократа на латинский язык; умер в 1532 году. Оберланд — область нынешней Швейцарии, а в прошлом самостоятельный кантон в составе Швейцарского союза.

Яков Фабер из Этапля — Жак Лефевр д'Этапль (ок. 1455—1537), виднейшая фигура в раннем французском гуманизме, филолог, философ и богослов; по сути дела, он был предшественником Реформации, как и Эразм, но, опять-таки подобно Эразму, Реформации и ее вновь складывающихся догматов не принял.

Стр. 480. «*Дивно для меня...*» — «Псалтирь», CXXXVIII, 6.

«*Речи магистра Ортуина*».— Полное название этой книги, вышедшей в свет в Кельне в 1508 году, таково: «Речи, чрезвычайно занятные и на все темы; сочинены Ортуином Грацием Девентерским, преподавателем изящной словесности в Кельне».

...как говорит Сократ...— Этот афоризм (называя его «знаменитою поговоркой») приписывает Сократу Лактанций («Божественные установления», III, 20) и приводит Эразм в «Адагиях».

Стр. 481. *...«чего по былым временам...»* — стих из предисловия к «Доктриналу» Александра Галла.

Стр. 482. «*Есть у них уста...*»— «Псалтирь», CXIII, 13—14.

...темою для моего послания.— Под словом «тема» имеется в виду текст из Библии, который ставится в заглавие проповеди или богослов-

ского рассуждения и служит для дальнейшего как бы отправною точкою и, вместе, внутренним стержнем.

Стр. 483. *Иоанн Синтен* (ум. в 1498 г.) — учитель Эразма в Девентерской школе, впервые предсказавший ему великое будущее. «Изречения» Синтена — комментарий к двум начальным частям «Доктринала».

Стр. 484. *...дабы постился всякую пятницу...*— Поститься по пятницам было непременной обязанностью всех духовных лиц, к каковым причислялись и студенты. Таким образом, «суровое покаяние» — не более чем насмешка.

...«лучше нам, чтобы один человек умер...» и т. д.— «Евангелие от Иоанна», X, 50 (окончание этого стиха таково: «...за людей, нежели чтобы весь народ погиб»).

Стр. 486. *...как утверждают древние грамматики...*— «Древними» «темные мужи» называют средневековых авторов, вроде Александра Галла, а «новыми» — истинно древних писателей, возвращенных к жизни гуманистами (грамматики Диомед и Присциан жили в V в. н. э.). Над этим бессмысленным парадоксом потешались многие гуманисты, в том числе и Эразм.

Стр. 488. *...по «Имеющему вскоре» — или по «Ученику»...*— См. прим. к стр. 430.

Иоанн Лихтенберг — знаменитейший прорицатель второй половины XV века. Его «Прорицания, или Практическая астрология» выходили много раз по-латыни и в переводах на новые языки и пользовались беспримерною популярностью во всех слоях общества. «Лихтенберг» — немецкий перевод французского имени собственного «Клермон»: так назывался холм в Эльзасе, на котором «провидец» жил отшельником (впоследствии его призвал ко двору император Фридрих III). «Чужестранкою Руфью, скрывающейся под сенью рощ» он назвал себя сам в своей книге, по-видимому намекая на уединенный образ жизни и иноземное происхождение (героиня библейской «Книги Руфь» — иноземка, моавитянка).

Стр. 489. *Муциан Руф* — латинизированное имя Конрада Мута (1472—1526), главы эрфуртского кружка гуманистов.

Стр. 490. *...«не видел того глаз...»*— «Первое послание к Коринфянам», II, 9.

Стр. 491. *А человек, все сие говоривший, родом из Берлина.*— Обличитель богословов (так же как и подлинный автор письма) — по всей видимости, Гуттен. Можно предполагать, что место рождения названо неверно не столько ради того, чтобы сбить врагов со следу, сколько чтобы придать фигуре обличителя более обобщенный характер.

«Обозрение божественных» — еще одно типично средневековое сокращение. Полное название книги — «Обозрение божественных служб» и принадлежит она Гильому Дюрану (1230—1296), или, на латинизирован-

ный лад, Гвилельму Дуранду. Он был великим знатоком канонического права, однако в памяти последующих веков остался лишь благодаря этой книге — своду знаний по литургике, снабженных мистическим истолкованием. Она была одною из первых, сошедших с печатного станка (Майнц 1459 г.), и переиздавалась без конца.

Стр. 492. «*Я есмь сущий*».— Прямое кощунство: Гоогстратен отвечает словами бога, возвещающего Моисею свое имя («Исход», III, 14).

«*Да, говорю вам*» — «Евангелие от Луки», VII, 26, то есть Гоогстратен продолжает кощунствовать, на сей раз применив к себе слова Христа.

«*Иные — колесницами...*» — «Псалтирь», XIX, 8.

«*Кропите, небеса, свыше...*» — «Книга пророка Исаии», XLV, 8.

Стр. 493. *...ходатай Иоанна Рейхлина Иоанн фон дер Вик...*— В тяжбе против Рейхлина, которую Гоогстратен вел в Риме лично, интересы Рейхлина представлял доктор прав Иоганн фон дер Вик, будущий мученик Реформации: в 1533 году епископ Мюнстерский приговорил его к сожжению, но каноники кафедрального собора ворвались в тюрьму и растерзали осужденного.

...после разбора дела богословами...— 2 июля 1516 года уполномоченные папою судьи в открытом заседании, в присутствии многочисленной публики, вынесли тот приговор, о котором сокрушается «автор». Впрочем, Гоогстратен немедленно добился решения о пересмотре дела.

Стр. 494. *Другой — Ульрих Гуттен...*— Ему и приписывается это письмо с большою степенью вероятности.

...учиняли в Майнце святое деяние...— Это «деяние» подробно изображено в 27-м письме первого тома; см. также примечание к этому письму.

Стр. 495. *Вернер* — глава доминиканцев в Базеле; был замешан в скандальном Бернском деле (см. прим. к стр. 422).

...Скотовы разновидности...— См. прим. к стр. 423 (к слову *Брулифер*).

Стр. 496. *Ир* — имя наглого нищего в Гомеровой «Одиссее», приобретшее нарицательное значение.

Стр. 497. *Петр Мозельский*—Петер Шаде из селения Бруттиг на реке Мозель (1493—1524); современники считали его на редкость одаренным и образованным. Он преподавал греческий язык в Лейпцигском университете с 1517 года.

...всем оказали снисхождение.— Подобные «снисхождения», шедшие вразрез с университетским уставом, оказывались за дополнительную плату, взимавшуюся вполне открыто, официально и по твердой таксе.

Стр. 500. «*Что есть истина?*» — «Евангелие от Иоанна», XVIII, 38.

Стр. 501. *...Евангелие от Матфея, III...*— На самом деле «От Иоанна», III, 5.

С. Маркиш

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН

ДИАЛОГИ

Диалоги «Лихорадка», «Вадиск» и «Наблюдатели» входят в состав сборника «Диалоги», напечатанного в апреле 1520 года (из двух диалогов под названием «Лихорадка», близких друг к другу по тематике, для перевода был выбран второй — как более острый и занимательный). «Булла» и «Разбойники» вышли в свет годом позже (сборник «Новые диалоги», включавший, кроме названных, еще два произведения).

Первые русские переводы из Гуттена (отрывки из «Диалогов») были выполнены В. С. Протопоповым (сборник «Источники по истории Реформации», выпуск I, Москва, 1906). Тексты для настоящего издания заимствованы из книги: Ульрих фон Гуттен, Диалоги.— Публицистика.— Письма. Составление и перевод с латинского С. П. Маркиша. Издательство АН СССР, Москва, 1959.

«ЛИХОРАДКА». ДИАЛОГ ВТОРОЙ

Стр. 507. *Бомбарда* — старинное артиллерийское орудие.

Стр. 508. *...вы слопали самого Пифагора...*— Последователи Пифагора (пифагорейцы) не употребляли в пищу мяса, веря в переселение душ.

Куртизаны — папская челядь, окружавшая «святой престол». Гуттен часто применяет термин «куртизаны» в широком значении, включая в это понятие и высших сановников католической церкви, и вообще духовных лиц, ставленников курии.

Стр. 511. *Вот как описал муки любви Плавт.*— «Шкатулка», II, I, 3 сл. Перевод А. Артюшкова.

Стр. 514. *Менандр* (ок. 342 — ок. 291 гг. до н. э.) — один из крупнейших комедиографов Древней Греции, создатель так называемой новой аттической комедии.

Феспийцы — жители города Феспии в Беотии; славились культом Эрота, храм которого был украшен статуей бога работы Праксителя и изображениями муз.

Стр. 516. *Эгира* — город в Пелопоннесе, на берегу Коринфского залива.

Стр. 517. *Омфала* — мифическая лидийская царица, рабом и возлюбленным которой был одно время Геркулес. В угоду Омфале Геркулес, облекшись в женские одежды, сидел за прялкой в обществе ее рабынь. *Деянира* — жена Геркулеса.

Стр. 520. *Каллист II* — римский папа (1119—1124). Идея обязательного безбрачия всех духовных лиц, так называемого целибата, возникла в IV веке. Еще до Каллиста папа Григорий VII (1073—1085) сформулировал требование целибата. Католическая церковь требовала безбрачия белого духовенства, так как женатые священники и епископы могли передавать свои земли по наследству и, таким образом, церковь их теряла. Кроме того, папство стремилось сделать духовенство замкнутым сословием, семейные же связи духовных лиц с мирянами препятствовали этому.

Стр. 522. *Так-то ты помнишь слова Овидия...*— Овидий, «Искусство любви», I, 729.

Стр. 524. *Колоквинт* — горький огурец; употребляется в медицине как сильное слабительное средство.

Штромер Генрих — лейб-медик курфюрста Майнцского, друг Гуттена, приверженец гуманистов. Он помог Гуттену получить место при дворе курфюрста. *Коп.*— См. прим. к стр. 479 (*Человек из Оберланда*). *Эбель* Якоб — врач, друг Гуттена, с которым он познакомился, вероятно, при дворе архиепископа Майнцского Альбрехта. *Риций.*— См. прим. к стр. 450.

Стр. 525. *Фуггеры* — представители крупной торгово-ростовщической фирмы XV — XVII веков в Аугсбурге. Начав с мелких торговых операций, они заняли затем ведущее положение в международных торговых связях и особенно — в крупной оптовой торговле с Востоком. В дальнейшем они переходят к кредитным операциям. У них были тесные отношения с папской курией. Они принимали участие и в торговле индульгенциями в Германии.

...начни с писцов Максимилиана.— О «писцах Максимилиана», которым император даровал дворянство, Гуттен, гордившийся своею родовитостью, пишет со злобою и в диалоге «Разбойники».

Стр. 526. «*Если досугу конец, ломается лук Купидона*».— Овидий, «Средство от любви», 139.

«*Трутней, скотину ленивую, в ульи свои не пускают*».— Вергилий, «Георгики», IV, 168.

Стр. 527. «*Священники твои облекутся правдою*»...— «Псалтирь», CXXXI, 9.

«*Ибо нет в устах их истины, сердце их пусто*».— Там же, V, 10.

«*Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих!*» — «Книга пророка Иезекииля», XXXIV, 2.

...убеждая Карла принять твой совет? — Германский император Карл Пятый (1519—1555) занял враждебную позицию по отношению к Реформации.

«*Множество пастухов испортили...*» — «Книга пророка Иеремии», XII, 10.

Стр. 530. *...издали историка Корнелия Тацита с пятью вновь обнаруженными книгами...*— Публий Корнелий Тацит (ок. 55 — ок. 120 гг. н. э.), великий римский писатель и историк. Начиная с XIV века рукописи Тацита постепенно становятся известны гуманистическим кругам. Упоминаемые Гуттеном пять книг «Анналов» Тацита были впервые напечатаны в Риме в 1515 году. В них описываются события времен римских императоров Августа и Тиберия, в частности (что должно было особенно привлекать Гуттена) восстание германских племен против Рима под предводительством Арминия. Гуттен высоко ценил также сочинение Тацита «Германия», идеализирующее быт и нравы древних германцев, и использовал его в своем диалоге «Наблюдатели».

Стр. 531. *И я добился бы своего, если бы не папский легат...*— Речь идет о Джироламо Алеандро (см. прим. к «Разговорам запросто», диалог «Скаредный достаток»), который ожесточенно выступил против Реформации в Германии. Алеандро присутствовал на Вормском рейхстаге (1521) в качестве папского легата.

Паллий — сначала шерстяной плащ, потом белый шерстяной воротник, надеваемый поверх священнического облачения, который получали при посвящении епископы — как символ пастыря, несущего на плечах овцу. Вручая или посылая епископам и архиепископам паллий, папа римский взимал за него плату. *Аннаты* — сборы в пользу римской курии с лиц, которые получали право на доходы от церковной должности.

Стр. 532. *Каэтан* (Каэтано) — кардинал, папский легат, посланный из Рима в Германию, чтобы собрать деньги якобы для войны против турок, в действительности же — на удовлетворение потребностей папского двора. Лютер вел с Каэтаном переговоры во время рейхстага в Аугсбурге (1518 г.). В феврале 1519 года Гуттен издал диалог «Лихорадка I», направленный против Каэтана, где высмеял его глупость и тщеславие, а также высокомерное отношение к «варварской Германии». Против Каэтана направлен также диалог «Наблюдатели».

Стр. 533. *...ратовал за то, чтобы придавить нас галльским ярмом...*— Гуттен намекает на претензии французского короля Франциска I на императорскую корону.

«*Веря в удачу свою...*» — Вергилий, «Энеида», II, 61—62. Перевод В. Брюсова.

Стр. 534. *Грациан* — римский император (373—383 гг.). Вел борьбу с наступлением варваров как в западной, так и в восточной половине Римской империи. При нем были изданы строгие законы против язычников и еретиков.

Император Лев — византийский император Лев I (457—474 гг.).

Стр. 535. *...Христос, вернись он сегодня на землю, изгнал бы вас с гне-*

вом куда бо́льшим, чем некогда — тех покупателей и купцов. — По евангельской легенде, Христос выгнал из храмового двора в Иерусалиме менял и продавцов жертвенных животных.

Стр. 535. *...ваш товар — ...божественная благодать!* — По католическому учению, недостающую человеку «благодать» может сообщить церковь, которая черпает ее из сокровищницы «сверхдолжных добрых дел», совершенных Христом и святыми. На этой теории была основана торговля индульгенциями.

Стр. 536. *...вы еще дерзаете присваивать себе достояние Петрово...*— Апостол Петр считался первым главою церкви после крестной смерти Иисуса. Считая себя преемниками апостола Петра и, следовательно, наместниками Христа на земле, римские папы претендовали на неограниченное господство в христианском мире.

«*Нежели твердый кремень иль дикие скалы Марпесса*».— Вергилий, «Энеида», VI, 471. Марпесс — гора на острове Паросе в Эгейском море, где добывался знаменитый паросский мрамор.

Стр. 537. *Бургомистр Филипп* — Филипп фон Фюрстенберг, друг Гуттена, франкфуртский бургомистр.

Стр. 538. *Копиист* — писец, секретарь, переписывающий грамоты, буллы и другие подобного рода документы и акты. *Синекура* (буквально: «без заботы») — духовная должность, доставляющая доход, но не возлагающая никаких обязанностей на того, кто эту должность занимает. *Факультаты* — особые полномочия, которые получали от папы епископы Германии. Благодаря факультатам, епископ, в качестве папского уполномоченного, мог осуществлять диспенсивную власть, то есть право папы освобождать от подчинения законам церкви тех или иных лиц в отдельных случаях. *Грация* — здесь папское пожалование. *Резервация* (или «соблюдение в сердце») — назначение на должность, зависящее от папы. Считалось, что при замещении освободившихся приходов папы должны принимать во внимание интересы «бедных и достойных» священников, но эта система приняла форму самой циничной торговли духовными должностями. *Регрессы* — духовные должности, уступаемые папой на определенных условиях. В случае невыполнения этих условий папа мог отменить назначение. *Право патроната* — институт церковного права, в силу которого лицу или учреждению предоставляется известная совокупность прав и обязанностей по отношению к церковной должности, и в особенности к ее замещению. Тот, кто обладает правом патроната, может представлять своего кандидата на вакантную должность в церкви, по отношению к которой осуществляется патронат.

Стр. 540. *Понтификат* папы — время его правления.

Симон — по новозаветному преданию, чародей, вступивший в общину христиан, но затем изгнанный апостолом Петром за то, что пытался купить духовную силу, творящую чудеса. Поэтому продажа римской

курией церковных должностей, имевшая широкое распространение в средние века, получила название симонии.

Вдобавок они хвастаются неким даром Константина...— Константинов дар — фальшивый документ, составленный, по-видимому, во второй половине VIII века в интересах римской курии. В нем говорится, что император Константин Великий (306—337) вручил папе Сильвестру I (314—335) и его преемникам власть над Римом, Италией и всей западной частью Римской империи. Эта фальшивка была создана курией для доказательства своего права на папскую область, подаренную римскому папе в 754 году франкским королем Пипином Коротким (714—768). Подложность Константинова дара доказал в середине XV века итальянский гуманист Лоренцо Валла.

Стр. 541. «*Граждан несчастных зачем...*» — Вергилий, «Энеида», XI, 360—361. Перевод С. Соловьева. *Лаций* — древнее название одной из областей в Италии. Центром этой области был Рим.

Стр. 542. *Карла Богемского папа Урбан короновал...*— Карл IV Люксембург — германский император (1346—1378), с 1346 года — король Чехии под именем Карла I. На императорский престол был избран при поддержке папы Климента VI, находившегося тогда в Авиньоне. Урбан V— римский папа (1362—1370). По просьбе Карла IV переехал из Авиньона в Рим, получив управление папской областью.

Стр. 543. *Плакать и скорбеть нужно о том, что место Сципионов, Марцеллов, Максимов, Катонов, Метеллов, Цицеронов, Мариев заступили настоящие Вителлии, настоящие Отоны, дважды Нероны, трижды Домицианы...*— Гуттен перечисляет сначала римских государственных деятелей эпохи республики, стяжавших в древности славу выдающихся полководцев и мудрых политиков. Отон и Вителлий — римские императоры, боровшиеся за власть друг с другом. Их кратковременные правления следовали одно за другим (оба в 69 г. н. э.) и сопровождались грабежами и насилиями.

Стр. 544. *Нунций* — папский посол. В отличие от легатов, полномочия которых носили временный характер, папские нунции выполняли постоянную миссию.

Вселенские соборы — чрезвычайные съезды высших церковных иерархов. Соборы XV века (Констанцский и Базельский) имели тенденцию ограничить папскую власть, присвоив себе высший авторитет в делах веры. Папы поэтому стали относиться с недоверием к созыву вселенских соборов. Дальнейшие соборы, однако, закрепили господствующее положение папы в церкви.

...страдая от раны, полученной на Никейском соборе...— Эрнгольд имеет в виду Никейский (в Малой Азии) собор 325 года, на котором Римский епископ еще не обладал особыми привилегиями и пользовался такими же правами, как епископ Александрийский и Антиохийский.

Стр. 545. *...древние распутники, услаждавшие Тиберия...*— Римский император Тиберий (14—37) был известен своей развращенностью.

Стр. 546. *Стоит ли проклинать язычника Диоклетиана...*— Диоклетиан — римский император (284—305). Его правление начинает новую эпоху римской истории — эпоху поздней империи (так называемый «доминат»), для которой характерна неограниченная власть императора. Гуттен называет Диоклетиана «язычником» за жестокие гонения на христиан в 303 и 304 годах.

Им следовало бы противиться... имени «Благочестивого».— Намек на то, что многие папы носили имя Пий (по-латыни pius — «благочестивый»).

Стр. 547. *Пританей* — место заседания пританов — дежурных членов Совета в Древних Афинах. Разрешение обедать на государственный счет в пританее было одним из высших знаков отличия.

Содомляне — по библейскому преданию — жители Содома, уничтоженного за свои пороки небесным огнем. Их имя стало нарицательным для обозначения людей, предающихся противоестественным порокам.

Стр. 548. *...того же требовал Павел...*— См. «Первое послание к Коринфянам», VIII, 8, и X, 25.

Сирма — длинная одежда со шлейфом (у римлян и греков в период Империи).

Стр. 549. *Экспектативная грация* (экспектатива) — право, даваемое римской курией на замещение в будущем еще неосвободившегося прихода.

«Соблюдение в сердце».— См. выше, прим. к стр. 538 (слово «Резервация»).

Диспенсация — акт, отменяющий применение закона к данному лицу в данном случае. Частое дарование диспенсаций сделалось одной из доходных статей римской курии и вызывало резкие протесты.

...якобы для подготовки войны с турками...— В 1518 году папа Лев X послал кардинала Каэтана на Аугсбургский рейхстаг, чтобы убедить императора предпринять давно замышляемый поход против турок. В действительности и папа и император хлопотали больше о получении денежных субсидий и усилении своего могущества. Гуттен поддерживал идею войны против турок, но писал, что прежде необходимо навести порядок в самой империи и начать беспощадную борьбу с папой и его ставленниками в Германии.

Стр. 550. *...ибо все предусмотрено конкордатом...*— Венский, или Ашаффенбургский, конкордат, заключенный в 1448 году между императором Фридрихом III и папой Евгением IV, предоставил папе широкие права в Германии.

Стр. 553. *Греческий поэт* — Дифил, комедиограф IV века до н. э.

Стр. 554. *Прелаты* — в католической церкви общее название для высших духовных сановников. *Декан* — здесь старший в причте кафед-

рального собора, фактический его настоятель (когда формально должность настоятеля принадлежит епископу).

Ординарий — лицо, занимающее церковную должность и облеченное правовыми полномочиями, постоянно и неотчуждаемо связанными с этой должностью. Круг этих лиц довольно широк и включает самого папу; здесь, однако, имеются в виду только епископы и их викарии.

Папские месяцы — нечетные (январь, март и т. д.): вакансии, освобождавшиеся в эти месяцы, заполнял папа по своему усмотрению. В остальные, четные, месяцы назначения на духовные места давали епископы.

Стр. 555. *«Челядь»* — многочисленные лица из окружения папы или епископа, выполнявшие домашнюю работу и находившиеся на содержании патрона. Они получали особые привилегии, если выполняли значительные поручения.

Стр. 560. *Сикофанты* (г р е ч.) — профессиональные доносчики, сутяги и шантажисты, заводившие с целью наживы процессы против отдельных лиц или вымогавшие у своих жертв деньги под угрозой возбуждения против них судебного дела.

Папские казусы — совокупность случаев, когда право решения дела принадлежит исключительно папе.

А откуда старинное это прозвание — «раб рабов божиих»? — Папа Григорий I (590—604) стал называть себя — подобно святому Августину — «рабом рабов божиих», как бы в знак протеста против принятия константинопольским патриархом титула вселенского патриарха.

Стр. 561. *Палеи* — название некоторых прибавлений к собранию декретов, составленному в XII веке болонским монахом Грацианом, труд которого положил основание каноническому праву. *Экстравагаита* — прибавление к декреталиям (собранию папских писем и посланий, отвечающих на обращенные к папе вопросы различного характера).

Пенитенциарий — духовное лицо, надзирающее за исполнением таинства покаяния на определенной территории.

Булла — папское послание, указ; буквально — полый шарик (л а т.), то есть капсула, в которую заключалась печать, скрепляющая документ.

...«легкое бремя»... «иго благое»? — См. «Евангелие от Матфея», XI, 30.

Стр. 563. *Пий Второй* — римский папа (1458—1464); пытался уничтожить всякую самостоятельность церквей во Франции и Германии, вмешивался в итальянские дела, боролся с народными движениями в Риме и Романье.

Но все-таки эта булла... уже отторгла от Венеции города и земли.— В результате турецких завоеваний, открытия морского пути в Индию и конкуренции купечества крупных централизованных государств Венеция теряла свои внешние рынки. Чтобы укрепить свое положение, венецианцы,

воспользовавшись политической раздробленностью Италии, захватили несколько городов в папской области. За это на Венецию был наложен интердикт (запрещение совершать церковные службы). Папа Юлий II сумел объединить ряд государств, враждебных Венеции, и нанести ей удар (1509 г.). Однако Венеция вскоре вышла из трудного положения, восстановив ненадолго свое прежнее влияние и силу.

Стр. 565. *Кто станет удивляться дерзости богемцев...*— Гуттен имеет в виду движение Богемских братьев (см. прим. к стр. 455).

Стр. 565—566. *...которые входят не дверью, как пастыри...*— перифраз «Евангелия от Иоанна», X, 1 сл.

«*Счастье только с риском ходит...*» — Теренций, «Самоистязатель» 325.

Стр. 567. *Релаксация.*— Здесь: предоставленная папской курией льгота.

Стр. 568. «*Сделаю вас ловцами человеков*» — «Евангелие от Матфея», IV, 19.

Стр. 568—569. *Христос сказал, что его царство не от мира сего...*— «Евангелие от Иоанна», XVIII, 36.

Стр. 569. *Велиар* или Велиал — в Библии одно из имен дьявола.

...называл блаженными нищих, говоря, что их есть царствие небесное.— «Евангелие от Луки», VI, 20.

Стр. 570. «*Вы соль земли...*» — «Евангелие от Матфея», V, 13.

Стр. 571. *...никто, кроме легатов от ребра апостольского...*— Легат от ребра апостольского — то есть от самого папы. Это выражение, употреблявшееся по аналогии со знаменитым библейским выражением (по Библии, из ребра Адама была сотворена Ева), являлось почетным титулом легата.

Стр. 573. «*Жалость откинувши, действовать станем жестоко и злобно*».— Вергилий, «Энеида», XI, 357. Перевод С. Соловьева.

Стр. 574. «*...уже не с оружием боле...*» — Вергилий, «Энеида», III, 260—261. Перевод В. Брюсова.

Схизматики — раскольники (от греческого «схизма» — церковный раскол). В Риме схизматиками называли, например, последователей греко-византийской (православной) церкви.

...напомнят о... эдикте безумного Юлия Второго...— Папа Юлий II своей буллой 1509 года подтвердил буллу Пия II (1460 г.), по которой жалоба собору на папу объявлялась ересью.

Стр. 577. «*Не для места избрал народ господь...*» — «Вторая книга Маккавейская», V, 19.

Фула — отдаленный полусказочный остров где-то на севере, с суровой и негостеприимной природой. Был известен по рассказам греческого путешественника Пифея (VI в. до н. э.). Греческий географ Страбон считал этот остров северной оконечностью земли.

«*...в ярких одеждах — пурпурных, шафранных...*» — Вергилий, «Энеида», IX, 614—615. Перевод С. Соловьева.

Стр. 578. «*...отрадно добычу свежую им приносить...*» — Вергилий, «Энеида», IX, 612—613. Перевод С. Соловьева.

«*Мы нападаем с мечом...*» — Вергилий, «Энеида», III, 222—223. Перевод В. Брюсова.

Так нападают со свинцом.— Свинцовыми печатями скреплялись папские буллы.

«*У трапезы господней*» — начальные слова и название знаменитой буллы (1363 г.) папы Урбана V, в которой предаются проклятию «еретики», «святотатцы», нарушители папских и церковных привилегий и все те, кто этим людям оказывает содействие.

Стр. 579. *Квириты* — в Древнем Риме официальное название полноправных римских граждан; здесь: римляне.

«*Сверху, лицом,— человек...*» — Вергилий, «Энеида», III, 426—427. Перевод В. Брюсова.

Стр. 580. *Коммендация* (комменда) — в данном случае право кардиналов пользоваться доходами монастырей (хотя бы и иностранных), оставаясь в Риме.

Стр. 581. *Фалеры* (г р е ч.).— Здесь: металлические украшения на конской сбруе.

«*Когда-то и Милет блистал отвагою...*»— Аристофан, «Богатство», 1003. В 499 году до н. э. жители Милета восстали против персов, которые после этого разрушили город.

Стр. 582. *Гнусная шайка флорентийцев* — окружавшие папу Льва X его приверженцы; Лев X происходил из флорентийского рода Медичи.

Стр. 583. *...три вещи отлучил и изгнал из стен своих Рим: бедность, раннюю церковь и проповедь истины.*— Гуттен имеет здесь в виду христианскую церковь первых веков ее существования, идеализировавшуюся сторонниками Реформации.

Стр. 584. «*...истребляют целые горы хлеба...*» — Вергилий, «Георгики», I, 185.

Стр. 585. «*Хищные в черном тумане...*» — Вергилий, «Энеида», II, 356—357. Перевод В. Брюсова.

Швабский тиран — герцог Вюртембергский, зверски убивший 7 мая 1515 года двоюродного брата Ульриха фон Гуттена — Ганса Гуттена. Причиной убийства были протесты Ганса Гуттена против настойчивых ухаживаний герцога за его молодой женой. После этого убийства Ульрих фон Гуттен начал энергичную агитацию за свержение и изгнание герцога, стремясь объединить всех лиц, недовольных им, в том числе и баварских герцогов.

Прокурация — искупительный обряд, принятый в католической церкви для «предотвращения бедствий», «умилостивления бога».

Стр. 586. *Фаэтон* — в греческой мифологии —сын Гелиоса, бога Солнца. Усомнившись в том, что Гелиос его отец, Фаэтон потребовал у него огненную колесницу. Не в силах управлять ею, Фаэтон погиб, упав в реку Эридан.

Колонна — знатная итальянская фамилия, из которой вышел ряд политических деятелей и полководцев средневековья.

Стр. 587. *...они умеют побеждать, но не умеют пользоваться победой.*— Перифраз известной цитаты из Тита Ливия (XXII, 51): «Ты умеешь побеждать, Ганнибал, но пользоваться победой не умеешь».

Стр. 588. *Север* — Германия, находившаяся к северу от Италии.

Стр. 592. «*Едят и пьют без всякого толка...*» — Апулей, «Метаморфозы», IV, 8, Перевод М. Кузмина.

Луцилий — римский сатирик конца II века до н. э. Произведения Луцилия дошли до нас лишь во фрагментах.

Кратер (г р е ч.) — большая глиняная, обычно украшенная росписью или рельефами чаша, в которой смешивалось вино с водой.

Пафлагония — горная область в северной части Малой Азии.

Стр. 594. *Значит, они из школы Платона, раз жены у них общие?* — В своем произведении «Государство» Платон говорит об общности не только имущества и жилищ, но и жен и детей. Это требование он применяет лишь к двум высшим классам: правителям и военным. Простой народ может иметь и частную собственность, и семьи. (См. Платон, «Государство», кн. V.)

И верно, нет страны, где измены случались бы реже...— Здесь Гуттен имеет в виду известное место из «Германии» Тацита (гл. XIX), где говорится о целомудрии германских женщин. Гуттен идеализирует нравы древних германцев.

Стр. 597. *Вольные города* — города, освободившиеся из-под власти своих сеньоров (князей) и пользовавшиеся почти полной автономией. Они лишь номинально подчинялись императору, имели право взимания налогов в своих пределах, могли иметь собственное ополчение и иногда пользовались правом высшего суда, превратившись на деле в самостоятельные государства — городские республики.

Стр. 600. *...глядя на них, вспоминаешь вошедшие в пословицу жреческие трапезы.*— См. Гораций, «Оды», II, 14.

Стр. 601. *Их бог — чрево!* — «Послание к Филиппийцам», III, 19.

«*...подагрики люди...*»— Аристофан, «Богатство», 559—560. Перевод А. Пиотровского.

...называются там «братьями»...— нищенствующие монахи.

Стр. 605. «*Паси должен пастырь овец...*» — «Евангелие от Иоанна», XXI, 15.

Стр. 606. *Франц* — Франц фон Зиккинген (1481—1523) — друг Гуттена, рыцарь, крупный военачальник. Его замок (Эбернбург) стал центром рыцарской оппозиции против засилья князей и католического духовенства. Попытка Гуттена сблизить Лютера с Зиккингеном не удалась. Лютер не разделял рыцарской программы имперской реформы, предложенной Гуттеном и одобренной Зиккингеном. Стремясь осуществить свою программу посредством вооруженного выступления рыцарства, Зиккинген потерпел неудачу и погиб.

Стр. 607. *Амиклы* — древний ахейский город в Лаконии, южнее Спарты. Во время вторжения дорических племен на Пелопоннес жителей Амиклы, согласно легенде, часто тревожили ложные слухи о приближении врагов. В городе был издан закон, по которому запрещалось даже говорить о врагах. Но вследствие этого, когда дорийцы действительно подошли к городу, они без труда овладели им.

Стр. 615. *Экк*, Иоганн Майер — вице-канцлер Ингольштадтского университета, богослов, враг Лютера, возбудивший против себя общественное мнение защитой ростовщичества и торговли индульгенциями. На лейпцигском диспуте выступил против Лютера. Он добился против него папской буллы, сжигал в Германии произведения Лютера.

Стр. 616. *Прежде ты у меня пройдешь под игом...*— По древнеримскому обычаю побежденных врагов проводили в знак бесчестия «под игом», то есть под аркой, образованной двумя воткнутыми в землю копьями и третьим, привязанным наверху поперек.

Стр. 617. *...из той страшной вавилонской чаши...*— «Вавилон был золотою чашею в руке господа, опьянявшего всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали» («Книга пророка Иеремии»; LI, 7).

Стр. 621. *...по отношению к кардиналам, сотворенным вместе с тобою в Риме.*— 1 июля 1517 года после лишения сана кардиналов, замешанных в заговоре, папа Лев X назначил сразу более 30 кардиналов, что принесло ему сотни тысяч дукатов, полученных за кардинальские шапки. Среди других кардиналов был и ненавистный Гуттену Каэтан.

...преславные эти оси мира...— то есть кардиналы; латинское слово «cardinalis» производили от «cardo» — ось, точка вращения, дверной крюк.

Стр. 623. *Пфальцграф* — должностное лицо, назначавшееся императором в отдельные области империи. Постепенно должность пфальцграфа превратилась в наследственную, а некоторые пфальцграфы — в территориальных князей.

...разжевать корень ангелики...— Ангелика — растение из семейства зонтичных, употреблявшееся в медицине.

Стр. 640. *Дурными же и опасными я называю тех...*— С конца XV — начала XVI века крупные торгово-ростовщические и промышленные фирмы юго-западных городов Германии развернули особенно активную деятельность. Фуггеры, Вельзеры, Гохштеттеры и другие богатые купеческие семьи захватывают важнейшие отрасли производства (например, горную промышленность) не только в Германии, но и за ее пределами, спекулируют хлебом и сырьем, заключают между собой соглашения о ценах, чтобы удержать их на высоком уровне. В борьбе с конкурентами крупные компании опираются на силу своих торговых привилегий и монополий, вызывая постоянные жалобы со стороны среднего и мелкого купечества.

Стр. 641. *...как заметил святейший автор* — то есть апостол Павел. См. «Первое послание к Тимофею», VI, 10.

...пример Кратета или Анаксагора...— О древнегреческом философе-кинике Кратете см. прим. к стр. 33. Анаксагор (ок. 500—428 гг. до н. э.) — древнегреческий философ, математик и астроном. Сын богатого гражданина, Анаксагор пренебрег богатством и почетом, чтобы всецело посвятить себя науке.

Стр. 642. *Квинденарий* — монета достоинством в пять денариев. Денарий — в римскую эпоху и в средние века — распространенная монета, обычно серебряная. *Талер* — серебряная монета. Название свое талеры (иоахимсталеры) получили от местности Иоахимсталь (ныне Яхимов) в Чехии, где находились серебряные рудники.

Стр. 643. *Медичи* — флорентийский род, правивший Флоренцией с 1434 по 1737 год (с перерывами). Своим богатством и влиянием обязаны банковской, торговой и промышленной деятельности. В 1532 году Алессандро Медичи получил титул герцога. Из рода Медичи происходил папа Лев X.

...с тех пор как деньги стали цениться высоко...— Сенека, «Письма к Луцилию», 115 (XIX, 6, 10).

Стр. 644. *По Платону...*— «Государство», VII, 556.

А Сократ, который говорил...— См. Платон, «Государство», VIII, 550 E.

Платон тоже считал...— «Законы», V, 742 E — 743 A.

Бион — греческий философ III века до н. э. Родом из Скифии. Был странствующим учителем и составителем моральных проповедей (диатриб). Известен своим грубоватым остроумием.

Стр. 645. *И ты согласен с решительным высказыванием славного римлянина...*—Славный римлянин — полководец Гай Марий (156—86 гг. до н. э.). Саллюстий, «Война с Югуртой», LXXXV.

Стр. 647. *...чем ближе к богам, тем дальше от городов...*— Тацит, «Германия», 9.

Стр. 648. *А Платон советует...*— «Государство», II, 374.

Стр. 649. *...прежде всего — того епископа...*— Речь идет о Матвее Ланге, епископе Гуркском, кардинале, присутствовавшем на Аугсбургском рейхстаге 1518 года. Гуттен не мог простить Лангу высокомерного отношения к нему в годы своего пребывания в Италии. «Подлое» происхождение Ланга — выдумка Гуттена, имевшая целью очернить противника.

Стр. 651. *Однако в своем «Мисавле»...*— Диалог о придворной жизни «Мисавл» («Двороненавистник») был написан Гуттеном в 1518 году.

Стр. 652. *Бартолисты* — последователи школы знаменитого итальянского юриста Бартоло (1314—1357), юридические заключения которого, вследствие его огромного авторитета, имели в средние века силу закона и были обязательными для суда.

Стр. 657. *...На том основании, что безупречно честными они быть не могут.*— Слова Гуттена можно пояснить примером из жизни его друга, гуманиста Виллибальда Пиркгеймера (1470—1530), члена Нюрнбергского сената, который был ученым юристом и принимал участие в заседаниях Нюрнбергского городского совета, но при этом ни в коем случае не должен был заниматься частной практикой адвоката.

Аккурзий (Франческо Аккорзо) — знаменитый итальянский юрист (1180—1260), родился во Флоренции, преподавал в Болонье, где возник первый в Европе университет. Известен составленным им сборником глосс (толкований юридических источников). Гуманисты презирали и всячески поносили Аккурзия и других юристов-глоссаторов.

Стр. 664. *«Все решительно имеют...»*— Теренций, «Евнух», 244—245.

У братьев из конгрегации св. Антония...— Монашеская конгрегация св. Антония первоначально являлась орденом, покровительствовавшим больницам. Монахи конгрегации имели право откорма свиней, свободно разгуливавших повсюду. Братия ревниво охраняла это право от посягательства других монашеских конгрегаций.

Стр. 665. *...древоногим францисканцам...*— Францисканцев называли древоногими, потому что они носили деревянные сандалии.

Стр. 666. *Фридрих Второй* Гогенштауфен — германский император (1212—1250) и сицилийский король.

Стр. 667. *...против этого упорно боролся некогда еще Павел...*— «Первое послание к Коринфянам», I, 13.

Стр. 669. *Александр Севе́р* — римский император (222—235).

Стр. 671. *...вот какую власть дает ему Базельский собор...*— Гуттен допускает ошибку: Базельский собор (1431—1449) отстаивал идею примата соборов и пытался ограничить власть папы. Римская курия не признавала постановлений Базельского собора действительными и обязательными для себя. Соборы эпохи контрреформации (XVI в.) стремились восстановить средневековое значение папства.

...для слова божия, как учит Павел, нет уз...— «Второе послание к Тимофею», II, 9.

Стр. 672. *...смиренно выслушивал укоры Павла и держал себя с братьями как ровня.*— «Послание к Галатам», II, 11 сл.

...если обещал никогда отсюда не уходить? — «Евангелие от Иоанна», XVI, 34.

...ведь и Петра он поставил пастырем лишь после трехкратного исповедания любви — то есть сперва трижды переспросил: «Любишь ли ты меня?» («Евангелие от Иоанна», 21, 15 сл.)

...и, как говорит Павел, ища не своего, но пользы другого.—«Первое послание к Коринфянам», X, 24.

Стр. 673. *...словно нечестивое племя в пустыне...*— Намек на ветхозаветное предание о золотом тельце, которого сотворили себе евреи, пока Моисей беседовал с богом на горе Синай.

Стр. 676. *Фридрих Третий* Габсбург — германский император (1440—1493). В его правление слабость центральной власти достигла предела, а престиж Германии упал очень низко. Поступившись интересами немецкой церкви, он заключил с папой в 1448 году конкордат в Вене, по которому Рим вновь получил право вмешиваться в назначение духовных лиц в Германии и взимать аннаты.

Каудатарии — носители шлейфа духовных особ.

М. Цетлин

СОДЕРЖАНИЕ

Б. Пуришев. Немецкий и нидерландский гуманизм 5

СЕБАСТИАН БРАНТ

КОРАБЛЬ ДУРАКОВ. *Перевод Л. Пеньковского* 25

ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

Μωρίας ἐγκώμιον, то есть ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ. *Перевод И. Губера* 119

НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ. *Перевод С. Маркиша* . . . 208

РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО. *Перевод С. Маркиша*

В поисках прихода 236
Хозяйские распоряжения 240
Перед школою 243
Поклонник и девица 245
Μεμψίγαμος, или Супружество 257
Кораблекрушение 271
Заезжие дворы 279
Юноша и распутница 285
Γεροντολογία, или Ὄκημα 290
Πτωχοπλούσιοι 305
Заклинание беса, или Привидение 320
Алхимия 327
Конский барышник 334
Говорливое застолье 338
Эхо 350

''Αγαμος γάμος, или Неравный брак 354
'Απροσδυόννυσα, или Нескладица 364
'Ιππεύς ἀνίππος, или Самозванная знатность 366
Рассвет 374
Скаредный достаток 380

ПИСЬМА ТЕМНЫХ ЛЮДЕЙ. *Перевод В. Хинкиса*

ТОМ ПЕРВЫЙ 395
ТОМ ВТОРОЙ 441

УЛЬРИХ ФОН ГУТТЕН

ДИАЛОГИ. *Перевод С. Маркиша*

Лихорадка 505
Вадиск, или Римская троица 528
Наблюдатели 586
Булла, или Крушибулл 606
Разбойники 630

Примечания *Е. Маркович, Л. Пинского, С. Маркиша, М. Цетлина* 683

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 33

Себастиан Брант
КОРАБЛЬ ДУРАКОВ

Эразм Роттердамский
ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ,
НАВОЗНИК ГОНИТСЯ ЗА ОРЛОМ,
РАЗГОВОРЫ ЗАПРОСТО

Письма темных людей

Ульрих фон Гуттен
ДИАЛОГИ

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректор М. Доценко

*

Сдано в набор 22/V 1970 г. Подписано к печати 26/X 1970 г. Бумага типографская № 1. Формат 60×84¹/₁₆ — 48 печ. л. — 44,784 усл. печ. л., 45,351 уч.-изд. л. + 5 накидок = 45,951. Тираж 300 000 экз. Заказ № 1168. Цена 2 р. 02 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28